Мих. Старицкий

Дніпро

# МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

# Твори у восьми томах

*Видавництво художньої літератури*
**„ДНІПРО"**
*Київ - 1965*

# МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

## Том п'ятий

КНИГА ТРЕТЯ

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

*Трилогія*

ОБЛОГА БУШІ

*Повість*

*Видавництво художньої літератури*
„ДНІПРО"
*Київ - 1965*

*Редакційна колегія:*
*М. Д. БЕРНШТЕЙН, М. П. КОМИШАНЧЕНКО,*
*Н. І. ПАДАЛКА, І. І. ПІЛЬГУК*

Упорядкування *І. І. Стешенко*

Примітки *В. У. Олійника*

Редактор тома *М. Д. Бернштейн*

КИЇВСЬКА КНИЖКОВА ДРУКАРНЯ № 4

# У пристани

Исторический роман из времен Хмельниччины

> Та немає лучче, та немає краще,
> Як у нас на Вкраїні,
> Та немає пана, та немає ляха,
> Немає унії!
>
> *Народная песня*

Стоял яркий июньский день. Бледно-голубое небо раскинулось высоким куполом над необозримым, по краям волнистым пространством, покрытым темными пятнами дремучих лесов; то там, то сям сверкали среди них, словно аквамарины, тихие, прозрачные озера или ярко-зеленые, изумрудные болота; кое-где темные пятна лесов перерезывали широкие ленты желтых песков или полосы хилой, бледной пашни. В воздухе было тихо, тепло, но не жарко. Солнце перешло уже за полдень и обливало всю даль своими ласковыми лучами, и в этих-то золотых лучах грелась и нежилась тихая, задумчивая Литва.

Но внизу, в дремучих лесах и жалких поселках, не было так безмятежно, как можно было бы подумать сначала. За околицей одного из таких поселков, прилепившегося у опушки темного столетнего бора, толпилась значительная группа поселян; все они были малорослы, сутуловаты, с обрюзгшими, болезненными лицами. Белые валеные шапки и такие же свитки дополняли их общий унылый, покорный вид. Два поселянина караулили вдали, наблюдая за дорогой. Посреди толпы стояла какая-то фигура в монашеской одежде и в высокой, сужающейся кверху шапке, закрывавшей до половины лицо. На этом-то монахе, очевидно, и сосредоточивалось все внимание толпы. Лица всех были возбуждены, взволнованны, каждый старался протиснуться вперед, чтобы не проронить ни слова из речи монаха.

— Пора, пора, братие,— говорил тот горячо,— приспе

убо час, наста время подняться всем против подлого ига польских панов и ксендзов! Господь нас всех создал равными, а они, обратиша вас в волов подъяремных, били вас горше домашнего скота; но приспе час возмездия: сам господь призывает вас восстать за свою правую веру и низвергнуть их, еретиков и хулителей божьего слова!

— Так, так, отче,— раздалось несмело в разных местах.— Да куда нам! Мы люди темные, слабые, нам ли идти против ляхов? Одного зарежешь, а нахлынет их куча — и конец!

— Вы не одни,— продолжал горячо монах,— батько Хмель, глаголю вам, стоит за вами, с ним сорок тысяч войска и сам Тугай-бей... Разбито польское коронное войско; самих гетманов отправил батько в Крым.

Громкие крики изумления прервали слова монаха, но в это время раздалось несколько голосов:

— Тише, хлопцы! Не знаешь ты, видно, отец святой, что не Хмель панов, а паны уже разбили Хмеля. Вчера мы вернулись из города, все паны говорят, что Хмель в плену и строят для него виселицу в Варшаве.

— Лгут вам все паны!—вскрикнул пламенно монах.— Они боятся, чтобы вы не подняли бунта, и стараются запугать вас! Разбито, паки реку, коронное войско, да скоро услышите еще и не то! Бежат отовсюду паны при одном имени Хмеля: каждый день, аки речки к морю, льются к нему тысячи войсковых людей! В Волыни уже поднялось все посполъство: сожгли в Белянах костел, вырезали ляхов в Триречьи...

— Так что ж и нам смотреть на них? Допекли они нас не хуже вашего!—раздались яростные крики в задних рядах.— По домам, братцы, за серпы, за косы! Правду отец святой говорит!

Но еще передние ряды стояли в нерешительности.

— Стойте и стойте, хлопцы! — остановил раскричавшихся седой, сгорбленный старик и, вышедши вперед из толпы, остановился перед монахом.— Слушай, божий человек,— заговорил он, опираясь на палку,— да не мутишь ли ты нас понапрасну? Где уж козакам коронное войско победить?

— Я служитель бога, а не бунтарь,— отвечал гордо монах,— и прислан к вам от самого Хмеля да от киевских святынь. Божий вождь идет за народ и за веру и обещает выбить весь люд из-под лядского ярма. Святый

владыка благословил и поставил его над вами: он ваш король и гетман, он даст всему краю и мир, и волю, и лад!

— Так что же ждать? Слава Хмелю! По домам, братцы! За серпы, за косы! — раздались уже отовсюду горячие голоса, и вся толпа всколыхнулась, как один человек.

— Стойте, братие,— остановил всех монах,— так, сгоряча, не довлеет; разошлите хлопцев с весточкой этой по окрестным селам, да только тихо, чтоб не проведал никто из панов, дондеже не вострубит глас велий. Собирайтесь загонами, очищайте русскую землю и спешите к батьку; всем найдется работа, а по трудах вольная воля и своя земля.

— Слава Хмелю! Слава батьку! Головы за него положим! — закричали десятки голосов, но в это время раздался испуганный крик сторожевых:

— Чаплинский! Чаплинский и Ясинский с ним!

В одно мгновенье толпа распахнулась. Некоторые, более дальние, метнулись по сторонам, остальные же не успели скрыться, так как группа всадников, испугавшая сторожевых, заметила уже переполох толпы и приближалась к ней на полных рысях.

Все окаменели; горячечное выражение лиц мгновенно заменилось выражением забитого, приниженного страха, только более молодые хлопцы бросали на приближающихся угрюмые, затаенные взгляды. Впереди всех всадников покачивался на сытом широкогрудом коне дородный шляхтич с круглым, солидным брюшком, приходившим в движение при каждом шаге коня; на нем был пышный польский костюм с молодцевато заброшенными за плечи вылетами и такая же шапка с кичливо торчащим пером. Голубые выпуклые глаза пана сидели навыкате; щетинистые светлые усы были подкручены вверх. Толстое лицо его от быстрой езды и от вспыхнувшего гнева было теперь багрово, дыхание вырывалось из его обширной груди со свистом и шумом. Рядом с ним скакала молодая женщина необычайной красоты; во всей ее осанке, в каждом жесте сквозили гордость, честолюбие и сознание собственной обаятельности. Дородный шляхтич обращался с нею с шумным восторгом, сквозь который нетрудно было заметить, что он немало побаивается красавицы; сосед ее налево, молодой шляхтич с хорошеньким острым личиком, на котором играло кичливое выражение, рассыпался и юлил перед нею; но, несмотря на это, лицо

красавицы было холодно и недовольно, губы плотно сжаты, синие глаза глядели из-под собольих бровей презрительно и надменно, когда же взгляд их скользил по дородной фигуре пана, в них отражалось далеко не дружелюбное чувство. За шляхтичами ехали в почтительном отдалении слуги, доезжачие и псари со сворами собак. Дородный шляхтич, которого поселяне назвали Чаплинским, заметил сразу скопище народа и замешательство, которое вызвало их появление.

— Лайдаки, псы, быдло! — заревел он, пришпоривая коня.— Вот я вам покажу, как от работы бегать да шептаться здесь по углам!

Но пойманные поселяне и не думали двигаться; они переминались испуганно с ноги на ногу, теребя в руках свои шапки; только монах смотрел спокойно и равнодушно на приближающегося разгневанного пана.

— Марылька, богиня моя,— обратился Чаплинский к молодой женщине,— ты подожди нас здесь, а вы, панове, за мной! — скомандовал он окружающим.

Молодой шляхтич и слуги поспешили за паном; в несколько мгновений всадники очутились уже в самой середине толпы.

— А, заговоры? Бунты? Свавольства? — заревел Чаплинский, схвативши за шиворот одного из жалких мужичонков и потрясая его из всех сил.— Что собрались? Чего шепчетесь? Говори, собака! Язык вымотаю!

— Мы, пане...— начал было, заплетаясь, поселянин.

— Вельможный пане, быдло! — перебил его молодой шляхтич, и сильный удар ногою повалил крестьянина наземь. Голова последнего ударилась при падении об острие стремени, и узкая полоска крови потекла по щеке. По рядам окружающих пробежал какой-то слабый ропот.

— А это что такое? — заревел Чаплинский, выхватывая хлыст.— Молчать, или я вас тут всех перепорю насмерть! Чего собрались? Отвечайте, собачьи сыны!

— Кажись, причина собрания заключается в том схизмате,— указал Чаплинскому Ясинский глазами на монаха, стоявшего в стороне.

— Привести его сюда, песьего сына! — рявкнул Чаплинский, и двое слуг, соскочивши моментально с седел, схватили под руки монаха и притащили к Чаплинскому.

— Что делаешь здесь, поп? — крикнул Чаплинский, стискивая рукоять хлыста.

— Рассказываю добрым людям о киевских святынях!

— Лжешь, пес,— народ мутить пришел!

— Ксендза зови собакой, а я служитель алтаря!

— Схизмат, лайдак, букопар! — заревел не своим голосом Чаплинский и, размахнувшись, стегнул со всей силы хлыстом монаха по лицу; из кровавой полосы, перерезавшей щеки, брызнула кровь. Монах схватился было рукой за пазуху, но остановился.

— Так вот ты что? А я ж научу тебя, собачья вера, как с паном говорить! — зарычал Чаплинский, бросаясь к монаху. Тихий шум в толпе превратился неожиданно в глухой ропот.

— Оставь, вельможный пане, не тронь святого человека! — раздались хотя сдержанные, но глухие голоса в задних рядах, и толпа понадвинулась к пану, заслоняя монаха.

— Цо? — побагровел Чаплинский, заметивши движение рядов, и начал медленно осаживать коня.— Ни с места, быдло! — заревел он, уже приблизившись к своим слугам.— На колья вас всех, бунтари! А! Вы думаете устраивать мне тут заговоры? Голову сниму каждому, кто посмеет хоть голос поднять, по три шкуры сдеру, живых потоплю, за-по-рю насмерть! — задыхался он от бешенства.

Все угрюмо молчали, но в этом молчании проглядывала какая-то дикая решимость. Чаплинский отъехал.

— Пане Ясинский! — сделал он молодому шляхтичу знак рукой. Шляхтич поспешно подскакал к своему господину.— А что, пане, дело ведь плохо! — уставился на него Чаплинский своими выпуклыми глазами.

Ясинский молчал.

— Узнавал ли ты, пане, по соседству, что говорят о хлопах и Хмеле? — продолжал Чаплинский.

— Да верного ничего; но всюду, как и здесь, какое-то мятежное чувство: хлопство шепчется, шатаются подозрительные люди; пробовал было я допрашивать их и с пристрастием, да вельможный пан сам знает — от них ведь не добьешься ничего!

— Сто тысяч дяблов,— проговорил Чаплинский,— ну и времена настали! Опасно при них и схватить этого пса! Одначе надо принять меры, за схизматом проследить, оттереть от быдла, схватить и допросить, хоть жилы вымотать с него, а выпытать правду. Шинкарю наказать,

чтобы слушал в оба уха, о чем будут шептаться в шинке, и немедля передал нам; всюду расставить дозорцев, шпигов и удвоить строгость.

— Слушаю пана подстаросту,— поклонился шляхтич.

— Но дело потом; едем, пане!

— А паню? — изумился Ясинский.

— А, да, да! — вскрикнул испуганно Чаплинский, и шляхтичи, повернув коней, поскакали к красавице.

Когда Чаплинский с Ясинским направились в толпу поселян, молодая женщина проводила их полным презрения взглядом. Стоя невдалеке, ей слышны были и крики Чаплинского и свист его хлыста.

— Отвратительное чудовище! — прошептала она, не разжимая своих сжатых губ, и по лицу ее пробежала презрительная улыбка.— Ха-ха! Здесь как храбр с безоружными хлопами, герой-витязь! А тогда? Почему не храбрился он так в Чигирине? — И при этих словах все лицо молодой женщины покрылось густым румянцем, она с раздражением закусила губу и глянула куда-то в сторону; видно было, что слова эти вызвали в ее воображении какое-то мучительное, позорное воспоминание.

Новые бешеные проклятия Чаплинского долетели до ее слуха; молодая женщина медленно повернула голову и начала внимательно прислушиваться. А ведь как они ни храбрятся, как ни терзают хлопов, а она чувствует во всех какой-то затаенный переполох. Так, так, они боятся их, этих диких, оборванных хлопов, и только стараются заглушить казнями и пытками гложущий сердце страх. Но чего? Не может же Хмельницкий с козаками победить коронное войско? — Молодая женщина остановилась на несколько минут в нерешительности над этим вопросом.— Конечно, нет, нет! — почему-то вздохнула она и тряхнула нетерпеливо головой, словно хотела сбросить с себя налетевшее сомнение.— Жалкая козацкая рвань и шляхетское коронное войско! — Да, так, а между тем она замечает и в себе этот бесформенный, неопределенный страх. Что-то недоброе затевается кругом... Недаром же паны так ловят всякого. Верно, есть что-нибудь, и они только скрывают от нее... Размышления ее прервал топот приближающихся лошадей; к ней скакали Чаплинский и Ясинский. Молодая женщина вздрогнула с видимым неудовольствием, но двинулась к ним навстречу.

— Надеюсь, моя бесценная крулева не гневается на меня за маленькое приключение с хлопами? — извинился, поравнявшись с Марылькой, Чаплинский.

— Я к этому уже привыкла у пана,— процедила та сквозь зубы.

— Такое время, богиня, такое время! Строгость необходима. Попустить им вожжи — разнесут в куски, а от ударов хлоп, как добрый биток мяса, делается только мягче и податливее на зубы.— И, довольный своей остротой, Чаплинский весь заколебался от низкого скрипучего хохота. Ясинский поторопился поддержать своего патрона; только Марылька не обнаружила ни малейшего одобрения этой шутке и, глядя куда-то в сторону прищуренными глазами, произнесла медленно:

— Смотрите только, как бы вам не подавиться этими битками.

— Хо-хо! Проглотим, богиня, проглотим,— похлопал себя по выдавшейся груди Чаплинский,— об этом не беспокойся!

— Да?—протянула Марылька.— А любопытно знать, о чем толковал хлопам этот схизмат? Быть может, о Хмельницком?

— А пусть его толкует теперь сколько угодно, я даже позволю хлопам и панихиды по нем служить.

— Как так? — изумилась Марылька, бросая на Чаплинского встревоженный взгляд.— Разве он уже умер?

— Наверное.

— Пан имеет какие-нибудь верные известия?

— Хо-хо! Самые последние. Заструнчили волка. Сто тысяч дяблов, славная, верно, была охота! — расправил он молодцевато свои усы и прибавил, отдуваясь: — Когда б не мой прекрасный магнит, я бы непременно там был!

— Насколько помню, пан в Чигирине не высказывал такого рвения,— произнесла едко Марылька.

Чаплинский побагровел.

— Да, тогда я отказался от предложенного мне начальства, потому что моя первая, священная обязанность охранить мою крулеву от всех тревог, которые влекут за собою хлопские бунты, и скрыть ее в безопасном месте. Гименей всегда в размолвке с Марсом. Да и не тешат меня больше эти дешевые лавры. Пусть их стяжает кто-

либо другой, уступаю, довольно имею своих! — произнес он с небрежною снисходительностью.— Но когда я не был еще обладателем прелестнейшей из женщин, го-го-го...— приподнял он свои круглые брови,— боялись хлопы моего имени, как черти крика петуха! Досталось им от меня немало! То-то и привыкли паны гетманы, чуть что — пане Чаплинский, сделай милость, усмири бунт! Пане Чаплинский, поймай бунтарей! А, пес вас возьми, потрудитесь-ка сами, лежебоки! Пан Чаплинский может, наконец, и отдохнуть,— выдохнул он шумно воздух и, склонившись к Марыльке, добавил сладким голосом,— у ног своей нежной красавицы.

— Да за такое блаженство можно отдать все лавры Ахиллеса и Тезея! — шумно воскликнул Ясинский.

По лицу Марыльки пробежала гадливая улыбка.

— Сдается мне только, что панство празднует слишком рано свою победу,— отчеканила она.

— Га, победа над быдлом? Расправа, моя пани, расправа! — оттопырил вперед свою грудь Чаплинский.

— Э, что там, вельможный пане, говорить об этом хлопстве,— перебил его Ясинский,— вот мы совсем засмутили пани!

— Но королеве моей нечего опасаться; клянусь честью, сюда не явится ни один враг, а если б он и явился,— заявил кичливо Чаплинский,— то он должен был бы переступить раньше мой труп!

— Я думаю, ему было бы очень трудно это сделать,— ответила язвительно Марылька.

— О, королева моя острит! — пропыхтел Чаплинский.— Впрочем, в самом деле, оставим этот разговор,— слишком много чести для хлопа. Да вот и лес. А что, моя жемчужина не боится зверя?

— Я к нему привыкла.

— Да, впрочем, и я буду рядом,— заторопился Чаплинский, желая замять замечание жены,— а где я, там ужасам не настичь! — И он принялся рассказывать о своих бесчисленных подвигах, о невероятном числе убитых им медведей, лосей, кабанов, о своих знаменитых выстрелах. Ясинский поддерживал во всем своего патрона, только Марылька не слушала и не слыхала ничего из хвастливой речи своего мужа; лицо ее было мрачно, губы сжаты, казалось, мысли ее были заняты каким-то неразрешенным вопросом.

— Ну-с, пан Ясинский проводит мою крулеву к означенному пункту, а я поскачу распорядиться облавой,— обратился к Марыльке Чаплинский, придерживая своего коня у опушки леса, и, получив утвердительный ответ, поскакал к остановившимся в стороне слугам и псарям. Марылька и Ясинский въехали в лес. В лесу было сумрачно, прохладно и сыровато, пахло можжевельником, сосной, грибами... Узкая, едва приметная тропинка вела, извиваясь по легкому уклону, вглубь. Всадники поехали рядом так близко друг от друга, что лошади их то и дело терлись боками. Ясинский несколько раз бросал пламенные взгляды на свою спутницу, но Марылька не замечала ни этих взоров, ни мрачного величия окружающей природы... В лесу было тихо и величественно; каждый заронившийся звук, даже треск сухой ветки, отчетливо раздавался вдали. Наконец Ясинский решился сам заговорить с Марылькой.

— Пани все гневается? — начал он вкрадчиво.— Но на кого и за что? Надеюсь, что не я причина этого гнева, иначе, клянусь честью, я размозжил бы себе эту несчастную голову!

— Что, собственно, нужно пану? — подняла на него глаза Марылька.

Ясинский немного смешался от этого холодного взгляда, но продолжал еще вкрадчивее:

— Пани все сторонится меня, а между тем она имеет во мне самого преданного и немого, как могила, слугу... Если бы пани понадобилась какая-либо услуга... жизнь моя...

— О нет! — перебила его Марылька.— Какую ж мне может сделать пан услугу, ведь больше грабить Субботова не придется!

Ясинский вспыхнул и хотел было что-то ответить, но в это время лошади их выехали на обширную поляну, на которой уже раздавались крики и брань Чаплинского. Заметивши Марыльку и Ясинского, он поспешно подскакал к ним.

— Моя крулева ясная,— сделал он шапкой грациозный жест,— пожалуй за мной, все готово к забаве твоей.

Марылька молча поехала вслед за мужем.

— Здесь, богиня моя, назначено тебе место,— произнес он, остановившись у двух старых елей в десяти шагах от густой, непролазной заросли. — Стань здесь,

пани,— указал он Марыльке на срубленный пень третьей ели, снимая ее с седла,— и будь совершенно покойна: клыки вепря страшны только на локоть от земли, не больше, выше он не может поднять рыла... При этом же за елью будет стоять на страже твой верный рыцарь.

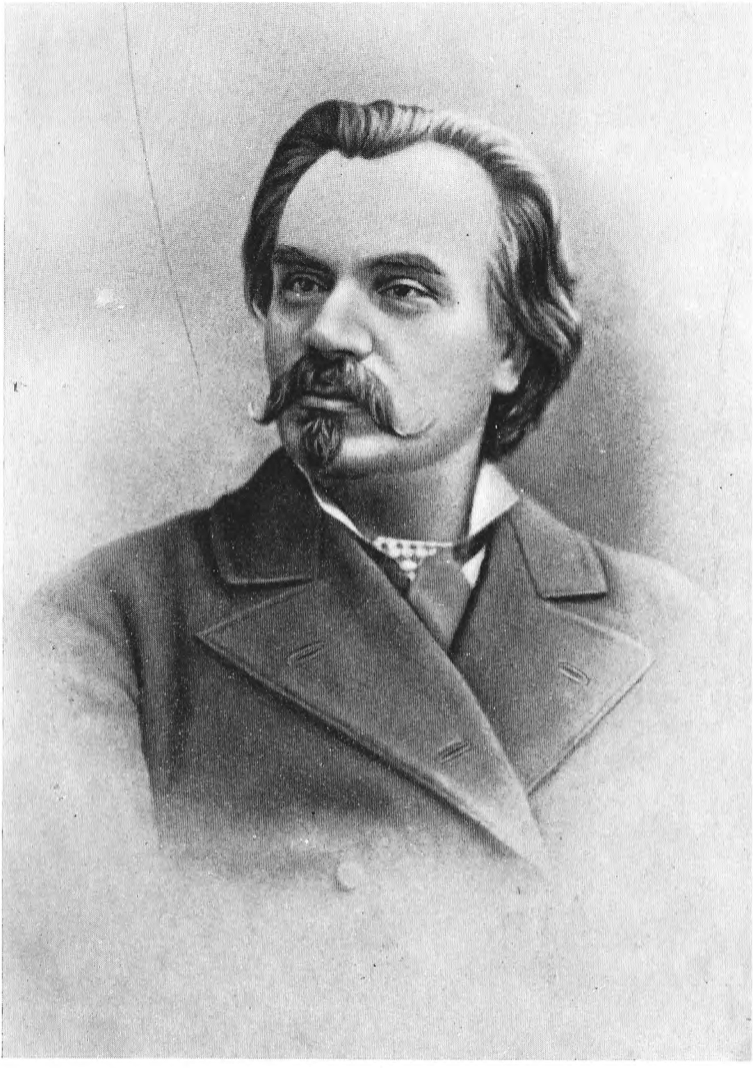
— К чему такие предосторожности?—пожала плечами Марылька.— Я уверена, что дело кончится двумя зайцами.

— Но-но! — крикнул многозначительно Чаплинский и приказал слугам отвести дальше коней, а лесничему отойти в сторону; потом, поцеловав руку своей повелительницы, он молодцевато стал на посту, осмотрел рушницу и принял надменную позу.

Топот и людские голоса скоро смолкли. Марылька оглянулась: прямо перед ней тянулась широкая просека, обставленная ровной стеной обнаженных сосен, на вершинах которых еще горели лучи заходящего солнца. Кругом было тихо и таинственно. Вдруг из глубокой дали долетел до Марыльки робкий, словно задавленный лай собаки... Одна, а вот откликнулась другая, вот с противоположной стороны, словно из-под земли, подает голос третья. Лай жалобный, плаксивый, он раздается где-то очень далеко. «Подняли, но кого? — подумала про себя Марылька, но не дрогнуло при этом ее сердце,— мысли ее сейчас же перешли к взволновавшему ее вопросу: — Муж говорит, что Хмельницкий уже верно казнен, но о чем же он шептался с Ясинским? О, от нее не скрылось перепуганное выражение его лица! Лжет он, все лжет! Верить ему ни в чем нельзя. Ха-ха! Как здесь храбрится на словах! А там? Ох, стыд, позор!» — сжала она зубы, и снова при одном воспоминании о жалком бегстве мужа все лицо ее покрылось яркою краской стыда...

Вдруг Марылька услыхала совсем близко, почти за спиной, в овражке, испуганный лай двух собак, и вместе с этим послышался сильный треск, и вслед за ним страшное, злобное рычанье огласило весь лес. Марылька вздрогнула всем телом, оглянулась, и дикий крик вырвался из ее груди: прямо против нее из чащи высунулось страшное чудовище — это был исполинский медведь...

Крик Марыльки привлек внимание зверя,— медведь поднялся на задние лапы, издал свирепый, ужасный рев и двинулся прямо на нее. Марылька все заметила сразу:



М. Старицький. *Фото 1883 р.*

и длинное рыло с раскрытою пастью, и страшные, мохнатые лапы с черными когтями...

— Данило! — вскрикнула она, обернувшись к мужу, но за нею не было уж никого, и только вдали мелькала убегающая его фигура.— Спасите, спасите! — завопила она, обезумевши от ужаса, и бросилась бежать; но от сильного движения сорвалась с пня.—Езус-Мария! — успела еще вскрикнуть она, падая плашмя на землю, и в это же время в ушах ее раздался тупой стук, а вслед за ним послышалось тяжелое падение какого-то огромного тела...

Когда Марылька открыла глаза, она заметила, что ее поддерживал Ясинский, шагах в пяти от нее лежала страшная туша убитого медведя, подле него стоял в виноватой позе лесничий с дымящимся ружьем.

Быдло, хлоп, пес! Так ты устроил облаву? — услыхала Марылька сиплый голос мужа.— За-по-рю! Шкуру сдеру! — И вслед за этим раздался лязкий звук пощечины.

Этот знакомый звук окончательно привел к действительности Марыльку. Она вздрогнула всем телом и поднялась. Заметивши это, Чаплинский бросился к жене.

Королева моя, богиня моя! зачастил он, хватая ее за руки.— О, этот подлый хлоп ответит мне жизнью за твой испуг!

— Оставьте! — вырвала Марылька свои руки и произнесла громко, бросая на мужа полный презрения взгляд: — Хлоп спас мне жизнь, а вельможный пан — жалкий и подлый трус!..

Потрясенная ужасом смерти, оскорбленная гнусным поступком своего мужа, разбитая нравственно и физически, Марылька едва доехала домой; не заглянув даже в приемную светлицу, направилась она порывисто в свою комнату, затворила на щеколду дверь и бросилась в изнеможении на канапу. Она не имела больше сил сдерживать себя, и все пережитое волнение прорвалось наконец в истерических рыданиях; но эти непрошеные слезы не успокоили ее возмущенной души, а раздражили ее еще большей горечью — сознанием своего бессилия, своего приниженного, жалкого положения, сознанием своей грубой бесповоротной ошибки, и это сознание подняло в ней с новою силой злобу и желчь. Неподвижно лежит Марылька, вздрагивая иногда нервно всем телом, следы от слез видны на ее горячих щеках, брови сжаты, взгляд

потемневших глаз остр и сух, только лишь на изогнутых ресницах блестит еще не высохшая влага. Мучительные ощущения терзают ее сердце тоской и обидой. Бурные мысли кружатся в голове беспорядочною, мятежною толпой. «Какой он отвратительный лгун и трус! Целую дорогу кичился перед всеми своею необычайною отвагой, своею привычною небрежностью к зверю, и при первой с ним встрече — бежать, бежать так постыдно, без выстрела даже, и бежать в ту минуту, когда чудовище готово было принять меня в свои страшные объятия, а потом еще отблагодарить спасителя моего оскорблениями и поставить свою низость ему в вину. Ах, как все это мерзко и подло! Ни доблести, ни благородства, ни сердечного порыва! Еще шляхтич! — усмехнулась желчно Марылька.— Последний хлоп бросился бы защищать свою жену, а он? А-а! — простонала она и сжала до боли свои виски.— Вот тот схизмат, отвергнутый так безрассудно, разве тот бежал бы от меня в минуту опасности? Не на одного медведя, на десятки их, на стада львов и тигров ринулся бы он за меня! Огонь беззаветной любви и отваги горел в его глазах и отражал нелживое сердце! Ах, какой же обман, какая безрассудная мена!..»

Марылька провела рукой по пылающему лбу и прикрыла ладонью глаза. Образ Богдана, словно живой, встал перед нею: статный, мужественный, прекрасный, исполненный благородства, с ореолом величия на высоком челе, и из-за него выглянуло багровое, обрюзгшее лицо ее мужа с широкими сластолюбивыми губами, с тусклыми пьяными глазами, с тупым низким лбом, с осунувшеюся фигурой и разбухшим животом. И Богдан смотрел ей в лицо таким насмешливым, презрительным взглядом. Марылька не смогла вынести этого взгляда, стремительно поднялась и заломила руки.

— Ах, это невыносимо! — протянула она.— Что я выиграла своею необдуманною ставкой? Нищенство, ничтожество, позор! Как могла я так ошибиться в расчете? За какой грех наказал меня пан Езус? За какую вину наслала на мои очи слепоту пречистая панна? Ох, за великую, за великую! — сжала она себе до боли руки.— За измену вере отцов моих! Да, я эту веру меняла так легко для корысти, и эта корысть, эта жажда блеска и славы затмила мой мозг и толкнула меня на такой губительный шаг!

Она встала и прошлась несколько раз по комнате; ноги у нее подкашивались, голова кружилась, дыхание становилось тяжелым. На дворе еще стояли сумерки, но от высоких елей, обступивших будынок, в комнате было уже темно. Тесаные, небеленые стены выглядели теперь совсем черными, а низкий бревенчатый потолок казался еще ниже и давил словно гробовою крышкой. Марылька с ужасом оглянулась; ей показалось, что она уже действительно заключена в могильном склепе, откуда нет выхода; она бросилась к окну и стремительно отворила его; в комнату ворвалась струя влажного, наполненного смолистым запахом воздуха. Сквозь нависшие изогнутыми линиями мохнатые ветви дерев светилось вечернее небо; в некоторые излучины и прорезы заглядывали бледные звезды. Под деревьями, в глубине парка, уже клубился мрак, а в открытые окна выступавшей углом столовой вырывался снопами лучей красноватый свет и ложился алыми пятнами на мглистую бахрому ближайших елей. В дальних покоях стоял глухой говор и смех; в столовой слышался шелест скатертей и звон расставляемой посуды; в парке же было совершенно тихо, и только из соседнего леса доносились то слабый, протяжный вой, то хохот какой-то ночной птицы. Марылька с брезгливостью отвернулась от ярко освещенных окон и стала тупо смотреть в глубь парка, словно желая спрятаться в непроглядной тьме от преследовавших ее дум. Вдруг внимание ее возбудил говор двух знакомых голосов, раздавшихся недалеко от ее окна, за кустами сирени.

«Зося? Кажется, она! — всполошилась пани и начала прислушиваться к тихому гомону.— Но кто бы был другой, не Ясинский ли?.. Только нет: у того хриплый, тусклый голос, а этот позвонче».

— Ох, панно кохана,— звучал между тем баритон,— я околдован, я очарован... Эти небесные очи пьянят мне душу, эти розы щечек кипятят мою кровь! Эти соблазнительные губки манят, тянут...

— Ой, пане! Что вы? — прервал его кокетливый женский голос, в котором Марылька сейчас же признала голос своей наперсницы Зоси.— Оставьте, оставьте! Вот сейчас закричу и пану скажу.

«Да ведь это Ясинский! — подумала Марылька.— Ха-ха-ха! Сегодня уверял меня в своей преданной любви и немедленно же перешел к моей горничной!»

Она презрительно пожала плечами и стала слушать дальше.

— Пане, пустите,— протестовала деланно строго Зося.— Я пану... оставьте, не поверю ничему... Меня не обманете. Я знаю, что пан привез себе коханку слыхала, слыхала!

— Ой, панно-любко, от кого слыхала?

— Нашлись такие.

— Ой-ой-ой! Вот оно что, понимаю! — протянул насмешливо баритон.

— Понимать-то нечего, а что привез пан, так привез.

— А если я чист, как голубь? Если это совсем другое, то что тогда?

— Пусть пан сначала докажет... Мне сказали...

— Только, видно, не все сказали, иначе бы панна сделала упрек не мне, а другому...

«О чем это они?» — прислушалась с еще большим интересом Марылька.

Но разговор понизился до шепота, к тому же в это время в столовой раздался стук многих шагов и шум веселого говора.

## III

— Да, панове,— вырезывался из общего гама громкий и хвастливый голос, принадлежавший, очевидно, Чаплинскому.— Редкий, можно сказать, мастерской выстрел! Я даже сам себе удивился! Жена в опасности, понимаете, все-таки волнение... Бестия поднялась прямо на нее, но рука оказалась привычной, не изменила: трах, и в самое ухо! Как тяпнул, так только промычал кудлач и «падам до ног»!

Дружный смех поддержал рассказчика, хотя в нем ясно звучала насмешка. Марылька задрожала от негодования; она было сорвалась с места, чтобы уличить во лжи этого наглеца перед всею его пьяною компанией, но все они были теперь так противны ей, что она не смогла преодолеть своего брезгливого чувства и осталась. А в столовой, за перекатами смеха и хвалебных возгласов, пошли здравицы в честь доблести неустрашимого рыцаря, и Чаплинский принимал их, видимо, с заслуженным достоинством.

— Да, вот на пана только и надежда,— прибавил

кто-то,— если на нас нападет этот шельма Хмельницкий.

— Ха-ха! Я бы показал ему, лайдаку,— крикнул задорно Чаплинский,— да жаль, его уж посадили на кол!

Марылька вздрогнула и ухватилась рукою за сердце.

— Какое там на кол? — возразил бас.— Я поймал на днях бунтаря из тех, что шляются теперь везде и мутят хлопов, так он мне сообщил, на угольках, такое, что дыбом становится волос...

И смех, и задор, и веселые шутки сразу притихли; в упавшем молчании слышался только тревожный шепот, которого Марылька разобрать не могла, к тому же кто-то плотно прикрыл окна. Марылька встала и заходила по своей комнате.

«Нет, не схвачен, не казнен, а жив! — закружились снова мысли в ее голове.— А как они притихли при одном имени Богдана? Какой ужас нагнал он на всех? И все через меня! Кровь льется, стелется дым от пожаров, ужас растет — и все из-за меня! — остановилась она, охваченная приливом гордости и тщеславия.— Но, боже! Могла ли она предвидеть это? Почему она решила тогда так поспешно, что Богдан обречен на погибель, что сам он, по своей хлопской натуре, заслужил ее? Какое-то безумие нашло на нее! Ведь видала же она раньше, что Богдан человек высокого ума и отваги, ведь даже дядя ее, канцлер, считал его лучшим полководцем и государственным мужем, да и сам король возлагал на него большие надежды. Правда, Богдан пренебрег потом почему-то высокою протекцией, стал якшаться с хлопами, путаться в заговоры и через то попал в опалу... Но разве этот промах был непоправим и бесповоротен? Разумная жена чего бы не сделала с влюбленным мужем? А ведь он боготворил меня, дышал мною, и при небольшой терпеливости слово мое стало бы ему законом! Ах, зачем я поторопилась? Панство ведь ценило его, он был ему нужен, и с ним можно было бы достичь небывалых успехов, знатности, силы, стоило только опутать лаской! А я словно помутилась от чаду, потеряла женскую сметку и разум, и, как безумная, кинулась очертя голову... в навозную яму! — закусила себе до крови губу Марылька и, снедаемая бессильною на себя злобой, заходила снова по комнате.— И как она могла так жестоко

обмануться? Как она могла променять сокола на пугача? Ведь с самого начала было видно, что Чаплинский — ничтожество: у него даже не хватило удали добыть самому свою милую, не хватило отваги стать с соперником на поединок, а нашлась только хитрость нанять убийц и устроить ему засаду и... в конце концов, бежать от него в свою нищенскую трущобу, теряя и староство, и карьеру...»

И ей припомнилась зимняя ночь, торопливая упаковка вещей на возы, ложь перед слугами, леденящий ужас, ночные переезды, остановки по глухим местам... И он, муж, шляхтич, дрожащий как заяц, готовый прятаться за ее спину при первом упоминании о козаках... И, наконец, Вольск. Два месяца уединенной, скрытной жизни и новые тревожные слухи о том, что бунтовщики выступили из Сечи... И новое позорное бегство в эту глушь... Да ведь он держал этого Конецпольского, этого мальчишку, в руках, он мог пользоваться и наживаться и под конец получить место самого старосты. Теперь этого места ему не вернуть вовеки: не только перед Конецпольским, но и перед всею магнатерией он скомпрометировал себя вконец. Ну, и какая же ее жизнь теперь? Там, у Богдана, была бы и роскошь, и власть, и богатство, и надежда на широкий полет, а тут, в этом бору, в этой глуши,— дичь, грубость, бедность! И так всю жизнь! И никакого выхода! Никакой надежды!

— Ой, дура я, дура! — вскрикнула истерично Марылька и, кинувшись в кресло, начала рвать на себе в припадке бешенства и волосы, и платье.

Прилив бешеного раздражения закончился наконец нервным припадком. Ни воды, ничего не нашлось под руками; в комнате было совершенно темно, только сквозь щель двери пробивалась узенькая полоска света. Марылька почувствовала озноб и упадок сил; она встала с кресла и ощупью, задевая за мебель, доплелась до алькова, сняла с высокой спинки кровати турецкую шаль, закуталась в нее и улеглась, свернувшись, в постель. Благотворная теплота начала согревать ее члены, бурные мысли потеряли свою остроту, внутренняя боль притупилась, и все стало смешиваться в какой-то туманный хаос.

Вдруг кто-то постучал осторожно в дверь, раз и другой; Марылька не откликнулась. Наконец, после третье-

го стука, у дверей раздался подобострастный мужской голос:

— Не соизволит ли ясная крулева явиться в трапезную? Вечеря на столе, и пышное панство в сборе.

Марылька вздрогнула от этого голоса и крикнула с отвращением:

— Прочь! Не пойду!

И снова в ней закипела желчь, снова со дна души поднялась едкая горечь.

Да, над ней тяготеет какое-то проклятье! Судьба швыряет ее целый век от одного ужаса к другому. Раннее детство... блеск, роскошь, ласки матери. Но вот скоропостижная смерть ее, траур, тоска, одиночество; только няня-хлопка при ней, а отец в вечных разъездах, да еще, помнится, цыганка предсказывала ей величие,— горько улыбнулась Марылька, а воспоминанья развертывали свою ленту все дальше... Скучная жизнь, и вдруг — дикий наезд! Испуганный отец, пожар, крики, подземные коридоры, бегство... и схвачена! Бр-р...— содрогнулась Марылька при этом воспоминании,— в руках у татар! А потом море, битва и неожиданное спасение: он, он, Богдан, вырвал ее у смерти... как она ему была горячо благодарна!.. А в сущности, как наказала потом ее жестокая доля: тот рыцарский поступок не благодеянием был для нее, а погибелью... Там, в Бахчисарае или Стамбуле, она стала бы наверное зарей Востока, владычицей, царицей, а здесь,— усмехнулась язвительно Марылька,— попала она к Оссолинским; приняли ее из корыстных видов магнаты и, разочаровавшись, начали обходиться с пренебрежением... Красота даже не принесла ей пользы, а послужила источником обид и унижений... И ни один из этой изношенной, дряблой шляхты не мог увлечься ею настолько, чтобы вырвать бедную несчастную панну из этой новой неволи, из этого нового одиночества, даже названный тато ее и покровитель Богдан не являлся... И безысходная, беспросветная тоска да ядовитая зависть налегли на нее... Чуть было рук на себя не наложила, и снова спас Богдан! Злой или добрый он гений?.. Задумалась Марылька над решением этого вопроса, а воображение развертывало перед ней снова бегущею лентой картины недавнего прошлого: беседка в королевском саду, пламенные речи, искренние признания и первый сладостный трепет; потом чудное путеше-

ствие, близость начинающей влюбляться души и Субботов... Больная... соперница... короткая и решительная борьба... Смелость плана... Лунная, роскошная ночь... яд поцелуя... огонь объятий — и власть безграничная... А дальше? Ах, пожар, ужасы, кровь! И эта ядовитая жаба! Бр-р! — содрогнулась она всем телом и заломила руки.— Что ж, неужели ее ожидает прозябание в этой проклятой Литве? Ее, Марыльку, которая создана для обожания, для красоты, для власти! Или красота ее поблекла, или ее прелесть увяла, или ее обаяние иссякло? Нет, тысячу раз нет! Она прекрасна, она еще пышней расцвела, она это видит и знает! И неужели же ей пропасть в этих болотах? Не бывать этому!—схватилась стремительно на ноги Марылька и вскрикнула решительно:

— Не бывать!

В это время у дверей снова раздался тихий стук. Марылька вздрогнула и насторожилась. Стук повторился.

— Пани кохана тут? — послышался после некоторой паузы женский голос.

— Ах, это ты, Зося? — откликнулась Марылька.

— Я, пани, я. Может быть, сюда принести пани вечерю?

— Не нужно, не хочу! Впрочем, стой, войди сюда! — подошла Марылька к двери и отворила ее.

— Ой, пани в потемках? — изумилась служанка.— Я сейчас зажгу канделябру.

— Нет, не нужно: у меня что-то голова болит, свет будет раздражать. Зажги лучше лампаду... вот так приятнее, и лик Ченстоховской божьей матери видно. Единая ведь она нам защитница.

— Да, единая,— вздохнула Зося,— особенно вот в такие времена.

— А ты не слыхала ли чего от слуг или от хлопов? Этой ведь шляхте верить нельзя, особенно моему пану,— улыбнулась горько Марылька.

— Правда, правда, моя дорогая пани,— оглянулась со страхом Зося и начала таинственно докладывать про выуженные ею новости,—нехорошо, смутно стает кругом, хлопы все собираются да толкуют о чем-то промеж себя.

— Да, я и сама заметила,— уронила Марылька и, пододвинув к себе зеркало, начала расплетать свои косы,— совсем изменились хлопы. Где и делся прежний

приниженный вид? Теперь и головы держат прямо, и в движениях какая-то гордость, и в глазах затаенная угроза,— это недаром!

— Да, они чуют силу, да и знамения страшные появляются... Ох, быть бедам!

— Какие знамения? — спросила с суеверным страхом Марылька.

— Да вот появилась было прошлой осенью на небе огненная метла, а вот теперь, говорят, все видели по ночам, как на западе сверкали и скрещивались два меча... и то не раз и не два... а то говорят, что многие из замученных козаков повоскресали и ходят мертвецами по селам и бунтуют народ.

— Вздор какой!

— Як бога кохам, правда! Эти мертвецы становятся атаманами загонов, и тогда уж ни пуля, ни меч не берет никого из загона, потому что они, эти мертвецы, заговор знают.

— Не говори мне басен.

— Пани ничему не верит, а вот все говорят и сама я слыхала. Пусть пани выйдет о полуночи в лес да приложит ухо к земле, так ясно услышит, что под землею кто-то кует, вот так и раздается: бух-бух! А то пойдет тукать: ту-ту-ту! Вот как бы двумя молотами кто работал; а то почудится звон или визг стали...

— Что ж бы это значило? — оглянулась невольно в открытое окно Марылька, откуда на нее смотрела слепым глазом черная ночь.

— А то, моя пани кохана,— перекрестилась тревожно Зося,— что нечистая сила кует козакам и схизматам оружие. Да вот даже наш человек рассказывал. Заблудился он третьего дня в Черном бору, так что и ночь застала. Идет да идет, слышит, издали стук доносится, словно вот коваль кует. Только сильный стук,— не простой, видно, коваль. Пошел он на голос, в самую чащу зашел; видит, страшная пропасть внизу, вся непролазным кустарником заросла, а оттуда и стук несется. Пополз он к самому краю обрыва, уцепился за кусты, перегнулся и глянул вниз, да как глянул, так и обмер...— Зося невольно понизила голос до шепота и продолжала, боязливо оглядываясь по сторонам: — Видит, в самом низу пропасти горн устроен, и горн не горн, а что-то такое, что над ним искры огненным столбом стоят, а подле

него куют на раскаленных наковальнях три кузнеца, по виду совсем запорожцы — и чубы, и оселедцы, только над головой вот такие рожки,— приподняла она над головой два пальца,— а на руках...

— Затвори-ка окно, мне что-то холодно,— прервала ее, не поворачивая головы, Марылька и нервно передернула плечами.— Ты вот лучше от прислуги этого толстого пана, что вечером приехал, выведай что-нибудь.

— Я, моя пани, с прислугой не очень якшаюсь.

— Ах, да, я и забыла,— язвительно улыбнулась Марылька,— ты с панством больше!

— Ой, пани слышала! — вспыхнула полымем Зося и продолжала смущенно: — Проходу мне нет, нигде не могу спрятаться. Только я все для пани, пани увидит, еще и поблагодарит.

— Да, верно, — рассмеялась Марылька, — особенно если ты будешь удерживать храбрую шляхту здесь, при нас, а то одним нам теперь опасно оставаться, а мой пан и пан есаул его ежедневно отлучаются по делам, по усмирениям.

— По хорошим делам отлучаются они,— лукаво покивала головой Зося.

— Где же теперь хороших найти? По серьезным, но опасным, говорит муж.

— Ой ли? — подмигнула бровью служанка.

— Что ты хочешь сказать? — взглянула на нее сурово Марылька.

— А то, что пани не знает,— громко начала Зося и, качнувшись к своей госпоже, шепнула ей что-то на ухо.

— Лжешь! — побледнела и поднялась грозно с кресла Марылька.

— Я докажу. Я для пани готова на все,— зачастила тревожно наперсница,— пожертвую собой, а выведаю.

— Довольно! Уйди! — прервала ее жестом пани и, затворив на защелку дверь, упала как подкошенная на кровать.

## IV

Среди мрачного бора, понадвинувшегося стеной к котловине, лежит светлое озеро; бледное, подернутое прозрачною пеленой небо дает ему какой-то молочный отлив, а снопы лучей играют всредине тонким переливом алых

тонов. Вблизи же воды озера кажутся изумрудными; они до того прозрачны, что даже на значительной глубине брезжит сквозь них то бархатное дно с волнующимися нитями водорослей, то обросшие мхом камни с мигающими в расщелинах линиями всполошенных рыб. Почти посредине озера высится над сверкающею золотыми блестками гладью темная мохнатая глыба,— это небольшой островок, весь заросший молодым березняком и жимолостью, с бурыми изломами торчащих среди них скал.

В середине острова совершенно спряталась между зарослями небольшая рубленая хата с двумя хозяйскими пристройками; она не обнесена никакой изгородью, быть может, потому, что самою прочною оградой этому уединенному жилью служит кольцо широких и глубоких вод... Да, с самого островка озеро кажется огромным, ближайший берег отстоит не менее как на полверсты, а дальнейший скрадывается в тонкой дымке тумана. В прибрежном тростнике и у скал не видно ни челна, ни парома, а между тем этот островок не пустынен: тонкая струйка синего дыма, вьющегося из черной трубы, обличает здесь присутствие человека. Но кто он? Беглец ли, скрывающийся от панского глаза, или пленник, заключенный в открытой тюрьме?

Одна из светличек неказистой, словно разлезшейся хаты обставлена довольно нарядно, даже с некоторою претензией на роскошь: низкие стены ее увешаны от потолка до полу коврами; кругом у стен протянулись широкие топчаны, по ним разбросаны мягкие подушки пестрых цветов; глиняный пол закрыт пушистым кылымом; деревянный, из крестообразно сложенных бревен, потолок расписан яркими красками, на нем посредине висит большая лампада; в углу стоит широчайшая дубовая кровать, прикрытая полами розового адамашкового полога. В маленькие подслеповатые окна проникает и днем мало света, так как их обступили дружно березы, а под вечер в светличке ложится таинственный полумрак, навевающий ленивую дрему. В светличке сидит на подушке в углу, пригорюнившись, знакомая нам Оксана. Она за эти полгода несколько похудела и побледнела, но зато характерные черты ее личика и линии стройной фигуры получили полную законченность, последние, так сказать, удары резца художника-природы, и поражают

совершенством неотразимой красы. Затворничество и душевные муки легли на ее прекрасном лице нежною прозрачною тенью и придают ему отражение неизменчивой беспросветной тоски; между черных сжатых бровей легла заметная черточка, глаза от матовой белизны лба и щек, тронутых легким румянцем, словно еще увеличились, а бахрома ресниц удлинилась; чуть вздернутый, но выравнявшийся носик приобрел пикантную прелесть. Теперь ее бледно-алые, красиво очерченные губы энергически сжаты, в прядях черных шелковистых волос потонула обнаженная по локоть рука, на которую дивчына склонила головку.

На кровати сидит, поджавши ноги, какая-то светлоокая и светловолосая молодая девушка с тонкими чертами лица, изумительной белизной кожи и нежным румянцем. Охвативши колени руками, она мерно качается, не сводя теплого взгляда с Оксаны.

Другая, пожилая уже, молодица, сидит, пригорюнившись, на скамейке, подперши щеку рукой. Голова у нее заверчена большим платком, словно чалмой, руки засучены по локти, фартук подоткнут.

В светлице стоит тишина. Сквозь отворенное окно льется теплый, наполненный болотной влагою воздух.

— Скажите мне, Христа ради... на бога,— взмолилась наконец Оксана, устремляя свои черные, подернутые дрожащею влагой глаза то на ту, то на другую из своих стражниц,— скажите мне, где я? Куда меня завезли? Какая ждет меня доля?

Оксана уже здесь, в новом заключении, почти две недели и ничего худого не видит: старшая, очевидно хозяйка, обращается с ней очень ласково, младшая выказывает трогательное сочувствие и даже скрытую жалость, которая прорывается иногда непроизвольною слезой; но эта-то скрытность, при неотступном надзоре, тревожит и пугает Оксану: ее они расспрашивают обо всем, а сами не высказываются и на ее расспросы или отвечают успокоительными баснями, или отмалчиваются, или прорываются иногда на подозрительном слове.

И теперь долго не отвечают союзницы: блондинка, перестав качаться, останавливает на Оксане свои выразительные глаза, а молодица только напряженно вздыхает.

Наконец не выдерживает блондинка долгого, мучительного взора Оксаны и роняет будто про себя:

— Теперь не бойся, дзевойка... скоро, скоро...

— Что скоро? — замирает вся в ожидании ответа Оксана.

— Да что ее смущать? — перебивает торопливо молодица, бросая на блондинку грозные взгляды.— Разумеется, бояться нечего, не так страшен черт, как его малюют: передзеется...* пустяки! А ты у нас как за пазухой...

— Бранкой не будзешь,— вставляет задорно блондинка.

— Бранкой, пленницей?! — вскрикивает, заломивши руки, Оксана.— Так, значит, я снова в неволе? Снова в капкане? Снова обманута?

— Что ты ее, Лександра, пугаешь? — притопнула даже ногою молодица и обратилась ласково, вкрадчиво к Оксане: — Какая там бранка? Это она дразнит, над тобой подсмеивается.

— Надо мной никто не насмеется,— оборвала Оксана, сдвинув свои черные, криво изогнутые брови.

— Никто и не думает...— решила уверенно молодица и добавила: — Да ну его, будет об этом! Идемте лучше полудничать.

Блондинка спустила на ковер ноги; когда она встала, фигура ее оказалась стройною, но несколько грубоватою, лишенною тонких очертаний и изысканной грации. Потянувшись всласть, девушка лениво поплелась к двери.

— А ты, любко, чего не идешь? — обратилась ласково молодица к Оксане.

— Не хочется, титочко, мне и на думку не идет еда.

— Да ведь без еды-то выбьешься из сил.

— А хоть бы и навек!

— Ну-ну, не дури! — закачала головой молодица.— Ты еще и не жила, перед тобою светлая дорога, все в руках божиих, все в его воле! А самой себя изводить грех. Поешь хоть немного, хоть чего-нибудь тепленького.

— Не могу, душа не принимает,— заявила Оксана решительно и легла на топчан, сжимая руками голову, словно от охватившей ее боли.

— Как знаешь, — протянула молодица, окидывая

* Передзеется — перебудеться (*польськ.*).

ее подозрительным взглядом.— Только не гневайся, а дверь-то я, на всякий случай, припру... не ровен час!

Молодица вышла из светлицы, захлопнула дверь и засунула ее тяжелым железным засовом.

Долго лежала Оксана, не переменяя позы, словно окаменелая, с одуряющею тяжестью в голове и тупою болью в сердце, с холодным отчаянием в груди; она ощущала только, что попала вновь в западню, из которой выхода нет. У нее была лишь одна защита — кинжал, но его украли. «Что ж, все равно, можно обмануть надзор и поскорее, поскорее упредить гнусные замыслы. Она знает, где она и для чего. Эта Лександра даже не скрывает. О зверь! Но не удастся! — стремительно приподнялась она на топчане и оглянулась обезумевшими глазами кругом.— Ни крючка, ни бруска, ни гвоздя! А...— екнуло вдруг ее сердце,— кровать: к спинке прикрепить, на шею накинуть и лечь.— Начала было она торопливо развязывать пояс, но остановилась в раздумье: — Удастся ли? Сейчас придут, помешают, удесятерят надзор... Что же делать? Что делать?—схватилась она.— А! Озеро! Уйти... Один скачок — и бесповоротно свободна!»

Этот план разрешил ее лихорадочную тревогу. С лица у нее сбежало судорожное выражение муки и напряженность мысли. Оксана снова легла, желая своим внешним спокойствием усыпить свою стражу. Возбужденные мысли приняли более спокойное течение. «Да, дать вечный покой этому наболевшему сердцу, убежать от позора, пыток»,—вьется вокруг нее неотвязная мысль, доставляя ей даже какое-то наслаждение предвкушением покоя небытия. Оксана вытянулась, закрыла глаза и сложила на груди руки, и ей живо представилась будущая картина: мрак, тишина и безболезненный, непробудный сон... там где-то, далеко от всех лиходеев, кровопийц... «Да, избавиться от них, насмеяться над их зверской яростью даже отрадно! Ну, а дальше, дальше-то что? — раскрыла она тревожно глаза и начала рукой тереть усиленно по лбу, словно желая выдавить из него ответ и на этот жгучий вопрос,— дальше-то что? Грех непоквитованный, незамолимый,— даже приподнялась она на локте и устремила пылающие глаза на небольшую иконку великомученицы Варвары, висевшую в углу.— Господи! Не осудишь же ты меня за то, что я хочу предстать перед тобой

чистой, неоскверненной... Ведь вот и она, святая, согласилась лучше умереть, а не продала своей чистоты душевной за блага... Ну, там каты истерзали ее, а я здесь сама... за это простишь ты мне, боже,— ведь милости твоей и любви нет конца!»

Обессиленная борьбой и придавленная безысходностью горя, Оксана опустилась снова в изнеможении на подушку и безвладно протянула холодные руки: «И кому нужна моя жизнь? Ему? Но он замолк... исчез... и слуха про него нет... Верно, погиб или в сечи жестокой, или на пытке?.. А батько? На Запорожье... Ему и в Украйну только украдкою можно было наведываться... а сюда и ворон не занесет! А Ганна, любая, дорогая, святая? Она бы сама благословила меня скорее на смерть, чем на позор! Ну, и конец! Там увижусь с ними, там и скажу, как любила его, как ради этой любви и порвала постылую жизнь... Да, его уже здесь нет!» — вздохнула она и почувствовала такую боль в сердце, что даже ухватилась рукою за грудь. Вон в ту туманную ночь, когда она слышала крики, стоны и лязг оружия, когда на другой день Комаровский появился с перевязанною рукой,— в ту ночь, очевидно, его и не стало. А потом вскоре явился этот иуда-предатель... И ей припомнились, как наяву, эти желтые белки, эти облыжные речи Пешты, этот фальшивый наезд и этот поджидавший козак, оказавшийся извергом, душегубом Чаплинским... Она обезумела тогда от отчаяния, и в ней тогда же зародилось желание покончить с собой. Но приставленная стража следила за каждым ее шагом, за каждым движением. Мучительно тянулось беспросветное время, и с ужасом ждала она последней борьбы, но нападения не было, и напряжение ее нервов стало ослабевать... К тому же он, Чаплинский, после похищения только раз навестил ее в новой тюрьме и успокоил, что никаких злых думок не имеет, а что вырвал ее от гвалтовника-лиходея... и она начала успокаиваться... Потом, через месяц, кажись, явился к ней молодой шляхтич и тоже заявил почтительно да ласково, что время настало сдать ее, панну, друзьям, но что нужно будет поколесить порядочно... времена-де такие... что он будет ее верным защитником и хранителем, что этим желает он заслужить и себе ласку от славного сотника... Говорил шляхтич так вкрадчиво, так искренне,— трудно было бы

не верить, да и выхода не было. Вот они поехали... И припомнились ей лунные ночи, обнаженные леса, сугробы рыхлого снега, горы, глубокие балки, пустыни, вой волков, днем остановки в трущобах, ночью бесконечные путанья и полное неведение, где и куда они едут? Это неведение ее терзает, загадочное молчание спутника тревожит ее сомнением. А он с каждым днем, по мере удаления в глушь, вздыхает чаще и чаще, не отводит от нее восторженных взглядов, прорывается даже в пылких намеках. Сжимается у нее от тоски, от злого предчувствия сердце.

А вот и поляна с погоревшею корчмой. Боже, как врезалось в память ей это проклятое место!

Вечерело. Небо было покрыто серою грязью, снег таял, в долинках блестели лужи, в воздухе стояла промозглая сырость... Они остановились, вошли в уцелевшую прокопченную дымом пустку. Спутник приказал кучеру принести валежника в развалившийся очаг и съездить потом в какой-то хутор за сеном. Запылали дрова; появились на широкой лаве разные пуделки и фляги. Шляхтич, рассыпаясь в любезностях, стал угощать ее, усердно прикладываясь к ковшу. Но она едва прикасается к снедям и зорко следит за всяким движением своего обожателя, а у него уже разгорелись глаза хищным огнем, на щеках выступила густая краска, бурное дыхание обнаружило прилив диких страстей. С каждым новым ковшом он становился бесцеремоннее...

Но Оксана уже решилась и спокойно ждала его нападения.

— Царица моя, богиня моя! — шептал обезумевший пан, ловя ее руки и ноги.— Люблю... кохаю на смерть! Все отдам, себя отдам... Тебя Чаплинский ждет в свой гарем. Но я дам тебе свободу, только... будь моею, хоть на миг...

— Прочь! — оттолкнула она гадливо его, а сама бросилась к двери; но Ясинский загородил ей дорогу.

— Не уйдешь, красавица... не улетишь, моя пташка! — засмеялся он плотоядно.— Криков твоих тут никто не услышит, кругом бор, и конца ему нет. Мы одни, и ты в моей власти... Но я не хочу злоупотреблять,— захлебывался он, подвигаясь к ней ближе и обдавая ее спиртным дыханием,— я прошу добровольно... сочувствия, я молю ласки. Панна меня с ума свела, я обезумел!

— Не подходи, пан! — закричала Оксана, чувствуя, как ужас сковал ее члены.— Не рушь! Не смей! — защищалась она руками и отскочила в угол, рассчитывая найти на лаве нож, но осторожный шляхтич не оставлял на виду ножей.

— Облобызать только эти пышные щечки...— хрипел, задыхаясь, Ясинский и тянулся руками захватить ее стан.

Она видит устремленный на нее помутившийся взгляд, дрожащие от волнения руки, распахнувшийся его жупан и висящий на ремне кинжал.

— Боже! Спасенье! — мелькнула у ней молнией радость, и Оксана впилась глазами в этот кинжал.

— На бога, пане!.. На один миг образумься и выслушай!.. Стой!.. Ты мне и сам мил! — бессвязно, порывисто говорила она, желая выиграть время.

— Мил? О боже, какое счастье... Я это чувствовал!.. Миг блаженства и чад наслаждения! — шептал он заплетающимся языком.

— Только, мой любый,— уклонялась она от его объятий, — не пугай меня бешенством, дай успокоиться, взглянуть на тебя другими глазами... выпить хоть вместе за наше счастье.

— О, моя крулева! Выпьем, выпьем... и утонем в блаженстве! — потянулся он к фляге.

Этого она только и ждала. Через мгновение сверкнул в ее руке обнаженный кинжал, через мгновение все закружилось в ее очах и покрылось непроницаемою тьмой.

А потом... какой-то мутный, тяжелый, бесконечный сон с мучительным бредом, с неясными образами дорогих лиц. При проблеске сознания вид какой-то старухи... Она неотступно при ней... перевязывает... дает что-то пить... прикладывает что-то приятно-прохладное к ее пылающей голове... и, наконец, полное сознание.

Она в какой-то землянке или шалаше. Теплый весенний ветерок ласкает ее; молодая изумрудная зелень заглядывает в окно и в открытую дверь... Старуха ласкает ее и передает, что пан чуть не застрелил себя от отчаяния, что он, если не простит его панна, убьет себя, что он первый раз в жизни напился и обезумел... что он теперь раб ее. Она смутно слушает старуху, проснувшаяся жизнь и весна навевают ей радости бытия и примиряют со многим. Снова хочется жить, хочется верить и испытать счастье.

Потом долгий процесс выздоравливания. Ее прогулки с бабусей, восстанавливающие ее силы, а потом появление его; но какая разница! Он, коленопреклоненный, молит ее забыть гнусность его опьянения, клянется быть ей верным, скрыть ее от Чаплинского, вернуть в семью. В доказательство этот Ясинский дает ей в руки кинжал, чтобы она могла в каждое мгновенье, при малейшем подозрении, пронзить его грудь; и она начинает надеяться: быть может, господь, спасший ее от смерти, спасет ее и от поругания. Она решается жить, пока возможно, тем более, что теперь в ее руках выход, и снова она доверяется Ясинскому.

## V

Поднявшаяся за дверью суета прервала нить воспоминаний Оксаны. Она вскочила, встревоженная шумом, и вся обратилась в слух. Вдруг двери распахнулись и на пороге появился Чаплинский.

Оксана окаменела. Крик замер в ее груди.

Чаплинский, пораженный ее новою красой, тоже остановился и пожирал ее своими ненасытными выпученными глазами.

— Чего испугалась, красотка? — заговорил он наконец вкрадчивым, слащавым голосом.— Зачем в твоих дивных глазах загорелся испуг? Ведь я не волк, не укушу тебя, моя крошечка! И прежде, и теперь я только желал наделить тебя счастьем. Тебе, верно, наклеветали на меня... и этот дурень, быть может, прилгнул, а ты чуть не наделала глупостей... Разве можно посягнуть лезвием на такую прелесть? — подошел он ближе и стал любоваться своей пленницею, а она стояла безучастно, словно изваянная статуя.

«Ах, какое дивное, обаятельное личико! — смаковал мысленно Чаплинский.— Этот вздернутый носик, эти пухленькие губки».

— Не бойся же, моя ясочка,— погладил он ее рукой по шелковистым прядям волос и коснулся губами ее холодного лба. Это прикосновение заставило Оксану судорожно вздрогнуть всем телом.— Не тревожься, не дрожи, моя девочка,— это от непривычки,— верь, что более могучего и преданного покровителя тебе не найти... я не Комаровский... я тебе дам счастье... Як бога кохам, бу-

дешь меня считать благодетелем... все, что захочешь... всякую волю твою исполню, только не дури!.. Вздумаешь что-либо — тогда не прогневайся!

Оксана повалилась ему в ноги и завопила, рыдая:

— Рятуй, пощади, пане, сироту! Отпусти, ясновельможный!.. На бога, на пречистую деву молю!

Эта неожиданная сцена ошеломила Чаплинского; он опешил, оторопел и начал поднимать обезумевшую от горя Оксану, приговаривая:

— Что с тобой? Успокойся! Все, все сделаю! Я тебе добра хочу... вот увидишь... Ну, успокойся же! Я вот и оставляю тебя, если ты боишься... Ну, будь умницей, я все устрою, что пожелаешь... Только не задумай чего, не обозли меня... Лаской из меня хоть веревки вей... Хоть что хочешь... «За милóсци — трóщи мне косци!» Ну, до свиданья!.. Не бойся, я не зверь!

Оксана рыдала и билась, как подстреленная птица. Чаплинский поцеловал ее торопливо в голову и стремительно вышел, разразясь за дверью ругательствами, обращенными, очевидно, к хозяйке и молодице.

В раздраженном удаляющемся говоре Оксана услыхала такие фразы: «Если вы мне ее не досмотрите, если хоть один волосок упадет с ее головы, если не подготовите, не уговорите, то я с вас живых шкуру сдеру!»

Оксана кинулась к двери, нажала ее плечом, дверь подалась. Через мгновение она уже была на дворе... Оглянулась — никого нет. У берега едва были слышны голоса... отчаливала лодка. Перекрестилась Оксана и стремительно бросилась в противоположную сторону. Вот уже и алая гладь. Но вдруг перед ней словно выросла из земли стройная фигура блондинки.

— Стой! Что ты задумала, дзевойко? — вскрикнула она, запыхавшись, и охватила Оксану руками.

— Пусти меня, пусти! — заметалась Оксана. — На что тебе мой позор? Если имеешь бога в сердце, если у тебя была мать, если у тебя в душе было хоть что-либо святое,— пусти! Дай мне утопить свое горе... Пожалей, пощади! — вырывались у нее с воплем фразы, и Оксана в бессильной борьбе стала целовать ее руки.

— Что ты? Что? — прижала Оксану к груди надсмотрщица.— Не на горе, не на позор я хочу спасти тебя, моя лебедонька, а на счастье... Слушай же, слушай, голубко, больше паны глумиться над нами не

станут, и наш кабан не удержит нас дольше в неволе и тебя не тронет...

— Не поверю, не поверю! Все обман! Никто за нас не заступится! — вопила и билась истерично на руках блондинки Оксана.

— Да стой же, сумасшедшая, слушай: все панские войска разбиты, гетманы лядские в плену, а наш гетман Богдан Хмель... объявляет волю... а панов да ксендзов— всех гонит вон, сюда добирается...

— Да откуда, откуда ты все это знаешь? — вскрикнула, встрепенувшись, Оксана.

— Перевозчик-дзед говорил... Каждый, мол, день являются посланцы... Волынь уже очищает какой-то юнак, атаман загона, и сюда подступает... прозвище какое-то чудно́е... на погоду похоже...

— Кто? Кто? — задохнулась словом Оксана и судорожно вцепилась руками в плечо подруги.

— Ветер... снег ли, что ли... нет... А, Мороз, да — Мороз, либо Морозенко!..

— Боже!.. Прости, прости!! — залилась потоком радостных слез Оксана и упала с мольбой на колени.

Поздно проснулась на другое утро Марылька и узнала от своей покоевки, что пан уехал со вчерашними гостями на какие-то разведки, что выехали все на заре, очень встревоженные, забрав много оружия и десяток конной стражи. Марылька слушала доклады эти безмолвно и безучастно. Вчерашнее потрясение и самоистязание расшатали вконец ее нервы, изнурили организм, притупили чувствительность. Она, утомленная, одевалась вяло, не глядясь даже в зеркало. Зося понимала, что барыня на нее зла, и пробовала различными сообщениями игривого свойства развеселить ее; но пани не улыбнулась даже ни разу, не промолвила слова; только когда уходила Зося, Марылька, не глядя, бросила ей:

— Ну что же, докажешь?

— Не гневайтесь, панийко моя адамантова,— отозвалась та взволнованным голосом и бросилась к руке своей покровительницы.— Не гневайтесь за глупое слово... От души хотела, от чистого сердца известить вашу мосць... Перун меня разрази! А насчет доказательств, так я их добуду... Себя не пощажу, а добуду.

— Ну хорошо, ступай! — уронила брезгливо Марылька и махнула рукой на дверь.

С поникшею головой и с затаенною злобой во взоре вышла из спальни служанка и закрыла за собой дверь.

Несмотря на позднее время, Марылька чувствовала себя словно не выспавшись. Она снова улеглась на канапе и закрыла глаза, но сон не налетал, а какое-то лишь забытье сковывало ей члены. Мысли у нее лениво плелись, налегали своей тяжестью, угнетали волю. Марылька не сознавала ясно, а больше чувствовала, что погружается в какую-то холодную, вязкую тину и что малейшие попытки борьбы еще ускоряют роковую минуту... «Да, тина, тина, тина!» — стучит у нее глухо в виски, словно заколачивает кто крышку гроба.

«Бр-р,— задрожала она,— омерзительные гады кругом, а свет, и тепло, и отрада ушли куда-то далеко, далеко, не дотянуть к ним тонущих рук, не согреть им окоченевшую насмерть! Но неужели нет выхода? Нет, нет!..» — тихо вздохнула она и укрылась, словно от холода, полой кунтуша, отороченного мехом. А между тем в открытое окно лились струи теплого, даже горячего воздуха, насыщенного тяжелым ароматом смолистых растений. «Здесь гниль и тьма,— решила она мысленно,— а там, там мучительная смерть; ничто не спасет, и моя красота, на которую я уповала, оказалась такою ничтожною силой, даже этого падкого к женским прелестям муженька не могла она удержать... Но постой, не верю, быть может... это ложь!» — поднялась Марылька и, спустивши ноги с канапы, стала смотреть как-то безразлично в окно.

За окном блистал во всей красоте яркий солнечный день. Слышалось чириканье птичек, доносился чей-то звонкий смех и говор молодых голосов, теплый ветерок ласково шевелил занавески, висевшие на окнах. Подымавшиеся невдалеке от дома высокие ели словно нежились на солнце, подставляя его горячим лучам свои темные, лохматые лапы; светлые бабочки влетели в окно, покружились в комнате и вылетели снова; несколько мгновений Марылька молча следила за ними, пока они не потонули совсем в голубом сияющем воздухе. Невольный вздох вырвался из ее груди.

«Ах, все живет, красуется и наслаждается жизнью, только я одна обречена на живую смерть в этой жалкой

тюрьме!.. Да нет же, нет,— провела она рукою по лбу,— не может быть, чтобы не было спасения!» Неужели же она при всем своем хитром уме не придумает чего-нибудь? Неужели же ее красота потеряла всю цену? Но что придумать, что предпринять? Здесь жизнь хуже самой мучительной смерти; там смерть — мучительнее этой жизни.

— Ах, будьте вы прокляты, все лживые, трусливые, истрепанные, ненавистные! — крикнула громко Марылька, ударив рукой по подоконнику.

Она снова отошла от окна, улеглась на канапе и начала усиленно думать о каких-то пустяках, чтобы отвлечь мысль от горькой правды и не поддаться вконец отчаянию, даже принялась считать до сотен, пока не заснула тупым и томительным сном... Потом снова проснулась, но не вышла в гостиную и едва прикоснулась к принесенным ей снедям. Так прошел день до вечера, так минуло за ним еще три дня; Марылька не выходила из своей комнаты и не впускала к себе никого. Ясинский несколько раз подходил к двери осведомиться о ее здоровье, просил позволения войти, молил об этом счастье, но получал всегда сухой отказ. В бессильной злобе закусывал Ясинский губы и с затаенными в душе ругательствами отходил от двери. Прежде он всегда мог сорвать свою злобу на хлопах, отданных ему в распоряжение Чаплинским; но теперь Ясинский не решался на эту меру. Он стал смотреть сквозь пальцы на маленькие упущения в хозяйстве и даже вовсе избегал разговоров с «подлым хлопством», да и был прав: не только селяне, но даже и дворовые люди стали держать себя как-то двусмысленно; правда, они еще не решались открыто высказать свою ненависть, но, отходя в сторону, ворчали довольно прозрачные пожелания.

«А, ну вас всех к дяблу! — решил про себя Ясинский.— Погуляйте себе, пока там не усмирят бунта, а тогда мы успеем вас прикрутить!»

И, махнувши на все рукой, он предался вполне той мысли, которая грызла его с самого приезда в Литву. После своего неудачного приступа к Оксане, окончившегося так печально, он решился не приставать к ней больше, зная, что она непременно покончила бы с собою, а вернуться ему к Чаплинскому без Оксаны было невозможно,— это был единственный приют, где была для

него обеспечена хоть не блестящая, но сытая и привольная жизнь. Правда, при нынешних временах он мог бы поступить в надворную команду к какому-нибудь пану,— на прошлые его делишки посмотрели бы сквозь пальцы,— но Ясинский не имел никакого желания сражаться с козаками: он предпочитал это делать в корчме, с веселыми приятелями, за кружкой доброго пива.

Итак, он решился усыпить все подозрения дивчыны. Но близость ее, опьяняющая ее красота и страстная решимость предпочесть смерть позору разжигала его чувственность до бешеного порыва; сдерживая себя, он буквально впивался глазами и в стройные формы девушки, и в ее чистое молодое лицо. После своей болезни Оксана стала еще прелестнее. И благоухающая весна, и их уединенное путешествие опьяняли Ясинского, убивали в нем всякий рассудок, так что к концу путешествия в нем снова окрепла решимость не уступить ее ни за что Чаплинскому. Он нарочно затягивал путешествие, колесил по глухим местам; но в конце концов надо было явиться в Литву, тем более, что ездить дальше по лесам становилось опасно, и вот они прибыли. Первое время он удерживал Чаплинского от свидания с Оксаной, рассказав ему эпизод с кинжалом, но, конечно, умолчав о том, что причиной этого инцидента был он сам. Он просил Чаплинского не показываться Оксане, дать ей отдохнуть, успокоиться и примириться с своим положением, грозя, что в противном случае она поднимет на себя руку. Чаплинский сначала согласился на этот план, а Ясинский тем временем стал рассыпаться перед Марылькою, лелея в глубине души один хитро задуманный план; но терпение Чаплинского начинало истощаться, и вот перед своим отъездом он объявил Ясинскому, что был у девушки, что девушка не испугалась и готова принять его ласки. Уехал он на неделю.

Ясинский понимал, что за это время ему надо решить все дело, но что же именно делать?.. «Выпустить? Как выпустить, когда кругом вода? Рассказать самому обо всем Марыльке? Но ведь она непременно передаст Чаплинскому, что это он открыл ей. Ведь больше никто не знает... А намекнуть? Вот, например, Зосе; она уже что-то и пронюхала... Но нет, нет,— отбросил сейчас же эту мысль Ясинский,— это выйдет тоже неловко... Вот если бы она могла узнать как-нибудь случайно... помимо

меня; но как же и узнать, когда эта пышная пани не желает покинуть свою светлицу?»

Ясинский злобно прохаживался по большой горнице, ожидая появления Марыльки, а час уходил за часом, день за днем...

## VI

На четвертый день Марылька наконец решила выйти из своей комнаты. Эти три дня, проведенные в мучительных думах, наложили суровый отпечаток на ее лицо: вся она похудела, побледнела, выражение лица стало резким, меж бровей легла хмурая складка, запекшиеся губы были плотно сомкнуты. Все это время, отдавшись водовороту своих мыслей, она, словно маниак, возвращалась к одному и тому же решению: «Надо употребить все, что возможно, но только вырваться из этого мизерного положения и устроить свою жизнь».

Эта мысль пожирала ее, жгла огнем. Марылька выбирала возможные планы, предположения, но самые смелые полеты ее фантазии не приводили ни к чему.

В обширной горнице было свежо и тихо; на темном полированном полу лежали длинными, широкими полосами яркие солнечные лучи, врывавшиеся сквозь открытые окна. Марылька прошлась по горнице и опустилась на стул возле окна.

«Зося обещает доказать, да вот до сих пор не несет ничего. А, да что там,— махнула она рукою,— ложь, правда — все равно, лишь бы вырваться отсюда! Но как? Куда?»

Марылька сцепила на коленях руки и, закусивши губу, глянула куда-то в сад, не видя перед собой ничего. Так прошло несколько минут. Вдруг противоположная дверь слегка приотворилась, чьи-то хитрые глазки приложились к щели, затем дверь пошире распахнулась и в комнату вошел Ясинский.

— О боже! — вскрикнул он, сделавши два шага, и остановился словно от неожиданной радости среди комнаты.— Пани уже здесь? Здорова... А я, а я... так измучился, теряясь в догадках, не зная, что подумать... Ведь королева наша так жестока! Она не хотела и одним словом успокоить меня.

— Не может ли пан вместо этих пустых слов сооб-

щить мне что-нибудь о Хмельницком? — прервала его излияния Марылька.

— О, все, все! — протянул напыщенно и подошел к ней Ясинский.— Но в задаток прошу ручку.

Марылька с брезгливою миной протянула ему руку и произнесла нетерпеливо:

— Ну?

— Да что же? — опустился подле нее на стул Ясинский.— Хлопа поймали, отправили в Варшаву, лайдаков разогнали...

— Оставь, пане, мне надоела эта ложь,— резко перебила его речь Марылька,— вы с паном Данилом ловко умеете петь в одно, но я знаю, что Хмельницкого не поймал никто.

В глазах Ясинского мелькнул радостный огонек.

«Теперь удобная минута»,— быстро промелькнуло у него в голове, и он возразил Марыльке с глубоко огорченною миной:

— Что я предан пану Данилу, то так, но пусть не думает пани, что я с ним пою во всем заодно. Есть дела, в которых участие мое гнетет меня, как гробовая крышка... Если б я мог... если б мне позволила пани...

— Да что мне до всего этого?

— Однако... если б пани доверилась...

— Ну?

— Здесь, пани, замешаны и третьи лица...

— Все ваши дела и поступки гадки мне... Прошу пана отвечать мне лишь на то, о чем спрашиваю. Итак, Хмельницкий не пойман?

«Опять сорвалось»,— подумал про себя Ясинский, но поспешил ответить, заглушая свою злость:

— Если пани желает знать правду, то до сей поры шельма еще гуляет со своим сбродом на свободе, но теперь панство решило покончить его одним ударом и двинуло на него коронные войска. Подлый хлоп наделал немало хлопот, а все это наши порядки; нет ни разумных голов, ни умелых полководцев! — Ясинский сделал пренебрежительную гримасу.— Не так бы поплясал у меня этот пес. Я и то не понимаю, почему пан Данило не захотел выйти с ним на поединок... правда, сражаться с хлопом, но... во имя отчизны, по крайней мере, прикончил бы одним ударом эту змею.

— А почему же пан не предложил тогда своих услуг? Ведь он же участвовал в этом наезде?

— Если б я только имел право обнажить меч за богиню моего сердца,— наклонился к Марыльке Ясинский.

Но Марылька отстранилась резким движением и произнесла с холодною усмешкой:

— Дальше, пане, позаботьтесь лучше о своем мече, так как его придется, верно, обнажить скоро не за меня, а за собственную жизнь.— И, не бросивши на Ясинского взгляда, она встала с места и прошла в свою комнату.

Там поджидала ее уже Зося.

— Что ты делаешь здесь? — обратилась к ней с недовольным лицом Марылька.

— Пани, золотая моя,— зашептала торопливо служанка, приближаясь к Марыльке и почти касаясь ее лица своею разгоревшеюся щекой.— Не могла вас вызвать, чтобы тот не догадался, а я все узнала... Уж какой ценой, а узнала: коханка есть, тот сам привез ее... Запрятали у рыбака в хате на озере.

— Ты знаешь где?

— Знаю, знаю. Видела не раз.

— Веди меня.

— Ой, пани, боюсь, как бы пан...

— Я отвечаю за все.

— Может быть, подождем хоть до вечера,— стемнеет...

— Я же говорю тебе, сейчас! — почти прошипела Марылька и глянула строго на Зосю.

Но лицо Зоси дышало жадным женским любопытством, глазки блестели, щеки разгорелись. Марыльке сделалось гадко.

— Ну, что же ты смотришь на меня? — прикрикнула она на свою покоевку, отворачиваясь в сторону.

— Сейчас, пани, сейчас, дрога,— заторопилась служанка, доставая Марыльке прозрачный шелковый платок.

Через несколько минут госпожа и служанка уже пробирались торопливо через сад, по направлению к лесу. Подгоняемая вспыхнувшими снова оскорблениями и злобой, Марылька шла так быстро, что Зося едва поспевала за нею. Они минули сад, просеку, прошли лес и остановились наконец на берегу озера.

Среди зеленовато-голубой глади его, покрытой слепящими блестками солнца, поднимался утесистый зеленый островок.

— Там, пани, вон в той хатке,— указала Зося рукой на остров.

— Лодку! — произнесла быстро Марылька.

Зося бросилась поспешно к видневшемуся у опушки шалашу и через короткое время вернулась в сопровождении сгорбленного, дряхлого старика.

— Перевезти можешь? Я заплачу, сколько скажешь,— обратилась к нему Марылька.

Старик приложил руку к уху.

— Что? Рыбки пани хочет? — зашамкал он.

— Перевезти на остров! — крикнула ему над самым ухом Зося.

— А! На остров? Можно, можно... Я часто вожу,— замотал головою старик и направился к камышам.

Через несколько минут он подъехал на лодке к берегу. Марылька и Зося живо вскочили в нее, и лодка отчалила. Всю дорогу словоохотливый старик рассказывал что-то своим спутницам, но они не слушали его. Марылька молчала, а Зося, затаивши дыхание, наслаждалась заранее, предвкушая скандал и расправу с хлопкой. Наконец лодка толкнулась о берег острова. Марылька и Зося выскочили и, приказавши старику ждать их возвращения, направились к хате.

Дверь в сени распахнулась с шумом; из маленькой дверки налево выглянули две женские головки,— одна молодая, другая старая, — и с подавленным криком скрылись опять. От пронырливой Зоси не укрылось это обстоятельство, но Марылька не заметила ничего. Она сильно толкнула дверь направо и, сделавши шаг, остановилась в Оксаниной комнате.

Испуганная раздавшимся в сенях шумом, Оксана стояла уже среди комнаты, побледневшая, решившаяся на все.

— Оксана?!

— Панна Елена?

Вырвался в одно и то же время крик изумления у обеих женщин, и обе замерли на своих местах. Несколько минут они стояли так друг против друга, не говоря ничего. Марылька впилась глазами в лицо дивчыны.

«А, так вот она, эта коханка, на которую променяли меня, Марыльку! Что ж, хороша, хороша! И кто бы мог подумать, что это простая хлопка, служанка Богдана?»

И злобное, завистливое, не терпящее равных себе чувство сжало сердце Марыльки. Она еще пристальнее стала всматриваться в лицо девушки, даже в каждую отдельную черту ее, проводя мысленно параллель между ею и собой. А Оксана действительно была хороша в эту минуту. Болезнь и горе наложили на ее лицо отпечаток какого-то строгого благородства.

Бледная, похудевшая, с большими темными глазами, с рассыпавшимися надо лбом завитками черных как смоль волос, с решительно сжатыми тонкими черными бровями, она казалась величественною героиней.

«Да, хороша...— повторила про себя Марылька, не спуская глаз с Оксаны.— Но неужели же лучше меня?— И сердце ее боязливо екнуло.— Лучше меня? Нет, нет!— чуть не вскрикнула она вслух и гордо выпрямилась; щеки ее вспыхнули, глаза загорелись.— Подлая хлопка, глаза ее черны, волосы тоже, но разве есть у нее такая нежность и обаятельность, как во мне? О нет,— улыбнулась самодовольно Марылька,— только разврат привлек его сюда, а не красота, не красота!»

И, успокоившись в этой мысли, она сделала несколько шагов вперед.

— Ты здесь, каким образом? — обратилась она резко и высокомерно к Оксане.

— Ой, панно Елена, панно Елена! — вскрикнула Оксана и с рыданиями повалилась к ней в ноги.

Заливаясь слезами, прерывая на каждой фразе свою речь, она рассказала Марыльке, как ее похитили во время субботовского погрома, как она жила у Комаровского, как ее выманил обманом Чаплинский, как Ясинский вез ее, как начал обнимать, целовать и как она решилась лучше умереть, чем перенести позор; как здесь являлся к ней снова Чаплинский, целовал, уговаривал быть послушной и сказал, что вернется через неделю назад.

— Ой, панно Елена, панно Елена,— схватила она руки Марыльки и прижалась к ним губами,— спасите, пощадите меня! Зачем он вернется сюда через неделю, зачем он взял меня? Знаю, я знаю, что меня ждет...

Марылька молчала и сурово смотрела на Оксану.

— Но если вы не можете спасти меня, дайте мне что-нибудь — хоть веревку, хоть нож. Я не хочу жить, я хочу умереть, а они и умереть не дают! — вскрикнула с истерическими рыданиями Оксана; горячие капли слез полились на руки Марыльки.

Несколько мгновений в комнате слышались только судорожные рыдания захлебывавшейся в слезах дивчыны. Марылька молча смотрела на ее припавшую к полу фигуру, на рассыпавшиеся волосы и вздрагивающие от рыданий плечи, но сожаления Оксана не вызывала в ней.

«А!.. Теперь просишь, руки целуешь? — промелькнули в голове ее злобные мысли.— А там, в Субботове, когда я была одна среди вас, как шипели вы все, гады, вокруг меня! Никто бы не захотел спасти меня, никто бы не протянул там мне руки! Но постой, на этот раз ты будешь спасена».

И в голове Марыльки быстро составился план мести Чаплинскому.

«Да, хлопку выпустить тайно, чтобы никто не знал, не предупредил, а самой остаться здесь, поджидать его. О, как будет он беситься, когда увидит, что птичка уже вылетела из клетки, а вместо нее поджидает его в гнездышке разъяренная, презирающая его жена».

Злобная радость охватила жаром сердце Марыльки. Щеки ее зарделись.

«Да, улетела, улетела, и не поймаешь уже никогда!— повторила она с наслаждением.— Я отомщу теперь тебе за все, негодяй,— и за обман, и за позор, и за мою разбитую жизнь!» — прошептала про себя Марылька, тяжело переводя дыхание от охватившего ее волнения.

Оксана подняла наконец голову и, отбросив рассыпавшиеся волосы, взглянула на Марыльку.

— Ох, панно Елена, не смотрите же на меня так грозно! — застонала она, ловя снова руку Марыльки.— Чем же я виновата? Разве я хотела? Ведь меня украли тогда в Субботове, когда злодей украл и вас. Ой, пожалейте меня, бедную, несчастную дивчыну! — заломила она руки.— Бог вас наградит! Некому здесь заступиться за меня! — И судорожные рыдания прервали ее слова.— Я верю, господь послал вас мне на спасение,— заговорила

она сквозь слезы голосом, проникавшим до глубины души, — я так молила его, я так рыдала перед ним, и он услышал мои слезы... Не отталкивайте же меня, панно, не отталкивайте меня! — охватила она руки Марыльки и покрыла их горячими поцелуями.— Я все вам скажу, все, как перед богом... Я люблю Морозенка, того козака, что был джурой у пана Богдана. Так люблю, как душу свою, как весь этот хороший свет! Все он для меня — и батько, и мать, и брат, и жених... мы дали друг другу слово с детства... Ой, панно Елена, вы сами любили,— прошептала она и продолжала страстно, прижимая к губам руки Марыльки,— спасите, спасите меня! Вы можете, я знаю... Всю жизнь и я, и Олекса бога будем за вас молить, рабами вашими станем, на смерть за вас пойдем! Ой, горе ж мое, горе! Мне легче было прежде умереть: я думала, что он умер, а он жив, жив, он ищет, он любит меня! — крикнула она, подымаясь с земли.— Дайте же мне счастья, одну капельку счастья! Хоть увидеть его, хоть глянуть ему в очи, хоть сказать ему, что люблю его всем сердцем своим... или, если не можете уж спасти меня, то дайте мне хоть честно умереть... Чтоб не увидел он своей милой, опозорившей его славное имя навек!

И Оксана снова упала перед Марылькой и, охвативши ее ноги, припала к ним головой.

— Встань,— произнесла Марылька мягким голосом и дотронулась рукой до ее головы.— Встань, я не хочу тебе зла.

Оксана подняла голову и устремила на нее заплаканные, молящие глаза.

— Слушай и запомни. Пан Чаплинский сказал, что вернется через неделю, итак, нам осталось еще три дня. Не дури, не думай делать глупостей и жди, не подавая никому и вида, что пообещала я тебе... Сегодня же я придумаю, как тебя выпустить, и завтра же ночью ты будешь свободна.

— Панно Елена, — прошептала Оксана, задыхаясь, и впилась в нее глазами, — то правда, я буду, я... я...

— Ты будешь свободна,— повторила Марылька.

— Ой боже! До веку, до смерти! Спасительница моя! — крикнула обезумевшая от нахлынувшего счастия Оксана и повалилась, припав к ее ногам.

## VII

Всю дорогу от озера до самого дома Марылька не проронила ни одного слова. Несколько раз бросала Зося пытливые взгляды на свою госпожу, порываясь заговорить с нею, но вид ее был так грозен и суров, что Зося, несмотря на свое крайнее любопытство, не решалась нарушить молчания. Брови Марыльки были крепко сжаты, потемневшие синие глаза глядели каким-то острым сухим взглядом прямо перед собой, зубы нервно впивались в нижнюю губу. Зося знала хорошо это выражение лица своей госпожи и знала, что оно не предвещает ничего доброго. Действительно, затаившаяся в себе Марылька горела одной злобной жаждой мести, не только своему супругу, но всем им, всем окружающим, которых она презирала и ненавидела от всей души. Чаплинского она не любила и с самого начала,— она выбрала его только как лестницу, по которой рассчитывала подняться на недосягаемую высоту; позорные же поступки его, разрушившие эту надежду, возбудили в ней полное презрение к мужу, мучительную злобу и на него, и на себя за свой необдуманный расчет; но все-таки женскую гордость ее еще тешило сознание бесконечной власти своего обаянья над этим человеком,— теперь же, после встречи с Оксаной, и это последнее чувство было разбито.

«Подлый, низкий развратник! — повторяла про себя Марылька, теребя в бешенстве тонкий шелковый платок.— Даже чувство любви и страсти не могло удержаться в его порочной душе! Ах, что ж это с нею? Сон или правда? Да где же девалась ее чарующая красота? Здесь, рядом с нею, можно думать о другой? И о ком же? О хлопке, которая не стоит ее ноги! Ее, Марыльку, обманывать и оставлять для этой твари! Так чего же здесь ждать еще? Сегодня одна, завтра другая, а послезавтра целый гарем, и в конце концов она, Марылька,— опостылевшая, заштатная жена. И когда же затеяли все это? Еще в Чигирине, месяц после свадьбы. И этот Ясинский! О... негодяи, негодяи! — стиснула она до боли зубы, и из груди ее вырвался мучительный стон; казалось, еще одна минута, и Марылька разразилась бы страстным, безумно-горьким рыданьем, но вдруг в глазах ее вспыхнул снова жгучий огонек, и чувство

оскорбленной гордости затушило прилив горя и тоски.— Меня думали обмануть? Но нет, этого вам не удастся!.. Ха-ха-ха! Она всем отомстит! О, как отомстит... как отомстит!..»—повторяла одно это слово Марылька, словно упиваясь прелестью его, и на лице ее выступали красные пятна, тонкие ноздри вздрагивали, ногти судорожно впивались в нежные руки...

Но, собственно, как отомстить, что сделать, она еще не знала, она только чувствовала во всем своем существе жгучую обиду и ненависть, которые должны были найти себе выход или испепелить ее сердце. Так дошла она до самого сада и опустилась машинально на первую попавшуюся скамью... Прошло несколько безмолвных минут, наконец служанке показалось, что грозное выражение лица госпожи уже смягчилось немного, и она решилась заговорить.

— Пани злóта моя так огорчается,— начала она вкрадчивым голосом,— что у меня самой все сердце болит.

— Оставь меня! — перебила ее сурово Марылька.

— Пани гневаются на меня... но чем же я?...

— Иди,— остановила ее сухо, но повелительно Марылька.

Зося хотела было продолжать еще свои оправдания, но, взглянувши на гневное выражение лица своей госпожи, пожала плечами и, склонивши покорно голову, направилась своею легкою походкой к дому. Марылька машинально глянула ей вслед и произнесла про себя медленно: «Хлопку прогнать... Да, хлопку прогнать,— повторила она уже с жаром,— но этого мало, мало... дальше же что? — Ответа не было никакого. Марылька подняла голову и глянула перед собой; кругом было так мирно, так хорошо. Легкие пряди розовых облачков словно уходили в тихую глубину голубого неба; на вершинах сосен горели последние золотые лучи.— Что же дальше?» — повторила с тоской Марылька, сцепивши руки, и опустила голову на грудь. Какое-то оцепенение охватило все ее тело. Вдруг невдалеке от нее раздался знакомый голос:

— Богиня наша здесь! Одна и скучает! А я сбился с ног, ищу и нигде не могу отыскать!

Марылька вздрогнула и подняла голову: прямо через лужайку к ней приближался запыхавшийся Ясинский.

При виде его утихшая на минуту злоба охватила Марыльку с прежнею силой.

— Боялся пан? — спросила она его с ядовитою улыбкой.

— Боялся, чтоб какой-нибудь злой волшебник не похитил у нас наше солнце! — воскликнул тот с пафосом, не замечая ее тона.— Но сердце, верный слуга, подсказало, и вот я у ног нашей королевы! — сбросил он грациозным жестом шапку и остановился, склонивши голову перед Марылькой, словно ожидая ее приказаний.

Но Марылька молчала, не глядя на него.

— Ах! — вздохнул Ясинский, опускаясь рядом с нею на лавку.— Королева наша не подарит меня и взглядом, но если б я мог говорить!

— Что ж, если б пан мог говорить? — повернулась к Ясинскому всею фигурой Марылька и смерила его полным презрения взглядом.— Быть может, он рассказал бы мне, как прислуживается к моему мужу и привозит ему новых коханок?

При этом слове Ясинский вздрогнул и невольно отшатнулся от Марыльки; сначала он хотел было обратить слова ее в шутку, но, взглянувши на ее лицо, он понял, что Марылька знает все.

— Пани знает? — вырвалось у него неожиданно.

— Да, знаю,— ответила громко Марылька, бросая на него вызывающий взгляд.— Ну, что же теперь скажет пан?

Ясинский опешил; это известие поразило его сразу. «Как? Откуда? Кто сказал?» — промелькнуло у него в голове. Но все равно: сама судьба постаралась за него, значит, надо ковать железо, пока горячо, и, едва скрывая свою радость, он уверенно поднял голову. Марылька смотрела на него злобно и насмешливо, словно наслаждаясь его испугом и смущением.

— Что ж, если пани знает, то я могу теперь сказать о том, что терзало мою душу и день и ночь,— заговорил он уверенно и искренне, забрасывая красивым движением волосы назад.— Да, я привез сюда эту девушку, но, клянусь своей честью, я не знал, откуда она и зачем. Я думал, что пан староста желает подарить пани смазливую покоевку... А чтобы решиться на такое дело...— он оборвал слова, словно не решался досказать ужасную

мысль, и продолжал с новой горячностью,— пани видала, что я не раз искал с нею разговора, искал уединения, чтобы передать все это... Я уж не в силах был скрывать, но пани отталкивала меня!

Марылька посмотрела на него с недоумением; она была уже готова поверить шляхтичу. Его голос был так искренен, в словах не было ничего неправдоподобного, при том же Марылька вспомнила, что он действительно искал с нею сближения не раз... А Ясинский, заметивши благоприятное впечатление от своих слов, продолжал смелее:

— Да, пани только опередила мое желание... Одна лишь боязнь вмешиваться в семейные дела удерживала меня до сих пор, но сегодня, когда я окончательно убедился в том, что пан подстароста не ценит пани так, как требуют того ее добродетель и красота, я решился открыть все. И вот, пани, мой план,— заговорил он быстро, взволнованным голосом, — надо воспользоваться временем: пан подстароста вернется не раньше, как завтра к вечеру. Если мы сегодня выпустим хлопку, то к завтрашней ночи она успеет далеко уйти. Пожалуй, я даже согласен провести ее, чтобы кто-нибудь не поймал и не представил назад. Да и жаль бедную дивчыну! — произнес он с грустным вздохом, но тон вышел неестественный.

Марылька вздрогнула и насторожилась.

— Когда же пан подстароста вернется домой, пани скажет ему, что из экономии бежала какая-то хлопка, а я отправился догонять ее, затем я вернусь и скажу, что догнать не мог, и все кончится к общему благополучию! — оскаблился хищно Ясинский, потирая руки.

Вначале Марылька готова была согласиться с ним; но при последних словах его какое-то смутное подозрение шевельнулось в ее душе. Марылька пристально взглянула на Ясинского, на его хищную улыбку, на это жадное, нетерпеливое потирание рук, и вдруг в ее уме встали недосказанные слова Оксаны, которые она пропустила было без внимания, и в одно мгновение все стало ясно ей.

«А, понимаю твои намерения, подлый хитрец! — чуть было не вскрикнула она вслух.— Обмануть меня вздумал... Но погоди, Марыльку трудно надуть! Ха-ха!.. Ты

думал сам воспользоваться хлопкой! Рано потираешь руки!.. Ух, гады, твари! Всем отомщу вам, всем, всем!»

Злобная усмешка промелькнула по ее лицу, но Марылька сделала над собой усилие и отвечала с приветливо-грустною улыбкой:

— От души благодарю пана за сочувствие к моему горю; но, принимая его услугу, нахожу некоторую ошибку в его плане. Видишь, пане, если мы отправим хлопку без пана Данила, то он, возвратившись, может прийти в такое бешенство, что подымет всех слуг и сам вместе с ними бросится догонять ее, а ведь слуг не заставишь молчать! И тогда всем, участвовавшим в побеге Оксаны, достанется плохо... Поэтому я думаю дождаться пана Данила, и будь, пане, уверен,— сверкнула она глазами,— что после моего разговора он сам не захочет держать ее здесь, а тогда я попрошу пана проводить ее до Волыни; девушке я не желаю зла...

«Ну, это мне все равно: выгонишь или отпустишь, а из рук моих она уже не уйдет!» — подумал про себя Ясинский и шумно воскликнул:

— Досконально! Богиня наша прозорливее Соломона... Ручку, пани, единый поцелуй... и жизнь моя...

Но в это время подле них раздался какой-то шорох. Ясинский поднял глаза, и недосказанная фраза замерла. Перед ними стояла запыхавшаяся, испуганная Зося... В наступившем сумраке цветущее лицо ее, искаженное ужасом, казалось теперь зеленым.

— Ой, пани, скорее! На бога! Несчастье! Там панство из Волыни просит приюта! — произнесла она прерывающимся, дрожащим голосом...

— Что, что такое? — поднялись вместе и Марылька, и Ясинский.

— Смерть, смерть! Погибель! — вскрикнула Зося и, разразившись истерическим рыданием, бессильно упала на скамью.

В сенях и в светлице будынка теснилась между тем шляхта, ожидая самой хозяйки. Женщины сидели, прижимая к себе детей, мужчины взволнованно ходили по комнате или, сбившись в небольшие кучки, вели о чем-то тихий разговор. Лица всех были бледны, измучены, женщины тихо плакали, дети боязливо озирались кругом. На дворе стояли нагруженные возы и колымаги, слуги хлопотали возле них, распрягая лошадей. Вдруг двери

распахнулись и на пороге показалась Марылька в сопровождении Ясинского. Лицо ее было взволнованно, испуганно, от быстрой ходьбы грудь высоко вздымалась. Она бросила быстрый взгляд на собравшихся людей и побледнела.

— Что панство может сказать? — начала было она, но принуждена была остановиться... слова не шли у нее с языка.

— О вельможная пани!—подошли к ней шляхтичи.— Не откажи нам в твоем гостеприимстве... Три дня и три ночи мы бежим как обезумевшие, останавливаясь лишь на короткий ночлег в глухих лесах, жены наши измучены... лошади пристали.

— Мой дом — ваш дом, панове, — заговорила с усилием Марылька,— но скажите, на бога, что вынудило вас?

— Да разве пани еще всего не знает? — перебил ее один шляхтич.— Коронное войско разбито, гетманы наши в плену... мы все погибли... горит мятежом вся Украйна... Всюду козаки, зверства, муки, смерть... Уже на Волыни свирепствует загон Морозенка... все жжет, все режет на своем пути, погибель летит за нами по пятам...

— О боже! — вскрикнула Марылька и, пошатнувшись, упала на пол.

Когда она очнулась, то увидела, что лежит уже у себя в светлице. На столе горели свечи. Кругом было тихо, и только издали из трапезной доносился какой-то невнятный, смутный шум. Марылька поднялась и села на кровати. Первое мгновение она не могла сообразить, что с нею случилось, отчего она очутилась здесь в такое время одна, отчего у нее так невыносимо болит голова?.. Но вдруг из отдаленной светлицы до нее донеслись голоса собравшейся шляхты, и вся ужасная действительность встала сразу перед ней; холодный пот выступил у ней на лбу. Марылька вздрогнула с головы до ног и, встав с постели, остановилась посреди комнаты.

— О матка свента! Что ж будет, что будет теперь?!— прошептала она, глядя бесцельно перед собой расширившимися от ужаса глазами.— Смерть... козаки... пытки!— словно струя холодной воды побежала по ее спине.— Ох, спасенья, спасенья! — вскрикнула она с истерическим рыданьем и упала в кресло.

Она жаждет жить! Она не хочет умирать!.. Но кто же защитит ее? Чаплинский? Трус, тхор! Он убежит, а она достанется хлопам на зверства и пытки. Морозенко со всем войском сюда идет, зачем он идет сюда? Чтоб ее найти, найти и замучить,— похолодела снова Марылька.— Ох, не будет той пытки, которую Богдан не придумает для нее! Ведь все это восстание он поднял из-за нее, все эти потоки крови из-за нее, из-за Марыльки! Вот и эти паны бегут сюда, как испуганные зайцы, скрываются в лесах, в болотах и не знают, что это она, Марылька, всему причиной, что это место самое страшное во всей Польше, во всей Польше, да! И кто же потрясает теперь все государство? Гетман Богдан Хмельницкий, тот самый Богдан, который лежал, как покорный раб, у ее ног.

— Гетман, гетман! — повторила каким-то опьяненным голосом Марылька и, схватившись за голову руками, погрузила пальцы в рассыпавшиеся золотые пряди волос.— Все перед ним трепещет, все падает в ноги,— зашептала она,— коронное войско разбито, в плену гетманы, бледнеет панство от одного имени его. О матка свента!—поднялась она с кресла и остановилась посреди комнаты; грудь ее высоко вздымалась, лицо пылало, глаза блестели каким-то лихорадочным блеском, распустившиеся золотые волосы спускались до колен; ее можно было принять за опьяненную вакханку.— Какой герой, какая сила! — шептала отрывисто Марылька.— В его руках теперь судьба всей Польши, он может разметать все и сделаться сам королем. Ох! — протянула она вперед руки, словно ей не хватало воздуха. И она могла бы управлять этой силой, одним пальцем направлять ее туда, куда было бы угодно ей, и всю силу он употребил бы ей, Марыльке, на счастье, а теперь несет на смерть. Ох, на смерть, на смерть! — вскрикнула Марылька и снова упала в кресло.— Безумная, безумная, что она сделала! Что потеряла! — заметалась она в кресле, ударяясь с диким рыданием головой о спинку его.— Славу, власть, силу! Ах, зачем она погубила себя? Теперь все погибло, погибло без возврата!.. Смерть, муки, пытки!.. Жить! Жить!.. — вырвался у Марыльки безумный вопль,— или убить себя сейчас же, чтоб не испытывать этого ужаса изо дня в день!

## VIII

Дверь в комнату Марыльки тихо раскрылась...

— Кто там? — вскрикнула она, холодея от ужаса.

— Я, пани дрóга, не пугайтесь,— послышался женский голос, и в комнату вошла бледная Зося с красными от слез глазами.

— Ах, это ты...— вздохнула облегченно Марылька.— Скажи мне, что там говорят они, что слышно от слуг?

— Ой горе, горе, пани!..— начала дрожащим голосом Зося, поднося фартук к глазам.— Отовсюду бегут паны, замки пустеют, козаки завладели всем краем, всех убивают, режут, мучат, топят, живым выматывают кишки, обваривают кипящею смолой, сдирают кожу... Тут уже близко, на Волыни... Того и гляди, взбунтуются и наши хлопы. Сам Хмельницкий идет сюда на Литву.

— Сюда?.. Хмельницкий? — повторила Марылька, и лицо ее сделалось совсем бескровным.— Погибли, погибли! — прошептали словно сами собою побелевшие губы.

В комнате стало совершенно тихо. Зося молчала.

— Как ты думаешь,— заговорила Марылька после минутной паузы нетвердым голосом, останавливаясь на каждом слове.— Неужели это за мной? — глаза ее с ужасом впились в лицо служанки.

— А то из-за чего же? Конечно, все из-за пани,— ответила Зося, утирая фартуком глаза.

— Ох, смерть, смерть! — уронила бессильно голову Марылька и словно осунулась вся в кресле.

— Какая смерть? — подошла ближе Зося.— Право, я думаю, мы больше подвергаемся смерти, если будем ожидать здесь хлопского бунта... Хмельницкий — дело другое! И пусть я глупая служанка, но мне сдается, что жить у него нам будет не хуже, чем в этой глуши.

— Жить? — улыбнулась горько Марылька.— Неужели же ты думаешь, что Богдан оставит меня жить, простит мне мою измену?

— Измену?—произнесла полным изумления голосом Зося.— Но разве пани изменяла? Нас увезли насильно, без нашего ведома! Пани сопротивлялась... пани хотела лишить себя жизни с горя, но злодеи стерегли ее!

— Ах, что там! — перебила ее с горечью в голосе Марылька.— Если бы я и стала говорить ему это, раз-

ве бы он поверил моим словам? Ох, недаром же он поднял такой бунт!

— Он поднял его потому, что верит пани! — произнесла твердо Зося и продолжала с воодушевлением: — Разве он знает, что вы по доброй воле ушли от него? Кто был в вашем сердце? Кто может доказать? Ой, нет, нет! Если бы он так думал, он не ездил бы на сейм. На кого же бы он жаловался, если бы думал, что пани ушла сама? Разве он вызывал бы господаря на поединок, если бы не думал, что он силою увез пани? Да и теперь не рисковал бы он жизнью ради той, которая любит другого!

Марылька молча слушала, поддаваясь невольно обаянию хитрой и убедительной речи служанки; под влиянием ее она разгорячилась и сама, и слабая надежда начинала пробуждаться в ее сердце. А Зося продолжала еще горячее:

— Нет, нет, мстить он будет не вам, а пану господарю и вообще всей шляхте. Паны отняли гвалтом его коханую зорьку; те помогали, а те не заступились. Но пани сама... Брунь боже! * Он полсвета вырежет, чтобы добыть вас, возвратить себе отнятый у него скарб!

— Так ты думаешь, что Богдан не презирает, а жалеет и любит меня? — произнесла тихо Марылька, медленно подымаясь с кресла и опуская свою руку на руку Зоси.

— Сгорает! Клянусь всеми святыми, что так! — воскликнула пылко Зося.— О пани, страсть сильнее ненависти, да разве и возможно пани забыть?

— Ой, нет, не та уж я стала,— откинула Марылька грациозным движением головы свои волосы назад,— тоска и горе состарили меня, извели красоту...

— Красота пани слепит, как солнце,— прошептала восторженно служанка.

— Ты льстишь мне! — выпрямилась гордо Марылька и подошла к зеркалу.

Из глубины темного стекла, освещенного ярким светом канделябр, на нее глянул образ гордой и величественной женщины. Целая волна распустившихся золотых волос обрамляла сверкающим ореолом весь ее стройный стан. Из-под тонких соболиных бровей глядели гордо и

---

* Б р у н ь — боронь *(польськ.)*.

уверенно синие, почти черные очи, на нежных щеках горел яркий лихорадочный румянец, и от его жгучей краски еще мраморнее казалась белизна лица; прозрачные ноздри нервно вздрагивали, тонкие, красиво очерченные уста были плотно сомкнуты. С минуту Марылька молчала в гордом восхищении своей обольстительной красотой.

— Да, хороша я,— прошептала она наконец в каком-то страстном изнеможении,— правда твоя, Зося, хороша, как солнце! Против этих чар не устоит никто! Ах, увидеть снова Богдана, овладеть опять его чувством, задушить его, опьянить его страстью... и снова получить над ним безграничную власть...—шептала она в каком-то горячечном гордом восхищении,— оторвать его от хлопских затей, повернуть всю эту силу на дорогу к власти, к могуществу, к славе! И он понесет меня, понесет, Зося, как святыню! Ах, голова кружится! — задохнулась она от волненья, но вдруг лицо ее омрачилось.— Но этого не будет... не будет никогда,— простонала она, закрывая лицо руками,— он не поверит, не поверит... Кругом него шипят против меня все эти ядовитые гады... день и ночь, верно, нашептывают Богдану, чтоб поймал и замучил меня. Ох, эта Ганна, Богун, Ганджа... Как ненавидели они меня! А эта святоша! Своими холодными руками, казалось, готова была впиться в мою тонкую шею. Теперь она, должно быть, безумствует от подлой радости! Ох, Зося,— она заняла теперь мое место и не допустит меня ни за что!

— Все это так, но одно слово пани разрушило бы все их козни и пробудило бы в сердце Богдана и веру, и страсть.

— Слово, слово,—повторила задумчиво Марылька,— но ведь слово ветром не перешлешь.

Марылька рассеянно опустилась на стул. Зося сосредоточенно молчала. В комнате стало тихо. И госпожа, и служанка, видимо, обдумывали все средства, чтобы привести в исполнение хитро задуманный план. Вдруг лицо Марыльки вспыхнуло, глаза загорелись.

— Зося! — вскрикнула она, подымаясь с места и хватая служанку за руку.— Придумала! Есть, есть! Я напишу ему письмо,— заговорила она лихорадочно, торопливо, перескакивая с одной мысли на другую,— мы отдадим его Оксане и выпустим ее... сейчас, немед-

ленно, чем скорее, тем лучше... ты проведешь... деньги, оружие, лошадь... все есть... Я расскажу ей, что мучаюсь здесь, что изнываю от тоски... Что умоляю Богдана спасти меня, иначе руки на себя наложу... О! Он поверит, поверит! Ты слыхала, — Морозенко свирепствует на Волыни... Это ее жених... они любят друг друга. Мы отправим ее туда к нему, и тогда у меня будет около Богдана два верных, преданных лица!

— О пани,— вскрикнула с восторгом служанка,— он будет наш!

— Будет, будет! — подхватила с жаром Марылька.— Но не я... Святая дева вдохнула мне в сердце эту мысль: она послала сюда Оксану. Она, все она! Она видела мое искреннее раскаянье за подлое отступничество, которое я сделала ради корысти моей! Но теперь — не то! Скорее за дело, Зося! И если нам удастся опять завладеть Богданом,— клянусь, — сложила она пальцы и подняла к образу Ченстоховской божьей матери глаза,— всю силу своей красоты употребить на славу нашей католической церкви!

— Аминь! — осенила себя Зося крестом.

По широкой просеке соснового леса быстро подвигалась кавалькада вооруженных с ног до головы людей. В самом центре ее, окруженный со всех сторон всадниками, колыхался на сытом коне пан Чаплинский. Ночь стояла теплая, влажная, лунная. Бледные лучи месяца, западая в глубину лесной чащи, производили какую-то таинственную игру света и теней, пугая боязливое воображение... На Чаплинского, напуганного и взволнованного теми известиями, которые он получил у соседа, эта обстановка производила какое-то гнетущее, невыносимое впечатление. То ему казалось, что среди темных ветвей тихо покачиваются бледные трупы повешенных панов, то ему чудилось, что из-под кустов выглядывают какие-то темные фигуры и, давая друг другу таинственные знаки, снова скрываются в кустах. Каждый шорох, каждый крик ночной птицы заставлял его вздрагивать всем телом.

Молчание наводило на него ужас; когда же он вступал в тихий разговор, он боялся всматриваться в глубину леса, а между тем глаза его невольно впивались в эти

бледные изменчивые тени, дрожащие и бегущие по сторонам.

— А что, Максиме,— обратился он к одному из своих слуг,— скоро ли конец этому лесу?

— Да оно, вельможный пане, кажись, скоро: уже до озера не больше, почитай, пяти верст.

Чаплинский бросил подозрительный взгляд на слугу, и ему показалось, что под нависшими усами говорившего промелькнула какая-то скрытая двусмысленная улыбка. Сердце Чаплинского замерло.

«Почему он улыбнулся? Почему упомянул об озере?.. Здесь что-то кроется... Не ждет ли их у озера засада? Того и гляди, вырвется из чащи какая-нибудь шайка. Ведь они теперь, как стая зверья, шатаются по лесам».

Чаплинский почувствовал, как волосы на его голове начали медленно подыматься.

— Ох, проклятое время,— прошептал он, стискивая зубы,— даже на слуг нельзя положиться!.. На слуг? Слуги-то теперь самые страшные враги.

И Чаплинскому вспомнились невольно все ужасы, про которые он слыхал у соседа. Ему представились словно наяву все зверства восставших хлопов и козаков.

«Уж если здесь, в Литве, осмелились сжечь костел, вырезать в одном городке три тысячи панов... Но возможно ли это? Не басни ли?.. Глупые, чудовищные басни!.. Так нет... Ох...— оборвал Чаплинский течение своих мыслей,— верно, недаром такая молва. Недаром, да... Нет сил здесь дольше оставаться. Кто защитит нас от этих хлопов? Того и гляди, взбунтуются. Надо бежать в какую-нибудь крепость... Триста Перунов! Нет нигде покоя! Да неужели же этот подлый хлоп, этот пес Хмельницкий всех поднимает на бунт? Он, он! И все из-за Марыльки. И какой черт мог подумать, что он осмелится, что у него такие зубы! Подлое быдло, которое запороть надо было канчуками, а вот теперь стоит во главе мятежа! И попадись я ему только в руки. О! Надерет он из меня ремней... Бр-р-р! — передернул плечами Чаплинский.— Просто мороз сыплет при одной только мысли. Ух и зол же он на меня! Лютует, верно, как бешеный волк... И вот теперь бегай от него, как затравленный заяц. Эх,— закусил он досадливо ус,— охота

была связываться!.. Мало ли их, а вот теперь и повесил себе камень на шею. Просто хоть утопись... Куда же отсюда бежать, и не знаю, разве на тот свет... О матко найсвентша! — ударил он себя кулаком в грудь.— Избавь меня от этой обузы! Черт меня дернул взять ее себе на голову; когда бы знал, что такое выйдет, четырьмя бы дорогами обошел. Что в ней, в этой Марыльке, такого? Красота? Да что в ней проку, когда к ней и подойти страшно: капризна, зла, а уж что холодна — так просто жаба. Ну, так пусть и пеняет на себя, не любоваться же, в самом деле, мне на нее, как глупому мальчишке на картину; то ли дело Оксана! Чертенок, огонь!.. Поцелует — обожжет. Да и красотой не хуже. Кой черт! Лучше, лучше во сто крат»,— чуть не вскрикнул он вслух, и перед ним встал обольстительный образ Оксаны, такой, какою он видел ее у Комаровского: с распущенными черными волосами, с бледным от гнева лицом.

И перед Чаплинским одна за другой понеслись соблазнительные картины будущего свидания с Оксаной.

А слуги между тем время от времени нагибались друг к другу и передавали шепотом отрывочные слова. Чаплинский не замечал уже ничего, но вот дорога начала светлеть, лес поредел, и вскоре всадники выехали на опушку.

«Фу ты! Ну, слава господу богу! — вздохнул облегченно Чаплинский, оглядываясь на темную стену леса, оставшуюся за ним.— Здесь все-таки просторнее. А вон и озеро...»

— Гей, хлопцы, скорее! — крикнул он уже смело и пришпорил коня.

Вскоре всадники остановились на берегу озера, в том месте, где колыхалась на тихой воде запрятанная в камышах лодка рыбака. Сначала Чаплинский хотел было приказать кому-нибудь из слуг перевезти себя на тот берег, но после минутного размышления перспектива остаться вдвоем с хлопом в лодке посреди озера показалась ему не безопасной.

«Еще выгонит, шельма, в воду»,— подумал про себя Чаплинский и решил отправиться сам.

— Слушай, Максиме,— обратился он к старшему, отозвав его в сторону,— ты там того... пану Ясинскому

скажи, что я, мол, остался ночевать у соседа и завтра утром вернусь, а мне... гм...— крякнул он,— туда вот к рыбаку надо заехать... Ну, чего ж пялишь глаза?.. Поезжай! — крикнул он нетерпеливо, заметив, что слуга смотрит на него как-то насмешливо.

— Слушаю, вельможный пане,— ответил хлоп.

— То-то ж,— проворчал Чаплинский, влезая в лодку, и, отъехавши на некоторое расстояние от берега, он еще крикнул: — Ну ж, живо, негодяи! Чего еще тут глядите? Я вас...— остальные слова его рассыпались где-то в тихом летнем воздухе, потому что хлопы, не слушая его понуканий, уже мчались во весь опор к селу.

Подгоняемая ударами весел, лодка выплыла на середину озера. Кругом стояла прозрачная лунная ночь; разлившееся на далекое пространство озеро словно застыло в каком-то волшебном сне; вода не зыбилась, не волновалась, и казалось, что лодка рассекала пронизанное месячными лучами стекло. Небо было ясно, безоблачно, недалеко от полного месяца горела ярким огнем одинокая звезда. Чаплинский оглянулся. Берег уже ушел от него; кругом, на сколько глаза хватало, разлилась фосфорически светящаяся гладь воды, и только по берегам смутно выделялись волнистыми силуэтами темные опушки лесов. Посреди озера виднелся зеленый островок, часть белой хаты каким-то серебристым пятном выступала из темной зелени, окно в хате светилось, и при лунном сиянии оно казалось на белой стене хаты каким-то ярко-красным платком. Кругом было тихо, безмолвно, и только звук спадающей с весел воды производил слабый метрический шум.

Но красота ночи не трогала Чаплинского. Это освещенное красным светом окошечко производило на него какое-то возбуждающее, раздражающее впечатление.

Прошло еще несколько минут. Наконец лодка мягко ударилась о берег острова. Чаплинский поспешно вышел из лодки и, даже не привязавши ее к вбитому колу, торопливо направился к хате. В противоположной стороне ее было совершенно темно и тихо. Никто из приставленных молодиц не встретил его. Чаплинский дрожащею рукою распахнул дверь в Оксанину светлицу и остолбенел на пороге...

## IX

Прямо против Чаплинского, выпрямившись во весь рост, стояла Марылька. Казалось, она ожидала его, лицо ее было гордо и злобно, в глазах горел недобрый огонь. Что-то торжествующее виднелось во всей ее позе. Чаплинский отступил назад.

— Ты?.. Марылька?.. Здесь?.. В такую пору?..— произнес он растерянно, совершенно не зная, что подумать и что предпринять.

— Да, я! Ха-ха-ха! — рассмеялась коротким сухим смехом Марылька.— Не думал пан застать?.. Другую, может, ждал?

— Я?.. Другую?.. Брунь боже, моя королева! — путался он, робея все больше и больше.— Никого, кроме тебя. Но изумлен, зачем ты здесь? — подыскивал он слова, а в голове у него в это время стоял один вопрос: «Где Оксана, что с ней, что произошло здесь?.. Не налгали ли на него?.. Но все равно, что бы ни было, надо разрушить подозрения этой тигрицы,— решил он торопливо,— ишь, смотрит как!»

И, проклиная всех на свете, Чаплинский бросился очертя голову на первую подвернувшуюся ложь.

— Видишь ли, золотая моя, я... по дороге заехал сюда к рыбаку...— заговорил он торопливо, глядя куда-то в сторону.— Узнать насчет того... насчет улова.

— Насчет улова?.. И больше ничего? — приблизилась к нему на один шаг Марылька.

— Ну, а... что ж бы могло быть еще, моя богиня?.. Какие дела у меня могут быть с рыбаком?

— Какие дела?.. Пан не знает? — произнесла уже дрожащим от затаенного волнения голосом Марылька и впилась в его багровое от смущения лицо своим острым пронизывающим взглядом.

«Она знает все»,— промелькнуло в голове Чаплинского, но он решился отчаянно идти до конца.

— Богине моей кто-нибудь оболгал меня?—зачастил он, хлопая веками.— Какая-нибудь гнусная ложь взволновала мое ненаглядное солнце... мою бриллиантовую звездочку... Но, клянусь, никого другого нет и не будет... в моем сердце... Никогда... никогда!.. Я летел домой как безумный, чтобы упасть к ногам моей крулевы... Мое появление здесь — простая случайность. Хотел проверить

рыбака... Богиня еще сомневается?.. Но... як бога кохам.. слово гонору! — приложил он руку к сердцу.

— «Слово гонору»,— произнесла протяжно Марылька и медленно приблизилась к мужу, не спуская с него прищуренных глаз.

— Честью шляхетской клянусь.

— Так лжешь же ты, негодяй! — крикнула дико Марылька, отступая на шаг назад.— Нет у тебя чести, как нет и души!

Чаплинский хотел было прервать ее, но было уже поздно. Марылька стояла перед ним, горящая бешенством, и целая волна презрительных, шипящих ненавистью слов обрушилась на него.

— Ты думал обмануть меня и завел здесь целый гарем, а из меня хотел сделать обманутую жену; но знай же, что все мне открыто... Я знаю все!.. И презираю, слышишь... презираю и ненавижу тебя!.. Ты думаешь, быть может, что ревность говорит во мне?.. Ха-ха-ха... Ты мне и прежде был противен, а теперь гадок стал и омерзителен, как жаба, как гадина...— прошептала она полным отвращения голосом и продолжала, почти задыхаясь от бешенства: — Зачем ты уговорил меня бросить Богдана? Зачем ты оклеветал передо мною его?.. Подлый, низкий трус!.. Ты даже боялся встретиться с ним, бежал как заяц и увлек меня в свое позорное бегство. Трус, лгун и развратник!.. Еще клянешься своей шляхетской честью! До сих пор я думала, что ты хоть любишь меня; но этого чувства нет в твоем истрепанном сердце. Со мною рядом, через два месяца после нашей свадьбы, ты заводишь кoханок... Ха-ха-ха! А клялся мне в безумной любви!.. Жалкий лгунишка, я ненавижу тебя, любви твоей мне не нужно, но и коханок я не позволю здесь заводить! Слышишь, не позволю! — гордо выпрямилась она.— Потому что я здесь госпожа!

В начале речи Марыльки Чаплинский было опешил; но когда он увидел, что она уже все знает и что разуверить ее нет возможности, он решил, что церемониться с нею нечего. Злость, брошенная ему в глаза обида, бешенство за сорванное наслаждение клокотали в нем все время и прорвались наконец бурно наружу.

— А это что за речи такие? — заревел он грозно, покрываясь багровою краской.— Пани с ума сошла или белены облопалась? Или она воображает, что в самом

деле она здесь королева и богиня?.. А я ее верный слуга?.. Не позволю?.. Ха-ха-ха! — разразился он наглым смехом и, заложивши руки за пояс, отбросился своим тучным туловищем назад.— Была коханка и будет, на глазах твоих будет! Я здесь господин и муж твой, глупая баба, и будет то, что я захочу!.. Что же ты думала, что испугаюсь твоей шипящей злости?.. Или буду век, как влюбленный пастушок, в твои очи глядеть?.. Много пани на свою красоту рассчитывала, много! Я гадок пани,— ну что же, отлично,— оттопырил он свои усы,— отлично, и пани опротивела мне!.. Но советовал бы впредь молчать и не мешаться в мои дела, а не то... отправляться лучше назад к своему хлопу! И то взял себе на шею обузу, через которую нет ни минуты покоя!

— Какая наглость! — вспыхнула до корня волос Марылька.— Я к пану не вязалась! Пан выкрал меня силой и обманул... Обуза?.. А кто ползал, как пресмыкающийся, у моих ног, умолял, заклинал?..

— Ха-ха-ха! — нагло засмеялся Чаплинский.— Что вспомнила! А пани забыла, что сама писала записки?

— А! Так говоришь ты теперь! — прошипела она, приблизившись к мужу.— Обуза не будет долго тебя отягчать; но как ни беснуешься ты, а на этот раз я предупредила твою подлость, развратник. Птички твоей уже нет!

— Как? Что? — отшатнулся Чаплинский.

— Нет, нет! Я выпустила ее, отправила назад,— произнесла громко Марылька и разразилась язвительным хохотом.

— Ты, ты? — захрипел Чаплинский и бросился бешено к Марыльке.— Так я с тобою не так...

Но Марылька ожидала этого нападения, ловким движением она выхватила из-за спины длинный кинжал и, сверкнувши им в воздухе, произнесла грозно:

— Подальше, пане! Если ты тронешь меня или коснешься, я зарежу тебя, как пса!

Лицо ее было так свирепо, что Чаплинский невольно попятился назад.

— Спеши лучше домой,— продолжала она шипящим голосом.— Собирай свои дóбра, пакуй возы, потому что разбито все ваше польское войско, повсюду разливается пожаром мятеж, и хлопы... вон те хлопы, к которым посылает меня пан, режут пышную шляхту, как баранов!

Морозенко с своим страшным загоном на Волыни всех истребляет и ищет тебя, чтобы отблагодарить за свою невесту. И отблагодарит! Он уже в Литве...

— Езус-Мария! — крикнул Чаплинский, бледнея и опуская сжатые грозно руки.

— А хлоп, которого ты ограбил и оскорбил, этот хлоп стал гетманом,— продолжала дальше Марылька, — и тоже спешит на Литву, чтобы поквитаться с тобою за отнятую жену.

В комнате стало безмолвно. Слышно было только как порывисто дышал Чаплинский; он стоял бледный, обезумевший, с выпученными глазами, приставшими ко лбу прядями мокрых волос.

Марылька не спускала с него своих сверкавших презрением глаз. Ужас Чаплинского, казалось, доставлял ей жадную, хищную радость.

— Что же делать, что же делать? — прошептал наконец Чаплинский трясущимися губами.

— Ха-ха-ха! — отбросила назад свою голову Марылька.— Готовься к бою и встреть своих врагов с оружием в руках.

— Куда бежать, как бежать? Кругом восстание,— продолжал, словно не слушая ее, Чаплинский.

В это время дверь порывисто распахнулась и в комнату влетел бледный, обезумевший от страха Ясинский.

— На бога! Скорее! Спасайтесь! — закричал он, задыхаясь и обрываясь на каждом слове.— Я едва скрылся. За мной гонятся по пятам... Минута промедления будет стоить жизни.

— Что? Что такое? — бросились к нему разом Марылька и Чаплинский.

— В деревне бунт!

По широкой просеке, пролегавшей через густой лес, медленно продвигался сильный козацкий отряд. На глаз в нем было не менее двух тысяч человек. Растянувшись на значительную длину дороги, он напоминал собою темную, извивающуюся змею, блистающую время от времени то стволами рушниц, то щетиною пик, то золотом на шапках кистей. За всадниками двигалась стройными рядами пешая масса крестьян, вооруженных то саблями,

то косами, то самодельными сагайдаками. Знаменитые возы козацкие, окружавшие всегда во время похода отряд, равно как и маленькие пушки, укрепленные на двух колесах, ехали теперь в тылу отряда. Войско шло вольно, без каких-либо особых предосторожностей; громкая, удалая песня окружала на далекое пространство лес; по всему видно было, что предводители настолько уверены в полной безопасности отряда, что даже не считают нужным скрывать его движения. Впереди всего отряда медленно двигался на коне молодой, статный козак. По одежде его видно было, что он только сотник, но, судя по всему остальному, не трудно было угадать, что ему принадлежит начальство над всем отрядом. Его красивое, энергичное молодое лицо, с желтоватым цветом кожи, с черными как смоль бровями и глазами, тонкими, еще молодыми усами, было задумчиво и сурово. Погруженный в свои мысли, он, казалось, не слышал и не замечал ничего, что делалось кругом. Впрочем, настроение предводителя не разделял никто из отряда: среди козаков и начальников слышались шутки, остроты и веселый смех.

— Эх, братие, да и любо ж окропили мы исопом панов в Остроге! — говорил с воодушевлением один из едущих впереди сотников, гигантского сложения козак, с рыжими усами и багровым лицом.— Будут помнить до второго пришествия!

— Если только осталось кому помнить, Сыч! — заметил другой, угрюмого вида, плечистый козак с темным, бронзовым лицом.

— Уж правда, Хмара! — воскликнул горячо один из молодых сотников, с энергичным сухощавым лицом.— Отлились им кровью наши слезы и муки!

— Го-го! Да еще как отлились! — перебил его гигант с рыжими усами.— Досталось от нас панским шкурам, но кольми паче иудеям. Пригоняют это ко мне хлопцы, когда вы отправились в вышний замок, целую кучу жидов... Гвалт, плач вавилонский, стенание и скрежет зубов! — гигант расправил длинный ус и продолжал дальше свой рассказ, смакуя каждое слово.

«Вы чего, — реку, — здесь очутились?» — «Живем здесь, вельможный пане козаче!» — «А с чего живете? Гандлюете, хлеб сеете, землю орете?» — «Ой нет, вельможный пане, арендуем у пана!» — «Что арендуете,

сякие-такие сыны?.. Людей вольных, церкви святые? А! Последнее у христианина отбираете, кровь с него выпиваете, за святую службу деньги тянете, нечистыми своими руками над святынями нашими знущаетесь?» И возопиша тут иудеи гласом велиим: «Ой, пане козаче, пане гетмане! Не наша воля! Что мы?.. Паны нам велят! Панов бейте, панов режьте! А мы вам верными слугами будем, какой скажете окуп... Все гроши наши берите, только пустите живых!» — «Молчите, — кричу, — нечистой матери дети! Те гроши, что с наших братьев натянули, нам даете? Да мы их сами возьмем и назад братам раздадим, а с вас, христопродавцев, по три шкуры сдерем. Берите их, хлопцы, да с вала всех в речку,— плотину сотворим...» Ой, панове, поднялся тут гвалт... Кричат жидки, к небу руки протягивают, а хлопцы их с вала спысами,— так через полчаса никого из них и не стало. Только бульбашки по воде пошли.

— Жаль только, что пан атаман наш торопился,— заметил угрюмо Хмара, — а им бы, псам, не такую смерть.

— Одних ксендзов у меня штук двадцать повесили!— продолжал с воодушевлением Сыч.— А уж что шляхты и ляхвы-челяди — не сосчитать! Говорят, их сбилось в монастыре до двух тысяч — и все остались на месте... Уже больше катувать нас не будут!

— Не будут! Не будут! — раздались громкие возгласы со всех сторон.— За нами уже и Ровно! И Клевань! И Олыка! И Заславль!

— Да что там считать,— перебил всех молодой сотник,— скоро и вся Волынь, и вся Подолия наши будут! Ганджа вон как хозяйничает на Подолье! Рассказывали вчера люди, что взял Немиров и Нестервар, а Кривонос — Брацлав и Красный! Прятались все панки в замки, думали, что замки их защитят, а видят, что не на то выходит, так и пустились теперь отовсюду наутек... Ноги, значит, на плечи, да и пшепрашам!

— Воистину, что бегут, так это верно! — заявил важно Сыч, накручивая на палец конец своего длинного уса.— Так бегут, что и манатки по дороге бросают... И скажи на милость, что это на них такой страх напал? Ведь смех сказать, не обороняются! Часто и сабель не видят, а услышат козаков — так и бегут, аки бараны.

— Потому что им против нас не устоять! Знают, что мы их и голыми руками поберем! — вскрикнул весело молодой сотник.

— Как бы не так! Голыми руками? Эх, расхрабрился ты, Кривуля,— возразил Сыч,— а вот раскинь-ка разумом: ведь нас всего две тысячи, а их сколько? В каждом замке больше, да пушки, да стены, да милиция.

— А за нас все поспольство.

— Что поспольство! У него только и есть, что дреколья да косы!

— Э, нет, брате,— возразил один из седых сотников,— весь край — большая сила.

— Да хоть бы и весь край собрался, так одними косами ему вовек замка не взять! — крикнул горячо Сыч.— Я бы на их месте еще такого перцу задал! Го-го! А вот они не могут нигде удержаться! На что уж Острог!

— Да как же им в замке удержаться, коли их везде их же охрана выдает? — перебил разгорячившегося Сыча Кривуля.— Сам знаешь, и ворота нам открывают, и пушки заклепывают.

— Своих бы слуг ставили, дурни!

— А ихние слуги, думаешь, их помиловали бы? Да они рады-радешеньки к нам перейти и панов своих выдать. Въелись они и им, даром что одной веры!

— Так становились бы сами! Боронились бы! А то только зло берет: негде и разгуляться козаку!

— Постой, постой, еще поспеешь! — вставил свое слово старый сотник с нависшими седыми бровями.— Вот соберут они сильный отряд и выступят против нас.

— А увидят козаков, так и дернут «до лясу»! * Хо-хо-хо! — разразился густым, басистым хохотом Сыч.— Видали мы их и под Желтыми Водами, и под Корсунем. Чего уж лучше! Можно сказать, так удирали, подобравши ризы своя, что им бы позавидовал любой скакун! Хо-хо-хо! А ведь там было все коронное войско и оба гетмана!

— Что паны и гетманы! Вот выступит Ярема!

— Теперь уже им и Ярема ничего не поможет,— заметил веско Хмара,— тут уже что б они не делали,

* До лісу! *(Польськ.)*

как бы ни храбрились, а ничего не помогут, потому что так положено.

— Как? Что? — раздалось несколько голосов.

— Так положено, говорю вам.— Хмара несколько мгновений помолчал и затем продолжал пониженным тоном: — Есть в Киеве, в печерах, один схимник святой; сорок лет из кельи не выходит и не видит никого. Ну, вот ему, когда еще мы только из Запорожья вышли, явился ангел божий. «Так вот и так,— говорит,— господь и святой Георгий Победоносец объявляют тебе, чтобы ты всему народу и козачеству передал, что за многие злодеяния, которые ляхи творили над верою православною святою, отступился от них господь и передал их в руки козакам. Три года будут ляхов везде бить козаки, если только не помилуют хоть одного ксендза».

— Ну, кто бы их миловать стал! — воскликнул невольно Сыч, но тут же замолчал, боясь проронить хоть одно слово из рассказа.

Хмара бросил в его сторону недовольный взгляд и продолжал дальше:

— Так вот и сказал: «Три года их козаки везде бить будут. А чтобы тебе все поверили,— говорит,— так оставляю тебе вот эту бумагу...»

— Ну, и что же, оставил бумагу? — перебил рассказчика с живейшим любопытством Кривуля.

Хмара сжал брови и, не удостоив Кривулю ответом, продолжал невозмутимо:

— Бумагу оставил, а сам скрылся, и когда скрывался, так такой свет всю келью наполнил, что схимник упал на землю да так, как мертвый, и пролежал до утра. Долго он лежал так, а когда встал, вспомнил сейчас про вчерашнее; ощупал себя, осмотрелся, думает: уж не сон ли приснился? Глядь, а тут подле него и бумага лежит, и печать к ней приложена.

— И печать? — вскрикнул Кривуля.— Ну, а ты ж сам бумагу видел? Что в ней написано?

— Видеть-то я видел, а про то, что там написано, сам судить не могу; но люди зналые говорили, что все так, как рассказывал схимник, и подписано, говорят: «Святой Георгий Победоносец, всего небесного войска гетман. Рука власна».

— Вот оно что! — покачал головою седой сотник.— Дивны дела твои, господи!

— Истинно. Хвалите господа в тимпанах и в гуслях! — пробасил Сыч.

Одобрительные замечания, вздохи и благословения имени господнего раздались со всех сторон.

## X

— А знаете ли вы,— продолжал оживленнее Хмара,— в Варшаве что было, когда король преставился? Об этом и все ляхи говорят.

— А что, что? — послышались заинтересованные голоса.

— А то, что среди бела дня открылась королевская гробница и три фигуры в саванах и в золотых коронах...

Хмара понизил голос, собираясь сообщить что-то крайне таинственное, но раздавшиеся в это время со всех сторон удивленные возгласы прервали его слова. Не понимая, к чему относятся они,— к его ли рассказу, или к какому-либо происшествию, не замеченному им,— Хмара поднял голову и повернулся в ту сторону, куда смотрели все его окружавшие.

Во всю длину дороги с нависших ветвей деревьев спускались какие-то длинные предметы, в которых не трудно было узнать человеческие тела.

— Кто-то прошел здесь перед нами — ляхи или наши? — проговорил старый сотник.

Песни умолкли, и все, словно сговорившись, пришпорили коней.

— Наши, панове, наши! — вскрикнул через несколько минут Сыч, поравнявшись с первым трупом.— Ляшки висят! Да сколько их! Го-го-го! Ну и выпал же на них урожай в этом году! Если так дальше будет, то поломают все ветки!

— И недавно, видно, прошли,— заметил Хмара.— Не успело еще воронье слететься, да и трупы свежие.

— А кто бы это был? Может, какой-нибудь отряд, высланный против нас? — спросил, не обращаясь ни к кому, Кривуля.

— Нет,— кивнул уверенно головой Сыч,— надежная милиция... вон и сам пан болтается, ишь, упитанный кабанюка!

— Так, само поспольство, — согласился Хмара,— кроме нас, никого на Волыни нет; Колодка еще очищает

Радомысль, да он далеко. Значит, верно то, что само посполъство, не дожидаясь нас, собирается в загоны и вырезывает своих панов.

— А, так им и надо! — воскликнул Кривуля.— Наша Украйна, и наша здесь воля, а там себе в Польше пусть хозяйничают, как хотят!

— Ну, и в Польше им урвалась нитка,— заметил Хмара,— говорили вчера люди, что, слышно, уже и в Литве, и в Польше народ бунтует; ждут только козаков[1].

— Ну? — раздалось сразу несколько недоверчивых голосов.

— А то что же? Ведь всем равно—и ляхам, и нашим, и литвакам — батько Хмель волю обещает и землю... Так что ж им на своих панов смотреть? Въелись они им не хуже нашего!

— Верно! — рявкнул Сыч.— Да бей меня нечистая мать, когда мы не приведем теперь к батьку не то всю Волынь, а и всю Литву белоглазую!

— Да все хорошо, только вот плохо, что пан атаман наш зажурился вельми,— вставил Хмара.

— А вот я его сейчас розважу! — вскрикнул шумно Сыч и, пришпоривши коня, поскакал к ехавшему впереди молодому сотнику.

— Чего, сынку, загрустил,— обратился он к нему весело,— не видишь разве, какие на дубах груши повырастали?

— Вижу, батьку, — поднял голову сотник, — и радуюсь за бедный люд, что набрался он силы ломать свои ярма.

— Ну так что же? Кажись, все нам благопоспешествует и вести от товарищей добрые доходят.

— Эх, батьку,— вздохнул козак,— так-то оно так, да человек все о своем думает!

Лицо Сыча омрачилось. Всадники замолчали. Вдоль дороги все еще тянулся ряд висельников. До Сыча и до молодого сотника долетали громкие шутки и остроты, которыми козаки приветствовали застывших мертвецов.

— Гм-гм! — откашлялся наконец Сыч. — Да ты, Олексо, того... не теряй надежды! «Толцыте, убо и отверзется»,— говорит писание. Ну вот я и уповаю. Видишь ли, когда пошел по всему краю такой переполох, то и пану Чаплинскому, думаю, никакая пакость в го-

лову не пойдет; ему-то, почитай, еще больше, чем другим, дрожать за свою шкуру подобает...

— Так-то, батьку, да ведь до сей поры сколько времени ушло; ведь украл он ее еще зимою, а теперь уже лето; чего не могло случиться за такой срок?

— Оксана — козачка, сыну, да еще и моя дочка; бесчестья она не перенесет.

— Знаю, батьку, потому-то и думаю, что нет ее больше на белом свете.

— Охранила же ее, сыну, десница господня в когтях у Комаровского, сохранит и у Чаплинского,— будем надеяться на божье милосердие.

— Да хотя б же знать, где этот Чаплинский, батьку? Вот нет же его нигде,— вздохнул козак,— ведь две недели уже колесим по Волыни, а и следу не можем отыскать. Провалился, словно никогда и не бывал здесь...

— Дай время — отыщем. Перепотрошим весь край, а отыщем или хоть след найдем!

Морозенко молчал, Сыч тоже умолкнул, и всадники поехали рядом, не прерывая своего молчания. Через несколько времени лес начал редеть, и вскоре козаки очутились на опушке.

— Вот мы и из лесу выехали,— объявил Сыч, придерживая своего коня,— а теперь куда? Э, да мы на дороге и стоим,— так прямо,— вон еще что-то чернеет вдали. Ну, гайда ж! — присвистнул он на коня; лошади ускорили шаг и двинулись вперед.

Дорога тянулась среди волнующихся светлых серовато-зеленых полей пшеницы и ржи. Кругом не видно было ни хуторов, ни деревень; до самого горизонта раскинулась все та же волнистая равнина, и только по краям ее темнели кое-где синеющие полосы лесов.

— Ге-ге, сыну, а посмотри-ка, что это там при дороге лежит? — прервал неожиданно молчание Сыч, указывая молодому сотнику на какой-то громоздкий предмет, черневшийся невдалеке.— Рыдван, ей-богу, рыдван (род старинной кареты). А я думал — курень! Ишь, бисовы паны,— осклабился он,— как улепетывали! Смотри, даже коней не выпрягли, а просто постромки перерезали! Видно, много холоду нагнало им хлопство! А может, про нас услыхали, да и поспешили спрятаться в лесу. Много ведь их теперь по непролазным чащам... Ха-ха! Теперь узнают и они хлопскую долю!

— Да, узнают,— повторил молодой сотник и сжал сурово брови,— я им припомню все! Будут от одного имени моего замертво падать!

— Да они и так тебя, сыну, горше смерти боятся! Слышишь, люди прозвали тебя Морозом, потому, говорят, от одного имени твоего паны бледнеют, как от мороза трава.

— Прозовут, батьку, еще и карой божьей. Растоптали они мое сердце, так пусть и не дивятся, что я зверюкой стал!

Сыч ничего не ответил; разговор прервался. Вскоре к козакам присоединился и весь остальной отряд. Кругом расстилалась все та же волнистая убегающая равнина. Так прошло с полчаса. Отряд подвигался все вперед, не встречая никого на своем пути. Козаки продолжали свои разговоры и предположения; Олекса же весь отдался мыслям об Оксане. Наконец в отдалении показались смутные очертания каких-то построек, и вскоре перед козаками вырезался на пригорке панский дом с множеством служб, обнесенный высокою стеной, а за ним внизу обширная деревня.

— Малые Броды, сыну! — подскакал к Морозенку Сыч. — Говорят люди, что здесь народ все горячий, сейчас пристанет к нам, а паны лютые известны на всю округу, только их мало, если к ним не прибилось еще шляхты.

— Управится с ними и Кривуля! — махнул небрежно рукой Морозенко и обратился к козакам: — Ну, панове, работы здесь, видно, будет немного; бери ты, Кривуля, свою сотню, скачи к дому, перевяжи всех, зажги все кубло (гнездо) и спеши с панами ко мне в село, там мы учиним им и суд, и расправу.

Молодой сотник поклонился атаману и поспешил исполнить его приказание; Морозенко же направился с остальными козаками прямо к селу. По дороге козакам встретилось несколько коров и лошадей, бродивших без пастуха по паше.

— Гм,— промычал про себя Сыч, покачивая головой,— что ж это они хозяйский хлеб выпасают, а никто их не загонит?

На замечание его не последовало никакого ответа. Морозенко пришпорил коня; козаки не отставали. Шутки, смех и говор умолкли.

Вскоре перед козаками показались высокие мельницы с неподвижно раскинутыми крыльями, а затем и сама деревня.

Уже издали и Сыч, и Морозенко заметили какую-то мертвую тишину, висевшую над деревней, когда же они въехали в разрушенный коловорот *, то глазам их представилось ужасное зрелище.

Окна и двери в хатах были выбиты и распахнуты настежь, сараи изломаны, скирды и стоги разбросаны,— очевидно, чьи-то нетерпеливые руки жадно отыскивали во всех возможных местах своих беззащитных жертв, да и сами жертвы, валяющиеся то здесь, то там на порогах своих жилищ, погребов и сараев, свидетельствовали о справедливости этого предположения. Это были по большей части женщины, дети и старики. Молча, понурив головы, проезжали козаки мимо этих ужасных, исковерканных трупов. Улица вела на площадь. Здесь козакам представилось еще более ужасное зрелище. Вокруг всей площади, окружавшей ветхую деревянную церковь, поставлены были наскоро сбитые виселицы и колья. На каждой виселице качалось по несколько трупов поселян. Вид их был так ужасен, что даже у закаленных во всяких ужасах козаков вырвался невольный крик. С некоторых из трупов была до половины содрана кожа, у некоторых трупов чернели обуглившиеся ноги, другие висели распиленные пополам, третьи представляли из себя безобразную массу без рук, без ног, без ушей и языка. Среди повешенных виднелись там и сям посаженные на кол, застывшие в нечеловеческих муках трупы; их мертвые глаза были дико выпучены, лица перекошены, из занемевших в муках ртов, окаймленных черной запекшейся кровью, казалось, готов был вырваться раздирающий душу вопль. На деревянной колокольне слегка покачивалась человеческая фигура в длинной священнической одежде, с седыми волосами и двумя кровавыми впадинами вместо глаз. Всюду на земле виднелись следы потухших костров, валялись обгорелые, расщепленные иконы, брошенные дыбы, железные полосы, клещи...

Издали трупы казались совершенно черными от

---

* Коловорот — ворота, устраиваемые при въезде в деревню. *(Прим. в першодруку)*.

облепившего их воронья. При въезде козаков птицы поднялись в воздух с громким хлопаньем крыльев и закружились черною тучей над площадью, издавая резкий, пронзительный крик, словно угрожая смелым путешественникам, нарушившим их покой; только некоторые, более дерзкие, продолжали с остервенением вырывать из трупов клочки почерневшего мяса, посматривая хищными глазами на въезжавших на площадь козаков. Молча останавливались козаки и молча смотрели на эту немую картину, так громко говорившую о страшной, немилосердной расправе.

— Эх, бедняги...— вздохнул наконец Сыч,— не дождались нас! Ну, да ничего, идите к богу спокойно, мы справим им добрые поминки по вас!

Все молчали. Так прошло несколько тягостных минут. Наконец заговорил Морозенко:

— Что ж, панове, предадим товарищей честной могиле, чтоб не терзала их поганая галичь...

— Добре, добре, пане атамане! — зашумели кругом козаки и, соскочивши с коней, принялись поспешно за работу.

Вскоре к козакам присоединился и Кривуля со своей сотнею и сообщил Морозенку, что в панской усадьбе не оказалось ни одной души, что все добро, которое получше, очевидно, забрано с собою, а остальные пожитки валяются, брошенные в поспешных сборах.

— Кто ж кого тут повесил раньше? — произнес, приподымая глубокомысленно брови, Сыч.— Паны хлопов или хлопы панов?

— Видно, здесь прошел сильный польский отряд,— ответил Морозенко.— Надо разослать кругом разведчиков; разузнаем все и двинемся к нему навстречу.

Через час глубокая могила была уже вырыта. Уложивши все трупы рядами, козаки столпились вокруг чернеющей ямы. Все обнажили головы; Сыч прочитал короткую молитву и бросил первый комок земли; каждый последовал его примеру; с глухим шумом посыпалась на обнаженные трупы сырая земля. В продолжение нескольких минут ничто не нарушало этого мрачного шума. Через четверть часа на месте братской могилы возвышался уже высокий холм.

— Вечная память вам, братья! — произнес тихо Сыч, когда последняя лопата земли была высыпана на холм.

Козаки молча перекрестились, вбили посредине наскоро сделанный крест и медленно разошлись по сторонам.

Через полчаса в опустевшей деревне было снова безмолвно и тихо, только всполошенные вороны все еще реяли над могилой черными стаями, издавая свой мрачный, зловещий крик.

Проехавши верст с десять, Морозенко решил сделать привал и разослать по сторонам разведчиков, чтобы собрать необходимые сведения. В виду последнего обстоятельства, решено было стать укрепленным лагерем. Козаки сбили возы, расставили часовых и маленькие пушки. Не расседлывая лошадей и не разводя огня, они подкрепились сухою пищей и стали ожидать возвращения товарищей. Наступил тихий летний вечер, а затем и светлая, звездная ночь. Разведчики не возвращались. Решено было ждать их до утра. Распустивши лошадям подпруги и задавши им корму на ночь, козаки улеглись спать. Скоро в лагере стало совершенно тихо; иногда только сквозь окутавшую его тишину прорывался чей-нибудь богатырский храп или крепкое козацкое слово, произнесенное во сне.

Завернувшись в керею, Морозенко несколько раз переворачивался на своем жестком ложе, состоявшем из охапки травы да положенного под голову седла, но сон на этот раз решительно уходил от него. Провалявшись так с полчаса, козак поднялся и, севши на земле, задумчиво оглянулся кругом.

## XI

Ночь уже совершенно раскинулась над землею; весь свод небесный горел мириадами ярких звезд; с поля веяло свежим ароматом пшеницы и ржи. Кругом было тихо; слышались только слабые окрики часовых да сухой шелест пережевываемой лошадьми травы. Глубокий вздох вырвался из груди козака.

Где-то теперь Оксана? Что думает, что делает? Быть может, плачет, тоскует, думает, что Олекса забыл ее и оставил на истязанья хищным зверям? А Олекса душу свою готов бы был запродать, чтоб только отыскать малейший след, да нет вот нигде и ничего!

Козак поник головой и задумался. Вот уже две

недели, как он углубляется со своим отрядом в Волынь, разузнавая у всех относительно Чаплинского, и не может отыскать ни малейшего его следа. Что бы это значило? Куда он скрылся? Где дел дивчыну? Да и жива ли она еще? Быть может, он, Морозенко, разыскивает Оксану, живет одной надеждой увидеть ее, а труп ее давно уже лежит на илистом дне какой-нибудь холодной реки... «Нет, нет! — вскрикнул Морозенко и поднял голову.— Не может этого быть! Правду говорят Ганна и Сыч: если господь спас ее у Комаровского, он сохранит ее и у Чаплинского! Она должна жить: она должна же знать, что он пробьется к ней, хотя бы ее охраняло все коронное войско, пробьется и вырвет из этого вертепа!» Козак сбросил шапку, провел рукою по волосам и поднял глаза к небу. Прямо над его головой горела своими великолепными семью глазами Большая Медведица; направо, высоко над горизонтом, лила тихий свет какая-то большая, светлая звезда, и отовсюду, со всех сторон этой глубокой синей бездны, смотрели на него те же тихие звезды, протягивая к земле из недосягаемой глубины свои светлые трепещущие лучи. «Быть может, и Оксана в эту минуту также глядит на звезды и думает обо мне!» — пронеслось в голове козака.

— Голубка моя бедная! Горлинка моя малая! — прошептал он тихо и опустил голову на грудь.

А давно ли еще они вместе смотрели малыми детьми на Чумацкий Шлях, на Волосожар, на Чепигу (названия созвездий). Эх, поднялась буря господня, рассеяла, разнесла всех, а когда соберутся все снова, да и соберутся ли,— ведает один бог!

Морозенко оперся снова головою о руки, и перед ним поплыли одна за другою картины прошлой юности и детства.

Вот он видит себя молодым козачком, сидящим рядом с Оксаной перед пылающею печкой в бедной дьяковой хате.

— Олексо, когда ты вырастешь, ты женишься на мне? — спрашивает дивчына, смотря на него своими большими карими глазами, и обвивает его шею тонкими ручонками. И от этих слов в сердце козачка загорается такое светлое, горячее чувство к этому маленькому, доверчиво прильнувшему к нему существу. При одном воспоминании об этой минуте Морозенко почувствовал

снова, как его сердце забилось горячо и сильно, а глаза застлал теплый туман... А затем эти тихие, счастливые дни жизни у Богдана... Юные радости и горести, его краткие приезды с Запорожья, встречи, прощанья... Первые недосказанные слова пробуждающейся любви, и затем та прозрачная, лунная ночь, когда он снова целовал заплаканные очи дорогой дивчыны, целовал не как ребенок, а как славный запорожский козак...

И снова воображение развертывало перед ним картины пережитой юности, и снова вставал перед ним образ Оксаны — то маленькою, заброшенною девочкой, то стройною, красивою дивчыной, но всегда любящей, всегда дорогой...

Уже свод небесный начал бледнеть на востоке, когда усталый козак заснул наконец крепким предрассветным сном.

Утром вернулись в лагерь разведчики и сообщили, что в этой местности действительно прошел недавно сильный шляхетский отряд, составленный из надворных милиций разных панов, что шляхта казнит по дороге всех,— и правых, и виноватых,— и ищет Морозенка, но что все народонаселение ждет только сигнала и готово подняться, как один.

— Отлично, панове! Ищут нас ляшки, так и поспешим же им навстречу! — вскрикнул весело Морозенко.— Пусть принимают желанных гостей!

Через полчаса лагерь был уже снят, и козаки двинулись по направлению, указанному пришедшими с разведчиками крестьянами.

Утро стояло свежее, погожее. Разославши по сторонам маленькие передовые отряды, козаки бодро подвигагались вперед.

Чистый, живительный воздух и яркий солнечный свет прогнали грусть и печальную задумчивость, навеянные на Морозенка меланхолической ночью; сегодня все казалось ему уже в более отрадном виде; уверенность в возможности отыскать Оксану росла все больше и больше; с каждым шагом коня, казалось ему, уменьшается разделяющее их расстояние и близится так мучительно ожидаемый час свиданья. Эх, скорей бы повстречаться с этим отрядом! Там, говорят, собралось много шляхты; не может быть, чтобы никто не слыхал о Чаплинском;

отыскать бы его скорее, вырвать свою голубку, спрятать ее в верном местечке, а тогда хоть на смерть!

Подогреваемый такими мыслями, Морозенко невольно горячил своего коня, возмущаясь медленным движением отряда.

— Чего это ты так басуешь, сыну? — крикнул, догоняя его, Сыч.

— Эх, батьку, да ведь если мы таким ходом будем идти, то и двадцати верст не сделаем в сутки.

— Отряд скорее не может: возы, гарматы да пешее поспольство, которое пристало к нам.

— Знаю, знаю! — закусил нетерпеливо ус Морозенко.— Ну, что ж делать? Поеду хоть сам вперед, посмотрю, не узнаю ли чего нового?

— Неладно, сыну!

— Э, что там, сторона своя. Панов нету.

— А отряд?

— Пошли же вперед наши разведчики.

— Ну, как хочешь, а я тебя самого не пущу,— решил Сыч,— возьмем еще козаков с десяток, тогда пожалуй.

Морозенко согласился с ним и, передавши временно начальство над отрядом Хмаре, двинулся с Сычом и с десятком козаков вперед.

Перед козаками расстилалась все та же волнистая равнина, дорога извивалась и терялась в цветущих полях и лугах; только веселое чиликанье птиц нарушало плавную тишину полей; все словно нежилось под горячими лучами солнца, и ничто в природе не говорило о той кровавой борьбе, которая кипела во всех местах благодатной страны.

Проехавши верст пять, козаки заметили наконец большую деревню, расположившуюся на двух холмах.

— Ну, панове, — обратился Морозенко к своим спутникам,— пока что не называть меня Морозенком; скажем, что мы спешим к Богдану послаными к нему от Киселя. Посмотрим, что и как думает поспольство?

Козаки согласились и начали медленно подыматься на гору. Уже издали к ним долетели стуки кузнечных молотов и нестройный гул толпы. Когда же они совсем поднялись на гору, то глазам их представилось нечто весьма странное. У двух обширных кузниц была свалена целая груда кос, серпов и лемешей; четыре здоровых

кузнеца с багровыми, вспотевшими лицами и распахнутыми на груди сорочками усиленно стучали молотами; двое других работали мехами у ярко пылавших горнов. Несмотря на рабочий день, огромная толпа поселян окружала их. Крики, шум, брань и стук молотов — все сливалось в такой нестройный гул, что сначала ни Морозенко, ни его спутники не могли разобрать ни одного отдельного голоса. Толпа была так разгорячена своим совещанием, что никто и не заметил прибытия козаков. Воспользовавшись этим обстоятельством, последние приблизились к толпе и, не замеченные никем, начали прислушиваться к спорящим и перекрикивающим друг друга голосам.

— Да что там долго толковать, панове! — кричал один осипший от натуги голос.— Перекуем лемеши и косы, да и гайда к батьку Богдану!

— А чего спешить? К Хмелю всегда поспеем! Полатать бы раньше свою худобу,— перебил его другой.

— Правду, правду говорит! — поддержали его ближайшие.— Полататься бы след!

— Будете лататься, пока не полатают вам спины, дурни! — покрыл все голоса первый.— Говорю вам дело: перекуем вот лемеши и косы, да и к Хмелю. Время горячее, сами видите; поспешим, так не слупят с нас шкуры, как со старых шкап, а если будем долго толковать да советоваться, так и дождемся того... Плюньте мне в лицо, коли не так!

— Тебе ловко говорить: сам бобыль, а жены наши, а дети? Как? — раздалось в нескольких местах.

— Сами оборонятся. Мы с ними оставим стариков. Чем больше будет у батька Богдана войска, тем скорее прикончим панов, а останемся здесь, так и нас с женами замордуют, и не выйдет пользы ни им, ни нам!

— Верно, верно! — поддержали говорившего воодушевленные крики.

— Рушай, хлопцы, к батьку Хмелю! — закричала с азартом большая часть толпы. Но в это же время раздались отчаянные крики с противоположной стороны:

— Стойте, молчите! Тише! Да молчите же, дьяволы! Грыцко говорит.

— А ну его к бесу! Чего там? Не нужно! К батьку Богдану, да и баста! — закричали окружавшие первого оратора.

— Да стойте, ироды! Дайте хоть слово сказать! Молчите, а не то мы вам заклепаем горлянку! Грыцко, говори, говори! — кричали окружавшие Грыцка.

— Не нужно! Молчи! Проваливай! Умнее не скажешь! К Хмелю, к Богдану! — ревела другая часть толпы.

Крики, брань, лестные пожелания — все смешалось в один общий гул; в некоторых местах уже поднялись палки, и спор окончился бы общею дракой; но в это время поднялась над толпой, придерживаясь за головы двух других, чья-то высокая, коренастая фигура.

— Ха-ха! Вот штукарь! Смотри, братове, куда влез! — закричали сразу несколько голосов.

Появление над головами высокой, косматой фигуры, сидящей на шее у товарища, отвлекло внимание толпы. Взобравшийся на свою оригинальную кафедру оратор воспользовался этим моментом.

— Белены вы, что ли, облопались, блазни, — закричал он глухим басом, — что выдумали такую нисенитныцю? К батьку Богдану! К батьку Богдану! Всем известно, что к батьку Богдану, да как?

— А ну, послушаем, послушаем, что-то он скажет? — понадвинулись к нему дальние.

— Сколько нас душ, а? Будет ли полтораста? И того не сосчитаем! — продолжал с остервенением оратор. — А вы думаете с такими силами через весь край идти. Да ведь вас первый пан перебьет!

— Какие паны? Что он там брешет? Нет никаких панов! Разбил все войско Хмель! — перебили его голоса.

— На войско панов не хватит, а на кучку хлопов еще как! Что у вас есть? Самодельные сабли да дреколья, а у них рушницы, и гарматы, и всякий припас! Сами видали, что вышло в Малых Бродах?

— Так что же делать? Ты не мути, а толком говори! Ждать, что ли, здесь панов? — закричали снова голоса.

— Кто говорит вам ждать, дурни! А только то, что если мы сами до Хмеля не доберемся, так надо искать того, кто поближе!

— Поближе панская шибеница! Что его слушать, панове! — закричал первый голос.

— Врешь, дурень! Не шибеница, а Морозенко! — выкрикнул оратор.

— Морозенко, Морозенко! Да, он правду говорит, панове! Ей-богу, правду! — загудела толпа.

— То-то, правду! Теперь сами видите, что правду! — продолжал оратор.— Морозенко к нам самим Хмелем и послан, с ним бы мы и к батьку прошли. А что он храбрый и славный козак, так об этом нет и слова. Слыхали ведь про его лыцарские потехи! Не он ли взял Ровно, и Олыку, и Клевань, и Тайкуры, и Заславль? Не его ли паны боятся, как черти ладана?

— Верно! Правда! К Морозенку! — покрыли голос говорившего воодушевленные возгласы, раздавшиеся со всех сторон.

— С ним бы и полатались, и панам бы за себя отплатили, и к батьку Богдану прибыли бы!

Но оратору не дали уже окончить.

— Згода! Згода! К Морозенку! — раздался один общий решительный возглас.

— Да где же искать его? Стойте, панове! — попробовал было остановить крики толпы первый, осипший, голос, но в это время среди взрыва общего гама, раздавшегося в ответ на его замечание, послышалось громко и явственно:

— Вам не надо искать его, панове, он сам приехал к вам!

Заявление это было так неожиданно, так сверхъестественно, что толпа шарахнулась и распахнулась.

Перед нею сидел на вороном коне молодой козак, окруженный группой всадников.

— Гетман и батько наш Богдан Хмельницкий послал меня с отрядом очищать всю волынскую землю,— произнес громко Морозенко, обращаясь к онемевшей от изумления толпе,— кто друг ясновельможному гетману, кто стоит за нашу святую веру, за матерь Украйну и за нашу волю, пусть присоединяется ко мне!

— Слава гетману! Слава Морозенку! Все с тобою!— заревела восторженная толпа.

К полдню присоединившиеся к Морозенку крестьяне были уже снабжены оружием, размещены по сотням и двинулись вместе с отрядом в путь. Жены, дети и старики провожали их с благословениями, с громкими пожеланиями успеха и славы. За день отряд прошел еще несколько сел и хуторов, и всюду крестьяне выходили к ним навстречу с хлебом, с иконами, предлагали брать

у них все, что нужно, благословляли их имена. Хлопцы и более молодые поселяне присоединялись к отряду; старшие обещали Морозенку содействовать всеми возможными силами и сообщали ему известия о панах. Но кого ни спрашивал он о Чаплинском, никто не давал ему никакого ответа. Каждая такая неудачная попытка смущала все больше и больше козака. Бодрое настроение его мало-помалу тускнело, и к концу дня тоска снова одолевала его; одна только надежда на встречу с польским отрядом не давала ему впасть в полное отчаяние. Морозенко торопил людей, делал самые короткие привалы, но к вечеру все-таки надо было остановиться.

Разложивши костры и расставивши свои котелки, козаки готовились приступить к вечере. Всюду слышались непринужденные разговоры и шутки. Один только Морозенко не принимал участия в общем оживлении; он собирался уже попробовать заснуть, когда к нему подошел молодой козак.

— А что там такое? — приподнялся Морозенко.

— Да вот, пане атамане, пришли тут мещане из Искорости [2], прослышали, что ты недалеко со своим войском стоишь, и поспешили; говорят, что по важному делу, что нельзя им ждать.

— Веди,— ответил отрывисто Морозенко.

Через несколько минут перед Морозенком появились три фигуры в длинных мещанских одеждах и шапках-колпаках. Не говоря ни слова, они сразу повалились перед Морозенком на колени.

— Что с вами? Что случилось, панове? — изумился Морозенко.

— Спаси нас, батьку! Избавь от кровопийц! Довеку тебе служить будем! — завопили разом три тощие фигуры, припадая к земле.— Нет нам житья от панов, обложили нас поборами да выдеркафами, кровь нашу тянут, последнюю копейку отымают, хоть живым в петлю лезь! — начала средняя фигура.

— А вот теперь, когда узнали о победах батька Хмеля да о том, что ты хозяйничаешь на Волыни,— подхватила вторая фигура,— сбились все в нашем местечке, стациями донимают, без денег все отбирают, а если кто посмеет о плате спросить, на виселицу тянут и «Отче наш» прочесть не дадут.

— Спаси нас, батьку! Избавь от мучителей! — заво-

пила третья, а за ней подхватили тот же возглас две остальные.— Мы тебе ворота откроем, пушки ихние в ров посбрасываем, всю стражу перережем, все сделаем, только не оставь нас! Нет нам от панов жизни, а наипаче от этого дьявола Чаплинского.

— Чаплинского? — вскрикнул дико Морозенко, хватая за плечо говорившего.— Чаплинского, говоришь ты, Чаплинского? — повторял он, потрясая со всей силы мещанина.

— Ой, прости, пане! Не знал, ей-богу, не знал... быть может, он родич...— лепетал испуганный мещанин, стараясь освободить свое плечо из железных пальцев Морозенка.

Но Олекса уже не слыхал его.

— Снимать лагерь! На коней! В поход! — крикнул он, отталкивая от себя испуганного мещанина.

Лежавшие ближе козаки посрывались с своих мест.

— Что? Что такое? Ляхи? Где, откуда? — бросились они друг к другу с вопросами, протирая с недоумением заспанные глаза.

Испуганные мещане молча поднялись с земли, переглядываясь между собой. Сотники с изумлением столпились вокруг атамана, не понимая, что вызвало такой экстренный приказ. В одно мгновение все в лагере засуетилось.

— Ляхи, ляхи! — кричали в одной стороне.

— Предательство, измена! — раздавалось в другой. Все смешалось.

— Что такое? Что случилось, сыну? — подбежал к Морозенку всполошенный Сыч.

— На коней! Не теряя ни минуты, в Искоросты!

— Да что же это случилось? Ведь отряд отправился по дороге к Луцку, совсем в другую сторону! Одумайся, сыну! — тряс его встревоженно за руку Сыч.

— Батьку! — повернулся к нему Олекса и произнес прерывисто, задыхаясь от волнения: — На коней! Ни часу, ни минуты! Чаплинский там!

## XII

Вечерело. Солнце спускалось уже к горизонту и своими косыми красноватыми лучами освещало обширную равнину, окаймленную лесами, зубчатые стены и башни

местечка Искорости, находившегося в средине этой равнины. По пыльной серой дороге, направляющейся к городу, медленно двигался длинный ряд крестьянских возов, доверху наполненных то сеном, то живностью, то другими продуктами. Подле каждого воза шел, помахивая небрежно кнутом, фурщик, а при иных были еще и молодые погоныччи. Несмотря на летнюю пору, на каждом из сопровождавших обоз мужиков были надеты длинные кереи, скрывавшие совсем их фигуры. Обоз этот замыкал еще небольшой отряд из двадцати вооруженных хлопцев, одетых в обыкновенное крестьянское платье. Конечно, не известный с положением страны наблюдатель мог бы изумиться такому множеству людей, охранявших небольшой обоз, но для человека, слыхавшего о восстании козаков, в этом не было ничего удивительного. Правда, можно было, пожалуй, подумать, что и у козаков не явится желания грабить столь малоценный товар, но ведь у страха глаза велики, и владельцы сена, очевидно, ожидали с минуты на минуту нападения, так как при некоторых неловких движениях из-под длинных керей их выглядывал иногда то конец сабли, то ручка кинжала, а то и кованый серебром пистолет.

— Ишь ты, вот ведь, казалось, рукой подать,— пробурчал себе под нос один из передовых фурщиков, высокий, плечистый мужик с темным цветом лица и свисающими на грудь усами,— а вот тянемся больше часа.

— То ли бы дело на конях! — произнес негромко шедший с ним рядом молодой хлопец-погоныч.

— Д-да, на конях не в пример скорее; с непривычки и ноги онемели,— согласился старший.

— То-то же! А я и в толк не возьму, зачем пан атаман затеял все это? Ведь коли сам святой Георгий обещает, так мы их и голыми руками без всякого оружия побрали бы.

Старший перевел на младшего свои узкие темные глаза и произнес неспешно:

— Молодой еще у тебя разум, брате. Забыл ты, видно, а может, и вовсе не знаешь того, что старые люди говорят: «Бога поважай, а и про биса не забувай». А уж кто бесу милее ляхов и ксендзов! Так вот ты, хлопче, так это и понимай.

Аргумент был так очевиден, что младший не нашелся ничего ответить, а, нахмуривши брови, глубокомыс-

ленно задумался над мудрыми словами своего собеседника.

Обоз между тем подвигался вперед, и вместе с этим перед спутниками обрисовывались яснее и яснее укрепления местечка. Издали оно казалось Мономаховою шапкой с возвышающимися посредине крестами костелов и церквей. Кругом всего местечка шла высокая красноватая каменная стена с тремя неуклюжими, широко рассевшимися башнями. Едва тронутые огненными лучами солнца, они казались теперь черными, угрюмыми, окаймленными лишь кровавым ободком; за этою стеной виднелись еще укрепления вышнего замка. С одной стороны внешнюю стену города огибал рукав речки, с другой — топкое болото, тянувшееся вплоть до самого леса, подступившего к нему темною синею стеной.

— Гм... Замуровались на славу,— заметил тихо плечистый поселянин, окидывая взглядом знатока стены, башни и рвы.

— Да, крючком не достанешь,— добавил молодой.

— А разумом можно,— заключил короткий разговор старший.

Спутники замолчали. Обоз подвигался все вперед и вперед. Изредка фурщикам стали попадаться навстречу крестьянские телеги, также нагруженные то кожами, то хлебом, то каким-либо другим товаром. Встречаясь с обозом, поселяне не выказывали никакого изумления по поводу усиленной стражи, охранявшей его. Телеги тянулись также по направлению к городу; очевидно, в местечке ожидалась ярмарка. Тем временем обоз приблизился уже к нему настолько, что путники могли отчетливо рассмотреть огромную башню, к которой вела дорога, ров и реку, окружавшую местечко, и тяжелый подъемный мост, поднятый на железных цепях.

От арьергарда обоза, состоявшего из нескольких вооруженных поселян, отделился молодой хлопец; подъезжая к каждому крестьянину, он близко наклонялся к нему и произносил шепотом: «Полночь; гасло—огонь!» В ответ на его слова каждый кивал уверенно головой. Таким образом хлопец объехал весь обоз; остановившись подле передового поселянина, он произнес еще несколько слов и возвратился к своим товарищам назад.

Наконец первый воз, а за ним и все остальные остановились по сю сторону рва, окружавшего нижнюю

городскую стену. Не имея с собой серебряной трубы, в которую трубили всегда при въезде в город знатные рыцари, передовой поселянин сложил из своих грубых загорелых рук род рупора и гаркнул со всею силой, какая заключалась в его могучих легких:

— Вартовой!

Богатырский окрик поселянина прокатился эхом на далекое пространство, но ответа на него не последовало никакого. Долго пришлось ему кричать и осыпать вартовых самой отборной бранью, пока наконец деревянное окошечко, проделанное сверху башни, отворилось и из него высунулась мало воинственная физиономия с ярко-красным носом, искренне говорившем о тайной страсти владельца всклокоченных усов и лысой головы.

— Эй ты, быдло! Что ты там кричишь, черти бы залили тебе окропом горлянку! — обратился он любезно к поселянину.— Нет от этого падла нигде покою! Какой бес припер вас сюда?

— А верно, тот, что ждет к себе твою душу...— пробурчал себе под нос поселянин и ответил громко: — Бес или не бес, а отворяй, брат, ворота,— нам нужно в город.

— Проваливай, проваливай! — замахал рукой, высовываясь из форточки, вартовой.— Много здесь народу и без вас!

— Да нам же что? Сдать только пану Чаплинскому сено, припас, да и домой.

— Завтра, завтра! — замахала снова руками фигура в окошке.— Подождите у ворот, вечером не велено никого пускать, а утром я уж спущу вам мост.

— Помилуй бог! Да такое ли это время, чтобы на поле ночевать? Сделай ты милость, пусти на ночлег, а завтра чуть свет мы оставим ваш город,— взмолился поселянин.

Фигура хотела было дать решительный отказ, но в это время чья-то сильная рука оттянула ее вовнутрь башни.

— Вот тебе, Гандзю, и кныш! — сплюнул фурщик с досадою.— Ну что с таким дурнем поделаешь?

— Гм-гм... — почесал затылок младший, — дело-то совсем дрянь!

— Не ночевать же нам под брамою! — крикнул старший и принялся снова кричать и вопить, украшая воз-

звания свои отборными словечками; но все было напрасно: никто в окошке не показывался.

А между тем за брамой происходила такая сцена.

В просторной сторожке было расставлено несколько столов, и за ними восседали вооруженные шляхтичи, очевидно, атаманы панцирной замковой команды. Два мещанина и тощий еврей в болтающемся, как на палке, лапсердаке суетились возле пышных гостей, наполняли их кубки венгржиной, усиленно кланялись и попрашивали.

— Пейте, товарищи,— подбадривал всех шляхтич с круглым, как шар, буракового цвета лицом и с закрученными кверху, почти на нос, усами,— пейте, панове! Теперь наш праздник: пусть раскошеливаются мещане и чернь, пусть поят нас, кормят и доставляют, шельмы, все прочие утехи, потому что иначе выгоним их к нечистой матери за браму и проклятые дяблы растерзают в клочки их дочек и жен, а самих на колья рассадят.

— На бога, панове,— кланялись униженно мещане,— мы вам вечные слуги, ничего для вас не пожалеем!

— Ничего, ничего! — подхватывал фальцетом дрожавший как осиновый лист жид, при чем он растопыривал пальцы и поднимался на носки, словно желая вспорхнуть и улететь.— Вы, пышные лыцари, вы сличные *, такие сличные, ясновельможные, что только поднимете руку, так подлое быдло попадает, далибуг! Разве могут эти собаки супротив таких страшных воинов? Ой вей-вей! Вы только плюнете на них и разотрете ногой!

Ответом на такие льстивые речи были дружный хохот и насмешливые восклицания:

— Ишь, как запел! Ах ты, песья вера!

— А что ж, он прав! — заступились другие.— Жидки нам верные слуги, вернее вот, чем эти славетные, да и то, разве против наших сабель может устоять быдло? — брякнули они саблями.

— Черта с рогами! — крикнул багровый шляхтич.— Так пейте же, товарищи, на погибель врагам!

— Виват! — подхватили пьяные голоса, и шляхтичи, осушив кубки, начали прощаться.

---

* Сличные — гарні, хороші *(польськ.)*.

— Куда же вы? — покачнулся шаровидный хорунжий, загораживая выход руками.

— Не можно, пане коханку, верхняя замковая брама запрется, мы должны быть на постах.

— Так несите им, лайдаки, венгржину! — завопил шаровидный.

— Не беспокойтесь, ясновельможный пане, там всего вдоволь припасено.

— Ну так на утро просим вас, панове, к нам наверх! — жали руки и обнимались гости.

— Будем, будем! — провожали их хозяева.

В это время в отворенную дверь донеслась брань вратаря.

— А что там? — заинтересовался старший, седой уже шляхтич, все время молча пивший.

— Да вот, вельможный пане, какое-то быдлысько привалило с подводами; подвод двенадцать, а то и больше, да стражи еще при них добрая свора, так я и не хочу спускать моста: и поздно, и не ровен час.

— А, псы, лайдаки!—погрозил кулаком седой кому-то в пространство и добавил грозно: — Всех перерезать, шельм!

При этом разговоре один из угощавших шляхту мещан беспокойно оглянулся и, выскочив из сторожки, взбежал по крутой лестнице на башню; здесь он торопливо отсунул окошечко и крикнул через него передовому:

— Как гасло( лозунг)?

— Огонь! — встрепенулся тот и значительно переглянулся с погонычем.

Окошечко снова захлопнулось. Фурщик и погоныч услышали вскоре за брамой какой-то спор, из которого до них долетело только несколько слов: «Подводы Чарнецкого...» «фураж...» «рассердится пан Чаплинский...» а потом шаги удалились куда-то и смолкли.

— Вот штука, так штука! — насунул передовой с досадой шапку почти на глаза.— Ну что здесь поделаешь?

Сбившиеся в кучу фигуры начали шептаться, показывая взглядом и головами на ближайший лес.

Солнце уже село, и под высокими зубчатыми стенами стал ложиться туман.

На улицах в местечке, впрочем, еще не улеглась жизнь: у ворот своих домиков сидели дряхлые горожан-

ки в белых намитках, глубокие старцы, а то и помоложе лица, только лишенные сил, больные; дети бегали и беззаботно звонко смеялись; жолнеры прохаживались группами, задевая молодых, перебегавших улицу горожанок то нескромным словом, то грубой шуткой, то даже дерзким и наглым поцелуем; евреи то и дело шмыгали среди горожан и жолнеров, потряхивая пейсами, а то собирались в маленькие кучки и о чем-то испуганно джерготали, разводя руками и покачивая своими высокими меховыми шапками; среди непонятных гортанных звуков слышалось часто произносимое с трепетом слово: «Мороз, Мороз!» В закрытых же наглухо двориках и мещанских домах кипела тревожная суета: укладывались в сундуки дорогие вещи, иконы, товары и выносились в погреба; закапывались в укромных местах глубоко в землю деньги; прятались в глинища и ямы утварь и все, что могло только влезть... Запыхавшиеся фигуры, и в мещанских куртках, и в корабликах *, и в очипках, с раскрасневшимися лицами шныряли то с свертками и шкатулками, то с фонарями и лопатами по дворам и по светлицам в домах... Завидевший случайно в щелку эту беготню еврей с ужасом отскакивал и спешил сообщить какой-либо кучке тревожную новость; подымался снова трескучий шум джерготанья, привлекал к себе другие кучки жидков и с гвалтом разносился по еврейским жильям и корчмам. Но вот прошли по улицам два мещанина с клепалами, и говор жизни стал утихать, а забытые подводы под брамой все стояли да стояли; терпение поселян, казалось, готово было уж лопнуть, как вдруг за воротами раздался протяжный сухой скрип и подъемный мост начал медленно опускаться.

Путники въехали под темные своды башни. Здесь их встретил худой мещанин в темной одежде.

— Что это вы везете? — обратился он к передовому.

— Сено и провиант, — поклонился передовой,— из Рудни мы, вельможного пана Чарнецкого люди.

— Ну, ну, добро, проезжайте,— отозвался загадочно мещанин, — коли с добрым провиантом, то помогай вам бог.

— Провиант у нас добрый, не боится мороза,—

* Кораблик — жіночий головний убір, носили його переважно серед панства і заможного козацтва.

ответил почтительно передовой, улыбнувшись в длинные свисающие усы.

Подводы медленно выползали из-под брамы на небольшую площадку и устанавливались так тесно, чтобы постороннему трудно было проникнуть в средину. Маленькая, толстая фигура вратаря, не желавшего спустить мост подводам, теперь злобно осматривала возы, шныряла вокруг них, пробовала протиснуться вовнутрь; но подводчики как-то нечаянно оттирали его от возов и не давали даже подойти к ним близко.

— Осмотреть бы нужно, вельможные панове, эти возы,— обратился он наконец к своему начальству,— а то они все тянутся да тянутся, а что в них припрятано — черт этих псов разберет.

— Ваша вельможность,— вмешался в разговор длинный мещанин,— пусть возы все въедут, станут в порядок, тогда осмотреть, а пока я просил бы вас отведать мальвазии,— добрая штука! Найпревелебнейший бискуп одобрил! Вот отведайте, прошу,— пояснил он, протягивая руку к двери,— кубки уже налиты... густая, как кровь, губы слипаются, а пахнет как!

— Гм-гм...— чмокнул губами седой шляхтич и, потянувшись к двери, потянул воздух пылающим носом,— запах приятный!..

— А коли приятный,— подвернулся и сделал большую дугу младший, шарообразный, шляхтич, едва удержав равновесие у косяка двери,— так кохаймося!

## XIII

— Посмотрите, посмотрите, панове атаманство,— приставал все вратарь,— подсмыканное сено, а вон заплетенные на возах коши!

— Ну и смотри их, лайдак, а нас не утруждай,— промычал ему державшийся за косяк шляхтич, — не утруждай, мы займемся мальвазией.

— Да и не осерчал бы пан Чаплинский,— вставил ехидно мещанин,— перерывать ведь его сено и провиант не приходится.

Атаманье, впрочем, не слушало уже ни вратаря, ни мещанина, а, припавши к кубкам, смаковало ароматный напиток; но вратарь не унимался.

— А эта ихняя стража зачем здесь? — горячился он,

размахивая руками.— Провели подводы — и вон! Не велено столько народу впускать!

— Да какой же это народ? — успокаивал его мещанин.— Хлопство!

— Эти-то самые гады и будут. Они нас выдадут Морозенку головой.

— Овва! — вмешался в разговор стоявший вблизи горожанин.— Мы их распотрошим! А коли Морозенко к нам пожалует, милости просим: стены у нас надежные, да и благородного рыцарства сила!

— Не то что Морозенке,— подошел другой горожанин,— а и самому Хмелю утрем нос!

— Утрем-то утрем, разрази его Перун, а я все-таки,— стоял на своем вратарь,—пойду обыщу этих гадюк и их фуры.

— Да лучше попробуй, брат, настойки,— старался все еще отвлечь вратаря мещанин.

— Настойка — дело, ну да я все-таки сначала свое...

И вратарь решительно направился к фурам.

Мещанин взглянул выразительно на передового фурщика, потом осмотрелся кругом, заглянул в стражницу и, отошедши к сторонке с двумя-тремя горожанами, стал им энергично что-то нашептывать.

В это время въехали последние фуры, а за ними вслед прошмыгнули и остальные мужичьи телеги. Путники наши прибыли наконец на площадь, расположившуюся у ворот вышнего замка; с одной стороны площади подымалась высокая городская ратуша, с другой шли полукругом шинки.

Подводы остановились в нерешительности. Железные ворота в верхней браме были закрыты. За ними слышался шумный говор и смех, очевидно, там шло еще пированье, тогда как в нижнем городе улеглась уже сонная тишина. Действительно, по замчищу шатались еще группы надворных команд, а вокруг столов, расставленных под замковою стеной, восседали за ковшами благородные рыцари и хвастались дешевыми победами над беззащитными женами и дочерьми горожан и мещан. Но эти игривые сообщения подавлялись все-таки злобой дня — вестями о Морозенке, о Хмеле, о взбунтовавшихся хлопах.

— Кой черт три тысячи,— кричал один голос, доносившийся ясно и до поселян,— тридцать тысяч, говорю

вам, плюньте мне в глаза, коли не так!.. Сюда прибыли хлопы, привезли нашему пану воеводе провиант, так говорят — несметное число, а за песьей кровью двигаются еще татары.

— Татары! — воскликнуло разом несколько голосов.

— Да, татары! — повторил первый.— А мы вот здесь и будем сидеть в этой мышеловке, пока они не придут и не погонят нас на арканах в Крым.

— Ну, за нашими стенами нечего опасаться! — возразил задорно один из молодых бунчуковых товарищей.

— Нечего опасаться? — вмешался в разговор старый рубака-гусар.— А пан разве пробовал бороться с нечистою силой? То-то! Ус еще мал! В руках у ведьм еще не был! А у этого Мороза состоят при войске такие колдуньи-чаровницы, что своими заклятьями откроют всякий замок, отопрут всякие ворота.

— Да вот сказывали,— осмелился вставить слово и простой жолнер в панскую беседу,— что напустят эти ведьмы с Лысой горы такой туман на глаза, что настоящего ворога и видишь, а бьешь своего вместо ворога, а то еще нашлют страх, такой страх, что от одного козака десятка два нашего брата бежит, бо всякому представляется, что то не один козак, а целая сотня, а на самом деле иногда окажется, что то даже был не козак, а пенек.

— Ха-ха! — вскинулся молодой шляхтич.— Хороши жолнеры! Вот уж именно у страха глаза велики!

— Положим, что туман на глаза и напускает страх, а страх есть паскудство,— поддержал юношу старый гусар,— однако с вовкулаками * сражаться невыгодно, по опыту знаю, а у этого шельмы-пса, говорят, тридцать вовкулак на службе.

— Триста, ясновельможный пане, — отозвался возбужденно жолнер,— далибуг, триста!

— А что же они, эти вовкулаки? — раздались нерешительные вопросы.

— Что? И панство не знает? — изумился гусар.— А то, что ни стрела, ни пуля, ни ядро их не берет. Выстрелишь в этого дьявола, а стрела либо пуля ударится и от него назад тебе в сердце летит.

— Не может быть! — вскрикнули многие и оглянулись с суеверным страхом.

---

* В о в к у л а к а — перевертень, людина, що може перевертатись у вовка.

— А бей меня нечистая сила, коли не правда! Кроме того, они и огонь могут чарами перебрасывать, да вот я вам расскажу случай...

Остальная часть разговора не долетела уже до путников, так как рассказчик понизил свой голос до таинственного шепота, а слушатели обступили его тесным кружком. Однако и то, что было услышано, доставило, очевидно, большое удовольствие передовому фурщику, так как под усами его промелькнула улыбка.

Над городом между тем спустилась темная ночь. Блеснувшие сначала две-три звездочки вскоре погасли, закрытые набежавшими клочьями туч; сквозь темную мглу, окутавшую город, вырезывались смутно тяжелые очертания башен, зубчатые стены, вершины остроконечных кровель костелов. Защищенные своими стенами и часовыми, обитатели нижнего города уже мирно спали; не видно было в местечке огней, даже фонарь над нижнею брамой висел незажженный, только из-за верхней крепостной стены светились красноватым огнем два окна в замке. Было тихо. Изредка протяжно и уныло перекликались вартовые нижней стены с вартовыми верхней, да прорывался иногда где-то тоскливый собачий вой.

— Что же нам так дарма стоять? — запротестовал тихо погоныч.— Распаковаться бы, а то, чего доброго...

— Да вон там шпиг проклятый бродит,— отозвался кто-то из темноты,— уж мы его дурим, дурим, даем осматривать все одного и того же, а то и телеги ярмарчан, дак чертов лях все-таки к нашим мажам прется.

— Допрется своего, подожди! — хихикнул кто-то.

— А что, пан купец,— остановил подходящего к возам мещанина передовой,— заехать бы нам куда распаковаться, не то задохнется живность.

— В ратушин двор, вот сюда,— распахнул мещанин ворота,— здесь пока безопасно... вот только тот пес... да и полночь близко.

Но его тихую речь прервал неожиданно отчаянный вопль вратаря, раздавшийся среди возов и замерший в оборванном стоне. Крик этот заметили все-таки ближайшие вартовые на нижней стене и, засуетившись, начали всматриваться в глухую тьму и учащенно перекликаться. Возы между тем въехали поспешно в закрытый двор ратуши.

Прошло еще несколько времени. Тишина стала мертвой. Мрак сгустился еще больше... даже силуэты стен и башен потеряли свои очертания.

Вдруг на стене у нижней брамы блеснул огонек и раздался крик вартового:

— Гей, до брамы!

К темной, слабо освещенной фигуре неслышно подошла другая... Фонарик сделал в воздухе какой-то вольт и вместе с державшей его рукой вылетел из амбразуры вниз... Послышался глухой стук падения тяжелого тела... Приблизившийся второй часовой тоже почему-то вскинул неестественно руками и опустился за зубцом стены... С поля приблизилось осторожно к браме несколько всадников, закутанных в кереи; обвязанные тряпьем копыта их коней не издавали даже на мосту никакого звука.

Из маленького окошечка над брамой послышался оклик:

— Как гасло?

— Полночь! Огонь! — ответили беззвучно двигавшиеся тени.

На остроконечной вершине ратуши пробило звонко и отчетливо двадцать четыре удара.

Когда подводы въехали на двор ратуши и ворота торопливо закрылись за ними, то фурщики и погонычи бросились поспешно к возам разбрасывать сено и снимать с кошей набитые соломой и половой мешки.

— Эй, живей, хлопцы! — командовал и суетился передовой фурщик.— Не задохся бы, храни господи, наш провиант.

— Едва убо не пряхом смерти! — поднялась в это время из первого воза целая копна и, отряхиваясь ногами и руками от клочьев сена, начала фыркать и отплевываться.— А чтоб тебе всякой нечисти в нос и в рот! Поналезло этого проклятого сена, как волу какому-нибудь в утробу!

— Сычу-то, конечно, сено не в смак,— засмеялся передовой,— ему бы мясца лучше.

— А ну его,— отхаркивалась колоссальная фигура,— теперь бы мокрухи впору, чтобы прочистить от сенной трухи горло. Жажду! — пустил он октавой.

— Есть, есть, паны лыцари,— отозвался кто-то в темноте,— тут и барыло, и кухли.

— Вот спасибо! — воскликнул обрадованный козак и поспешил на голос к барылу.

— Только по одному кухлю, не больше,— раздался в темноте голос передового Хмары.

На других возах сено тоже зашевелилось и начало подыматься само собой; с некоторых возов стали выскакивать без посторонней помощи тяжелые мешки... Происходило что-то сверхъестественное, могущее нагнать на каждого не посвященного в тайну зрителя смертельный ужас; но фурщики ничуть не дивились этому чуду, а приветствовали радостными восклицаниями каждый оживающий воз, каждый соскочивший куль.

— Ага, и очерет зашевелился! А вот и лантухи поднялись, и полова посыпалась без ветру! — слышались тихие замечания.

— Это, братцы, Гонывитер так зевнул,— засмеялся кто-то,— гляди, словно вихрем закружил сенную труху.

— Ачхи! — раздалось в это время гомерическое чиханье, и над возом показалась огромная всклокоченная голова.— Ну его к нечистой матери с такой ездой...— поднялась с этими словами плечистая фигура и, потянувшись, расправила свои плечи так, что целые кипы соломы повалились с них, и произнесла мрачно: — Горилки!

Погонычи подбегали между тем к каждому опроставшемуся козаку и, помогши ему оправиться, подводили к барылу. То там, то сям воздвигались тени и направлялись к тому же пункту.

— А что, не задохся ли, Дуля? Добре ли выспался, Квач? Как лежалось, Роззява? — раздавались везде тихо приветствия. В темноте все явственнее и чаще стали слышаться бряцанье оружия, остроумные замечания, шутки и сдержанный смех.

— А что, братцы,— обратился наконец передовой к собравшейся у бочонка порядочной уже кучке козаков,— живы ль да здоровы все родычи гарбузовы?

— Да, кажись, все, Хмара! — начали оглядываться и считать друг друга темные силуэты.

— И подкрепились, во славу божию, — пробасил Сыч,— так что довлело бы помахать теперь и руками, а то словно онемели от долгой лежни.

В это время к козакам подбежал молодой погоныч и объявил испуганным голосом, что двое козаков умерло.

— Как? Кто? — всколыхнулась тревожно толпа.

— Крюк и Косонога. Я их толкал, толкал,— холодные лежат, как колоды.

— Где, покажи? — бросился было Сыч, а за ним и остальные к указанному погонычем возу, но в это время к Хмаре торопливо подошла какая-то фигура в керее, прошмыгнувшая незаметно в ворота, и начала ему нашептывать что-то на ухо.

Козаки приостановились.

— Так уже спокойно на нижней стене? — спросил тихо Хмара, когда фигура замолчала.

— Хоть тура гоняй! Есть свой и на верхней! — ответил пришедший и, затесавшись в толпу, стал таинственно передавать то тому, то другому какие-то распоряжения.

— Слушай, Сыч,— отвел Хмара атлета козака в сторону,— на тебя возлагает атаман наиважнейшую справу: отбери ты человек пять-шесть завзятцев да и ступай.

Тут он понизил тихий говор до шепота и начал разъяснять ему что-то, сильно жестикулируя руками. Сыч слушал внимательно и только по временам кивал утвердительно головой да расправлял энергично свои чудовищные усы.

— Пора! — скомандовал наконец Хмара, и козаки, ощупав оружие, начали строиться в боевой порядок перед воротами ратуши, а Сыч, поднявши вверх свою полуторапудовую мащугу, осторожно прокрался со своими молодцами в ворота. Мащуга эта была выкована из языка колокола, который защищал он в Золотареве; это оружие никогда не изменяло ему и наводило панический страх на врагов.

На правой башне вышнего замка, на верхней площадке, за зубчатой, с прорезными бойницами стеной, прохаживался молодой вартовой в шлеме и кольчуге, с увесистою алебардой в руке, с тяжелым палашом у пояса, прохаживался неуверенным шагом взад и вперед и всматривался тревожно в черную тьму, подозревая, что там внизу и вдали творится что-то недоброе. Напугали ли его рассказы про колдунов и про всякую нечистую силу, помогающую схизматам, или выпитое венгерское, перемешавшись с литовским медом, подогрело

сильно его воображение, но ему казалось, что в нижнюю браму плывут на хмарах какие-то черные, чудовищные кажаны (летучие мыши) и разносятся по улицам местечка, что даже слышится шелест их дьявольских крыл. Вартовой с ужасом припадал за зубцом стены и принимался будить спавшего мертвецким сном своего товарища.

— Стасю, Стасю, слухай-ка! — толкал он ногой под бок храпевшего стража.— Проснись! Нечистая сила нас обступает... Проснись!

Но товарищ только переворачивался на другой бок и переменял тон храпу.

— А, чтоб тебя, шельму, пса! — ругался вартовой и принимался снова будить.— Напился, как свинья полосатая, а тут один стой! Как же я справлюсь с дьявольским наваждением, как поборюсь с нечистою силой? Да вот уже под самой башней шевелится что-то... О, будьте вы прокляты, чтоб я один тут... лучше до костела... Ой, кто там? — выронил он из рук алебарду.— Езус-Мария!

— Это я, пане рыцарю, свой,— успокоил его знакомый голос мещанина, что сегодня угощал всех так щедро.— Пан, верно, добре устал,— продолжал он вкрадчиво,— где же стоять так долго? Это может только хлоп, потому что он с детства привык, а вельможному пану нужно и полежать, и припомнить себе что-нибудь такое, чтобы и слюни потекли... Ха-ха! Позвольте, я пана сменю, повартую, а пан выспится по-пански.

— Да тут не то сон, а и хмель из головы вылетит, вацпане,— обрадовался живому лицу шляхтич, поставленный в это тревожное время комендантом крепости Дембовичем для надзора за наемною стражей,— этот вот трупом лежит, а другой вон, наемное быдло, тоже колода колодой.. и я один... Положим, что я сам могу защищать эту башню... но что же это за порядки? Я бы вот таких для примера на кол...

— Совершенно верно, вельможный пане,— согласился мещанин,— но теперь опасаться нечего, все спокойно: наши муры и железные брамы защитят нас и от стотысячного войска... так поберегите вашу силу и храбрость для злой годины, а теперь отдохните, я постою за вас...

— Пожалуй, спасибо, — согласился было сначала

вартовой, но потом заупрямился, желая порисоваться своей рыцарской храбростью,— нет, впрочем, нет! Не могу сойти с поста — долг и честь, триста перунов! Моя сила и мой меч нужны в эту минуту... Я слышу внизу, у башни, шепот и шелест, словно карабкается дьявол... Ну так вот мы и подождем его с угощением,— куражился рыцарь, не предполагая даже и возможности чего-либо подобного.

— Что пан говорит? — встрепенулся мещанин, и если было бы хоть немного светлее, то вартовой заметил бы, какою смертельною бледностью покрылось его лицо.— Это невозможно... это наши... может быть, подвыпивши, улеглись под башней и сопят.— А в голове у него кружились всполошенные мысли: «Вот еще выдаст,— и пропадет вся затея. Боже мой, что же делать? В шлеме и кольчуге... кинжалом не доймешь...» Да я ничего не вижу и не слышу,— добавил он вслух,— то пан, верно, хотел подшутить надо мной, напугать.

— Нет, нет... вон там они,— нагнулся вартовой через выемку в зубцах башни,— и не свои... посмотри.

Мещанин тоже нагнулся. У самой стены, за выступом, словно кто-то возился, и вдруг этот выступ осветился мигающим светом и послышался явно низкий, ворчливый шепот:

— Что ж это, ни веревки, ни лестницы никакой нет? Скучно ждать... Хоть люлькой разве развлечься!

— Слышишь, слышишь, вацпане? — встревожился уже шляхтич не в шутку.— Видишь?

— Ничего не вижу... где, где?—удивился мещанин.— То речка шумит, она как раз огибает здесь башню.

— Да нет, вон, вон, погляди! — перегибался шляхтич, показывая на выступ башни.— Бей тревогу!

«Господи, помоги!» — сверкнуло молнией в голове мещанина; он нагнулся, схватил неожиданно шляхтича за ноги и, с удвоенною отчаянною силой приподняв их, толкнул вартового вперед; перевес тяжести помог ему, и шляхтич, успевши лишь взвизгнуть, ринулся вниз, ударился о выступ стены и шлепнулся с страшным плеском в реку. Целый фонтан брызг обдал подножие башни.

— Ух!.. С нами крестная сила! Вот шлепнулся какой-то чертяка... аж люльку брызгами загасил! — раздались несдержанные возгласы внизу.

— Тише вы там! — крикнул мещанин сверху.— Ловите веревку, торопитесь!..

— Ага! — пробасил кто-то и натянул веревку.

В это время раздался гулкий удар колокола с православной церкви в местечке.

## XIV

Мещанин оглянулся с испугом. В царствовавшей кругом тишине чуткое ухо могло отличить тихий шепот и брязг. Всполошенные раздавшимся криком шляхтича и ударом колокола, двое ближайших вартовых тревожно засуетились и, крикнув: «Вартуй!» — сбежали вниз на дворище замка. На этот-то призывный оклик с нижней стены не последовало ответа.

— Гей, живее,— понукал, перегнувшись через стену, мещанин,— того и гляди, ударят в набат.

— Аще прийде и в девятый час...— послышалась близко октава, и вспыхнувшее где-то зарево прорезало в это мгновение тьму, осветив зловещим отблеском лезущих по веревке козаков. Из-за откоса показалась первая, с развевающимся огненным оселедцем, голова Сыча...

А зарево разрасталось. Вот под одной из темных кровель внизу побежало змейкой светлое пламя, вот под другой, под третьей вспыхнули огненные языки, а вот повалил из высокой крыши густой черный дым; освещенный с одной стороны далеким заревом, он подымался эффектными клубами. Ярко-красные огненные полосы вихрились, сливались в широкие потоки; багровым пологом дым застилал небо; зубчатые стены вышнего замка, высокие шпили костелов и остроконечных крыш казались на темном фоне его облитыми светящейся кровью...

Поднялся в местечке страшный гвалт и слился с учащенным набатом.

В замке ударили тревогу. Полусонные, полупьяные защитники крепости выскакивали в испуге на дворище, поспешно пристегивая оружие, надевая на ходу латы, кольчуги.

Пан Чаплинский, комендант Дембович, капитан Яблоновский, хорунжие, есаулы высыпали из замка и начали строить свои команды; некоторые с факелами броси-

лись было на стены, чтобы осветить неприятеля, но факелы при разыгравшемся море огня, охватившего дугой крепость, казались дымящимися лучинами и были совсем не нужны.

— Нам изменили подлые хлопы,— говорил взволнованным голосом комендант на дворище замка, — нас продали мещане, это гадючье отродье, которое мы у своих стен приютили; но вероломство не может смутить нашей отваги, а должно возбудить ее вдвое! Товарищи и верные воины! Стены у нас высоки, руки крепки, оружие непобедимо, а сердце сумеет постоять за нашу дорогую ойчизну, за нашу единую католическую веру! Сам ад на изменников... смерть им! За мною!

— За веру! До зброи (к окружию)! — крикнули дружно ряды, воодушевленные горячим словом вождя, и ринулись на стены крепости и на башни.

Была уже и пора: Сыч, влезши на башню со своими охотниками, спускал уже сверху лестницы и привязывал их к зубцам, а десятка два выкарабкавшихся на вышку козаков готовились через несколько мгновений ринуться к средней браме и отбить там ворота.

На площади уже не было темно; огненное зарево освещало ее со всех сторон. Высокие черепичные кровли, стены и башни казались в иных местах на огненном фоне черными тенями с багровыми очертаниями, а в других,— на черном клубящемся пологе,— они вырезывались раскаленными силуэтами.

Испуганные жители, едва прикрытые наскоро наброшенными одеждами или совершенно раздетые, выбегали из своих жилищ и звали на помощь; некоторые фигуры подбегали к растерянным группам, сообщали им что-то и увлекали в другие переулки, а то останавливались на месте в неразрешенном изумлении. Обезумевшие от ужаса евреи, с женами и детьми, вопили, воздевая руки к небу, и с завыванием метались из стороны в сторону, забывая даже спасать свое имущество; развевающиеся полы их талесов и лапсердаков казались огненными крыльями и напоминали носящихся в аду вампиров. Среди волн пламени и вылетавших искр открывались, разбивались окна и из них с страшными криками отчаянья выглядывали помертвевшие, бледные лица с расширенными глазами, но стлавшийся низко черный удушливый дым закрывал вскоре эту потрясающую кар-

тину. От сильного жара развевался ветер и раздувал бушующее море пожара, наполняя раскаленный воздух шумом зловещего гоготанья и треском, смешавшимся с гулом набата.

От нижней брамы двигались к крепости огненные всадники.

Впереди отряда на статном горячем коне ехал молодой атаман Морозенко; он был необычайно взволнован и нетерпеливо спешил к площади, на которую высыпали к нему навстречу из двора ратуши спрятавшиеся там козаки.

— А что, Хмара,— обратился нетерпеливо к пожилому козаку атаман,— все ли исполнено, как обещали мещане?

— Все, пане атамане; вартовые в главных пунктах устранены, к правой, вон той, башне пошел Сыч с подмогою; он уже, верно, там наверху и вот-вот отворит нам эту среднюю браму.

— А брехухам (пушкам) урезали языки?

— Клялся, божился, что плевать не будут. Да и Сыч первым делом...

— Так времени терять нечего,— возвысил голос Морозенко,— я с главными силами ворвусь в эти ворота, а ты, Охриме, иди с низовцами * к левой браме, а ты, Смалец, рушай к правой на помощь Сычу. Запасайтесь лестницами, турами, гаками—и разом на приступ. Ты же, Рубайголова, распорядись со своими хлопцами в местечке — поблагословите добре в далекую дорогу ляхов, да посветите и нам хорошенько... Только одно: коли попадете на Чаплинского, так приведите мне его живым! Заклинаю вас! Притащите сейчас же!

— Добре, атамане! Живым приволочим! — гаркнули дружно морозовцы и немедленно разделились на три отряда. Рубайголова гикнул на своих хлопцев, и они, раздробясь на десятки, бросились врассыпную по пылающим улицам местечка.

— Козаки! Козаки! — раздались отовсюду дикие крики, пронизываемые нечеловеческими воплями евреев.

А в ответ загремело в разных местах:

— Бей ляхов!

Все побежало перед ними. Поляки и евреи в порыве

---

* Низовці — запорожці.

отчаянья бросались в свои пылающие дворы, в дымящиеся дома, погреба, но все было напрасно! Козаки вместе с мещанами, ворвавшимися в браму крестьянами бросались за ними по пятам, настигали их на бегу, хватали их на порогах жилищ, врывались сквозь выломанные двери... Только у некоторых домов столпившаяся у порогов шляхта пробовала было отстоять свою жизнь, но панический ужас, охвативший всех, был так велик, что оружие выпадало из дрожащих рук шляхтичей и они отдавались почти без всякого сопротивления в руки козаков. Вскоре пали и эти немногие группы защитников и захлебнулись в своей же крови; остались женщины, старцы и дети.

— Литосци! * Литосци! — вопили матери, ломая руки, защищая грудью своих детей, и кидались своим палачам в ноги, падали перед ними ниц, моля о пощаде, но безжалостная рука мстителей была неумолима, и они падали, беззащитные, под ударами копий, топоров, пик, обагряя горячею кровью раскаленную землю. Ни мольбы, ни проклятия, ни слезы, ни вопли детей не смягчали и не трогали ожесточенных долгими истязаниями сердец.

Дикие подгикиванья, стоны, проклятья, лязг стали, грохот разрушающихся построек и шум разъяренной стихии сливались в какой-то демонический вой; и над всем этим стоном раздавались мрачные, зловещие удары набата.

Между тем у стен вышнего замка кипела тоже бурная работа, готовилась отчаянная борьба; к окраинам стен сносились колоды, камни, всякого рода холодное оружие, разводились наскоро костры, кипятилась в казанах смола. После минутного оцепенения, вызванного появлением козаков и страшным пожаром, поляки пришли в себя и поняли все происходящее кругом; панический ужас охватил всех, но горячие слова коменданта и безвыходное положение пробудили их мужество; все, кто мог, бросились с энтузиазмом на стены.

На первой башне уже было с полсотни козаков. Оставив на ней человек с десять помогать влезавшим товарищам, Сыч бросился с остальными к средней браме; но едва он спустился по откосу на замковый двор,

* Литосци! — милосердя! *(Польськ.)*

как на него стремительно ринулся с сотней латников хорунжий, пан Яблоновский.

Нагнувши длинные копья, с дружным криком: «Бей схизматов, смерть псам!» — они ударили с такою стремительною силой, что сразу разорвали небольшой козацкий отряд на две половины, отбросив одну в дворище на сабли и бердыши многочисленного гарнизона, а другую приперши к стене. Средние ряды латников, вынесшие на копьях с десяток трупов козачьих, кинулись с хорунжим во главе на атакуемую башню, а остальные окружили Сыча с остатком его завзятцев.

— Эй, братцы, вонмем! * — гаркнул Сыч, взмахнувши пудовою мащугой.— Коли умирать, так продадим же свою жизнь подороже, покажем клятым ляхам, как умирать надо! Спиной к спине! Круши их! — И он шарахнул тяжелой кованой сталью по протянутым копьям; с треском сломались древки, словно лучины, и острия пик упали к козачьим ногам; обезоруженные латники хватились было за палаши, но напиравшие сзади ряды выдвинули их под удары козачьих сабель и крушительной мащуги Сыча,— разлетелись на головах шлемы, погнулись и треснули латы, брызнула кровь, и грузно повалились на землю тяжелые трупы. Сыч превзошел себя: с нечеловеческою силой взмахивал он своею мащугой, каждый удар ее был смертелен и прибавлял к лежавшим трупам новую жертву. Огненно-рыжий, с развевающимися чудовищными усами, да еще освещенный кровавым отблеском пожара, он казался выходцем из мрачных подземелий Плутона. Его товарищи также не уступали своему атаману и, в виду неизбежной смерти, с отчаянною отвагой защищали каждую каплю своей крови и крушили обступивших их тесною дугой врагов. Но и атакующие поляки, возбужденные сопротивлением ничтожного по числу врага, с бешеной яростью давили их со всех сторон, пронизывали ближайших копьями, набрасывали на дальних арканы и вытаскивали их из рядов. Дорого продавали свою жизнь козаки и за каждого убитого товарища клали четыре, пять вражеских трупов на сложившуюся из павших врагов баррикаду, затруднявшую больше и больше атакующих.

Надоело наконец нападающим терять столько сил на

---

* Вонмем — тут: увага (*старосл.*).

оставшийся какой-то десяток остервенившегося зверья, и кто-то из среды атакующих скомандовал:

— Раздайся! Расстреляем их, как псов!

И вслед за этою командой затрещали выстрелы и взвизгнули стрелы, а сверху еще, со стены, забрызгала дымящаяся смола на непокрытые головы и плечи уцелевших еще, хотя и израненных козаков. Несколько пронзенных пулями и стрелами повалилось на землю, другие отскочили с проклятиями от замковой стены.

— За мною! Бей их, катов! — рявкнул бешено Сыч и бросился с такой яростью вперед, что сомкнувшиеся ряды поляков раздались машинально перед этим стремительным натиском и невольно пропустили этого вепря с пятью-шестью товарищами к браме. Сыч успел даже раза два потрясти ее своею страшною мащугой, и не устоял бы под ее страшными всесокрушающими ударами окованный дуб, но ошеломленные на минуту поляки очнулись, бросились массой под браму и накинули сзади на разъярившегося силача аркан.

Впился тонкий ремень в богатырскую шею, налились кровью глаза, побагровело лицо, и помутилось все в голове... Мащуга выскользнула из опустившейся могучей руки, покачнулся рыцарь и рухнул с тяжелым шумом на землю...

А Яблоновский с панцирною дружиной ураганом взлетел по откосу на башню и ринулся на оторопевшую кучку оставшихся и взлезших еще козаков; но замешательство их длилось только секунду: козакам отступать было некуда — спереди неслись на них наклоненные копья, сзади была пропасть... С безумным порывом передовые бросились сами на острия и, захватив древки, закоченели в этих объятиях, а товарищи врезались в образовавшиеся бреши и с исступленною отвагой стали крошить напиравших врагов; звякала сталь, гремели удары, сыпались искры, дробились шеломы, рассекались кольчуги, лилась и брызгала кровь, но не выдерживали и козачьи клинки, а ломались и с жалобным звоном, отлетев от эфесов, падали на мокрую землю... Тогда остервенившиеся враги, как дикие звери, впивались когтями и зубами друг в друга. Вскоре все они переплелись и смешались в безобразную кучу, катавшуюся в крови, издававшую злобно глухое рычание...

Но не долго боролись козаки; натиск усиливающих-

ся польских войск сломил их, опрокинул; все они почти пали на месте, только полуживые раненые были сброшены с башни.

Не лучше для козаков шла атака и на левом крыле. Вооруженный хорошо гарнизон держался стойко, а из-за каждого зубца башни, из каждой бойницы летели на головы козаков камни и бревна, лилась дымящаяся смола, а из выступов стен свистели стрелы и сыпались пули, пронизывая ряды козачьи перекрестным огнем. Поляки за крепкими каменными стенами были неуязвимы и без риска посылали сотни смертей в ряды атакующего врага.

Козаки вообще не любили да и не умели брать крепостей штурмом: стоять без прикрытия под ударами защищенного врага было не в характере этого пылкого народа. Они теперь теснились беспорядочною толпой у стен и башни, стараясь приставить лестницы, закинуть крючья, веревки; но пускаемые сверху колоды ломали лестницы, сметали взбиравшихся по ним удальцов, обрывали веревки... Ободренные удачей, поляки пришли даже в веселое расположение духа и с хохотом поражали незащищенные ряды неприятеля.

— А что, присмирели, небось, лайдаки, гадюки, быдло? — издевались они над падавшими бесплодно козаками.— Чего не лезете? Пробуйте, шельмы, схизматы! А ну угостим-ка их кипятком да смолой... Ха-ха! Бросились торчмя головой от нашего угощения...

— Бей их, схизматов, бей! — раздавались со стен перекатные крики.

— Ах вы, пузатые кабаны,— отбранивались козаки,— посмеетесь у нас, когда мы вас на колья рассадим! Выходите-ка к нам побороться, не прячьтесь за муры, как подлые трусы!

В это мгновение отворились ворота брамы и из них с стремительным натиском понеслись на ошеломленных неожиданностью козаков конные драгуны. Блистая шеломами и латами, сверкавшими при зареве пожара адским огнем, шурша развевавшимися сзади леопардовыми шкурами, они навели на слабовооруженных поселян и мещан ужас; последние бросились назад, смешали ряды спешенных козаков и привели их в полный беспорядок. Поляки воспользовались минутой смятения и с криком: «Бей быдло!» — врезались в середину отряда, круша и рубя своими длинными палашами направо и налево

врагов... Не устояли козаки, не успели даже сесть на коней; первые побежали селяне и увлекли в своем бегстве и окуренных порохом воинов... Драгуны ударили им в тыл... Козачьи и мещанские трупы широко укрыли дороги... Впрочем, с первых же хат, давших прикрытие, отступавшие открыли по драгунам беглый огонь, да и Квач бросился к ним на помощь; но драгуны, повернув коней, быстро скрылись за брамой.

Атаман загона между тем стоял на площади перед среднею брамой, терзаемый жгучим нетерпением ворваться поскорее в ворота, завладеть замком, покончить с поляками и допросить этого Чаплинского, где он дел Оксану? О, он не скроет ее более, он возвратит ее или укажет место ее заключения! Все пытки, все муки, какие изобрел только ад, он призовет на помощь и выведает от этого аспида тайну... А может быть, сегодня же и увидит ее, свою голубку... Эта мысль кипятила ему кровь, что расплавленным оловом пробегала по жилам, жгла сердце огнем и заставляла его стучать до боли в груди. Но время шло, ворота неподвижно стояли; ни от Сыча, ни от Квача не было никаких известий... Терпение у Морозенка истощалось...

— Что же это? Спят все, что ли? — волновался он все больше и больше.— Костьми лягу, а добуду это чертово гнездо! Гей, колод, таранов сюда! — крикнул он зычным голосом.— Бейте, хлопцы, ворота! В щепки ломите!

Засуетились ряды, отделились группы и бросились на розыски в разные стороны; вскоре появились перед воротами колоды-тараны на колесах...

## XV

Поляки заметили маневр и открыли по подступившим к браме козакам ружейный огонь. Стоявшие дальше лавами козаки отвечали тем же; загомонели, затрещали рушницы, и начали то там, то сям клониться к земле козаки; на стенах тоже раздались стоны и крики, и стали изредка срываться вниз грузные туши панов, но шляхту прикрывали стены, а козаков ничто...

Тем не менее, несмотря на протесты товарищей, Морозенко подъехал к самой браме и начал руководить громлением ворот.

Откатили козаки свой таран немного от ворот и потом, налегши дружно, снова погнали его к воротам. Ударила в них тяжко с разгона дубовая колода, и они вздрогнули, застонали. Глубокая язва обозначилась на них от удара; но окованные железом бревна ворот казались несокрушимыми. Поляки бросились все-таки баррикадировать их изнутри.

— Эй, пане атамане,— заговорил тогда седой и опытный в боях обозный Нестеренко,— не рискуй собой понапрасну. Долго придется громить эту чертову воротину, кованая, клятая... А ведь ляхи не спят и что-то затевают; того и гляди, шарахнут в нас железными галушками, так нам нужно поскорей с этою брамой справиться.

— На бога, поскорей! — откликнулся горячо Морозенко,— у него, кроме нетерпения, начинала гнездиться в сердце тревога: с правого крыла все еще не получалось известий, а с левого потребовали уже подкрепления. В запальчивом раздражении он хотел уже дать приказ ставить лестницы к стенам и готов был броситься по ним первым на штурм, но слова Нестеренко остановили его безумный порыв.

— Что делать, диду? Научите! — подскакал он к обозному.

— А вот что, сыну,— ответил с снисходительною улыбкой старый гармаш,— выскребти ямку под воротами да подложить барыло с мачком, так справа-то поживей будет...

— Так-так! — вскрикнул в восторге Морозенко.— Мудрый совет! Распорядитесь же, диду, бога ради, скорее!

А на правой башне творилось что-то недоброе. Пан Яблоновский, расправившись с добровольцами Сыча, сконцентрировал здесь сильный отряд и не допускал к стенам атакующих, усилившихся подмогой Рубайголовы. Когда же Морозенко выдвинулся из-за ратуши к браме, то Яблоновский, заметя, что враг вошел в поле боковых выстрелов, скомандовал ударить по быдлу картечью. Быстро зарядили пушкари боковые орудия и приложили фитили к затравкам... Но что это? Порох на затравках вспыхнул, а жерла не откликнулись и молча, мертво стояли...

Суеверный ужас охватил сразу толпу; всем припом-

нились сегодняшние рассказы про нечистую силу, про колдунов и про ведьм.

— Проклятые! Заколдовали пушки! — послышалось глухо в онемевшей толпе.

— С схизматами — пекельные силы! — откликнулся где-то дрожащим голосом другой голос.

— Ай! Вон распатланная ведьма скачет сюда! — взвизгнул третий.

— Слышите, слышите, как земля вздрагивает?.. Под нами подкоп! Спасайтесь! — крикнул кто-то и опрометью побежал с башни.

Этот крик вывел всех из оцепенения. Обезумев от страха, ничего не понимая уже и не соображая, просто по стадному инстинкту, они бросились за первым беглецом, давя и опрокидывая друг друга. Ни стоявшие на площади замка войска, ни команда начальства не могла уже остановить перепуганных до смерти воинов; они с криком: «Спасайтесь! Нечистая сила! Подкоп!» — метались растерянно по площади, ища спасения в погребах и подвалах. Паникой заразились и другие войска; нарушен был боевой строй, смятение росло и передавалось на всю линию защиты. Дикий, суеверный ужас охватил всех обитателей замка.

Вдруг земля вздрогнула; чудовищный сноп пламени вырвался из-под брамы, раздался страшный грохот. Посыпались камни, разлетелись со свистом осколки железа и щепья, поднялись в воздух, словно подброшенные гигантскою рукой, окровавленные, изуродованные тела. Дикий, нечеловеческий вопль оглашал всю толпу; мужчины, женщины, дети отпрянули от места катастрофы и, сбившись в кучу, смотрели обезумевшими от страха глазами на появившуюся брешь. В то же мгновение ворвались в нее с адским гиком козаки, и такой же крик раздался с вершины правой, господствующей, башни. Как огненная лава, вырвавшись из тесного кратера, стремится неудержимым искрящимся валом, сметая и уничтожая все на своем страшном пути, так эти два живых потока, слившись в бурный прибой, ударили с ошеломляющею силой на сбившихся в беспорядочные группы гарнизонных жолнеров, рыцарей, простых обывателей, слуг и опрокинули их, разметали.

Никто уже и не думал о сопротивлении; бледные, пораженные ужасом, сковавшим свободу движений и

разум, наемные солдаты и слуги бросали оружие и молили беззвучными устами, во имя бога, во имя спасения души, о пощаде... Но от рассвирепевших, опьяненных местью за павших братьев в бою козаков нечего было и ждать ни пощады, ни сострадания...

Вид пылающих предместий, картины дикой резни, крики, вопли, мольбы и эти зловещие звуки набата, подымающиеся к огненному небу,— все говорило обитателям замка о часе страшного суда, наступившем для них так внезапно. Зажмуривши глаза, некоторые прямо бросались на козацкие сабли, ища в смерти спасение от страшных пыток и мук.

Не все, впрочем, побросали сразу оружие: испытанные в боях шляхтичи, видя безысходность своего положения и беспощадность врагов, решились защищаться до последней капли крови. Драгуны, латники и атаманы бросились в замок и в другие помещения и открыли из окон убийственный огонь. В пылу резни, в адском шуме гиков и стонов увлекшиеся победители и не заметили сначала, как падали чаще и чаще их товарищи, но Морозенко вскоре заметил это.

— Гей, братцы,— крикнул он зычно,— вон шляхта засела и щелкает из окон... бросьте эту погань, а искрошите-ка этих! Только с разбором и осторогой: могут быть и наши христиане пленниками у панов и томиться в неволе, так вы оружных кончайте, а безоружных сюда приводите, на мой суд. Да добудьте мне непременно живым хозяина!

— Добре, атамане! — отозвался Хмара.— А славно собачьи сыны лускают, ей-богу, славно! Ишь как валят на землю нашего брата! А нуте, хлопцы, сыпните и им в очи горохом, да гайда за мной!

Раздался залп. Зазвенели и посыпались стекла из окон. Присели многие шляхтичи, а другие повисли на окнах. Пробежал еще один раз по рядам перекатный огонь, и толпы козаков с остервенением бросились в окна, в подвалы, в двери замка, ломая все на ходу.

Площадь временно опустела. Недобитые жертвы или лежали пластом на земле, или ползали, желая скрыться под грудами трупов. Кругом замка страшною дугой взвивалось пламя, долетая в иных местах до стены, темно-багровыми клубами волновался над замком удушли-

вый дым, пропитанный едкою гарью; раскаленный воздух жег тело. В замке раздавались глухие выстрелы, треск ломаемых дверей и дикие крики.

В замковом костеле заперлись все женщины и дети; там же находился и владелец Искорости с семьей. Все стояли в оцепенении на коленях; ксендз молился, распростершись у алтаря. Но вот в костел ворвался Хмара, разъяренный сопротивлением шляхты и понесенными потерями; он ворвался, готовый затопить этот костел волнами крови, и остановился, пораженный представившеюся ему картиной; что-то дрогнуло у него в груди, словно заныла в сердце давно забытая нота.

— Стойте, хлопцы! — остановил он жестом товарищей.— Не троньте их в доме божьем, вяжите и ведите живьем к атаману, а добро все берите: оно или награблено из наших церквей, или добыто нашим потом и кровью...

Морозенко уже стоял с полчаса на крыльце замка, окруженный своею старшиной; возбуждение его доходило до высочайшей степени; он наблюдал за сносимыми к его ногам драгоценностями, за приводимыми связанными женщинами, панами, детьми... но не находил ни одного знакомого лица.

— Где же этот хозяин? Где Чаплинский?—обращался он взволнованным, молящим голосом к каждой группе пробегающих козаков.— Найдите его, приведите, Христа ради!

— Нашли, пане атамане, Сыча! — крикнул кто-то в ответ.

— Где? Жив? — встрепенулся Морозенко.

— В подвале... кажись, пытали... может быть, отходит.

Морозенко хотел было уже броситься за козаками в подвал на помощь к Сычу, как вдруг в толпе, прибывающей на площадь, послышалось:

— Ведут, ведут, вон, Чаплинского в кандалах!

Лихорадочный озноб прохватил Морозенка. Толпа расступилась, и перед атаманом предстал страстно ожидаемый Чаплинский: два козака держали под руки связанного, едва стоявшего на ногах, низенького, худого, желто-зеленого брюнета; на руках у других козаков судорожно бились в предсмертном ужасе две женщины и трое детей.

Морозенко взглянул на Чаплинского диким, обезу-

мевшим взглядом, обвел им трепетавшие перед ним жертвы и вскрикнул страшным голосом:

— Кто это?

— Господарь наш, мучитель наш, кровопийца,— ответили, низко кланяясь, мещане,— пан Чаплинский, о котором мы твоей милости говорили.

— Смеетесь вы надо мной! — схватил Морозенко одного из них за плечо, и затем, выпустивши его, обратился к дрожащему пану прерывающимся голосом: — Как имя твое? Говори, не лги... правду... правду!..

— Чаплинский... Ян-Казимир-Франциск,— пролепетал заплетающимся языком шляхтич и рухнул перед Морозенком на колени.

— Проклятье! — простонал Морозенко; отчаяние, злоба, разочарование исказили все его лицо.

Все кругом молчали.

— Что же, пане атамане, с этим кодлом, да и с остальными делать? Какой твой суд? — спросил наконец Хмара.

— Смерть, смерть всем,— прохрипел Морозенко сдавленным голосом,— за наших братьев, за жен и детей!

Два дня еще оставались козаки в местечке после разгрома: необходимо было похоронить своих, приютить тяжелораненых, дать хотя дневной отдых истомленным людям и лошадям, кроме того, надо было устроить и вооружить поступившие в отряд толпы поселян и молодых горожан. Оружия хватило на всех с избытком; кроме ружей, сабель, драгоценных пистолей и кинжалов, козаки захватили в замке еще четыре пушки, несколько гаковниц и множество боевых припасов. Деньги и драгоценные вещи, найденные у панов в огромном количестве, были разделены поровну между козаками и горожанами; не были забыты и поселяне из окрестных деревень; главная же касса владельца была оставлена для войсковых нужд. Всем этим распоряжался Сыч. Ужасное приключение с ним в замке, едва не окончившееся так печально, казалось, не оставило на здоровой натуре гиганта никаких последствий. Первым делом, когда его привели в чувство, он справился о своей мащуге и,

узнавши, что она найдена и находится в целости, заметил с улыбкой товарищам:

— А чтоб вас к хрену, хлопцы! И охота было будить меня, только через вас даром себе ноги бей; то было уже полдороги на тот свет прошел, а теперь придется опять сначала путь верстать!

Однако же, когда Сыч узнал, что Чаплинский оказался не чигиринским подстаростой, а совершенно посторонней личностью, юмористическое настроение его сразу оборвалось. Хотя знаменитого золотаревского дьяка и нельзя было бы назвать нежным родителем, но все же он любил, сколько мог, свою дочь.

— Ишь ты, дьявольское наваждение! — произнес он, взъерошивая свою огненную чуприну, и вышел, потупившись, из подземелья.

Больше никто не слыхал от него ни слова относительно этого происшествия, однако же всем было приметно, что дьяк загрустил не на шутку.

Морозенко же совершенно потерял голову; долго не мог он примириться с той мыслью, что судьба сыграла над ним такую жестокую шутку. Первая мысль, бросившаяся ему в голову после того, как он очнулся от охватившего его ужаса, была та, что Чаплинский подкупил мещан и скрывается где-нибудь в подземелье. Не обращая внимания ни на огонь, ни на возможность засады, бросился он с небольшою кучкой козаков оглядеть весь город. Все погреба, все башни, все подземелья были перерыты, но Чаплинского не оказалось нигде. Тогда Морозенка охватило другое ужасное предположение: что Чаплинский с Оксаной и Марылькой могли быть убиты нечаянно при расправе. Как безумный, пробродил он до самого утра по городу, останавливаясь над каждою группой мертвецов, подымая каждый труп и заглядывая ему в лицо.

На площади замка уже началась безобразная оргия. За расставленными во всю длину ее столами пировали окровавленные, закоптевшие от дыма козаки; всюду валялись выкаченные бочки меду и вина; на столах стояли и лежали разбитые бутылки, драгоценные кубки и простые, глиняные, миски с наваленными на них яствами,— все представляло из себя какую-то безобразную груду. Между козаками сидели бледные, полураздетые женщины с выражением безумного ужаса на за-

стывших лицах; они уже безучастно относились к оскорбительному с ними обращению. Громкие крики и песни раздавались за каждым столом. То там, то сям валялись груды брошенных трупов; какая-то женщина рыдала, припавши к неподвижному шляхтичу головой. Огненное зарево пожара, то потухавшее, то разгоравшееся снова, освещало всю эту картину и темную фигуру козака, блуждающую по городу и склоняющуюся над каждой кучей мертвецов.

Уже солнце показалось над горизонтом, когда Морозенко вернулся в замок после своих бесплодных поисков; измученный, истомленный, он заснул наконец мертвым сном. Когда же он проснулся и перед ним встало все происшедшее за эту ночь, его охватило такое мрачное, беспросветное отчаяние, что в первое мгновение он готов даже был рассадить себе голову о каменную стену. Между тем надо было распоряжаться, отдавать приказания. Морозенко велел никого не пропускать к себе, а за всеми распоряжениями обращаться к Сычу. Так прошел день, наступил другой, нужно было предпринимать что-нибудь, решить, когда и куда выступать, а атаман не отдавал никаких приказаний и, запершись в башне, казалось, забыл обо всем на свете...

Но вот у дверей башни раздался довольно громкий стук. Морозенко нахмурил брови, но не отвечал ничего. Стук повторился.

— Кто там? — спросил сурово Олекса.

— Я, сыну! — отвечала октава, в которой нетрудно было угадать Сыча.— Отопри!

Морозенко поднялся с места и, отбросивши щеколодку, впустил Сыча.

— Ну что же, сыну, все уже готово, пора бы и выступать! — остановился Сыч перед Морозенком.

— Зачем? — поднял тот голову и уставился на Сыча неподвижным взглядом.

— А что же нам тут дольше сидеть? — изумился Сыч.— Люди отдохнули, лошади тоже, да и больно начинает всякое падло смердеть. Пора бы ехать.

— Куда ехать?

— Как куда? Сам знаешь... А то что же, Оксана наша пропадать должна?

— Эх, батьку,— махнул рукой Морозенко,— Оксаны нашей уже давно нет на земле!

— Что ты, что ты, сыну? Зачем накликаешь беду? — захлопал испуганно веками Сыч.

— Нету,— повторил холодным тоном Морозенко,— а хотя б и была, так нам не отыскать ее вовек. Вот видишь же, сама доля смеется над нами, а против доли не поделаешь ничего!

Морозенко угрюмо замолчал; молчал и Сыч, но тяжелое сопенье, вырывавшееся из его груди, доказывало, что мысль его работала с усилием.

## XVI

После довольно продолжительной паузы Сыч заговорил, запинаясь за каждым словом и поводя выпученными глазами, что всегда случалось с ним, когда ему приходилось произносить более или менее длинную речь.

— Гм-гм... Не умею я, сыну, толком рассказать тебе, что думаю, а только мне сдается, что твои речи пустые. Да... Отчего на тебя такой отчай напал? Оттого, что горожане тебе сказали, что здесь Чаплинский, а ты пришел да и увидал, что Чаплинский, да не тот? А что ж от этого сделалось нам плохого? Только три дня пропало, так зато, на славу батьку нашему, какую крепость взяли и Оксаны не потеряли ничуть...

— Не потеряли?! — воскликнул горько Олекса. — Дурим мы только себя да гоняемся, как дурни, за своею мечтой!

— Ну это ты уже напрасно, сыну!

— Нет, не напрасно,— продолжал возбужденно Морозенко,— подумай только: знать мы ничего не знаем ни следу никакого не имеем и ищем по всей Волыни одного человека. И знаем о нем всего только то, что зовут его Чаплинским. А мало ли их здесь, этих Чаплинских? Вот и будем колесить из стороны в сторону, а Оксаны, быть может, уже давно нету в живых.

— Надейся на божью благодать, сыну, ибо рече господь: «Ни один волос не упадет с головы человеческой без воли его»,— произнес важно Сыч.

Но Морозенко ничего не ответил на это; охвативши голову руками, он уставился куда-то в пространство мрачным, неподвижным взглядом.

— Так что же, по-твоему, так и оставить все дело?— нарушил наконец тягостное молчание Сыч.

— Разбить голову, да и баста! — ответил, не глядя на него, Олекса.

Сыч оживился.

— Разбить-то всегда можно, сыну, — произнес он, приподымая брови,— только что же так даром? Коли бить, так за дело! Она хоть и недорогой товар, да теперь на нее спрос большой, можно подороже продать.

Морозенко слушал угрюмо, не подымая глаз.

— А ты вот о чем подумай, сыну,— продолжал смелее Сыч,— не за одной только Оксаной поехали мы, а послал нас батько Богдан поднять край, оживить замученных людей и выгнать отовсюду заклятых врагов его, панов, да и за себя отомстить. Доверил он нам окривдженных и ограбленных, доверил он нам и свою обиду, а мы возьмем да и повернем оглобли назад! С какими же глазами вернемся мы к нему? Что скажем? Бог видит, что дочку свою Оксану я крепко люблю, но я бы со стыда разбил себе эту голову, если бы ради дочки забыл десятки тысяч таких же несчастных людей.

— Правда твоя, батьку! — поднялся решительно с места Олекса и произнес громко, сжимая свои черные брови: — Едем! Вперед! Без остановки!.. Пока сил хватит! Поднимем, перероем весь край, а тогда хоть и на тот свет сторч головой.

— Сице! * Аминь! — возгласил торжественно сияющий Сыч.

Через два часа отряд уже выступал в полном боевом порядке из дымящихся развалин города. Мещане и крестьяне провожали его с благословениями и пожеланиями всего наилучшего. В замке Олекса оставил свою залогу (гарнизон) и велел жителям заняться поскорее возобновлением городских укреплений, чтобы, на случай появления поляков, город мог запереть ворота и не допускать их к себе. Решено было все-таки направляться к Луцку, но кратчайшим путем, который вызвались указать благодарные мещане. Главные силы должны были двигаться вместе; небольшие же отряды, которые Морозенко составил из самых расторопных и отважных козаков, должны были рассыпаться по сторонам и, подвигаясь по тому же направлению, разузнавать в хуторах и деревнях относительно польских войск, приглашать

* Воістину так! (*Старосл.)*

крестьян к поголовному восстанию и раздавать им универсалы Хмельницкого. Кроме того, козакам поручено было справляться всюду и о Чаплинском; каждому, кто принесет о нем хотя какое-нибудь известие, Морозенко обещал по сотне червонцев; но и без этого обещания все старались услужить атаману, так как каждый принимал горячо к сердцу его судьбу. В числе козаков, посылаемых на рекогносцировки, вызвался участвовать и Сыч. Разделившись таким образом, козаки пожелали друг другу успеха и двинулись вперед.

День прошел спокойно, без всяких приключений. Весть о новой победе козаков разнеслась по окрестностям с изумительною быстротой. В каждой деревне, которую приходилось проезжать отряду, жители выходили к козакам навстречу с хлебом-солью, с иконами и сносили им на место стоянки груды деревенских припасов; в больших же селах их встречали и священники с причтом, с хоругвями и кропили святой водой. Отряд двигался усиленным маршем; к вечеру было уже пройдено шестьдесят верст, и Морозенко велел остановиться на ночлег. Рано утром отдохнувшие и подбодрившиеся козаки двинулись снова вперед. Так прошло еще два дня.

На третий день вечером, когда остановившиеся для привала козаки расставили уже свои казанки и готовились приступить к вечере, в лагере послышались вдруг шум и движение. Толпа козаков окружила какие-то две фигуры и с громким хохотом и шутками волокла их к Морозенку.

— Поймался, друже! Ах ты, смутьян, народ бунтуешь? Ну, погоди ж! Идем-ка к атаману! — раздавались веселые угрозы в толпе, окружавшей двух прибывших.

Все в лагере посрывались со своих мест, заинтересованные любопытным происшествием.

— Что это? Что там такое? — всполошился и Морозенко, подымаясь с места.

— Да это Сыч поймал кого-то и волочит к тебе,— пояснил с улыбкою Хмара.

Сердце Морозенка забилось тревожно. В это же время толпа достигла его и из нее выступил красный, сияющий Сыч, державший за шиворот какую-то человеческую фигуру.

— А вот, посмотри-ка, сыну, какого карася аз поя-

ше! * — возгласил он торжественно, приподнимая одною рукой свою жертву.

— Верныгора! — вскрикнул с изумлением Морозенко, и в голосе его послышалось некоторое разочарование.

— Теперь уже не Верныгора, а Вернысолома, брате! — пояснил с широкою улыбкой прибывший и, обратившись к Сычу, прибавил: — Да ты пусти, отче, а то жупан перервешь.

— Э, нет, братику, попался в полон, да еще и просишься! Вознесем мы тебя еще превыше древес! — хлопнул его по спине Сыч и, опустивши на землю, продолжал, обращаясь к Морозенку: — Ты только подумай, сыну, за каким делом мы его застали, га? Ездит себе на серой кобыльчине, да всюду гетманские наказы развозит, да язык о зубы точит, против вельможных панов бунтует! Га?

— Почтарем стал,— усмехнулся Верныгора,— в козаки уже не гожусь, ну так хоть в дзвонари.

— И ведь что еще,— продолжал с воодушевлением Сыч,— и двух ног целых нет, а туда же пнется.

— Борониться могу и на одной, а бежать и на двух не собирался,— ответил Верныгора.

Громкие крики одобрения приветствовали его слова.

— Ишь ты, какие они у нас завзятые! — крикнул весело Сыч.— Ну, за это можно будет тебе и чарку горилки дать. Садись же да расскажи нам про все новости; уж если ты почтарь, так должен все знать, а то мы от стаи отбились да и не знаем, что там поделывают наши орлы-соколы.

Козаки уселись в круг; в центре поместились Морозенко, Сыч, Верныгора и Хмара, а остальные окружили их плотною стеной. Кашевары принесли огромный казан галушек с салом и бочоночек водки. Когда все утолили и голод, и жажду, Сыч обратился к окружающим:

— Ну, братия, будем слушать!

— Гм... Ну, с чего ж вам начать? — откашлялся Верныгора. — Про Ганджу да Кривоноса, что взяли Винницу и Брацлав, слыхали?

— Оповещены,— пробасил Сыч, — реки далее: как другие?

— Остап взял Тульчин.

---

* А з п о я ш е — я впіймав (*старосл.*).

— Ну? — изумились Сыч и Морозенко.

— Крепость важная, — заметил значительно Хмара,— я там раз чуть-чуть на кол не угодил. Помню хорошо. Так, значит, уже вся Подолия наша?

— Почти; пройдет еще недельки две — и вся в жмене будет, — ответил Верныгора и продолжал, набивая люльку: — Колодка вот тут же, на Волыни, Кременец взял[3].

— Вот это так дело! — воскликнул шумно Сыч.— Как ему оно удалось? Ведь так огорожен этот город, что и сам черт о него зубы сломает.

— Шесть недель осаждал, а все-таки взял!

— Молодец! — перебил его весело Кривуля.

— А в Литве Небаба наш хозяйничает: Гомель, Лаев, Брахин сами ему отворили ворота; везде города под гетманскую руку приводит... Да вот гетман Радзивилл выслал сильный отряд с Воловичем на челе, что у них выйдет — не знаю.

— Ну, мы к нему на подмогу поспеем,— вставил Морозенко,— мы к Луцку идем.

— Дело, — согласился Верныгора, — Луцк сильная крепость, а там еще и значительный польский отряд заперся.

— Ты знаешь наверняка? — оживился Морозенко.

— Верно; люди говорили, что там скрылось множество панов.

— Ну вот, это как раз нам на руку,— вскрикнул радостно Сыч,— а как же левобережцы?

— Работают! — усмехнулся Верныгора.— Недавно я там был. Жнива теперь... поверишь ли, на полях никого... и хлеб уродил, а собирать некому, так и высыпается... или скотина выпасывается... все облогом стоит... хаты везде не заколочены, словно мор по земле прошел, только кой-где бабы, старики да дети по две, по три копки нажали... да и баб мало. Все, что могло, все к батьку да к нашим ушло... А особенно из Вишневеччины; много там народ вытерпел, озверился... Вовгура там хозяйничает... Здорово ощипал Ярему...[4]

— Ха-ха-ха! — разразился зычным хохотом Сыч.— Вот за это почоломкаюсь с ним, когда свидимся... Я бы его не то ощипал, а и все перья из хвоста бы повыдрал ему, дьяволу! Ну, а что ж, лютует, собака?

— Го-го-го! Еще как! — усмехнулся Верныгора. —

Сначала он живо сорвался было с места, собрал восемь тысяч шляхты да и давай рубить всех и вешать, а как услыхал, что на него Кривонос идет, да как увидал, что кипит все кругом, сейчас же повернул оглобли назад: княгиню свою отправил в Полесье, а сам бросился со своими вишневцами в Житомир. Хотел сначала было в Киев, да туда ляхам теперь уже и приступу нет: все кругом наше,— усмехнулся Верныгора, потянувши сладко люлечку.— Ну, так вот, как очутился он сам посреди наших потуг, как заструнченный волк, и бросился в Житомир, там собирает шляхту, снаряжает войско, думает идти на К~~ривоноса и Ч~~арноту [5].

— Эх, братики,— вскрикнул шумно Сыч,— два года жизни, ей-ей, дал бы, чтобы быть теперь с ними! Чешутся руки на Ярему, да так чешутся, что и сказать нельзя!

— Правда! Правда! — послышались возгласы среди козаков.— За Яремину голову было бы и двадцать городов променять!

— Иуда! Отступник! Мучитель проклятый! — сверкнул глазами седой сотник.

— Да, а из всего польского рыцарства самый опасный воитель,— пробурчал угрюмо Сыч,— и храбрый зело, и умудрен в ратном деле.

— Не тревожьтесь, панове, дойдет его уж Кривонос,— вскрикнул воодушевленно Кривуля,— он давно на него зубы точит!

— Дойдет, дойдет! — подхватили и остальные.

— Навряд ли... А если и дойдет, панове, да без нас!— простонал с тоскою Сыч и, охвативши голову руками, замолчал, опершись локтями в колени.

— Стой, любый, не журись! — потряс его за плечо Верныгора.— Хватит еще на всех этого падла: ведь это еще только начало, а конец впереди; вернулись уже наши послы с сейма.

— Ну, ну? — раздались со всех сторон любопытные возгласы, и козаки понадвинулись еще ближе.

— Решили ляхи на сейме против нас войну вести, собрать тридцать шесть тысяч войска, а гетманами назначить Заславского, Конецпольского и Остророга.

— Как же это они Ярему обошли? — изумился Сыч.

— А это все нашего батька Хмеля дело,— осклабился Верныгора, — есть у него там руки в Варшаве.

Здорово смеялся он, как узнал об этом деле; что это, говорит, панки голову потеряли, выставили против меня: «Перыну», «Латыну» и «Дытыну»? [6]

Громкий смех покрыл его слова.

— Ну и батько! — вскрикнул Сыч, заливаясь от смеха.— Уж как скажет слово, словно квитку пришьет! «Перына, Латына и Дытына»!

— А еще об этом и Ярема не знает,— продолжал Верныгора,— а как узнает... вот то пойдет у них смута! Пожалуй, еще с нами Варшаву бить пойдет... Ну, да об чем это я? Так вот, порешили нам ничего о том не говорить, да в ответ на батьково прошение прислали нам лыст: так, мол, и так, панове козаки, мы вам зла не желаем, распустите вы свое войско, положите оружие, отпустите татар, так мы вас за то, что вы нас победили, пожалуй, помилуем, только начальников для острастки покараем.

— Ишь, дьяволы! — крикнул Сыч, покрываясь багровым румянцем.

— Так мы им в зубы и дались! — нахмурил брови Хмара.

— Го-го! Не такой ведь батько Хмель, чтобы его обмануть! — вскрикнул уверенно Верныгора.— Представился таким святым да божим, падам до ног,— мол, вельможное панство, со всеми вашими пунктами согласен, а только вот об одном месте поторгуемся. Они нам лыст, а мы им также, они нам другой, а мы им тоже. Выслали они наконец своих комиссаров. Проехали комиссары до Волыни [7], видят — дальше ехать нельзя, посылают послов к батьку, а батько к ним. Они нам свои условия, а мы им — свои. Уговаривают с батьком друг друга да письма пишут, бумагу портят! Таким образом мы их два месяца уже морочим, а тем временем паны-браты города да замки к нам привлащают да край святой от лядства клятого очищают... А Тимко у хана хлопочет. Посмотрим еще теперь, кто кого перехитрит.

— Ну да и батько! Ну да и голова! Вот уже гетман так гетман! — раздались кругом восторженные возгласы.

— За таким можно и на тот свет пойти,— зажмуривши глаза, вскрикнул, подымаясь с места, Сыч.

— Голову за одно его слово положить! — вспыхнул и Морозенко, сверкнувши глазами.

До поздней ночи сидели у пылающих костров козаки, слушая рассказы Верныгоры о подвигах козаков, о намерениях гетмана, о хитростях поляков. Восхищение Богданом и воодушевление росли у слушателей с каждым словом товарища.

## XVII

Утром рано Верныгора распрощался с товарищами.

— Ты куда же теперь путь держишь? — обратился к нему Сыч.

— Ко Львову еду; там еще туговато подымается народ, а здесь и без меня дрожжей довольно.

— Да как же так, один и поедешь? — изумился Морозенко.— Правда, что панов всюду бьют, но как они поймают кого в свои руки, так и куска целой шкуры не оставят!

— Я не один,— усмехнулся Верныгора,— нас сюда сто человек послано, только разбрелись мы по разным деревням, а вот теперь собираться почнем.

— Гм... так вот что, ты, друже,— откашлялся Сыч и приподнял брови,— если того... случится как... дорогою узнать... о Чаплинском Даниле, что из Чигирина, так ты нам... того...

— Знаю, знаю,—перебил Верныгора,—сам стараюсь.

— Ну, вот и спасибо! — воскликнули разом Сыч и Морозенко.

Товарищи поцеловались по христианскому обычаю трижды и двинулись в путь.

Встреча с Верныгорой произвела на Морозенка сильное впечатление; рассказы этого нежданного гостя о великих планах гетмана, о хитростях ляхов, клонящихся к тому, чтобы погубить все козачество и весь народ, и об ожидаемой с минуты на минуту новой ужасной войне пробудили снова у Морозенка энергию, бодрость и весь его юношеский огонь. Ему было даже тяжело вспоминать о том отчаянье, которое охватило его в Искорости. Ни на одно мгновение не забывал он и теперь о бедной девушке, но чувствовал вместе с тем, что жизнь его не принадлежит ей одной, что, кроме нее, все силы его призывает и другое, дорогое его сердцу, дело. Воодушевление же отряда доходило до такой степени, что, казалось, встреться он сейчас с в десять раз сильнейшим

врагом, все бы бросились на него. Так прошел день, другой и третий. Еще два местечка передались Морозенку по дороге без всякого боя. Едва услышали о приближении козаков, паны бежали из них, мещане же перевязали сами оставленный в замке гарнизон и отворили козакам ворота. В каждом таком местечке Морозенко оставлял свой козацкий гарнизон, и таким образом все города по пути его признавали власть Богдана и освобождались от поляков и евреев. Отряд подвигался все к Луцку, однако, несмотря на форсированное движение, в день не удавалось пройти более пятидесяти верст.

Однажды вечером, когда Морозенко готовился уже заснуть, к нему подошел озабоченный Сыч.

— А что, батьку, откуда ты? — приподнялся Морозенко.

— Да только что с разведок.

— Ну?

— Надо бы нам быть поосторожнее, сыну.

— Да что такое? — изумился Морозенко.

— А вот что: пробирались мы сегодня с хлопцами хуторами и накрыли по дороге небольшой польский отряд, человек их с тридцать было; вздумали было защищаться, да дело окончилось скоро... осталось два жолнера. Мы их легонько потревожили и узнали, что они спешили догнать свой отряд, который направлялся к Глинянам [8], куда, мол, велено собираться всем панским командам и поветовым хоругвям.

Лицо Морозенка вспыхнуло.

— Так, значит, скоро уж дело?—произнес он негромко, подавляя охватившее его волнение.

— Ну, скоро-то не скоро, знаешь, как ляхи на войну собираются, а все-таки уже не жарт.

— Надо известить немедленно гетмана,— заговорил оживленно Морозенко,— послать двух или трех надежных людей по разным путям,— если один не доедет, так чтоб другой известие принес.

— Верно,— согласился Сыч,— но надо, сыну, подумать нам и о себе. Смотри, как бы нас не отрезали от всех ляхи. Они будут все собираться к Глинянам, с малым отрядом теперь никто не решится через Волынь идти, а путь их мимо нас.

— Так, так,— проговорил в раздумье Морозенко, закусывая ус.

— А ведь против большого отряда, да еще в открытом поле, мы не устоим,— продолжал Сыч,— нас ведь не так много, а на посполитство, приставшее отовсюду, полагаться нельзя.

— Верно,— поднял голову Морозенко и произнес решительно: — Надо нам спешить соединиться либо с Небабой, либо с Колодкой; он должен быть здесь где-то недалеко; послать разведчиков.

— А пока что,— прибавил Сыч,— свернуть с большой дороги и двигаться лучше лесами да проселками.

Морозенко согласился с Сычом и, призвавши сотников, сообщил всем только что полученные известия и велел удвоить осторожность. Весть о возможности скорой войны мигом облетела весь лагерь и была встречена с шумным восторгом. Все в лагере зашевелилось, как в разрушенном муравейнике. Козаки сходились группами, толковали, спорили, делали всевозможные предположения; восторженные возгласы и прославления гетмана раздавались во всех углах. Военная горячка охватила и Морозенка, и всю старшину. Долго не мог угомониться козацкий лагерь, и только под утро, утомленные дневным переходом, все заснули наконец мертвым сном.

Собравши рано всех козаков, Морозенко выбрал из них двенадцать самых расторопных и отважных; шестерых послал к Богдану, а по три — к Колодке и Небабе с предложением соединиться ввиду начинающихся сборов ляхов.

— Мы же станем лагерем в Диком лесу и разузнаем сперва все, что делается кругом,— прибавил он им,— а потом осадим Луцк и будем там поджидать вас. Только смотрите, панове, будьте осторожны, продирайтесь закоулками, не задирайтесь ни с кем в дороге, да не жалейте коней, помните, что от вашей быстроты много может измениться и для нас, и для ляхов.

— Гаразд, батьку,— ответили разом козаки,— уж за нас не тревожься: где нужно, там и дурнями прикинемся.

— Будьте хитры, яко змии, и быстры, яко бегущие ляхи! — возгласил Сыч.

Веселый смех приветствовал его пожелание. Козаки попрощались с атаманом и товарищами и, лихо вскочив на коней, разъехались в разные стороны, а отряд двинулся вперед. Время от времени ему стали попадаться

по дороге группы замученных поселян. Казнены они были, очевидно, для острастки другим, так как тела этих несчастных носили следы нечеловеческих мучений: одни из них были повешены вниз головой, у других были выбуравлены глаза, а рот налит кипящею смолой, у третьих были вытянуты жилы, четвертые были изрубаны на мелкие куски или подвергнуты еще худшим, отвратительным истязаниям.

— Ишь, дьяволы,— пробурчал себе под нос Сыч, глядя исподлобья на ужасную группу,— как дорогу свою украшают, ну, по крайности, хоть легко будет отыскать их, чтобы за все поблагодарить!

На другой день отряд достиг Дикого леса, который, по словам крестьян, тянулся на сотни верст. Проехавши дорогой верст пять, козаки выехали на довольно обширную поляну, среди которой стояло какое-то полуразвалившееся здание, представлявшее из себя, по-видимому, в прежнее время корчму, а теперь вряд ли годившееся для какого-нибудь жилья. Долину окружал подступивший со всех сторон темный сосновый бор. Местность была мрачная и угрюмая, казалось, созданная самою природой для притона разбойников. Странной являлась фантазия неизвестного предпринимателя построить корчму в таком уединенном и неприветливом месте; впрочем, теперь трудно было и угадать, какое назначение имело это здание, так как, по-видимому, оно было заброшено уже много лет.

— Здесь, панове, и станем обозом,— решил Морозенко, останавливая коня,— место придатное, а на случай чего и эта развалина сыграет нам услугу.

Сотники все согласились с атаманом; козаки принялись живо за дело, и вскоре укрепленный обоз был уже совершенно готов.

— Ну, панове,— обратился Морозенко к сотникам, когда все уже было готово,— времени до вечера еще много, кто из вас хочет отправиться добыть «языка» да потолкаться по окрестности?

Несколько голосов отозвались живо на это предложение.

— Ну, добро,— согласился Морозенко,— поезжай ты, Хмара, и ты, Дуб,—обратился он к седому запорожцу,— а больше, пожалуй, и не нужно, чтоб еще не поймался кто сам.

— Гаразд,— согласились все.

Вечерело. Длинный июльский день близился понемногу к концу. Солнце спряталось за лес, и только освещенные верхушки гигантских сосен да светлые стрелы между легкими облачками, разбросанными в зените неба, показывали, что оно далеко еще не скрылось за горизонтом; но в лесной долине было уже совсем сумрачно и прохладно; краски кругом поблекли и потускнели; темные тени наполнили ее; теперь она казалась какою-то глубокою ямой и нагоняла на душу тоску и страстное желание вырваться из нее на широкий простор, на освещенное заходящим солнцем пространство. В разных местах долины зажглись костры, затрещал сухой валежник и сизый дымок потянулся к золотистому небу. Козаки занялись приготовлением к ужину. Долина повеселела.

Но вот небо на одной окраине леса заалело, золотистый колер начал тускнеть, а наконец и совершенно погас. Стемнело. Выступили звезды, лес почернел, настал тихий вечер.

Морозенко сидел в стороне, занятый своими размышлениями. Последние события пронеслись над его головой так быстро, что не дали ему времени разобраться во всем. Без сомнения, война будет скоро, но если война, то ведь предполагаемые поиски Оксаны придется прекратить? Мысль эта явилась у него в виде вопроса, но тут же Морозенко почувствовал, что и сомневаться в этом было нечего. Невозможно будет с небольшим отрядом рыскать по стране, которая должна остаться в руках неприятеля, а большие силы, да и начальники — все будут нужны гетману. До сих пор мысль эта не приходила ему в голову, теперь же она его совершенно ошеломила.

«Что же делать? Что делать?» — прошептал он беззвучно, устремляя глаза в черную стену леса.

— А поглянь-ка, пане атамане, — раздался в это время подле него голос Кривули,— что это на небе?

Морозенко вздрогнул от неожиданного оклика и поднял глаза: край неба светился бледным заревом, но оно разгоралось с каждым мгновением.

— Месяц всходит,— произнес он рассеянно.

— Какой месяц! — усмехнулся Кривуля.— Теперь молодык (первая четверть); это, верно, наши люльки раскуривают да нам знак подают.

Морозенко смотрел на молодого сотника, не слушая его слов, как вдруг взгляд его упал случайно на узкую ленту у ворота сорочки Кривули; что-то знакомое почудилось Олексе.

— Ты думаешь? — произнес он машинально, сжимая брови и стараясь припомнить, что такое напоминает ему этот узкий кусочек материи, прикрепленный у ворота Кривули.

— А то что ж? — отвечал весело Кривуля.— Когда б ляхи наших поймали, то не жгли бы собственных палацев.

Но Морозенко не слыхал его ответа, он не отрывал глаз от стёжки, что-то мучительное зашевелилось в его мозгу, но как он ни напрягал своей памяти, а не мог понять, почему этот кусок материи так приковывает его внимание, но что с ним связано какое-то воспоминание, это он чувствовал. Вдруг лицо его начало медленно покрываться слабою краской.

— Да что это с тобой? — изумился наконец Кривуля, заметивши, что с атаманом творится что-то неладное.

— Где ты взял этот кусок, где? Где? — произнес Морозенко каким-то неверным голосом, впиваясь в Кривулю блестящими глазами.

— Да там, в хате, там валяется еще несколько таких лоскутков.

— Идем! Покажи! — поднялся порывисто с места Олекса.

Недоумевая, что могло так взволновать атамана из-за куска шелковой материи, Кривуля поторопился последовать за своим атаманом. Морозенко не шел, а бежал мимо всех козаков; не отставал от него и Кривуля; наконец они достигли полуразвалившейся корчмы и вошли в темные сени. С правой стороны здание было совершенно разрушено; видно было развалившуюся печь и дырявую крышу, но слева стена была совершенно целая. Кривуля услыхал в темноте, как порывисто вырывалось дыхание Морозенка.

— Где? — раздался отрывистый вопрос Морозенка.

— А вот здесь! — толкнул Кривуля маленькую дверь слева, и они вошли в какое-то обширное темное помещение.

— Лучину! Факел! — крикнул Морозенко.

Кривуля выбежал и через несколько минут возвра-

тился с горящею головней. За ним в сенях столпилось несколько заинтересованных козаков. Теперь, при свете этого оригинального освещения, можно было рассмотреть обширную хату, выступившую перед козаками из темноты. Она не была так заброшена, как остальное здание; видно было, что здесь жили недавно и даже старались улучшить ее: печь была исправлена, двери были новые, дыры в стенах были тщательно замазаны глиной; на припечке еще лежала выгребенная зола. У окна стоял стол и простые, но новые лавы, а в углу на длинном топчане было устроено даже какое-то помещение, напоминавшее кровать; на нем была навалена куча сена и сверху покрыта ковром. Здесь же валялись брошенная миска и оловянная кружка.

— Где же, где ты нашел? — схватил Морозенко за руку Кривулю.

— Да вот, вот и еще есть,— подошел к топчану Кривуля.

На полу валялись обрывки шелковой материи и несколько крупных кораллин. В одно мгновение нагнулся Морозенко, схватил их с полу, и вдруг радостный крик вырвался из его груди.

— Что с тобой? Что тут случилось, сыну? — подбежал к нему в это время запыхавшийся Сыч.

— Батьку! — обернулся к нему Морозенко. — Она была здесь!

— Кто? Кто?

— Оксана, батьку, наша Оксана! — продолжал, задыхаясь, Морозенко.— Вот обрывки, платок, который я ей подарил, кораллы тоже.

— И ты не ошибаешься?

— Нет, нет! Она бежала от них, спаслась.

— Слава всевышнему! — захлопал веками Сыч, стараясь скрыть в смущенной улыбке слезы, выступившие ему на глаза.

— Но где же она теперь? Была когда-то, след надо отыскать, может, кто-нибудь знает, может, она скрылась где-нибудь в лесу? — продолжал возбужденно Олекса.

— Я отыщу, пане атамане... я заметил в лесу хуторок, там, верно, знают,— подошел к Морозенку Кривуля.

— Скачи, друже, найди, довеку тебе братом буду,— сжал его руку Морозенко.

— Через годыну вернусь! — вскрикнул весело Кривуля и торопливо выбежал из хаты.

— О господи! Ты таки сжалился над нами! — вздохнул глубоко Морозенко.

— Истинно, пути господни неисповедимы! — возгласил и Сыч, проводя по сияющему, лоснящемуся лицу своею загорелою рукой.— Обыщем, сыну, хату, может быть, обрящем еще что-нибудь.

Морозенко радостно согласился на это предложение. Они принялись за дело. Все свидетельствовало о том, что в хате жил кто-то довольно долгое время: в печи оказалось два забытых горшка, в одном из которых лежало на дне какое-то высохшее зелье; под прыпичком валялась вязанка дров. На печи Морозенко отыскал чей-то забытый пояс.

— С нею был кто-то,— произнес он встревоженным тоном, слезая с печи и рассматривая пояс. Пояс был широкий, шалевый.

— Батьку, ведь это лядский пояс, таких не носят козаки,— произнес он, запинаясь.

Сыч подошел к Морозенку и взглянул внимательно на пояс.

— В такое время мог и козак с ляха снять,— попробовал было он успокоить Морозенка, чувствуя, однако, что на душе у него заскребло что-то неладное.

Но на Морозенка это предположение подействовало мало; он бросил пояс и, закусивши губу, принялся перерывать все в хате с какою-то лихорадочною поспешностью. Сыч не отставал от него. В хате стало тихо, слышался только шум переворачиваемых вещей. Так дошли они до покрытого ковром топчана. Морозенко засунул руку в сено и быстро вытащил ее назад: в руке оказалась куча окровавленных тряпок. Тряпки вывалились из рук Морозенка.

— Батьку,— произнес он, поворачивая к Сычу бледное, окаменевшее лицо,— они убили ее!

Сыч ничего не ответил. Несколько времени они стояли так друг перед другом, словно погруженные в глубокий столбняк. Их вывел из этого оцепенения частый конский топот, раздавшийся у дверей. В хату поспешно вошел Кривуля в сопровождении какой-то старой бабы.

— Нашел, нашел, атамане,— крикнул он еще с порога,— она знает все, говорит, сама лечила!

## XVIII

Морозенко бросился к вошедшим.

— Ты знаешь, бабо... умерла... жива?..

— Знаю, знаю, козаче,— заговорила баба, низко кланяясь у порога,— сама лечила.

— Ну-ну! — заторопил ее Морозенко.

— Чуть-чуть не умерла, едва отходила. Э, если бы не жабьяча травка, не топтать бы ей рясту, нет!

— Да что такое? Отчего? — перебил ее нетерпеливо Морозенко.

— Отчего? Да ты только подумай, козаче: вот тут над сердцем такая дыра, хоть два пальца заложи! Целый месяц вот тут без памяти лежала, а потом, как полегчало, я ее перевела в землянку.

— Изверги! — проскрежетал Морозенко.— Кто же ее?

— Не знаю. Выходило, как будто сама.

— Стой, бабо,— сжал ее руку Морозенко,— как звали дивчыну?

— Оксаной... Да, это верно, Оксаной.

— Какая из себя?

— Хорошая, ой хорошая, козаче! Косы черные как змеи, и очи как звезды. Славная дивчына, и жалкая такая, ей-ей! Полюбила я ее, как дочь. Все о каком-то козаке плакала, как в память приходить начала.

— Дальше, дальше, бабо,— простонал Морозенко,— с чего это она? Обидел кто? Все, все говори!

— Не знаю... Что раньше было, не знаю, а тут ей обиды не было никакой. Призвал он меня, а она лежит в крови. «Спаси,— говорит,— озолочу!»

— Кто был тут с нею?

— Шляхтич.

— Чаплинский? — вскрикнул Морозенко.

— Прозвища не помню... Только не так, не так, это знаю... Больше на дерево что-то походило.

— Толстый, с торчащими усами?

— Э, нет! Статный, тонкий такой, молодой, и волос, и ус черный, и лицом красивый. И уж смотрел за нею так, как за ребенком родным. Он же сам и меня отыскал, озолотить обещал, если отхожу.

— Где же делись они? — перебил ее рассвирепевший Сыч.

— А увез же ее в Литву.

— Спасти ты не могла христианскую душу, ведьма? — замахнулся он на нее, но его удержали козаки.

— Да чего ж спасать? Не обижал он ее; обещал в Литве к какому-то козаку отвезти, клялся, божился.

— Предатели! Звери! — вскрикнул раздирающим душу голосом Морозенко.— Куда же повез он ее, бабо? Скажи, скажи ж, на бога! Куда? Когда? Золотом осыплю тебя!

— Месяца уже с два, не меньше, а куда — не знаю, хоть убейте, козаченьки, не знаю. В Литву, говорил, к Морозенку, а больше ничего.

Мучительный стон вырвался из груди Олексы; шатаясь, опустился он на лаву и закрыл руками лицо.

Сыч стоял потупившись. Молча стояли кругом и козаки, не смея нарушить ни словом, ни вздохом страшного горя своего атамана.

В это время на дворе послышался топот подъезжающих лошадей, шум и радостные приветственные крики; через несколько минут в хату вошли Хмара, Дуб и Ганджа. Козаки молча расступились перед ними. Прибывшие вышли на средину хаты и с изумлением оглянулись. Морозенко не подымал головы. С минуту Ганджа смотрел, недоумевая, на эту застывшую группу и затем произнес громко, подымая свой полковничий пернач:

— Ясновельможный гетман приказывает, чтобы ты спешил немедленно со своим отрядом назад!

В то время, когда козацкие загоны брали во всех местах края города и замки и изгоняли отовсюду панов, Богдан тоже не терял времени даром и работал над устройством войска и над хитро запутанными вопросами тонкой дипломатии.

Разославши во все стороны свои отряды и универсалы, приглашавшие всех к поголовному восстанию, Богдан решил первое время не принимать со своей стороны никаких активных мер, а подождать, что-то скажут из Варшавы и на что решится сейм. Богдан знал, что по поводу избрания нового короля теперь пойдут по всей Польше собрания, сеймики, сеймы, и думал воспользоваться этим смутным временем. Послы в Варшаву с объяснением причин восстания и уверениями в самых верноподданнических чувствах были давно уже посланы.

Такой образ действий приносил ему двойную пользу: во-первых, без особых потерь со своей стороны он овладевал постепенно краем и фактически захватывал его в свои руки, а во-вторых, стоя в бездействии, мог прекрасно наблюдать за всеми маневрами и намерениями панов. Что бы ни было в будущем — мир или война, победа или поражение — Богдан сознавал, что прежде всего надо расшатать и ослабить панскую власть и силу, а потому он и позволял образовывать загоны даже самим крестьянам, ничего не возражая против поголовного истребления панов.

Распорядившись так своими внешними делами, а во внутренних постановив придерживаться выжидательной политики, Богдан решил предаться хоть кратковременному отдыху, который был так необходим для его взволнованной и потрясенной души.

Но отдыха не было для гетмана.

После той страшной вспышки, происшедшей при Богуне и Ганне, Богдан уже не упоминал ни единым словом о Марыльке; но вытравить ее образ из сердца было не так-то легко. Ужасное известие об измене и вероломстве так горячо любимой им женщины потрясло слишком тяжело гетмана. Правда, благодаря его нечеловеческой силе воли, никто и не подозревал, что творилось в душе Богдана; даже Ганна, усыпленная его видимым спокойствием, была уверена, что великие события, совершающиеся теперь вокруг них, поглотили совсем тоску о потере любимой женщины, ставшей теперь и в глазах гетмана негодной тварью, а между тем в душе его не заживала глубокая и тяжелая рана. Чуть только оставался он один, освобожденный от дневных забот, перед ним вставал образ Марыльки, прекрасный и лживый, смеющийся, обнимающий Чаплинского, ласкающийся к нему. Бешеная ненависть охватывала гетмана. С налитыми кровью глазами срывался он с места и метался по комнате, как раненый зверь, стараясь заглушить свою боль, а воображение рисовало перед ним все те пытки и унижения, которые он придумает и для него, и для нее.

— О, только б привезли мне их живыми... живыми... живыми! — шептал он, задыхаясь от волнения и упиваясь с какою-то острою, жгучею болью картинами будущей мести, пока не падал обессиленный на постель и

не засыпал тяжелым сном. Чувствуя, что теперь ему нужны все его силы, Богдан отгонял от себя все эти мысли, старался заглушить их заботами, вином, делами... Но, несмотря ни на что, в сердце его оставалась тупая, неразрешимая боль. Он сам удивлялся себе, как может думать так много о насмеявшейся над ним ляховке, и объяснял все это страстною жаждой мести... К счастью, дела было так много, что помимо воли гетман не оставался сам с собою и на несколько минут и таким образом вспоминал все реже и реже о Марыльке.

После Корсуня Богдан перешел со своими войсками под Белую Церковь и заложил здесь обоз. Сюда же перевел он и всю свою семью из Чигирина; не забыли и старого деда. Для гетмана и его семьи приготовлен был роскошный Белоцерковский замок.

Целыми днями хлопотал гетман над устройством и обучением собранных теперь под его властью войск. Сознавая, что только мир, написанный мечом, может быть выгодным и прочным, Богдан торопился обучать и вооружать свои полчища. Каждый день к нему прибывали толпы крестьян, желавших вступить под козацкие знамена, но все это были хотя и отважные, и не дорожащие жизнью люди, однако мало опытные в военном деле; для них-то и устраивались ежедневно примерные сражения и всевозможные военные экзерциции. Во всех этих хлопотах Богдану помогали Кречовский, Тетеря и Золотаренко. В оружии не было недостатка; войско было вооружено на славу и даже с роскошью. Почти каждый день начальники загонов присылали Богдану взятые пушки, оружие, деньги, знамена. С любовью и гордостью устраивал Богдан свою армату: обучал собственноручно пушкарей, приглашал иноземцев.

В войсках он старался поддерживать суровый и отважный дух, да для этого и не нужно было особенно стараться: крестьяне и козаки, составлявшие войска, к лишениям привыкли с детства и к роскоши относились с своеобразным презрением; что же касается отваги, то, помимо дерзкой удали и равнодушия к жизни, которые были основными чертами характера козаков, каждое новое известие о поражении ляхов удваивало их уверенность в своих силах.

В войсках никто и не думал о возможности какого-либо мира, все были воодушевлены одним желанием:

разорить всю Польшу и навсегда избавиться от ляхов. Вся эта стотысячная сверкающая ружьями и пиками масса ждала только одного слова своего обожаемого гетмана, чтобы двинуться за ним всюду, куда он ее поведет. Богдан сам чувствовал свою возрастающую силу.

Успех превзошел все его ожидания.

Все свободное от занятий время Богдан проводил в кругу своей семьи, сидя с Ганной, с детьми, с Золотаренком и Кречовским; он даже забывал минутами о всех тех великих и важных переворотах, которые уже совершились по его воле и которые ему предстояло еще совершить; Богдан наслаждался всем сердцем этими короткими минутами покоя, инстинктивно чувствуя, что это короткое затишье наступило для него перед еще большею грозой.

С Ганной Богдан был еще ласковее, нежнее и откровеннее.

Он делился с нею всеми своими думами и планами, и хотя простая, бесхитростная девушка и не могла иногда постичь глубокомысленных задач политики, но она всегда угадывала своим честным, правдивым сердцем и высокою душой, где истина, где ложь и эгоизм. После разговора с ней Богдан чувствовал себя каждый раз обновленным и освеженным; она одна умела будить в гетмане все высокие силы его души, часто пригнетаемые жизнью; она одна могла давать советы, совершенно устраняя из мысли свои выгоды и свой расчет; она одна говорила гетману истинную правду в глаза. Богдан все это видел, видел и ту бесконечную любовь, с которой относилась к нему Ганна.

— Ганно, дитя мое,— говорил он ей,— ты моя совесть, ты мой добрый ангел. Чем отплачу я тебе за все?

— Дядьку! — вспыхивала Ганна.— Не вы, не вы!.. Мы должны вам отплатить своей жизнью за все!

Так проходило время. Ганна была счастлива,— она больше ничего не желала. Дети сначала дичились, стеснялись роскошной обстановки, в которую попали; но, несмотря на все внешнее богатство, Богдан ничуть не изменил своего образа жизни и жил с такой же доступностью и простотой, как и в Чигирине,— и все пошло своею колеей.

Часто, прохаживаясь по роскошным анфиладам комнат замка, Богдан вспоминал те мгновения, когда,

осмеянный, ограбленный, спешил он на Запорожье искать у братьев-козаков суда и праведной мести. Думал ли он тогда о том, чего свидетелем стал теперь? Нет, никогда! А между тем события понеслись с такою оглушающею быстротой и вынесли его на такую высоту, о которой он никогда и не мечтал. И вот, казалось, высота эта и вызывала тайную тревогу в сердце Богдана.

Несмоторя на видимое спокойствие гетмана, в душе его давно уже начал шевелиться один мучительный вопрос: что будет дальше? Среди военных экзерциций, или во время пира, или за дружественною беседой он всегда являлся перед ним, и Богдан не находил на него никакого положительного ответа. В самом начале восстания он думал прежде всего избавить от поругания греческую православную веру, утвердить ее права наравне с католической, увеличить козацкое сословие, возвратить ему его привилегии и оградить крестьян от притеснений панов. Но теперь все эти меры являлись слишком ничтожными и не могли никого удовлетворить. Подымая восстание и рассылая всюду свои универсалы, Богдан обещал всем, приставшим к нему, землю и волю, и результат превзошел все его ожидания. Слова его пронеслись над краем, как дуновение ветра над тлеющим пепелищем, и все вспыхнуло огнем. Восстание приняло слишком широкие размеры: вся Волынь, Подолия, Украйна восстали поголовно на его оклик, и все от мала до велика готовы теперь с оружием в руках защищать свою свободу. Все это порывистое, страстное движение народа доказывало Богдану, как сильно накипела в нем ненависть к ляхам и как горячо желает он отстоять свою волю, а между тем Богдан видел, что в действительности невозможно было удовлетворить это желание. Разве согласится Польша дать волю всему русскому народу и таким образом утерять все свои богатые земли в Украйне и даровых рабов? Ведь по законам Речи Посполитой одно лишь шляхетское сословие имеет право владеть населенными землями, так как же они от них откажутся? Никогда, никогда! Да и многие из старшины будут против этого. Еще, пожалуй, на возвращение привилегий козацких сейм, может, и согласится, но относительно свободы народа они будут непреклонны все. Какие же нибудь полумеры не удовлетворят народа, да полумеры не обуздают и тех... Богдан чувствовал, что в этом за-

путанном положении ничего нельзя было достичь уступками, смягчениями; его надо было перерубить, как гордиев узел, но узлом оказывалась вся Польша, и Богдан понимал, что меч его был еще для этого недостаточно силен.

Положение Богдана ухудшилось еще смертью короля. Правда, с одной стороны, она развязывала ему руки и предоставляла полную свободу действий, с другой же — лишала его верной опоры. Прежде он имел больше шансов надеяться достичь своих желаний при усилении королевской власти; теперь же, со смертью короля, и партия его теряла значение. Надо было еще составить себе новую партию и заручиться благорасположением и согласием нового короля. Но как это сделать? Да и кого выберут королем? Будет ли этот король расположен продолжать политику Владислава и поддерживать козаков? Правда, Богдан подымал восстание не против короля, закона и государства, напротив, он шел на панов, поправших закон и справедливость, унизивших и самого короля, но ведь эти-то самые паны и составляли, собственно, все польское государство, и Богдан чувствовал, что все эти правители — враги его и народа его. Положим, он послал на сейм своих депутатов с предложениями мира, но сделал он это главным образом для того, чтобы узнать настроение сейма и выиграть время, и мира быть не могло,— он это предугадывал наперед: раздраженные паны не согласятся на его требования, а он не сможет оставить народа, который, собственно, и поднял его на такую высоту.

На что же, собственно, решиться? К чему идти?

Не раз вспоминался Богдану его разговор с Могилой. «Отчим не будет вам вместо отца,— говорил владыка,— притом король смертен; надо утвердить свое дело так, чтоб оно не зависело от короля». И вот часть его слов сбылась: король умер, и рухнули надежды на его заступничество; но как утвердить свое дело так, чтоб оно не зависело ни от какого короля? «Когда дети подрастают,— говорил владыка,— они оставляют отчима и устраивают сами свою судьбу». Да, но как устроить?.. Богдан сознавал и свою силу, и воинственное настроение всего народа, и, оглядываясь назад, видел все свои победы, но, будучи человеком прозорливым и дальновидным, он не придавал еще большого значения этому первому

успеху. Главные силы ведь были еще впереди. Польша сильна, она хоть и расшатана панским самовластьем, но в роковую минуту может выставить огромное войско, и войско устроенное, управляемое опытными полководцами. Один Ярема чего стоит! О этот Ярема! Присутствие его делает из трусов — героев! Да, верно, найдется и не один он. А в его, Богдановом, войске закаленных козаков не более двадцати тысяч, остальное все не окуренное еще порохом поспольство. Первая неудача... и кто знает, как устоят они? Правда, весь народ примет участие в войне, да с такими завзятцами, как орлы запорожцы, не страшен и Ярема. Но нет, нет! — обрывал сам себя Богдан,— безумно думать покорить всю Польшу, тем более, что нет и верных союзников, а на этих надежда плоха! Положим, Тугай-бей — друг, и, соблазненный первым успехом, он согласится помогать и дальше. Но хан... что думает хан? Вот он и до сих пор не отпускает Тимка и не шлет никаких вестей. А Москва?.. Единая вера... единый закон... нет панского своеволья... Но у Москвы теперь подписан мир с Польшей [9] и постановлена клятва— помогать друг другу против татар. Поляки выставят их бунтовщиками. На этот раз ему удалось перехватить послов, но ведь всех послов не перехватишь. Нет, нет, надо искать союзников повернее!

Но если бы даже, вопреки всему, ему удалось победить всю Польшу и войти с войсками в Варшаву, разве соседние державы допустили бы это?

Будучи отважным, бесстрашным полководцем, Богдан был вместе с тем холодным, расчетливым политиком и понимал, что такого переворота не допустит никто. Теперь они являлись перед всеми верными сынами отечества, вынужденными к восстанию насилиями панов и поруганием родной святыни; но если они войдут в Варшаву, свергнут короля, тогда их сочтут мятежниками, и соседние державы сами примутся за водворение в Польше тишины и порядка, и тогда уже о правах и привилегиях нечего будет и думать.

Все это понимал Богдан и чувствовал, что каждый ложный шаг, предпринятый им, может нарушить то равновесие, на котором он теперь держался, и повлечь за собой ужасающие последствия.

Из всего этого хаоса мыслей, надежд, сомнений, предположений для него были ясны только четыре цели,

к которым он должен был неуклонно стремиться: во-первых, оправдать перед соседними державами свои поступки, во-вторых, искать союзников, выгоды которых были бы соединены с усилением козаков, в-третьих, быть готовым к дальнейшим военным действиям и, в-четвертых, стараться привлечь на свою сторону нового короля.

Но кому верить? На кого положиться?

Несколько раз собирался Богдан поехать к митрополиту [10], который снова прислал ему письмо и приглашал к себе для совещаний, но неотложные дела и заботы заставляли его откладывать со дня на день свой отъезд, а между тем Богдан чувствовал, что только превелебный владыка может дать ему мудрый совет и поддержать его в тяжелой душевной борьбе.

Волнуемый такими тревожными мыслями и сомнениями, Богдан часто впадал в задумчивость и тоску, во время которой перед ним снова всплывали воспоминания об обманувшей его женщине. Чтоб заглушить всю эту мучительную душевную тревогу, он устраивал пиры, приглашал старшин и козаков — или же удалялся от всех в уединенные покои.

Все эти неровности, появившиеся в характере гетмана, Ганна относила к еще не выясненной судьбе родины, и на этот раз она почти не ошибалась: вопросы эти подавляли гетмана, заставляя его забывать все остальное, однако же и мысль об измене Марыльки точила его незаметно, но неизменно, как точит маленький червяк сердцевину столетнего дуба.

А время между тем летело вперед, каждый день приносил с собой новые события и настоятельно требовал выяснения и решения вопроса.

## XIX

Стоял жаркий июльский день. В одном из обширных покоев Белоцерковского замка, представлявшего теперь канцелярию гетмана, сидели за кружкой венгржины два значных козака, напоминавших собою по внешнему виду скорее шляхтичей, чем простоту. Один из них, блондин с светлыми глазами и тонкими красивыми чертами лица, был, по-видимому, генеральным писарем, другой — брюнет с узкими, хитрыми глазками и тонкими усами,

одетый в роскошный польский костюм, находился, очевидно, в звании полковника.

Сквозь высокие окна, раскрытые настежь, в комнату вливались целые потоки света и благоуханий из освещенного солнцем парка, раскинувшегося за окнами. На огромном столе, покрытом сукном, лежали разбросанные бумаги, гусиные перья, печати и шнурки. Вся комната была уставлена великолепной мебелью с золочеными выгнутыми ножками и ручками, крытою зеленым сафьяном; между кресел стояли небольшие столики с инкрустированными досками.

За одним из таких столиков и сидели два собеседника.

— Ну, пане писарю, а где же гетман наш? — спросил брюнет, откидываясь на спинку кресла и свешивая унизанную перстнями руку.

— Муштрует с Золотаренком и Кречовским новые войска.

— Готовит к миру?

— Гм...— усмехнулся блондин,— кажется, что так... да помогают тому еще во всех местах и загоны.

— Это верно, стараются не по чести,— покачал головой брюнет,— пожалуй, гетман так приучит их к сабле да своеволью, что никто не захочет потом и за плуг взяться, придется нам засучивать рукава да самим выходить в поле.

— Что ж,— усмехнулся снова блондин,— победители все равны.

— То-то есть, что теперь эта чернь станет лезть в реестры и требовать себе равных с нами прав.

— Обещал же гетман всем и землю, и волю...

— Ну, обицянки — цяцянки, а дурневи радость...— нахмурился брюнет.— Не знаю только, с чего это выдумал гетман бунтовать всю чернь. Вот теперь будет с нею работа! Ну, положим, призвал бы их для пополнения полков под наши знамена, а не давал бы права самим расправляться да разбойничать. Озверела совсем толпа: не то ляхов, и своих панов жжет и режет [11]. Проехать где-нибудь проселочною дорогой страшно,— чуть увидят пана, сейчас на дерево.

Блондин молчал, не желая, очевидно, проронить лишнего слова, но мимикою своей поощрял собеседника к откровенности, а брюнет продолжал с еще большею го-

рячностью, думая вызвать блондина на откровенность с своей стороны.

— И что нам с ней путаться? Чернь сама по себе, а мы, славное войско рыцарское, совсем другая статья. Нам надо думать о своих правах и привилеях, чтоб нас уравняли с шляхтой и допустили в сейм, а то, поди, будем мы возить голоту на своих плечах! — Он оттолкнул от себя сердито кружку и продолжал дальше: — Теперь удобное время... там нет короля... смуты, беспорядки... наши победы... можно было бы заключить важный мир, выговорить побольше прав старшине, ну, и вере, положим. Тряхнули ляхов, ну и довольно... а он что затеял? Тешит себя каждою победой, а все эти свавольства только раздражают панов и отымают у нас надежду на выгодный для нашего рыцарства мир!

— Н-ну, на мир что-то не похоже,— приподнял одну бровь блондин,— да, кажется, ясновельможный о нем и не помышляет.

— А что ж он думает?

— Думает что-то важное, а что — не знаю: мыслей своих он никому не поверяет.

— Осторожен, как старый лис?

— Как муж, которому господь вручил судьбы края.

— Гм-гм... Конечно, без бога ни до порога... но вручили-то судьбы мы... мы сами, так нам и нужно бы знать, за что вслед за ним подставлять всем спины под панские канчуки?

— А что же, за батьком и в пекло не страшно,— усмехнулся неопределенно блондин.

— Послушай, пане Иване,— повернулся к нему решительно брюнет,— что тут хитрить? Мы — свои люди. Ты сам видишь, что гетман заваривает такую кашу, что нам не сладко будет расхлебывать, а особливо тебе: ты ведь шляхтич.

— Я пленник.

— Одначе генеральный писарь.

Лицо блондина не изменилось ни на одно мгновение.

— Заставили,— произнес он небрежно.

— Ну, тогда расспрашивать не станут, как начнут всех вместе с хлопами четвертовать,— махнул раздраженно рукою брюнет.— Вот я и говорю тебе: надо бы нам уговорить гетмана.

— Гетман не послушает; с ним все остальные

согласны,— поднял глаза блондин и взглянул пытливо на собеседника.

— Н-ну,— усмехнулся едко полковник,— не все, не все... Я многих знаю...— и, оборвавши поспешно свои слова, он снова обратился к блондину,— так что же, а?

— Что же я могу сделать? — пожал плечами блондин.— Я здесь homo novus *.

— А поднялся уже выше нас! — сверкнул завистливо глазами брюнет.— Не потрудился ли бы ты нагнуть немного гетмана?

Завистливый взгляд собеседника не ускользнул от блондина.

— Н-ну, нагинать такую высоту — и не достанешь!— ответил он иронически.

— Так подкопаться.

— Слишком низко: спина заболит.

— А расшатать бы понемножку, а? — перегнулся к нему через стол брюнет.

— Кто бы дерзнул на это? — ответил громко блондин, подымая голову.— Ясновельможный гетман единый изо всей Руси может дать мир и спокойствие краю.

— Ну, не святые горшки лепят,— усмехнулся злобно брюнет и хотел было продолжать дальше, но в это время его остановил блондин.

— Тс,— приложил он палец к губам,— сюда идут.

Действительно, у дверей раздались шаги, и в комнату вошел Богдан. Оба собеседника поспешно поднялись ему навстречу и произнесли, отвешивая низкий поклон:

— Ясновельможному челом!

— Здорово, здорово!—ответил приветливо Богдан.— А, и ты, Тетеря, тут? Ну и гаразд! — обратился он весело к брюнету и, опустившись в кресло, произнес, обмахиваясь шапкой: — Ну, какие же у нас новости, пане Иване?

— Фортуна продолжает улыбаться нам, ясновельможный,— подошел к нему с почтительною улыбкой Выговский.— Богун кланяется тебе Баром, шлет пушки и казну. Ганджа взял Нестервар, Небаба — Быков, Кривонос — Винницу.

— Работают хлопцы,— усмехнулся Богдан, бросая на стол шапку.— Ну, пане Иване, думал ли ты, что за

* Нова людина (*лат.*).

такой короткий срок мы возвратим себе всю Украйну? Ха-ха-ха! Паны все радятся да радятся, а мы с каждым днем увеличиваем свою силу.

— Д-да,— произнес Тетеря, приближаясь к гетману,— все взволновалось: в Ладыжине само поспольство вырезало пять тысяч, в Каневе сняли со всех панов шкуры. Твои универсалы, ясновельможный гетмане, всполошили кругом всех: бросают купцы весы, пахари плуги, портные шитье, ткачи станки, одни только кузнецы работают день и ночь да перековывают лемеши и рала на сабли и копья. Сама чернь собирается ватагами и вырезывает везде панов.

— Что ж,— вздохнул гетман,— на войне не может быть сожаления, погибают и невинные. Нам надо прежде всего обессилить панов и захватить в свои руки все города.

— Одначе, ясновельможный гетмане,— произнес несколько смело Тетеря,— все эти зверства еще больше раздражают панов и мешают нам заключить выгодный мир. А время удобное, я знаю наверняка, что ляхи были бы теперь уступчивее. Право!

— Э, что там,— перебил его досадливо Богдан,— мира быть не может! — Он тяжело опустил руку на стол и продолжал, отвернувшись в сторону: — Все это только риторика, чтобы проволочить время. Паны не согласятся на наши требования.

— Посбавить бы немножко, ей-богу, не грех, гетмане! — заговорил уже совершенно смело Тетеря.

Богдан слушал его, не поворачиваясь, и только барабанил рассеянно пальцами по столу. Выговский, не принимавший участия в разговоре, внимательно наблюдал за гетманом.

— Они обрадуются нашему предложению, ей-богу,— продолжал Тетеря,— хотя бы для того, чтобы спасти свои добра от разоренья; ведь все это грабят и жгут. Паны против наших привилей противиться чрезмерно не будут,— что им с нас? Ведь мы не рабы и работать на них не будем... вот чернь разве...

— Так что ж, по-твоему, так ее и оставить? — повернулся к нему быстро Богдан.

— Ну нет... кто говорит... Веру оградить,— смешался Тетеря.

— А шкуры? — усмехнулся злобно Богдан.

— Реестры увеличить.

— В реестры всех не запишешь...

— Что ж, гетмане, если будем слишком о чужих шкурах хлопотать, то подставим свои.

— Так лучше чужие топтать себе под ноги?

— На том стоит земля,— пожал плечами Тетеря,— где ж есть такое царство, чтоб все были равны?

— Не равны,— стукнул Богдан кулаком по столу,— а свободны.

— Свободны, гетмане, и руки, и ноги, однако же созданы богом для того, чтоб служить голове.

— Голова не пошлет своих рук и ног на муки, а ляхи делают что?

Богдан нахмурился, голос его звучал резко, видно было, что разговор начинает раздражать его, но Тетеря продолжал дальше:

— Что же, ясновельможный, не выселить же нам всех панов из Украйны? Просить, чтоб были милосерднее.

— Ха-ха-ха! — разразился Богдан злобным, презрительным смехом и откинулся на спинку кресла.— Просить, чтоб были милосерднее! Да неужели ты думаешь, что ляхи послушают нас хоть на один день? Слепцы! Слепцы! — продолжал он с еще большей горячностью.— Да если бы мы, забыв бога и совесть, заключили такой мир, ты думаешь, народ покорился бы ему? Ха-ха-ха! Против нас бы поднялся мятеж,— произнес он, опираясь руками на ручку и приподнимаясь в кресле,— и с нами расправились бы так, как теперь с ляхами! А врагу только того и нужно: когда в противниках согласия нет, победить их не трудно, а побежденным не дают никаких привилей, и старшина твоя пошла бы рядом с хлопом за панским плугом.

— Что ж делать? — пролепетал смущенный Тетеря.

— Не слушать мыслей, навеваемых дьяволом, а думать и выбирать новые ходы для счастья всего края! — произнес с ударением Богдан, подымаясь с места, и, тяжело переводя дух, прибавил, не оборачиваясь к Тетере: — Передай полковникам, чтоб отпустили на отдых войска.

— Слушаю, ясновельможный, — ответил покорно Тетеря и, отвесивши низкий поклон, вышел из комнаты.

— Фу! — вздохнул всею грудью Богдан и тяжело опустился снова в кресло.

— Вот и работай с такими товарищами! — произнес он с горечью после довольно долгой паузы и, проведя рукой по лбу, уронил ее на стол.— Им только для себя и о себе... а край, а что ждет всех в будущем...

— Ясновельможный гетман,— заговорил вкрадчиво Выговский,— не гневайся на него: твои высокие мысли не всякому легко понять. Конечно, человеку свойственно прежде всех о себе думать, но человек разумный понимает, что пользоваться довольством можно свободно только среди довольных людей. Когда кругом все сыты, тогда ешь себе вольно белый хлеб, пей сладкий мед и спи спокойно, а если кругом голод, то не показывай и черствого куска,— накинутся все, как волки, и вырвут из рук.

— Так, так, Иване,— произнес уже несколько смягченным голосом гетман,— с тобою можно говорить, ты голова, а те вон,— указал он глазами на двери, в которые вышел Тетеря,— только утробы с жадными ненасытными ртами, рады были бы все кругом проглотить, хоть лопнуть, а проглотить!

— Когда ясновельможный гетман так милостив ко мне,— продолжал еще мягче Выговский,— то, может быть, он позволит мне высказать одну мысль.

— Говори, говори, Иване, я рад слушать всякое умное слово.

— Конечно, его гетманская мосць прав во всем: теперь еще рано заключать мир с ляхами, надо их покорить вконец, а тогда и предписывать то, что захочем; прав ясновельможный гетман и в том, что нельзя нам заключить мир, выговоривши только свои привилеи,— надо подумать и о народе... но,— замялся Выговский,— подумать о нем надо нам, а не давать ему воли добиваться своих прав самому.

Богдан посмотрел вопросительно на Выговского, а Выговский продолжал еще мягче, еще вкрадчивее:

— Ясновельможный гетмане, разумный человек только в крайней нужде употребляет свою силу, и то для того, чтобы водворить в стране порядок и покой, а темная, освирепевшая толпа, раз сорвавшаяся с удил, так привыкает к своеволью, что правом начинает считать свою силу и вместо мирного труда начинает жить грабе-

жом. Конечно, ты предвидел все заранее и знал, что нам надо прежде всего обессилить панов, но чернь потеряла уже всякую меру: кругом грабеж, разбой...

— Ляхи нас к тому вынуждают,— произнес угрюмо Богдан,— что делает кругом Ярема?.. Остановить народ теперь и безумно, и напрасно...

— Ясновельможный гетмане, не остановим мы его и потом. Чернь своевольна и безумна.

— Но в ней великая сила.

— Опасная, как огонь.

— В разумной и твердой руке огонь приносит только пользу.

— Конечно, гетмане,—подхватил шумно Выговский,— рука твоя сильна и голова одна на всю Украйну! Но подумай об одном,— понизил он голос и продолжал с почтительною улыбкой,— когда реку сдерживают плотины, то вода вертит спокойно мельничные колеса и дробит зерна в муку, но если буря прорвет плотину, взбесившиеся волны не знают удержу и в своем диком стремлении ломают мельницу и уносят обломки с собой.

— Басня твоя хороша, Иване,— улыбнулся гетман,— но плотина эта и есть наша неволя,— пускай ломают и несут ее с богом. Я обещал всей черни права и тем поднял всеобщее восстание, а без него, без помощи всего народа, помни, Иване, мы не победили бы ляхов вовек!

— О так, ясновельможный! — продолжал льстиво Выговский.— Твой ум, как луч солнца, освещает всю темную глубину будущих дней, но... привыкши к своеволию и необузданности, чернь не захочет слушать и наших законов.

— Не бойся, Иване, только первое стремление воды и бурно, и мутно, а дальше она потечет спокойно в положенных ей богом берегах.

— А если берега покажутся ей тогда тесными?

— Дай время управиться с внешними врагами, а тогда водворим и внутренний покой.— Богдан помолчал с минуту и затем спросил быстро, подымая голову: — Что ж, не узнал ты, кого нам прочат в короли?

— Князя Ракочи и братьев покойного короля: Казимира и Карла [12].

— Гм...— протянул Хмельницкий,— выбор не знатный: католики завзятые, а Казимир еще иезуит... А есть ли кто ко мне?

— Монах какой-то.

— А! — вспыхнул гетман.— Наконец-то! Ну, зови ж его, веди сюда поскорей! А ты и не говоришь!

— В минуту, ясновельможный гетмане!

Выговский вышел поспешно из комнаты и вскоре возвратился в сопровождении высокого монаха в черном клобуке.

— Ясновельможному гетману многие лета! — поклонился монах.

— Будь здоров, отче! — приветствовал радостно вошедшего Богдан и, обратившись к Выговскому, прибавил: — Ну, пане Иване, жду тебя вечером на вечерю к себе: потолкуем еще...

— Благодарю от сердца за честь и за ласку,— поклонился Выговский и вышел из комнаты.

## XX

Богдан, проводил Выговского, осмотрел все выходы и входы, запер дверь на щеколду и, опустившись в кресло, произнес взволнованным голосом:

— Ну, отче, садись сюда да говори скорее, удалось что-нибудь устроить или нет?

— Все удалось, есть уже и известия из Варшавы,— отвечал монах.

— Ну-ну!

— А вот.

Монах вынул из-за пазухи сложенный и зашитый в ладонку листок и положил его перед гетманом.

Лыст был мелко исписан большими и малыми числами.

— Что ж это? Ничего не разберу,— взглянул изумленно на монаха Богдан.

Монах улыбнулся.

— И никто не разберет, ясновельможный; изобрел это письмо отец Паисий, один мудрый старец из нашего монастыря; знаем только мы да сам Верещака[13].

— Кто он такой? Верный ли человек? Толком расскажи!

— Верный, как сама правда. Он православный. Еще в бытность свою в Варшаве превелебный владыка поместил его служить при королевском дворе. Теперь он сам

предложил нам, что будет сообщать о том, что делается в Варшаве, и превелебный владыка благословил его на этот подвиг.

— Да благословит его и господь на вечные времена, — поднял глаза к небу Богдан и, обратившись к монаху, прибавил живо: — Ну, говори же, отче, говори!

— В Варшаве неспокойно; большинство магнатов стоит за войну.

— Я так и знал.

— За мир — Кисель, Оссолинский, Казановский и другие, но Оссолинскому, гетмане, зело скверно: ропщут на него многие, наипаче приверженцы Вишневецкого, обвиняют его в измене, в сношениях с тобой, говорят, что он благопоспешествовал войне для того, чтоб усилить королевскую власть и причинить зло республике.

— Гм-гм! — произнес задумчиво Богдан, закусывая свой длинный ус.—Этого всегда можно было ждать, но... все это пустое: Оссолинский выкрутится отовсюду, а послы знают, что говорить... Как дела Яремы?

— Все войско и шляхта за него, ясновельможный. Толкуют, что канцлер потому на него ополчается, что он один может защитить отчизну, что на случай войны его одного нужно выбрать гетманом.

— Никогда! Ни за что! — стукнул Богдан рукой по столу и заговорил быстро и взволнованно: — Слушай, отче, изо всей Польши один он нам опасен; он — заклятый враг наш, кость от костей наших, отступник, изменник, его надо сокрушить, сокрушить вконец! — Богдан шумно втянул в себя воздух и продолжал дальше так же быстро и взволнованно: — У него есть много противников, он горд и высокомерен... Передай Верещаке, пусть делает, что хочет, золота сколько нужно пусть сыпет направо и налево. Ничего не пожалею, но чтоб Яремы не выбирали никуда. Проси и владыку, чтоб действовал, как может... Да нет, стой, я поеду вместе с тобою к владыке... Да, да, пусть Верещака присоединится к партии великого литовского канцлера, тогда его никто не заподозрит в сношениях с нами.

Гетман остановился на мгновение и затем продолжал спокойнее:

— Видишь ли, если нам удастся это дело и сейм не

выберет Яремы, мы выиграем втрое. Во-первых, избавимся от Яремы: оскорбившись на сейм, он откажется от военных действий, а может, ударит и на самих ляхов; во-вторых, устроим среди панства смуту: у Яремы прислужников и прихлебателей много... все начнут горланить... О, поссорить панов не трудно, а тогда и накрыть их сетью, как перепелов!.. В-третьих, подымем Оссолинского, а он нам приятель и друг.

— Твоя правда, ясновельможный гетмане... Ярема — отступник и ругатель отцовской веры. Мы предаем его анафеме каждый день...

— Да, да,— продолжал взволнованно Богдан, вставая с места,— Ярему сокрушить... Divide et impera *, отче, утверждали древние римляне,— говорил он отрывисто, словно сам с собою, шагая по комнате,— а римляне были мудрейший народ. Divide et impera... и divide прежде всего... Да, мы должны перессорить панов... Ну, дальше что? — прервал он свои размышления и остановился подле монаха.

— От хана получено в сейме послание.

— Что же он пишет?

— Требует дань за четыре года.

— Ну, и ляхи?.. — перебил его порывисто Богдан.

— Отписали, что дани они никакой не платят и что всегда готовы к войне.

Облегченный вздох вырвался из груди Богдана.

— Ну, слава богу,— произнес он,— на этот раз прошло; одначе, как я и думал, на хана мало надежды... Вот что,— обратился он живо к монаху,— от Верещаки можно ли всегда известия получать?

— Он будет все передавать нам, а мы тебе.

— Отлично. Господь благословит и его, и вас за то, что вы делаете для отчизны и веры. Ты подожди здесь, отче, я изготовлю письмо. Возьмешь с собой и саквы с червонцами, — надо спешить. А теперь ступай отдохни.

Монах вышел. Гетман продолжал шагать взволнованно по комнате.

Да, для него теперь уже было очевидно, что ляхи тоже не думают о мире, они непременно начнут войну... «Надо готовиться скорее. Обуздывать народ? Нет, нет,

* Розділяй і володарюй (*лат.*).

в нем теперь вся наша сила. А союзники? Ох,— провел Богдан рукой по голове,— как положиться на них? Сегодня за нас, а завтра против нас. На этот раз нас спасла еще спесь лядская. Ну, а если бы согласились уплатить им дань? Фу ты, страшно подумать даже,— прошептал он,— как шаток этот союз! Татарам ведь только ясыр и нужен, а лядская спесь пройдет после первого поражения. Ха-ха! Таким образом, побеждая ляхов, мы сами будем копать себе могилу. Шутка забавная,— закусил он злобно губу,— теперь-то и понятно, почему хан не отпускает до сих пор Тимка и не шлет никаких вестей. А Москва? Единая вера? — Гетман остановился на минуту в раздумье и затем заходил снова.— У Москвы ведь теперь мир с Польшей, а татары — ее исконные враги, трудно ждать от нее помощи, если еще не сдалась на предложения ляхов. А Порта?—Лицо гетмана оживилось.— О, она всегда враждует с Польшей!.. Козаки причиняют ей больше всего вреда. Привлечь нас на свою сторону, отомстить Польше за те крестовые походы, которые она поднимала против нее... Да, да, это будет ей выгодно! Сообщить еще, между прочим, султану, что деньги на восстание и чайки получили мы от короля Владислава, что он подстрекал нас броситься на Турцию и затеять с нею войну, пообещать им еще часть Польши... так, так... если бы только Польша не помешала. Послать скорее, но кого? — Гетман нахмурил брови и остановился посреди комнаты.— А, Джендželея! — вскрикнул он громко.— Ловкий, бывалый человек, знает и язык, и обычаи. Да, в Москву челобитную, посла к султану, письма на Ярему. Все обдумать, ничего не забыть! Ох,— вздохнул полной грудью Богдан,— чтобы сильно ударить, надо крепко упереться: грунт (почва) очень скользкий, еще поскользнешься какраз. Ну что ж, Богдане, раскидай разумом. Посмотрим, кто еще окажется смелее и разумнее,— эдукованные вельможные паны или простой запорожский козак?»

Богдан гордо усмехнулся и, открывши дверь, приказал громко:

— Позвать пана писаря скорей!

Через несколько минут в комнату вошел Выговский.

— Ну, пане Иване,— обратился к нему с улыбкой Богдан,— сегодня нам с тобой много работы.

— С работы, гетмане, доход.

— Ну, не всегда приятный. Вот за свою работу получают теперь козацкие карбованцы * ляхи.

— А нам, может, перепадут и ляшские злотые? — улыбнулся Выговский.

— Если напишем ловко и умно...— усмехнулся Богдан и продолжал, опуская руку на стол.— Прежде всего ты приготовь лысты в Варшаву к Киселю, Оссолинскому и Казановскому. Пиши, что мы их вернейшие подножки, что вся война из-за Яремы стала [14], что он мучитель и угнетатель наш, что он терзал и мучил наших невинных жен и младенцев и, забывши стыд и совесть, собственноручно мучил служителей алтаря, что бросился на нас, как хижый волк, и заставил опять вступить в бой, чтобы защитить хоть свою жизнь от его мучений.

— Словом, ясновельможный,—усмехнулся тонко Выговский,— писать так, чтобы, как говорят древние, слог был достоин описываемых событий.

— И даже лучше. Чернил не жалей. Затем пиши в Москву. Бей челом светлому царю и от нас, и от всего запорожского войска. Пиши, что подняли мы меч из-за святой нашей веры, что терпели от ляхов неслыханное поношение нашей святыни.

— Ну, а о воле?

Гетман на мгновение задумался и затем отвечал поморщившись:

— Нет, о воле лучше не пиши. Пиши, что просим мы пресветлого царя, единого защитника и заступцу нашего, взять под свою высокую и крепкую руку, что будем мы ему служить верой и правдой и завоюем не только Польшу...

— А самый Цареград? — усмехнулся Выговский.

— Люблю тебя, Иване,— ты понимаешь с полслова,— положил ему руку на плечо Богдан.— Теперь к султану.

— Как к султану?

— Да... К его величеству яснейшему, пресветлому султану. Пиши, что бьем ему со всем войском челом и просим принять под свою протекцию и спасти от лядских мучительств [15]. Пообещай, что отдадим ему Варшаву, что будем охранять берега его от всяких разбоев, да

* Игра слов: карбованец — рубль и карбованец — след от сабельного удара. *(Прим. у першодруку).*

намекни и о том, что приказывал нам Владислав затеять с ним войну...

— Ясновельможный гетмане! Твой ум... конечно... все,— смешался Выговский,— но как же это мы с одною, так сказать, головой поспеем на две ярмарки.

— Ха-ха-ха! — засмеялся весело Богдан.— А ты уж и перепугался, Иване! Если на одну ярмарку поспеем, то на другую уж не поедем, зато будем знать, где больше дают.

— О гетмане ясновельможный! — вскрикнул с восторгом Выговский.— Я каждый день дивлюсь твоему уму. Тебя отметил среди нас господь и предназначил к высокой доле. С таким умом не гетманом быть, а...

— Полно...— остановил его за руку Богдан,— не навевай ненужных дум.

Отдавши последние инструкции Выговскому, Богдан решил на этот раз покончить с делами и отдохнуть в кругу своей семьи. Теперь предстояло только наблюдать за всем и не упускать ни одной подробности из виду. Нужно было еще отправить посольство к хану, но Богдан отложил это до следующего дня. Выйдя из канцелярии, Богдан направился в верхний этаж, где теперь помещалась его семья. Наконец-то, после стольких треволнений, он имел в руках нечто осязательное, дававшее ему возможность чувствовать почву под ногами. Правда, сегодня он убедился в неискренности хана; впрочем, для него это и не могло быть большою новостью. Зато он имел теперь своего преданного человека в Варшаве и, благодаря ему, мог знать заранее все истинные замыслы варшавского двора, а потому и мог делать ему заблаговременно свои противодействия. Таким образом Богдан получал большой перевес над ляхами. И все это устроил владыка!

«Истинно, истинно,— говорил Богдан про себя, медленно подымаясь по лестнице,— сбывается пророчество его: «Ангелы божьи летят с нами в битву, все благоприятствует нам, потому что где правда, там и бог». Вот только оборудовать бы справу с союзниками, да вот еще народ...— Богдан потер себе рукой лоб и остановился на мгновенье.— Но нет, нет,— продолжал он дальше свои размышления,— Выговский ошибается: еще рано народ останавливать, рано, рано... война только начи-

нается. «Покуда сдерживает воду плотина, то вода вертит мельничные колеса и дробит зерна в муку, а если сорвет плотины, то разнесет и мельницы». Гм...— усмехнулся он про себя,— басня придумана недурно, что ни говори, а Выговский — умная голова, с ним говорить можно... да, да! Конечно, он ошибается, но в словах его есть доля правды. Есть доля правды,— повторил Богдан снова как бы машинально и, поднявши голову, энергично встряхнул волосами.— Нет, надо поехать к владыке. Во всех этих шатостях он один может дать разумный, мудрый и нелицеприятный совет. Да, да... наша земля стала его землей, наш народ — его народом [16]; он живет только для нас; в его замыслах нет никакой корысти... Природный правитель, он смел, горд и дальновиден, в его руке и пастырский посох стал царственным мечом; он один может поддержать меня и дать мне совет, достойный правителя и воина!» Богдан гордо забросил голову и отворил дверь.

В большой светлой комнате, изображавшей, очевидно, раньше залу, группировалась теперь вокруг стола вся семья Богдана. Катря, Ганна и Олена были заняты одною работой: они вышивали золотом шелковое знамя. Юрко находился тут же и мастерил себе лук. Несколько месяцев совершенно изменили молоденьких дивчат; теперь они уже не смотрели нескладными подростками, а молодыми и хорошенькими девушками. Высокая, сухощавая Катря, с карими глазами, темными волосами и тонкими чертами лица, походила на отца. Движения ее были сдержанны и плавны, она была очень серьезна, даже, быть может, серьезнее, чем ей полагалось по возрасту; в младшей же, Олене, еще прорывалась резвая девочка. Она была не так красива, как ее старшая сестра, в чертах ее не было такой правильности, но ее кругленькое свежее личико, с светлыми волосами, большими серыми глазами и блестящими белыми зубами, дышало самою обаятельною прелестью молодости и доброго, чистого сердца. Юрко тоже вырос и вытянулся за это время. Теперь он не был уже таким вялым и бледным, но все же выглядел очень худеньким, слабым мальчиком и казался моложе своих лет.

Приход Богдана заметили все сразу.

— Тато, тато! — вскрикнул Юрко и, отшвырнувши в сторону свою работу, бросился навстречу Богдану.—

Тато, тато! Я готовлю себе лук и буду с тобой вместе ляхов бить! — закричал он еще по дороге.

— Хорошо, хорошо! — улыбнулся ему Богдан, обнимая одною рукой его, а другой подошедших дивчат.— Вот облепили! Не даете мне и Ганну привитать! Ну, будь здорова, голубка моя! — поцеловал он ее прямо в лоб, не выпуская детей.

— Добрый день, дядьку,— ответила, слегка покрасневши, Ганна.— Устали вы сегодня, так много было хлопот!

— Да, есть немного,— провел Богдан рукой по лбу, выпуская детей.— Но это ничего, пустое. От дела, Ганнусенько, мы не устанем,— произнес он бодро,— вот когда ничего нельзя будет сделать, тогда, пожалуй... Ну, а как же вам тут, дивчата, нравится или нет новое жилье? — обратился он весело к Катре и Олене.

— Да, только страшно, боязно как-то,— потупилась Катря.— Не привыкли мы к такой пышноте.

— Я тут и ходить боюсь: скользко так,— посмотрела Олена на темный, вылощенный как зеркало пол.

— А мне отлично! Как скобзалка! Смотри! — вскрикнул весело Юрко и лихо прокатился на каблуке по зале.

— Ого! Вот оно что значит козак! — усмехнулся мальчику Богдан.— Его хоть и на лед поставь,— не споткнется! Не то что дивчына,— ей на ровной земле подпорку нужно. А вы привыкайте, приучайтесь,— обратился он к девушкам.— А что, если б пришлось вам в королевском дворце хозяйнувать?

— Не дай господи! — вскрикнула с неподдельным испугом Олена, а Катря опустила глаза.

— Так многого вам и не нужно, дети? — усмехнулся как-то неопределенно гетман.

— А зачем нам еще больше? Нам и так хорошо и спокойно! — ответили разом дивчата.

— Спокойнее всего в норе, дети, да только из норы ничего не видно и сделать ничего нельзя, а вот если человек подымется на высокую гору, тогда перед ним вся земля как на ладони и видно, что где сделать и как.

— С непривычки голова может закружиться, дядьку,— усмехнулась Ганна,— тогда нетрудно и сорваться с высоты.

— Ах ты, моя тихая головка,— взял ее ласково за

руку Богдан,— пусть и взбирается только тот, у кого крепкая голова! А ты бы все пряталась в тени от солнца?

— Нет, дядьку, только не хотела бы быть выше других, когда всем суждено жить в долине. Кто на горе живет, тот далеко и высоко и забывает про людей, оставшихся внизу.

— Ха-ха, Ганнусенько, все ты такая же! — опустился Богдан на мягкий стул.— А ведь всех на гору не втащишь, ох, не втащишь...— повторил он задумчиво и затем обратился снова к девушкам: — А вы, дивчатки, того, насчет обеда поторопитесь немножко.

— Зараз, зараз! — вскрикнули весело Катря с Оленой и выбежали в сопровождении Юрка из зала.

— О-ох-ох! — повторил снова задумчиво Богдан, опираясь головой на руки.— Всех на гору не вытащишь, Ганнусю.

Ганна смотрела встревоженно на Богдана, а гетман, склонивши голову, не замечал ее пытливого взгляда.

— Дядьку,— произнесла она наконец робко,— вас что-то огорчило... худые вести?

— Нет, Ганнусю,— поднял голову Богдан.

— А что же вы так грустны, дядьку, когда кругом все новые победы, народ везде встает?

— Вот то-то меня и тревожит, Ганно,— перебил ее Богдан.

Ганна глядела на него вопросительно, словно не понимая его слов.

— Сядь тут, подле меня, Ганнусю,— взял ее за руку Богдан,— и слушай, что я буду тебе говорить.

Ганна опустилась с ним рядом.

## XXI

— Вот видишь ли, дитя мое,— продолжал объяснять Ганне Богдан,— народ кругом встает. Да, он слишком настрадался; его уже и видимая смерть не страшит: или умереть, или добыть себе волю. А как дать волю всем?

— Как? — повернула к нему Ганна свое изумленное лицо.— Ты спрашиваешь, как дать волю всем? Но ведь мы для того и поднялись, чтобы вызволить весь народ из лядской кормыги.

— Так-то так,— вздохнул Богдан,— да сделать это

не так-то легко.... И вызволить из тяжкой неволи—одно, а дать всем равную волю — другое...

— Мы должны это сделать, дядьку! — вспыхнула Ганна и заговорила горячим, взволнованным голосом: — Как можем мы пользоваться своими правами и привилеями, когда кругом все стонут в неволе? Господь призвал вас, как Моисея, вызволить народ из египетского пленения, и вы должны это совершить!.. О, дядьку, не слушайте тех, которые из-за ласощей и прелестей панских расшатывают вашу волю и сбивают вас с пути, указанного вам господом. Господь создал нас всех вольными и равными и не дозволял одним людям обращать других в рабов подъяремных. Не дозволял одним отымать у других последний кусок и тешить себя роскошью, когда ограбленные стонут в нищете. Не дозволял сильным мучить, истязать несчастных. И если эта кривда творится и в других царствах, то не от бога, не от бога она!

Ганна вдруг оборвала речь. Она произнесла всю эту тираду так пылко, что теперь ей сделалось неловко за свое прорвавшееся волнение; но на Богдана оно подействовало чрезвычайно отрадно.

— Любая ты моя горличка,— произнес он мягко,— сам я болею об этом душой... Перед богом-то все равны, но не перед людьми... и на то божья воля... Да разве ляхи дозволят нам когда-либо это?

— Зачем нам смотреть на ляхов, дядьку? Мы кровью своей купили это право, мы завоевали его!

— До этого еще далеко: война еще впереди. Но если мы и победим ляхов, дитя мое, кто позволит нам распорядиться самим?

— Кто же может помешать нам, дядьку?

— Все. Все соседи, Ганно, ополчатся на нас, чтоб не было повадки и своим подданцам. Вот в том-то и горе! — вздохнул он глубоко.— Я и то хлопочу везде, чтобы усилить свои полчища, да союзникам верить нельзя. О, на доброе дело привлечь их трудно, а на злое слетелись бы живо, как вороны на труп!

— И не верь, не верь им, дядьку,— вспыхнула снова Ганна,— верь в свои силы: господь тебя избрал, и он поможет тебе! Смотри, разве мы не видим каждый день знаков его милости? Кругом бегут лядские войска, падают города и замки, народ встает. О, дядьку, дядьку,

несчастный, обездоленный народ! Кругом встает он, бросает свои семьи и хаты и лавами кровавыми устилает свою бедную землю.— На глазах Ганны задрожали слезы.— Ему верь, дядьку, на него положись,— продолжала она с воодушевлением,— в нем наша сила! Не верь тем приспешникам панским, которые стараются смутить твое сердце: не на грабеж, не на разбой идет он,— он жизни своей не жалеет, чтоб выкупить братам и волю, и веру, а они пристали к нам лишь для того, чтоб наполнить лядским золотом карманы свои. Зверь дикий живет на воле, птичка малая летает свободно и славит, как знает, бога, только наш несчастный, ограбленный народ отдан здесь на глум и муки панам.

— Ох, Ганно, правда твоя,— произнес взволнованным голосом Богдан,— в тебе правда. Но без союзника нам не устоять: посполъство — не войско, а татары — знатоки в войсковых делах.

— Да, «знатоки»...— повторила с горькою улыбкой Ганна,— это и видно. Недаром же друг наш Тугай-бей наших же людей погнал толпами в неволю! [17] Разве ему мало досталось ясыра? Оба гетмана в плен попались, а он еще захватил и наших, оставленных отцами, женщин и детей.

— Знаю, знаю! — перебил ее грустно Богдан.— Тугай оправдывался, говорил, что это сделано без его ведома... Да, так или не так, а делать нечего,— вздохнул он,— должны мы смотреть на все сквозь пальцы, чтобы не утерять и этого союзника.

— О, дядьку, дядьку, разве татары могут быть нам друзьями? Что им до нашей воли и веры? Им нужен только ясыр! Уж если без союзника не устоять нам, отчего не просишь ты московского царя? Московский царь — не хан крымский; я верю, что он протянет нам свою руку щиро, нам, младшим детям: ведь Москва одной с нами веры! Ведь у людей московских должно так же болеть сердце, как и у нас, за те поношения, которые терпит здесь церковь наша от ляхов! Да разве б они стали чинить нам такие кривды, которые делают нам теперь татары? Татары — неверные, вечные враги наши и идут с нами защищать нашу веру и волю?!

— Все это так, так, голубка моя,— взял Богдан ее руку в свою,— да нам надо искать не тех союзников, которые сердцу нашему ближе, а тех, кому нужнее

с нами союз. Но горе наше: у Москвы теперь мир с Польшей и клятвенное обещание стоять друг за друга против великих врагов, а особливо против татар. А мы должны искать себе в союзники врагов Польши.

И Богдан принялся разъяснять Ганне разницы политического положения соседних стран. Ганна слушала его, покачивая отрицательно головой; казалось, правда ее не согласовалась с условиями политической жизни.

— Так-то так, голубка моя,— окончил он,— человеку незналому в этих вещах все кажется таким простым и понятным, а как начнешь разбирать да умом раскидывать, так и вьешься, как речка в крутых берегах.

Ганна ничего не отвечала; лицо ее было серьезно и печально.

Богдан встал и прошелся несколько раз по комнате.

— Вот что, Ганнусю,— остановился он перед ней после довольно продолжительной паузы,— думаю я этими днями в печеры поехать; дела теперь налажены, ничего пока важного нет, только наблюдай... Так вот я хочу всех вас взять с собою помолиться богу, поклониться святыням, поблагодарить милосердного за оказанные нам милости, а главное — хочу повидаться с превелебным владыкой; давно уж зовет он меня к себе. Поговорим с ним и все рассудим. Он один может разрешить все мои тревоги и сомнения.

Ганна оживилась.

— О да, дядьку! — произнесла она с восторгом.

.

В это время двери отворились и в комнату вошел Золотаренко. Разговор прервался.

— Ну, гетмане, челом тебе до пояса, а если хочешь, то и до земли,— приветствовал громко вошедший Золотаренко.

— Здоров, здоров, друже,— отвечал весело Богдан,— ну что, как наша муштра?

— Отлично учатся хлопцы,— здорово ляхов бить будут!.. А видел ли ты, гетмане, Богуновых орлят?

— Нет.

— Эх, и лыцари же будут. Как на подбор! И про него самого я слыхал. Фу ты, какую важную ж штуку придумал Богун! — воскликнул оживленно всегда молчаливый Золотаренко и принялся рассказывать Богдану о необычайном геройском подвиге своего друга.

Богдан тоже оживился. Вскоре к разговаривающим присоединился и Кречовский.

— Славно, славно, сокол мой! А ну-ка пусть еще поищут ляхи у себя таких лыцарей! — приговаривал Богдан, слушая его рассказ.

Ганна же с девушками принялась за приготовление обеда. Гетман с друзьями собирался уже приступить к трапезе, когда в комнату вошел молодой джура.

— Ясновельможный гетмане,— объявил он смущенно,— какой-то горожанин хочет видеть вашу милость. Мы говорили, что гетманская мосць теперь отдыхает, а он требует, чтобы немедленно; говорит, новости важные есть.

— Веди его сейчас,— приказал гетман.

Все как-то насторожились и переглянулись. Через несколько минут козачок снова вошел в комнату в сопровождении седого горожанина, одетого в темную, но дорогую одежду.

— Ясновельможный гетмане, — произнес вошедший дрожащим старческим голосом, кланяясь в пояс.

— А, брат Балыка! — вскрикнул радостно Богдан, подымаясь с места.

В одно мгновение перед ним промелькнула та картина, когда он, осмеянный на сейме, возвращался через Киев и был встречен там святым братством. О, эти простые, смиренные люди, сколько отваги и уверенности вдохнули они в него! Сердце гетмана преисполнилось чувством радости и благодарности.

— Ну, здоров, брате, здоров! Спасибо, что отведал нас,— говорил он, обнимая старика.— Что же у вас доброго делается? Какие вести? — продолжал он оживленно, не замечая того, что лицо Балыки было сосредоточенно и печально.

— У нас-то все хорошо, да вести худые, пане гетмане,— отвечал Балыка.

— Как? Что? — отступил встревоженный Богдан.

— Рачитель наш, заступца наш единый, наш превелебный владыка,— произнес Балыка, поднося руку к глазам,— приказал всем вам долго жить.

— Владыка? — вскрикнули разом Ганна и Золотаренко с Кречовским.

— О боже мой! — простонал Богдан, опускаясь на близлежащий стул.— Все друзи наши оставляют нас!

Словно пораженные громом, все окаменели. Несколько секунд никто не произнес ни одного слова. Балыка молчал.

— Да как же сталось это? Какая причина? — спросили наконец разом Кречовский и Золотаренко, подаваясь вперед.

— Никто не знает,— развел руками Балыка и продолжал, отирая глаза: — Владыка был в самых зрелых летах, всегда он был здоров и крепок, все время проводил он в неустанных делах: он рассылал теперь всюду свои воззвания, он направлял по всем местам братию, был бодр и весел, и никакая слабость не трогала его. Жил нам на славу и утешение и жил бы много лет, когда б... О господи...— прервал на минуту свои слова Балыка, отирая глаза.— Ляхи его ненавидели, у него было много врагов. Что сделалось с ним, никто не знает; собрались все фельдшера и знахари и ничего не могли пособить; подымали и мощи святые — не помогло. Он таял на наших глазах в страшных муках; в два дня его не стало. Когда же владыка почувствовал, что близок уже его последний час, он призвал нас, всю братию, и сказал нам: «Дети, отхожу от вас, не окончивши того, что начал. Не скорблю о том, что свет сей оставляю, а скорблю о том, что мало совершил еще для охраны вашей. Кругом вас волки, звери лютые. Кто охранит без меня возлюбленное стадо мое?» Мы плакали все, преклонив колени,—продолжал Балыка прерывающимся голосом,— и он, рачитель наш, глядя на нас, прослезился. «Не скорбите, дети мои,— обратился он к нам,— не оставлю вас, сирых, без пастыря: есть муж достойный, гетман, освободитель наш,— ему поручаю и вас, и всю церковь мою, пусть он станет вам всем вместо отца».

Богдан слушал Балыку молча, опустивши голову на руки. При последних словах он вздрогнул и поднялся с места.

— Мне, меня? О господи! — произнес он прерывисто, не будучи в силах преодолеть охватившего его волнения.

Ганна плакала. Кречовский и Золотаренко стояли потупившись.

— Тебе, тебе, отец наш,— продолжал со слезами Балыка.— Уже и тело святого оборонца нашего холодело, а он поднялся на ложе, сам снял с себя этот золотой крест,— Балыка вынул из шелкового платка золотой,

украшенный каменьями крест,— и сказал нам: «Поезжайте к нему и скажите, что благословляю его еще раз вот этим святым крестом. Скажите, что его наставляю хранителем креста и веры».

— Меня, меня, недостойного, бессильного?!—вскрикнул Богдан, опускаясь на колени и прижимая к губам золотой крест.

— Затем он упал и закрыл глаза. Мы все стали на колени, думали, что он уже отходит,— заговорил снова Балыка,— но он еще раз открыл глаза и произнес уже совсем тихо: «Передайте ему, чтоб помнил мои слова, чтоб верил, чтоб верил...» Что дальше хотел сказать святой отец, мы уже не расслышали. Рачитель наш, заступник наш испустил дух и отошел от нас в вечность.

Голос Балыки задрожал и осекся; из красных старческих глаз катились по морщинистым щекам слезы. Все были растроганы и потрясены.

— О боже мой! Боже мой! Боже! — застонал, подымаясь, Богдан и, прижимая к губам золотой крест, вышел нетвердой поступью из комнаты.

Известие о смерти митрополита произвело страшное впечатление на Богдана. Со смертью владыки он терял единственного мудрого наставника и друга, который помогал ему и советом, и делом, и своею сильною волей, поддерживая его смущающуюся душу. Да это был человек, стоявший головой выше всех окружающих. Богдан сознавал это лучше всех и чувствовал, что родная церковь и вера потеряла в нем такого оборонца, какого им не сыскать вовек. Кроме всех достоинств Могилы как мудрого и отважного правителя, кроме общности интересов, влекла к нему сердце Богдана и глубокая симпатия: весь облик царственного владыки произвел на Богдана сильное впечатление и остался в его сердце навсегда. И вот теперь этого человека, так недавно еще полного сил, энергии, отваги, нет уже больше на земле. Ко всей горечи этой потери присоединялась еще и трагическая обстановка смерти святого отца. Не было сомнения, что виной ее являлись враги веры и отчизны.

— О, если бы я был там, ничего бы подобного не случилось и владыка остался бы жить на славу и утешение нам! — повторял сам себе Богдан, терзаясь тем, что,

благодаря своей непростительной медлительности, он не увидел владыки и не испросил его совета на дальнейший путь. Но больше всего потрясли и тронули его последние слова владыки.

Все время, подымая восстание, Богдан сомневался в своих силах, теперь же владыка сам в предсмертную минуту завещал ему все свое дело и его поставил оборонцем церкви и страны. Этот высокий завет, показывавший, как верил владыка в силы гетмана, наполнял сердце Богдана чувством глубокой гордости, но вместе с тем и смущал его своей ответственностью.

— Мне ли, грешному, недостойному? — шептал он, прижимая к своим губам крест, который владыка носил всегда на груди.— О, если бы ты был жив, чего бы мы ни сделали с тобой! А я... я сам!..

Но, несмотря на эти слова, Богдан чувствовал, как завещание владыки освящало дело восстания в подвижничество великое и подымало его самого в своих глазах, наполняя душу приливом новой энергии, уверенности и силы.

«Ты поручил мне охранить святой крест и бедный люд мой,— говорил он, обращаясь мысленно к тени покойного владыки,— и клянусь твоему праху, как клялся тебе: или самому погибнуть, или защитить и укрепить всю страну».

Богдан хотел отправиться немедленно на похороны владыки в Киев, но узнал от Балыки, что по причине сильной жары и страшно быстрого разложения тело святого отца уже предано земле. Известие это усугубило еще более горе Богдана. Однако наступающие события не дозволили гетману долго предаваться ему.

## XXII

Недели через две после приезда Балыки к Богдану вошел рано утром Выговский с несколько озабоченным лицом.

— Ясновельможный гетмане,— обратился он с низким поклоном к Богдану,— лыст из Крыма.

— От хана? — повернулся к нему Богдан.

— Нет, от сына твоей милости.

— А, от Тимка! — вскрикнул гетман и весь покраснел от подступившего волнения.— Читай! Читай!

Выговский сорвал с письма печать и, развернувши его, принялся за чтение. Тимко писал в письме, что хотя хан и окружил его почетом, но положение его похоже скорее на положение пленника, чем на сына союзника. Относительно войны, сообщал он, пока еще не известно ничего верного; однако среди мурз заметно какое-то смущение; есть слух, что в диване недовольны участием татар в восстании; говорят, что султан приказал хану отпустить польских пленников назад, но хан еще медлит и не предпринял до сих пор ничего. Кроме того, Тимко сообщал отцу, что, выучившись здесь по-татарски, он слыхал не раз, как мурзы рассуждали между собой о том, что хотя добыча в Польше и очень заманчива, но нечего особенно стараться помогать козакам, а то они, усилившись и разгромив Польшу, могут обратить оружие и на татар. В заключение Тимко желал отцу доброго здоровья, благополучия и прибавлял, что победы козацкие произвели большое впечатление на татар, что татары их стали бояться.

— Гм...— поднялся Богдан с места, когда Выговский окончил чтение письма.— Добро, что я послал в Царьград Дженджелея [18],— заговорил он отрывисто, шагая по комнате,— ляхи там, видно, крутят, иначе и быть не может: султану наше восстание ничего, кроме выгоды, не приносит, да и татары после первой добычи должны разохотиться до войны. Плохо, пане Иване, плохо...— произнес он задумчиво, накручивая на палец длинный ус,— татар и Турцию нам нельзя утерять.

Гетман остановился на мгновение посреди комнаты, словно обдумывая план дальнейшего действия. Лицо его было встревожено; между бровей и на лбу легли морщины, обнаружившие какую-то напряженную работу мысли.

— Вот что,— заговорил он, подходя к Выговскому,— я напишу сам и султану, и хану... надо послать еще кого на подмогу к Дженджелею, а ты приготовь пока письма к знатнейшим мурзам,— будем действовать и сверху, и снизу,— да отбери дары получше: не помажешь, говорят, не поедет, а татарские арбы больно скрипят.

— Слушаю, ясновельможный гетмане,— поклонился Выговский,— а больше никаких распоряжений не будет?

— Стой! А впрочем, нет, иди; я сам приду туда,— произнес отрывисто Хмельницкий.

Выговский вышел, а гетман снова зашагал по комнате. Теперь он уже не скрывал своего возбуждения; то он останавливался посреди комнаты и разводил с недоумением руками, то снова принимался шагать, сжимая брови, то теребил нетерпеливо свой длинный ус. Видно было, что гетмана осаждали тяжелые, неразрешимые думы.

Да, положение запутывалось снова. Тимко пишет, что татары не желают усиленно помогать козакам, чтоб не дать им окрепнуть. Что же, этого всегда можно было ожидать. Но нерешительность их и беспокойство нельзя объяснить нежеланием принять участие в войне; наоборот, здесь видно, что они желают, но на них оказывает действие чье-то постороннее и сильное влияние. Не решились ли ляхи выплатить им дани? Но нет, без решения сейма этого быть не может! А кто знает, быть может, уже состоялся и сейм, быть может, уже назначили войну и выбрали предводителем Иеремию?

— А!.. Проклятие! — вскрикнул вслух Богдан, стискивая кулаки.— Ничего не известно кругом! Вот и от послов наших сколько уж времени нет никаких известий. Что бы это значило?

Мысль эта приходила уже не раз в голову гетману, но отсутствие вестей от своих послов он объяснял дальностью расстояния и осторожностью, теперь же, в совокупности с известием Тимка о настроении татар, обстоятельство это принимало в его глазах угрожающее значение. Положим, он послал ко всем панам письма и переслал инструкции Верещаке; но, быть может, это не повело ни к чему, быть может, и переписку Верещаки перехватили,— предателей везде довольно! И гетман зашагал еще быстрее.

«А может, это Порта составила договор с Польшей, чтобы уничтожить козаков? Оттого-то и татары толкуют теперь, что помогать нам нет надобности. Уж если Тимко пишет, что боятся...»

Богдан остановился и почувствовал, как его обдало из-за стены холодом и как холод этот медленно побежал по рукам и по ногам.

— Что ж, пожалуй, и так,— прошептал он,— козаки здорово насолили и татарам, и туркам, а избавиться от козаков таким или иным образом им на руку.

Гетман опустился на кресло и сжал голову руками.

«А от Москвы — ни привета, ни ответа! Единая вера! — Богдан грустно покачал головой, и возле губ его легла горькая складка.— Не хочет царь московский помочь нам! А может, и его ляхи уговорили соединиться с ними и идти против нас? Ох! — глубоко вздохнул он и опустил голову на руку.— Чем дальше в лес, тем больше тревожных дум. И всюду неизвестность... неверность... туман... Сделаешь как раз решительный шаг и оборвешься в бездну». Гетман задумался. Лицо его было серьезно и печально. Из груди вырвался снова глубокий и тяжелый вздох.

— Одначе раздумывать некогда,—произнес он вслух и шумно поднялся с места,— надо действовать. На каждое их давление поставим противовес, разоблачим все их интриги, подорвем доверие к ним у всех соседей, и тогда посмотрим, что выйдет!

С этими словами гетман вышел поспешными шагами из комнаты и направился в канцелярию.

— Ну что, пане Иване, готово? — спросил он, открывая дверь в канцелярию, где за столом сидел Выговский и дописывал письма.

— Все, ясновельможный! — поднялся тот.

— И Карабич-мурзе написал?

— Есть.

— Ну, добро, теперь же ступай да снаряди верных людей, сперва тех, что к Тимку. Смотри же, и стражу дай им, а я напишу здесь пока лысты.

Выговский вышел из комнаты, а Богдан сел у стола, очинил гусиное перо и начал выводить им по бумаге витиеватые, связные з титлами буквы. Он написал письмо Дженджелею, повторил ему снова все свои инструкции и советы; написал великому визирю, обещая, при содействии Турции, уступить ей Польшу от Люблина до Дуная и утвердить множество других привилегий; затем он начал письмо к Тимку: «Старайся, сыну, среди мурз,— писал он ему,— возбудить желание войны, не жалей ни денег, ни даров, посылаемых мною тебе в изобилии,— по щедрости твоей они будут судить о нашем успехе. Старайся приобретать себе побольше друзей, приближенных к трону, и сообщай немедленно о всем, что узнаешь».

Отложивши в сторону три пакета и запечатавши их своею гетманской печатью, Богдан принялся за письмо

к хану. Он излагал ему подробно и убедительно все выгоды соединения татар с козаками. «Война еще не кончена, — писал он ему, — корсунское поражение было только началом; добыча, которую тогда получили татары, ничего не значит перед той, которую они получат теперь, если прибудут с сильным войском. Под Корсунем мы имели дело со слугами, а теперь будем иметь с господами, панами роскошными и богатыми». Кроме добычи, гетман обещал татарам при поражении поляков отдать во власть хану сильную и укрепленную крепость Каменец. Затем он желал его ханскому величеству и всему рыцарству татарскому здравия и благополучия и рассыпался в изысканных восточных комплиментах.

Наконец вся корреспонденция была окончена. Гетман запечатал последний конверт и задумался.

«А в Москву что? Послать ли новое посольство? — С минуту он остановился на этом предположении, но сейчас же отбросил его.— Нет! Посылать так часто — ронять свою силу в глазах московского царя. Вот кабы разрушить их доверие к ляхам и показать, что дружбы и любви к Москве у ляхов нет ни на грош,— вот это было бы дело! Да... Но как? Каким образом? Где найти способ? — гетман потер себе лоб и задумчиво устремил свой взгляд в окно. Так прошло несколько минут.— Однако об этом после,— спохватился он,— надо сначала вершить эти справы».

Гетман кликнул джуру и приказал ему позвать Выговского.

— Ну что, Иване, все ли готово? — обратился он к нему, когда тот вошел в комнату.

— Все, ясновельможный.

— Люди надежные?

— Самые отважные.

— Ну, отлично. Отдашь эти письма, а подарки я посмотрю еще сам. Да посланцев готовь еще в Турцию на подмогу Дженджелею.

— Готовы будут к вечеру.

— Ну, хорошо. А больше нет ничего?

— Только что прибыл чернец из Киева.

— Отец Григорий? — вскрикнул Богдан.

— Тот самый, что был у нас.

— Ну-ну, веди его скорей!

Выговский вышел и вскоре возвратился в сопровождении высокого монаха в черном клобуке. На сапогах, на подряснике его лежала густым налетом пыль; смуглое лицо было потно и красно; видно было, что он сделал только что немалый переезд.

— А, отче Григорий! — приветствовал его радостно Богдан.

— Ясновельможному до земли челом! Да хранит его господь молитвами угодников печерских! — поклонился низко монах.

— Спасибо! Ну-ну, садись! Ты, видно, утомился с дороги,— указал ему Богдан на место против себя.— Какие новости?

— Быть может, ясновельможный гетман позволит мне теперь пойти похлопотать с послами,— произнес в это время вкрадчивым голосом Выговский.

Богдан изумленно оглянулся. Заинтересованный в высшей степени появлением монаха, он совершенно забыл о присутствии Выговского; деликатность и скромность пана писаря произвела теперь на него самое благоприятное впечатление.

— Иди, я скоро снова призову тебя,— произнес он милостиво и подумал про себя: «Что ни говори, а умная и тонкая голова».

Выговский вышел.

— Ну, что же? — обратился Богдан нетерпеливо к монаху.

— От Верещаки известие вчера после повечерия получено: примас послал посольство в Порту[19].

Невольный возглас вырвался у Богдана.

— Хочет утвердить султана с Польшей и обратить неверных против нас.

— Так, так, так! — заговорил ажитированно Богдан.— Теперь мне понятно все: что думал я, то и совершилось. Вот отчего и требует визирь, чтобы хан отпустил пленных ляхов, вот отчего и хан медлит, ничего нам не отвечает. Ну, отче, теперь уже и делать нечего. Отправил я в Царьград Дженджелея, сегодня шлю ему на подмогу еще с дарами послов, а дальше — только уповать на милосердие божие: на чью сторону склонится Порта, там будет и перевес.

Гетман встал с места и прошелся несколько раз по комнате.

Видно было, что полученное известие настолько взволновало его, что он больше не мог оставаться в спокойном, бездейственном положении.

— Ну, а что, не слыхал ты, кого прочат нам в митрополиты? — спросил он, пройдясь несколько раз по комнате.

— Отца Сильвестра Коссова, архимандрита Михайловского златоверхого монастыря. Муж зело мудрый и во всяких науках искушенный.

— Знаю... что со мною ездил на сейм от владыки... велеречивый... Посмотрим, посмотрим,— произнес как-то рассеянно Богдан, не прекращая своей однообразной прогулки, и замолк.

Монах тоже не нарушал молчания. В комнате стало тихо, слышались только резкие, размашистые шаги гетмана. Вдруг Богдан остановился; какое-то неопределенное восклицание вырвалось у него.

— Да, вот что,— заговорил он оживленно, подходя к монаху и останавливаясь перед ним,— передай от меня Верещаке, чтоб поискал там в Варшаве,— сам я читал не раз,— книг таких, в которых бы хула и непочтение пропечатаны были на царя и на Московское царство. Да. Так передай, чтобы сыскал, а как сыщет, чтобы мне переслал немедленно.

И так как монах смотрел на него с недоумением, не понимая, очевидно, такого странного желания гетмана, то Богдан прибавил с тонкою улыбкой:

— Ты знаешь, отче, что пожар приключается часто и от одной шальной искры, нужно только здорового ветра, чтоб раздуть ее.

— Или обложить соломой,— усмехнулся в свою очередь монах.

— Так, так, отче...— кивнул головою Богдан и затем прибавил: — Ну, ступай теперь, отдохни с дороги, мы с тобой еще потолкуем потом.

Отправивши монаха, Богдан снова распечатал пакеты, посылаемые в Турцию, изменил и исправил содержание их, затем призвал Выговского, сам осмотрел дары, посылаемые в Крым и в Порту, и сам отправил послов. Все это делал он ажитированно, взволнованно, желая заглушить усиленной деятельностью мучительную тревогу, закравшуюся ему в сердце. Особенно долго говорил он с послом, отправляемым в Турцию.

— Наипаче пусть Дженджелей объяснит визирю,— повторил он ему несколько раз,— что Польша сама нас подкупила для того, чтобы мы напали на Порту, что все беспокойства султану от козаков по наущению и хитростям лядским совершались. Да пусть еще предостережет визиря, чтоб поберегся доверять ляхам, что они-де нарочито хотят отбить султана от соединения с нами, а у самих с Москвой вечное обещание друг другу против всяких врагов помогать, особливо против татар и мухаммедан, и что послы их то и дело в Москву, словно птицы, летают.

Покончивши наконец со всеми делами, Богдан поднялся к себе наверх. В светлице его встретила Ганна; она была чем-то озабочена; это ясно можно было заметить по ее лицу.

— Дядьку,— подошла она к нему, прикрывши двери,— со мной приключился сегодня какой-то странный случай.

— Что, голубка моя? — всполошился Богдан.

— Сегодня в церкви во время службы ко мне протискался какой-то неизвестный хлоп и, сунувши мне в руки этот пакетик, шепнул на ухо: «Гетману, и чтоб не знал никто».

— Где он?

— Вот, дядьку.

Ганна подала Богдану небольшой пакет из толстой бумаги; надписи на нем не было, но на обратной стороне пакет был запечатан большой восковой печатью, на которой ясно оттиснулся какой-то шляхетский герб. Богдан внимательно осмотрел герб; на нем была изображена турья голова, во лбу которой сияли три звезды.

— Гм... герб знакомый... Я где-то его видел,— проговорил сквозь зубы гетман, срывая печать и разворачивая письмо. На листе бумаги стояло всего несколько строк:

«Благородный шляхтич, которому вы можете довериться, желает переговорить с вами сегодня в полночь в южной башне замковой. От свидания этого зависит судьба всего края. Для успеха дела о свидании этом не должен знать никто». Подписи не было никакой.

Богдан прочитал еще раз записку и, не говоря ни слова, передал ее Ганне.

## XXIII

Ганна быстро пробежала короткие строки письма и повернула к Богдану свое побелевшее лицо.

— Дядьку, вы не пойдете,— произнесла она решительно,— это ловушка... Если бы какой-нибудь шляхтич пожелал дать вам благоприятные сведения, он не побоялся бы явиться сюда.

— Гм... он может побояться того, что ляхам сообщат о его свидании с нами,— произнес в раздумье Богдан,— особливо если это важная особа, а, судя по гербу, я могу утверждать это наверное.

— О нет, нет! — вскрикнула Ганна.— Таким предателям, которые предают своих, верить нельзя. Не доверяйте вы этому письму, дядьку! Ляхи хотят выманить вас одного, чтобы осиротить нас. О, не ходите, прошу вас, молю вас! — схватила она его за руки. — У вас много врагов, и среди своих вся ваша жизнь теперь...

— Стой, голубка моя, — остановил ее Богдан,— я знаю, что жизнь моя нужна для многих и что смерть моя разбила бы все дело, а потому и не буду поступать, как юный мальчик, рвущийся на приключенье, а как человек, в руках которого находится судьба всего народа. Потому и говорю тебе,— произнес он решительно,— отклонить это предложение нельзя, невозможно. Здесь кроется что-то важное,— быть может, мы узнаем от нашего тайного доброчинца такие вести, которые изменят нашу судьбу.

— О, дядьку, нет, нет! Не доверяйте вы ляхам: они хотят обмануть вас и толкнуть на ложный путь. Тот, кто идет к нам на помощь как честный человек, не станет скрывать свое имя.

— Есть много, Ганно, среди шляхтичей таких мужей, которые стоят на нашей стороне, но боятся признаться в том открыто, чтобы не навлечь на себя гнева ляхов.

— Тогда бы он написал вам свое сообщение в этом самом пакете, а не вызывал бы вас в полночь... без стражи... одного.

— Гм! — протянул Богдан.— Есть такие слова, Ганно, которые опасно доверять бумаге. А кругом нас столпились теперь такие туманы...— произнес он задумчиво,— один луч, и он может осветить нам все. Нет, Ганно,—

гетман поднял гордо голову,— во имя святого нашего дела мы не смеем пренебрегать никаким сообщением!

— Но если вы уже решились идти, дядьку,— произнесла с тоской Ганна,— то не идите хоть один, возьмите людей верных.

— Да, об этом я подумал,— ответил коротко Богдан, и, подошедши к двери, он приказал джуре позвать немедленно Золотаренка и Кречовского.

— Друзи мои,— обратился он к ним, когда полковники вошли в светлицу, — сегодня мне нужны два верных человека, которым бы я мог вручить свою жизнь.

— Что нужно, гетмане, мы за тобой хоть в пекло! — произнесли решительно полковники.

— Сегодня в полночь я должен быть в южной замковой башне; можно опасаться измены, а потому прошу вас — спрячьтесь поблизу заранее и при первом моем свисте спешите ко мне.

— Будь покоен, гетмане!

В продолжение этого короткого разговора Ганна стояла в стороне, охваченная каким-то бурным волнением; видно было, что она боролась сама с собой.

— Дядьку,— произнесла она вдруг неожиданно,— я пойду вместе с ними.

Присутствовавшие невольно отступили.

— Ты, Ганно, ты? — вскрикнул пораженный Золотаренко.

— Да, брате, я! — ответила решительно Ганна, смело подымая свое зардевшееся лицо.

Богдан взглянул на нее с изумлением: такою он еще не видел свою тихую Ганну никогда. Затем выражение изумления сменилось чувством глубокой признательности; словно луч солнца осветил утомленное, суровое лицо гетмана: морщины на лбу его разгладились, в глазах блеснул теплый огонек.

— Спасибо, Ганно,— произнес он тронутым голосом, беря ее за руку,— спасибо, дорогая моя!

Настала ночь, темная, теплая, звездная.

Все время до вечера Богдан провел в тревожном томительном ожидании. Тысячи вопросов, предположений, сомнений осаждали его, но ни в одном из них он не мог найти даже слабого указания на то, кто бы был этот таинственный незнакомец. Наконец наступил и поздний

летний вечер; кругом все стемнело. Настала и ночь; одно за другим потухли в замке освещенные окна и смолкли людские голоса. На башне пробило полночь.

Богдан надел под жупан тонкую кольчугу, осмотрел оружие, засунул за пояс турецкие пистоли, захватил с собой тонкую и крепкую веревку и, закутавшись в темный плащ, спустился в сад.

В саду было темно. С непривычки Богдан не смог ничего различить; перед ним только вырезывались из общего мрака стройные очертания тополей. Но через несколько минут глаз гетмана привык к окружающей темноте, и он двинулся вперед. Под деревьями было еще темнее. Легкий ветерок пробегал время от времени в саду и вызывал какой-то глухой, таинственный шелест; сквозь густую листву просвечивали яркие алмазные звезды; под темными листьями блестели в траве светлячки.

Но гетман не замечал ничего этого; нахлобучивши на глаза шапку и стиснувши в руке эфес сабли, он быстро подвигался вперед. Вот и серая, почерневшая башня, кругом кустарник. Богдан бросил беглый взгляд вокруг,— никого не было видно, в башне же светился слабый огонек.

«Гм, хорошо спрятались друзи»,— подумал про себя Богдан и, толкнувши маленькую дверь, вошел в башню. Здесь он очутился в полной темноте.

Гетман вынул из кармана кремень и кресало, высек огня и, зажегши трут, оглянулся кругом,— всюду было набросано старое ржавое оружие, пахло сыростью; небольшая винтовая лесенка вела наверх. Поднявши над головой своей тлеющий трут, Богдан стал осторожно взбираться наверх. Наконец он переступил последнюю ступеньку, сильно толкнул дверь и остановился посреди комнаты.

На столе, составлявшем единственное украшение комнаты, если не считать двух изломанных лав, горел небольшой потайной фонарь; у стола сидел задумавшись высокий монах с длинной седой бородой.

«Измена, обман!» — промелькнуло молнией в голове Богдана; в одно мгновенье вырвал он из ножен саблю и сделал шаг к дверям.

Незнакомец заметил движение Богдана.

— Стой, гетмане! — произнес он звонким твердым

голосом и, сорвавши с себя быстрым движеньем седую бороду и клобук, бросил их на стол.

— Пан Радзиевский! [20] — вскрикнул Богдан, отступая от изумления назад.

— Он самый, прославленный победитель,— отвечал радостно незнакомец, подходя к Богдану и протягивая ему руку.

Гетман горячо пожал ее.

— Рад, рад, ясный пане,— произнес он с чувством,— рад, что снова вижу тебя.

— И я тоже не менее,— отвечал Радзиевский,— а скажи, пане гетмане, думал ли ты, что нам придется так увидеться с тобой?

— Да,— вздохнул Богдан,— колесо фортуны вертится быстро. Но, правду сказать, никогда не думал я, что придется мне дорогих моих гостей принимать вот так, в таком месте.

Радзиевский несколько смутился при этих словах Богдана.

— Что ж, гетмане, я сам бы рад был к тебе явиться открыто, но есть дела, которые важнее наших желаний. Одначе поздравляю тебя с победами,— переменил он сразу тон,— каких давно не слыхали в Польше. Жаль, что покойный король и благодетель наш не дожил до этих дней и не увидал усиления своих любимых детей.

— Спасибо, спасибо за доброе слово, пане полковнику. Не знаю, были ли мы любимыми детьми его королевской милости, а вот что он был нашим любимым отцом, так это так.

— И король ценил вас! О, если б он только не скончался так рано, чего б он не сделал при вашей помощи! Каких бы прав не дал он вам! — вздохнул Радзиевский.

Богдан ничего не ответил. Предлагая Радзиевскому вопросы и давая ответы, он все время старался разрешить один вопрос: зачем, от кого, с каким поручением приехал Радзиевский? Вопрос этот интриговал его до высочайшей степени, однако, несмотря на это, гетман решил ни одним словом не вызывать на откровенность полковника, а подождать, пока он сам выяснит цель и причину своего приезда. Несколько минут прошло в молчании.

— Да что же это мы стоим так! — спохватился

Богдан.— Садись, пане полковнику, потолкуем, что и как, давно ведь не виделись мы.

— Так, так, воды немало утекло,— произнес задумчиво Радзиевский, опускаясь на лавку,— не стало и нашего дорогого благодетеля.

— Да, и кто б мог думать? Его величество, найяснейший король наш, был еще в таких годах. В последний раз, когда я его видел, он был так полон сил и энергии,— произнес грустно Богдан и умолкнул.— У нас был слух,— поднял он через несколько мгновений голову,— что вельможная шляхта укоротила ему жизнь.

— И в этом слухе была правда. Я был при его кончине, гетман.

— Так это верно? — вскрикнул горько Богдан и, опустивши голову на грудь, произнес тихо: — Несчастный венценосный страдалец! Всю жизнь ты был игрушкой в руках своевольной шляхты. Им мало было твоего скипетра и короны,— они отняли у тебя даже жизнь.

На лице гетмана отразилось неподдельное горе.

— Да, гетмане,— произнес Радзиевский,— не короля потеряли мы в нем, а любящего, дорогого отца.— Он помолчал с минуту и продолжал взволнованным голосом: — Когда это случилось с ним, он был на охоте в Мерече. С нами было много придворных и знатной шляхты. Надо тебе сказать, что с самого твоего побега на Запорожье он жадно следил за всеми вашими делами. Казалось, он жил и дышал вашим успехом и видел в нем свою новую зарю. Это он посылал меня на Украйну к гетманам уговорить их приостановить военные действия; он поручил мне присмотреться ко всему и разузнать, какие есть шансы для твоего успеха. Я вернулся и сообщил ему свои наблюдения. Время шло, а между тем сведения, получаемые от гетманов, совершенно опровергали мои предположения: говорили, что тебя разбили наголову, приковали к пушке и вскоре привезут в Варшаву для праведного суда. Король загрустил; как ни старался он держать себя бодро при царедворцах, однако его печаль не скрылась ни от кого. И вот однажды, когда мы возвращались, окруженные панством, с охоты, к королю подскакивает усталый гонец и передает весть о твоей страшной желтоводской победе[21]. Известие было так неожиданно, что король не успел овладеть собой; правда, в словах он не выдал себя, но на лице его за-

играла торжествующая радость, и радость эту заметили все кругом. На другой день он почувствовал себя плохо.

— О боже, боже! — прошептал растроганным голосом Богдан и прикрыл глаза рукой.

— Он позвал своего лекаря и велел ему дать себе лекарства. Я умолял его не принимать ничего из рук этого продажного немца, но он ничего не слушал. Опьяненный, восхищенный твоим успехом, он находился все время в каких-то радужных мечтах. Правда, за его жизнь ему выпало не много таких счастливых минут!

Радзиевский горько улыбнулся и продолжал дальше:

— Не прошло и часу после того, как он принял микстуру немца, а состояние его уже значительно ухудшилось. С каждым часом он стал чувствовать себя все слабее и слабее; мы все всполошились. Наконец и он понял ужасную истину. О гетмане, как описать тебе, что сделалось с ним! Он плакал, как ребенок, он падал на колени перед нами, умоляя спасти его, он рвал на себе волосы, бросался ниц перед иконами. «О господи, боже мой!..— восклицал он, простирая к небу руки.— Неужели ты возьмешь у меня жизнь теперь, когда я начинаю только чувствовать ее. Ойчизна! Ойчизна! — повторял он со слезами.— Мне не удастся спасти тебя!» С каждой минутой становился он слабее, но еще страстно боролся со смертью. Наконец мы уложили его в постель. Несколько раз еще срывался он с нее, но мало-помалу стал утихать; вспышки его становились все реже, только слезы одна за другой катились по мертвенно-бледным щекам. Мы делали все, что только было возможно; ему уже трудно было говорить, но каждое зелье, которое приносили мы ему, он выпивал с жадностью, устремляя на нас полный горячей надежды взгляд. Ему так хотелось жить в эту минуту! А между тем ничто не помогало: он умирал. Наконец и он сам убедился в этом; с ужасом открыл он тускнеющие глаза и, поманивши меня пальцем, прошептал коснеющим языком: «Умираю... ему скажи, пусть добивается всех прав, свободы, веры... но отчизну... пусть щадит отчизну... заклинаю своим прахом... другой Речи Посполитой им не найти». Здесь он упал навзничь и закрыл глаза. Мы думали, что все уж совершилось, но перед смертью он еще раз сорвался с постели. «Жить! Жить! Спасите!» — вскрик-

нул он, простирая к нам холодеющие руки, и упал мертвый на пол.

Радзиевский замолчал. Потрясенный ужасным рассказом полковника, Богдан сидел молча, не отрывая руки от лица.

Две эти потери, разразившиеся над ним, были так сходны между собой: и там, и здесь насильственная смерть унесла двух его лучших наставников и друзей, которые могли быть для него и поддержкой, и опорой! И оба они — и король, и владыка — в последнюю минуту жизни вспоминали о нем, но владыка говорил смело: «Дерзай! Выводи народ свой и святую веру из лядской неволи на широкую дорогу». А бедный умирающий король молил о несчастной отчизне. «Народ и отчизна!» — горько усмехнулся гетман. В сердце каждого человека два слова эти сливаются воедино, но в его сердце они стояли друг против друга как два злейших врага. Разве он не любил свою дорогую отчизну, разве не защищал ее собственной грудью от хищных врагов? Но отчизной правили паны и магнаты, а они желали погибели его народа. Как же соединить две эти правды? Которая истина из них?

Однако, несмотря на тяжелое впечатление, произведенное на него рассказом Радзиевского, гетман не терял из виду своей основной задачи: разузнать поскорее, зачем и от кого приехал к нему Радзиевский.

«К чему рассказал он ему о смерти короля? Между его рассказом и причиной приезда должна быть какая-то связь,— думал про себя Богдан.— Здесь кроется что-то весьма любопытное. И его надо раскрыть поскорее».

С этой мыслью гетман поднял голову и, вздохнувши глубоко, произнес печальным голосом:

— Так-то так, пане полковнику, потеряли мы истинного благодетеля нашего, а жизнь все идет вперед, некогда и потужить о нем! Правду старые люди говорят, что мертвый о мертвом, а живой о живом думает.

— Да, да,— ответил живо Радзиевский,— дни теперь летят часами, а часы — минутами. Ну как же дела твои?

— Что ж, ничего. Да от войны устали; послал своих депутатов на сейм: мира хочу.

Под седоватыми усами Радзиевского промелькнула легкая улыбка.

— Ну, проезжал я стороной, на мир, пане гетмане,

похоже мало. Только в таком облачении и проехать можно, а в шляхетской одеже и не показывайся! Всюду бродят вооруженные толпы, а отряды твои берут во всех местах города и замки.

— Что ж делать! Хочешь мира — готовься к войне! — улыбнулся Богдан.

— Но-но, гетмане,— подмигнул ему бровью Радзиевский,— готовься, но не веди.

— Ясный пане мой! Мы не обнажили бы и сабли, если б не князь Ярема! — заговорил убежденным тоном Хмельницкий.— Мы и татар отпустили, и сами собрали сюда все свои силы, но он бросился на нас, как хищный волк, сам, на свой страх, без указаний сейма. Травит, мучит, терзает народ и тем раздражает его и побуждает его к мщенью. Чернь поднялась кругом. Я могу остановить полки свои, отослать татар, но над чернью нет у меня власти, ясный пане, как нет ее ни у сейма, ни у короля!

— Да, это верно, — произнес задумчиво полковник,— но что же ты предполагаешь, гетмане, дальше?

— Мира хочу.

— Я знаю твои условия,— сейм никогда не согласится на них [22].

— Я не могу уступить ничего. Не говоря о других причинах и чувствах, скажу тебе, вельможный пане, коротко: весь народ принял участие в восстании, если он не будет удовлетворен,— он подымет оружие против нас.

— Все это верно, но панство никогда не согласится. Ему и на руку поссорить тебя с народом, чтоб, обессиленного, раздавить поскорей: народ без предводителей не страшен! Да первый Ярема будет против. Ты знаешь, он поклялся или раздавить вас, или покинуть ойчизну. Оссолинский у нас, надо опасаться, чтобы совсем не утонул; с Оссолинским пошатнулись и все те люди, которые за вас недавно стояли. Вот если б король покойный был жив, о, он бы постоял за вас, и тогда все твои пункты были бы утверждены без всякого сомнения. Вам надо иметь сильную руку.

Во все время речи Радзиевского Богдан не отводил от его лица пытливого взгляда. «Куда это он гнет? Что скрывается в его словах?» — думалось гетману. При последних же словах полковника в голове Богдана мелькнула какая-то смутная догадка.

— Но если отвергнет сейм твою просьбу, что предполагаешь ты дальше? — продолжал Радзиевский.

— Буду мечом добывать волю своему народу,— отвечал невозмутимо Богдан.

## XXIV

— Если паны отринут мои пункты,— продолжал Богдан, внимательно следя за выражением лица Радзиевского,— то вся кровь упадет на них. Я иду не на кровь всенародную и не на бедствия отчизны,— произнес искренно и величаво гетман,— а на спасение погибающих в неволе и на защиту святого креста.

— Так, гетмане, на спасение погибающих в неволе,— повторил за гетманом Радзиевский.— Но в этом деле не надейся слишком на свои силы: Беллона изменчива, а в случае пораженья ты потеряешь всякое право на снисхожденье.

— Не нуждаюсь я теперь в снисхождении, пане полковнику,— отвечал с гордой усмешкой Богдан,— пока не имел с панами дела, еще страхался, а теперь знаю, с кем воюю! Учинил я уже то, о чем не мыслил, учиню еще то, что замыслил[23]. Турки, татары пришлют мне свою помощь, только свистну — и триста тысяч будут стоять под моими знаменами.

— Татары — невера, да и народ неверный, гетмане! — улыбнулся Радзиевский.

— Оттого-то они, верно, и не трогают нашей веры,— нахмурился Богдан.

— Ты, гетмане, стал зол,— повел бровью Радзиевский.— Но хотя татары и не трогали вашей веры, зато не оправдали той веры, которую вы оказали им. Знаешь ли ты о том, что хан присылал письмо на сейм и требовал дани?

Гетман изобразил на своем лице гневное недоумение.

— Да, и требовал дани,— продолжал Радзиевский, замечая впечатление, произведенное на гетмана его сообщением.— А что, если бы получил он дань, как ты думаешь: продолжал ли бы он стоять за вас? Что ему вы, козаки? Враги исконные, не больше. Конечно, ограбить Польшу соблазнительно и для мурз, и для хана, но и помогать особо козакам нет никакой выгоды для татар.

Гетман угрюмо молчал; теперь Радзиевский задел в

своих словах ту самую мысль, которая так смущала его самого.

— Они соединятся с нами и из исконных врагов приобретут себе верных друзей,— произнес он.

— Да, пожалуй,— усмехнулся иронически Радзиевский,— но сдается мне, скорее можно было б соединить козу с сеном, чем татарина с козаком. Послушай, гетмане! — продолжал он далее искренним тоном, опуская руку на стол.— Правителю, конечно, не должно разглашать своих тайн, но со старым приятелем, который не раз оказывал вам свою дружбу, можно говорить начистоту. Итак, будем говорить коротко: в войне всегда бывает два исхода: неудача — и вы погибли безвозвратно, удача — вам тоже не будет выгоды никакой. Неужели вы думаете, что соседние монархи будуть смотреть спокойно на то, что вы разрушите все государство и свергнете весь государственный строй? О гетмане, не доводи лучше до вмешательства чужих государей, иначе пострадаешь ты сам!

— Знаю, — поднял гордо голову Богдан, — все знаю, пане полковнику, и скажу тебе прямо: расшатав и обессилив Польшу, я уйду со всем войском и со всем народом под протекцию другого государя.

— Как?! — вскрикнул с непритворным ужасом Радзиевский и поднялся с места.— Ты... ты хочешь разрушить, погубить отчизну?!

Страстный вопль, вырвавшийся из груди полковника, казалось, тронул гетмана.

— Отчизна стала нам мачехой, а не матерью,— глухо ответил он,— как же мы будем дорожить ею, когда она сама отталкивает нас?

Радзиевский молчал; несколько мгновений никто не нарушал молчания, наконец он заговорил глубоко взволнованным голосом:

— О гетман! Отчизна не отталкивает тебя. Она сама, истерзанная, измученная междоусобиями, простирает к тебе руки. Правда, вы много вынесли и от панов, и от правителей, но в этом не виновны ни отчизна, ни король. Своеволие и ненасытность шляхты виновны были в этом.

— А шляхта именуется у вас Речью Посполитой,— прервал его Богдан,— остальное все быдло... хлопы...

— Да, это так, это было так,— вздохнул Радзиев-

ский,— но мудрейшие из нации и желают изменить все это, прекратить своеволие, водворить в стране покой. Как тронуть мне тебя? Откуда взять слов? Но неужели же та братская связь, те сотни лет, которые поляки прожили с твоим народом, не трогают тебя? Неужели же и предсмертная просьба твоего короля и благодетеля не трогает тебя? Куда ты пойдешь? Под чью протекцию поступишь? Турция и Москва есть у тебя на примете. Хорошо, пусть так, помни только, гетман, что они будут всегда чужими тебе. Что может быть общего между вами, вольными козаками, и подневольными москалями или бесправными басурманами? Ярмо их с каждым днем тяжелеет, а вы вольной Польши сыны.

По лицу Богдана промелькнула едкая улыбка.

— Не сыны, пане полковнику, пасынки, или, вернее,— рабы.

— Это было, гетмане, больше не будет. Но хорошо, если тебя не трогает гибель отчизны, то подумай же о другом. Если тебя возьмет под протекцию Москва или Порта,— не надейся, чтоб с тобой церемонились долго.— Радзиевский насмешливо усмехнулся и продолжал угрожающим тоном: — Ты явишься просителем у них. Не ты им нужен, а они тебе. И они поймут это сразу. Москва и Порта — не расслабленная, расшатанная Польша, те государства суровы и крепки,— с ними ты не повоюешь, у них не добьешься ничего. Лучше бы ты мирным путем добился прав в своей отчизне, уже показавши свою силу...

— Мирного пути здесь нет! — перебил его сурово Богдан.— Сам егомосць говорит, что шляхта не согласится.

— Н-но, гетмане, ты сам не хочешь его видеть,— произнес с ударением Радзиевский,— когда б король покойный был жив, ты не прибегнул бы к таким крайним мерам.

— Да, потому что король был истинным отцом нашим и, усиливая его власть, мы усиливали б себя.

— Отчего же ты не хочешь прибегнуть к милости нового властителя?

— Кого? — произнес Богдан с злобной усмешкой.— Венгерца Ракочи, или иезуита Казимира, или трусливого Карла?

— Ракочи — нет, он из ворожьих венгерцев, его те-

шит только польская корона. Карла ты сам обозвал трусом, но Казимир,— здесь Радзиевский слегка запнулся,— муж мудрый, отважный, полный доблести и любви.

— Ха-ха-ха... — разразился саркастическим хохотом гетман, перебивая Радзиевского,— и вдобавок ко всем своим достоинствам — кардинал и иезуит.

Радзиевский нахмурился.

— Мудрый король, гетмане,— ответил он сдержанно,— не может быть ни иезуитом, ни православным; он должен быть только правителем, отважным и справедливым.

— Да, должен. Но ведь то, что должно быть,— подчеркнул гетман,— очень редко бывает. Добрыми намерениями, пане полковнику, вымощен и ад. Кто знает истинные замыслы и планы Казимира?

— Я знаю,— произнес торжественно Радзиевский и поднялся с места,— узнаешь и ты. Он послал меня к тебе.

— Как? Он?! — вскрикнул Богдан и, сорвавшись с лавы, остановился словно окаменелый.

Весть эта поразила его своей неожиданностью. Он уже предполагал в приезде Радзиевского происки партии покойного короля, но чтобы сам Казимир, брат покойного короля, сам кандидат в короли, искал его помощи?.. Этого он не ожидал никогда!

— Да, он прислал меня к тебе,— продолжал между тем Радзиевский, пользуясь минутой смущения гетмана,— он предлагает тебе соединиться с ним и действовать во благо всей отчизны. Если ты поддержишь его кандидатуру и поможешь ему вступить на престол,— он обещает тебе утвердить все твои пункты, он обещает расширить все ваши вольности; ты будешь гетманом в Украйне, а он — королем в Варшаве.

Ошеломленный, подавленный неожиданностью, Богдан не отвечал ни слова. Словно вспыхивающие зарницы, мелькали в его голове быстрые, отрывистые мысли: «Там неверность татар... сомнительный успех в Турции... холодность Москвы... вмешательство чужих держав. А здесь ослабленная, расшатанная Польша... вечные интриги панские... и если король будет на нашей стороне... «Ты будешь гетманом в Украйне, а Казимир — королем в Варшаве»,— повторил он слова Радзиевского.— Да! Но сейм! Сейм! Паны! — сердце гетмана сжалось горькой болью.— Однако, во всяком случае,—

решил он поспешно,— такого предложения оставлять нельзя».

— Благородный друг мой,— произнес он с достоинством, преодолевая охватившее его волнение,— брат покойного короля и благодетеля моего делает великую честь и мне, и всему рыцарству нашему, что обращается к нам за помощью в такую минуту. Клянусь богом, явившим нам свое чудо, мы были верными детьми нашего короля и останемся такими до конца своих дней, если король уважит нашу веру, свободу нашего народа и вольности славного рыцарства запорожского. Мы готовы служить ему, но чтобы между ним и нами не было ни шляхты, ни ксендзов.

— Все будет так, как вы захотите.

— Но ведь желание короля не уважит сейм.

— Вы вынудите его к этому.

— Да, мы сделаем это,— сжал грозно брови Богдан и гордо забросил голову.

— Так верь же нам, гетмане! Прекрати сношения с Москвой и Портой, верь и жди помощи от своего государя.

— От кандидата,— поправил его Богдан, к которому уже возвратилось снова все его хладнокровие.

— Если вы станете поддерживать его яснейшую мосць, дело будет верно.

— Будем надеяться. Но, пане полковнику, товар за глаза покупать опасно.

— Королевич дает вам свое царское слово,— произнес гордо Радзиевский.

— Как святыню принимаем мы его,— наклонил почтительно голову Богдан,— но я бы просил его величество выяснить мне еще яснее его волю. Покойный король выдал нам за своей печатью привилеи.

— Ты хочешь, чтобы королевич выдал тебе письменное обещание? — отступил от гетмана Радзиевский.

Богдан молчал.

— Но понимаешь ли ты, гетмане, что дать такую бумагу — значит рискнуть короной?

— Пойти без нее — рискнуть всем народом,— ответил с достоинством Богдан.

Радзиевский молча взглянул на него.

Гетман стоял, отбросивши назад голову, торжественный, величественный. Во всей его фигуре, позе, взгляде

чувствовалось сознание своего значения и силы; глаза горели гордо, уверенно, смело.

— Ты прав, гетман,— произнес Радзиевский, протягивая ему руку,— жди меня.

Несколько дней прошло со времени получения таинственного письма, а Богдан не говорил ничего о результате своего свидания ни Ганне, ни Золотаренку, ни Кречовскому. Однако и Ганна, и другие стали замечать, что гетман сделался от того дня как-то задумчивее и сосредоточеннее, казалось, какая-то новая забота посетила его. В действительности же Богдан взвешивал и обдумывал предложение Радзиевского.

Первое обаянье королевского обращения вскоре исчезло, и Богдан мог теперь обсудить хладнокровио выгоды и невыгоды этого нового союза. Итак, прежде всего стоял вопрос о том, что выгоднее — союз с королем, или протекция Москвы и Порты? Конечно, остаться в Польше при всех правах, которые требовали козаки и народ, да еще с гетманской булавой в руках было надежнее, чем переходить под протекцию другого государства. Богдан отлично понимал, что в словах Радзиевского была большая доля правды: в расшатанной, ослабленной панскими междоусобиями Польше можно было скорее добиться прав, чем в сильных и крепких государствах, перед которыми он сам являлся просителем; но, с другой стороны, при изменчивости слова короля, при его бессилии перед непреклонной волей сейма пришлось бы за эти права вести еще тяжелую и утомительную борьбу и рисковать вмешательством иностранных держав, а в Москве или Турции права им были бы утверждены сразу. Но против последней комбинации являлось еще новое сомнение: ведь Москва относилась пока чрезвычайно холодно к предложению гетмана, а Турция, по последним сведениям, могла даже стать прямо в враждебные отношения.

«Эх, то-то и горе, что кругом верного ничего нет,— вздыхал глубоко Богдан, опуская голову на руки.

Ой горе тій чайці, горе тій небозі,
що вивела дитиняток при битій дорозі,—

повторял он слова сочиненной им самим думы.—Если бы знать, что думает каждый, да если бы не эти свои думы, что точат мозг, как дерево шашель, ринулся бы прямо,

очертя голову,— либо пан, либо пропал! А то вот, сделай шаг, да десять раз оглянись кругом, так будто и хорошо, а с другой стороны посмотришь — худо. Да, уж лучше брать то, что вернее. Однако, чего же требует Раздиевский? Отпустить татар, порвать сношения с Москвой и Портой, отозвать свои загоны, другими словами, остаться бессильным, безоружным и тогда надеяться только на ласку короля. Да, послушай их и сделай так, как они хотят, так и останешься как рак на мели. Нет! Мы войдем в союз с королем, но только с полной силой, мы сами его посадим на престол и потрясем до основания весь сейм. А может, не подослан ли какими интриганами сам Радзиевский? Кто знает! Положим, он верный человек, приятель, но в таких важных делах лучше не доверять никому».

Волнуемый этими сомнениями и неуверенностью в союзниках, Богдан просто изнемогал под тяжестью своих дум, а между тем события складывались так, что служили только к ухудшению его состояния. Ни послов, ни известий не было ниоткуда; среди полковников и войск бродили всевозможные предположения, все были взбудоражены, все уже изнемогали от бездействия и ждали с нетерпением конца всех переговоров.

«Когда бы знать, где правда? Когда бы заглянуть в это темное будущее,— повторял сам себе Богдан.— Один неверный шаг — и погубишь весь народ. А кто может поручиться, где лучше и вернее? Кто может читать в книге судьбы? Однако есть же такие мудрые люди, есть колдуны, предсказатели, звездочеты? Впрочем, кто знает, правду ли они говорят? Вверишься им, а там — все ложь, обман. Но нет, бывают вещие предсказатели, мудрость которых проникла в неразгаданные тайны жизни. Ведь Саулу вызвала тень Самуила колдунья. Да что считать! Много есть таких примеров. И мне самому там, в лесу, колдунья предсказала славу, почет, булаву, успех. Часть слов ее сбылась, а дальше?»

Схватившись за эту мысль, Богдан стал осторожно разузнавать, есть ли где гадалки и предвещатели [24]. Услужливый Выговский не замедлил представить Богдану знаменитых колдуний. Богдан страстно ухватился за этот способ узнавать будущее, но и он принес мало утешения: все колдуньи говорили так туманно и неясно, что трудно было уловить в их словах какую-нибудь пу-

теводную нить. Они сходились все только в том, что пророчили Богдану успех и высокую долю и советовали действовать смелее; но ни одна из них не указывала, который путь вернее.

Ко всему этому прибавлялось еще и неведение относительно деятельности всех загонов. Последнее время сообщения от их предводителей как-то затихли. Был слух, что Кривонос и Чарнота встретились с Яремой, но чем кончились их битвы, не было известно никому[25].

Богдан велел отправить гонца к Кривоносу, чтобы разузнать, как идет его война с Яремой, и приказать ему, если дело уже покончено, взять поскорее Каменец и ждать там его приказаний.

Прошло еще несколько времени в таком тревожном затишье.

## XXV

Однажды, когда Богдан сидел в канцелярии и разбирал по обыкновению с Выговским письма и бумаги, в дверь раздался сильный стук и вслед за ним в комнату поспешно вошли Золотаренко и Кречовский. Гетман бегло взглянул на лица вошедших и сразу почувствовал, что полковники принесли с собою какую-то важную новость.

— Что случилось, друзья? — обратился он к ним слегка встревоженным голосом.

— Худые вести, гетмане,— ответил Золотаренко.— Есть слух, что убили наших послов в Варшаве[26].

— Не может быть! Кто говорит это? — вскрикнул в ужасе Богдан, поднимаясь с места.

— Вот только что прибыли к войску два парубка, с Волыни едут. Говорят, что сам Тыша говорил им об этом.

— Да тут еще диакон один приехал,— прибавил Кречовский,— то же самое рассказывал. Слыхал, как сами паны о том толковали: «Двух,— говорит,— посадили на кол, двух четвертовали, а двух изжарили живьем».

— Не может быть! Не может быть! — повторил настойчиво Богдан.

— Кругом все говорят,— продолжал Золотаренко.— Весь город облетела эта чутка; все козачество взволновалось.

— Не может этого быть! Не может быть, говорю вам! — ударил по ручке кресла Богдан.

— А почему нет? — вскрикнул Золотаренко.— Ведь посадил же на кол твоих послов Ярема? Осмелился? А Ярема — не весь сейм?

— Ярема — бунтарь, мучитель; он действует на свой страх; что ему до мира и спокойствия в отчизне? А сейм водворяет закон и порядок и не захочет понапрасну вызывать новую войну!

— «Водворяет закон и порядок»! — повторил с едкою насмешкою слова гетмана Золотаренко.— А не сейм ли приказал изжарить Наливайка и четвертовать Павлюка?

— Меня бы предупредили: у меня есть там верные друзья,— произнес уже спокойнее гетман, опускаясь на стул.— Нельзя так доверять слухам, полковники! Надо послать разузнать наверняка.

— Нет, гетмане, не доверяй ляхам! — заговорил, нахмуривая брови, Золотаренко.— Твои верные друзья окажутся предателями... Нельзя верить ни одному слову ляхов: они нарочно притворяются, лгут для того, чтобы лучше обмануть и запутать нас. Если бы все было благополучно, разве уже не вернулись бы до этой поры послы? А если бы они не могли приехать, то хоть известие прислали бы нам. Ляхи нарочито не будут допускать к нам никаких известий, для того, чтобы застать нас врасплох. А мы, вместо того чтобы броситься на них и разрушить одним взмахом все их намерения, будем разузнавать, правда ли то, что на завтра солнце взойдет?

— Ты горячишься, друже, а потому и не принимаешь всего в расчет,— произнес уже совершенно спокойно Богдан.— Но нельзя же нам двинуть из-за одного слуха все войско, когда еще и от хана не вернулись послы.

— Я думаю, даже вернее то, что ляхи сами распустили этот слух,— заговорил в это время тихим голосом Выговский, который до того не принимал участия в разговоре, а только внимательно наблюдал за лицами говоривших,— какая им выгода добывать нас здесь, дома, в укрепленных местах? Пока они пробились бы через наш край, мы узнали бы об их движении сто раз.

— Так, так,— подхватил оживленно Богдан,— и то очень возможно, они давно хотят нас разъединить с союзниками,— недаром же хлопочут и в Царьграде, и в Москве.

— Все это так, гетмане,— возразил спокойно Кречовский,— но ты забываешь одно: как медленно собираются на войну ляхи. Мы могли бы воспользоваться временем и, не дожидаясь татар, поразить их своей стремительностью.

— Ну, а если послы наши живы и здоровы? — повернулся к нему Богдан.

— Та что ж, лишний кий ляхам не беда,— нахмурился Золотаренко.

— Нет, нет, друзья мои,— покачал Богдан отрицательно головой.— Тогда мы окажемся не борцами за волю и веру, а простыми бунтовщиками, гайдамаками, которые пользуются бескоролевьем и смутным временем для того, чтоб устраивать в государстве бунты и грабежи.

— Тем более,— подсказал услужливо Выговский,— что мы еще не получили и ответа с сейма; быть может, он удовлетворит нас без всякой войны.

Золотаренко бросил в сторону Выговского недружелюбный взгляд.

— Всем нам известно, что сейм никогда не согласится на наши пункты, так к чему же ждать его решенья, разве для того, чтобы угодить панам?

— Нет, друже мой,— остановил его жестом Богдан,— не для этого, а для того, чтобы оправдаться перед всеми и показать, что только крайность заставляет нас подымать оружие.

— Даже если б из-за этого нас побрали просто голыми руками ляхи? — усмехнулся саркастически Золотаренко.

— Этого никогда не будет. Не тревожься, брате: все будет сделано, мы разведаем, где только можно, правда ли то, что говорят о наших послах. И если в этом слухе есть хоть капля правды, мы выступим сейчас же в поход. Во всяком деле надо сперва посоветоваться с мудростью и осторожностью.

— Эх, гетмане...— вздохнул Золотаренко.— Когда б бросились мы просто на ляхов,— больше б толку было!

С этими словами Золотаренко круто повернулся и вышел из комнаты, за ним вышел и Кречовский.

Богдан молча посмотрел им вслед, и глубокий вздох вырвался из его груди.

— И все только одно: броситься на ляхов, разбить,

расплюндровать,— произнес он задумчиво,— а что дальше будет, что надо создать в будущем, они себе и в ум не кладут! Думают, что все это так просто: и Варшаву взять, и сейм разгромить, и всех хлопов разогнать по всему свету, всем и волю, и одинаковые права дать, и поделить поровну всю землю! Ох-ох-ох! А ведь это еще лучшие из козаков. У Золотаренка золотое сердце.

— И крепкая рука, — прибавил Выговский, — да только...— произнес он, опуская скромно глаза,— к простоте все он тянет, рад бы всю Польшу нарядить в сырыцю, вот оттого у него и такая ненависть к панам... А пан пану рознь.

— Так, так, друже,— заговорил Богдан,— среди панов есть у нас верные и преданные друзья... да и без освиты нет правды... Одначе все же... откуда этот слух? Нет дыму без огня.

— Ясновельможный гетмане, из наших козаков есть многие, которые только ждут войны и уж давно скучают от безделья; быть может, слух этот пущен ими самими, чтобы поскорее подвинуть тебя.

— Да, да...— схватился Богдан за новую мысль, навеянную ему Выговским,— и это может быть. Одначе ты, Иване, пошли немедленно узнать, разведать.

— В минуту, ясновельможный гетмане! — поклонился Выговский и вышел из комнаты.

— А что, если это правда? — произнес медленно Богдан и устремил глаза в окно. «Порта против нас настроена, Москва холодна, хан уклоняется, а может, и заключил союз с Польшей... Кругом враги, и я — сам на сам с Речью Посполитой?.. Бр-р! — передернул он плечами.— Холодно или сыро тут? Положим — наша отвага, стремительность, их — трусость и бессилие. Чем судьба не шутит? Счастье за нас! Все прочат мне высокую долю, советуют действовать смелее... и эти гадалки, и та колдунья...— В голове гетмана пронеслось какое-то отдаленное туманное воспоминанье: лес, полночь... бессвязные слова старухи.— Но нет, нет! — тряхнул он головой.— Они только туманят нас; все это ложь, обман... Ивашко прав. О, он всегда угадывает правду: тех смутьянов, что от безделья скучают, много! Им недорого поднять все войско. Уж если бы было так, то Радзиевский или Верещака сообщили бы мне. Да и Морозенко... Ведь он там, на Волыни; прислал бы, известил... Однако

давно от него нет известий. Нашел ли он Чаплинских? Да разве можно не найти? С ним две тысячи отборного войска. С такими козаками можно весь край перевернуть, все выжечь догола!»

Гетман встал с места и заходил в волнении по комнате. Мысли его понеслись бурно.

— До сей поры! Два месяца — и не может отыскать ничего! О, если б я был там,— сжал он до боли руки,— оба давно бы здесь, у моих ног, были! Натешился б! Помстился б! Ногами затоптал бы! — вскрикнул он вслух и остановился посреди комнаты.

Лицо его было красно; грудь высоко и тяжело подымалась. Так прошло несколько мгновений.

— Нет, нет,— произнес он наконец, овладевая своим волнением,— из-за одного пустого слуха нельзя сзывать назад все загоны и выступать в поход. Теперь надо держаться остро! Каждый наш неосторожный шаг будет мешать сближению с королем.

Так прошло еще несколько дней. Слухи о гибели послов пока не подтверждались, но в войсках началось сильное брожение и недовольство. Старшина осуждала гетмана за медлительность и доверие к ляхам, козаки осуждали старшину, а всем вообще было обидно даром стоять в то время, когда загоны пользовались во всем крае широким правом добычничества. Все были возбуждены, настроены ко всяким ужасам и ожидали с минуты на минуту какой-то страшной грозы. Сам гетман изнемогал от неизвестности и мучительного ожидания. Среди такого грозного затишья прибыл наконец гонец от Дженджелея.

Дженджелей извещал гетмана, что до сих пор положение их дел в Порте было очень плохо, так как Польше удалось склонить на свою сторону великого визиря, но на днях султан был умерщвлен янычарами, правлением овладел теперь новый визирь [27], и есть надежда склонить его на свою сторону, тем более, что с ним ищет сношения и сам хан.

Известие это подняло снова все силы Богдана, тем более, что на другой день после прибытия посла от Дженджелея привез гонец из Крыма письмо от Тимка.

В письме своем Тимко извещал батька, что в Порте, по-видимому, случилось что-то особенное. Что именно, он не мог сказать наверное, но предполагал нечто благо-

приятное для козаков, так как хан стал снова ласковее к нему и суровее к пленным ляхам. Далее сообщал он в письме, что на мурз дары и письма Богдана оказали хорошее влияние: все к нему, к Тимку, ласковы и внимательны, расспрашивают о состоянии польских сил и о том, на какую добычу можно рассчитывать. Вообще же все кругом о чем-то шушукаются и ожидают чего-то особенного.

— Ну, слава господу милосердному,— вздохнул всей грудью Богдан, когда Выговский окончил чтение письма,— наконец-то, пане Иване, есть у нас грунт под ногами, а то так ведь качало, словно чайку в бурю.

Письмо Тимка совершенно окрылило Богдана; отважные, смелые мысли снова охватили его. Теперь, опираясь на согласие Порты, можно было заключить важные условия с королем, а может, и соединиться с самой Портой, а может... чем черт не шутит!

Но гетман останавливал себя сам на разыгравшихся мечтах.

Одно только смущало и угнетало его — это то, что от Морозенка не было до сих пор никаких вестей.

Впрочем, и это недоразумение вскоре разрешилось.

Дня через три после получения письма от Тимка к гетману в дверь постучался джура.

— Что там такое? — спросил сурово Богдан, не отрываясь от бумаги, которую ему подал Выговский.

— Ясновельможный гетмане,— послышался голос.— Гонец от Морозенка хочет немедленно...

— От Морозенка! — вскрикнул Богдан, рванувшись вперед, и запнулся от волнения на полуслове. Все лицо его вспыхнуло, бумага вывалилась из рук.

— Веди сюда! Скорее! — произнес он глухо и отрывисто.

Через несколько минут в комнату вошел молодой посланец Морозенка.

— Оставь нас... потом...— обратился гетман к Выговскому, с усилием отрывая слова, и, не окончивши речи, махнул рукой.

Выговский поклонился и выскользнул из комнаты.

— Ну, что же, что? Говори! — произнес Богдан порывисто, поворачиваясь к посланцу, который стоял у дверей.

— Ясновельможный гетмане, атаман наш Морозенко со всеми славными козаками кланяется тебе до земли челом и извещает, что взяты нами у ляхов и заняты нашими залогами Искорость, Олыка, Клевань, Заславль.

Гонец начал перечислять подробно все занятые козаками города и количество захваченных пушек, оружия и денег.

Богдан слушал его стоя, опершись о спинку кресла.

«Марылька ж, Марылька что?» — кричало у него все в сердце, но, не желая выдавать своего чувства, он стоял молча, потупивши глаза в землю и сцепивши пальцы рук.

Между тем гонец все распространялся о козацких победах.

— Ну, дальше ж, что разузнал Морозенко? — перебил его наконец резко гетман.

— А то, что ляхи уже собирают войска, под Глинянами и сбор назначен.

— Не может быть! — вскрикнул гетман, подаваясь вперед.

— Верно. Мы сами поймали несколько жолнеров, которые отбились от своего отряда, они нам все и рассказали под огоньком.

— Предатели! — прохрипел Богдан, сцепивши зубы.— И много уж собрано?

— Нет, еще только начались сборы.

— Ну, хорошо ж! Посмотрим! — произнес зловещим тоном гетман и затем прибавил с горячностью: — Ну, а больше ж? Больше ничего не велел тебе передать мне Морозенко?

— Приказал доложить еще о том ясновельможному гетману, что пол-Волыни уже перерыл он, а Чаплинского с женой не нашел нигде.

Гетман пошатнулся, затем опустился на кресло и произнес хриплым голосом:

— Иди!

Испуганный переменой, происшедшей при последних словах в гетмане, гонец поспешил удалиться.

Какой-то дикий, неопределенный крик вырвался из груди гетмана. Богдан сцепил до боли голову руками и отбросился назад.

— Не нашел, не нашел, не нашел! — вскрикнул он яростно вслух и ударил со всей силы кулаком по столу.

Все на столе задрожало, чернила расплескались, бумаги полетели на пол. Гетман порывисто сорвался с места и оттолкнул от себя кресло ногой.

— Проклятье! Тысячи проклятий! — хрипел он, задыхаясь от бешенства.— Да я бы весь край перерыл, камня на камне не оставил. А он не нашел! Не нашел, когда они там! А! — простонал он, взъерошивая в бешенстве свою чуприну.— Таких вещей нельзя поручать другим!

Гетман зашагал порывисто по комнате.

— Всюду ложь, всюду обман! — срывались у него отрывистые бешеные восклицания.— И этот Радзиевский! Отпустить татар! Ха-ха-ха! — разразился Богдан диким хохотом и сверкнул злобно глазами, поднявши сжатую руку, словно обращался к кому-то с угрозой.— Нет, довольно! Верить вам больше не буду! Дурите кого хотите, Богдана не проведете, нет!.. На Волыни войска собираете? Постойте ж, я сам явлюсь на Волынь со всеми полками! Довольно! Наскучило уже в прятки играть. Завтра! Сегодня же,— вскрикнул он бешено,— выступаем в поход.

И вдруг он остановился посреди комнаты.

Уже давно со двора доносился какой-то глухой нарастающий шум, но, охваченный своим бессильным бешенством, Богдан не замечал его. Теперь же он достиг таких грозных размеров, что обратил на себя и внимание гетмана. Из общего гама и рева вырывались какие-то злобные крики, вопли, проклятия, но о чем гласили они, трудно было разобрать.

«Что это? Что случилось?» — провел рукой по лбу Богдан, стараясь прийти в себя.

Но в это время у дверей раздался тревожный, торопливый стук и, не дожидая ответа гетмана, в комнату стремительно вошел Золотаренко, а за ним Выговский и Кречовский.

Все были встревожены и растеряны.

— Беда, Богдане! — произнес отрывисто Золотаренко.— Все войско взбунтовалось; Кривонос прислал гонца: послов наших убили в Варшаве.

— Осмелились, ироды! — рванулся бешено к вошедшим гетман.— Где же гонец? Где?

— Там, во дворе.

— Идем!

Гетман быстро вышел из комнаты, а за ним последовали и все остальные.

По дороге Богдану встретилась бледная, взволнованная Ганна и испуганные дети, но Богдан не обратил на них внимания.

## XXVI

На дворе уже давно шумела огромная толпа козаков. С каждым мгновеньем в раскрытые настежь ворота вливались все новые и новые толпы. Все это волновалось, кричало, сверкало обнаженными саблями и оглашало воздух грозными проклятьями.

— Гетман с Выговским ляхам потурает!.. Снова бумаги и суплики! Знаем их! Не нужно нам хитромудрых лыстов!

— Добивать ляхов! Кончать ляхов!

— В Варшаву, в Варшаву! — ревели уже почти все, когда двери дома распахнулись и на крыльцо вышел гетман в сопровождении Золотаренка, Выговского, Кречовского и других старшин.

— Гетман! Гетман! — закричали кругом голоса, и шум сразу утих.

— Где посол? — произнес громко и сурово гетман, обращаясь к старшине.

— Здесь, гетмане, — ответил Выговский и знаком подозвал изуродованного сабельными шрамами козака, который стоял в стороне.

— Ясновельможному гетману! — поклонился до земли козак, останавливаясь перед Богданом.

— Говори! — приказал ему повелительным тоном Богдан.

— Полковник Кривонос прислал меня к твоей ясновельможной милости известить, что всех наших послов замучили предательски в Варшаве ляхи, а сами собирают на нас войско.

— Смерть! Смерть ляхам! Веди нас, гетмане, в Варшаву!

— В Варшаву! — раздались яростные возгласы со всех сторон.

Богдан поднял свою булаву,— все кругом замерло.

— Полковники, есаулы и сотники! — произнес он

громко.— Все к своим частям... готовиться и ждать моего приказа. Завтра выступаем в поход.

— Слава! Слава! Слава гетману! — раздалось кругом, полетели шапки вгору, засверкали сабли, крики, возгласы, звон оружия — все смешалось в какой-то восторженный рев.

Богдан повернулся и вошел обратно в палац. За ним вошли приближенные полковники, Выговский, Тетеря и другие.

Выговский был как-то растерян и смущен. Никогда не ожидал он от гетмана такого стремительного решения.

— А что,— подошел к нему Тетеря и произнес тихо: — Не хотел начинать, ну, вот постарались другие. Не воспользовался выгодами, когда можно было, а теперь попрощайся! Грохнется теперь твоя высота и раздавит обломками нас самих.

— Да...— произнес как-то неопределенно Выговский и, овладевши собой, прибавил: — Что ж, если правда, не терпеть же нам таких обид.

— Эх, и хитер же ты, пане Иване,— понизил еще голос Тетеря,— все хочешь один; а только помни,— подчеркнул он,— человек потому и держится, что на двух ногах ходит, а коли по крутизне идет, то и третью на подмогу — палочку берет.

— Надо, друже, чтобы две ноги ровные были,— ответил с усмешкой Выговский,— а то, как одна короче,— спотыкаться начнешь.

В это время они вошли в канцелярию.

— Полковники! — обратился Богдан к вошедшим за ним друзьям.— Послать немедленно во все стороны гонцов, чтобы сзывать назад все загоны. Пусть спешат к нам как можно скорее. Мы двинемся на Гончариху [28]. Ты, пане писарю,— поманил он к себе Выговского,— готовь послов к хану. Пиши, что просим немедленной помощи, немедленной. Да нет, постой! Я сам напишу! Не брать с собой ничего, кроме зброи, арматы да боевого припасу,— все добудем там, у ляхов!

Гетман отдавал приказания сухим, отрывистым тоном. Лицо его было бледно, глаза блестели. Видно было, что его охватила какая-то возбужденная деятельность.

— Завтра выступаем. Чтоб все было готово! — повторил он еще раз свой приказ.

— Все будет так, как ты приказываешь,— поклонились Богдану полковники и молча вышли из комнаты.

— Каламарь! Перо, бумагу, печать! — обратился к Выговскому Богдан.

Выговский молча поставил на стол все требуемое и вышел из комнаты.

Богдан взял перо в руки. В это время дверь тихо скрипнула, Богдан оглянулся и увидел входящую Ганну.

— Ты, Ганно? — изумился он, подымаясь ей навстречу.— Не тревожься, голубка,— продолжал он успокоительным тоном, заметивши бледность ее лица и сжатые брови.

— Я не тревожусь, дядьку! — ответила гордо Ганна. — Я пришла просить вас, чтобы вы взяли меня с собой!

— Куда?

— С войском в поход. Да, в поход.

— Тебя? — отступил Богдан и смерил Ганну изумленным взглядом.— Разве там место тихим голубкам?

— Есть времена, дядьку, когда голубкам нет нигде места, когда они вместе с орлами должны лететь защищать свои гнезда.

— Но, коханая моя,— изумлялся все больше и больше Богдан, чувствуя, что перед ним стоит не прежняя кроткая Ганна, а окрыленная орлица с мрачным огнем во взоре, с скрытою, но непоколебимою силой в душе.— Там, на этих кровавых полях, нет пощады, нет милосердия, там ужас насилий над человеком.

— Но ведь ты, гетмане,— заговорила восторженно Ганна,— несешь же навстречу этой смерти свою жизнь, не жалеешь ее за святую волю, за веру нашей отчизны! Пусти же меня, не удерживай! Теперь уж меня никто не удержит! Я хочу быть хоть чем-нибудь полезной! Разве мало молодиц и дивчат во всех загонах. Все пошли со своими мужьями и братьями! Уж коли умирать, так рядом со всем дорогим, рука с рукой.

— Иди, иди,— прижал ее к груди с неудержимым восторгом Богдан,— и если у всех украинок такое львиное сердце, то не страшны нам никакие враги!

В ту ночь, когда Чаплинский, торопясь в райский приют и предвкушая уже блаженство, наскочил неожиданно на свою супругу, Оксана еще не была отправлена,

а лежала в мальчишеской одежде под лавой и слушала с замиранием сердца бурную сцену, разыгравшуюся между супругами. Ни жива ни мертва, едва переводя дыхание, следила она за перипетиями этой схватки и считала свою погибель почти неизбежной. Но вот Чаплинский сдался, струсил и, подавленный ужасом, безмолвно удалился вместе с паней Марылькой, вот их голоса совершенно замолкли. Переждавши еще немного, Оксана выскочила из своей засады и, ощупав в кармане кошелек, набитый червонцами да дукатами, а на груди письмо Марыльки к Богдану, запхнула за голенище нож, взяла под мышку небольшой сверток белья и припасов, выскочила из хаты и, не попрощавшись со своими сожительницами, бросилась к берегу, где и спряталась, на всякий случай, в камышах у причала.

Полчаса ожидания ей показались за вечность: сколько тревоги, сколько отчаяния пережила она за эти минуты! Ведь деда мог взять с собой для допроса Чаплинский, потом, конечно, пришлет сюда слуг, и найдут ее... Да, найдут, потому что без лодки нельзя переправиться на ту сторону озера, нельзя вырваться из этой тюрьмы, а здесь спрятаться от катов можно лишь на дне, под сетью болотных растений... И у нее созрело теперь бесповоротное решение: если дед не придет, броситься вон с той скалы прямо в пучину... Но вот послышался тихий плеск весла, и в серебристом тумане показался легкий силуэт челнока. Один ли в нем человек или несколько? Оксана выскочила из тростника и взбежала на выдающийся выступ скалы. Нет, нет! В светлой мгле вырезывается все яснее на лодке одинокая и сгорбленная фигура с седой бородой.

— Дид, дид! — вскрикнула восторженно Оксана, словно освобожденная от смертного приговора, и опрометью бросилась к причалу.— Диду, голубчику! — взмолилась она, когда тот, упершись о камень веслом, начал выталкивать на берег лодку.— Перевезите меня на ту сторону... Нельзя и минуточки ждать... сейчас явится погоня, и я пропала!

— Да кто ты? Кто ты? — зашамкал дед, приставив ладонь к глазам и всматриваясь испуганно в молодого хлопчика.— Хлопец! Откуда мог взяться у меня хлопец? На птице прилетел, что ли? Вот так напасть!.. Да... не мара ли, прости господи? Свят! Свят!!

— Не крестите меня, диду, я не мара... я Оксана; моя пани, вот что была здесь, пани Чаплинская, меня посылает по важному поручению... так велела переодеться, чтоб не схватили...

— А! Вот что! — обрадовался и приободрился дед.— Оксана, новая невольница... А я... было... старый... хехе! — засмеялся он добродушно.— Куды метнул! Так, так... пани и мне приказала... Верно! Да не то что перевезти приказала, а и провести на добрую дорогу, чтобы пробилась на Украйну к славному гетману.

— Да, да, диду... к гетману мне нужно... перевезите, ради Христа! — бросилась было Оксана целовать у старика руки, но взволнованный дед остановил ее и, привлекши к себе, отечески обнял.

— Что ты, дытынка моя дорогая! Да неужто могла ты и минуту подумать, чтоб я отказал в твоей справе? Да размечи по яругам мои старые кости Чаплинский, если я больше буду сторожить его несчастных невольниц... годи! Занялась заря на Украйне... люд подъяремный ожил... И стар и млад спешат разбить кайданы и ударить ими по недругам... Так не стану и я дольше сидеть в своем курене, а пойду к своим братьям на помощь... хоть одного пана скручу — и то с меня довольно!

— Диду! Вы думаете тоже туда? — всплеснула радостно руками Оксана.— Господи! Как я рада! Так не будем же тратить и минуты... Того и гляди, пришлет сюда пан своих катов.

— Не бойся: урвалась им нитка! Скоро и этому подрежут хвост... А я что? Я готов, хоть сейчас... Ты думаешь, что дид будет ворочаться, как линь. Э, стой, дивчыно,— болтал весело дед, вынося кое-что из куреня и укладывая на дне челнока,— или что я — дивчына? Хлопец... хлопец! И бравый еще хлопец, ей-богу, хоть бы мне внука такого... На вот тебе на всякий случай пистоль, а я вот возьму эту рушницу; старая, батьковская, при Павлюке добыта... тут и припасу есть немного... а вот этот киек с наконечником в иной час и за копье станет... Ну вот я и готов. Садись, садись... вот сюда, ближе к корме. Ну, а как же звать тебя, величать как в дороге?

— Зовите, диду, ну хоть... Олексой! — засмеялась детски-игриво Оксана и вспыхнула вся ярким полымем.

— Олексой? — лукаво прищурился дед.— Ну, Олексой так Олексой, а я, значит, буду дидом твоим Охримом.

Переправившись на другую сторону, дед оттолкнул челнок от берега, и его потянуло течением в сторону, к дальним лозам.

— Там вон, где вытекает из этого озера ручей,— пояснил дед,— он застрянет в кустах и наведет погоню на ложный след. А мы, Олексо, двинемся вот этими трущобами и будем держать путь к Горыни...[29] Тропинки я тут знаю: не раз крестил лес смолоду, гоняясь за вепрями да за лосями. Незнамый человек и не пробьется, запутается навеки,— так, значит, и погоне не угнаться за нами.

Хотя стояла светлая, теплая ночь, но в лесу было сыро и мрачно. Лунный свет, пробивавшийся сквозь густую листву, ложился внизу изредка бледными зеленоватыми пятнами или колыхался в иных местах среди густой тьмы серебристым туманом. На этом слабо фосфорическом тоне вырисовывались встревоженному воображению Оксаны страшные образы лесовиков, упырей или чудовищного, с огненными глазами зверя. Но вот один поворот — и свет сразу пропал, и заклубилась кругом бесформенная мгла. Дед уверенным шагом подвигался вперед, отстраняя длинной палкой сплетавшиеся ветви деревьев и предупреждая следовавшего за ним хлопца о всякой случайности. Хлопец не отставал от своего проводника и чуть не держался за его полу. С неудержимым волнением и суеверным страхом присматривался он к окружающим предметам; но, кроме черных силуэтов ближайших стволов, казавшихся гигантскими, да гнездившейся между ними тьмы, наполненной таинственными обликами, взор его не находил ничего. Чем дальше они углублялись в лес, тем более понижалась под ногами их почва и становилась влажнее. В лесу было тихо. Под ногами хрустели ломаемые ветви и сухо шелестели хвойные иглы, лежавшие густым слоем повсюду. Вдали раздавались глухо какие-то звуки: не то стонал, не то хохотал кто-то в трущобе. Лес становился гуще, хвойные деревья сменились другими породами, становилось трудно пробираться сквозь густые заросли орешника и осины. Болотная сырость садилась влагой на одежду, на тело и заставляла вздрагивать хлопца.

Один только дед, привыкший и к сырости, и к холодной мгле леса, безостановочно шагал и шагал.

— Диду! — обратился к нему после долгого молчания хлопец.— Холодно что-то и мокро становится; уж не близко ли эта речка Горынь?

— Го-го! Как бы не так! — ответил запыхавшийся от усталости дед.— Еще померяешь тропу к ней: за два дня, почитай, не дойдешь.

— Ой-ой, так далеко! — вздохнул разочарованный хлопец.— А я думал — близко... понесло влагой и холодом... ведь мы уже немало прошли.

— Путаем да кружим, а не идем в ход... Гущина ведь какая! Коли милю ушли от озера, так и то слава богу!

— Как, за целую ночь?

— Ночь-то еще не минула; там, на горе, может, скоро и светать начнет, а здесь, в долине да в пуще, еще порядочно простоит ночь. А ты, соколик мой, верно, устал?

— Я не устала, а вот вы?

— Ха-ха, не устала!.. Привыкай уже по-хлопьячи: коли назвался груздем, полезай в кузов!.. А то — устала!.. Ну, пожалуй, отпочинем пока: светом виднее и спорнее, а то ночью можно угодить и в трясину, тут ведь близко болото... Вот если переберемся по кочкам на тот бок, тогда уж нас никакой бес не достанет.

Выбрали путники холмик посуше и, разостлавши кереи, хотели было улечься на них и соснуть, но судьба помешала... Едва они улеглись и дед, доставши из кармана березовую тавлинку, наготовился поднесть к носу добрую понюшку табаку, как послышался с разных сторон приближающийся волчий вой.

— Эге-ге, сынку! — промолвил, втягивая с засосом таба́ку дед.— Недобрые гости к нам завитали. Тут они водятся и при голоде лютые...

— Что ж, диду,— вскрикнул хлопец задорно дрогнувшим от волнения голосом,— у меня есть пистоль, а у вас рушница: будем стрелять...

— Э, нет! Этим только раздражим зверя,— покачал головой дед,— убьем двух-трех — не больше, а их с полсотни. Лучше вот что: сгреби кругом нас ворохом листья и прутья, а я добуду огня; обложимся костром и в тепле перележим ночь...

С лихорадочной торопливостью принялась за работу Оксана, оглядываясь поминутно кругом; вскоре блеснули то там, то сям в густой тьме фосфорические точки; но вот вспыхнул огонь и побежал змейками по вороху. Затрещали листья и прутья, повалил красноватый дым, и костер запылал. Испугавшись огня и почуяв, что через эту преграду не достать добычи, волки уселись широким кругом и начали выть, выводя тоскливые рулады и взвизгивания, словно вопли, вызванные бешенством голода. Дед спокойно слушал этот концерт, подгребая в потухающие части огненного круга валежник; но Оксана, подавленная ужасом и пронзительными звуками перекатного воя, сидела неподвижно и дрожала, несмотря на усилившийся жар от костра. Когда ветерок относил в сторону удушливый дым, то ей в освещенных прогалинах виднелись красноватые силуэты с вытянутыми шеями и приподнятыми пастями вверх; она закрывала глаза, но с закрытыми глазами становилось еще страшнее, и она снова их открывала с большим ужасом.

— Диду, — заговорила наконец Оксана шепотом, не смогши отвести голоса, — влезем-ка лучше на дерево.

— Чего там! Сиди спокойно,— ответил угрюмо дед,— то с непривычки донимает трохи, а зверь на огонь не пойдет, оттого-то с досады и воет. Вот только топлива маловато; станет ли до света? Ты, Олекса, помогай лучше подгребать в огонь прутья да ломай ветки.. А то «на дерево»! Га-га! Да они пересидели бы нас: дарма что зверь, а смекалку тоже имеет... так и свалились бы им прямо на зубы...

Время шло. Горючего материала становилось все меньше и меньше; огненный круг во многих местах только тлел и дымился; бродячие тени начали мелькать ближе и ближе, а ночь все еще стояла над лесом, небо сквозило темным беспросветным пологом и казалось, что конца этой ночи не будет...

## XXVII

Последние прутья и сор были уже брошены в потухающую золу, и дед стал выбирать дерево, на которое удобнее было вскарабкаться, спасаясь от волков, как вдруг раздался в лесу глухой топот; услыхали его пер-

вые волки и, всполошенные, отскочили в противоположную сторону.

— Диду! Кто-то едет! Господь посылает нам спасенье,— всплеснула Оксана руками и сложила их в немой мольбе.

— Еще не кажи «гоп!», пока не выскочишь,— загадочно проговорил дед.

— А! Верно, погоня! — спохватилась Оксана и прижалась с ужасом к деду.

— Кто его знает? — прислушивался он.— Как будто с той стороны.

— На огонь пойдут, на огонь... лучше потушить!

И Оксана бросилась было разбрасывать уголья, но дед остановил:

— Стой, хлопче! Огонь нас от одной беды вызволил, то, может, вызволит и от другой: если это едут паны, то они, как и сероманцы, на огонь не полезут,—подумают, что тут привал лесной ватаги,— а если это пробирается наш брат, так чего нам и желать?

Топот приближался, направляясь явственно к убежищу беглецов... При начинавшемся рассвете, казалось, уже можно было бы различить и фигуры всадников, если бы не дым от костра, что заволакивал сизым пологом все низы... Но вот топот сразу затих и через несколько мгновений стал удаляться в глубь леса...

— А что, не говорил я, хлопче,— засмеялся радостно дед.— Паны были, верно, да перелякались, как волки, огня и удрали; теперь нам и отдохнуть можно немного, а потом уж и в путь...

Перекрестилась, словно воскресшая из мертвых, Оксана и улеглась возле деда. Усталость физическая и нравственная взяла свое: через минуту она спала уже молодым, крепким, безмятежным сном.

— Эй, хлопче, вставай,— заспались мы с натомы! — будил дед своего названного внука.— Дятел уже давно стучит, да и ракша, на что ленивая птица, уже выползла, а мы отлеживаем бока. Пора рушать в дорогу; солнце подбилось вверх.

Оксана схватилась на ноги и оглянулась,— лес весь светился изумрудом и золотом; крики глухарей, воронья и других птиц оживляли картину; воздух, насыщенный кислородом и ароматом болотных растений, ласкал легкие негой и заставлял живее обращаться кровь.

— Ах, как славно, как весело! — вскрикнула невольно Оксана, охваченная жизнерадостным чувством.

— Как же не весело, коли чувствуешь себя вольным,— улыбнулся дед,— а вот подкрепим себя, чем бог послал, так еще будет веселее.

Закусив огурцами да хлебом, путники отправились бодро вперед. Почва все понижалась, лес редел, и часа через два перед ними открылось болото, перерезывающее широкою лентою лес. Между высокими кочками, покрывавшими равномерными рядами все пространство, росла с берега осока и мелкий лозняк, а к середине зеленела плесенью и ряской трясина. Долго бродил по берегу дед, выбирая поудобнее место для перехода, и наконец остановился на более широком, но гуще усеянном кочками. Вырезавши по длинному шесту, беглецы решились на опасную переправу.

Дед с малых лет был привычен скачка́ми ходить по болоту, а потому и теперь, опираясь на шест, уходивший быстро в трясину, успевал сделать прыжок и удержать равновесие на другой кочке. Но молодой наш Олекса после двух-трех проб оказался решительно неспособным к подобным пируэтам; испачканный грязью, мокрый, ломая с отчаянья себе руки, он готов был уже броситься в тину, но дед успокоил его и предложил попробовать переходить по двум жердям с кочки на кочку. Так и сделали: дед перескакивал на ближайшую кочку, укладывал две жерди, а Олекса, балансируя, переходил по ним к деду... Только к вечеру перебрались они на другой, твердый, берег, употребив почти целый день на переход каких-нибудь двухсот саженей. И дед, и внук до того были измучены этим переходом, что позабыли даже про пищу и повалились как подкошенные на сухой берег...

Три дня уже шли путники дремучим лесом, ставшим исключительно хвойным. Чем дальше они шли, тем глушь становилась мрачнее, тем говор столетних сосен был таинственнее, тем красота этой дикой страны выглядела суровее; но все это уже менее волновало молодого хлопца, да и опасных приключений больше не было: встречался раза два бродячий медведь, но, покосившись на нежданных гостей, мирно проходил в свои дебри; слышался ночью вой голодных волков, но недоброй встречи не случилось. Одна только сталась беда: при торопли-

вом бегстве дед захватил с собою лишь хлеб, да небольшой кусок сала, да огурцов с полсотни,— одним словом, все, что было у него в курене, и эта провизия была уже съедена, а предстояло еще бродить по этой безлюдной глуши дней восемь, пока доберешься до жилья.

— Отощал ты, Олекса,— говорил ласково своему внуку дед,— только не горюй, хлопче, вот скоро доберемся до речки, а там уж я наловлю рыбки, и юшку сварим важнецкую, я и припас забрал... А то в этой глуши и зверя подходящего нет, а глухаря подстеречь трудно, да и глаза изменяют... А с рыбкой еще я справлюсь... Ге-ге! Еще и как справлюсь! Вот только бы Горынь...

— Да вы, диду, обо мне не печальтесь,— бодрился через силу хлопец,— с голоду не опухну, а и опухну — не беда, лишь бы доставил кто нашему славному гетману лыст...

— Эх ты, юнак мой, юнак! — целовал его в голову дед.— Сердце-то какое у тебя любое... вот только ноги не окрепли еще — подкашиваются...

— А у вас, диду? — смеялся Олекса.

— Да и у меня тоже,— кивал добродушно головой дед,— находился ведь на веку, натрудился на панской непосильной работе... Эх, что то за жизнь была! Одна долгая беспросветная мука... С малых ведь лет запрягали в работу, да еще в какую—ни отдыха, ни пощады... Забивали, заколачивали так, что и я сам начинал верить, что не человек я, а быдло, да и быдло из самых последних, негодных, потому что к настоящей скотине у панов было больше жалости, чем к нашему брату... Ей-богу! Да что к скотине, к собаке, к простому паршивому псу было жалости больше... Оттого-то у нас на Полесье, туда, дальше к Литве, такой прибитый и безответный народ: притерпелся к мукам, очумел от наруги, отвык от воли и забыл, какой смак в ней, забыл даже, что и он человек...

Дед рассказывал на привалах Оксане много ужасных и кровавых историй надругания панского над всем, что было у человека святого, и эти рассказы будили у ней ее молодые воспоминания и утверждали в сердце любовь к обездоленному родному народу и к борцам за его свободу.

К вечеру третьего дня стала замечать Оксана, что

дед сделался беспокойнее, менял часто направление, прислушивался, прилегши к земле, разводил иногда в недоумении руками и ворчал что-то себе под ус, на расспросы он отмалчивался и предлагал только отдохнуть. Очевидно, его силы ослабевали, да и у Оксаны от изнеможения и голода постоянно кружилась голова, а в сердце начинало закрадываться подозрение, что им предстоит голодная смерть. Не так, впрочем, голод мучил Оксану, как жажда. Вся дорога, по которой они последнее время брели, представляла слегка волнистую сплошную возвышенность, без глубоких рытвин, оврагов, в которых могли бы протекать ручейки или задержаться дождевая вода; а воздух был крайне душен, пропитан одуряющим смолистым запахом; все это увеличивало жажду, усиливало головную боль и развивало внутренний жар. Когда под вечер дед, молчаливо махнувши рукой, свалился под елью, Оксана улеглась тоже недалеко от него на мхе, но, несмотря на страшное изнурение, уснуть не могла; у нее сохло горло до кашля, болели потрескавшиеся до крови губы и жгло невыносимо под ложечкой. Мысли ее путались, беспорядочно кружились возле пустых и ничтожных предметов, а воспаленное воображение рисовало какие-то чудовищные картины: то казалось ей, что лес становился огненно-красным, что каждый стебель дерева раскалялся и жег ее страшно, невыносимо; то чудилось ей, что волны прорвавшегося потока наполняют весь лес, поднимают ее тело и бьют его о стальные иглы; она чувствует даже дрожь от холодной воды, стремится всеми силами нагнуть голову, чтобы напиться, но повернуться ей невозможно... Оксана вздрагивает от этого кошмара, думая, что ей снится сон; но нет, она не спит; вот и дед лежит, а вот и лес, такой же мрачный, бесконечный и дикий... Сумрак клубится среди гигантских стволов и царит мертвая тишина, или нет — скорее какой-то тихий, однообразный гул, точно отзвук далеких колоколов. Оксана приподнялась на локте и начала прислушиваться; да, чем темнее становилось в лесу, тем звуки этого звона становились яснее. «Господи! — промелькнуло у нее в голове.— Да ведь это, значит, близко село, а мы маемся... Там в селе и колодцы есть... Нужно разбудить, обрадовать деда, а то вечерня пройдет, смолкнет звон и не нападем на тропу...» Она схватилась было, присела, но почувствовала такую

боль во всех членах, что не смогла сразу подняться на ноги. А между тем звон становился яснее и яснее, словно желанное село с колокольней бежало к ним быстро навстречу... «Уж не огневица ли у меня?» — изумилась Оксана и начала тереть себе рукою лоб.

Нет, она ясно слышит, как раздаются со звоном удары: раз-два, раз-два!

И радость, и ужас придали снова сил Оксане, и она бросилась к деду будить его:

— Вставайте, вставайте, диду! Село близко, село... вон в ту сторону...

— Господь с тобою, дытыно моя! — воззрился на нее с тревогой дед...— Это тебе от жажды мерещится... сосни лучше, храни тебя сила небесная!

— Да нет же, диду, я при себе... Разве вы не слышите, как бьет что-то звонко и голос расходится по лесу?

Дед взглянул на нее пытливо, потрогал за голову и стал прислушиваться. Удары раздавались по лесу равномерно и ясно. Изумлению деда не было границ; он схватился бодро на ноги и потянулся в ту сторону, откуда неслись звуки, потом прилег к земле, снова привстал и снова прилег.

— Да, бьет, это точно,— произнес он наконец как-то раздумчиво,— но только не звон... на звон не похоже... звякает, а не звонит, да и сел тут наверное нет... они начнутся только за лесом вверх по Горыни.

— Так что же бы это, дед? — смутилась Оксана, разочарованная в своих предположениях.

— А кто его знает... може, лесовики жартуют, либо ведьмы свадьбу правят...

— Ой! — вскрикнула Оксана, охваченная суеверным страхом.

— А у тебя уж и душа в пятки? Хе-хе! — покачал головою дед.— Хлопцу стыдно бояться ведьм, да и на всякую эту нечисть начхать... христианскую душу она не зацепит, а может, еще и не нечисть? Во всяком случае, пойдем разведаем. Больше копы лыха не будет.

Как ни боялась Оксана чертовщины, но настоящие мучения ее были так велики, что она, не раздумывая, пошла вслед за дедом, рассчитывая на авось.

Чем дальше они подвигались, тем яснее становились удары, и в них уже можно было угадать удары молота о наковальню.

— Кузня,— прошептал дед и, приложив палец к губам, стал тихо прокрадываться вперед; от него ни на шаг не отставал хлопец.

Действительно, вскоре показался небольшой овражек, и в глубине его вспыхивало в двух местах дерево. Стучало несколько молотов, и что-то еще визжало... Дед присматривался, прислушивался, приглашая знаками своего хлопца подползти к краю обрыва...

Но вдруг неожиданно из-за деревьев бросились на них какие-то тени и повалили их грубо на землю...

Ошеломленные неожиданным нападением, дед и хлопец без сопротивления были сволочены вниз и притащены к старшему кузнецу, рыжему, скуластому, с свирепым выражением глаз.

— Кем подосланы? — прорычал он грозно.

Дед не мог еще прийти в себя и молчал, а хлопец просто терял от испуга сознание и, не устоявши на ногах, сел.

— Овечайте же, черти б брали вашего батька и вашу матку,— заревел рыжий, ударив молотом по наковальне,— не то я вас изжарю живьем, подкую вас подковами, молотами растрощу! Отвечайте, какого пана запроданцы?

— Гай-гай! — промолвил наконец насмешливо дед, овладевши собой и догадавшись, с кем имеет дело.— Славный из тебя, видно, коваль, да голова не рассохлась ли? Сбить бы лучше обручами клепки... Какие же мы запроданцы? Мы такие же лесные бродяги, как и вы, от пана, от Чаплинского, утекли и ищем себе загона.

— Ой ли? — прищурился подозрительно коваль.— А чем ты, старый, докажешь мне это?

— Да пойми же ты, умная голова,— а може, и пан атаман,— на какого дидька посылал бы дурной лях такого шкарбуна, как я, шпигом? Да и посылал бы в такую даль с хлопцем? Ведь отсюда, из этой глуши, почитай, нужно с неделю брести до жилья людского, так до медведей, что ли, нас дозорцами послали?

— Оно, братцы, как будто тое...— почесал себе затылок кузнец и обвел своих товарищей пытливым взглядом,— оно точно выходит, если раскинуть... да и дед... либо хлопец, примером... словно бы... как думаете?

— Само собою, если... так оно точно...— промолвили нерешительно другие кузнецы, переглянувшись между собою,— только вот что подкрадались?

— Да что вы сумлеваетесь, братцы,— заговорил дед сердечным, убедительным тоном,— взгляните на мои седины, стану ли я словом и душою кривить? И как же нам было не подкрадаться, коли мы травленые звери? Ведь могли же наскочить как раз на польскую ватагу и попасться в зубы чертям? Говорю вам, что мы хлопы Чаплинского дьявола, из села Хвойного, что за Круглым плесом... Брат этого хлопца уже в загоне у самого гетмана Хмеля, а его, вот это дитя малое, хотел взять пан-идол во двор на муки... Ну, оно с переполоху было вешаться, так я надоумил текать да и сам потрясся за ним старостью.

— И побожишься? — все-таки допытывал старший.

— Да разрази меня гром небесный, завались подо мной земля, коли мы не втекли от Чаплинского.

— Ну, вот это другое дело... Значит, свои...— кивнул головой удовлетворенный кузнец.

— Коли побожился, так шабаш... — отозвались и другие.

— Грех вам, братцы, не верить...— донимал дед,— положим, береженого и бог бережет, да только... на каких же бесовых панов мы похожи? Недобытки панские — это так! А разве в такое время, когда господь призвал нас всех стать, как один, за его святую веру и за нашу волю, нашлась бы из наших такая собака, что решилась бы пану сделать услугу? Да такого бы клятого и земля не сдержала!

— Правду, правду говорит дед,— загалдела вся ватага.

— Вот и вы, добрые люди,— продолжал дед,— вижу, за честным делом сидите в байраке.

— Догадался, старина, верно,—улыбнулся старший,— куем копья, да рогатины, да ножи... вот из лемешей, из рал, из всякой всячины перековываем зброю, для клятых панов угощенье готовим. Вот и крест этот святой пойдет на святое дело. Ляхи разорили нашу церковь, сожгли село, перерезали, перемучили почти всех, так мы подобрали всякое железо — и сюда... готовим и для себя, и для добрых людей.. тоже сносят сюда всячину...

— Помогай же вам, други, бог в добром деле: куйте покрепче, гартуйте сильней, точите вострей... а вот только дайте нам чем подкрепиться... третий день не было риски во рту... хлопчик и на ногах стоять уж не может...

— Мне воды... воды...— прошептал бледный и почти терявший сознание Олекса.

Кузнецы бросились гостеприимно угощать, чем были богаты, своих случайных гостей. Хлеб, а главное вода сразу подняли их угасавшие силы; потом сварены были на вечерю и гречневые галушки с салом, которым и была отдана подобающая честь.

Порасспросив хорошенько обо всем, что кругом делалось, где бесчинствовали паны и их команды, где собирался в загоны народ, куда безопасно было путь держать и как наилучше пробраться к Горыни, наши путники переночевали в овраге, а на рассвете, снабженные провизией дня на два, бодро отправились в путь.

Горынь оказалась очень недалеко; через два часа ходу хвойный лес начал сменяться чернолесьем, а к обеденной поре дед завидел между стволами осин и ветел ясную, голубую полоску.

— Речка вон, речка, хлопчику любый мой! — отозвался он радостно, указывая рукой на сверкавшие вдали светлые стрелки.

— Где? Там, там? — вскрикнул хлопец и опрометью бросился под гору к речке.

Когда Оксана выскочила из лесу на берег, то глазам ее, привыкшим к лесному однообразному полумраку, представилась чудная, лучезарная картина: между двумя стенами светло-зеленого леса, вершины которого мягкими седоватыми волнами подымались наклонными плоскостями вверх и скрадывались в сизом тумане, спокойно и величаво текла голубая река; по обеим сторонам светлой дороги темной полоской уходил вглубь опрокинутый лес, а посреди этой каймы лежали чистым, полированным зеркалом дремавшие под солнечными лучами воды; в одном месте искрились они чистым золотом, в другом отливали опалом *, а в ином играли прозрачной дымкой легких, как мечта, облаков; только изредка это неподвижное стекло вод дробилось от налетавшего стрелой и касавшегося крылом стрижа или от вынырнувшей на мгновение рыбы, а вверху над этим всем стояла неизмеримая, прозрачная лазурная глубь, и в этом безбрежном море плавали какие-то серебристые точки.

---

* **О п а л** — дорогоцінний камінь.

— Эх, раздолье-то какое!..— промолвил подошедший дед.— И рыбка водится... Вот попробовать бы...— И он начал развязывать свою торбинку.

А хлопец между тем побежал вдоль берега, да так далеко, что на зов деда и не откликнулся.

## XXVIII

Вырезав удилище и прикрепив к нему лесу, дед накопал у берега червей, выбрал удобное место, перекрестился, поплевал на крючок и закинул лесу; булькнул слегка груз и ушел быстро в воду; закружился поплавок, разгоняя от себя концентрическими кругами рябь. Но вот поплавок остановился неподвижно, всколыхнувшееся стекло вод успокоилось, и дед с напряжением остановил свои глаза на одной точке... Тихо стоит поплавок, не шевельнется; вот он слегка повернулся и снова стал; опять едва заметный поворот — и полное спокойствие.

— Ветерок, може...— шептал себе дед.— Так нет... нет... Это, должно, она юлит вокруг да около... тоже хитрая!

В это время поплавок дрогнул; дед замер... вот еще и еще, и вдруг, затрепетавши, нырнул... Дед подсек и потянул; удилище согнулось и задрожало,— что-то сильное задерживало лесу, но старый рыбак умеет справиться: через минуту в руках его бился крупный голавль.

Увлекшись охотой, дед и не замечал, как время шло, забыв про голод и про Олексу; уже возле него на лозинке метались в воде два голавля и четыре окуня, как до его слуха долетел издали крик. Сначала дед не обратил внимания на чьи-то возгласы: «Челн, челн!», а потом вслушался, и ему показался голос знакомым. Действительно, вскоре из-за кустов выбежал к нему хлопец; он окликал его и махал руками.

— Диду, диду, где вы? Челн нашел!

— Никак мой Олекса? — отозвался дед и начал всматриваться, приставивши к глазам руку.— Он, он! Ишь как бежит... Го-го! Сюда! — крикнул он, поднявши удилище вверх.

— Челн там есть... За углом, в лозняке,— едва проговорил хлопец, запыхавшись,— верно, какого-либо рыбалки, потому что и верши поставлены там.

— А, расчудесно,— засуетился дед,— а я было за своей потехой и с думки выбросил, как нам дальше рушать, а тут ты, мой лебедь, и помог... Пойдем же, пойдем скорей, чтобы не уехал... это нам кстати. А я вот рыбки поймал... Там и юшку сварим... цыбуля у меня есть... выйдет добрая юшка...

Пришли они к челну, это была так называемая душегубка, способная поднять лишь одного человека, в крайности деда со внуком, так как их общий вес не превышал, конечно, веса среднего доброго козака. Рассматривая эту лодку, дед призадумался, но все же утешился тем, что хозяин ее если и не возьмет их с собою, то сможет, во всяком случае, притащить для них другую ладью, а за услугу будет чем заплатить, так как пани снабдила хлопца на дорогу дукатами.

Повечеряв мастерски приготовленной юшкой, переночевали путники и просидели еще целый день, а хозяин все не являлся. Не было расчета ждать больше владельца челна, так как он мог и совсем не явиться: мог ведь уйти и пристать к какой-либо ватаге, а то мог быть и убитым. Верши оказались переполненными рыбой, значит, давно были поставлены и не опорожнялись... Думал, думал дед и решил взять лодку с собой: без лодки им не то что неудобно, а невозможно было подыматься вверх по реке, которая во многих местах разливалась в широкие, непроходимые болота, а между тем поручение и письмо к батьку гетману дед считал настолько важным, что перед ним интересы других лиц должны были поступиться. Для успокоения же совести дед завязал в тряпицу дукат и прикрепил ее к верше.

— Ты, Олексо, бери тоже весло, благо их тут два,— советовал внуку дед, усаживаясь на корме,— в два весла спорнее, а грести я тебя научу.

Течение воды было так слабо, что лодка чрезвычайно легко пошла вверх, и путешествие по реке показалось Оксане, сравнительно с первым, просто блаженством: ни усталости, ни опасностей, ни ужасов, ни голода, а главное — ни жажды... одни только комары докучали, да за хлебом была остановка.

Прошел день, другой, а картина местности не изменялась: все те же две стены леса, все та же светлая, голубая между ними дорога; на третий день только стала замечать Оксана, что правый берег реки становился

круче и возвышенней, что в иных местах начал отступать от него лес, что в других — обнаженные холмы перерезывались глубокими оврагами, из боков которых торчали серые камни. К вечеру третьего дня за крутым коленом реки открылось наконец и жилье человека: большое село странно чернело при закате солнца. Когда они к нему подъехали, то это село оказалось лишь пепелищем: среди ворохов золы и безобразных куч угля да обгорелых остатков торчали высокие, покривившиеся трубы, полуобгоревшие столбы и обугленные стволы дерев, словно надгробные памятники на обширном кладбище. Дед медленно ехал вдоль берега и присматривался к этим руинам да прислушивался, но никакого звука не неслось с этого страшного пожарища, даже воя собак не было слышно.

— Это панские жарты,— вздохнул глубоко дед,— и, должно быть, они давненько эту штуку устроили: собака на что долго держится при месте, где убиты хозяева, да и та, видно, ушла. Уж не ковалей ли тех село? Одначе, сынок, причалим, привяжем челн да пойдем пошарим по селу, авось найдем где-либо хоть посохший на сухарь хлеб.

Хлопец охотно пошел вслед за дедом,— и ноги у него затекли, хотелось поразмять их, и любопытно было взглянуть на пожарище. Едва они вступили в улицу этого мертвого села, как глазам их представилась ужасающая картина человеческой злобы: изуродованные, обезображенные, полуобгорелые трупы валялись повсюду, значительный перевес составляли детские тела... Дед, мрачный как ночь, молчаливо шел по мертвым улицам и только изредка поднимал дрожащие руки к небу, и тогда из его старческой груди вырывался хриплый, болезненный стон; но хлопец не мог смотреть на следы этих ужасов и шел шатаясь, с закрытыми глазами, наконец нервы его не выдержали такого напряжения, и он разрыдался.

Дед остановился и обнял своего названного внука, растроганный и потрясенный вконец его слезами.

— Не выдержал, любый мой, голубь сизый, видно, не нашего брата сердце, не ременное, не задубшее от вечной боли... Только, дытыно моя, плакать теперь не час, а всю жалость нужно прятать глубоко в нутре, чтобы оттуда желчью выходила она на погибель этих катов!

Они повернули в переулок, менее пострадавший от огня, но разгромленный до основания; здесь почти не было трупов и воздух был чище. Дед начал шарить между развалинами и нашел в одной хате несколько засохших, как камень, хлебов; он обрадовался этой находке и забрал их в свою торбу; в другом месте в разбитой бочке нашел он на дне несколько гарнцев гречаных круп; хлопец собрал их в свой мешок, и они пошли дальше к почти уцелевшей хате, надеясь найти там еще больше провизии. Но, подойдя ближе к ней, они были возмущены ужасающим зрелищем: на плетне у этой хаты было повешено шесть детских трупов, а на перекладине ворот висели взрослые мужчина и женщина.

Несмотря на отталкивающий ужас, дед все-таки хотел проникнуть в хату; но едва он подошел к двери, как оттуда выскочило какое-то чудовищное существо и заступило ему дорогу. Существо это было ужасно и напоминало скорее выходца с того света: это была сгорбленная, исхудавшая до скелета, с растрепанными седыми волосами старуха; она едва держалась на ногах, но в глазах ее горел безумный огонь, и этот огонь, казалось, только и поддерживал ее силы. Безумная замахала на деда руками и зашамкала беззубым ртом что-то гневное, после шамканья раздался хриплый, нечеловеческий голос, который, казалось, глухо звучал лишь в ее груди, не прорываясь наружу.

— Не подходи, не тронь! — слышалось среди клокотаний.— Мои, все мои!.. Я сторож здесь... и буду охранять род мой до смерти... Вон из села! Я их всех сторожу, они все тут!..

— Бедная ты, несчастная сирота,— проговорил растроганным голосом дед,— одна на широком кладбище. Пойдем с нами, бабусю,— дотронулся он до ее плеча,— ведь с голоду так опухнешь, волки съедят...

— Вон, проклятые, сатанинские выходцы! — закричала неистово баба.— Чтоб ни вам, ни вашим детям, ни внукам дня радостного не видать, чтоб у ваших матерей молоко в грудях высохло, чтоб их дети кляли и грызли друг другу горла, чтоб вашим мукам конца не было!

Она была ужасна; с искаженным от бешенства лицом, с искривленными пальцами, с расширенными зрачками и пеной во рту, она готова была кинуться на пришедших.

Оксана, завидя эту старуху, сначала окаменела от ужаса, а потом с страшным криком бросилась бежать от ее проклятий; дед тоже не выдержал воплей обезумевшего горя и пустился почти бегом вслед за хлопцем.

Не могши унять его рыданий, он торопливо отчалил ладью и погнал ее быстро вверх от этого ужасающего села.

Вскоре прекратился совершенно лес и по правому, более нагорному, берегу потянулись поля, а по левому, низменному, заливные луга. Но, несмотря на то, что тут на всем была видна рука человека, все стояло мертвой, безлюдной пустыней; перезрелые нивы хлебов стояли несжатыми и роняли, качаемые ветром, свои зерна, что слезы, на землю; на лугах не видно было ни косарей, ни гребцов; не бродил по ним скот, а только кружились ястребы да стояли в воздухе неподвижными точками копчики; если попадался где на пути хуторок или стояла у берега одинокая хата, то не видно было над их высокими трубами сизого, приветливого дымка; не слышно было веселого лая собак или звуков заунывной песни,— все было мертво и заколочено, словно чума пролетела над этим забытым краем и оставила по себе одни лишь кладбища.

Только подвинувшись дальше на юг Волынщины, увидели наконец в первый раз наши путники живых людей на поле: недалеко от берега жали на нивах женцы. Оксана так обрадовалась этому, что от быстрых восторженных движений чуть не опрокинула лодку и уронила весло.

— Ой, что ты? — прикрикнул на нее дед.— Нельзя ведь так сумасбродно вертеться.

— Женцы, женцы! Я так соскучилась! — забила она по-детски в ладоши.

Подошедши ближе к ниве, дед с хлопцем были крайне изумлены, что жали только дряхлые старики, а прислуживали им просто дети. После расспросов о таком необычайном явлении объяснилось, что все возмужавшие, молодые и даже подлетки, как мужчины, так и женщины, ушли в повстанье, а село, что виднелось вдали под горой, оставили на руки немощных и старцев, поручив им досмотр и за малыми детьми, так вот старики и порешили собрать своими слабыми силами хоть часть святого хлеба, чтоб божье добро не пропадало.

Дед рассказал им печальную повесть своих приключений, сообщил о цели своего путешествия и узнал от селян, что за полдня пути вверх по реке стоит большое село Гуща, что оно принадлежит воеводе Киселю, шляхтичу греческого, а не римского закона, то есть православному, а потому-де это село не может быть разорено ни поляками, ни селянами, и что там и провожатых взять можно, и все хорошенько разведать.

Действительно, к вечеру того же самого дня за поворотом реки неожиданно открылось перед нашими путешественниками обширное, богатое село, имевшее вид местечка. Над рекой, на полугоре, красовался своими высокими остроконечными крышами панский дворец, окруженный крепким дубовым частоколом, с башнями-бойницами по углам; все эти постройки господствовали над селом, рассыпавшимся внизу беленькими хатками, утопавшими в густой зелени садов; последние, впрочем, сливались в один большой гай, сбегавший своими яворами да кудрявыми вербами к самой реке. На берегу у самой переправы, где на длинной веревке, перетянутой через реку, ходил паром, стояла рассевшаяся, как черепаха, корчма. Возле нее и по берегу стоял отдельными кучками народ и вел какую-то оживленную, но таинственную беседу; отдельно от каждой группы стояли одинокие наблюдатели, словно сторожевые. Жид, очевидно, корчмарь, в длинном лапсердаке, в натянутой ермолке, ходил беспокойно возле крылечка корчмы, размахивая руками и крутя головой. Он кидал подозрительные и злобные взгляды на поселян и пробовал подслушать их раду; но как только он подкрадывался к какой-либо кучке, сторожевой издавал легкий свист — и все смолкали.

Дед, как только привязал свою лодку к причалу, немедленно же отправился с хлопцем в корчму подкрепиться чаркой горилки и пищей.

Когда они с голодухи уселись всласть повечерять в сенях корчмы, мимо них прошел взволнованный жид с каким-то багровым и пузатым паном, как оказалось потом, экономом Гущи, поляком Цыбулевичем; последний убежал из своего разгромленного имения и получил приют у русского воеводы Киселя. Пришедшие не обратили никакого внимания на вечерявших в тени деда с хлоп-

цем или их вовсе не заметили и шумно заговорили по-польски в пустой корчме.

— Ой вей, ой погано, пануню,— жаловался встревоженный жид, выглядывая часто из дверей,— проклятые хлопы что-то недоброе затевают, все о чем-то сговариваются, далибуг, и подойти нельзя: шипят, как гадюки!

— А я им, шельмам, тего,— гремел хриплым басом пан эконом.— Я им, бестиям, тего, до костей шкуру спущу. Я их и за свое добро поквитую... Быдло, пся крев! Дай-ко, тего, тего, пива, только холодного, со льду!

— За́раз, за́раз, вельможный пане!.. Сурко, герст ду?

Слышно было, как выскочил в другую хату корчмарь, потом снова вернулся и продолжал тихим, вкрадчивым голосом:

— Они тут кричали, что горилку и пиво будут сами варить, как деды их варили, что рыбу по озерам и в реке будут ловить сами, бо она божья, а не панская, что ни дымового, ни сухомельщины платить не станут, что земля ихняя, предковская... Ой пануню, что они говорят, аж страшно, аж мне честные пейсы тремтят!

— Ах они быдло подлое,— орал и бил по столу кулаком Цыбулевич,— я их всех, тего, закатую!.. Мне вельможный пан дал право хоть перевешать всех его власною рукой,— он и сегодня это сказал,— и перевешаю, шельм, перевешаю!

— Всех, пануню, не нужно,— видимо, струсил жид,— потому не будет кому пить, а это и пану убытки... Ой вей, какие убытки! — вздохнул на всю корчму жид.— А лучше пусть пан для острастки посадит на кол зачинщиков, довудцев, хоть пять-шесть свиней посадит — и будет антик. Как они, мой пане коханый, забачут, что ихние довудцы на палях... так и сами, звыняйте, пане...

И жид захихикал тонким, гаденьким смехом.

— Так, так, го-го! На пали их, дяблов! — крикнул зычным голосом эконом, а потом сразу смягчил тон.— А пиво, доброе пиво, холодное, в нос бьет! Наливай, тего... еще!

— Про́ше, про́ше, на здоровье, егомосць! — лебезил жид.— А первые довудцы, первые гадюки — Явтух Гныда, Софрон Цвях и Мартын Колий.

— На пали их, на шибеницу! Вот я их, тего... и запишу. А ну, жидку, еще пива!—раздавался хриплый бас.

— Я, вельможный пане, остальных замечу и скажу,— вторил ему шепотом тенор.

— Добре... Так я тех зáраз, а остальных завтра.

— Лучше, пане, захватить всех разом... Далибуг, а то догадаются и утекут.

— Ну, ну! Еще, того, того... пива!

Дед сделал знак хлопцу и незаметно с ним вышел на улицу. Возле корчмы уже никого не было, только невдалеке смутно виднелась какая-то одинокая фигура.

Дед подошел к ней.

— Слава богу! — поздоровался он.

— Вовеки слава, диду! — ответил приветливо незнакомец и мотнул шапкой.

— Ты, сыну, здешний? — торопливо спросил встревоженный дед.

— Здешний. А что?

— Нам нужно зараз видеть Гныду, Цвяха и Колия,— вмешался в разговор хлопец.

— Цвяха и Колия? — отступил озадаченный селянин и подозрительно взглянул на деда и хлопца.

— Да, их... только ты не мешайся, Олекса,— кивнул головой дед,— мы подслушали сейчас разговор жида с экономом, нужно скорее предупредить братьев. Клянусь нашим гетманом Хмелем, что это правда!

— Так, стало быть...— обрадовался селянин, но потом все-таки подозрительно спросил: — А вы сами откуда?

— Да мы утикачи из панских полесских имений... бежим от ката Чаплинского... издалека... бежим до своих ватаг... только ты, человече добрый, не теряй времени... дело важное... страшное дело...

— Да наши тут недалеко собрались... только как оно... опасно ведь незнакомого человека вести до громады?

— Гай-гай! Да взгляни на нас,— заговорил шутливо дед,— какие мы опасные люди? Старый, сивый дед и хлопец! Тебе на одну руку...

— Ха-ха! И то правда! — ободрился селянин.— Так гайда, тут недалеко.

Пройдя берегом едва с полверсты, за село, провожатый завел деда с хлопцем на какую-то леваду. Было уже совершенно темно. Слышались только отдельные голоса.

Вартовой, стоявший на рву, опросил провожатого и пропустил их.

— Вот, братцы, — сообщил провожатый, — беглец из-за Горыни имеет сообщить вам важные новости.

— А поклянешься ли ты нам, человече божий,—спросил кто-то авторитетным тоном,— что слова твои будут правдивы и что ты пришел к нам не с лукавым сердцем, с щирой душой?

— Клянусь погибелью всех панов! Клянусь нашей верой и волей! — произнес торжественно дед.

— Мы верим тебе,— отозвался прежний голос.

— Верим и рады слушать... — раздались другие голоса.

## XXIX

— Панове громада!—заговорил взволнованно дед.— Мы бежим из глубокого Полесья, почитай из-под Литвы, и спешим с поручением к нашему гетману батьку... И до нас уже долетела радостная чутка, что настал слушный час посбыться ляхов да зажить по старине, на своей правде да на своей воле. Поднялся и там замученный люд, взялся за топоры, за косы да за ножи, побратавшись с огнем. Сколько мы ни шли, то везде видели пустые хутора, безлюдные села, а то и выгоревшие дотла от ляшской злобы; только, правду сказать, и палацы все панские либо разгромлены и лежат в руинах, либо сожжены и чернеют своими трубами да остовами. Первое лишь ваше, братцы, село мы встречаем еще под панским ярмом.

— А что ж поделаешь, коли пан наш не лях и не католик? — вздохнул печально другой.

— Мало ли что пан? — возразил третий.— Пан-то хоть и русской веры, а экономы все — атаманы-ляхи! Все одно под польским канчуком наши спины...

— Верно, верно! — глухо отозвались многие.

— Да и плевать нам на пана! — крикнул задорно первый.— А ляхов за бока!

— Да вот что, братцы, — заговорил снова дед,— ляхи-то и жиды не спят, замышляют на вас, да еще как замышляют... Я вот поэтому и пришел сюда. Мы вечеряли в сенях корчмы и подслушали, что жид корчмарь советовал какому-то толстому кабану-пану посадить

немедленно на кол Явтуха Гныду, Софрона Цвяха и Мартына Колия, а что к завтрему он еще укажет ему штук семь-восемь людей... и пан обещал со всеми этими покончить зáраз, да так, чтобы поднялся догоры волос, а с остальных грозился пан три шкуры содрать, что дидыч-де дал ему на то полное право!

Толпа была так поражена этим известием, так потрясена, а, пожалуй, испугана, что в первое мгновение совершенно застыла и тупо молчала.

— По-моему, — выждав некоторое время, добавил дед, — коли не думаете избавиться от катов, то хоть эти трое — Гныда, Цвях и Колий — да еще те, у которых висит за спиной жидовская злоба, должны удрать в эту же ночь и пристать к ближайшим загонам.

— Правда,— отозвался наконец тот, кто первый допрашивал деда,— спасибо тебе, диду, и за известие, и за пораду... многие помолятся за твою душу... только коли нам первым бежать, так прежде, друзи, расправимся мы с жидом, чтоб он не выдавал уже других, а за себя вы завтра подумаете, посоветуйтесь с батюшкой... да, може, поблагословившись, все разом...

— Годи подставлять шкуру! — загомонили все оживленно.— Годи! Смерть иродам!

— Именно годи!—решил и первый.—Расходитесь же, братцы, по домам... встреча в яру... а мы, трое, пойдем и поблагодарим жида за ласку.

В обширном покое Гущинского замка, убранном в восточном вкусе, с низкими сплошными у стен диванами, с узкими разноцветными окнами, несмотря на раннюю пору, стоял оживленный говор. Пышная шляхта, разряженная по-праздничному и вместе с тем вооруженная с головы до ног, раздраженно жестикулируя, не то спорила, не то что-то доказывала друг другу. Хозяин замка, брацлавский воевода Адам Кисель, сидел на диване, отдувался и перебегал маленькими хитрыми глазками от одного пана к другому, храня на лице своем загадочную улыбку. В последние годы он значительно постарел и осунулся; подбритая чуприна его, лежавшая уже беспорядочными, поредевшими прядями, была наполовину седой и казалась пегой; ожиревшее, обвислое лицо его лучилось морщинами, утратив прежнее добродушное

выражение; обширное туловище было, видимо, в тягость своему владельцу и вызывало тяжелое, свистящее дыхание.

— Какое же это, черт возьми, перемирие,— горячился молодой, задорный шляхтич в серебряных латах, сын польного гетмана Калиновского, пан Стéфан,— это война, партизанская война! Везде шайки проклятых бунтарей, кругом грабежи, разбои, свавóльства... Страна вся в огне... благородному рыцарю шагу ступить невозможно: везде сторожит его пся крев!

— Хороши шайки, пане комиссаре! — возразил средних лет и дородности пан Дýбровский.— Целые войска, и еще многочисленные: у Кривоноса, говорят, тысяч восемь, да еще у Чарноты отряд тысячи в две; шарпают и Вишневеччину, и Подольщину, бунтуют везде чернь, уничтожают наши маетности, жгут костелы, неистовствуют над захваченной шляхтой, истребляют наших верных жидов.

— Да, мы въехали-таки в чисто неприятельскую страну,— грустно добавил почтенных лет господин, одетый в черный бархатный иностранного покроя костюм с широким белым кружевным воротником и длинной, у левого бока, шпагой, некто Немирич, представитель угасавшего тогда социнианства[30],— и всю эту вражду порождает главным образом фанатизм и общественное неравенство.

— Ох,— вздохнул сочувственно на эти слова хозяин,— особенно фанатизм и презрение к низшим. Веротерпимость — пальмовая ветвь, но она у нас, коханый пане, никогда не привьется.

— Веротерпимость...— подхватил какой-то крикливый голос в толпе,— этому зверью мирволить? Этих извергов терпеть?

— Да знаете ли, что за злочинства творят на Литве у нас Напалич, Хвесько, Гаркуша, Кривошапка, Небаба? От них, панове, встает дыбом волос.

— А Морозенко на Волынщине как бушует? — поддержал средних лет пан Сельский, обращаясь к Любомирскому.— Да это такой аспид, такой изверг, такой дьявол, что при одном имени его всяк бледнеет, как луговая трава от мороза. Где он ни пройдет — за ним ужас, огонь и кладбище... Он, должно быть, прорвался в Литву.

— Нет,— снова перебил речь крикливый голос, и зна-

комый нам пан Ясинский гордо выступил вперед,— мы этого паршивого пса в Литву не пустили,— улепетнул, поджавши хвост, от меня, а жаль, уж я бы над шельмой потешился.

— Как же это так, пане,— заметил с насмешливой улыбкой хозяин,— отогнал от Литвы страшного ватажка, а другим бандам позволил у себя хозяйничать и сам с паном Чаплинским пустился наутек?

— Не наутек, шановный воевода, а на помощь,— вспыхнул Ясинский.— За других я не могу ручаться... Много у нас трусов, но я, за позволеньем вельможного пана, я не из их числа; только у нас не умеют ценить людей, а оттого и беды, оттого и руина! Кого, например, великий канцлер литовский Радзивилл выбрал вождями? Мирского и Васовича?[31] Ха! Хороши довудцы — до венгржины, быть может, а не до поля, панове! И что же? Хлоп, лайдак, шельма Небаба разбил наголову нашего славленного рыцаря пана Мирского при Березине, а пана Васовича захватил Кривошапка в Пинске, и вельможный шляхтич должен был бежать от какой-то рвани. Позор, як маму кохам, позор!

Все молчали. Получаемые ежедневно и отовсюду недобрые вести давно уже поубавили у шляхты кичливость и навеяли на ее беспечный и веселый характер уныние. Кисель пристально посмотрел на Ясинского, последний не выдержал устремленного на него презрительного взгляда и смутился.

— Отчего же не предложил пан своих услуг великому канцлеру? — спросил наконец его воевода.

— Вельможный пане, — процедил довольно нагло Ясинский,— для этого нужно иметь руку: кто шмаруе, тот и едзе! А Ясинские кланяться не привыкли! Я потому и бросил Литву да приехал сюда к князю Корецкому с сотней молодцов, приехал в самое пекло, а не наутек, и сюда, к вельможному пану, я прислан от князя просить подмоги; у него приютилась и княгиня Гризельда, жена нашего первого рыцаря и полководца князя Иеремии Вишневецкого-Корибута.

— У князя есть много войск,— ответил сухо Кисель,— и он может уделить часть их для своей прекрасной супруги, а мой замок не представляет сильной боевой позиции, да и защитников у нас горсть.

— Но пан воевода русской веры,— не без иронии

заметил Ясинский,— и никто не осмелится сделать на русского дидыча нападение — ни козаки, ни хлопы.

— Последних так раздражили ваши первые рыцари, что они, в ослеплении долго накоплявшейся и дозревшей, как смоква над головою пророка Ионы, мести, могут броситься на всякого — и на брата и отца. Да, я повторяю, что эти мудрые полководцы и немудрые утеснители края подняли эту братскую войну, и вот сколько я не употребляю усилий, чтобы смягчить врага, усыпить его обещаниями и выиграть тем время для оснащения и вооружения нашего государственного судна, носимого волнами по бурному морю, но все мои усилия становятся тщетными, ибо князь Иеремия, несмотря на перемирие, двинулся со своими командами истреблять схизматов и хлопов... Ну как же теперь при таких условиях утвердить мир? Вот и разливается пожар повстанья повсюду; положим, где проходит князь Корибут, за ним остаются одни пепелища, но против него ведет войско Кривонос, а сожженные князем церкви дают повод и этому ужасному, неумолимому мстителю жечь ваши костелы и поднимать везде местное население для неистовств и мести. Ну и какая же польза от деяний первого полководца для отчизны, для дорогой нам всем Речи Посполитой, какая? А вот ни мне, схизматскому воеводе, ни почетным и славным комиссарам проехать нельзя по стране, добраться невозможно до Белой Церкви, и мы должны были вернуться.

— И бей меня Перун,— вставил задорный молодой Калиновский,— не из трусости мы вернулись, но у нас, комиссаров, слуг своих горсть, а пан воевода взял лишь сотню козаков, между тем тысячные банды шныряют везде по дорогам, и пристают к ним все села... Пан вот,— хоть из Корца рукой подать,— а и то захватил с сотню людей для охраны своей персоны.

— Не для охраны,— смешался Ясинский,— а так, для развлечения, пополевать дорогой на быдло.

— Если пан такой завзятый охотник-мысливец,— отозвался с презрением Немирич,— то я бы советовал отправиться к Немирову либо к Бару пополевать с Кривоносом, Чарнотою, а то и померяться силою с Богуном.

— Я не могу оставить ясноосвецоной княгини, я дал слово князю... И я должен сейчас же воротиться в Корец.

— Но, слово гонору,— возразил язвительно Любо-

мирский,— я досмотрю княгиню и проведу, куда она пожелает... Все мои команды к ее услугам, а пан может быть свободен и сегодня же полететь на врагов.

Ясинский ничего не ответил и затерялся в толпе. Это сделать было тем удобнее, что в это время явились в покой слуги и внесли в дымящихся кубках варенуху и груды перепичек, бубликов и пампушек к ней. Все принялись с удовольствием за этот напиток, заменявший в старые годы наши современные кофе и чай.

Когда осушились первые кубки и на смену им подали другие, поднялся снова в зале еще более шумный и оживленный гомон. Речь все кружилась около жгучих вопросов, составляющих злобу дня. Передавали друг другу паны известия о собиравшихся и стягивавшихся к Старому Константинову войсках; толковали о том, кого назначат предводителем этих войск? Некоторые думали, что коронную булаву вручат Яреме, как самому достойному и самому доблестному воину; но другие в этом сомневались и сообщали, что в Варшаве поговаривали за князя Доминика Заславского, соперника и заклятого врага Вишневецкого, и за молодого Конецпольского, да за ученого Остророга; последнее известие вызвало среди собеседников хохот и град метких острот.

Кисель прислушивался внимательно к этим толкам и жмурил, как кот, свои маленькие, заплывшие жиром глаза, а князь Любомирский, претендент на великую булаву, вставлял изредка насмешливые замечания и держался в стороне; а когда произносилось и его имя, то скромно стушевывался, вступая в разговор с хозяином дома.

— Неужели пан воевода думает,— вызывал он на откровенность скрытного и хитрого Киселя,— что комиссия о мире с этим дяблом может иметь какой-либо успех? Ведь этот Хмельницкий, драли б его ведьмы, умный пес и черта способен схватить за хвост, и его за нос поймать не удастся.

— Княже,—заметил с загадочною улыбкой Кисель,— удалось бы мне только с ним повидаться...

— Да? И в самом деле,— откинулся князь на диван, подсовывая под руку подушку,— неужели пан думает, что Богдан может согласиться на предложенные нами условия? Ведь они составляют одну тень их безмерных желаний, да и тень еще сомнительную? Ведь если бы

даже можно было этого окозаченного шляхтича купить, то ни старшина, ни козаки, ни чернь не согласятся на эти условия.. Эту разнузданную вольницу пришлось бы все равно карабелами да копьями приводить к соглашению, значит, и все усилия ваши разлетелись бы дымом, а сам договор о мире рассыпался бы в прах.

— Я сам, княже,— ответил сердечно Кисель,— ни в добрый исход наших переговоров, ни в прочность мира не верю; но мне нужно ублажить Богдана и выиграть время.

— Э-ге-ге, пане! — махнул Любомирский рукой.— Не такой это зверь, чтоб уснул под твои акафисты и каноны! Вон и послы наши погибли, две недели нет о них ни слуху ни духу. Как попали в пасть к этому льву, так и канули в вечность.

— Да, это обстоятельство меня самого смущает и тревожит,— задумался Кисель,— хотя я не могу допустить, чтоб человек эдукованный, понимающий тонкости государственных отношений и весь, так сказать, псалтырь придворных и военных обычаев, решился бы на такое бесполезное и грубое зверство, замыкающее врата к мирному пути. В конце концов, как он не будет торговаться, а мир и для него — желанный исход, а потому особа посла и для него должна быть священной. Вот за разъяренную чернь поручиться я не могу.

— Пожалуй, за нее теперь не поручится и этот самозванный гетман.

— Совершенно верно, княже, я полагаю, что сам он в ее руках. Но напрасно князь думает, что я так прост и доверчив. Я буду напевать Богдану миролюбивые псалмы, а сам между тем времени даром не потрачу и прозорливо пресеку этому хитрому козаку все пути. Канцлер наш Оссолинский, несмотря на поднятую против него бурю на сейме, кормило свое удержал и направляет его твердой дланью; он послал с подарками и широкими обещаниями в Цареград посла, чтобы склонить султана к сближению с Польшей и отнять у Хмельницкого союзников-татар, а я, с своей стороны, послал в Москву гонца к царской милости, чтобы напомнить ему о выгоде скрепленного между нами мира и упредить попытки этого хитрого козака склонить на свою сторону Москву; кроме сего, я ежедневно шлю лысты к вельможному нашему панству, чтобы собрали свои

команды и кварцяные войска да спешили бы стягивать их к Глинянам, на спасение нашей пылающей на костре Речи Посполитой.

— Не сомневался я,— сказал с чувством князь Любомирский,—в мудрости пана воеводы, а теперь убежден и в преданности его к отчизне. Только я, признаться, в добрый исход мудрой панской политики не верю!.. Не перехитрить вам этого хитрого козака... но дай бог! А вот о чем нужно серьезно подумать — о вожде... Все предрекают этот пост князю Яреме...

— Не желал бы я этого, говоря откровенно,— понизил голос Кисель. — Я не отрицаю его счастливой на поле брани звезды, но он стоит лишь за истребление и руину, а не за благо страны... да притом он, кажется, мечтает и о короне.

— Ха-ха! Старые литовские сказки Корибутов,— засмеялся весело князь и прибавил: — Я сам разделяю мысли достойного воеводы... но наш голос...

— Будет сильнее, когда в руках панских очутится булава,— подсказал, хихикнув, Кисель.

Князь молча пожал руку хозяину и поднял глаза к небу, словно поручая себя его протекции.

В это время отворилась в покой главная дверь и молодой джура, войдя торопливо, доложил вельможному пану Адаму, что приехал из-под Белой Церкви козачий посол и привез от украинского гетмана лыст.

— А! Посол? От Богдана? — воскликнул радостно Кисель, подняв руки.— Зови сюда поскорей этого посла...

Все, возбужденные страшным любопытством, притихли и сгруппировались почтительно возле хозяина.

## XXX

Через минуту в широко распахнутую дверь вошел в сопровождении джуры высокий, широкоплечий козак в роскошном уборе; его бронзовое, скуластое лицо, украшенное почтенным шрамом, зиявшим на бритом челе, дышало надменною отвагой; спускавшийся с макушки длинным жгутом оселедец был ухарски закручен за ухо и говорил о презрении ко всему его владельца, а полураскрытые губы, прикрывавшие ряд выдавшихся лопастых зубов, свидетельствовали о неукротимости его нрава.

Появление этой внушительной фигуры произвело на присутствующих удручающее впечатление. Козачий посол окинул всех злорадным, презрительным взглядом и, подошедши по указанию джуры к хозяину, отвесил ему почтительный, но умеренный поклон и произнес с гордостью:

— Ясновельможный гетман войска Запорожского и всех украино-русских земель шлет привет тебе, шановный воевода, а вместе с ним и лыст своей ясной мосци,— протянул он руку со свитком бумаги, к которой была привязана на шелковом шнурке восковая печать.

Сдержанный ропот негодования, как шелест сухой травы, пронесся по зале и смолк; козак, улыбнувшись, метнул направо, налево глазами и остановил их вопросительно на хозяине. Длилась минута молчания. Кисель, не спеша, взял из рук посла свиток и ответил наконец несколько смущенным голосом, желая придать ему снисходительный тон:

— Благодарю вашего гетмана за приветствие и с особенным удовольствием принимаю его лыст, свидетельствующий, во всяком случае, о внушенном ему богом желании смирить свою гордыню и войти в переговоры о смене брани на ласку и мир в несчастной отчизне, которую он...

— Ясновельможный, богом данный нам гетман печется о благе обездоленной нашей страны,— прервал его несколько резко козак.

— Посмотрим,— запнулся Кисель, остановленный в потоке своего красноречия, и, бросивши на козака острый взгляд, спросил сухо: — А как посла звать?

— Ганджа,— оборвал тот.

— Так я отпущу на время пана Ганджу в другие покои,— сделал знак джуре рукою Кисель,— отдохнуть и подкрепиться с дороги, а мы с шановным рыцарством прочтем тем часом гетманский лыст[32] и дадим свой ответ.

Посол поклонился хозяину и, отвесив несколько небрежный поклон всему собранию, с достоинством вышел из залы.

— Хам! Зазнавшееся быдло! Бестия! — пронеслось по уходе посла; но Кисель развернул лыст, и все смолкли, обступили воеводу и, затаив дыхание, начали слушать велеречивое послание хлопского гетмана. Письмо

было написано во вкусе того времени — витиеватым, высокопарным слогом и начиналось с похвал мудрости и прозорливости русского государственного вельможи и с излияний своей преданности общей матери Речи Посполитой и пожеланий ей всяких благ. Далее шли сердечные признания гетмана, как скорбит и тоскует душа его по причине этой предельной брани, возникшей между братьями, на горе и на позор дорогой всем отчизне, что слова преславного воеводы, начертанные в полученном им лысте: «Чем, мол, виновато отечество, которое тебя воспитало, чем виноваты домы и алтари того бога, что дал тебе жизнь?» — легли огненным тавром на его сердце и жгут, но что при всем смирении своем он не может принять вины ни на себя, ни на мирных и преданных отчизне козаков, а видит ее в жестокости и своеволии панов, не уважавших ни законов, ни распоряжений своего короля. «Мы начали войну,— писал он,— по воле его ясной мосци. Нам дали денег для построения чаек, приказали готовиться к войне, обещали установить права, а взамен того стали паны нас еще пуще и жесточе угнетать; жалобы наши не находили ни суда, ни защиты, и мы вынуждены были взяться за оружие, так как и сам блаженной памяти король наш подсказал это».

— Изменник, предатель! Это они вместе с коварной лисой Оссолинским развели этот ужасный пожар! — вырвались у окружающих возмущенные крики.

— Не будемте, панове, трогать священного имени почившего,— поднял голос Кисель,— он теперь перед нелицеприятным судом и дает ответ в своих словах, если они были действительно произнесены, а канцлер наш Оссолинский тут ни при чем,— он совершенно оправдался перед сеймом [33]: да и действительно, не мог же он ведать, что говорил Хмельницкому с глазу на глаз король? А сознаться ведь нужно нам, панове, что наше рыцарство не ставило и в грош короля и презирало чернь... ну, терпение многострадальных наконец и истощилось...

— Но они, презренные,— крикнул Любомирский,— мало того, что взялись за оружие,— накликали еще на нашу отчизну для грабежей нечестивых, поганых татар!

— Эх, княже,— вздохнул воевода,— маршал Казановский говорил, что «можно обратиться за помощью и

к самому аду, лишь бы избавиться от тех угнетений и мук, которые терпели козаки и народ»; а я скажу, что волка за уши не удержишь, а толпу народа можно укротить и повести куда угодно, если воспользоваться временем и обстоятельствами.

Все замолчали, но в устремленных исподлобья на Киселя взорах засветилось не смущение и сознание своей вины, а скорее затаенная злоба, бессильная, в силу печальных событий, разразиться грозною бурей.

Кисель начал снова читать:

— «После славных битв при Кодаке, Желтых Водах и Корсуне,— стояло дальше в лысте,— мы вложили в ножны свой меч и предались неутешным слезам о безвременно погибшем благодетеле нашем, найяснейшем короле,— устрой его душу, господь, в селениях горних,— а твои, славный воевода, лысты и лысты нашего канцлера уязвили, докоряли нашу совесть и смирили обещаньями милости и правды разнузданный гнев черни; ведь все мы только и желаем получить наши старые права, не мечтая ни о чем большем, и не думаем нарушать верности правительству и Речи Посполитой».

— Я начинаю убеждаться, что пан воевода прав и его мудрая политика имеет воздействие,— заявил громко князь.— Из письма видно, что у этого Хмеля проснулась совесть, и он униженно просит лишь об отнятых у козаков привилеях.

— Да, слава пану Адаму, слава нашему брацлавскому воеводе! — отозвались радостные голоса.

Краска удовольствия разлилась по лицу старика, и он, скромно закрывши глаза, поклонился собранию.

— Да эти привилеи и дать бы следовало, чтобы умиротворить сограждан, — заметил почтенный Немирич.

— Они так немного и просят,— добавил хозяин.

— Мало просят? — загалдела взволнованная шляхта.— Это значит — отпустить на волю рабов и лишиться имений!

— Уступки, панове, необходимы для умиротворения страны, — заговорил мягко Кисель, — трудно нагнуть издревле вольный народ к настоящему рабству... да оно и излишне для процветания наших маетностей: виноградная лоза, только расправленная и поддержанная тычинами, дает плод; полумерами можно прикрепить рабочую силу, полуоткрытыми дверьми в храм шляхет-

ства можно усыпить честолюбие значного козачества... Мудрость и ловкость должны управлять народом, а не грубая, слепая сила... Можно и льва заставить крутить жернова, только для этого нужен тонкий ум.

— Льва-то можно приручить скорее, чем дябла Хмельницкого! — возразил горячо Стефан.

— Посмотрим, — улыбнулся Кисель и продолжал чтение: — «Мы приказали, по требованию канцлера и по совету твоей милости,— излагалось, между прочим, в письме,— остановить везде враждебные действия и распустить загоны, а хлебопашцам возвратиться к своим полям и житницам, оттого и просим твою вельможную милость повременить в Гуще, пока приведутся в исполнение мои универсалы и пока я тебе, пане воевода, не вышлю к Острогу для охраны сотню козаков. Мы объявили везде, что перемирие заключено, и упросили татар оставить наши земли и не вмешиваться в наши хатние споры, мы все сие сделали, уповая на снисхождение к нам сейма и на милость, ожидаемую всеми с радостью и молитвой от нового, каким благословит нас господь, короля...»

— Как видишь, пане,— взглянул победоносно на Стефана Кисель,— разумное слово смиряет и дябла и накидывает аркан на его рога... Но вот, слушайте,— пробежал он глазами по исписанной слитным, крючковатым почерком с титлами и разными надстрочными знаками бумаге,— кажется, я был прав и здесь,— да, да!.. Внимание, панове! «Не взираючи на вси наши дийства,— начал читать выразительно Кисель,— пан Вишневецкий, заховавши разум за злобу, кынувся на нас, аки волк хыжий, и не по-рыцарски, а по-злодияцки начав тыранити всех христиан, добра их палыты, церквы валыты, а честным панам-отцам, попам, очи свердламы свердлыты и на пали сажаты...» Описывая далее возмутительные его козни и разорения, он восклицает: «Не дыво, если бы таки нечинства чинив простак який, як Кривонос абощо, але чинит их князь, що ставыть себе превыше всех в Речи! Я,— в заключение писал гетман,— приказал приковать Кривоноса к пушке [34], а некоторым разбойникам-своевольцам отрубить головы; но не могу же я сдержать всех, если князь Ярема, не взирая на мои письма, проходит по стране о́гнем и ме́чем и возбуждает повсюду народную месть».

Письмо было кончено. Последние слова его произвели на всех сильное впечатление.

— Не говорил ли я вам раньше, благородные рыцари,— промолвил приподнятым тоном Кисель,— что князь мнит себя кесарем, не подлеглым ни сенату, ни Речи Посполитой, ни королю! Что ему спокойствие отчизны? Ему лишь бы вершить свою волю да тешить свой нрав! И вот, по милости княжей, нам, комиссарам, и проехать нельзя, по милости его, страшное пламя восстания охватывает все уголки нашей отчизны и в нем тает как воск все нажитое нашими отцами добро. Да что добро? Гаснут жизни дорогих нам существ, и напояется так их кровью земля, что просачиваются капли ее даже в могилы... Как же мы можем при таких гвалтах усыпить врага и собрать свои силы? Как мы можем спокойно уснуть в родном пепелище, если Корибуты будут топтать под ноги наши постановления?

— До трибунала его! — вспылил Любомирский.— На коронный суд! Нельзя ломать волю сейма...

— Не позволим! — крикнул задорно Калиновский, и его крик поддержали другие.

— Как же такому вручить булаву и войска? — вставил вновь Любомирский.

— Он испепелит страну,— покачал печально головою Кисель, — а когда все поголовно восстанут, то погибнет со всеми войсками в этом раздутом самим им пожаре.

— Не быть ему гетманом, не быть! — пронеслось по зале.

— Вот что, шановные панове,— заговорил авторитетно Кисель,— вы все должны повлиять друг на друга, чтобы хотя на время приостановили магнаты враждебные действия; а первого рыцаря Корибута, я думаю, что ты, князь, мог бы убедить воздержаться... Я снова напишу Богдану письмо, и уверен, что, при вашем содействии, мне удастся усыпить его и выиграть драгоценное время... Вы видите, панове, что крючок ловко заброшен и сом начинает клевать...— окончил он самодовольно и гордо.

Шорох одобрения пробежал по зале волной.

— Все это так,— раздумчиво сказал пан Дубровский,— но вот что странно... сердечные излияния... миролюбивые меры... скромные и покорные просьбы... а

между тем послов наших у себя держат, словно в плену... Чем же это объяснить, панове?

— Да, да! Мы про послов и забыли...— подхватил Любомирский.

— И там ли еще они? Живы ли? — добавил Сельский.

— Это сейчас же можно разузнать от посла,— сказал заинтересованный этим вопросом Кисель и велел снова ввести Ганджу в залу.

— Мы довольны лыстом егомосци вашего гетмана,— заявил послу официально Кисель,— и желаем ему с своей стороны всякого здравия и благополучия, а главное — мудрости и смирения сердца. Завтра, порадившись с славным рыцарством, мы отпишем ему, а теперь еще нам необходимо знать, что сталось с нашими послами? Где они и почему до сей поры не возвращаются к нам обратно?

— Послы твоей милости, шановный пане воеводо,— ответил Ганджа,— находятся преблагополучно в Белой Церкви и трактуются ясным гетманом нашим как пышные гости; а до сих пор они там по совету его ясновельможности, ибо опасно было бы отпустить их, пока не водворено еще в крае спокойствие.

— Мы удовлетворены твоим объяснением,— сказал совершенно довольный Кисель,— и благодарим гетмана за его опеку. Теперь шановный посол может отдыхать.

Ганджа вышел, и все начали пожимать руки Киселю и поздравлять его с полной победой.

В это время с шумной бесцеремонностью вошел в залу управляющий Киселя, пан Цыбулевич, и бухнул, тяжело отдуваясь, громогласно:

— У нас, вельможный пане, бунт, и я велел страже схватить главных зачинщиков!

Если бы упала среди этого собрания бомба и разорвалась с грохотом на куски, она не поразила бы таким ужасом благородных рыцарей, как эти слова Цыбулевича... Все онемели и окаменели в своих позах.

— Как? У меня? У русского дидыча бунт? — наконец ответил дрожавшим и рвавшимся голосом Кисель.

— Да, у панской милости,— подтвердил снова свои слова Цыбулевич,— вчера мне донес арендарь, что затевается у нас среди хлопов что-то недоброе, собираются сходки... Я проследил, пане добродзею, все пронюхал

и наметил троих... А сегодня поехал осмотреть нивы... никого, проше пана, на жнивах, ни пса!.. Я туды, сюды — бунт!.. Ну, приволок, схватил этих троих, еще троих, еще, пане воевода, троих... и всех их велел посадить на площади перед церквой на пали.

— Стойте! Что вы? — поднял руку Кисель.

— Заперты ли брамы в замке? — очнулся и засуетился тревожно молодой Калиновский.

— Собрана ли команда? Где наши слуги? — заволновались и другие.

— К оружию! До зброи! — крикнул, храбрясь, Любомирский и обнажил свою тамашовку. Все схватились также за сабли.

— Успокойтесь, шановное панство! — остановил общий порыв красный как рак Цыбулевич.— Еще врага нет, и он у меня, проше панство, не дерзнет, здесь, могу всех заверить, ни до каких бесчинств не дойдет, вот только насчет работ; но я распорядился. Оружия, проше панство, не потребуется, а придется только спустить несколько шкур да посадить пять-шесть шельм на кол.

— Пыток и истязаний я в своих владениях, пане, не потерплю,— сказал наконец внушительным голосом воевода,— вы, и то в мое отсутствие, позволили себе заводить у меня вашу систему, благодаря чему, быть может, и вспыхнуло неудовольствие.

— Но, вельможный пане воевода, с этим зверьем...

— Прошу вас, пане, при мне воздержаться,— перебил его гневно Кисель,— и слушать моих приказаний. Арестованных вами прошу запереть в вежу, я сам допрошу их и исследую причины всего этого.

Цыбулевич поклонился низко и обиженно замолчал.

— Однако, панове, не следует все-таки быть нам беспечными. Пойдемте и осмотрим стены и ворота замка,— предложил Кисель.

Все охотно и поспешно вышли за ним на широкий, обнесенный башнями и высокими валами с двойным частоколом двор.

Но едва осмотрелись гости, как у брамы со стороны местечка послышался раздирающий вопль, и вскоре появилась, сопровождаемая кучкою обезумевших иудеев, рыдающая и рвущая свои одежды молодая еще женщина, жена арендаря корчмы...

— Что с тобою, Руфля? Что случилось? — допрашивал ее встревоженный воевода. Но она только билась о землю и стонала с неудержимыми воплями. А бледные и дрожавшие, как в лихорадочном ознобе, жидки только кивали головами и повторяли тоже за ее воплями:

— Ой вей-вей! Ой ферфал!

Все остановились, потрясенные этой сценой, предвещавшей что-то недоброе.

Наконец, после долгих расспросов, заговорила прерывающимся от слез и стонов голосом убитая горем жидовка.

— Ясновельможный пануню... спасите, рятуйте! Хлопы схватили моего мужа...

— А пан ручался, что насилий не будет? — спросил Цыбулевича князь Любомирский.

Растерянный Цыбулевич ничего не ответил и стоял как чурбан, растопырив руки.

## XXXI

Со сходки на леваде некоторые поселяне, из более пожилых и влиятельных, отправились к местному священнику на раду и пригласили с собой деда с хлопцем, как могущих дать указания о мероприятиях окрестных сел и о затеваемых здешним экономом казнях. Старичок священник, кроткий и невозмутимый, выслушал с сокрушенным сердцем рассказ о неистовствах панских расправ и об ужасах народной мести, а когда узнал о предстоящих его пастве истязаниях и несомненном кровавом отпоре, к которому давно уже готовились поселяне, то со слезами начал просить пришедших не подымать руки на своего православного дидыча, ибо он хотя и мирволит ляхам, а все же веру свою боронит; далее обещал батюшка завтра же отправиться к воеводе и упросить его не только отменить казни, но и удалить пана эконома, раздражающего своей жестокостью поселян. Наконец, молил он своих прихожан не торопиться хотя с кровавой местью, пока выяснится результат его ходатайств, а лучше-де отправиться в Хустский монастырь, где на послезавтра предполагалось, как его известили, какое-то торжество. Поселяне и сами слыхали об этом святе, а потому и согласились с батюшкой выждать, как кончатся его переговоры с дидычем, а самим

скрыться в Хустском монастыре, куда стекутся со всех окрестностей поселяне.

За Гущей, мили за три к югу, на возвышенности, окруженной непроходимыми болотами, среди дикого, дремучего леса, приютился Хустский монастырь. Есть предание, что на том месте скрывался во время первых гонений на схизматов какой-то подвижник и что будто католический пан-фанатик, охотясь в лесу, затравил его собаками; разъярённая стая растерзала отшельника в клочки, так что от несчастного мученика остались одни лишь хусты (клочки белья); от них-то, когда впоследствии была сооружена на том месте ревнителем о вере Севастьяном церковь, эта обитель и получила свое название. Зимою, когда все замерзало кругом и покрывалось толстым слоем пушистого снега, со всех сторон протаптывались к монастырю тропинки и благочестивый люд спешил из ближайших и дальних окрестностей помолиться в святой обители, светившей из мрачного бора для гонимых и обездоленных путеводною звездой. Летом же и весною, когда болотистые низины покрывались водою, лататьем и плесенью либо предательским мхом, многочисленные пути к монастырю закрывались, и он становился почти разобщенным с внешним миром. Только к августу месяцу, когда топкие места начинали подсыхать, отважные богомольцы решались протаптывать скрытые одинокие стежки, по которым не без риска можно было проникнуть к мирному убежищу. Такие тропинки, представляя опасности в пути, были совершенно безопасны в смысле погони, и ни одному эконому не могла прийти в голову безумная мысль гнаться за беглецами по непролазной топи, оттого к концу лета и собралось достаточно богомольцев в Хустском монастыре; только не прежде зимы они могли опасаться облавы.

Стояла темная ночь. По глухим, страшным трущобам едва заметными тропинками, известными лишь провожатому, пробиралась с длинными шестами небольшая кучка людей гуськом друг за другом. Длинным шестом ощупывал каждый направо и налево почву, выбирая более надежные места, а в иных случаях, опираясь на него, должен был перескакивать опасную проталину или бочковину; все это делалось методически, по команде вожатого, произносимой сдержанным шепотом. Ни разговоров, ни восклицаний, ни криков при неосторожных шагах

не было слышно; все подвигались с большими предосторожностями молча вперед, словно таясь от преследовавшей их по пятам погони.

Оксане, привыкшей уже к ночным путешествиям по диким дебрям и болотам, теперешняя дорога, в сопровождении большого гурта людей, показалась даже в высшей степени интересной. Ни о каких преследованиях, ни о каких опасностях она и не думала, а об одном лишь мечтала: что в монастыре можно будет наверно разузнать, где гуляют украинские загоны, как к ним добраться, а вместе с ними до батька Богдана, и до его дорогой семьи, и до... Господи, как она стосковалась за ними, и за панной Ганной, и за подругами — Катруней, Оленкой, с которыми она так давно разлучилась,— да еще в какую минуту, не приведи бог и вспомнить,— которых оплакивала уже не раз и не надеялась больше увидеть, а они ведь наверное знают, где он... Ахметка. Олекса... Морозенко... он, любый, единый, богом ей данный!.. А что, если он убит? И у нее при одном бесформенном, каком-то страшном предположении леденела кровь; но молодое сердце снова разогревало ее своей энергичной работой и навевало радужные надежды. «Нет, нет...— что-то шептало ей,— он не погибнет; ты увидишь его, сияющего радостью, счастливого, прекрасного, покрытого славою... и сгоришь от восторга... от счастья...»

— Тут, братцы, и отдохнуть можно,— разбудил ее от мечтаний голос провожатого,— перебрели первый пояс болота; сюда уже никакая лядская собака не проберется. Пройдем теперь с полмили по сухому, а там снова болото, а за болотом непролазные чагарники да терны, а за ними еще третье болото, а там уж пойдет до самого монастыря непросветный бор.

Путники разлеглись по сухим местам молча, и только по тяжелому их дыханию да по прорывающимся легким стонам можно было заключить, как тяжел был этот переход и как он изнурил их силы. Прошло с полчаса времени. В лесу было совершенно тихо; закрытое пологом ветвей небо не просвечивало нигде; неподвижный воздух полон был удушливой влаги.

— Быть непременно дождю,— заметил наконец вслух дед, кряхтя и поворачиваясь на бок.

— Похоже,— отозвался хрипло сосед,— только про-

неси господь хоть до завтра, а то беда: и не вылезешь! Тут и без того таким шляхом как ни торопись, а только к завтрашней ночи едва доберешься.

— Не приведи бог опоздать,— заговорил дед,— и батюшка сказывал, да и все гомонят, что завтра на всенощной будет там великое торжество и что со всех окрестностей собирается на него благочестивый люд, что и козачество даже будет.

— Так, так, это говорят верно...—вставил вожатый.— Только вот что мне в диковинку — какое это свято? Уж сколько лет мне доводилось бывать здесь, а в этот день свята не помню... Храм там на спаса, а чтоб теперь...

— Стало быть, есть, коли созывают,—рассудил дед,— может, и новое свято установили святые отцы за вызволенье от панской неволи людей, от лядских кайданов края и от католиков да жидов нашей веры.

— А что думаешь, дид прав,— решил философски вожатый,— только стойте, братцы, тихо... кто-то к нам подбирается.

Все приподнялись на локтях и насторожились. Упало сразу тревожное мертвое молчание.

Но в чуткой тишине обыкновенное ухо не различало никаких звуков, только обостренный слух передового мог уловить их.

— Идут... сюда пробираются,— сообщил он наконец решительно.

— Откуда? С какой стороны? — спросило несколько голосов.— Быть может, погоня?

— Какое там погоня! — успокоил вожатый встревоженных.— Вон с той стороны идут, от Лищинного... Должно быть, тоже в Хусты. Сюда им и путь... со многих хуторов и сел сходятся в этом месте тропинки... а за третьим болотом их еще больше... По-моему, братцы, следует лищинян подождать, чтобы двинуться вместе.

Успокоенные объяснением вожака, все согласились обождать подходивших товарищей. Через полчаса уже ясно слышен был шелест шагов и хруст ломаемых ветвей.

— Кто пробирается? — окликнул их на приличном еще расстоянии вожатый.

— Свои,— ответил после некоторого молчания неуверенный голос.

— Кто свои? — повторил грознее вожак.

— Прочане с Лищинного,— ответил кто-то смелее.

— Куда?
— В Хусты, на свято!
— А! Так милости просим до гурту,— пригласил их успокоенный совершенно вожак,— мы тоже туда прямуем.
Вскоре из-за кустов показались темные силуэты фигур и послышались вместе с тем скрип и скачки по неровной почве колес. Это всех озадачило.
Дед первый подошел к ним и, поздоровавшись, начал с любопытством осматривать, что бы такое тащили по болотам и непроходимым путям богомольцы?
— Что это у вас такое, добрые люди? — допрашивал он, ощупывая рукой длинные небольшие возы, или скорее дроги, закрытые плотно воловьими шкурами и увязанные бичевой.
— А разве, диду, не бачите? — ответили уклончиво прибывшие прочане.
— Возы, что ли? — недоумевал дед.— Только чудные, таких и не видывал от роду. А что же в них напаковано?
— Товар.
— Какой?
— Да... — запнулся передовой, — хай будет тарань.
— Чего же это тарань вы везете на свято?
— А чтобы освятили.
— Вот тебе на! — изумился еще больше дед.— Тарань — и святить! Да ведь рыба — чистое божие творение, ее и в пост можно есть. За ней какие грехи? Рыба, сказано — рыба. То свинина либо поросятина так нечистое, его нужно святить, а рыбу и святые едят.
— Ну, а теперь, диду,— засмеялся странно передовой лищинянин,— настали такие времена, что и тарань нужно святить.
— Да покажи хоть, какая это тарань? — сомневался дед, озадаченный и отчасти обиженный смехом. — Что-то чересчур твердая.
— На добрые зубы как раз,— ответило несколько голосов и, приблизившись, стали вежливо отстранять от возов деда.— Теперь, дидуню, до свята рассматривать возов нельзя, а после освящения можете и себе, и своему хлопцу взять по тарани.
— Что ж, диду,— отозвался и вожатый, который тоже с селянами осматривал и ощупывал сомнительные

возы.— Коли человек говорит, что не можно, так, стало быть, не следует, а даст бог, дождемся свята, так и посмотрим.

— Ну, ну,— согласился неохотно дед, раздумывая, что бы такое могло быть в этих возах.

Отдохнули еще немного сошедшиеся прочане и двинулись вместе в путь. Теперь по сухому и несколько возвышенному месту было совершенно удобно идти. В тяжелые возы запрягались все по сменам и к рассвету успели дотащить их до второго болота. Хотя и блеснуло солнце с утра, но густой и душный туман вскоре заволок его дымкой сгущавшихся облаков, которые начали со всех сторон подниматься на небе. Все боялись дождя и торопились, не щадя сил, перебраться через опасные места днем, чтоб поспеть хотя ранней ночью в монастырь.

По мере приближения к нему начали встречаться им по пути и другие группы, стекавшиеся со всех сторон к святой обители. Среди них попадались тоже и возы, запряженные людьми, напакованные тоже каким-то товаром. Доискиваясь в мыслях, что могло бы быть в этих возах, дед остановился на одном предположении, что это был или провиант, доставляемый окрестными селянами святой братии, или, еще вернее, награбленное у панов добро, отправляемое частью в дар монастырю, а частью на сохранение.

Была уже ночь, когда сплоченная из многих партий толпа вышла из мрачного бора и остановилась перед крутой, скалистой и обособленной горой, возвышавшейся, словно круглый хлеб, среди бесконечной лесной равнины. Гора эта была внизу опоясана узкою речонкой, расплывавшейся дальше в болото. На самом темени ее, покрытом курчавым лесом, стоял монастырь. Над ним висела теперь зловещая туча, мигавшая ослепительным сиянием дальних молний.

Дед и Оксана были поражены видом этой затерявшейся среди диких трущоб святой обители, напоминавшей своими зубчатыми стенами и островерхими башнями скорее укрепленное гнездо какого-либо хищника.

Когда небо загоралось фосфорическим блеском, то очертания монастырских стен и башен казались на ясном фоне черными, мрачными силуэтами и внушали душе тайный трепет... Только сверкавшие из-за черных

стен кресты двух церквей несколько смягчали давящее впечатление.

После опросов и сообщений гасла въездная брама отворилась и откидной мост перекинулся через реку. Неторопливо и чинно стали проходить по нем богомольцы в первый, собственно замковый, двор.

Дед, осмотревшись, заметил, что и здесь стояло не малое число возов с загадочною кладью, увязанных крепко шкурами; но эти возы не затрагивали уже его любопытства, и он с хлопцем поспешил пробраться сквозь галдевшую и суетившуюся толпу в другой, внутренний, двор.

Последний обнесен был низенькими жилыми постройками, прилепившимися к круглому муру; эти жилья размежовывались небольшими садиками, обрамлявшими свободный, довольно обширный круг в центре двора, так называемый цвынтарь, среди которого возвышался семиглавый деревянный храм с затейливою звонницей, а другая, маленькая, церковь ютилась между садиками в углу, совершенно закрытая ветвями яблонь и слив.

Дед с Оксаной вошли в этот двор; но здесь представилась им совершенно другая картина: слабо освещенная церковь была переполнена народом, стоявшим на всех папертях и вокруг; среди толпы не было слышно ни гомона, ни восклицаний, ни даже тихого шепота,— все с обнаженными чупринами благоговейно молчали и только усердно крестились при вспыхивавших зарницах приближающейся грозы.

Сняли набожно шапки дед и хлопец, осенивши себя крестным знаменем, и поклонились земно святыне. Стоя на коленях, дед беззвучно шептал горячие молитвы, Оксана... она не могла уложить в слово своей мольбы, а с проступившими слезами смотрела лишь на главы храма, увенчанные восьмиконечными крестами, да чувствовала, как ее трепетавшее сердце расплывалось в каком-то радостном и трогательном умилении.

— Сподобил господь,— прошамкал наконец, подымаясь тяжело с колен, дед,— и уйти от грозы, и поклониться святыне, и поспеть на всенощную.

— Да, диду,— заговорила взволнованная Оксана.— Совсем, совсем так, как на велыкдень перед заутреней. Вот в Субботове мы, бывало, с семьей пана сотника, теперешнего славного нашего гетмана, целую ночь про-

стоим на деяниях... народу сила, толпа толпой — и наши, и с соседних хуторов, а то, как стали ксендзы запирать церкви, так и с дальних сел... яблоку было негде упасть и в церкви, и на цвынтаре, а кругом — подвод-подвод, вон как и на том дворе, за муром,— все с пасхами, да поросятами, да всякою всячиной... А потом как ударят в звоны, в арматы, как выйдут из церкви с хоругвями, прапорами да крестами, как запоют... Господи, как было весело, как было радостно!

— Вспомнил, сынашу, давнее, — улыбнулся дед.— Стосковался, видно?

— Как не стосковаться? Вот почитай второй год никого-то, никого из близких да дорогих не видал, в храме божьем не был, к святым образам не прикладывался.

— Бог милостив! Претерпел много, да твои молодые года, много еще у тебя впереди жизни, да не нашей, побитой напастями, а счастливой да вольной,— заражался и дед молодою радостью.— Прежде вот, може, в одном лишь Субботове можно было славить господа в церкви, а теперь скоро, коли бог поможет, загудут по всем селам на Украйне звоны, и народ обновит свои храмы и без боязни потечет в них широкою рекой благодарить милосердного за вызволенье из кайданов, из тяжкой неволи.

— Ах, когда бы только скорей сбылось ваше слово! Господи, сглянься! — воскликнул хлопец, сложивши молитвенно руки.— Пойдем, пойдем в церковь,— заторопил он деда,— а то пропустим большую отправу!

— Не бойсь, раньше полуночи она не начнется... да и звоны заговорят-запоют... А мы лучше пока отдохнем на том дворе, а то ноги что-то щемлят...

— Ноги — пустое, а лучше послушаем про новости...

— И то,— согласился с улыбкою дед и поплелся за внуком.

Они очутились снова на первом дворе и начали присматриваться к собравшимся богомольцам.

В разных местах между двумя мурами, внутренним и внешним, группировался массами народ, преимущественно в серых и белых свитах, простота, между которой только изредка мелькали жупаны да с красными верхушками шапки. Иные селяне лежали себе в непринужденных позах и, посмактывая коротенькие люлечки, вели между собою таинственную беседу; другие стояли, окру-

жив плотной толпою какого-либо козака, и, затаив дыхание, слушали его рассказы, то одобряя сочувственными возгласами его слова, то отзываясь гневными вспышками на сообщаемые им факты, то воспламеняясь задором; третьи просто безмятежно спали... а там, дальше, шумно волновалась масса обнаженных голов, среди которой раздавался сильный мужской голос, сопровождаемый рассыпчатым звоном бандуры... Очевидно было, что место здесь еще не считалось священным и составляло круглую, длинную площадь для житейских потреб.

Путники наши подошли к той группе, где оживленно докладывал о чем-то запорожский козак.

## XXXII

— Нечего мешкать, друзи,— провозгласил козак зычным голосом, жестикулируя энергично руками,— а браться зараз же за ножи та за спысы и очищать свою землю от панов... Так и батько наш, славный гетман, велел,— выгоняйте, мол, из палацов, из замков, из шинков и местечек наших заклятых врагов, пропускайте их через огонь, чтоб и не смердели на святой русской земле, а до́бра, мол, их и грунты берите себе, властною рукой моей берите, а сами спешите ко мне, под мои хоругви, и коли поможете добыть от ляхов Украйну и поможете мне зафундовать везде церкви, божьи дома нашей греческой веры, то я, говорит, и вам, и вашим детям, и вашим внукам да правнукам дарую на вечные времена и волю, и землю, сколько человек за день обойдет, и леса, и воды, и все придобы... Так-то!

— Да верно ли? — усомнился кто-то в чумарке, средних лет сильный брюнет.— Теперь-то, пока нет коронных войск, а то и панов, добром их распорядиться не штука, а как налетит с командами шляхта, так тогда и затрещат наши шкуры, да так, что и ясный гетман не полатает.

— Ах ты пес с панской дворни! — прикрикнул на него грозно козак.— Да разве гетман наш испугается всех панских команд вместе даже с тобой? Он и гетманов ляшских заструнчил, как волков, а шляхтою гатит плотины. Да как вы таких лакуз терпите?

— Да шут его знает, откуда он и взялся! — загалде-

ли кругом.— Убирайся-ка к нечистой матери или к своим панам,— поднялись ближайшие кулаки.

— Лицо как будто знакомое,— шепнул деду хлопец.

— Стойте, добрые люди,— струхнула чумарка,— к каким панам я пойду, коли троих сам повесил? А если расспрашиваю, так чтоб не попасться в лабеты!

— А! Коли сподобился вешать, так побратим,— протянул ему козак руку,— а насчет приказу гетманского не сумлевайтесь: вот вам и универсалы за ясновельможною печатью. Кто умеет из вас читать?

Все переглянулись и молчали.

— Да вот несите какому-либо дьячку либо монаху,— посоветовал козак,— они же святое письмо читают, так должны разобрать и гетманское.

Часть слушателей пошла с универсалом разыскивать по всему монастырю грамотного, а оставшиеся расспрашивали все-таки козака насчет своих загонов и польских команд.

— Польских команд, братцы, и в заводе нема,— уверял со смехом козак,— чтоб мне корца меду не видеть!.. Там дальше, на Волыни и в Киевщине, так за сто таляров не найдешь и паршивенького ляшка, а корчмарей так уж даже сами жалеем, что не оставили какого-либо на расплод... А наших загонов... так где крак, там и козак, а где байрак, там сто козаков!

— А не знаешь ли, славный козаче, кто тут поблизу? — спросил дед, понукаемый давно хлопцем.

— Да вот за Корцом стоит подручный Кривоноса, полковник Чарнота, а по сю сторону Корца хозяйничает наш славный атаман Морозенко.

— Морозенко? Диду! Олекса! — крикнула вне себя от радости Оксана, забывши совершенно, где она находится.— Значит, умолила я, упросила бога!

— Цыть! — зажал ей дед рукой рот.— Забыла, что хлопец? Тут ведь жоноте и быть нельзя,— шептал он ей на ухо,— пойдем вон до кобзаря, чтобы еще лиха не сталось...

В темноте и сутолоке дед незаметно увлек ее в другую сторону, где слепой бандурист восторженным голосом пел новую народную думу:

Ой почувайте і повидайте, що на Вкраїні повстало,
Що за Дашевим під Сорокою множество ляхів пропало.

Перебийніс водить немного — сімсот козаків з собою,
Рубає мечем голови з плечей, а решту топить водою[35].

Дед с восторгом слушал слепца, произносившего каждую фразу с особенным выражением; толпа с шумными одобрениями воспламенялась, а Оксана... она ничего не слыхала и не слушала: в ее груди звучала таким всезаглушающим аккордом охватившая ее радость, каким может быть лишь порыв первого молодого счастья.

Между тем в маленькой келье, уставленной почти сплошь образами, так что она скорее выглядела часовней, при тихом мерцании двух лампад беседовал с игуменом монастыря какой-то гость или богомолец. Красноватый свет падал на его широчайшую спину, облеченную в странного вида хламиду, опоясанную широким кожаным поясом, за которым засунуты были два пистоля; с левого бока этой мощной фигуры висела, протянувшись по полу, огромная кривая сабля; из-под откинутой длинной полы не козацкой одежи выставлялась вольно в широчайших штанах нога, обутая в длинный чобот с коваными каблуками. Лицо собеседника было в тени, но наклоненная голова его поражала своею необычайною прической, напоминавшей скорее женскую шевелюру с пробором, гладко зачесанную и заплетенную в косу, что болталась на шее толстою петлей. Фигура игумена, освещенная спереди мягким светом, составляла первой полный контраст; исхудалая, полусогнувшаяся, она казалась принадлежавшей полувзрослому ребенку, истощенному продолжительной и упорной болезнью; только бледное, покрытое сетью мелких морщин лицо инока, обрамленное жиденькой седой бородкой, выдавало его старческий возраст, удрученный годами, обессиленный подвижническим трудом. Черная ряса и черный клобук с длинным покрывалом еще усиливали бледность и изможденность лица, оживляемого лишь черными выразительными глазами. Облокотившись на руку, обвернутую в несколько раз четками с длинным висящим крестом, игумен внимательно слушал своего собеседника, вздыхая иногда глубоко или прикладывая в возраставшем волнении руку к груди.

— Да, святой отец,— раздался сдержанно-звучный и

сильный голос сидевшего на низеньком табурете посетителя,— отпусти грех мой, ибо что развяжеши на земли, то развязано будет и на небеси.

— Если грешного и недостойного раба божьего слово молитвы,— ответил тихий, симпатичный голос монаха,— может быть услышано там, где пребывает единый источник правды и милосердия, то оно за тебя, брате мой, и я тоже грешным сердцем склоняюсь.

— О, велико и дорого мне, превелебный отче, твое слово,— прервал богатырь настоятеля, прикладываясь благоговейно к его руке, протянутой для благословения,— и оно укрепит мою душу, исполненную земных страстей, не дающих ей ни смирения, ни прощения и забвения обид. Свои обиды, свое сиротство давно я простил... но обиды и кривды, наносимые моему родному народу, простить я не могу, а за осквернения и поругания моей церкви, моей святыни, служителем которой меня поставил господь, я мщу и подымаю на врагов ее меч! Да еще в Ярмолинцах, когда сожгли мою церковь и мне пришлось, как хижому волку, скитаться, жить подаянием и по ночам сторожить святое пепелище, тогда еще я поклялся нашим гонителям мстить... Я знаю, отче, что Христос сказал: «Поднявший меч, от меча и погибнет»... Я знаю, что господь есть возмездие и он лишь может воздать, я знаю, что руки служителя бескровной жертвы не могут обагряться кровью людской,— все это я знаю и ведаю, все это я чувствую в сердце, что сожжено на уголь, но удержать этого битого сердца не могу, и оно возгорается злобою на утеснителей народа, на его катов, оно преисполняется гневом на хулителей моего бога, ополчается местью на его ненавистников! Если мне назначена за осквернение сана моего здесь, на земле, кара, я, ей-ей, с утехой ее приму, если господь...

— Бог любы есть,— вздохнул кротко игумен.

— Да, господь,— поднял взволнованный голос препоясанный мечом батюшка,— но не я, ничтожный червь, облеченный греховною плотью,— я верую, что этот-то неисчерпаемый источник любви и простит мое буйное сердце. Если Христос, сын бога живого, не мог вынести поруганий над храмом господним и поднял руку с вервием на торгашей, то как же мне, буйному, не поднять было меча на разрушителей божьих домов, на гонителей

христиан? Но я поднял его, и будь я проклят, если он не задымился в крови поганых латинцев, а за моим мечом поднялись тысячи подъяремных рабов и стали очищать от напастников святорусскую землю...

— Но нам бы довлело скорее подвизаться молитвой, благостыней да призрением раненых и осиротелых и тем помогать славным борцам...— пробовал еще возражать настоятель.

— Каждому убо свое,— ответил после некоторого молчания батюшка,— кто крестом, а кто пестом... На клич нашего батька, нашего преславного гетмана Богдана, отозвались с усердием и рачительностью все братства, все церкви, все обители: то деньгами стали снабжать его, то оружием, то возбуждением к брани мирян. Львовский владыка Арсений Желиборский посылал не раз козакам гарматы, рушницы, порох и пули, не говорю уже про харчи и гроши. Луцкий владыка Афанасий снабдил Морозенка всякою зброей, а Кривоносу подарил несколько гаковниц и две гарматы... Киевский архимандрит... да что, все священники и чернецы помогают нам, чем только могут: подбуривают народ, собирают везде сведения о неприятеле и передают их друг через друга нашим бойцам... даже некоторые черницы поступили в отряд Варьки... Брань-бо повстала великая, и на весы ее кинуты и святой греческий крест, и весь русский народ... Правда, в Московском царстве еще сияют наши храмы и живет родной нам народ; но если Польша сотрет нас на порох и обратит в рабов, тогда она пойдет и на Москву и там начнет заводить латинство... Прииде час, отче, когда и ягнята должны острить свои зубы, когда и кроткие голубицы должны отточить свои пазури.

— Что же... ты, брате мой, быть может, и прав,— сдавался игумен, выведенный из душевного равновесия пламенными речами своего гостя,— не упадет единый волос без воли отца нашего небесного... Значит, коли воздвиглись на брань и служители алтаря, то и на то есть соизволение господне... Только сказано в писании: «Храм мой есть храм молитвы, а не торжище мести».

— Но сказано тоже в святом писании: «Ополчу ангелов моих на сонмища нечестивых...» А коли и святые ангелы подъемлют меч на нечистую силу, то мы и подавно; только нужно освятить меч на великую брань... Велебный отче,— заговорил горячо собеседник,— ты, за-

крытый от мира непроходимыми лесами да болотами, в тихой своей обители не мог видеть тех ужасов, гвалтов, кощунств, что творятся на широкой нашей земле; до тебя только мог доноситься издали стон замученного, закатованного народа, а потому твое кроткое сердце, преисполненное любви, могло только скорбеть и сокрушаться в горячей молитве... Но если бы твои очи увидели груды истерзанных трупов старцев, жен и младенцев, застывшие лужи крови, чернеющие кладбища пожарищ, оскверненные храмы, поруганные святыни... о, и твое бы всепрощающее сердце не вынесло такого пануванья сатанинских катов, и ты бы разорвал от горя свою власяницу, воскликнувши горько: «Лучше падите в борьбе за свой крест, а не терпите издевательств над ним!»

— Да, да... Ты прав,— шептал и загорался сердцем игумен,— есть и воинствующая церковь на небе.

— Есть и должна быть,— воодушевлялся все больше батюшка,— пока будет на свете зло... Дозволь же хоть мне, святой отче, если это не довлеет твоему высокому сану, дозволь хоть мне освятить меч, принесенный в храм сей, освятить его лишь на служение нашей зневаженной вере...

— Да будет так! — наклонил голову настоятель и, поднявши глаза на лик спасителя в терновом венке, озаренный лампадкой, добавил тихо: — Ты пострадал еси за нас, грешных, так благослови же и нас пострадать за тебя...— Лампадка вспыхнула, и тихий треск ее раздался по келье. Батюшка оглянулся. В это время кто-то стукнул осторожно в низенькую дверь.

— Благослови, владыка, — послышался за дверью сдержанный голос.

— И ныне, и присно, и во веки веков,— ответил игумен.

Низенькая дверь отворилась, и в нее, полусогнувшись, вошел знакомый нам Ганджа, присланный Богданом с письмом к Киселю. Когда козак расправился, то ударился даже макушкой головы о низенький сводчатый потолок кельи.

Козак благовейно подошел под благословение игумена и, всмотревшись в сидящего батюшку, радостно вскрикнул:

— Батюшка наш! Отец Иван!

— Ганджа! — изумился, привставши, батюшка-воин.

— Он самый, зубатый Ганджа! — улыбнулся широкою и страшною улыбкой козак.— Благослови же, будь ласков, меня и ты, славный наш, честный наш попе! — подошел он к руке батюшки.

— Да пребудет над тобою ласка божья,— произнес радостно батюшка.— Только мы с тобою почеломкаемся по-товарыськи, по-козацки! — И он обнял Ганджу и поцеловал накрест трижды.

— А что доброго у вас чуть? — спросил игумен.

— А вот ясновельможный наш гетман прислал твоей превелебности торбинку дукатов на молитвы за его здравие и за его справу.

— Спасибо, спасибо ясновельможному,— покачал головою тронутый настоятель.— Но теперь благостыни от него не приму; теперь мы должны ему открыть свои ризницы... Вот возьмешь, козаче, от нас четыре гарматы... повезешь в дар нашему новому Моисею, что задумал из ярма египетского освободить народ,— нас и без них защитят болота да трясины, а ему гарматы снадобятся. А молиться за него мы и без того молимся денно и нощно.

— Челом превелебному владыке до земли за гарматы,— поклонился низко Ганджа,— и от ясного гетмана, и от славного войска Запорожского, и от всей Украйны. Только вот за дукаты... не знаю как... чтоб батько наш не обиделся.

— Ничего, я отпишу ему. Да присядь, козаче, в моей келье вон на лаву, да расскажи нам про дела. Мы-то в лесной глуши только с богом беседуем, а мирское до нас, почитай, и не доходит ничто, а только эхом отдается.

— Что же, святой отче,— начал, усевшись, Ганджа,— вести, хвалить бога, все добрые... таки сглянулся милосердный над нами, и за ласки его Украйна вся встрепенулась... Гетманские универсалы везде разбудили подневольный люд, я уже и не говорю о козаках, что сразу примкнули к рейстровикам и к войскам наших полковников. А то простые селяне соберутся в сотню-другую, выберут себе ватажка и пойдут гулять-полевать за панами, а батько наш ясновельможный разослал еще полковников своих по всем краям Украйны... Морозенка на Волынь, тут теперь должен быть и Чарнота; Кривоноса в Вышневеччину,— он очистил первый Переяслав от не-

чисти, а теперь гоняется за Яремой... а меня вот на Подол. Ну мы с Кривошапкою да с Богуном тоже здорово погуляли и несчастный люд звеселили: взяли Немиров, Брацлав, Красное, Винницу, Нестервар... Словом, брали мы везде верх, впрочем, по правде сказать, не над чем было и верх брать, так как паны всюду тикают без оглядки, кидают и замки свои, и добро, а с одной лишь душой спасаются... да и то бардзо им трудно: за каждым деревом, за каждым кустом ждет их либо козак, либо бывший их хлоп, а где и запрутся в замке, так не надолго — его добудем хоть силой, хоть хитростью: либо панские слуги посбрасывают в ров висящие на мурах гаковницы и широкие смигавницы, либо отворят нам браму, а то переоденемся мы ляхами, словно помощники их, да и подкатим с гуляйгородинами *, и тогда уже помолись за наши грехи, святый отче,—нема им пощады!

— Над лежачим и покорным нужно бы, дети мои, милосердия больше,— заметил, вздохнувши глубоко, настоятель.

— Да сердца, велебный панотче, не сдержишь! А и то, как их миловать, когда они и теперь, где только смогут, не щадят нашего брата? Бывает, примером, что по трудам по великим черкнет оковитой либо меду загон через край... потому что, известно: «Чи умрешь, чи повиснешь — раз маты родыла». А тут на сонных налетят ляхи, ну, и всех перережут, а над последними так нагнушаются, как не придет в голову и поганому азиату... особенно зверюка Ярема.

— Да, этот изувер, богоотступник горше всякого зверя! — ударил о стол кулаком гневно поп-воин.— Отец его, благочестивый Михаил, сооружал везде православные храмы, а перевертень сын их руйнует да строит латинские костелы.

— Да еще мало того, что руйнует, а издевается... Загоняет в церкви свиней, расстреливает наши иконы... Ну и мы-то, как доберемся до костела, платим им тем же.

— Ох, господи, до чего доводит злоба людей! — воскликнул взволнованным голосом старец.

— Еще бы! — согласился Ганджа.— Вот этот самый

* Гуляйгородина — рухома вежа на колесах, якою прикривалось піше військо при штурмі ворожих укріплень.

Ярема, прослышавши про победы нашего батька гетмана, собрал тысяч восемь шляхтичей и пошел по селам и местечкам неповинных людей вешать, сажать на кол, распиливать, разрывать клещами, а с несчастной жоното́й что делал, так не повернется язык и промолвить этого в святом месте. Где он с своею чертячьею командой ни проходил, так за ним оставалась пустыня. И так дошел аж до Переяслава; батько Богдан послал к нему послов, чтоб он одумался, вспомнил, что перемирие, так он и послов посадил на пали. Тогда против него выступил Кривонос, а этот тоже в лютости с князем поспорит. Ну, Ярема и побоялся встретиться с Кривоносом, и посунулся назад в Лубны, выпроводив свою жинку куда-то в эти края, забрал что смог наскоро из своего добра и попрощался навеки со своим городом. Кривонос в Лубны, а Ярема — в Житомир... злучился с киевским воеводой Тышкевичем.

— Тоже из наших же шляхтичей, русской веры,— проворчал злобно батюшка,— а перевертнем стал, чертовый обляшок.

— Так, так! — кивнул головой Ганджа.— Ну вот, с этим обляшком ударил наш перевертень на Погребище,— куда ж было им защищаться от такой силы? Погребищане вынесли навстречу князю хлеб-соль и иконы и молят о пощаде. Так разве такого зверя умолишь? Всех до единого истребил, до грудного младенца, да еще как,— волос дыбом встает! А над батюшками, каких застал, так уж так накатувался, как и лютейшему сатане не придет в рогатую голову!

— О,— заметил священник,— наш сан ему наиболее ненавистен!

— Укроти его сердце, царица небесная! — поднял глаза к небу игумен.

## XXXIII

— Нет, святой отец,— возразил Ганджа,— силы небесные не коснутся такого чудовища, как Ярема, Вот не доведется никак столкнуться с ним Кривоносу: плюндрует он княжьи маетности, да князя никак не поймает... Вот это как я ехал сюда, так он добре пошарпал Махновку Тышкевича [36], а может быть, уже и этого перевертня добыл в его замке. Потому что после Погребищ

Тышкевич пошел в свою дедовщину, а Ярема двинулся к своей маетности Немирову, чтобы запастись провиантом; немировцы же, признавшие власть нашего гетмана, после того как мы там побывали, на радостях добре выпили и не разобрали с пьяных очей, с какою силой идет на них князь,— заперли ворота и ну кричать с валов: «Убирайтесь к сатане в зубы, никого мы, кроме нашего гетмана батька Богдана, знать не хотим!» Посатанел князь, велел с гармат палить. Пробили деревянный частокол и ворвались с двух сторон в город. Несчастные мещане и селяне, видя неминуемую смерть, в ноги ему, поднимают к небу руки, просят пощады, да, правду сказать, они ни в чем не были повинны, и князь ничего, милостиво улыбается и говорит, что накажет слегка только виновных. Что ж бы вы думали, святые отцы? Набил по всем улицам рядами кольев и начал на них сажать пятого, а сам стал прогуливаться по этим новым улицам с люлькой в зубах и, любуясь, шипеть всякому мученику: «Вот ты теперь, шельма, сидячи на пале, и поразмысли, как ослушаться князя». А потом, когда надоела ему эта прогулка, так он давай тешить себя еще и другими катуваньями; уж какие он придумывал, так чтоб его и весь род его все замученные им до конца света и по конце так терзали! Еще приговаривает, собака: «Так их, так им! Мучайте,— кричит,— так эту псю крев, чтоб чувствовали, что умирают!»

— Как же после этого, святой отче, к этим аспидам быть милосердным? — возопил батюшка, сжимая в волнении свои руки, так что слышен был хруст его пальцев.— Нет им пощады, нет и не будет! За кровь — кровь, за муки — муки! Я дитяти, младенцу дам в руки нож и крикну: режь этих извергов!

Старец чернец ничего не возражал на эти жестокие слова возмущенного гневом священника; он только дрожал, закрывши рукою глаза, и шептал беззвучными устами молитвы.

Вдруг раздался у маленькой двери робкий стук и послышался за ней тихий голос:

— Во имя господа нашего Иисуса Христа!

— Благословен грядый во имя господне! — ответил игумен.

В келию вошел келарь и, подошедши под благосло-

вение своего настоятеля, объявил, что уже пробила полночь, и что, если повелит его высокопревелебие, то пора ударить в звон для великой отправы, что богомольцы запрудили уже весь монастырский двор.

Игумен встал и остановился на несколько мгновений перед образами святого Ивана Воина и святого мученика Севастиана, словно испрашивая у них на то разрешения.

— Повелишь ли и мне, святый отче,— подошел к игумену отец Иван,— сказать слово народу и освятить его жертву?

Какая-то тень пронеслась по бледному, помертвевшему лику монаха, сердечная боль наполнила слезой его кроткие очи и подняла глубоким вздохом истощенную старческую грудь... Но эта последняя борьба длилась одно лишь мгновенье; старец поднял глаза и промолвил решительным голосом:

— Если на то воля господня, то не мне, грешному, ей противиться!

В небольшой сравнительно церкви с высоким, в пять ярусов, иконостасом, украшенным резными из дерева фигурами серафимов и херувимов, а также распятием на самом верху, с предстоящими божьей матерью и апостолом Иоанном, невыносимо душно и тесно. Церковь освещена по-праздничному: и главное паникадило, и два малых по сторонам, унизанные зелеными свечами, горят ярко; все ставники и висящие у наместных образов лампады тоже зажжены. Кадильный дым наполняет внутренность храма каким-то густым сизым туманом, в котором тускло мелькают, словно звездочки, сотни расплывчатых огоньков.

На трех папертях и подле церкви почти такая же давка; слышится кряхтенье, сдержанный стон и громким шепотом произносимое слово молитвы.

За толпой, окружающей плотною стеной храм, расставлены уже полукругом привезенные в монастырь возы; хозяева и несколько помощников-монахов торопливо и молча их распаковывают.

Ночь страшно темна; зловещая туча, озаряемая снопами прорезывающих ее молний, висит и волнуется над монастырем. В промежутках между вспышками молний мрак кажется до такой степени непроницаемым, что в двух шагах нельзя отличить предмета, и среди этого

беспросветного мрака освещенные двери храма кажутся какими-то пылающими четырехугольниками.

Из храма через эти открытые двери неясно доносятся звуки монашеского хора. Очевидно, служение приходит к концу.

Вот ударил главный колокол, и вслед за его низкими плавными звуками раздались частые удары меньших, сливаясь в какой-то торжественный, призывающий звон. Толпа заволновалась и закрестилась; из церкви стал выходить народ; вскоре показались в дверях наклоненные хоругви, кресты и фонари на длинных шестах, а за ними вышел в черной ризе, с крестом в руке, украшенным васильками, и сам настоятель монастыря в сопровождении двух иеромонахов с зажженными в руках свечами и диакона с кадильницей; за ними шли чинными рядами монахи, тоже со свечами в руках. Священнослужители остановились на верхней площадке паперти; по ступенькам широкого крыльца шпалерами расположились монахи; хоругви, кресты и фонари разделились внизу на два крыла, а за ними уже, широчайшим полукругом, понадвинулся народ.

При появлении настоятеля зачастил и усилился перезвон, поддерживаемый раскатами грома, а потом вдруг все стихло и наступила минута торжественной тишины.

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — раздался ясно среди этой тишины слабый, но уверенный голос отца игумена.— «Созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю»,— сказал господь, и святое бессмертное слово его воистину свершилось на наших грешных глазах, дети мои. Латинянами и иезуитами, а также приспешниками их, имущими власть, наша греко-русская церковь была унижена, придавлена и обречена на конечную гибель. Кто мог защитить ее от всесокрушающего напастника? Народ? Но он был обессилен, ограблен губителями нашего края и обращен в быдло, в подъяремных волов. Казалось, что смертный час уже всем нам пробил. Мы все были, как плененные древние иудеи, в цепях; храмы наши стояли в запустении или лежали в развалинах; святыни наши были поруганы; жилища наши пожраны были огнем; несчастный люд обречен был или изнывать в кайданах, потерявши даже лик человеческий, или скитаться, подобно хижему зверю, в лесах. Смерть, смерть, паки реку, стояла над нашим славным

и злосчастным племенем, над нашею святою верой... Но господь всесилен, и церкви его не одолеет никто! Долготерпение всевышнего истощилось, и он воздвиг среди труждающихся и обремененных вождя и вручил ему несокрушимый меч для освобождения от латинских пут нашей веры, для вызволения от панского ига народа. И, о чудо! Гордые победами полчища коронные разбиты, славные знамена их пали во прах, недоступные по величию гетманы повержены и отправлены в неволю... Панские команды везде рассеиваются, бегут; укрепленные гнездища их падают, повсюду очищается от губителей наша земля. Так, братие, во всем этом видна святая воля промыслителя и везде слышится призывный глас его архангелов к брани...

В это время раздался страшный грохот приближающейся грозы и прокатился по лесу перекатным эхом.

— Внемлите, дети мои,— поднял голос игумен, когда после ослепительного блеска и грохота наступило снова молчание в сгустившемся мраке,— се господь глаголет к вам громами и призывает восстать за его поруганный крест, восстать на хулителей его, на поработителей ваших. Приспе убо час ополчиться нам всем до едина, приспе последний и слушный нам час. Живота ли пожалеем за нашу душу, за нашу веру? Всякий, павший за крест, спасен будет и восприимет вечный покой. Мужайтесь же, братия, и подымайте на защиту нашей церкви мечи! Она их освящает на священную брань; но горе тому, кто обратит свой священный меч на корыстное житейское дело! Церковь освящает его, и он за веру только должен стоять. К падшим и беззащитным будьте милосердны и не уподобляйтесь неистовствам наших врагов. Очищайте лишь землю нашу от злобителей наших и от нечестивых, аки очищают ниву от вредоносных злаков, да воссияют снова в благолепии наши храмы, да потечет к ним реками свободный, без ярма, без знаков истязания люд и да вознесет вместе с дымом кадильным свои молитвы к надзвездному престолу вседержителя сил. Да пребудет же над вами всегда милость и благодать господа нашего Иисуса Христа, да вдохнут они мужество в ваши сердца, да даруют победу над нашим врагом!

Настоятель поднял крест и осенил им на три стороны столпившийся народ.

— Кто с ним и за него,— заключил он свое слово,

поднявши высоко крест, — тот неодолим, как твердыня!

— Все умрем, святой отче, за веру нашу! — промчался восторженный возглас по всем рядам, и тысяча рук поднялась вверх, словно принося перед этим сияющим храмом и мрачным, грохочущим небом безмолвную клятву.

Снова загудели колокола. Процессия двинулась к раскрытым возам, наполненным, как оказалось при свете фонарей и свечей, всякого рода холодным оружием, между которым грудами лежали грубые длинные, выкованные на подобие кинжалов ножи.

При торжественном звоне колоколов, при пении монахов, поддерживаемом некоторыми козаками, настоятель обошел все возы и окропил все оружие святою водой, а потом, при окончании освящения, прочел отпускную молитву, которую толпа выслушала, преклонив колени. Затем он осенил всех в последний раз крестом и возвратился вместе с монахами, священнослужителями и хоругвеносцами в церковь. Остался среди толпы, бросившейся к возам за разбором оружия, только воитель-священник отец Иван.

Началась суетливая толкотня у возов; всякому хотелось захватить что-либо лучшее из оружия; но толпа была фанатически настроена пламенным словом настоятеля, освятившего ей оружие на брань, и полна воинственного, ободряющего душу настроения. Радостное чувство прорывалось то там, то сям в высказываемых надеждах, в беглых сообщениях, отрадных, хотя и преувеличенных вестях и в сдержанных шутках.

— Вот теперь, диду,— отозвался приставший по пути спутник лищинянин, дотронувшись до его плеча,— получайте и для себя, и для своего хлопца тарань; теперь она уже окроплена святою водой, а прежде показывать ее было грешно...

— Так, так,— улыбался дед, помахивая седою головой,— теперь уже я добре знаю, какая это тарань, а то щупаю и не разберу, а она, выходит, железная! Хехе!.. Славная рыба, только подавятся ею с непривычки паны.

— На погибель им! — крикнул лищинянин.

— На погибель! — повторило несколько голосов.

— Что же, хлопче, — обратился к Оксане дед,—

выбирай и ты свяченого по руке; теперь он снадобится и старцам и детям, бо настал, слышал ведь, слушный час!

— Возьму, возьму! — приподымался на цыпочках к возу дедов внук, не слышавший от радости и от опьяняющего восторга земли под собой.— Только куда же мы, диду, отсюда пойдем? Куда и когда? Теперь же нам нечего тут оставаться и минуты!

— А куда же нам торопиться? — поддразнивал дед, запихивая за голенище выбранный нож.— Тут отдохнем пока...

— Что вы, диду? — заволновался встревоженный хлопец.— Я ни за что... ни хвылынки здесь не останусь: мне нужно как можно скорее доставить письмо нашему гетману... а тут возле Корца его полковник...

— Морозенко? — хихикнул дед.— Что ж, подождет...

— Я не знаю как... все равно...— замялся вспыхнувший полымем внук,— а только вы же, диду, обещались... а теперь, когда...

— Не бойся, коли обещал, то и проведу,— успокоил хлопца дед,— то я пошутил, а ты, кажись, уже готов был и расплакаться? Гай-гай!

— Нет, диду! Не до слез теперь! — прижался внук к нему и, схватив его костлявую руку, поцеловал ее горячо.

А отец Иван в это время разговаривал оживленно то с одним селянином, то с другим, то здоровался и обнимался с знакомыми козаками.

Когда оружие было разобрано толпой и она несколько поугомонилась, то батюшка, подняв вверх свою саблю, крикнул всем зычным голосом, покрывшим сразу гул тысячеголовой толпы:

— Братие! Благочестивые миряне! Панове товарыство! Дозвольте речь держать!

— Рады слушать!.. Батюшка, батюшка говорит!.. Тише, говорят вам, тише! — раздались со всех сторон возгласы, и вскоре все смолкло в напряженном внимании.

— Товарищи мои и други! — начал батюшка.— Святой отец благословил вам оружие и именем господним призвал вас поднять его на наших врагов... а я, грешный, вам еще добавлю: не теряйте ни минуты времени, а поднимайте его скорей; враги наши не спят и не смиряются, а, закаменелые в сатанинской злобе, снова со-

бирают свои полчища, чтобы двинуться с разорением и пеклом на наш край; они обманывают нашего батька гетмана желанием будто бы мира... Врут демонские ляхи, все брешут! Им верить нельзя! Так не допустим же, братцы, собраться им, каторжным, с силами! Гоните их и всех панов с нашей земли; истребляйте их твердыни, уничтожайте имущество... никого не щадите! Лучше вырвать с корнем бурьян, а то опять расплодится и попсует наши нивы!

— Так, так! — загоготала злобно толпа.— Какая им пощада? Никакой! Разве они щадили наших жен и детей? Разве они не снимали с наших побитых батожьями спин последней сорочки? Разве они не знущались над нашими попами и над нашею верой?

— «Око за око, зуб за зуб!» — глаголет древле бог во Израиле». Так и мы будем говорить во брани, пока не отобьем своих церквей и не станем опять христианами,— снова заговорил батюшка.— Во всей Киевщине и Вишневеччине, в половине Подолии, в части Червоной Руси и Волыни уже нет ни одного пана, ни одного жида; очищайте же и вы от нечисти поскорее Волынь и переносите меч свой в Литву: нужно, чтобы во всей нашей Руси, если снова на нее нахлынут из Польши войска, не осталось ни одного им помощника, ни одного своего человека.

— А как же нам поступить? — обратился к батюшке один из судей гущанского корчмаря.— Дидыч-то наш, правда, грецкого закона и русский, а держит он только экономов, есаулов да арендарей кровных ляхов, которые знущаются над нами. Так как быть нам, панотец, с нашим паном?

— А вот как, людие! — воскликнул гневно священник.— Самого Киселя не троньте, так и ясновельможный гетман велел, а всех ляхов, катов трощите моею рукой, да и ихние гнезда истребляйте, чтобы неповадно было гадам в них жить. Да что? Я сам с вами в Гущу пойду и поблагословлю лиходеев, а остальные пусть отправляются к Корцу, на подмогу нашим загонам.

— Добре, батюшка, добре! — крикнула единодушно толпа.— Идем! На погибель им! На погибель всем нашим ворогам!

В это время сверкнула ослепительно молния и страшный удар грома заставил вздрогнуть суеверную толпу.

## XXXIV.

Небольшая банда поселян, вооруженных копьями, косами, вилами и ножами, выбралась из хустского леса и стала осторожно врассыпную пробираться перелесками да оврагами, придерживаясь дороги, ведущей к Корцу. Никто, конечно, из этой нестройной, разношерстой толпы и не думал нападать на укрепленный замок князя Корецкого, где, кроме княжеской семьи и хорошо вооруженной команды, было много отрядов и других польских магнатов, съехавшихся в это недоступное гнездо, но всякий надеялся встретить под Корцом загоны Морозенка или Чарноты, о которых сообщали в монастыре.

После вчерашнего проливного дождя всюду стояли огромные лужи, а в долинах — целые озера, через которые приходилось брести почти по пояс в воде, но зато гроза очистила воздух и наполнила его освежительною, ароматною прохладой. Дорога шла все лесом; иногда он разрывался, и путники выходили на широкое поле густой, нескошенной травы или полегшего жита.

Но такие перерывы встречались очень редко, лес снова смыкался за полем, и путники вступали опять под его прохладную тень.

Усталые, измокшие, они тащились молча и осторожно, стараясь производить как можно меньше шума.

Дальше можно было держать себя смелее, но здесь, вблизи от Гущи, в которой сосредоточивались такие силы пана воеводы и к которой отправился отец Иван с поселянами, надо было соблюдать большую осторожность.

Солнце уже стояло над самою головой и показывало полдень, а путники до сих пор еще не делали привала. Оксана, впрочем, не ощущала никакой усталости, она не чувствовала ни тяжести своего тела, ни страшных пузырей, натертых на ногах; она ощущала в своем сердце только такой безграничный прилив радости и счастья, который все эти физические страдания делал ничтожными и легко переносимыми. Силы ее утроивались от этого необычайного подъема духа. Ей казалось, что люди двигаются невыносимо медленно, хотелось бежать, на крыльях лететь туда, где ждет он, дорогой, так мучительно любимый, так бесконечно долго жданный!

— Олексо! Олексо! Жизнь моя, счастье мое! — шеп-

тала она, прижимая руки к сердцу, будучи не в силах подавить свое волнение.

Но вдруг восторг ее сменялся отчаянием и сомнением. Она уже так привыкла к горестям и разочарованиям, что боялась верить этому близкому счастью. Воспоминания о мнимом спасении ее Комаровским, о побеге с Ясинским смущали ее сердце предчувствиями какого-то несчастия и горя. Ей начинало казаться, что это обман, что сообщение о Морозенке принес какой-нибудь лядский шпиг для того, чтобы вовлечь их в западню; то ей казалось, что сама она ослышалась, что никто не упоминал имени Олексы; то ей казалось, что он уже пойман, замучен, четвертован.

Наконец ее треволнения достигли такой степени, что она решилась обратиться к деду.

— Диду,— произнесла она как можно тише,— да это правда ли, что Морозенко здесь недалеко?

— Что ты, что ты, хлопче,— повернулся к ней дед,— я вот расспрашивал опять людей... сами его видели, говорят все, что здесь он передохнет с день, не больше, потому — спешит к батьку Богдану.

— Свите божий! А мы так ползем! — воскликнула Оксана.

— Тише ты, дурной! — дернул ее дед за рукав сорочки.— Да мы и так гоним без передышки, словно дети, забавляясь игрой в гусей. Я уж давно ног не слышу, и то пора бы сделать привал, а то понатужимся сразу, а потом не хватит сил.

Но Оксана словно не слыхала его предостережения.

— Господи! Когда бы скорее! — вырвался у нее такой горячий возглас, что шедший с ней рядом угрюмый крестьянин спросил с изумлением:

— А тебе чего это, хлопче, так больно Морозенко понадобился?

Оксана сразу смешалась.

— Брат он ему, видишь ли, старший,— поторопился объяснить дед.— Семью их всю вырезали, осталось их только двойко, да вот и то его,— указал он на Оксану,— уволок пан Чаплинский с собою, а мы с ним выкрались да и спешим теперь к брату.

— Ага, вот оно что! — произнес крестьянин.— Ну, это в наше время не диковина, хлопче! Сиротят они так

и отцов, и детей! — И, подавивши короткий вздох, он погрузился снова в свои, очевидно, невеселые думы.

Это маленькое происшествие заставило Оксану быть осторожной: до самого привала она не проронила ни слова, повторяя только в мечтах имя Олексы и прилагая к нему все нежные, дорогие названия, какие только могло подсказать ей нежное, переполненное любовью сердце.

Уже солнце начало склоняться к горизонту, когда решено было остановиться для привала.

Усталые путники размотали свои измученные ноги, закусили хлебом с огурцами и прилегли заснуть, чтобы быть в силах ночью снова продолжать свой путь.

Уже давно в воздухе носилась какая-то желтоватая мгла и слышался запах гари, но путники, подавленные своими думами, не замечали этого во время своего пути и, расположившись на покой, заснули сразу. Но когда начало темнеть и сумрак сгустился в лесу, один из поселян, поставленных на страже, обратил внимание всех на край неба, начавший светиться из-за леса алым заревом.

— Горит, братцы, горит в той стороне что-то! — крикнул он тревожно.

— Горит, и здорово,— поднялся дед,— видимо, далеко, а сколько захватило неба.

Все вскочили.

— А влезь-ка, кто помоложе, на дуб,— обратился к Оксане первый угрюмый крестьянин,— где именно пожар, не в нашем ли селе?

Оксана не заставила повторять просьбы и бросилась карабкаться на дуб, но делала это неумело и все скользила ногами.

— Да как ты лезешь? Ты обхвати ногами дерево да и двигайся! — ворчал угрюмый мужик.— Гай-гай, а еще хлопец! Мало разве надрал на своем веку сорочьих да вороньих гнезд?

— Да он больше возле чертовых панов козачком был,— вступился дед,— а вот я подставлю плечо,— подсадил он Оксану на первую ветку, с которой уже легко было выкарабкаться на верхушку.

— Ну-ну?.. Ну что, где горит? — заинтересовались все путники, разбуженные тревогой.

— Вон там за лесом, будто у речки...

— Так и есть, что у нас в Гуще,— потревожились некоторые.

— В Гуще, в Гуще, нигде как в Гуще,— подтвердили другие.

— Что это, жгут, верно, наших ляхи? — вскрикнул гневно угрюмый мужик.

— Ну нет,— заговорил уверенно дед,— Кисель свое добро жечь не станет, это, должно быть, отец Иван поблагословил молодцам распалить люльки.

— Верно, верно! — подхватили многие.— А если это наши,— помогай им бог, пусть и наше добро все прахом пойдет, лишь бы проклятым ворогам добре икнулось!

Все заговорили на эту тему, сон и утомление прошли сразу; решили двигаться дальше, боясь, чтобы не настигли всполошенные поляки, которые, наверно, станут удирать из Гущи.

Вскоре взошла луна, и идти стало еще лучше. Покинувши извилистые и тенистые тропинки, путники решили пойти ночью большою дорогой.

Было уж пройдено еще верст пять-шесть, когда первая Оксана заметила мелькнувший вдали между дерев огонек.

— Панове, огонь, огонь! — вскрикнула она, указывая рукой по направлению светящегося пятнышка.

— Тс... тише! — схватил ее за руку дед.

— Где, где огонь? — начали осматриваться окружающие.

— Да вот, вот... — показывала Оксана.

Но огонек, мелькнувший вдали, скрылся вдруг куда-то, словно провалился сквозь землю. Несколько минут путники напрасно колесили вокруг, отыскивая его, но огонек скрылся.

— Уж не показалось ли тебе, хлопче? — спросил наконец с сомнением дед.

— Да нет же, нет, видел! Крестом святым клянусь!— уверяла, чуть не плача, Оксана.

Несколько хлопцев разбежалось в разные стороны, и вскоре послышался радостный, громкий шепот:

— Есть, есть, панове, и не один, несколько... Это костры горят, версты две отсюда, рукой подать.

— Морозенко, Морозенко! Он, дидуню! — вскрикнула радостно Оксана.

— Да молчи ты с своим Морозенком! — дернул ее

сердито за руку дед.— Тут, панове-браты, надо поступить осторожно. Быть может, на Морозенка будем целить, а к ляхам попадем в зубы.

— Какие тут ляхи? Нет никого! Да это тот же и есть Волчий лес, где Морозенко должен отдыхать, а он уж поблизу себя не потерпит лядского духу! — раздались кругом восклицания.

Но дед остановил всех:

— Э, нет, панове, поверьте уж моей седине, послушайте меня: осторожность нам не помешает. Положим, что оно и вернее то, что это Морозенко, ну, а что, как вдруг ляхи? Все может статься. Быть может, это какие беглые паны перекрываются, а у них ведь с собой и мушкеты, и пистоли, а у нас на всю братию не найдется и двух. Так не лучше ли будет, когда мы станем подвигаться понемножку, а вперед лазутчиков пошлем? Убытку нам от этого никакого не будет, а добро большое: уж недаром старые люди говорят, что береженого бог бережет.

Решено было выслать вперед несколько лазутчиков, которые должны были подползти к самому лагерю и разузнать, кто это такие, и в благоприятном случае выстрелить два раза из мушкета.

Как ни уговаривал Оксану дед, чтобы она не шла вместе с ними, хлопец настаивал на своем.

— Ну только ж смотрите, дети, осторожно, тихо подползайте,— наставлял их еще раз дед,— а мы будем понемногу подвигаться вперед.

— Да не бойся, диду,— ответил угрюмый мужик, вызвавшийся тоже идти вперед,— не выдадим.

— Ну, с богом, дети, а коли что, так спешите назад, мы будем недалеко.

Парубки перекрестились и двинулись вперед.

Все шли воровски тихо, не произнося ни слова. В лесу было глухо и сыро, как в могиле, набежавшие тучи закрыли луну. Каждая треснувшая ветка заставляла вздрагивать всем телом. Слышалось только учащенное дыхание движущихся без шума фигур. Оксана шла рядом с угрюмым мужиком. От волнения ей захватывало дух, ей казалось, что стук ее сердца разносится по всему лесу. Так прошло четверть часа. Вдруг один из передовых парубков шепнул едва слышно:

— Огонь.

Все вздрогнули, насторожились и повернулись в ту сторону, куда указывала его рука.

Действительно, среди стволов деревьев мелькнул, как звездочка, огонек. Парубки, удвоив осторожность, двинулись торопливо вперед. Вскоре можно было уже ясно различить четыре больших огня, по-видимому, четыре костра.

— Ну, панове, теперь ползком, разобьемся по двое,— заговорил едва слышным шепотом угрюмый мужик,— вон где они, в долине.

Парубки разделились на три группы и поползли по земле. Лезть было тяжело и неудобно. Несколько раз Оксана натыкалась в темноте на острый сучок или еловую шишку, но она не замечала ничего.

— Слышишь, лошади храпят!—раздался над ее ухом шепот соседа.

Оксана прислушалась и действительно услышала лошадиный храп.

— Конные...— прошептал снова мужик.— Либо козаки, либо паны, но не наш брат, серяк.

Они подвигались дальше. Почва начала понижаться.

— Обрыв, хлопче,— прошептал снова мужик,— будь осторожен, не кувыркнись...

— Не бойтесь, дядьку,— едва могла ответить задыхающаяся от волнения Оксана.

Но вот деревья начали редеть, и наконец лазутчики очутились почти на самом краю обрыва.

— Ты дальше не лезь, хлопче, посмотрим: видно и отсюда,— удерживал ее за плечо мужик.

Оксана замерла на месте и, вытянувшись, из-за дерева начала всматриваться в то, что происходило внизу.

В долине, окруженной со всех сторон лесами, горели ярко четыре больших костра с установленными на них котелками. Вокруг них сидело душ сто козаков в синих жупанах, смушевых шапках, а между ними мелькали и хлопские серяки.

— Наши, наши, дядьку! — вскрикнула громко Оксана.— Смотрите, козацкие шапки, жупаны!

— А почему ж их душ сто, не больше? — заметил ещё нерешительно мужик.

— Кто знает, они нам расскажут... быть может, это передовой отряд... идем, идем скорее,—задыхалась Оксана, дергая крестьянина за рукав.

— Стой,— остановил он ее,— мне послышалось какое-то лядское слово.

— Да нет же, нет! — вскрикнула нетерпеливо Оксана.— Ведь видите же вы — козаки... козаки! — и с этими словами она бросилась вперед.

Крестьянин поспешил за ней. Через две минуты они уже стояли на краю обрыва.

Появление их было замечено среди козаков и вызвало сильное волнение.

— Эй, кто там? До зброи! — закричали некоторые из них, подымая ружья.

— Стойте, стойте, братове! — замахали Оксана и крестьянин шапками, спускаясь с обрыва.

— Свои, свои, свои!

Последний возглас, казалось, не произвел особенно приятного впечатления на козаков, но они остановились, не спуская мушкетов.

Оксана не сбежала, а слетела с обрыва.

— Вы от Морозенка, от Морозенка, панове? — бросилась она к ним с вопросом.

— Гм... вот что! Да, от Морозенка,— ответили ей некоторые; другие переглянулись.

— Где же он?

— А тут близютко... А вы куда?

— Мы с загоном... нас выслали вперед разведать, чтобы не налететь на поляков...

— С загоном? — переспросил встревоженно один из козаков, казавшийся старшим.— А много ли вас?

— Нет, всего тридцать.

Козак шепнул что-то другому и продолжал свои распросы:

— Куда же это вы шли?

— Да к Морозенку, спешили соединиться... говорили, что он недалеко.

— Да это он нас выслал вперед, а где же ваши товарищи?

— Здесь, в лесу,— ждут гасла,— ответил крестьянин.

— Ну так давайте ж его скорее... чего же вы ждете? — зашумели кругом козаки. В это время из опушки показались и другие четыре парубка. Крестьянин, пришедший с Оксаной, поднял пистолеты и дал один за другим два выстрела.

Оксана засыпала вопросами давно желанных друзей,

но они большей частью отмалчивались или произносили какое-нибудь односложное слово.

Не прошло и получаса, как из опушки начали показываться вооруженные ножами, дрекольями, самодельными мечами крестьяне; козаки приветствовали их громкими радостными восклицаниями.

— Ну что же, теперь все, диду? — спросил старший из козаков деда, когда последние группы спустились с обрыва.

— Все, все, сынку! — ответил старик.

— Ну так пойдем к атаману, оставьте только тут дреколье,— скомандовал козак.

Крестьяне побросали наземь оружие и тихо, поснимав шапки, последовали за козаком. Остальные козаки двинулись полукругом за ними. Но не успели они сделать и нескольких шагов, как вдруг раздался чей-то визгливый, шипящий голос:

— На пали их всех, на виселицы быдло!

Если бы в это время земля провалилась под ногами поселян, они не так бы испугались и поразились, как от этого возгласа; они даже сразу не поняли, что случилось, как это козаки начали кричать по-польски и ругать их быдлом? Но им не дали опомниться. С гиком, с дикими криками набросились на них со всех сторон переодетые ляхи.

— А что, поймались, псы, схизматы, быдло! — раздались со всех сторон яростные польские возгласы, и, выхвативши кинжалы, ножи и сабли, ринулись на крестьян разъяренные ляхи.

— Зрада! Зрада! За ножи, братове! — раздались крики среди крестьян.

Некоторые схватились за ножи, но так как они против сабель и копий оказались ничтожными, то защищаться было нечем.

Произошла какая-то безобразная свалка: поляки набрасывались на крестьян, валили их на землю, скручивали веревками, прикалывали кинжалами.

Почти никто не сопротивлялся.

И неожиданность, и ужас, и беспомощность парализовали совершенно крестьян.

А чей-то визгливый голос все выкрикивал:

— Оставьте несколько псов для потехи, шкуру с живых сдерем, на колья посадим. Гей, готовьте пали и

веревки, мы им покажем Морозенка! А вы, бестии, подумали, что это и вправду козаки? Ха-ха-ха, только вашу шкуру надели, чтобы лучше ловить вас и карать за бунтарство! — кричал и шипел голос, разражаясь какими-то дьявольскими проклятиями.

Когда Оксана услыхала этот голос, он ей показался знакомым, но из всех его проклятий она поняла только одно: что она снова попала в ловушку к полякам. Охватившее ее отчаяние было так велико, что Оксана почувствовала вдруг, как всякая энергия, всякая жажда жизни покидает ее.

«Ох, смерть, скорее бы только!» пронеслось в голове ее, и она безропотно дала связать себя, когда очередь дошла до нее.

## XXXV

Расправа с крестьянами продолжалась недолго: через четверть часа все оставшиеся в живых уже лежали на земле, связанные веревками.

— Ну, теперь стругайте скорее пали, панове! — раздался над Оксаной тот же визгливый голос.— Половину этого быдла на пали, а половину повыше — на деревья. Можно было бы с ними разделаться и лучше, да жаль время терять!

С этими словами говоривший шляхтич, одетый в костюм крестьянина, толкнул Оксану изо всей силы ногой; но Оксана даже не полюбопытствовала поднять голову и взглянуть в лицо тому, в чьи руки досталась ее жизнь; она даже почти и не почувствовала удара.

Повернувшись лицом к земле, она шептала побелевшими губами:

— Смерть... смерть... скорее бы! Эх, нет сил больше жить!

Ляхи исполняли торопливо приказания своего начальника.

— Третьего на кол,— скомандовал он резко и, указавши на деда, прибавил: — Этого старого пса связать и в живых оставить,— расспросим с угольками.

Началась последняя конвульсивная борьба жертв. Раздались раздирающие душу вопли и стоны. Ляхи подымали крестьян, набрасывали им на шеи веревки и с

громким хохотом вздергивали на деревья; других раздевали донага и тащили на пали.

— Так вам, псам, так вам, собакам,— приговаривал злобный, шипящий голос начальника отряда,— корчьтесь, шельмы; захотелось панами быть, вот вам и честь! Сидите, сидите спокойно, а я постою перед вами!

Некоторые из крестьян падали шляхтичу в ноги с мольбами о пощаде, но вопли эти, казалось, раздражали его еще больше.

Большинство же крестьян шло тихо, покорно и тупо, как идет в бойню подгоняемый резником бык.

Наконец очередь дошла до́ Оксаны. Оксана быстро поднялась с земли и, повернувшись к деду, произнесла тихо:

— Простите, дидуню, если когда обидела в чем вас.

— Бог простит тебя, дитя мое, прости и ты меня,— ответил дрогнувшим голосом дед, утирая глаза.

Оксана поспешно наклонилась и прижалась губами к руке старика.

Дед осенил ее крестом.

— Да вот еще, дидуню,— сняла она торопливо зашитый в парчу пакет.— Вас оставили в живых, возьмите спрячьте, быть может, удастся спастись,— это батьку Богдану нужно. А Олексе, увидите его, скажите, что любила, люблю и буду вечно... вечно...

Но в это время над головою Оксаны раздался голос старшего ляха, одетого козаком, с которым она разговаривала вначале.

— А вот и тот хлопец, который все о Морозенке толковал, он может нам много рассказать!

— Тащи его, песьего сына, сюда! — скомандовал визгливый голос.

Оксана вздрогнула с головы до ног. Ужасная догадка прорезала вдруг ее мысли. Она подняла голову, взглянула и замерла.

Перед ней стоял Ясинский.

Оксана пошатнулась и едва не упала на пол.

О господи, да неужели же и смерть не даст ей господь, а позор?

Грубый толчок поляка заставил ее очнуться.

— Ну, иди ж, иди, чего упираешься? — крикнул он сердито, приправляя свои слова добрым ударом кулака.

Оксана сделала несколько шагов; ей показалось, что

Ясинский не узнал ее, и пока решилась молчать, не подымая головы, чтобы быть поскорее осужденной на смерть. «Прощай, Олекса, навеки!» — произнесла она про себя и начала повторять слова молитвы.

— Ну, говори, щенок, поскорее: что ты знаешь об этом собачьем схизмате? — крикнул Ясинский.

Оксана молчала.

— Где он? Сколько у него быдла? Куда идет? — продолжал он допрашивать.

Оксана закусила губу и опустила еще ниже голову.

— Ишь, хлопская тварь, как молчит теперь, змееныш! — крикнул грубо приведший Оксану лях и ударил ее со всей силы кулаком под подбородок.

Голова Оксаны невольно подскочила вверх, от сильного толчка шапка слетела с нее, волосы рассыпались и закрыли до половины лицо.— А тогда, небось, как трещал,— продолжал он: — «Здесь, мол, недалеко брат мой коханый...» Отвечай же, когда ясный пан тебя спрашивает! — замахнулся он снова кулаком.

Но Ясинский перебил его с тревогой в голосе:

— Недалеко, говорил хлопец?

— Да ведь это они к нему и спешили! — ответил лях.

— Что ж ты молчишь, щенок? Отвечай сейчас, или я запорю тебя канчуками! — заревел Ясинский, наступая на Оксану, и, выхвативши из-за пояса нагайку, он свистнул ею в воздухе и ударил Оксану со всей силы по спине.

Оксана вздрогнула, но сцепила еще больше зубы и решилась не отвечать до самой смерти ни одного слова.

Ясинский попробовал предложить ей еще несколько вопросов, сопровождаемых ударами хлыста и кулаков, но Оксана молчала так упорно, что можно было даже усомниться в том, в состоянии ли она была говорить.

— А так, так, щенок заклятый! — зашипел с пеной у рта Ясинский, забывая в порыве бешенства недалекую опасность.— Канчуков сюда! Я уже одного такого научил в Субботове, научу и тебя!

Оксана помертвела. «О господи, все погибло!.. Они сейчас сорвут с нее одежду... узнают... Что ждет ее? Этот зверь... Опять... Нет!.. Нет!.. Смерти! Смерти! Кто же даст ей смерть?..»

И, забывая все на свете, Оксана крикнула не своим голосом, бросаясь к деду:

— Диду! Спасите! Убейте! Не допустите!

— Не допущу! — крикнул дрогнувшим от волненья голосом дед и, рванувши с небывалой для его лет силой веревки, он бросился как безумный с ножом к Оксане.

Все это произошло в одно мгновение, но прежде чем дед успел добежать до Оксаны, свидетели этой сцены пришли в себя.

— Держи старого пса! Вали хлопца! — зарычал Ясинский.

Однако сделать это было не так-то легко.

Оксана защищалась с яростью бешеной кошки; не имея никакого оружия, она впивалась когтями и зубами в старавшихся повалить ее ляхов. Отчаяние придавало ей силы. Она была действительно страшна в эту минуту. С диким рычаньем вырывала она зубами куски мяса у своих мучителей, вцеплялась окровавленными руками в глаза, в лица и рты.

— Стой, доню, зараз, зараз! — кричал и обезумевший дед, размахивая ножом.

Но с дедом покончили скоро.

— А вот тебе, старый пес! — крикнул старший из ляхов, ударив его палашом по руке; кисть ее со стиснутым крепко ножом упала на землю, лях выхватил его и с диким хохотом погрузил до рукоятки в грудь старика. Дед только захрипел и упал, как куль, на землю.

Не долго защищалась и Оксана.

Один из ляхов схватил ее сзади за талию и ловким движением повалил сразу на землю.

— Спасите! Сжальтесь! — рванулась она еще раз, но было уже поздно.

— Канчуков! — заревел Ясинский.

Пара сильных рук рванула с нее сорочку, обнажив грудь... Оксана вскрикнула и потеряла сознание...

— Дивчына! — крикнули все, расступаясь в изумлении.

— Вот так находка! — вскрикнул с усмешкой Ясинский.— Як бога кохам, панове, Венера к нам благосклонна, она посылает нам утешение даже в походе. А ну-ка посмотрим, хороша или нет? — подошел он к Оксане и, отбросивши с ее лба волосы, глянул ей в лицо.

— Оксана! — вырвался у него невольный возглас.— Но как? Каким образом? Умерла? Жива? Воды скорее! — заговорил он отрывисто, наклоняясь над ней.

— Жива! — ответил грубо один из стоявших здесь ляхов.— Водой облить — отойдет.

«Отойдет или нет, а больше уж от меня не уйдет»,— прошептал про себя Ясинский.

— Поднять ее и отнести в мою палатку! — скомандовал он, выпрямляясь.

Но в это время к нему подбежал, задыхаясь, какой-то испуганный шляхтич.

— Пане Ясинский! На бога! Скорее! — заговорил он, едва переводя дыхание.— С той стороны леса наступают козаки, кажись, Морозенко...

Но Ясинский не дал ему окончить. Лицо его побледнело... Глаза остановились с безумным ужасом...

— На коней! — крикнул он.— Скорее! Скорее! Всех приколоть... никого не оставить... чтоб не было следа... Залить костры... Ее...— указал он на Оксану,— во что бы то ни стало с собой!

Через полчаса на месте стоянки все было тихо и безмолвно. От загона не осталось и следа. При тусклом свете тлеющих углей белели повешенные и посаженные на кол крестьяне; на земле темнели группы трупов, приколотых наскоро. Посреди всех лежал, разметавши руки и седые волосы, дед с зияющею раной в груди.

Через полчаса с трех сторон обступили это место конные отряды Морозенка. Завидя еще издали догоравшие костры, они с осторожностью надвигались на неизвестное становище, но, заметивши, что никого нет, подскакали торопливо и наткнулись прямо на теплые еще трупы.

— Пане атамане,—крикнули передовые,—ляхи только что были здесь!

— Как ляхи? — отозвался на крик молодой, сильный голос, и в слабо освещенном кругу показалась на бешеном рыжем коне статная фигура знакомого нам Морозенка. За атаманом стали подъезжать и остальные... Все останавливались и смотрели равнодушными глазами на трупы: они привыкли уже к подобным зрелищам.

— Ляхи, ляхи...— заговорили ближайшие,— это их штуки: все ведь наши селяне лежат.

— Не только лежат, но и сидят,— подхватили другие, ощупывая посаженных на кол,— еще тела теплые... Наскоро, видно, прикончили и удрали.

— Погнаться бы, пане атамане,— предложили неко-

торые.— Поджарить можно на угольях, а то рассадить на кольях рядом с хлопами и панов... либо пришить собственными ремнями к спинам их эти трупы...

— Все это добре,— промолвил после некоторого раздумья Морозенко,— да только куда за ними гнаться? Ночь и лес... а времени у нас мало на игрушки.

— Да вот,— нагнулся один к земле,— лыст какой-то валяется. Може, через него можно узнать, куда они утекли?

— Давай сюда лыст! — заинтересовался Морозенко и, взявши в руки пакет, раскрыл его и стал внимательно осматривать, поворачивать во все стороны.— Что в нем? Вот бы... Гей, панове!—обратился он наконец громко ко всем.— Кто из вас грамоту знает, кто может по писаному прочесть?

Все зашевелились и начали передавать атаманский вопрос друг другу, но ответом на него было лишь пожимание плечами да отрицательное покачивание головой.

— Что же, неужто ни одного пысьменного в нашем отряде нема? — допытывался с досадой Морозенко. Но все переглядывались и молчали. Некоторые только, обиженные этим вопросом, отвечали недовольно:

— А на черта нам, пане атамане, эта грамота? Разве мы дьячки, что ли? Доброму козаку и не подобает держать книжку в руках,— руки ведь нам богом даны для сабли, а не для чего другого.

— Это правда, — загудели сочувственно многие,— а вот между нами же есть настоящий дьяк, Сыч... так пусть и выводит буки-аз-ба.

— Правда, я и забыл,— обрадовался Морозенко,— попросите же батька сюда.

Вскоре явился опачканный весь в крови да грязи огневолосый Сыч.

Он, по-видимому, смутился предложением своего названного сына, но лыст взял в руки и стал к нему присматриваться...

— Посветите ему! — приказал Морозенко.

К Сычу поднесли несколько горящих головней.

— Нет, сыну,— после долгого молчания промолвил наконец Сыч.— По-мудреному тут словеса закручены... Да еще, кажись, по-польски... а я только по церковным книжкам разбираю, да и то по тем, что на память учил...

Вот только заголовок разобрал, что, мол, лыст Богдану Хмельницкому...

— Богдану, нашему батьку, гетману? — всполошился атаман.— Так давай его сюда... может, что-нибудь очень важное...— спрятал он за пазуху неразгаданное послание.— Да знаете что, братцы,— обратился он к отряду,— не будемте по пустякам тратить часу, а поспешим к ясновельможному.

— Згода, згода! — откликнулся дружно отряд и крупною рысью двинулся за своим атаманом.

В крепком замке князя Корецкого собралось много польской знати, и благородных рыцарей, и их пышных жен, только самого хозяина не было дома: он с небольшою, но отборною дружиной присоединился к славному вождю Иеремии Вишневецкому под Немировом, оставив замок, имущество и семью под защиту своих и съехавшихся команд, врученных комендантству пана Вольского. В неприступности этого замка был, впрочем, уверен не только сам владелец его Корецкий, но и опытный воин князь Вишневецкий, решившийся отправить туда свою дорогую супругу Гризельду. Кроме этой знаменитой красавицы из дома Замойских, гостили теперь у пани Виктории и другие важные дамы: пани Анжелика Остророг, жена известного ученого и магната в крулевстве, пышная пани Сенявская [37] с своим мужем, приехавшие недавно из-под Львова, где в их маетностях стало теперь небезопасно, пани Калиновская, жена плененного гетмана, пан Собеский [38] с своей дочерью, светлокудрой, с огненными черными глазами панной Розалией, прибывшие на днях из Варшавы, и много других соседних помещиков, укрывшихся от бед в гостеприимном и надежном гнезде князей Корецких.

Огромное общество, собравшееся по случаю смутного времени у княгини Виктории, проводило время весело, беспечно, в пирах, танцах, за венгржиною, за старым литовским медом, за добрыми настойками, мальвазиями, ратафиями и за всякими другими усладами. С одной стороны, легкий, беспечальный характер польского пана, попавшего в защищенное место, заставлял его сразу забывать об опасности, о всех перенесенных ужасах и предаваться кичливой самонадеянности да веселью, а

с другой стороны — увлекательная, пылкая и отважная хозяйка замка воодушевляла все общество, изобретая всевозможные развлечения.

Все знакомые пани Виктории были приятно изумлены счастливою переменой ее настроения в последнее время. С той ужасной ночи в Лубнах, когда при зареве бушующего пожара, при грохоте гармат и лязге сабель она пережила такие страшные минуты сердечных напряжений, характер ее изменился до неузнаваемости: легкость, игривость, увлекательность оставили ее навсегда, а их заменили сумрачная замкнутость и тоска. Ничем уже с тех пор не мог развлечь ее муж: ни охотами, ни блестящей молодежью, ни пирами; Виктория чуждалась всякого общества, проводила время в печальном уединении, с своими скрытыми думами, и видимо чахла, тускнела, снедаемая каким-то непонятным недугом. Только вспыхнувшее восстание козаков и необычайная дерзость их предводителя, взбудоражившие всю Речь Посполитую, пробудили было и ее от внутреннего оцепенения, и она пожелала в буре опасностей размыкать свою сердечную пустоту. Противиться стремительной воле своей супруги престарелый князь Корецкий не мог, а потому Виктория и очутилась в лагере под Корсунем, и там, опьяненная наплывом новых ощущений, в ежедневном риске за свою жизнь, она словно ожила и помолодела. Но эти раздражающие и возбуждающие чары опасности миновали. Корецкий увез ее в тихий, безопасный замок; и снова ее стала одолевать тоска жизни и неотвязная, крушившая ее сердце туга. Мужа она не любила и прежде, но мирилась с этим, удовлетворенная выигрышем блестящего положения, сделавшего ее почти царицей и повелительницей не только своих многочисленных поданных, но и всего рыцарства, готового упасть за одну улыбку к ее ногам; к ласкам своего мужа она относилась равнодушно и даже с некоторым принуждением, входившим уже, впрочем, в привычку, и заглушала молодые порывы доводами традиционных сентенций. Но в последнее время, с переменой ее душевного настроения, переменились и ее отношения к князю. Он стал для нее неприятным, докучливым, даже противным, а его ласк она уже не могла выносить и отстраняла их с нескрываемым отвращением. Все это огорчало влюбленного князя, но он охлаждение своей жены приписы-

вал болезненному ее состоянию вследствие переполоха в Лубнах и рассчитывал, что с водворением мира и покоя все это бесследно пройдет. Поэтому он и поспешил к князю Яреме, чтобы ускорить своею помощью усмирение хлопов, а Виктории с собой больше не взял, полагая, что новое удручение ее духа появилось после корсунских ужасов. Виктория, впрочем, теперь и не навязывалась сопровождать мужа в походе, а рада была радешенька, что он наконец хотя на время избавил ее от своих докучливых ухаживаний. И действительно, с отъездом князя Виктория не только оживилась снова, но с какой-то даже страстностью предалась удовольствиям, словно желая утопить в них свои душевные муки.

## XXXVI

Беспечно пировали паны, забавлялись азартною игрой, отбивали пулями каблучки у башмачков пышных панн и паненок в мазурке, ухаживали и не допускали до ушей своих никаких тревожных слухов, которые бродили там где-то далеко, за зубчатыми стенами, за круглыми башнями. Здесь, за крепкими стенами, уставленными гарматами, увешанными гаковницами и плющихами *, за высокими башнями-стражницами, вся эта волнующаяся вдали где-то чернь казалась такой ничтожной и презренной, что толковать о принятии мер против этой миражной опасности казалось даже постыдным малодушием, когда еще всяк был уверен, что можно разогнать эти банды оборванцев просто батожьем. Примеру панов, конечно, следовали и слуги, а потому в пышных залах замка, в других жилых помещениях и во дворе раздавались от зари до зари звуки музыки, охотничьих рогов, взрывы смеха, клики бешеного веселья и шепот сердечных признаний.

Но вдруг неожиданно смутил это беспечное веселье приезд некоего пана хорунжего Ясинского; последний явился якобы послом от пана Чаплинского и привез в замок страшные известия о повсеместных восстаниях быдла, о возрастании разбойничьих гайдамацких шаек, о неимоверной лютости уничтожающего все по пути

* Плющиха — вид фортечної гармати.

Морозенка, о кровожадности зверя Кривоноса, об их возмутительно жестоких расправах и о повсеместном бегстве панов. Несмотря на то, что Ясинский во многом, видимо, лгал и путался в разноречивых показаниях, несмотря даже на черезмерное выхваление им своей храбрости, творившей якобы везде неимоверные чудеса, рассказы его произвели впечатление, нагнав на доблестных рыцарей панику и уныние.

Решено было отправить немедленно его же, пана Ясинского, к Киселю в Гущу за помощью, и хорунжий, несмотря на свою отчаянную храбрость, с трудом лишь согласился ехать туда, и то не иначе, как взявши с собою сотню гусар, перерядивши их в козацкие жупаны и серые свитки. Дня два или три ожидало с тревогой возвращения его все корецкое общество и теперь потеряло на это надежду, а между тем слухи о приближении к Корцу козачьих загонов начали стучаться уже в самую замковую браму.

Бледные, дрожащие, с искаженными от ужаса лицами прибегали в замковое дворище к княгине и коменданту жиды и католики из местечка, прося защиты и крова; они утверждали, что кругом уже обступили козаки, все жгут, всех мордуют, катуют. Их, конечно, принимали, пока было какое-либо место в замке; но вскоре пан Вольский попросил княгиню повоздержаться от своих милосердных порывов, так как в случае осады замка продовольственные запасы его не могут выдержать такого безграничного увеличения ртов... Смолкли в замке звуки веселья, а раздались под брамой и на дворище стоны, слезы и вопли.

Теперь уже в роскошных салонах княгини и в ее гостеприимных столовых велись серьезные и тревожные разговоры о надвигающейся грозе, о мерах, какими можно было бы оградиться от нее, об укреплении замка, о возможности измен и так далее.

— Одного не могу простить своему князю,— говорила нервно Виктория,— что он не сообщает мне никаких известий, а пишет только о своей тоске.

— А мой муж мне писал и о том, что громит и карает, по заслугам, всех схизматов,— улыбнулась очаровательно княгиня Гризельда,— вот когда посадят на пали это зверье — Кривоноса, Морозенка и Чарноту,— тогда дадут знать.

— Ну, это сделать, княгиня, не так-то легко,—вспыхнула Виктория до корня своих искрасна-золотистых волос.

— Да и вести об этих погромах, мои пышные крулевы, отчасти сомнительны,— покачал головой пан Сенявский.— Если бы ваши князья так всех громили, то навели бы страх на презренных хлопов, а между тем их дерзость с каждым днем возрастает, значит, что-то не так!

— Пане,— возразила гордо Гризельда, бросив в его сторону надменный, царственный взгляд,— мой князь, потомок державных Корибутов, не может унизиться до лжи, как какой-либо простой шляхтич.

— Простите, княгиня, — наклонил голову Сенявский,— я не хотел обидеть уважаемого всеми героя нашего и вождя, но пожар принял не такие размеры, чтобы его можно было потушить лишь силами князя, а вот когда ему вручена будет булава над посполитым рушеньем...

— Вы хорошо знаете, пане, что она вручена ему не будет,— прервала его с оттенком досады княгиня Вишневецкая,— и он даже не принял бы ее; после предпочтений, оказанных в Варшаве латинисту и мальчишке...

— Мой муж не мальчишка, княгиня,— обиделась пани Остророг,— это раз, а второе — ученость и знание не могут быть лишними в деле ратном, или, быть может, княгиня полагает, что вождь должен быть круглым невеждой?

— Я мальчишкой назвала не вашего мужа, пани,— процедила пренебрежительно Гризельда,—а этого блазня Конецпольского; что же касается того, какие должны быть доблести у вождя, то это уж позвольте знать мне самой.

— Княгиня, вероятно, потому недовольна избранными предводителями,— язвительно продолжала пани Остророг,— что между ними находится бывший претендент ее — князь Доминик.

— Вот еще! — вздрогнула, словно ужаленная, Гризельда.— Это даже не остроумно! Ведь я же сама отказала и оттолкнула этого вашего Доминика, так что в претензии может быть он, а не я.

— Княгиня никаких личностей ни к кому не имеет,— вступилась быстро Виктория, желая загладить возник-

шее между ее гостями раздражение,— но ведь Гризельда справедливо возмущена против этого сейма... против, pardon pour le mot *, бессмысленного назначения им трех предводителей... Разве не известно всякому, что у семи нянек дитя без глаза?

— И, кроме всего, как они смели обойти нашего первого полководца и доблестного рыцаря князя Иеремию?— поддержал горячо хозяйку Собеский.— Я и там, як бога кохам, кричал, и здесь кричу, что нет у нас вождя, кроме него, что только ему должна быть вручена булава!

— Ах, князь — c'est un vrai héros! ** — сверкнула черными, как агат, глазками панна Розалия.

Княгиня Гризельда скользнула по отцу и по дочери признательным взглядом.

— Моему мужу следовало бы после всего этого не мешаться ни во что и не защищать неблагодарное отечество от ударов судьбы... Я советовала сама это князю; но он слишком ненавидит схизматов и потому не может отказаться от их истребления.

— О, virtus sanctissima! *** — промолвил слащавым голосом егомосць капеллан Вишневецких.— Имя нашего князя записано на скрижалях небесных... ибо несть более проклятого на земле и на небе, как еретик и схизмат!

— Превелебный ксенже, мы этому глубоко верим,— опустила Гризельда глаза, подавивши сочувственный вздох,— и если бы этот Хмельницкий не был схизматом, то муж уверен, что он сумел бы и его оценить, и заткнуть за пояс многих и многих из ваших варшавских.

— Да, там, в Варшаве, думают,— заметил Сенявский,— что они Хмельницкого обманут, поводив всякого рода обещаниями, пока соберут свое войско, и в том их поддерживает этот старый дурень Кисель, а я вам скажу, что Хмельницкий уже провел их всех за нос, вот под Львовом собирается наше рыцарство — это посполитое рушенье, и собирается как мокрое горит, а у этого сатанинского гетмана, говорят, одной конницы уже восемьдесят тысяч, да, кроме того, не тратя своих сил, он успел одними лишь хлопами истребить наши имущества и выгнать нас всех из этого края до Случи...

---

* Вибачте за слово *(франц.)*.
** Це справжній герой! *(Франц.)*
*** О, свята правда! *(Лат.)*

Пани Калиновская все время молчала и вздыхала, а при последних словах Сенявского начала утирать украдкой глаза.

— Гайдамаки! Гадючье кодло! Быдло! Пся крев! — раздались везде гневные возгласы.— На пали их, на погибель! В клочья всех изорвать!

— Dominus vobiscum! * — провозгласил торжественно велебный капеллан на этот общий взрыв энтузиазма.

Виктория окинула всех слегка презрительным взглядом и не проронила ни слова.

В это время вошел в салон комендант замка пан Вольский и без обычных льстивых приветствий и нескончаемых комплиментов заявил взволнованным голосом:

— Панове, ударил час судьбы.

— Как? Что? Бунт? — посыпались со всех сторон тревожные вопросы.

— Вероятно, случилось какое-либо несчастье с паном Ясинским? — спросила у коменданта Виктория.

— Вероятно... быть может...— не мог, видимо, овладеть еще собою комендант,— его нет и, наверное, больше здесь не будет... Гуща вся сожжена и разграблена.

— Гуща? Русского воеводы маетность? — вскрикнули все и занемели в изумлении.

— Да, русского,— продолжал комендант,— эти звери не щадят и своих братьев.

— У схизматов, как у дьяволов, не может быть родственных уз: все они исчадия ада и исполнены одной адской злобы,— мрачно изрек капеллан.

— Да, целое пекло повстало на нас! — вздохнул прерывисто пан Собеский.

— О боже! — простонала, закрыв рукою глаза, Розалия.

— И не ждать нам от них пощады! — промолвил глухо Сенявский.

— Не ждать! — пронеслось умирающим эхом по зале.

Побледневший капеллан только озирался испуганно во все стороны и не знал, что сказать обескураженной пастве; он только поднял вверх свои очи и руки, застывши в безмолвной молитве.

— Но нам, панове, до Гущи особенного нет дела,—

* З нами бог! *(Лат.)*

начал снова говорить комендант,— пусть себе эти гадюки пожирают друг друга. Нам важно то, что враги уже стоят под нашею брамой.

Если бы удар землетрясения разрушил вдруг над головами собравшихся в салоне рыцарей и дам этот замок и стены его стали бы падать с страшным грохотом, то вряд ли бы это грозное явление потрясло так всех, как произнесенные слова коменданта. Раздался отчаянный, ужасающий вопль панн и паненок, и этот вопль вывел из оцепенения мужчин; они бросились к своим женам и дочерям, то утешая их бессвязными, бессмысленными словами, то возбуждая упование на бога, то поднося воду. Превелебный капеллан растерялся не меньше дам и сидел в полубессознательном состоянии на кресле, опустивши безвладно руки. Одна Виктория не упала духом, а, оживившись, деятельно ухаживала за своими перепуганными гостями.

Когда прошли первые минуты смятения, заговорила она бодрым и твердым голосом:

— Да чего мы переполошились, панове, ведь наш пан комендант не сказал даже толком, в чем дело? Замок мой укреплен хорошо, запасов в нем много... так, по-моему, мы можем выдержать осаду и самого даже Хмельницкого, а не какой-нибудь банды...

Уверенный тон княгини сразу отрезвил всех. К рыцарству снова возвратилась убежавшая было отвага. Послышался даже, хотя и слабо, в салоне угрожающий ропот.

— Да, пане коменданте,— продолжала высокомерно Виктория,— если действительно существует какая-либо опасность, то следует немедленно принять против нее меры и не пугать, а, напротив, успокоить моих дорогих дам.

— Бей меня Перун, если я этого не хотел сделать, моя пышная княгиня,— оправился задетый за живое пан Вольский,— но я не ожидал, чтобы...

— Да в чем дело? Кто стоит под брамой? — перебила его нетерпеливо Виктория.

— Найлютейший зверь, Чарнота, с огромной бандой...

— Чарнота? — побледнела в свою очередь Виктория.

Паника хозяйки перешла снова на всех.

Наступила тяжелая минута молчания.

— Да, он, наибольший из негодяев!—буркнул как-то неловко пан Вольский.

Виктория бросила гневный взгляд на своего коменданта; лицо ее залилось густою краской.

— Так пан комендант мой испугался этой банды и храбрость свою проявляет лишь в брани?

— Ясноосвецоная княгиня...

— Ну, что же этот Чарнота? Осаждает уже наш замок, что ли? — прервала коменданта Виктория.

— Еще пока нет... хотя я распорядился запереть все брамы, зарядить все пушки, вывести войска на муры, кипятить смолу, бить камни, сволакивать бревна...

— Ха-ха-ха! — рассмеялась едко хозяйка.— Словно вот через минуту должен начаться приступ, словно уж все стены наши разрушены и подкатили к провалам гуляйгородины... Нет, у пана чересчур глаза велики... придется, вероятно, мне с моими прекрасными дамами стать в первых рядах...

— Я был бы безмерно счастлив,— повел комендант рукой по своим длинным усам.

Но Виктория не улыбнулась даже на эту неуместную любезность и строго спросила:

— Какие же меры против нас предпринял этот напугавший вас Чарнота?

— Он требует парламентера... или грозит немедленно приступить к разрушению замка и беспощадному истреблению всех.

— И пан верит, что он без гармат и стенобитных орудий нас разгромит?

— Никогда на свете, княгиня, но измена... она везде отворяла брамы твердынь... Мы ни на кого не можем надеяться, все смотрят волчьем...

Виктория задумалась. Все с этим согласились и уныло поникли головами.

— Только если он требует парламентера,— заговорил Сенявский,— значит, он хочет взять лишь выкуп, не больше, и оставить нас в покое.

— Верно, верно! — оживились все.

— Что же,— добавил робко капеллан,— бросить лучше собаке кость, может, она ею подавится...

— Да,— подхватил Собеский,— послать, во всяком случае, парламентера; он прежде всего повысмотрит их

силы... Может, это ничтожная горсть, так мы сделаем тогда вылазку и устроим прекрасное полеванье...

— Нет, у него силы велики,— возразил комендант,— с северной башни их видно... Иначе я бы сам распорядился, а панство бы беспокоил лишь для казны... Но я боюсь, что он хочет выманить парламентеров лишь для пыток, а своего прислал для бунтованья мещан... Вот поэтому-то и трудно найти между нашими таких отчаянных, которые решились бы пойти на верную...

— Панове! — перебила его резко Виктория.— Разве никто из вас не рискнет для общего блага отправиться в стан этого Чарноты?

Все сконфузились, покраснели и как-то неловко начали перешептываться друг с другом.

## XXXVII

Прилив какого-то гадливого чувства возмутил всю душу Виктории. Зарницей блеснула перед ней вся пустота, вся фальшь ее жизни, обреченной на тупое, бессмысленное прозябание. Словно раскрылась перед ее очами могила, в которой она сама похоронила себя,— для чего и за что? Она почувствовала в сердце змею гнетущей тоски.

— Ясноосвецоная моя повелительница,— отозвался наконец после долгой паузы пан Вольский,— я позволю себе ответить на ваш вопрос, полагая, что и все наше славное рыцарство,— обвел он рукою салон,— разделит мои мысли и чувства. Отдать свою жизнь за ойчизну — это великий долг, и он присущ благородной крови; отдать свою жизнь за улыбку пышной красавицы — это лучшая утеха шляхетского сердца; но отдать себя на поругание хлопу, схизмату — это позор, а позор горше смерти и не может быть перенесен высоким рождением.

— Совершенно верно, досконально! — пронеслось по зале глухим шепотом

— Значит, по-вашему, панове,— встала Виктория и обвела прищуренными глазами собрание,— позорно входить в переговоры с хлопами? Я сама разделяю вашу гордость и твердость. Передайте же, господин комендант, этому послу от Чарноты, что я и благородное мое рыцарство презираем его угрозы и считаем позором входить с ним в какие-либо переговоры, что нас не стра-

шит и измена: мы не только отстоим нашей грудью твердыню, но истребим и все его бунтарское быдло.

— Немножко резко,— заметил Собеский.

— Это раздражит зверя,— вставил Сенявский.

— О, они сейчас бросятся жечь местечко,— поддержал их и комендант,— а среди мещан много братьев и отцов нашей стражи, нашей прислуги... наших воротарей.

— Стойте, братия! — вмешался дрожащим голосом и превелебный отец.— Речь же шла о том, чтобы какою-либо подачкой отогнать от замка этого дьявола, а теперь снова хотите его дразнить... милосердия, побольше милосердия! «Блаженни миротворцы, яко тии сынами божиими нарекутся».

— Откупиться от хлопа, на бога, откупиться!..— завопило несколько женских голосов.

— Нельзя ли нанять кого в послы из мещан? — раздалось в задних рядах.

— Чтоб хлоп представительствовал за благородное рыцарство? — расхохоталась Виктория.

Гости смутились. У всех было одно желание — откупиться во что бы то ни стало от гайдамаков, и ни у кого не хватало отваги явиться для переговоров к Чарноте.

— Если бы не к такому свирепому шельме, не к такой презренной гадюке...— промычал кто-то.

— Мне жалко вас, дорогие мои гости,— подняла язвительно голос княгиня,— вы так беспомощны и не можете дать себе рады. Но я вас спасу... Я сама пойду к этому зверю Чарноте и докажу, что он не лишен благородства.

— Княгиня, что вы задумали? Это безумие! — послышались то там, то сям искренние, робкие возражения.

— Не останавливайте, панове, а то если дружно насядете, то я испугаюсь и не пойду, а если не пойду, то будет всем плохо...

— Да, в этом княгиня права,— заволновался капеллан,— и притом такая всесильная красота, такой ангельский взор способны смирить и самого Вельзевула... Над тобой, дщерь моя, почиет благословение господне!

— Так я иду,— решительно заявила хозяйка,— и если никто из вас, панове, не проводит меня, то я возьму слуг... Коня мне! Без возражений! — крикнула она коменданту и вышла из салона крулевой.

А Чарнота нетерпеливо ходил по своей палатке и с непобедимым волнением ждал возвращения посла. Он забыл и про жбан доброго меду, принесенный ему джурой, не тронул даже кухля рукой, а все ходил да ходил, озлобленный, по палатке и иногда лишь выглядывал из нее на солнце, что уже клонилось к закату. Но время проходило, а посол не возвращался в обоз. Чарноте, конечно, было небезызвестно, что с козачьим послом враги могли распорядиться по-свойски — подвергнуть допросу с пристрастием и растерзать,— да и сам посол шел на то, но ему не приходило в голову, чтобы здесь, при беспомощности и панике, враги дерзнули на расправу с послом; но если случится такое безумие, то оно наделает много бед: весь загон неудержимо бросится мстить за товарища. Замка, конечно, не возьмут,— Чарнота хорошо знал его неприступность,— а начнуть жечь и громить местечки да соседние фольварки князя и затянут время, а его-то и нельзя было терять ни минуты: Чарнота спешил на подмогу к Кривоносу, а на днях получил еще наказ гетмана присоединиться к его боевым силам.

Чарнота теперь бранил себя страшно в душе, что поддался желанию товарищей потребовать с Корца выкуп; им казалось обидным пройти мимо замка, не сорвав доброго куша с панов, тем более,— все были уверены,— что последние дадут его с радостью. Ну а вот если не дадут? Если заартачатся? Если у них собраны там большие команды? Тогда отступить с кукишем стыдно, а разгромить сразу невозможно... вот и выйдет затяжка!

С каждым часом у Чарноты вырастала досада на своевольство товарищей, хотя вместе с этою досадой в душе его возникал смутно вопрос: «Да полно, товарищи ли тебя подбили, или ты сам с радостью ухватился за первое шальное предложение... и ухватился с таким ребяческим восторгом, что в торопливости упустил даже все предосторожности? И вот теперь даже,— ловил он себя во лжи,— ты волнуешься и терзаешься не тем, что погибнет посол, а тем, что он в таком случае не принесет тебе известий о хозяевах замка, там ли они, а главное — там ли хозяйка?.. Да, да! — уличал он себя немилосердно.— Это она, это хозяйка, княгиня Виктория, влекла его к Корцу. Но неужели ради бабы, да еще

ляховки,— терзал он свою душу укорами,— он, Чарнота, слукавил перед рыцарским долгом, перед обязанностями начальника отряда, перед верностью товарищу-другу? Ведь Максим теперь, быть может, в беде, ждет подмоги, а друг...

О, клятое сердце! — ударил он себя кулаком в грудь.— Не можешь занеметь, заклякнуть, задубнуть, а все щемишь и подбиваешь меня на низость. Да неужели еще до сих пор не заглохло все, не заросло мхом? — хватил он себя за чуприну, почти упав на стоявший в углу палатки дубовый, грубо сколоченный стол. Жбан всколыхнулся и пролил несколько всплесков темной жидкости, кухоль упал и покатился на землю.— Ведь вот минул почти год, как я ее видел в Лубнах... и я с тех пор задавил все... вырвал... утопил в горилке, в крови всю эту блажь. Эх-эх, лгу я, лгу! — засмеялся он язвительным смехом.— Топил, правда, топил, да не утопил! Эх, плюнуть на все! Задурить голову так, чтобы вылетели из нее все спогады...»

Но воспоминания назло воскресали и рисовали перед ним яркую картину последнего свидания... Ах, разве можно забыть ее, обольстительно дивную, побледневшую от прилива страсти, с огненным взором, с пламенными словами любви, с одуряющим чадом объятий? «Эх и живуча ж ты, проклятая туга тоски! Змеей впилась в сердце, сосешь кровь... и не отуманить этой змеи, не оторвать от сердца!»

В это время стремительно вошел в палатку хорунжий Лобко и радостно заявил, что из замка выехали парламентеры и приближаются уже к лагерю.

— Фу! Наконец-то! — вздохнул облегченно Чарнота.— А я было за своего Дударя перетревожился страх, послушал вас и сделал великую глупость: нам нужно на крыльях лететь к нашему полковнику Кривоносу и к ясновельможному гетману, а мы черт знает чего здесь застряли.

А вот, пане атамане, и выгадали,— засмеялся хорунжий,— уж коли едут, значит, с повинной, значит, с торбой дукатов.

— Так-то так, а вот что передай от меня сотникам: чтобы были все готовы к походу. Что удастся сорвать,— сорву, но ждать не буду... Через час, не больше, рушаем.

Хорунжий вышел, а через некоторое время вбежал

к Чарноте есаул и доложил запыхавшись, что с посольством едет какая-то пани, чуть ли не сама княгиня.

— Что? Что? — схватился с места Чарнота да так и замер в вопросе. Горячая волна залила его грудь и ударила в лицо.

Есаул даже оторопел от порывистого движения атамана и отступил на шаг, не понимая, в чем дело, и полагая, что атаман на него вскипел за брехню.

— Ей же богу, правда, ясновельможный пане,— подтвердил он свои слова божбой, указывая на открытый вход атаманской палатки,— пусть пан атаман взглянет... Вот они, уже тут!..

В это время раздался приближающийся топот нескольких коней. Чарнота вздрогнул, очнулся и, отстранив, или скорее отпихнув, есаула, выскочил из палатки. Действительно, на золотистом чистокровном арабском коне гарцевала впереди она, его кумир, его божество, его згуба.

От быстрой езды косы наездницы несколько растрепались и легли шелковою золотистою волной по плечам; глаза ее от душевного волнения потемнели, белоснежное, разящей красоты лицо зарделось зарей. О, она, Виктория, была так величественна, так неотразимо прекрасна, что Чарнота, несмотря на свою железную натуру, почувствовал, как сердце его затрепетало и заныло, словно вонзилась в него пропитанная ядом стрела. За княгиней ехал какой-то юный гусар — разряженный и вооруженный с головы до ног воздыхатель; опьяненный счастьем быть провожатым княгини, он забыл даже про опасность и лишь теперь бледнел да посматривал из стороны в сторону. За ними уже тянулся кортеж вооруженных слуг с завязанными глазами. Значное козачество и простота сбежались тоже толпой к палатке атамана.

Чарнота порывисто подошел к княгине и, помогая ей встать с седла, почтительнейше поцеловал ее руку и почувствовал, как она вздрогнула от этого поцелуя.

— Я владетельница этого замка,— заговорила взволнованным голосом княгиня,— и я приехала в стан твой сама, рассчитывая на благородство атамана, чтобы узнать от него, по какой причине он подступил оружно

к моим мирным владениям и что ему и дружине его от меня нужно?

— Пышная княгиня! — ответил после некоторой паузы с изысканной вежливостью, а вместе с тем и с достоинством атаман Чарнота.— Владения твои находятся в русском крае, который признает единым своим гетманом Богдана Хмельницкого, а так как его ясновельможность наказал, чтоб все маетности в его панстве дали оплату для войсковых треб, то я и явился сюда объявить и исполнить гетманскую волю.

— Но ваш гетман для меня не гетман,— ответила надменно Виктория,— он не утвержден королем, а если бы был даже утвержден, то и тогда наказам гетманским я не подвластна.

— Княгиня,— улыбнулся Чарнота, не отводя восторженного взора от ее волшебно-дивных очей,— всякая власть на земле поддерживает свои требования силой. Если сейм, которому лишь одному хочешь ты подчиниться, имеет змогу поддержать твой отказ, то права за ее княжьей мосцью; но если исполнению гетманского универсала залога твоя воспротивиться не в силах, то право за нами.

— Добре срезал! Молодец атаман! Голова! — послышались сдержанные одобрения среди козаков.

Виктория взглянула как-то особенно на Чарноту и уронила, слегка побледнев:

— Не право, пане, а насилие, гвалт...

— Всякое насилие, моя крулева, поддержанное силой, есть право.

— Пока законная власть не сломит его! — воскликнула княгиня, теряя самообладание.

— То есть пока не восторжествует другое насилие, другой гвалт...— наклонил голову и развел руками Чарнота.— Впрочем, не будем спорить. Дело от риторики не изменится... А вот осчастливь меня, яснейшая княгиня, и посети мой убогий походный курень,— там мы поговорим о наших требованиях и придем, конечно, к соглашению, а гусара твоего угостит мое атаманье. Гей! Есаул! — крикнул он повелительно.— Принять вельможного пана как почетного гостя и угостить добре княжеских слуг! — И, отдернув полу палатки, он пригласил почтительнейшим жестом войти в нее княгиню.

Виктория, шатаясь, вошла туда и почти упала на

единственную скамью у стола: долгое напряжение нервов сменилось минутной слабостью, близкой к обморочному состоянию.

— Что с тобою, крулева моя? — встревожился Чарнота, заметив страшную бледность ее лица.

— Ничего... пройдет,— прошептала она,— в глазах потемнело...

— На бога, отпей хоть несколько глотков меду,— поднес Чарнота ей кухоль, наполнив его искрометною влагой,— это восстановит твои силы.

Виктория послушно взяла, как ребенок, из его руки кухоль и, отхлебнув из него несколько раз, поставила на стол. Она все еще сидела безвладно, в изнеможенной позе, склонив голову на тонкую, словно выточенную руку. Бледная, сверкающая белизной кожи, в темно-зеленом бархатном кунтуше, княгиня напоминала лилию, склонившуюся в истоме от зноя над кипучим ручьем. Да, в этом бессилии красота ее была еще властнее, еще неотразимее... И закаленный в боях козак стоял, околдованный ею, и не мог отвести от нее глаз, не мог произнести слова.

Длилось молчание... Медленно возвращались силы к княгине; нежный, едва заметный румянец начинал снова выступать на ее безжизненно-бледных щеках.

Чарнота хотел было принять у себя княгиню с изысканной вежливостью и сразить ее холодным, снисходительным равнодушием, но он чувствовал, что самообладание его оставляет...

— Какой чудный, божественный сосуд,— промолвил он наконец с тяжким вздохом,— и каким пекельным ядом наполнен.

Виктория подняла на козака с немым укором глаза, отуманенные слезой, и в них отразилась такая тоска, такое безысходное горе, что у Чарноты сжалось сердце до боли.

— Только пекло и яд,— уронила она,— за что? За что?

— За что? — повторил, как эхо, Чарнота, проведя рукою по лбу и откинув назад свою подголенную чуприну. Он сразу забыл намеченную свою роль и спросил о том, о чем и заикаться не думал:

— А вот скажи мне, княгиня, только по правде, без лжи, для чего ты сюда приехала?

Виктория что-то хотела ответить, но внутренняя жгучая боль сдавила ей горло, и ее уста зашевелились без звука.

— Не поверю я,— продолжал между тем Чарнота,— чтобы княгиня Корецкая, обладательница несметных богатств, унизилась явиться к хлопу затем, чтоб выторговать у него из выкупа сотню-другую дукатов!

Княгиня покачала отрицательно головою.

— Так для чего же ее княжья мосць явилась в мой лагерь? — повторил язвительно и даже злобно Чарнота.

— Чтоб тебя видеть, — прошептала чуть слышно княгиня.

— Чтоб меня видеть? Чтоб насмеятся надо мной снова? — вскрикнул, словно ужаленный гадюкой, Чарнота.

— Михась,— простонала Виктория, и в этом стоне послышался и грустный упрек, и трогательная мольба о пощаде.

## XXXVIII

Чарнота, желая заглушить наполнявшее его душу нежное теплое чувство, раздражал себя еще с большим усилием:

— Ха-ха! Ты хочешь показать свою власть над козаком, который за одну улыбку ясноосвецоной княгини отречется и от родины, и от друзей, и от всего святого, да, как паршивый пес, станет лишь хвостом вилять перед панами да ноги лизать своей благодетельницы... Не так ли? Сжечь хотела козака пекельным огнем своих глаз и погубить его душу навеки?

— Милосердия прошу! — подалась Виктория вперед к козаку, сложив в мольбе руки.

— Милосердия? — крикнул Чарнота.— А кто искалечил мне жизнь, кто отнял у меня чистые радости, кто разбил веру в сатанинский ваш род? — задыхался уже он от охватившего его едкого чувства.— За что? За ту горечь и желчь, что мутят мою кровь и наполняют ненасытной злобой это клятое сердце? И сильна же должна быть отрава этой нелюдской красы, если ни сечи, ни буйные пиры, ни потехи не могли притупить ее змеиного жала! Мало было этого, нужно было еще встретить тебя у этого князя в Лубнах и растравить до крови свои ра-

ны... А...— рванул он себя за чуприну,— проклят тот час, когда впервые тебя я увидел!

— Михайло! Михась! — подняла она порывисто руку, словно желая отстранить от себя жестокие слова козака.— Не проклинай его, не кляни меня, и без того моя жизнь мне могила,— заиграла она певучим, как тихая музыка, голосом.— Ты говоришь, что тебе наша последняя встреча причинила боль, но меня она убила, раздавила, растоптала вконец: с той поры нет мне покою, нет мне веселья! Все опостылело мне — и мой титул, и мои богатства, и толпы этих пышных и мизерных вздыхателей, а мой муж, которого я прежде терпела... Он стал, прости мне, панна святая, мой грех, он стал мне ненавистным.

— Для чего ж ты меня погубила и устроила такое пекло себе?

— Для чего? Я говорила тебе... Клянусь, принудили, а зарезаться побоялась... Мне до такой степени казалась дорогой вся мишура, вся пышность тщеславия, вся обаятельность власти, что я струсила отречься от них, от света и броситься в какой-то темный, неведомый мне мир, отдаться нужде и скучному прозябанию.

— Ну, а тогда, когда ты хотела меня увлечь в измену, когда уже не была девочкой и понимала хорошо жизнь, когда мне снова клялась ты в любви и снова одурила это глупое сердце, тогда-то кто тебя принуждал?

— Безумное, неудержимое желание спасти тебя от смерти.

— Зачем мне нужна эта жизнь? Ведь ты ж не соглашалась бежать?

— Что ж, козаче мой любый, не хватило тогда сил,— заговорила она искренним, проникающим в душу голосом,— трудно от того отказаться, что всосалось в кровь, но зато как же я страшно наказана за мою трусость! Такой муки не пожелаю я и врагу! И чем было этому бедному сердцу порадить,— вскинула на Чарноту дивными глазами Виктория,— если оно только и дышит тобою, если только для тебя бьется? Михась! Ведь люблю я тебя безумно, невыносимо! Взгляни на меня,— прошептала она, облокотившись руками о стол и откинув назад свою голову. От этого движения волосы ее рассыпались червонным каскадом и упали за мрамором ее плеч огненным хвостом сверкающей дивной кометы.

— Взгляни, мои очи погасли от слез, мои щеки поблекли от горя, мой стан согнулся от туги... Ах, какая тоска! Страшная, впивающаяся жалами в грудь, невыносимая, и вся мысль о тебе, все думы с тобою!

— Правда ли? Крестом господним заклинаю,— не лги! — порывисто подошел к ней Чарнота и схватил ее дрожащие, холодные руки в свои.

— На раны Езуса!

— Ах, когда б я мог верить, когда б мог верить,— все бы за эту веру отдал! — жал он ей руки до боли.

— Матко найсвентша! Так ты меня любишь? Не проклинаешь? Не презираешь? — положила она ему руки на плечи и смотрела долго-долго любовно в глаза, а слезы жемчугом катились по ее сияющему счастьем лицу.— Не терзай меня, сокол мой, витязь мой! Никто, никто, сколько ни есть их на свете, никто не стоит твоей пяты, любила и люблю тебя одного... Прости меня... за прошлое... казнилась я за него много... Скажи мне, что за мои терзанья простил, скажи, что любишь!.. Кумир мой! — Она и плакала, и смеялась, и шептала бессвязные речи.

Это трепещущее молодое, гибкое тело, это близкое горячее, благовонное дыхание, эти одуряющие слова любви опьянили козака окончательно...

— Слушай, жизнь моя, радость моя! — прикоснулся он осторожно к стану Виктории и привлек ее ближе к себе, осыпая всю порывистыми поцелуями. — Если ты любишь меня, я повергну к твоим ногам весь свет, я именем твоим сокрушу твердыни, улыбкой твоей разолью по земле счастье! О, как безмерно я тебя стану любить, жить биением твоего сердца, твоим дыханьем дышать!.. Только брось всю эту лядскую грязь, всю пустоту, отрекись от вековой лжи и злобы; побратайся, как побратался и я, с нашим народом: пусть станет и тебе, как и мне, Украйна матерью! За их правду, за их благо я сложу свою буйную голову, а их враг и мне будет вечным врагом!

— Значит, кто не из твоего народа... не из его крови,—затрепетала княгиня,—тот вечно тебе будет врагом?

— Кровь ни при чем, моя зирочка; но сердце, сердце! Если оно справедливо, если в нем теплится божья искра, оно всегда отнесется с любовью к страдальцам, оно всегда будет благородно негодовать на грабителей, на по-

работителей народа,— прижался он пламенными губами к ее открытым устам и занемел.— Так теперь не одуришь меня, останешься со мною навек?

— Но меня здесь схизматы замучат... Они ведь всех нас ненавидят! — дрожала она вся от невольно охватившего ее страха.

— Жинку Чарноты? Да они все тебя станут боготворить.

Так прямо, бесповоротно поставленный вопрос покоробил ее... Ехавши сюда, она ни о чем не думала, ни на что не рассчитывала, а увлечена была лишь безумным желанием увидеть своего коханого витязя, обезволена была долгими муками и тоскою разлуки; теперь же приходилось ей, видимо, сжечь свои корабли и броситься очертя голову в бездну. Как она ни любила Чарноту, но такая жертва показалась ей вновь чудовищной, и она попробовала было выскользнуть незаметно из жгучих объятий, но это оказалось невозможным.

Вдруг, на счастье,— так по крайней мере показалось ей в это мгновенье,— вошел неожиданно в палатку есаул. Чарнота едва успел отскочить и накинулся на него с гневом:

— Кто смеет без дозвола входить в палатку атамана?

— Прости, наш славный атаман,— оторопел есаул и начал кланяться низко,— меня послало товарыство просить, чтоб ты не уступал княгине, а взял бы с нее выкуп здоровый!

Чарнота обменялся с княгиней выразительным взглядом, и его гнев сразу растаял.

— Передай товарыству,— произнес после некоторой паузы начальническим тоном атаман,— что княгиня скупа и не соглашается на наши условия; но так как нам нельзя здесь ни минуты медлить, а упустить выкупа нежелательно, то мы решили оставить здесь у себя княгиню заложницей, пока не выдадут нам доброй суммы... Так вот, отпустить с богом гусарика и слуг ее княжей мосци в Корец, а самим рушать немедленно в поход!

— Добре, чудесно! — крикнул восторженно есаул, выбегая из палатки.

— Что это, пане, насилие? — выпрямилась по уходе есаула княгиня; голос ее звучал резкою нотой, ноздри расширились, грудь взволновалась.

— Это удобная форма, моя крулева...— улыбнулся счастливый Чарнота, но, заметив ее надменный вид, побледнел вдруг и промолвил глухим голосом: — Но если княгиня считает мое слово насилием, то она свободна... навеки свободна и может бестревожно отправиться в свой замок,— никто ее, словом козачьим ручаюсь, не тронет!

Виктория подняла глаза на Чарноту,— он стоял гордый и такой же, как и она сама, непреклонный, с сверкающей страстью в глазах, с клокотавшею бурей в груди...

Борьба ее длилась недолго; она заломила свои дивные руки и пошатнулась к нему.

— Куда мне бороться? — прошептала она, словно в бреду.— Твоя, твоя! Безраздельно... навеки! Возьми меня! — И она упала к нему на грудь, обвив его шею руками...

А Кривонос, разорив много других местностей Вишневецкого, в это время подвинулся к Махновке, местечку Тышкевича, где был укрепленный замок. Свирепый предводитель загона расправлялся теперь с монастырем кармелиток, находившимся от местечка не более как в пяти верстах. Монастырь горел. Черные клубы дыма вырывались из высоких стрельчатых окон, в некоторых местах уже змеились вместе с ними багровые языки. При зловещем их свете виднелись подвешенные в амбразурах, словно люстры, обнаженные человеческие тела. Раздирающие душу крики и вопли, смешанные с диким хохотом и подгикиванием, доносились к наблюдавшему издали на вороном коне Кривоносу и вызывали на искаженном страшном лице его какую-то дьявольскую улыбку.

— А что, пане полковнику, дальше прикажешь? — крикнул ему подскакавший с тылу козак, весь обрызганный свежей кровью, с прожженною во многих местах и болтавшейся в лоскутьях сорочкой; лицо его, не лишенное мужественной красоты, было зверски свирепо; на обритой совершенно голове гадюкой лежал и завивался ухарски за ухо оселедец.

— Прикончили всех, Лысенко? — спросил его холодным, деловым тоном полковник.

— Почитай что всех...

— Гаразд! А скарбницу монастырскую потрусили?

— Вывернули с потрохами... Ух, и добра же в ней было напаковано — страх! — покрутил головой Лысенко.— Золотые всякие сосуды, мешочки дукатов, перлы, самоцветы... да и в самом костеле пообдирали достаточно с ихних икон и фигур всяких шат и подвесок... Зараз привезут до войсковой скарбницы...

— Добре, а ты вот что,— потер себе лоб Кривонос,— отправляйся немедленно с небольшим отрядом к Махновскому замку да и начни перед ним выкидывать всякие шермецерии *, вызывать словно на герц... Комендант замка — завзятый и запальной лев; ему уже теперь видно, что монастырь кармелитский горит, и он, конечно, рвет и мечет, чтоб отомстить врагам, а ты ему — как раз на глаза, и дразни, шельму, вызывай в поле, а когда его выманишь, то тикай вон к тому лесу, а я за ним буду стоять в засаде, ну, мы и наляжем на этого льва с двух сторон.

— О, я зараз оторву моих волченят от потехи, хоть и станут браниться, да и гайда! — махнул шапкой Лысенко и помчался стрелой от полковника.

«Эх, добрый это козак у меня,— подумал Кривонос, провожая глазами Лысенка,— такого завзятья и удали мало в ком и найдешь, а уж лютости — так и подавно,— со мною потягается. Да так им, так их. Хочется мне упиться допьяна их кровью, чтобы залить ею свои страшные сердечные раны, и не упьешься: раны горят еще больше, а жажда мести делается еще нестерпимее!..»

И Кривонос действительно почувствовал в эту минуту в груди такую страшную, невыносимо жгучую боль, что зарычал даже диким зверем и оскалил зубы.

«Один лишь человек мог бы утолить эти ненасытные муки,— стучало ему в голове,— один этот аспид Ярема, да вот не дается все в руки; всю свою клятую, пекельную жизнь только и тяну для него, и отдал бы ее вот сразу за один час потехи над извергом, кровопийцею,— и не могу дожить, дождаться этого счастья... Вот уж два месяца гоняюсь за ним, уходит — и баста, только кровавый след за ним вьется... И неужели? — задрожал даже в ужасе Кривонос, устремив сатанинско-злобный взгляд на пылавший уже гигантским костром монастырь.— Неужели? — вскрикнул он хриплым голосом.—

* Шермецерия — герць, фехтування.

Да возьмите же душу мою, сатанинские силы, терзайте ее всем пеклом, только дайте мне подержать моего лютого врага в этих руках, заглянуть ему в очи и засмеяться... О, дайте, молю вас!»...

## XXXIX

Кривонос поскакал к монастырю и встретил толпу козаков, гнавших к нему связанного мещанина. Это был тот самый прочанин, обросший пегою уже бородой, с желтоватыми белками бегающих по сторонам глаз, которого чуть не убили в Хустском монастыре.

— А вот, батьку, шпыга поймали,— обратился к полковнику один из козаков,— в монастыре был и хотел бежать... Хотели было повесить, так говорит, что из козаков...

— Кто ты? — воззрился на него пристально Кривонос.— Только не лги,— у меня расправа страшна!

Связанный не мог вынести устремленного на него пронзительного взора и начал, опустив глаза в землю, путаясь, уклончиво говорить:

— Клянусь истинным богом и святой троицей, что я козак и греческого закона... бежал от преследования козак... то бишь поляков, от кары, и скитался вот, разыскивая какой-либо свой загон, чтобы пристать к нему...

— Да из каких ты будешь козаков — из рейстровых или низовых?

Допрашиваемый смутился и колебался в ответе, а это заронило в душу Кривоноса сомнение.

— Да отвечай же, не дразни меня! — прикрикнул он грозно.

— Да что тут брехать и к чему? — махнул тот рукой с отчаянною решимостью.— Неужели ты не узнаешь меня, славный Максиме?

Кривонос оторопел и начал еще пристальнее вглядываться.

— Голос знакомый, и обличье как будто встречал,— бормотал он,— а пригадать — не пригадаю.

— Да Пешта, бывший сотник рейстровиков.

— Пешта, Пешта... А, помню! Что Богдана хотел утопить на Масловом Ставу?

— Ишь, что вспомнил,— вспыхнул Пешта,— только не всякое лыко в строку... Да и то не топить Богдана

хотел я, а думал лишь сам стать во главе повстанья и вести вас на ляхов. Тут еще греха великого нет. А коли бог его превознес и поставил над нами ясновельможным паном, то я первый передался на сторону Богдана, вот под Желтыми Водами. Туда ж мы плыли с Барабашем по Днепру. Ну, я и начал подговаривать наших вместе с Кречовским, только тот улизнул, а меня накануне схватили ляхи и отправили с конвоем к Потоцкому, да мне удалось удрать... и так как к своим путь был отрезан, то я ударился на Волынь и хотел пробраться в Литву, не предполагая, чтобы Богдан мог так скоро с чертовой ляхвой управиться, а как услыхал про Княжьи Байраки, про Корсунь да про другие победы, так загорелся радостью и повернул назад... Приходилось бывать и ляхом, и жидом, и дьяволом, чтобы избавиться от напасти, а тебе, славный полковник и товарищ, объявился я уже щиро... вот и суди!

Кривонос слушал внимательно Пешту; что это был действительно он, сомнения уже не было; его только старила и делала неузнаваемым борода. Приятелем Пеште Кривонос никогда не был, но товарищем его считал и встречался с ним часто и у Богдана, и на тайных сходках; при этих-то встречах и проявился ему лукавый, ополяченный нрав этого Пешты, отталкивавшего отчасти от себя своей заносчивостью и безмерным тщеславием; но больших пакостей за ним не знал Кривонос и о последних доносах его даже не слыхал. Теперешний рассказ его был правдоподобен, и отказать в гостеприимстве своему козаку счел он несправедливым.

— Так что же, Максиме, примешь ли к себе старого товарища, затравленного ляхами?

— Да, Пешта... тебя я узнал,— протянул ему Кривонос дружески руку,— и если щиро желаешь ты послужить со мной нашей родине, то мы тебе рады.

— Клянусь нашей верой,— воскликнул патетически Пешта,— что буду служить ей до смерти и повиноваться твоему слову, мой преславный атамане!

— Так почеломкаемся же,— обнял его Кривонос и объявил оторопевшим козакам, что старый его приятель Пешта поступает в его загон сотником.

Пешту немедленно развязали и подвели ему доброго оседланного коня.

Кривонос остановился в засаде за махновским

лесом. Часть своего отряда под предводительством Гната Шпака он отправил в обход через болотистую речку, чтобы во время приступа тот ударил с неожиданной стороны, а вовгуринцев с Лысенком послал еще с утра к замку выманить в поле ляхов, да вот что-то везде было тихо.

Уже ночь... Из-за опушки леса справа мигает кровавым глазом не улегшееся еще зарево, а слева виднеется на возвышенности, освещенной красноватым отблеском с светящимися точками, замок Тышкевича. Кривонос не спит, а сидит под дубами и молча потягивает глоток за глотком оковиту; ему сегодня что-то не по себе и утренний эпизод возмущал его дух,— ведь он, как баба, раскис и нарушил данную им в страшную минуту клятву,— и тревога за Лысенка отняла от него сон, и неизвестность за своего лучшего друга Чарноту сжимала его сердце тоской.

Возле него лежит на бурке Пешта и тоже не спит: страх или предчувствие зудят ему душу.

— Не слыхал ли ты, Пешта, чего-нибудь о моем Чарноте? — спросил наконец у него Кривонос.— Подался с месяц тому назад на Волынь и вот словно канул в воду.

— Про Чарноту? Стой, брате, слыхал... да в Хустском же монастыре говорили, что он под Корцом... Так, так!

— Ага, вон где! — обрадовался известию Кривонос.— Слава богу, значит, жив... Только уж его закортит взять замок... не такой он, чтобы прошел мимо, а тут мне его вот бы как треба...

— Пожалуй, что и пошарпает князя Корецкого. Там из Хуста одна ватага пошла в Гущу — жечь Киселя, а другая двинулась к Корцу — на помощь Морозенку и Чарноте.

— И Морозенко, значит, там? Славный лыцарь, хоть и молод, а уж оседлал славу... Только стой, Пешта, отчего же ты там к кому-нибудь из них не пристал, а стал слоняться по польским монастырям и костелам?

Если бы не стояла на дворе темная ночь, то Кривонос бы увидел, как побледнел Пешта при этом вопросе; но теперь он только заметил, что Пешта замялся и ответил не сразу:

— Да я спешил как можно скорее домой, в Украйну,

к своему гетману... Надеялся, что он меня не забудет и что я ему послужу еще верой и правдой...

— Гм-гм! — промычал Кривонос и смолк.

Под утро лишь успокоила его волнение оковита и он заснул было крепким сном, но не надолго: его прервала неожиданно поднятая тревога.

— Пане атамане! пане полковнику! — кричали козаки, подлетевшие к нему от опушки.— Лысенка гонят ляхи... прямо сюда!

— Гаразд, гаразд, детки! — встрепенулся атаман.— Спрятаться в лесу, мертво стоять... ждать моего приказа!

Послышался быстро возрастающий топот.

Пригнувшись к луке и поглядывая из стороны в сторону, словно затравленный волк, летит впереди Лысенко; кинжал у него закушен в зубах, кривая сабля сверкает в руке, шапки на голове давно нет, а лишь вьется по ветру змеей оселедец. Вслед за атаманом несется врассыпную отряд.

Легкие кони козачьи послушны узде и мчатся, как вольный ветер в степи, то припустят стрелой, то закружатся вихрем, словно заигрывая с врагом.

А враг гонится за отрядом тяжелым и грузным галопом, наклонив древки пик с змеящимися на концах прапорцами и размахивая длинными палашами; закованная в сталь и серебро шляхта горячит своих коней гиком и шпорами; но им не догнать бы никогда гайдамак, если бы последние, по глупой и безрассудной удали, не давались сами им в руки: вот понесутся они, вытянувшись вплотную с конем, уйдут, кажись, совсем от преследования, вдруг закружатся, рассыпятся, поворотятся быстро фронтом, пустят несколько пуль из мушкетов и стрел — и гайда! А у рыцарей то там, то сям упал на скаку конь, сбив пышного всадника под копыта, смешались ряды, но завзятая лютость на трусливых оборванцев воспламеняет героев; строй сразу восстанавливается, расстояние между двумя отрядами уменьшается быстро: простые мужицкие кони выбились, видно, из сил и им не уйти от сытых и дорогих аргамаков... Сверкающие острия панских пик приближаются с ужасающею быстротой и вот-вот готовы уже пронзить припавшие к косматым гривам хлопские спины.

— Эй, батьку атамане,— бросился к Кривоносу есаул

Дорошенко, загоревшийся боевым пылом, — пропадут наши!.. Гукни только — мы сразу отрежем ляхов!

— Цыть! — прорычал Кривонос, жадно следя за результатом этой молодецкой потехи.

Промчался Лысенко мимо, крикнувши к лесу «Здорово!» — а за ним почти по пятам проскакали ляхи... Взмыленные, дымящиеся лошади их с тяжелым хрипящим дыханием напрягают последние силы, всадники готовы выскочить из седел... еще одна-две минуты и враг будет настигнут, раздавлен...

— Хлопцы, за мной! — крикнул тогда Кривонос, ринувшись на своем Черте вперед.

Раздался оглушительный гик, смешанный со свистом и треском; словно стая демонов, вырвались из лесу козаки и темною тучей понеслись вихрем-бурею за своим атаманом.

Лысенко, заметивши это движение, переменил сразу тактику; он пронзительно, особенно как-то свистнул — и вовгуринцы его сразу рассыпались веером. Оторопела польская конница и начала сдерживать разогнавшихся коней, а в это время с тылу ударил уже на нее стремительно Кривонос. Не успели всадники поворотить своих тяжелых, выбившихся из сил аргамаков, как упали на их шлемы, кольчуги и латы крушительные лезвия сабель... раздался звяк, лязг... посыпались искры, поднялись на дыбы поражаемые кони... стали падать на землю разряженные пышно бойцы. Придя в себя, поляки с ожесточением отчаяния начали защищаться, но защищаться было почти невозможно: длинные копья их были теперь ни к чему, тяжелое вооружение мешало гибкости и свободе движений, усталых коней почти трудно было поворотить; притом польской конницы против атакующей было очень мало: густою массой окружили ее козаки Кривоноса и Лысенка, словно быстролетные стрижи неповоротливого коршуна, и начали страшную, кровавую сечь...

Увидел отважный удалец, комендант крепости Лев, что дался обмануть себя хлопу, и с необузданной лютостью стал кидаться под удары кривуль; за ним и все остальные загорелись отвагою, но и отчаянная храбрость могла мало помочь: перевес силы врагов их ломил... кольчуги пробивались, обагрялись алою кровью, шлемы разлетались надвое, с каждою минутой редели

ряды пышных рыцарей, с каждою минутой стягивало, сжимало их непроницаемое кольцо козаков... Гибель всего польского отряда казалась неизбежной, —

— Панове рыцарство! — крикнул тогда полный отчаяния, пылкий молодой витязь.— Или пробьемся через эти тучи саранчи к замку, или ляжем со славой... За мной! — И он пришпорил коня, поднял его на дыбы и ринулся на ряды козаков, на клинки поднятых сабель; за ним рванулись дружно вперед и остальные товарищи... Натиск был так неожидан и так стремителен, что передние козачьи кони шарахнулись в сторону и дали возможность проложить себе дорогу полякам, а раз получила возможность двинуться тяжелая конница, то она уже силой инерции проламывала себе и дальше дорогу.

Большая половина рыцарей пала за лесом и усеяла трупами путь отступления, но меньшая все-таки пробилась сквозь густые козачьи ряды и понеслась к замку.

Сначала было опешили и диву дались козаки, что такая ничтожная горсть ляхов прорвала и разметала их густые ряды, но взбешенный этою выходкой, рассвирепевший Кривонос вывел их скоро из оцепенения.

— Что ж вы, вражьи сыны, остолбенели? — зарычал он неистово.— Выпустили, черти, ляхов да глазами хлопаете? В погоню, собачьи дети! Бей их, аспидов, кроши на лапшу, по пятам за шельмами, в замок! Да выпалить из гармат, чтоб дать знать Шпаку! — командовал он, летя ураганом и обгоняя на своем Черте мчавшиеся за ляхами ряды.

Но момент был упущен.

Поляки были уже далеко впереди. Как ни понукали своих коней козаки, как ни рвались они за своим атаманом, а едва только настигли драгунов у самой уже брамы, когда подъемный мост успели уже поднять.

— Разбирай частокол! Добывай замок! — вопил Кривонос, и разъяренные неудачей вовгуринцы спешились и бросились неудержимою лавой на вал, рубя и вываливая дубовые пали.

Кинулись поляки мужественно защищать частокол, но гарнизон был, видимо, мал и на все протяжение валов его не хватало; в иных местах закипали в пробоинах кровавые схватки, но в других козаки беспрепятственно громили двойную ограду, а тут еще послышался с противоположной стороны шум,— очевидно, ударил Шпак.

Обезумевшие защитники заметались и отхлынули от валов.

Кривонос уже командовал было лезть всем на приступ, но вдруг неожиданно в задних рядах его отряда раздался громкий встревоженный крик: «Ярема!» — и это страшное имя прокатилось по рядам громом и заставило каждого вздрогнуть и окаменеть в ужасе.

## XL

Кривонос тоже был поражен как громом этим ошеломившим всех криком; тысячи разнородных ощущений ударили молниями в его грудь: и растерянность, по причине появления врага, и радость, что наконец-то привелось переведаться с катом, и тревога за количество его боевых сил, и боязнь, чтобы имя Яремы не произвело среди его ватаг паники... Но старый вояка скоро овладел собой и бросился на своем Черте к задним лавам узнать досконально, в чем дело. Пролетая по рядам, кучившимся в беспорядочную толпу, Кривонос заметил у всех своих бойцов побледневшие лица с испуганным выражением глаз и побагровел от досады... «Что, если струсят, если бросятся наутек?» — и одно это мимолетное предположение сковало холодом его сердце; он сдавил острогами коня и заставил его бешено рвануться вперед.

Оказалось, что известие о Яреме принесли мещане, прискакавшие на неоседланных конях из-за леса; по словам их, князь был не более как в шести верстах от Махновки и приближался к ней на полных рысях, а войска с ним было будто бы видимо-невидимо... Кривонос сообразил сразу, что положение его очень опасно: назад к обозу, стоявшему у опушки леса, поспеть он не мог,— Ярема, очевидно, туда прибудет скорей; замок взять и укрепиться в нем до прибытия князя нечего было и думать, а потому придется биться с ним без прикрытия... Если даже мещане и преувеличили со страха количество его боевых сил, то во всяком случае их должно было быть немало,— Ярема с горстью не ездит, да и, кроме того, дружины его отлично вооружены и дисциплинированы, к ним еще присоединится и гарнизон замка. Не выдержат открытой атаки железных яремовских гусар его сборные и не привыкшие к правильному бою ватаги, особенно если окажутся между двух огней... Ко всему

еще, он, на беду, отделил добрую треть своих сил со Шпаком, и теперь тот будет отрезан...

— Эх, Чарноты, моего верного друга, нема! — с горечью вскрикнул Кривонос, вырвавши у себя клок чуприны.— Что делать, что делать?

Но времени тратить было нельзя: каждая минута приближала к ним гибель, каждое мгновенье уносило надежду. Кривонос встрепенулся и окинул орлиным взором всю местность. Из-за леса не было видно еще войск, но зато исчез куда-то и стоявший у ближайшей опушки обоз. В замке на обращенных к лесу стенах из-за частокола то там, то сям выглядывали головы, но их было мало. С той стороны шел бой, и горячий: усиливались бранные крики, возрастал треск мушкетов и гул от падения паль.

С фронтовой стороны вала работали в разных местах вовгуринцы,— встречая слабое сопротивление, они проламывали бреши; главные же его боевые массы толпились внизу нестройными кучами, словно стада овец, перепуганных приближающеюся грозой. Небольшая болотистая речонка огибала с противоположной стороны замок и выходила налево огромною дугой; вдали, за речонкой и за замком, виднелось на несколько приподнятой плоскости местечко.

Нивы, окаймленные речкой и болотами, составляли прекрасные поемные луга; мещане окопали их по берегам реки глубокими рвами с высокими насыпями-окопами; кроме того, от речки к местечку протянуты были поперечными радиусами глубокие рвы, отмежевывавшие, вероятно, частные владения. Кривонос сразу сообразил, что это место может защищить их от атак, если местечко обеспечит им тыл...

— Ой, на бога, пане полковнику,— молили между тем, кланяясь почти в землю, мещане,— защитите нас, ведь если ворвется сюда князь Ярема, так никого не оставит в живых, расправится, как в Погребищах!

— А что ж, мещане станут мне в помощь? — спросил Кривонос.

— Все до единого, батьку... Что прикажешь, куда прикажешь,— рады с тобой головы положить, все ведь одно нам пропадать.

— Так слушайте ж! Соберите всех, кто может в руках дубину держать, и защищайте с той стороны местеч-

ко, а отсюда я не пущу ни самого сатаны, ни его чертовых псов... Вы только с той стороны отразите, чтоб не ударил на нас в затылок.

— Отстоим, батьку, отстоим. С той стороны пруд... Не пропустим... Перекопаем греблю.

— Добре. Я вам в помощь пошлю Пешту с сотней козаков.

Кривонос сразу повеселел и начал бодро и поспешно делать распоряжения. Войскам приказал отступить на левады, спешиться и занять окопы. Лысенка оставил на время продолжать громить частокол,— для отвлечения гарнизона,— а Дорошенка послал с одним мещанином к Шпаку, чтобы последний оставил лишь часть своих войск для фальшивых приступов, а сам бы спешил на помощь к нему ударить на врага с тылу в решительную минуту.

Ободренные его спокойным и даже радостным видом, все бросились исполнять приказания батька атамана, соблюдая строй и порядок, воодушевляясь снова отвагой.

— Товарищи, други мои, братья! — крикнул Кривонос зычным голосом, когда улеглась суета.— Настал для нас слушный час постоять за свою Украйну... Кровожадный зверюка, лютейший враг ее, терзавший ваших матерей и сестер, богом брошен сюда, на наш суд... Ужели мы, восставшие за святой крест, испугаемся этого дьявола? Смерть ему, гибель ему, исчадью ада! Пусть будет проклят тот, кто отступит на крок! Костьми ляжем, а этого перевертня-ката добудем!

— Добудем, добудем! Смерть ему! — прокатилось по рядам громом.

Кривонос окинул всех своих соратников сочувственным взглядом и воспрянул духом; недавней робости не было и следа: все воодушевлены были боевым задором, у всех сверкали завзятьем глаза. Кривонос оглянулся на лес, но там ничего нового не было видно... И вдруг ему пришло в голову, что ляхи сыграли с ним шутку,— подослали мещан, напугали Яремой, заставили отступить и спрятаться за окопы... Кривоноса пронял холодный пот при одной этой мысли, но лишь только он повернулся к крепости и поднял кулаки, чтобы разразиться проклятиями, как в то же мгновение заметил страшное воодушевление у врагов; с дикими криками радости усеяли поляки валы и начали палить из гармат, и га-

ковниц, и мушкетов... Кривонос тревожно перевел глаза на поле, на лес: там поднималось и росло громадное облако пыли, а в глубине его мелькали темные массы, сверкавшие то там, то сям металлическим блеском.

— Нет, не обманули,— воскликнул радостно Кривонос,— это он, дьявол! Это его гусары, да еще, вероятно, и Тышкевич... Гей, друзи! Привитайте же добре незванных гостей... Стреляйте редко, да метко, чтобы ни одна пуля не змарновала, а попадала бы прямо в сердце мучителям... В ваших руках доля ваших матерей, жен и сестер!

— Костьми ляжем, батьку! — перекатывался по рядам добрый отклик.

Кривонос подскакал к Лысенку.

— Оставь у частокола жменю людей, а сам со всеми твоими вовгуринцами становись у этого брода: эта перемычка самая опасная, так как там нет топи. Сюда их не пусти, а за остальную линию я не боюсь.

— Так и за эту, батьку, не бойся,— мотнул головой уверенно Лысенко,— пока буду жив, ни один чертяка не переступит ратицей через речку.

Между тем Ярема с своею блестящею кавалерией быстро приближался к замку. Стройными рядами двигались рослые, золотистой масти кони, разубранные в аксамитные чепраки, в стальные нагрудники с блестящими бляхами, в кованые серебром с щитками уздечки; все всадники были одеты в роскошные ярких цветов кунтуши, покрытые на груди серебряными кирасами, а в дальних рядах — кольчугой; за плечами у всех торчали приподнятые шурщащие крылья, на головах красовались шеломы. Солнце ослепительно играло на этих пышных рыцарях, лучилось на их тяжелых палашах и длинных шпагах, сверкало на остриях пик, украшенных пучками длинных разноцветных лент; казалось, что движется волнующеюся рекой блестящая искристая радуга.

Кривонос не сводил глаз с этих разубранных, словно на пышный турнир, воинов и зорко следил за движениями врагов. Вот они остановились и начали строиться в колонны. Какой-то всадник на легком красавце коне, в скромной темной одежде гарцевал впереди и указывал жестами на крепость. «Это он! Кровопийца!» — мелькнуло в голове Кривоноса, и при одной этой мысли закипела в груди его такая бешеная, неукротимая злоба, такая

страшная жажда мести, что, опьяненный ею, он чуть не бросился через речку, чтоб ринуться одному и скрестить с извергом свою саблю; но пущенный со стен замка залп по вовгуринцам отрезвил несколько Кривоноса.

Ярема теперь только, по направлению выстрелов из замка, открыл, где засел враг; сопровождаемый несколькими всадниками, он подскакал к речке почти на выстрел и поехал берегом осмотреть местность. Кривонос бросился к рядам и велел не стрелять, боясь, чтобы какая-либо шальная пуля не вырвала из его рук врага. Ярема заметил единственного разъезжающего по широкой луговине всадника и, догадавшись, очевидно, кто он, остановился со своею свитой. Кривонос тоже осадил своего коня. Долго смотрели друг на друга враги,— казалось, они ждали только мгновения, как дикие звери, чтобы одним скачком перелететь через разделяющее их пространство и закостенеть в смертельных объятиях... Но вдруг из свиты князя раздались два выстрела; одна пуля прожужжала у самого уха Кривоноса, а другая задела ногу его вороного; конь шарахнулся в сторону и поднялся на дыбы.

— Собака! — крикнул Кривонос и соскочил с коня — осмотреть его рану; она оказалась пустой,— кость была цела.

Ярема вернулся к своим войскам и стал отдавать приказания.

— А вот сунься, недолюдок, в атаку, сунься-ка!.. Нечистые силы,— взмолился Кривонос,— подпечите его, разлютуйте свое отродие!

Но войско не строилось для атаки, а, напротив, всадники стали спешиваться.

— У, дьявол! — промычал Кривонос.— Все видит, все знает! И не обманешь, и не подденешь его ни на что.

Между тем спешенные яремовцы длинным рассыпным строем стали приближаться к реке и открыли по засевшим за окопами козакам беглый, трескучий огонь. Вражеские пули или врывались в землю, или свистели над козачьими головами, не нанося почти вреда; редко-редко где раненый корчился или падал пластом. На частые выстрелы наемных польских стрелков козаки отвечали сдержанно, скупо; но зато каждый их выстрел нес врагу верную смерть,— то там, то сям падали со стоном стрелки... Уже раскинувшееся широкою дугой болото

начинало пестреть пышными трупами, словно диковинными цветами.

Но в помощь к надвигавшимся вброд рядам подъехали еще четыре легкие орудия и стали посылать по залегшим повстанцам снаряды. А с одной башни в замке открыли тоже по ним убийственный продольный огонь; ядра взрывали, подбрасывая землю, залетали во рвы и мозжили человеческие тела...

Среди беспрерывной перекатной трескотни и периодически повторяющегося грохота прорывались иногда сдержанные крики и глухие стоны; вся местность заволакивалась белесовато-сизыми волнами дыма. Кривонос багровел и бледнел от охватившей его муки: держать свои войска под перекрестным огнем без определенной цели, не предвидя доброго исхода этой осады, смотреть, как тают ряды его братьев, и не быть в состоянии броситься в бешеном исступлении на этого спокойно наступающего врага... О, таких терзаний долго не снесть! И если бы не ответственность за вверенных ему воинов, он знал бы, что делать!

Но чем сильнее донимала его тревога, тем закаленнее становилась воля, тем властнее сдерживало его душевную бурю полное самообладание.

«Нет,— думал Кривонос, глядя, как польские жолнеры вязли в болоте и, не добравшись до речки, возвращались назад,— чертового батька нас тут достанешь! Будем стоять и боронить это место, пока нас кто не выручит, а если придется сдыхать, так только трупы, собака, возьмешь и за каждый заплатишь так дорого, что не сложишь цены».

— Молодцы, хлопцы, любо! — ободрял он всех, объезжая ряды.— Славно украсили вы это болото польскими трупами, аж зацвело; только что-то вы стали будто ленивее их щелкать?

— Боевого запасу, батьку, не стает уже,— отвечали уныло козаки.

— Почитай, что и совсем вышел,— угрюмо бурчали другие.

— В обозе все осталось... отрезали, клятые. Кто мог ожидать? — злобно рычал Кривонос.— Потерпите немного, я их к нечистой матери отшвырну. Тогда потешимся. Ух, потешимся же!

— А нам что? Коли потерпеть, так потерпим: лежать

на траве вольно, чудесно; можно даже и люлечку потянуть, а если кого и пристукает шальная, так, стало быть, на роду ему так написано — с курносой ведь не пошутишь,— успокаивались на философских выводах козаки.

Между тем комендант замка, заметив, что атака почти совсем прекратилась, решил сделать вылазку и ударить через известную ему переправу на козаков с тылу — отомстить за утренний разгром и свое постыдное бегство.

Отворились внезапно ворота, опустился с звяком и скрипом мост, и выехали из замка сотни две тяжело вооруженных всадников; они моментально выстроились и понеслись с наклоненными пиками на вовгуринцев, присутствия которых и не подозревали, так как последние все время сидели молча, без выстрела.

— Не торопитесь, — командовал тихо Лысенко,— выждать, пока не подскачут вон к тем кустам.

Несутся свободно поляки, рассчитывая, что обстреливаемые с трех сторон хлопы не обратят пока и внимания на их движение... Вдруг страшный залп, почти в упор, разметал и опрокинул их первые ряды, а вторые стали то спотыкаться на трупы, то скакать в сторону и тонуть в болоте. За первым залпом последовал второй, третий... Ошеломленные всадники пробовали сдерживать коней, задние ряды наскакивали на них с разгону. Произошла давка. Поднялся страшный кавардак. Кони храпели, подымались на дыбы, всадники опрокидывались им под копыта, а вовгуринцы пользовались этим замешательством и усиливали меткий, убийственный огонь. Еще мгновение, и конница поворотила бы назад, но удалой Лев остановил ее своею беспримерною отвагой.

— За мной, панове! — крикнул он запальчиво, весь горя боевым азартом.— Неужели нас остановит кучка презренного быдла? Мы их раздавим, как подножных червей! — И он ринулся вперед, осыпаемый градом пуль, а пример безумца увлек и других.

Пришпорив коней, понеслись снова поляки и, потеряв половину людей, бросились бешено в речку. Кривонос не упустил момента и послал на помощь к вовгуринцам еще с сотню окуренных порохом воинов; но не устояли бы от стремительного натиска этих железных всадников козаки, если бы не помогла им речка: берег, за которым залегли вовгуринцы, оказался немного об-

рывистым; тяжелые кони почти не могли на него выкарабкаться и тонули в тине, подымаясь напрасно на дыбы, чтобы выскочить.

— Гляньте, хлопцы, как затанцевали паны! — захохотал Лысенко злобно.— А нуте-ка их, как галушки, на спысы!

И козаки с гиком да хохотом, побросавши мушкеты, бросились к берегу и начали почти безнаказанно пронизывать пиками и всадников, и коней. Только ничтожная часть этой пышной конницы успела выбраться из убийственной западни и скрылась за стенами замка.

Загремел вновь еще сильнее артиллерийский огонь, затрещали еще чаще мушкеты, но козаки уже не могли на них отвечать, а молча, отдавшись судьбе, лежали и ждали лишь с нетерпением последней предсмертной борьбы, последней бешеной схватки. А яремовские дружины уже таскали фашины и устраивали в различных местах искусственные гати, по которым можно было бы броситься на позицию хлопов. Козаки не могли им ничем препятствовать и только равнодушно смотрели, как работы врага подвигались быстро вперед.

— Проклятье! — скрежетал зубами Кривонос, весь зеленый от бушевавшей в груди его ярости.— Они нас перережут, как курей, а тот аспид, кровопийца будет лишь любоваться издали, а не придет сюда. И неужели я не посчитаюсь? Вся жизнь для мести... Жду ее не дождусь... и вдруг... О, триста тысяч пекельных мук!

Атака между тем не начиналась, среди выстроенных рядов произошло некоторое замешательство. Кривонос осмотрелся кругом и заметил за замком поднимающиеся клубы дыма; темный волнующийся полог выделялся резко на вечернем нежно-розовом горизонте, расширяясь и захватывая значительное пространство.

## XLI

«Что там случилось? — недоумевал Кривонос. — Уж не горит ли ток пана Тышкевича? Только кто бы нам оказал такую услугу? Селяне прислужились... а может быть, Шпак? О, помоги, помоги, боже!»

Кривонос заметил, как к Яреме подлетел на коне какой-то тучный всадник и начал о чем-то взволнованно говорить, жестикулируя нервно руками; произошел,

по-видимому, резкий спор, и вскоре часть войск отделилась и быстро понеслась за тучным всадником к месту пожара. Оставшиеся же войска, подкрепленные новыми, спешившимися драгунами, уже приготовились к решительной атаке. Кривонос у трех переправ сгруппировал курени и ободрял всех взволнованным голосом:

— Настал час, друзья, померяться силой с Яремой. Постоим до последнего... От него пощады не ждать, так не пощадим и мы своего живота для псов-жироедов... Отомстим же им, братове! Не положите охулки на руку!

— Не положим, батьку, не бойся! Узнают они, клятые, как затрагивать нашу веру и волю! — откликались возбужденные голоса.

— Местечко горит! — кто-то неожиданно крикнул.

— Горит, горит, братцы, — заволновались прибывшие раньше мещане,— обошли, верно, ляхи!

Эта догадка всполошила ближайших козаков и побежала тревогой по лавам; среди ватаг пошла сумятица,— все засуетились, повыскакивали из своих закрытий и повернулись тревожно к местечку. Раздался убийственный залп, и пестрые массы врагов заволновались и с страшным гиком стремительно бросились по фашинам вперед.

Напрасно Кривонос метался по рядам и нечеловеческим голосом кричал, что в местечке стоит Пешта и не допустит обхода, что это, верно, он и поджег, чтобы отжахнуть ляхов, паника, видимо, овладевала его дружинами и готова была перейти в ужас; неприятель хотя и с трудом, но переходил отважно трясину и уже был на носу. Кривоносу казалось, что еще один миг — и настанет неотразимая гибель. Закаменевший в мрачном ужасе, с искаженным, ужасным лицом, он ждал, затаив бурное дыхание, этого мига, этой смерти всех своих надежд и желаний, и был поистине страшен.

А поляки свободно по болоту приближались к окопам; козаки в приливе злобы рвали себе чуприны и, словно хищные звери, сверкая глазами и съежившись, готовились к рукопашной ужасающей схватке.

Вдруг к крикам атакующих присоединился еще страшный более дальний крик, словно из-за стана Яремы. Кривонос насторожился. «Вероятно, — подумал он, — этот дьявол пустил и остальные войска в атаку, чтобы раздавить нас сразу». Но нет, что-то не так! Этот воинственный шум не воодушевил наступающих, а, напротив,

смутил их ряды. Вот ближе, у самой княжеской ставки, раздался гик... и с тучами взбитой пыли, отливавшей червонным золотом под лучами заходящего солнца, какие-то массы стремительно ринулись на пасущихся рыцарских коней и на самих рыцарей, разлегшихся безбоязненно на траве.

— Боже! — затрепетал Кривонос от охватившей его порывисто радости.— Да неужели это сокол мой Шпак? Только нет... с той стороны зайти он не мог... Но ведь это наш кто-то, наш!.. Вон все кинулись... и эти повернули назад.

Лежавшие за окопами козаки были также поражены неожиданностью маневров врага и, привставши, глядели широкими глазами на всполошенные, отступающие ряды, которые уже были готовы броситься на них с остервенением.

— На коней, хлопцы! На коней! — закричал Кривонос, опьяневший совсем от восторга.— Наши трощат ляхов! Да дадим же и мы им перцу!

Этот крик сразу встрепенул массы и вдохнул в них боевой пыл и отвагу. Все схватились на ноги и бросились бурным потоком к своим стреноженным коням. Прошло немного мгновений и этот закружившийся беспорядочно вихрь стал принимать правильные формы, вытягиваться в лавы, строиться в удлиненные колонны... Еще миг — и волнующаяся щетина копий установилась стройней, наклонилась вперед, стяги взвились по краям, и лезвия сабель сверкнули холодным металлическим блеском.

Кривонос летал бешено по рядам на своем Черте и торопил всех; когда же выстроились в боевой порядок козаки, он взмахнул своей тяжелой кривулей и скомандовал задыхающимся от волнения голосом:

— Переправляться вброд, не торопясь, осторожно, а там нестись на врага вихрем-бурей!.. Локшите всех, шаткуйте их на капусту!.. Только одного собаку Ярему дайте мне в руки живьем! С ним нужно мне самому счеты свесть, давние счеты! За мною ж! На погибель катам!

— На погибель! — загремело по стройным рядам, и конница заволновалась и двинулась за своим батьком атаманом вперед.

А налетевший нежданно-негаданно на беспечных

поляков какой-то козачий отряд уже врезался стремительно в средину лагеря и начал ужасную сечу.

— Морозенко! Морозенко! — раздался крик в теснимых рядах и пронесся по всем хоругвям оцепеняющим ужасом. Главные силы распахнулись надвое: одна часть стала отступать к лесу, другая подалась к замку; подкрепления остановились нерешительно в болоте.

Ярема, заметя это замешательство и дрогнувшее мужество своих дружин, готовых обратиться в постыдное бегство, вскипел благородным гневом и, кинувшись в самое пекло резни, закричал стальным голосом:

— Ни с места! Позор! Тысяча перунов, кто отступит на шаг! Вы испугались горсти презренного быдла? На гонор польский, на матку найсвентшу, вперед! Я укажу дорогу!

Слово героя-вождя сразу воодушевило польских рыцарей, и они вслед за князем врезались в центр козачьего отряда и заставили его переменить фронт; разорванные, отступающие части вступили снова в ожесточенный бой и сжали, словно в тисках, сравнительно небольшой козачий отряд; пристыженные словом любимого вождя своего, спешенные для атаки хоругви вскочили поспешно на коней и бросились тоже в бой. Вскоре отряд Морозенка, окруженный с трех сторон более сильным врагом, остановился в натиске и стал лишь отбиваться свирепо... Но едва оправились поляки и, увлекаемые заразительною удалью своего героя, стали теснить Морозенка, как с тылу на них налетел ураганом и ударил яростно Кривонос. Кривоносцы и вовгуринцы с адским гиком и хохотом, с налитыми кровью глазами, с развевающимися змеями на бритых головах, словно фурии и гарпии, вырвавшиеся из адских трущоб, накинулись на поляков, вышибая их копьями из седел, рубя саблями головы, поражая кинжалами, схватывая в железные объятия, грызя зубами им горла. Все смешалось в какой-то зверской бойне; ни стонов, ни криков не было слышно, а раздавалось лишь среди лязга стали какое-то ужасающее рычание. Стиснутые с двух сторон, поляки, видя безысходность своего положения, защищались отчаянно. Ярема метался на своем золотистом Арабе по разбившимся на беспорядочные кучки хоругвям, воодушевлял их словом, вдохновлял беспримерною отвагой и кидался с безумным азартом под молнии скрещиваю-

щихся клинков. Но ни беспримерная храбрость князя, ни отчаянное сопротивление его дружин не могли устоять против бешеного натиска Кривоноса, против бурной удали Морозенка: смятые, опрокинутые, окруженные в раздробленных частях хоругви роняли своих витязей, таяли и, как закрутившиеся в вихре оборванные бурей листья, разметывались по сторонам... Последние лучи заходившего солнца освещали кровавым отблеском эту ужасную бойню.

— Отступать к лесу! — прозвучал пронзительно резко голос князя.— Только в порядке,— я своей грудью закрою вам тыл...

И разбитые, скомканные дружины его стали отступать, а Ярема с своими гусарами ринулся еще с большим ожесточением на врезавшиеся клином кривоносовские ватаги. Но не успели отступающие части приблизиться к лесу, как оттуда выскочил отряд Шпака и, опрокинув их, погнал неудержимо назад. Этой новой капли ужаса было достаточно, чтобы заразить измученных, разбитых, раскиданных поляков полною паникой: обезумев от страха, потеряв самообладание, они бросились врассыпную, не думая уже о защите, не соображая даже, куда бежать... Бегущие увлекли за собой и обеспамятовавшего от ярости князя.

— Гей, дети, поймайте мне этого сатану князя! — махнул Кривонос перначом и ринулся на своем Черте в погоню; за ним понеслось с полсотни отчаянных удальцов.

Часть бросилась наперерез и отшибла княжеский экскорт в сторону, другая отрезала его от лесу и начала крошить почти не защищавшихся уже рыцарей; но сам князь Ярема, воспользовавшись замешательством, помчался на своем быстролетном коне вперед.

Кривонос, заметя это, затрясся всем телом от ужаса; тысяча ножей пронзили его облитое запекшеюся кровью сердце, тысяча ядовитых жал впились в его исстрадавшую от жажды мести грудь; он позеленел от внутренней боли и, сдавивши так острогами коня, что брызнула у него из боков кровь, рванулся бешеными скачками вперед, разражаясь проклятиями.

— Гей, перейміте его! Всё мое надбанье, всю жизнь тому! — кричал он диким, хриплым голосом, прерываемым глухим клокотаньем.— Не выдай, Черте, друже, не

выдай! — сжимал он шенкелями коня; но это было излишне: рассвирепевший аргамак взрывал землю чудовищными скачками и летел темною бурей.

Вот уже настигнуты задние ряды свиты, вот свалился с коня рассеченный почти до пояса княжеский джура, вот другой упал прекрасным лицом под копыта, вот опрокинулся на круп лошади и старый гусар, вздумавший было преградить путь страшному Кривоносу, вот уже закружился было аркан в его верной руке, но князь свистнул на своего коня и стрелой ускользнул от петли[39].

Захлебываясь от ярости, обезумев от исступления, Кривонос помчался за князем в погоню; уже их только двое, непримиримых и свирепых, неслось по тонувшему в вечернем сумраке полю; угасающий шум битвы остался позади, а здесь раздавался только глухой, частый топот копыт. Но княжеский конь был легче и выигрывал расстояние, а конь Кривоноса уже тяжело дышал и напрягал последние силы... да и рана, полученная им в ногу, затрудняла несколько его бег... Между тем поле мглилось, навстречу им надвигался темною стеной лес. Князь повернул к нему; Кривонос пустился наперерез, но он с отчаянием увидел, что его конь отстает, что князь ускользает... Вот узкая полоса провалья лишь отделяет Ярему от леса; если конь перескочит его—князь спасен... Кривонос в порыве отчаяния выхватил пистоль и выстрелил в князя; в то же мгновение княжеский конь взвился на дыбы и, перескочив через овражек, упал. Взвизгнул от радости Кривонос, подскакал к глубокой рытвине и пришпорил коня для скачка, но Черт остановился как вкопанный и начал шататься. Как ни понукал его Кривонос, выбившееся из сил животное только храпело и дрожало. А князь тоже барахтался под конем, освобождая придавленную ногу... и это все видел Максим и сознавал, что нужен один лишь скачок — и запеклый враг будет в его руках... Но боже! Вот Ярема уже поднялся и бросился бегом к лесу.

— Черте, выручи! — взмолился страшным голосом Максим, обнимая шею коня и вонзая ему в бока острые шпоры.— Озолочу!

Но бедное животное только простонало от боли.

Отуманенный бешенством безумия, Кривонос соскочил, схватил другой пистоль и выстрелил в ухо своему верному Черту; вздрогнул преданный конь от незаслу-

женной кары, покачнулся из стороны в сторону и, захрипев, рухнул грузно в высокую траву. Кривонос же схватил себя за чуприну и заплакал, зарыдал жгучими, как кипящая смола, слезами. А замок Махновский уже пылал, и зарево от него зловеще мигало подкравшейся ночи.

Три дня без просыпу пил Кривонос и, пьяный, кричал: «Катуйте их! Завдавайте им неслыханные муки!» Три дня ватаги его, а особенно вовгуринцы, бесновались в Махновке и окрестностях, истребляя немилосердно всякого, кто, по несчастью, случайно был в польском кунтуше, или в бороде, или промолвил нерусское слово. Имущество их, безусловно, грабилось, а чего нельзя было взять, все предавалось огню. В воздухе стояла мутная мгла от дыма и смрад от горелого мяса. Морозенко не захотел участвовать в этих неистовствах и отправился немедленно дальше. Он, потерявши взлелеянную им надежду найти на Волыни Оксану, искал случая броситься в зубы смерти и забыться в бешеной схватке; но издеваться над беззащитными, валяющимися с мольбами у ног, возмущало его юную душу, да, к тому же, он и времени тратить не смел, спеша на зов своего гетмана батька.

— Ну что,— спросил Кривонос Лысенка, вошедшего в его палатку,— не ворушится кругом никто?

— Ха-ха! Куда уж! — захохотал дико атаман.— То на кольях сидят, то висят на собственных ремнях, то шкварчат на угольях...

— Так, это ловко! — захрипел от какой-то жгучей муки Кривонос и залпом опорожнил стоявший перед ним налитый оковитой мыхайлик.— А ты что же не пьешь?.. Да стой! Чего ты весь и червоный, и черный? Или это у меня все червоно в глазах?

— Ха, батьку, возле такого дела ходим...— засмеялся Лысенко, наполняя и себе кухоль горилкой.— Сорочка, вишь, как промокла в крови, аж зашкарубла, а на морде и на руках сверх крови налипла еще корой пороховая пыль, так оно так и отдает,— опрокинул он, расправивши усы, в рот кухоль.

— Вот ты, батьку атамане, хвалишь меня, а ты похвали и моих вовгуринцев... Да что юнаки!.. Проявился тут загон наш жиночий под атаманством Варьки. Да кабы ты, батьку, их видел... Так работают, что и нашему

брату впору!.. Я и сам грешным делом подумал: вот такую бы мне жинку, как Варька!

— Что ты, Михайло? — изумился Кривонос и начал тереть себе лоб, разглаживая зиявший багрянцем страшный шрам.— Да разве Варька здесь? Ведь она была при Чарноте. Она, должно быть, знает, где он. Зови ее, мою старую приятельку, волоки ее поскорей!

Через полчаса Варька сидела уже в ставке полковника. Она казалась теперь более здоровой и более покойной; только на бронзовом темном лице ее появилось несколько лишних морщинок да между опущенных низко бровей, из-под которых сверкали глаза мрачным огнем, легла глубокая складка. На ее руках и рубахе заметны были тоже свежие брызги крови.

— Откуда ты, любая, и когда проявилась здесь? — спросил ее оживившийся Кривонос.

— Сегодня только с своею сподничною ватагой прибыла,— говорила грубым, почти мужским голосом Варька, поправляя на своей всклокоченной голове очипок,— а до этого была под Корцом...

— С Чарнотою? — перебил ее взволнованно Кривонос.— Где он? Что с ним?

— Слава богу, жив, здоров. Что такому велетню станется? Оставила его под Корцом...

— И долго он там будет торчать? Не нашла ли на него дурь брать тот замок?

— Навряд, иначе бы меня не пустил...

— Так какой же его дьявол там держит?

Варька пожала плечами.

— Тут без него чуть было этот иуда, этот антихрист меня не съел. Хорошо, что Морозенко выручил. Ну, мы уж и задали ему чосу потом!

— А! Мало только! — задрожала, побледнев, Варька.— Не поймали аспида, пса!

— Ушел... Не выручил конь,— простонал Кривонос, опустивши руки.

— У, изверг! — погрозила в пространство кулаком Варька.— Неужели я не доживу? Не отомщу?

— Доживем еще, поквитуем свое,— глухо и мрачно зарычал Кривонос,— только бы узнать, где он? Посылал Мыколу по всем усюдам,— нет как нет, словно провалился к своим родичам в пекло.

— Да я его вчера встретила,— встрепенулась Варька.

— Где, где? И ты молчишь!

— По дороге в Полонное...[40] Пробирался с своими пошарпанными дружинами... с своими присмиревшими недобитками... Я едва не наткнулась на них...

Кривонос уже больше Варьки не слушал; оживший, бодрый, он стоял уже за ставкой, злорадно сверкая своими воспаленными глазами.

— Коня! — заревел он.— Коня! До зброи!

## XLII

Разбитых и отступавших под Махновкой польских войск козаки не преследовали: помешала этому и наступившая ночь, а еще более жажда добычи в Махновском замке, к которому они бросились все.

Под покровом ночи хоругви Вишневецкого, разрозненные и разметанные, собрались вновь в колонны и продолжали спокойно отступление к Грыцеву. Хотя и значительны были их потери, но паника преувеличила их.

Мрачный как туча ехал князь на другом уже, карем, коне; сконфуженные, пристыженные рыцари, составлявшие его свиту, следовали за ним в почтительном отдалении, опустив низко головы.

Князь был, видимо, страшно взбешен: чувство оскорбленного достоинства жгло ему грудь, презрение к своим соратникам сверкало в огне его глаз, испытываемый позор отступления искажал черты его желтого, сухого, покрытого пятнами лица. Он нервно покручивал свои усики кверху, порывисто, неровно дышал и то пришпоривал своего коня, то осаживал его круто на месте, словно желая повернуть свои войска назад и отомстить этим презренным хлопам ужасным разгромом.

Но вспыхивавшее желание погасало быстро: он сомневался теперь не в своих боевых силах, а в мужестве их, да и страшно был зол на Тышкевича, оставившего его в критическую минуту ради спасения от огня своих скирд и хлебных запасов.

— А пусть же теперь этот негодяй сам защищает свой замок! — скрипуче вскрикивал князь и снова продолжал отступление.

В Грыцеве прибежала к нему толпа шляхтичей из Волыни. Они собрались было в Полонном, но, доведав-

шись, что Кривонос с большими силами подступил уже к Махновке, а другой загон под предводительством Половьяна приближался к ним, бросили на произвол судьбы местечко и, несмотря на мольбы мещан, на вопль многих тысяч евреев, удалились поспешно от него к Грыцеву: им известно было, что у этого селения стояли лагерем два сильных польских отряда Корецкого и Осинского, направлявшихся в Заславль к назначенному в предводители князю Заславскому.

Обрадовавшись прибытию Вишневецкого, они немедленно отправили к нему депутацию просить, чтобы князь двинулся на защиту к Полонному.

— Если князь,— говорил старший между ними, пан Дембович,— разгромит этих шельм Половьяна и Кривоноса, то нам можно будет спокойно сидеть по своим поместьям.

— Ха! — ответил желчно и злобно Ярема.— Коли хотите, панове, спокойно сидеть и лежать в то время, когда отчизна объята вся пламенем, так защищайтесь сами, а чужою кровью покупать себе спокойствие хотя и выгодно, но очень уж наивно!

— Но у нас мало сил,— ответили жалобным хором побледневшие шляхтичи,— куда ж нам тягаться с этими страшными дьяволами!

— У меня тоже на всех сил не хватит! — взвизгнул Ярема.— Что я за поставщик их для всех обалделых? Обращайтесь к вашим новым вождям, пусть они водворят вам покой. Я и то уже сделал глупость, оставив свои владения. Меня вон подбил один доблестный воин Тышкевич спасать его Махновку да и дал сам стречка в решительную минуту, открыв мой тыл... И я по милости этого труса должен был выдержать атаку с трех сторон и понести большие потери. Ну, теперь пусть же он тешится своею Махновкой, — захохотал князь каким-то скрипучим смехом.

— На бога, на раны Езуса! — молили шляхтичи.

— Да у вас же тут есть большой отряд Осинского,— бросил презрительно им Ярема и заходил взад и вперед по палатке.

— Не только Осинский, но и Корецкий тут тоже стоит; только если наияснейший князь согласится, то и они вслед двинутся, а сами вряд ли решатся.

Ярема остановился и задумался. У него снова заго-

релась жажда отомстить этой песьей крови, а соединившись с такими двумя отрядами, это было совершенно возможно, тогда оправдался бы и его поход на Волынь.

— Пригласить ко мне князя Корецкого и пана Осинского,— произнес он резко через минуту и, кивнувши слегка головой, отпустил депутацию.

Через полчаса Осинский и князь Корецкий были уже в палатке Яремы.

— Панове,— обратился к ним Вишневецкий,— главные хлопские силы, как мне известно, сосредоточены теперь под Полонным... Раздавить их, растоптать пятой — и очаг повстания в этом крае будет погашен. Хотя мои войска измучены битвами и походами, но они понесут с радостью и без отдыха свою испытанную отвагу на погибель проклятых схизматов. Итак, я предлагаю вам, панове, присоединить свои свежие отряды к моим хоругвям и ударить немедленно на врага.

— Княже,— ответил на это Корецкий,— видит бог, что я не могу исполнить твоего предложения: я должен немедленно, сейчас же лететь к моему родному Корцу, так как узнал, что к нему подступил ужасный Чарнота... а там в моем замке сидит и моя молодая жена, и масса гостей... гарнизон же ненадежен... Первый долг рыцаря— защищать женщину.

— Это похоже,— презрительно засмеялся Ярема,— на Тышкевича, тот тоже говорил, что первый долг рыцаря — защищать свои скирды... Но пусть только княжья мосць не забывает, что когда каждый из нас бросится исполнять лишь свои первые долги, то отчизна будет растерзана, да и самые скирды и жены не будут защищены.

— Я с ясным князем,— возразил обиженно князь Корецкий,— ходил везде под его хоругвью, пока было можно, но теперь, когда мое родное...

— Пропадет при таком отношении к делу,— прервал его резко, крикливо Ярема.— Тышкевича скирды и добро сгорели, а панские жены...

— Брунь боже! — воскликнул побледневший Корецкий, подняв вверх руки.

— Да мы, княже,— промолвил наконец Осинский,— не имеем и права открыть военные действия без приказа ясновельможных гетманов.

— Каких? Каких? — накинулся на него запальчиво

князь.— Тех, может быть, что находятся сами в плену и исполняют приказы голомозых?

— Гм... кха!..— поперхнулся Осинский.— Я говорю вообще... Есть же и новые предводители. Речь Посполитая не может оставаться без вождей, и никто своевольно...

— Ха! Новые? — посинел даже от злости Ярема.— Так, значит, и мне нужно идти к ним с поклоном и ждать их распоряжений, а? Или вы полагаете, что хлопы без согласия их не взденут всех вас на вилы? Да разрази меня перун, если я подыму и руку на защиту таких послушных Речи Посполитой детей, которые не могут сделать и шагу без няньки. Оставайтесь же здесь в распоряжении ваших гетманов и ждите заслуженных ударов судьбы, а я отправлюсь немедленно домой и позабочусь, не печалясь о вас, сам о себе... Я вас, панове, больше не задерживаю! — повернулся он круто спиной и порывисто вышел из палатки, оставив в ней растерявшихся и не знавших на что решиться своих гостей.

Взбешенный князь потребовал себе коня и приказал отряду отступать немедленно к Старому Константинову. На другой день Вишневецкий со своими войсками стоял уже лагерем в виду своего родного города. Но не успели еще надлежащим образом отабориться его хоругви, не успел еще он сбросить в раскинутой наскоро палатке своих походных доспехов, как доложил ему всполошенный джура, что прискакал в табор князь Корецкий без свиты и просит, на бога, у князя аудиенции.

Улыбнулся злорадно Ярема, но приказал его тотчас впустить.

Корецкий вошел в палатку, едва передвигая затекшие ноги, сгибавшиеся непослушно в коленях. Вишневецкий приготовился было встретить князя надменно и сухо, но несчастный вид его пробудил в стальном сердце княжеском жалость.

Бледное, с засохшими следами пота и пыли лицо гостя выглядело осунувшимся, дряхлым; бегавшие по сторонам глаза светились неулегшимся ужасом и стыдом.

— Что там случилось, и так скоро? — спросил его быстро Ярема.— Да присядь, княже, ты едва стоишь на ногах... Гей, джура,— хлопнул в ладоши он, оборотясь к выходу,— принеси князю холодной воды, пусть его княжья мосць извинит, что не предлагаю меду или венгр-

жины — в походе у меня их не имеется. Но на тебе лица нет?

— Смертельно устал,— проговорил с трудом Корецкий, отпивши несколько глотков воды,— целые сутки летел без отдыха, не слезая с коня, за мной скакал мой отряд и отряд пана Осинского, они тут за полмили, к сумеркам будут сюда.

— Да что такое случилось? Что погнало вас так без оглядки сюда?

— Ах, княже, ужасное известие!.. Прости,— ты был тогда, как и всегда, прав... Ты единственный столп в Речи Посполитой, на который могут все опереться... Ты у нас единственная надежда и опора.

— Благодарю! — кивнул головою надменно Ярема и, откинувшись на походном складном стуле, скрестил руки.

— Если ты оставишь нас, княже, мы все погибли.

— Хорошо, но в чем дело? — перебил его сухо Ярема.

— Ах, княже мой, спаситель наш, что случилось! Ужас подымает мне дыбом волосы.

— Каких у егомосци почти нет,— уронил вскользь насмешливо Вишневецкий,— но я слушаю.

Корецкий провел машинально рукой по своей лысине и, передохнувши глубоко, начал:

— Как только оставил нас под Грыцевом князь, бросил, как стадо без пастыря... Хотя и мы, конечно, были виноваты... пан Осинский хотел было лететь вслед за князем и просить прощенья... Як бога кохам, и я...— начал было клясться Корецкий, но нетерпеливый жест Вишневецкого остановил его.— Не прошло трех... ну, может быть, пяти, восьми часов,— продолжал он, заикаясь,— одним словом, к вечеру, да вот в такое время... прибегают на конях несколько жидков из Полонного и падают почти замертво в нашем лагере. Мы приводим их в чувство, но они почти два часа молча сидят, бессмысленно вытаращивши глаза и трясясь всем телом, как в лихорадке... Наконец после многих усилий заговорили они, но что заговорили!..

Корецкий вздрогнул и закрыл рукою глаза.

— Да что же, черт возьми, заговорили они? — стукнул нетерпеливо ногою Ярема.— Ты бесконечен князь, как твои годы!

— Пшепрашам, княже! — оправился задетый за

живое Корецкий и, подкрутив обвисшие усы, заговорил более деловым тоном.— Они пересказали следующее: разгромивши Махновку до основания, Кривонос на третий день бросился со всеми своими ватагами к Полонному, а под стенами его стоял уже с сильным отрядом Половьян и подготовлял для приступа гуляйгородины. Соединившись вместе, они бросились с четырех сторон на приступ. Может быть, наше славное рыцарство и сумело бы отжахнуть это бешеное зверье, но мещане и слуги, — изменники, клятвопреступники, вероломные схизматы, гадюки,— отворили ворота и впустили в местечко рассвирепевших дьяволов, этих исчадий из самых последних кругов преисподней. Через полчаса уже все местечко пылало и в море этого пламени под дыханием пекельного жара кипела и дымилась стоявшая лужами да озерами жидовская и благородная кровь. Пощады никому не было: все живое — до собаки, до кошки — истреблялось поголовно... А люди умирали в таких страшных мучениях, каких не выдумает и сам Вельзевул. А Кривонос и Половьян, оставивши охваченное огнем Полонное, бросились на Гречаное. Мы едва спаслись... Они нас преследуют по пятам и ночью будут тоже под Константиновом... Ой, на матку найсвентшу, будут!

— Ага, вот оно что! — поднялся с кресла Ярема и заходил озабоченно по палатке, пощипывая раздражительно свою подстриженную клинышком, по французской моде, бородку и потирая иногда свой выпуклый лоб.

Корецкий, осунувшись, грузно сидел и следил тревожными глазами за движениями раздраженного князя.

— Осинский здесь? — остановился вдруг Вишневецкий, устремив на Корецкого зеленоватый огонь своих глаз.

— Здесь, за полмили, а может быть, и ближе.

— Сколько у него хоругвей?

— Две, по семисот.

— А у князя?

— ~~Три, до двух с половиною тысяч.~~

— С моими, значит, до десяти тысяч,— буркнул Ярема и задумался. У него поднялся жгучий вопрос: броситься ли здесь на собак, или поспешить в свой Вишневец, где могла быть и его несравненная, дорогая Гризельда? Но поспешить в Вишневец — это значило бежать

снова от Кривоноса, переживать снова позор? Да, наконец, если этот гайдамака так дерзок, так безумно дерзок, что преследует даже его, Вишневецкого-Корибута, так он пойдет наперерез и спокойно не даст отступить. Так лучше же самому кинуться на него! Теперь, с этими двумя свежими подмогами, быть может, удастся и раздавить это падло собачье.

— Хорошо! Я принимаю князя и пана Осинского под свою булаву и покажу этому бестии, с кем он дело затеял! Немедленно присоединиться ко мне и переходить всем за греблю, где и устроить за ночь крепкий табор!— скомандовал Вишневецкий и велел позвать к себе начальников отдельных частей и хоругвей для распоряжений.

А Кривонос и Половьян устроили в ту же ночь в полуверсте от речки две подвижные крепости и с пятнадцатью тысячами хорошо вооруженного войска ждали только рассвета, чтобы броситься на лагерь испытавшего уже панический ужас врага и разметать его в клочья. Три тысячи кавалерии под личным предводительством Кривоноса назначены были для атаки; Половьян с тысячью конницы да Пешта с двухсотенным отрядом посланы были в обход, чтобы, перебравшись через речку, засесть в засаде. Главная же сила, пехота, замкнутая в два каре из возов, должна была составить базис операции. Кривонос даже не пил, а целую ночь разъезжал на своем новом вороном Дьяволе, осматривая, изучая местность и предвкушая сладость расчета со своим врагом.

Ночью же разбудил Вишневецкого, спавшего по-походному — на бурке, с седлом под головой и в кольчуге, — джура и доложил ему, что поймали какого-то значного козака, имеющего сообщить важные новости. Вишневецкий велел его немедленно ввести в свою палатку.

Открылся полог, и появился на пороге, сопровождаемый двумя вартовыми с дымящимися факелами в руках, какой-то полуседой уже козак с сотницким знаком на левом плече и с связанными за спиною руками; медно-желтого цвета лицо его заметно побледнело при виде князя, а глаза забегали беспокойно по сторонам.

— Где поймали? — спросил отрывисто визгливо-резким голосом князь.

— Меня не поймали, ясноосвецоный княже,— ответил подобострастно, с низким поклоном козак,— а я сам добровольно явился к твоей милости.

— Как добровольно? Послом, что ли, от этого шельмы? — вскипел Вишневецкий.— Так я ведь с такими послами распоряжаюсь по-свойски.

— Нет, не послом,— проглотил несколько раз слюну козак, потому что какая-то спазма давила ему горло и мешала свободе речи.— Я добровольно... По давнему еще желанию пришел к яснейшему князю... непобедимому витязю... славнейшему, несравненному герою... послужить ему верой и правдой.

— Откуда? — нетерпеливо топнул ногою Ярема.

— Из лагеря Кривоноса.

— Ха! Убежал? Струсил, собака?

— Нет, не убежал,— давился словами и откашливался козак,— а он, Кривонос, мне поручил отряд для засады... он послал вместе со мною и Половьяна по эту сторону речки... направо, где заросли, так я оставил их там, поспешил известить тебя, княже, об этом и предать в твои руки злодея.

— Как твое прозвище? — сжал брови Ярема и устремил на козака пронзительный, убийственный взгляд, заставивший его содрогнуться и окоченеть от охватившего внутреннего холода.

— Меня зовут Пештой[41].

— Католик, униат или пес?

— Греческого закона,— прошептал побелевшими губами Пешта, взглянувши на злобное лицо Вишневецкого, подергиваемое молниями конвульсий, обозначавших наступающую грозу, и прочитав в остановившемся на себе сухом, мрачном взоре его какой-то ужасающий приговор.

— Не греческого,— заскрежетал зубами Ярема,— а собачьего! Только между псами могут быть такие иуды-предатели!

— Я хлопотал о выгодах ясноосвецоного, а не об изменниках,— бормотал Пешта, переводя часто дыхание; холодный пот выступил у него на лбу и крупными каплями скатывался на всклокоченные усы.— Я для верной службы князю... для доказательства.

— Не нужно мне таких гадин! Ты ради своих личных выгод предаешь мне своих единоверцев, своих собратьев... и чтоб такую гадину мог я терпеть... о, ты ошибся! Потомок царственных Корибутов никогда не унизится до якшанья с подлейшими тварями. Доносами изменников и предателей пользуются — это право войны, но их самих презирают, как продажных скотов. Возьмите этого пса,— обратился Ярема к двум есаулам,— допросите его подробно с пристрастием да, проверивши показания, и повесьте на осине, как его предка Иуду.

— Ясноосвецоный! Милосердия! — повалился было в ноги князю Пешта.

Но Вишневецкий ударил его брезгливо носком сапога в лоб и крикнул с пеной у рта:

— Вон!

Обезумевшего от ужаса Пешту подхватили под руки и выволокли из княжеской ставки.

## XLIII

Еще стояла бледная ночь, еще висел над обоими лагерями усеянный сверкавшими блестками темный покров, как войска Кривоноса стояли уже в полном боевом порядке. За сто саженей от плотины, вытянувшись в узкие и длинные колонны, чернели неподвижные массы конницы, напоминавшие во мраке своею наежившеюся стальною щетиной тясмы высокого камыша; едва заметное движение пробегало иногда по сомкнутым рядам: словно предутренний ветерок колыхал верхушки торчавших стрельчатых камышин. Два козацкие табора были тоже закрыты с фронта несколькими лавами конницы. Кривонос не слезал с коня.

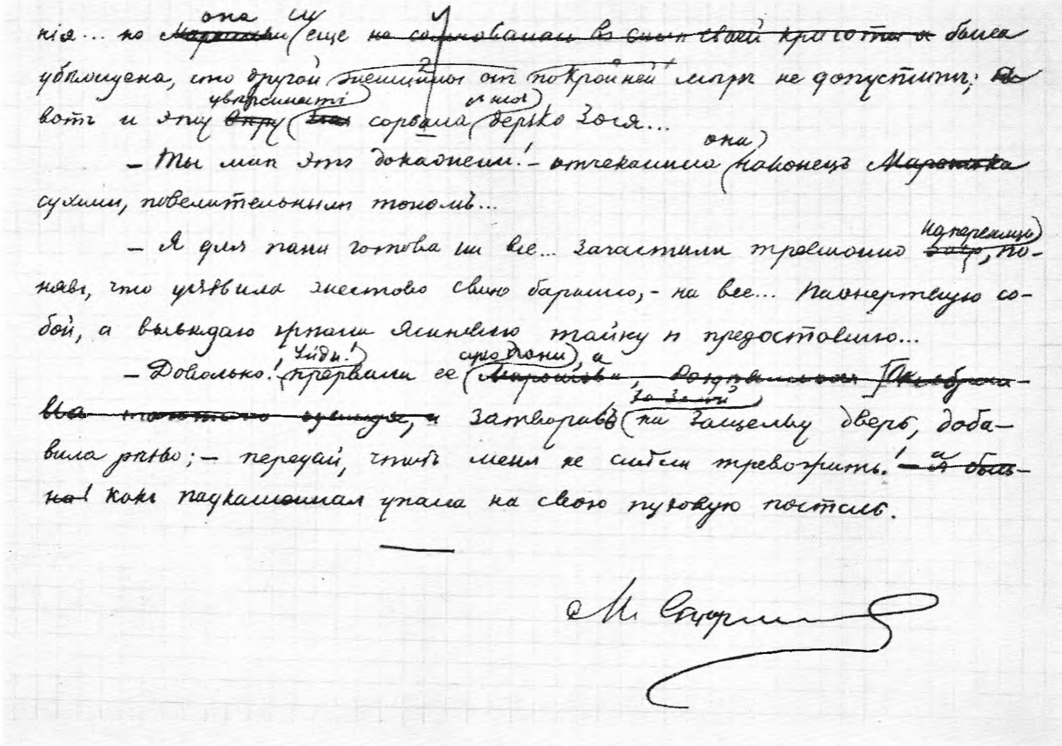
Возвратившиеся лазутчики-пластуны донесли ему, что за греблей сейчас же стоят ворожьи драгуны, но что их не так много, а кругом больше никого не заметно, что Вишневецкий, наверное, отступает, оставив этот небольшой отряд для прикрытия лишь своего отступления; это предположение подкреплялось еще замеченным ими волнением в рядах Половьяна, смущенных, очевидно, близким движением Вишневецкого. Кривонос был взбешен этим известием и нетерпеливо посматривал на восток; ему несколько раз казалось уже, что горизонтальная полоса неба начинала светлеть и что звезды таяли

и тонули в просветленной лазури, но это была только иллюзия: берега речки окутывались все еще тьмою, закрывавшею совершенно расположение частей неприятеля. Наконец подкралось и туманное осеннее утро[42]. Кривонос даже не захотел дождаться полного рассвета, а двинул в полутьме шагом свои растянутые колонны. Приблизившись к речке, он заметил за греблей действительно какие-то массы, подернутые белесоватыми полосами густого тумана, и скомандовал перейти рысью плотину, а за нею понестись на врага ураганом. Но едва вступили на греблю козаки, как белесоватые миражные массы заволновались и начали отступать; козаки, построившись наскоро, припустили за ними, но те бросились наутек.

— Остановитесь, ляшки-панки! — кричал Кривонос, выносясь на своем вороном коне впереди всех и помахивая перначом.— Стойте, трусы! Дайте же погладить вас келепами и окрестить кривулей! Гей, молодцы атаманы! Остапе, Демко и Гнатко! — обратился он к скакавшей за ним старшине.— Ярема у нас в руках! Перелокшим же ляхов, как собак! Перейдем по ним, потопчем! Гайда за ними!

С гиком и свистом взмахнули нагайками козаки, и их кони, распластавшись в воздухе, порвались вихрем за убегавшим врагом.

Вот уже легкие козацкие кони догоняют тяжелых драбантов, вот уже сквозь светлые волны поднявшегося тумана виднеются рыцарские гребнистые шлемы, блестящие в металлической чешуе спины, покрытые стальными сетками конские крупы и тучи взбиваемой копытами пыли, вот еще несколько буйных скачков—и острия наклоненных списов козачьих достигнут врага и вопьются в его белое, холеное тело... Но драгуны разорвались неожиданно на два крыла и разлетелись стремительно в обе стороны, а навстречу козакам сверкнули вдруг молнии и грянули громы: то были скрытые за кустами Яремой двенадцать орудий, и они-то сыпнули на козаков картечью в упор. За залпом из орудий последовал залп из мушкетов, а пехота, выдвинувшись, открыла по разметанным рядам атакующих батальный огонь. Все смешалось в какую-то багровую, безобразную кучу: проломленные черепа, разорванные груди, обнаженные кости, дымящиеся внутренности,— и конские, и люд-



Фотокопія сторінки автографа роману «У пристани».

ские,— все перепуталось, облилось яркой кровью; среди мертвых трупов забарахтались искалеченные полуживые, а налетавшие сзади ряды топтали тех и других и в свою очередь опрокидывались, увеличивая груды окровавленного, бившегося в судорогах мяса. Задние ряды остановились наконец и повернули обратно к гребле; но сидевший в засаде Осинский ударил на отступающих и оттеснил их к берегу речки, которая, будучи запружена в этом месте, представляла из себя довольно широкий и глубокий пруд. Нагнанные козаки бросались в воду и под выстрелами пробовали переплыть на другую сторону, но в сутолоке давили друг друга и тонули; такая же давка была на гребле. Кривонос сначала летел впереди всех и после первого залпа, смявшего почти целиком две шеренги, остался вместе с тремя-четырьмя козаками, не задетым картечью. Он по инерции с товарищами донесся до пушкарей, и по инерции же они искрошили саблями их с добрый десяток; но прикрывавшая артиллерию пехота быстрым движением своим заставила их отскочить и поворотить своих коней. Кривонос взглянул назад и обомлел от ужаса, увидя это усеянное обезображенными трупами поле. Он повернул коня к бившимся у берега разорванным частям своего пышного, дорогого отряда.

Вишневецкий, гарцевавший на своем карем коне перед фронтом пехоты, заметил убегающего Кривоноса, гонявшегося три дня назад по полю за ним, и бросился с двумя джурами наперерез.

— Гей! — вопил он, летя крылатою стрелой.— Перейміте, свяжите мне этого дябла, этого хлопа! Я ему, бестии, покажу, как гоняться за князем... я выточу каплю по капле из него песью, смердящую кровь!

Кривонос узнал этот резкий, пронзительный голос, узнал эту тонкую жилистую фигуру в блестящей серой кольчуге и задрожал: у него откликнулся в груди этот голос ужасным воспоминанием. Максим осадил коня и крикнул летевшему по косой линии князю:

— Стой, княже! Сосчитаемся! Посмотрим, пахуча ли твоя шляхетская кровь!

— Чтоб я скрестил саблю с презренным рабом, с этим песьим уродом?! — прошипел, не останавливая коня, Вишневецкий.— О, это забавно! Взять его, шельму, связать! Накинуть арканом! — взвизгнул он не то к отстав-

шим от него джурам, не то к находившимся впереди недалеко драгунам.

— А, перевертень проклятый! — заревел Кривонос.— Ты только умеешь утекать как заяц от хлопа? Ты только умеешь на связанного поднимать свою бесчестную саблю? Защищайся же, трус, или я раскрою натрое твою сатанинскую образину!

Позеленел от обиды князь и, поворотив круто коня, взмахнул своею дорогою карабелой.

А Кривонос с наклоненным копьем, свирепый, как бешеный волк, летел уже бурей на своего врага. Но Вишневецкий, взявши на трензель коня, храпевшего и извивавшегося змеей, спокойно ждал этого разительного удара, не отводя глаз от приближающегося к нему острия, вытянув вперед верный дамасский клинок. Вот уже кривоносовский конь, расширив дымящиеся ноздри и оскалив запененные зубы, налетел на княжьего, осевшего на задних ногах, вот уже длинное острие блеснуло почти у княжьей груди, но один миг — и быстрое, незаметное движение клинка отклонило удар, одно мгновение — и блеснувшая стальною молнией карабела нагнала пронесшееся копье и со свистом упала на древко,— разлетелось оно надвое под ударом, и Кривонос лишь с обрубком промчался вперед.

Не скоро сдержал разгоряченного коня Кривонос, а когда повернул его, то Вишневецкий уже был почти на носу с приподнятым клинком, в небольшом стальном шлеме с страусовым пером и в короткой кольчуге.

Кривонос едва успел обнажить свою кривулю и подставить ее под удар. Он почувствовал внутренний холод от устремленных на него зеленых глаз, но через миг этот холод сменился огнем нечеловеческой злобы; она зажгла ему кровь, ослепила кровавыми кругами глаза и адскою бурей наполнила грудь. С страшным звяком упала сабля на саблю, посыпались искры, и снова взвились сверкающими кругами клинки. Кривонос сразу заметил превосходство князя в искусстве фехтования; он едва мог следить за молниями его карабелы и с трудом отбивал сыпавшиеся с неожиданных сторон на него удары.

К тому же, клокотавшее бешенство еще уменьшало твердость его руки и верность глаза, а князь уверенно и хладнокровно усиливал нападение; он уже ранил в шею

кривоносовского коня, задел слегка даже его самого по плечу и выбирал, играя, лишь место, куда бы нанести неотразимый, смертельный удар. Кривонос почувствовал приближение этого момента и прибегнул к татарской хитрости, практикуемой в рукопашных схватках. Когда его разъяренный, раненый конь, поднявшись на дыбы, впился зубами в шею княжьего аргамака, а Ярема, описав молниеносный круг карабелой, отбил клинок Кривоноса и направил ее со свистом во вражью незащищенную грудь, Кривонос во мгновение ока опрокинулся под седло, и клинок карабелы впился лишь в бок его вороного коня, а сам Максим, соскочивши, бросился под приподнятого на дыбы коня Вишневецкого и кинжалом распорол ему брюхо,— горячие внутренности хлынули на него кровавою массой. Вздрогнул, рванулся, застонал чистокровный конь и всей тяжестью рухнул со своим седоком на бок.

Как кровожадный тигр, опутанный дымящимися внутренностями, словно змеями, бросился тогда Кривонос на князя, придавил его грудь коленом и сжал железными мужичьими руками благородное горло... Захрипел, побагровел князь, вытаращив налитые кровью глаза, остановившийся взгляд его изобразил ужас, посиневшие губы, покрытые прорывавшеюся пеной, шептали беззвучно последнюю отходную молитву... а Кривонос хохотал адским смехом и сжимал сильнее и сильнее свои искривленные, покрытые запекшейся кровью пальцы... Но вдруг неожиданно захлестнул ему шею аркан; у Кривоноса все закружилось в глазах, он бросил князя и инстинктивно ухватился руками за обвивший его шею шнурок, но что-то сильно его дернуло и поволокло по пожелтевшей скользкой траве.

Не долго мог бы держаться за петлю Кривонос, и врезалась бы она в козацкую загорелую шею, если бы не налетел товарищ его, Демко, и не пересек саблей аркана. Когда Вишневецкий погнался за Максимом, то вслед за князем бросилась свита и наскочила на Демка с двумя козаками; завязалась схватка на саблях, окончившаяся тем, что три польских драгуна легли на месте, а два латника бежали. Демко, освободившись от преследователей, поскакал к Кривоносу и поспел как раз в ту минуту, когда джура Вишневецкого заарканил атамана и тащил по траве. Снести голову джуре и пересечь аркан было

делом мгновенья; схватив под уздцы джуриного коня, Демко соскочил с своего и припал с ужасом к Кривоносу, лежавшему в полубессознательном состоянии.

— Батьку, соколе, что с тобою? — приподнял в тревоге он его голову.

— Бр-р-р! — зарычал, задрожал Кривонос, хватаясь рукою за горло и поводя кругом помутившимися, налитыми кровью глазами.

— Не навредил ли тебе чего вражий сын? — допрашивал заботливо Демко, расстегивая полковнику жупан и ворот сорочки.

Кривонос вздохнул несколько раз глубоко и буркнул было: «Горилки!» — но потом вдруг схватился на ноги и крикнул хрипло: «Где он? Пусти!»

— Брось! Садись, батьку, скорей на коня! — заторопил его вместо ответа Демко.— К Яреме скачет целая хоругвь... Вон передовые уже подняли князя; еще минута — и нас схватят, как кур.

Кривонос заревел как зверь, увидя, что Ярема стоял невредимым; но налетевший уже эскадрон отрезвил его бешенство; расточая проклятия, он вскочил на коня и поскакал вместе с Демком к своим теснимым ватагам.

А Ярема, оправившись от хлопских объятий, с удвоенною яростью повел свои хоругви в атаку. Усеивая поле трупами, беспорядочными толпами бежали козаки, давя друг друга на гребле и не думая уже об отпоре. Кривонос прискакал и с ужасом увидел, что удержать за собою поле было невозможно; он попробовал лишь ободрить одержимых паникой и вдохнуть им отвагу.

— Гей, хлопцы-молодцы, славные юнаки запорожцы! — крикнул он неистово, подлетая к обезумевшим и бросавшимся в воду толпам.— Славно! Любо! Заманивай их, вражьих сынов, на тот бок, заманивай! Уж там мы зададим им чосу! Добре, добре, тяните за собой дурней!.. Только сами не торопитесь, не давите друг друга! Стройней, стройней!

Громкое слово батька атамана, похвала его, что они не постыдно бегут, а лишь хитро заманивают врага, ободрила всех сразу, подняла уверенность и отвагу; возможный порядок был восстановлен, и безумное бегство приняло вид торопливого отступления. Но Ярема не дал оправиться разбитым остаткам козачьих ватаг. К нему подскакал князь Корецкий и доложил, что бывший в

засаде отряд Половьяна обойден им и истреблен до ноги, а сам Половьян[43] схвачен, связан и ждет у княжьей палатки своей участи.

— Благодарю! Спасибо! — ответил довольный Ярема.— Князь напомнил мне снова, что рыцарская слава наша не сгинула... За мной же, панове! Добьем собачье хлопье! Там осталась лишь горсть этих бестий! Пустим же им саблями кровь! — И он устремился с тремя хоругвями через греблю.

Козаки, начавшие было строиться на той стороне, завидя стремительную атаку стольких двинутых Яремой сил, начали поспешно, но стройно уже отступать к своим таборам, закрытым арьергардом. Вишневецкий, завидя их трусливое бегство, не дожидался даже конца переправы через греблю хоругвей и бросился бешено в погоню за козаками.

Наклонив свои длинные, шуршавшие прапорцами пики, обнажив тяжелые палаши, ринулись закованные в сталь драгуны несокрушимым железным тараном в атаку. Вот они, эти всполошенные страхом козаки. Они не стоят твердо на месте, волнуются и, видимо, через миг бросятся врассыпную; но нужно не дать им уйти, а раздавить на месте; и хоругви, усилив стремление, направляют ужасающий удар в центр. Но козаки дрогнули, разлетелись в стороны, а драгуны по инерции промчались вперед и тогда только заметили с ужасом, что очутились между двух сильных козачьих лагерей. Грянули два убийственные перекрестные залпа почти в упор, и затрещали беспрерывным батальным огнем с двух сторон мушкеты.

Поймал было козаков в ловушку Ярема, а теперь попался и сам еще в горшую. Проскочившие в тесную улицу возов, поражаемые с двух сторон, драгуны метались, как пойманные в яму лисицы, давили друг друга, падали, загромождали трупами узкий проход, а козачья конница еще ударила на них с двух сторон... Началась страшная бойня. В этой адской сутолоке, в этой убийственной клетке полякам защищаться было невозможно; поражаемые со всех сторон, сбрасываемые под копыта собственными взбесившимися конями, они падали трупами. Непрерывный, то перекатывающийся дробью, то сливающийся в залпы, гром козацких рушныць и мушкетов, адские крики и гвалт нападающих, лязг стали, треск

ломаемых копий, стоны раненых — все это слилось в какую-то страшную оргию пекла, разгулявшуюся среди удушливого дыма и сверкавших вереницами молний... Только весьма немногие, что прорвались в первый момент атаки через переулок возов на поле, только те и спаслись, успевши во время сумятицы промчаться далекою дугой обратно к своему лагерю; среди этих счастливцев был и Ярема. Остальные же все остались на месте.

## XLIV

Выглянуло к полудню солнце и осветило своими ласковыми лучами всю местность. Роскошный, яркий ковер первой осени спускался по мягким отлогостям к речке, а она светлою лентой то выбегала из бронзовых нив очерета на изумрудные сочные луга, то пряталась в серебристых зарослях верб и осокоров; а вдали из-за темной, слегка лишь тронутой золотом стены леса выглядывали спицы колоколен и купола церквей Константинова. И на этой мирной и нежной картине в трех местах стоял еще легкими волнами белесоватый туман, а сквозь него алели багровые безобразные пятна; среди них пестрели кучами и в серых свитах, и в пышных ярких жупанах, и в блестящем серебре трупы... Солнце, словно устыдившись взлелеянной им земли, снова спряталось за дымчатую завесу...

А два враждебных лагеря стояли по обеим сторонам речки в боевом порядке. Вишневецкий выдвинул теперь к переправе всю артиллерию и расставил по берегам конные хоругви, а за ними выстроил в густые колонны пехоту. Но Кривонос и не думал атаковать его; молчаливо и грозно стояли его два лагеря, а оправившаяся конница волновалась с развевающимися знаменами по краям. Казалось, что он незаметно и медленно удаляется.

Отдавши приказания, Вишневецкий отошел в свою палатку и бросился на раскидную походную канапу. Несмотря на свою железную натуру, он за последние дни был совершенно разбит и нравственно, и физически.

Много жгучих, мучительных чувств волновало его мятежную душу: и скорбь за поругания хлопов над дорогою ему католическою верой, и грех за разорение ими святынь, и страшная ненависть к этим тварям, вы-

вающим из рук панов богатства, и позор от их успехов, и презрение к выдвинутым Речью Посполитой защитникам отчизны... Это последнее чувство, смешанное с ядом оскорбленного самолюбия, вонзалось с нестерпимою болью в его гордое сердце.

«О, они пренебрегли мной,— кружились в его голове едкие мысли,— мной, который всегда подставлял эту грудь за отчизну, который несокрушимым мечом своим защищал ее всегда от врагов! Гром и молния! И на кого же променяла меня, воина, Речь? На откормленного кабана, на молокососа-блазня и на какого-то латинского дурня с пером за ухом... Ха! Надежные силы!.. И чего только впутался я в это мерзкое дело? Мечусь между тысячами опасностей, усмиряю быдло, терплю сам оскорбительные потери... и своим пóтом да кровью помогаю лишь этим ряженым дурням... Сто дяблов и триста ведьм в зубы им! Бросить — и баста!»

Он долго лежал, пощипывая нервно свою бородку, пока бушевавшая в груди его буря не коснулась ступней римского первосвященнического престола. Это прикосновение смирило сразу порывы ее и навеяло религиозный энтузиазм. Князь приподнялся на канапе, сложил крестом руки и прошептал фанатически страстно:

— Да, тебе, матко найсвентша, и мое сердце, и меч! Ты меня чудом сегодня дважды спасла, и я сложу у твоих ног всю скорбь и гордыню, я смету к подножию твоему всех схизматов.

Князь задумался и забылся в благоговейном умилении.

В палатку вошел есаул и доложил, что князь Корецкий ждет от князя распоряжений насчет Половьяна.

— А! — схватился на ноги князь.— Привести мне этого шельму к палатке и приготовить, что нужно, к допросу!

Вишневецкий уселся перед палаткой на стуле и велел подать себе в длинном чубуке трубку; лицо его было холодно и спокойно; глаза светились тусклым стеклом; он начал выпускать изо рта с наслаждением дым и молча раскланивался с подходившими начальниками частей — Корецким, Осинским, Броневским и другими.

Наконец появился перед палаткой и связанный по рукам и ногам Половьян; его сопровождали два заплечных мастера и несколько драгун стражи. Лицо козака

было несколько бледно, но глаза смотрели уверенно, спокойно и отчасти даже насмешливо. Толпа любопытных разместилась полукругом в почтительном отдалении.

— А! Попался, собака! — прошипел Вишневецкий, откинувшись на деревянную спинку складного походного стула.— Откуда ты, шельма?

Половьян молчал и пронизывал Ярему язвительным взглядом.

— Что ж ты молчишь, бестия? Я с тобой поговорю не так!

— Прикажи, княже, развязать мне руки,— ответил спокойно Половьян,— тогда и поговорим.

— А-а! — привстал было с сжатыми кулаками Ярема, но потом успокоился, глотнул воды, стоявшей на столике в золотом кубке, и затянулся трубкой.— Сорвать с него тряпье и вырезать на спине два паса! — приказал он спокойно катам, закидывая ногу за ногу.

Обнажили Половьяна до пояса заплечные мастера; один из них, мускулистый гигант, схватил его за связанные руки, накинул их на свою шею и, выпрямившись, поднял его, как мешок, на спине. Другой, его товарищ, вынул из ножен у пояса короткий, немного искривленный нож, провел им несколько раз по голенищу и, испробовав на руке острие, хладнокровно подошел к своей жертве. Вонзивши лезвие ножа в шею козачью, этот «хирург» Вишневецкого повел им медленно вдоль спины Половьяна до самого крестца, любуясь правильностью проведенной им линии; из-под ножа выплывала, брызгала кровь крупными каплями и стекала темно-алою густою струей, расплывавшейся широко книзу. Отступя на вершок от прорезанной на спине кровавой щели, он начал таким же порядком, но еще медленее, проверяя часто расстояние между параллелями, проводить и другой такой же глубокий разрез. Потоки крови, сливаясь в одну струю, обвили широким поясом у крестца туловище; намочивши спущенную рубаху, она крупными каплями сбегала с концов ее на траву. Половьян молчал; ни скрежета, ни стона не вырвалось из его сжатого в какую-то язвительную улыбку рта; только необычайная бледность лица и нервные вздрагивания тела обнаруживали его страдания.

По мере совершения этой операции Вишневецкий становился покойнее; лицо его принимало более и более

благодушное, приятное выражение, прищуренные глаза стали светиться злорадным огнем.

— Ну что, будешь говорить, надумал? — процедил он уже беззлобно, покачивая лежавшею на отвесе ногой.

— Развяжи! — ответил неверным голосом мученик.

Ярема кивнул головой и, поправив золу в трубке, продолжал спокойно курить.

Палач, сделав на шее между двумя кровавыми линиями поперечный разрез, отделил лезвием ножа кусок кожи и, ухвативши его пальцами, начал тянуть вниз, отдирая кожу от мяса. Послышался слегка лопающийся звук, и под усилием пальцев стала отвертываться желтоватая лента с багровою подкладкой, сочившейся теплою кровью.

Алые брызги оросили по всем направлениям спину козачью, а посреди ее зачервонела страшная, зияющая рана с темными згустками крови; отодранная багровая лента повисла от пояса до земли.

Многие отвернулись в сторону и не могли перенести этого зрелища, но большинство с любопытством глядело, делая по временам саркастические замечания.

— Ну что, заговоришь, пане? — спросил снова мягко, даже любезно Ярема.

— Хоть зарежь, а насильно слова не вырвешь,— ответил напряженным голосом Половьян.

— Ну, так посыпьте ему эту цацку солью,— словно согласился уступчиво князь.

Заплечный «хирург» поспешил исполнить немедленно его приказание: он захватил горстью приготовленную уже толченую с селитрою соль и начал этим снадобьем затирать обнаженное мясо. Страшная, невыносимая боль зажгла козачье тело огнем, заставила судорожно сокращаться все мускулы и вырвала из груди Половьяна какой-то сдавленный стон.

— Ага, немножко щиплет? — улыбнулся Ярема. — Ну что ж, дождусь ли я слова? Или пан позволит продолжать операцию дальше?

— Продолжай, дьявол! — взвизгнул козак.

— Ну что ж, проше, сердиться нечего.

Главный кат вытер о траву окровавленный нож и стал оттачивать лезвие его на своем чеботе, но Корецкий и Осинский обратились тихо к Яреме:

— Ясный княже, это такой заклятый пес, что скорее

сдохнет, а не проронит насильно и слова... Пусть бы его развязали на время... Вести нужны, а дорезать барана всегда будет время.

— И то! — согласился добродушно Ярема, остановив рукою палача, проведшего уже у жертвы до половины спины новую кровавую линию.

Половьяна поставили на землю и развязали ему руки и ноги; он шатался и с трудом мог сам стоять на ногах, но жестом отстранил помощь; иссиня-бледное его лицо, искаженное от безмерных страданий, подергивалось конвульсиями, прокушенные стиснутыми зубами губы были все в крови, глаза горели мрачным огнем.

— Дайте ему воды,— бросил брезгливо Ярема и, не выдержав взгляда страдальца, отвернулся в сторону.

Половьяну поднесли кухоль. Дрожащими руками взял он его и отпил жадно из него несколько глотков. После небольшой паузы Вишневецкий снова обратился к нему:

— Ну что ж, снизойдет теперь егомосць к нашей просьбе? Только, проше, без лжи,— подчеркнул Вишневецкий,— иначе пан гадюка вынудит нас к другим мерам.

Княжеский тон вызвал одобрение всех окружающих.

— Мой язык не зрадлив,— ответил с трудом Половьян,— ни ради страха, ни ради корысти не изменял еще мне ни разу.

— Посмотрим,—взглянул на него пронзительно Вишневецкий.— Сколько бунтарского быдла у этого пса, у этого дьявольского урода? — раздражался снова Ярема.— Ждет ли он помощи? Откуда и сколько?

— У батька атамана, нашего славного полковника Кривоноса,— отвечал дрожавшим голосом, но с достоинством Половьян,— теперь здесь до пятнадцати тысяч войска, да ждет он с часу на час к себе Чарноту с тремя тысячами и захваченною большою артиллерией, да Морозенка с двумя тысячами низовцев.

— Гм! — начал себя дергать за бороду Ярема, едва сдерживая охватившую его ярость.— А какие намерения этого сметья?

— Пан атаман хотел было взять Константинов и отправиться оттуда к наиславнейшему нашему гетману, да получил сегодня ночью из Паволочи наказ от ясновельможного не вступать больше ни в какие битвы,— подчеркнул козак,— а занять, если можно, без выстрела

Константинов и ждать там прихода его самого с сильнейшим войском.

— И этот паршивец так слушает своего собачьего атамана?

— Батько послал меня лишь на разведки, и так как княжьи дружины стали бежать, то он, верно, подумал, что Константинов оставлен уже твоей милостью.

— Ха! Дурень! Хлоп! — засмеялся хрипло Ярема.— Подумал! И попробовал, небось, доброго меду! — Но, вспомнив свои погибшие хоругви, князь снова рассвирепел и хотел было опять приказать взять козака на тортуры, но сдержал себя и спросил только резким, пронзительным голосом: — А у этого вашего главного дьявола много рвани?

— У нашего гетмана больше полсотни тысяч доброго войска, да он ждет еще хана с ордой; верно, тот уже прибыл, коли гетман полковнику пишет, что будет конечне завтра здесь. А коли соединится, то пойдем все вместе до Белой реки.

Это известие так поразило вельмож, что они заметно побледнели и начали между собою шептаться.

— Нам нужно обрáдиться, княже,— сказал тихо Корецкий, взявший торопливо от подошедшего к нему есаула письмо.

Вишневецкий кивнул головой и, обратясь к палачам, сказал отрывисто:

— Оставить пса, оживить, пока я не проверю его показаний. Но страшись, дьявол, если ты солгал,— толкнул он ножнами палаша в грудь Половьяна,— я придумаю тебе, быдло, такую пытку, от которой содрогнется все тело!

Он махнул рукой и вошел в свою палатку; за ним последовали Корецкий, Осинский, Броневский и личный княжеский есаул.

— Я думаю, панове,— начал Иеремия,— прежде всего раздавить банды этого Кривоноса...

— С Кривоносом-то справиться возможно,— ответил нерешительно Корецкий,— хотя, бравши этот табор, поломать можно о хлопские возы все зубы, но я полагаю, что и в Константинове есть гарнизон, присоединить бы и его.

— Я послал уже требование,— заметил князь,— но не забывайте, панове, что у нас еще есть двенадцать

орудий, а у хлопов, кажись, ни единого. Я разгромлю их лагерь так, что щепки полетят от их возов.

— А Хмельницкий? — спросил робко Осинский.

— Быть может, хлоп врет,— бросил небрежно Ярема и заходил по палатке, потирая рукою лоб,— но если нет,— вскинул он гордо головой,— то нам тем паче нужно поторопиться разметать по полю эту рвань, не дать схизмату увеличить ею свои скопища.

— Но, ясный княже,— отозвался Броневский,— Кривонос, видимо, удаляется со своим табором к югу.

— Уже даже не видно,— подтвердил есаул.

— А, тхор! — выкрикнул Ярема и бросился было к выходу, но ему заступил дорогу Корецкий.

— Неужели же решится князь,— заговорил он встревоженным голосом,— оставить это укрепленное место с Константиновом и броситься в степь за этим цвейносом? Ведь кроме Хмельницкого мы можем попасть между отрядами Морозенка и Чарноты; они тут близко; смею князя заверить: мы очутимся среди трех огней.

— При том же люди наши страшно изнурены,— добавил Осинский.

— И припасов нет,— заявил смело Броневский,— разве распорядится князь пополнить их из Константинова.

Ярема остановился и задумался.

— Я полагаю, княже,— обратился к нему вкрадчиво пан Осинский,— нам лучше всего сняться немедленно с лагеря и поспешить в Глиняны, соединиться с коронными силами и тогда уже ударить на врага.

— То есть пан предлагает,— повернулся к нему резко Ярема,— чтобы я склонил свою булаву перед мальчишкой, буквоедом и откормленною тушей?

— Да, князь прав,— вздохнул глубоко Корецкий,— но благо ойчизны...

— Она меня отблагодарила за мои заботы о ней!

В это время в палатку вошел оруженосец князя и, поднесши ему на золотом блюде толстый пакет, заявил, что его привез посол от князя Заславского.

— От князя Заславского лыст! — воскликнул Ярема, взглянув на герб привешенной печати, и с нескрываемым удовольствием начал читать письмо.

При слове «лыст» Корецкий вспомнил о своем письме, только что полученном, и начал его искать по всем кар-

манам, в шлеме, за поясом, забыв, куда он его второпях сунул.

— Панове,— возвысил голос Ярема, пробежавши быстро письмо,— князь приглашает меня, признавая превосходство моих боевых знаний и военной доблести, сделать ему честь присоединиться к коронному войску, но в приглашении своем опирается на постановление сейма, а потому вот какой будет от меня ответ князю... Передай, пане, послу,— обратился он к своему есаулу,— что я благодарю князя за его лестное обо мне мнение и извиняюсь, что не могу отписать; в походе у меня нет ни чернил, ни пера, а потому я только и могу чертить мечом да писать кровью. Если же князю действительно дорого благо отчизны, то пусть потревожит свою пышную фигуру и явится сам ко мне для улажения переговоров: он-де моложе и подвижнее меня без сомнения.

Есаул молча вышел; все встревоженно переглянулись.

## XLV

— Князь благороден,— заговорил Осинский,— и простит в такую минуту тех глупцов, которые его оскорбили; отчизна протягивает к нему свои окровавленные руки.

— Они ее сыны,— прервал сухо Ярема.

— Чем же виновата мать? — попробовал тронуть князя Броневский.

— Да мы и не имеем права ослушаться гетманов,— добавил строго Осинский.— Они давно призывали меня и князя Корецкого. Мы только через Кривоноса несколько отклонились от пути.

— На бога, на бога, княже! — завопил в это время Корецкий, пробежавши свое письмо.— Поспешим все к Заславскому и тогда ударим, изловим всех гайдамаков! Мне пишут здесь,— потрясал он рукою с письмом,— мне пишут, что Корец мой отстояли, но что жену мою, мою драгоценнейшую жемчужину, мою несравненную Викторию,— говорил он слезливым, задыхающимся голосом,— захватил в плен этот разбойник, этот зверюка Чарнота. Гризельда успела еще раньше удалиться в Збараж... На бога, на всех святых, молю я князя сейчас же ехать, присоединиться...

— Чтоб искать княгиню? — улыбнулся презрительно

Вишневецкий.— Но егомосць слыхал же и сам заверял, что Чарнота здесь. Так останься, справимся.

— Нет, нет, не могу! — замахал рукою Корецкий.

— Как знаешь! — ответил надменно Ярема.— Я сам остаюсь здесь и вас, панове, не удерживаю. Счастливого пути! — поклонился он вежливо, но жестом пригласил гостей оставить его палатку.

Собрав торопливо свои дружины, Корецкий и Осинский оставили лагерь Вишневецкого, направляясь в противоположную сторону от Кривоноса — через Случь к Глинянам. Но не прошло и двух часов, еще далеко до захода солнца, прилетел к князю гонец от отступивших с ужасным известием, что Кривонос напал на них при переправе через Случь и что они молят князя выручить их из отчаянного, безнадежного положения... Если б это не был ненавистный ему Кривонос, осмелившийся схватить князя за горло, быть может, не двинулся бы и с места Ярема, а предал бы виновных их участи; но одно имя этого волка, этого шакала, снова появившегося дерзко с неожиданной стороны, растравило в княжьем сердце лютость и бешенство. Он полетел со своими эскадронами на выручку осажденных, но не застал уже там Кривоноса, успевшего нанести чувствительный разгром двум отрядам и вовремя удалиться, а наткнулся лишь на небольшую козачью ватагу, прикрывшую, очевидно, отступление Кривоноса, и истребил ее всю.

Исполнивши рыцарский долг и дождавшись, пока уцелевшие отряды Корецкого и Осинского благополучно переправились через Случь, Ярема, не удовлетворенный в злобе, возвратился поздно ночью в свой лагерь. Возвратившись, он велел привести к себе немедленно Половьяна.

Приволокли этого связанного мученика перед княжьи грозные очи; у козака, видимо, начиналась горячка: воспаленные глаза его мутно глядели, тело тряслось в леденящем ознобе, ноги подкашивались.

— Так ты говоришь правду, собака? — подскочил к нему с пеной у рта князь и ударил козака кулаком наотмашь в висок.— Если бы был приказ от вашего песьего гетмана, так разве осмелился бы Кривонос нападать?

Не выдержал княжеского удара истерзанный пыткой козак и грохнулся на землю, а Ярема, не помня себя от

бешенства, стал в исступлении его бить и топтать каблуками, взвизгивая хрипло:

— Так такой твой незрадный язык, такой? Гей, слуги! Вырвать его с корнем у этого пса!

Навалились на несчастного, истерзанного козака два ката; один, насевши на его грудь, стал раздирать ему рот, а другой, захвативши глубоко клещами язык, начал его выворачивать...

Сам князь, казалось, не мог выдержать этой потрясающей душу картины и, закрыв ладонью глаза, крикнул дрогнувшим голосом:

— Возьмите его отсюда! На палю, скорей!

Прошло десять дней; за это время Иеремия окопал и укрепил свой лагерь, снабдил его из Константинова провиантом, обеспечил постоянное сообщение с городом и пополнил убыль хоругвей прибывавшею к нему шляхтой из окрестностей и даже из дальних львовских сторон, ближайших к главному сборному пункту коронного войска; несколько важных панов даже прямо отделились от коронного войска и прибыли к Иеремии со своими командами, прося его принять их под свою булаву. Последнее обстоятельство очень тешило князя и даже отчасти смиряло подымавшуюся из тайников его сердца неутолимую горечь.

Показаниям Половьяна князь не придавал теперь уже никакого значения, убеждаясь с каждым днем в том, что тот умышленно лгал с целью испугать его, князя, и заставить выступить из Волыни.

Рассылаемые князем ежедневно разведчики не приносили никаких вестей о Богдане, и это заставило Вишневецкого думать, что Хмельницкий сидит еще в Белой Церкви. Но не это обстоятельство бесило Ярему, а бесило его то, что и Кривоноса след простыл, словно провалился козак со своими полками под землю. Князь и остался под Константиновом, помимо нежелания соединиться с Заславским, главным образом потому, что рассчитывал во всяком случае выследить и затравить неотомщенного врага. Но время проходило, бездействие начинало утомлять князя, а полное отсутствие какихлибо вестей нагоняло и на закаленных воинов Иеремии какой-то беспричинный страх. Несмотря на строгость

дисциплины, некоторые хоругви уже подымали ропот, жалуясь на то, что их держат вдали от помощи, во враждебной стране и что в один прекрасный день они могут быть окружены в десять раз сильнейшим врагом.

Таким образом, потеряв надежду отомстить Кривоносу, князь уже решил было двинуться со своим отрядом к Збаражу, где находилась его супруга. Хотя Збараж и представлял из себя неприступную крепость, князь был неспокоен за свою горячо любимую Гризельду, тем более, что не получал от нее никаких писем. Но накануне предположенного выступления в поход пришли к нему верные вести, что Корецкий и Осинский встретили на половине пути коронных гетманов и, соединившись с их силами, подвигаются сюда, к Константинову. Это заставило князя отложить свое намерение и дождаться хваленых пресловутых вождей, дождаться не с тем, чтобы подать им покорно руку примирения, а с тем, чтобы в виду их уйти к себе в Вишневец или Збараж и оттуда, из-за неприступных стен да несокрушимых башен, смотреть, как эти новые спасители отчизны будут справляться с Хмельницким.

Минуло еще два дня, и в лагере Вишневецкого начали появляться уже не только одинокие рыцари, уходившие от триумвирата под его хоругви, но даже и полковники со своими полками, как Барановский. Прибывшие донесли, что коронные гетманы уже стали лагерем за три мили от Константинова, следовательно, от его лагеря за сорок верст. Гордый выражаемым поклонением к его боевым доблестям, довольный возрастающим среди рыцарей недоверием к назначенным вождям, Вишневецкий ждал с томительным нетерпением той сладкой минуты, когда этот триумвират, или по крайней мере Заславский, явится к нему и станет униженно просить его участия.

Однако гетманы с приездом не спешили.

Вдруг неожиданно явился к нему бледный, перепуганный насмерть разведчик-жолнер и заявил, что Хмельницкий с огромными боевыми силами занял уже Пилявский замок и что хан с несметными полчищами татар обходит Константинов.

— Как? Сто дяблов тебе в зубы! — позеленел от ярости Вишневецкий.— Ты сам их видел или лжешь с третьих слов?

— Собственными глазами, ваша княжья мосць, як бога кохам! — ударил себя кулаком в грудь жолнер.

— Проклятие! Что ж ты, бестия, тхор, не донес мне раньше, что враг приближается? А! Изверги вы, схизматы, ты изменник! — И князь, выхватив в исступлении шпагу, пронзил ею насквозь жолнера.

— Уберите падло! — крикнул он джурам и с необыкновенным волнением заходил по палатке.

Теперь оставаться ему самому в лагере, без поддержки, в виду обступившего уже с двух сторон в десять раз сильнейшего врага, было просто безумием, а выступление из лагеря представляло еще большую опасность. Единственным спасением в такую опасную минуту могло бы быть лишь соединение с коронными силами, полное примирение с гетманами и подчинение себя их воле. Но унизиться до этого, даже отправиться самому к Заславскому после своего гордого ответа он не мог. О, это позор... позор! А позор горше смерти! Да, горше смерти, но не поражения, а оно неизбежно, неотразимо... Да неужели же он, потомок Корибута, никогда ни перед кем не отступавший с поля битвы, должен отступить перед презренным хлопом? Вишневецкий мучительно боролся со своей царственной гордостью, ломал руки, сжимал до боли голову, разражался бешеными проклятиями, но не мог найти никакого иного исхода... А время между тем шло, каждая минута приближала с собою их смертный приговор. Иеремия не решался.

Наконец ему пришел в голову единственный возможный компромисс: написать письмо Заславскому в виде предупреждения его об опасности и не просить у него помощи, а согласиться помочь ему самому, если он, Заславский, примет условия, предложенные ему Иеремией. Для свидания же и переговоров пригласить его съехаться на средине расстояния — под Чолганским камнем.

Полный раздражения, гнева и бешенства, князь подошел наконец порывисто к столу и начал излагать свои мысли на бумаге. Несколько раз он рвал в клочки бумагу, грыз перо и топтал его ногами; несколько раз он уходил от стола и с болезненным усилием напрягал мозг, стараясь придумать что-нибудь иное, но безысходность положения снова заставляла его браться за перо. Наконец гордое послание было готово, свернуто в трубочку, обвязано шелковым шнурком и припечатано

восковой княжеской печатью. Князь кликнул Броневского и, отдав ему свой пакет, приказал взять с собою надежный отряд, скакать немедленно в лагерь коронных войск и вручить его лично Заславскому, а когда Броневский вышел, Вишневецкий, разбитый, истерзанный борьбою, заломил руки и упал в изнеможении на свою походную постель.

В ровной зеленой долине, окруженной непроходимыми болотами и извилистою речкой Пилявкой, расположился огромным укрепленным четырехугольником козацкий лагерь. Место было выбрано Богданом самое удачное. Топкие болота, окружавшие весь лагерь, еще размытые осенними дождями, делали его недоступным для поляков и, таким образом, затрудняли для них наступательные действия. Впрочем, об этом мало кто из панов заботился. Богдан получал каждый день правильные известия из польского лагеря и знал все, что делалось там. Паны совещались, советовались, обдумывали всевозможные планы; кстати сейм предусмотрительно позаботился о том, чтобы было кому высказывать свои мнения, назначивши, кроме трех предводителей, еще двадцать четыре советника, которые должны были вместе с гетманами составлять военный совет и управлять ведением войны. Трудно было, конечно, всем двадцати семи душам сойтись в каком-нибудь одном решении, а потому-то паны и проводили все время в пререканиях, спорах и беспрерывных пирах.

Один только князь Иеремия со своими славными вишневцами не принимал участия в этих беспрерывных пирах. Хотя свидание его с Заславским и состоялось у Чолганского камня и оба предводителя, к радости обоих войск, подали друг другу руки в знак примирения и поклялись действовать совместно, однако же Иеремия не соединился с главным лагерем, а стоял в отдалении со своими отрядами, показывая по отношению к гетманам какую-то сдержанную холодность. Несколько раз, впрочем, приезжал он в лагерь Заславского, побуждая его к скорейшим действиям, но на слова князя у Заславского находились тысячи возражений. Несмотря на внешнее примирение, внутренняя вражда между ним и Иеремией не угасала, а только тихо тлела, притушенная неотврати-

мыми обстоятельствами. Хотя Остророг, а отчасти и Конецпольский соглашались с Вишневецким, но большинство панов, недолюбливавших Иеремию за его надменное обращение, так же с удовольствием противоречило ему. Таким образом, несмотря на все старания князя, Заславский все еще не решался подвинуться поближе к Богдану, и все три лагеря стояли вдали друг от друга, в трех углах обширного треугольника, залегшего между них.

Все это знал Богдан, а потому и мог спокойно поджидать возвращения своих загонов, продолжать свои интриги в польском лагере и выбрать для битвы самый удачный момент. Загоны возвращались с каждым днем и беспрепятственно соединялись с гетманским войском. Вернулся Тыша, Кривонос с Варькой и Вовгурой, Небаба, Лобода и другие. Богдан поджидал еще остальных полковников и хана с ордой. Некоторая проволочка времени ничуть не смущала его,— он знал неспособность поляков сохранять долго в бездействии твердость и присутствие духа; знал, что, прокутивши, по примеру начальников, все свои деньги, жолнеры начнут уходить толпами из войска; имея, наконец, перед собой в недалеком будущем холодную, суровую осень, Богдан предвидел, что все эти обстоятельства послужат только к его пользе. Кроме того, он имел еще в сердце один тайный хитро задуманный план.

Таким образом, спокойно, не торопясь, не упуская из виду ни малейшей подробности и возможной случайности, гетман с уменьем опытного шахматного игрока устраивал план своей битвы, предвидя заранее ее исход.

Стоял теплый осенний денек; после нескольких дождливых дней в воздухе чувствовалась приятная прохлада. Небо было подернуто легким слоем прозрачных белесоватых облаков, но к полдню погода обещала разгуляться.

В роскошной палатке гетмана, взятой им после корсунской победы у Потоцкого, сидели за столом друг против друга сам гетман с писарем Выговским. Оба собеседника были сосредоточенны; видно было, что разговор их имел особенное значение. Лицо гетмана дышало решимостью и отвагой; его умные черные глаза глядели из-под сжатых бровей смело и проницательно; гетман

говорил быстро, отрывисто, проводя время от времени рукою по своим черным, уже украшенным серебряными нитями волосам. Что-то вдохновенное чуялось во всей его фигуре; видно было, что мысль его работала с гениальною смелостью и быстротой.

Выступивши так быстро из-под Белой Церкви на Волынь, Богдан в глубине своего сердца почти бессознательно для самого себя лелеял тайную мысль отыскать там, на Волыни, Марыльку. Однако надежда его окончилась неудачей,— никто из рассылаемых им загонов не приносил никакого известия о Чаплинском, а Морозенко не возвращался до сих пор. Впрочем, неудача эта не слишком раздражала Богдана: она не лишала его возможности найти Марыльку, а только отдаляла ее на более продолжительное время. Кроме того, под влиянием времени его дикая, ненасытная жажда мести мало-помалу утихала, уступая место томительной тоске по безумно любимой женщине. Тоски этой не видел никто,— сам гетман старался скрыть ее от себя, и в этом ему помогала Ганна. Как тихий ангел-хранитель, она стояла всегда подле гетмана, готовая поддержать своим огненным, чистым словом его изнемогающий дух. С каждым днем Богдан привязывался к ней все больше и больше, но более всего влияло теперь на гетмана окружающее положение дел. Перед ним стояла вся Польша. Богдан понимал всю важность момента, и это сознание заглушало теперь в нем все посторонние чувства, кроме чувства политика и полководца.

Выговский следил за гетманом с неподдельным изумлением. Смелость, быстрота, а главное, верность заключений гетмана поражали пана писаря. Однако, несмотря на всю очевидную силу Богдана, Выговский ощущал в сердце какой-то неприятный холодок. Там вся Польша, князь Иеремия, а здесь?.. Все победы козаков еще не заставили Выговского расстаться с мыслью о непобедимости Польши, и потому-то все предначертания гетмана не доставляли ему большого удовольствия. Правда, он говорил Тетере, что в случае чего объявит себя козацким пленником, но объявить-то было легко, но уверить в этом панов представлялось довольно трудным делом. «Однако взялся за гуж — не говори, что не дюж! Авось и кривая вывезет!» — решил про себя Выговский и скрепя сердце принял участие во всех планах Богдана.

## XLVI

— Гм,— прервал минутное молчание гетман,— так, говоришь, князь Доминик Заславский уже получил мое письмо?

— Есть достоверные известия; было получено при всей раде.

— И князь Ярема был при этом?

— Так.

— Ха-ха-ха! — вскинул гетман быстрый взгляд на писаря.— Ну что ж?

— Князь Доминик прочел твой лыст, ясновельможный гетман, вслух. Ты угадал: ему польстило то, что ты назвал его охранителем всего русского народа и просил его быть посредником между тобой и Короной, и он дважды, к великой досаде Яремы, прочел вслух твое письмо.

— Я так и знал,— произнес отрывисто Богдан,— но дальше, что же сказали они на мое предложенье?

— Князь Доминик стал склоняться к миру, за него были почти все вельможные радцы, то есть советники, а с ними и Кисель.

— Кисель? Разве и он там?

— Там. Прибежал с своими комиссарами, но паны его приняли худо.

— Так ему и надо, старой лисе! — сверкнул глазами Богдан.— Пусть не садится между двух стульев. Но дальше! Что же Ярема?

— О, князь противился всеми силами мирным переговорам; с ним соглашались отчасти Конецпольский и Остророг, но чем больше противился князь, тем настойчивее говорил о мире Доминик, за князя стояли все вишневцы, за Доминика — все радцы.

— Ну, и?..— перебил Выговского нетерпеливо гетман.

— Ярема поругался с Заславским и поклялся не двинуть и пальцем, когда хлопы будут арканить вельможных панов.

— Ха-ха-ха! — разразился сухим коротким смехом гетман и, сорвавшись с места, порывисто зашагал по комнате.— Я так и знал, так и знал! А что? Танцуете вы, вельможные регементари, под козацкую дудку! И не знаете, кто вам в нее заиграл! Ха-ха-ха! Теперь все вы у меня тут, в жмене! — ударил он себя по ладони и,

повернувшись к Выговскому, произнес быстро: — Что ж делает теперь Ярема?

— За ночь отодвинулся со своим лагерем еще за две мили.

— Отлично, отлично! Мне только того и нужно было! — продолжал отрывисто гетман, шагая по комнате и нервно взъерошивая свою чуприну.— Они у меня уже здесь, в кулаке!

— А пан Заславский пошел бы и без битвы в переговоры; быть может, он подписал бы и так все наши привилеи,— заметил вкрадчиво Выговский.

— Ха-ха-ха! — бросил небрежно Богдан, не прерывая своей прогулки.— Пока не нагоним поганым ляхам последнего холоду, они не сознают наших прав. Да и кто подтвердил бы их? Сам знаешь, теперь бескоролевье.

— А не сочтут ли нас за бунтарей, что мы при бескоролевье с оружием добиваемся своих прав?

— Не мы затеяли эту войну,— нахмурился гетман.— Я отправил послов на сейм и к Киселю; я звал комиссаров под Константинов для мирных переговоров [44], но вместо них на меня наступило целое коронное войско с отборною арматой и князем Яремой на челе.

— Гм, — усмехнулся Выговский. — Конечно, ты, ясновельможный, все предусмотрел заранее, одначе эти объяснения будут иметь вес только у победителей, а у...

— Говорю тебе, что ляхи теперь у меня здесь, в руках,— перебил Богдан,— главного избавились, а без него мне не страшен никто!

— Князь Иеремия еще здесь недалеко; в случае чего, он может ударить на нас сзади... Когда дойдет до дела, он позабудет свой гнев.

Гетман круто повернулся и остановился перед Выговским.

— Знаю,— произнес он с силой.— Но подожди еще немного, Иване, и ты увидишь, что ляхи затанцуют того мазура, которого заиграю им я!

При последних словах писаря глаза гетмана зловеще вспыхнули под нависшими бровями и угасли.

— Да, постой! — оборвал он резко свою речь и нахмурил брови.— От хана нет еще известий?

— Нет.

— Гм,— протянул Богдан и потом прибавил быстро,

приподымая голову: — Ну, впрочем, ничего, обойдемся и без них. А что загоны?

— Ночью вернулся еще Небаба.

— Гаразд! А, полковники! — обратился Богдан к входящим в это время Кривоносу, Кречовскому и Золотаренку.

— Ясновельможному гетману челом! — приветствовали его весело полковники.

— Ну, что слышно нового?

— Да вот ночью прибежала толпа слуг из коронного лагеря, наших, православных людей,— ответил Золотаренко.— Говорят, что у панов идут раздоры, что в лагере житья никому нет.

— Паны чубаются, а у хлопов чубы болят! — усмехнулся гетман.— Всегда так бывает, много начальников у панов, а когда в войске много начальников, друзи, так войско нездорово. А наши же как?

— Все умереть готовы по первому твоему слову.

— Так, друзи,— произнес твердым голосом гетман.— Готовьте их не к победе, а к смерти; пусть будут готовы умереть каждую минуту, тогда сумеют победить.

— Учить не надо,— махнул рукой Кривонос,— все готовы хоть в пекло за тобой.

— Эх, скорый ты до пекла, Максиме! Ну, а что слыхать о наших загонах?

— Да вот только что вернулись с подъездов два козака, говорят, что видели уже передовые отряды Нечая и Богуна, а за ними, мол, поспешает Чарнота с Ганджой.

— Ну, так какого же дидька рогатого еще ждать нам, друзи? — вскрикнул энергично гетман. — Сегодня соберемся все, и завтра — в дело.

— Пора, пора, гетмане! — подхватили воодушевленно полковники.

Но по лицу гетмана промелькнула какая-то тень.

— Одначе надо выслать им навстречу подмогу,— заметил он озабоченно,— чтоб, чего доброго, еще не помешали присоединиться ляхи.

— Какое! — перебил его шумно Кривонос.— Не стоит высылать и хромого цыпленка! Сидят ляхи тихо... Небаба говорит: шел прямо мимо ихних окопов, и никто его ни единым выстрелом не задел.

— Ага, — усмехнулся злобно гетман, — притихли,

вражьи сыны! Проманежим мы их немножко, а потом и пожалуем на честную беседу.

— А между тем они заметно понадвинулись к нам своим лагерем,— заметил негромко Выговский.

— Отлично! Это нам как раз на руку. Легче будет добро с их табора перевозить! — ответил Богдан.— Ты, пане писарю,— повернулся он быстро к Выговскому,— зайди ко мне после, а вы, полковники, за мною,— осмотрим лагерь!

Полковники вышли за Богданом и, вскочивши вслед за ним на лошадей, отправились за гетманом по лагерю.

В лагере царствовал суровый и строгий порядок. Полки располагались вокруг гетманской палатки и дальше, вплоть до самых окопов, правильными четырехугольниками. Сколько мог охватить глаз — всюду виднелись стройные ряды палаток и группы войск. Везде слышался добрый, веселый говор; оживление и деятельность кипели повсюду. В одних местах седоусые запорожцы, собравши вокруг себя молодых козаков, толковали им о возможных случайностях войны, в других — возвратившиеся только что из загонов козаки передавали еще не бывшим в деле рассказы о своих удалых схватках и трусости ляхов; в свою очередь козаки из гетманского войска рассказывали вернувшимся о том, как славно провел комиссаров гетман. Там осматривали оружие, там насыпали порох, там точили сабли. Посреди огромной толпы слушателей Сыч, усевшись важно на бочке, рассказывал окружавшим его козакам о случае, происшедшем в Печерском монастыре, и о бумаге, выданной святым Георгием Победоносцем. В другой стороне Ганна с несколькими знахарками и козаками резала и разрывала поспешно на узкие полосы полотно, козаки под ее наблюдением растирали порох с водкой и готовили другие самодельные лекарства. Там и сям священники, окруженные густыми толпами козаков, расставивши походные аналои, служили молебны.

Богдан взглянул на всю эту величественную картину, и она, казалось, доставила ему внутреннее удовлетворение.

— Вот где, полковники, победа наша! — протянул он вперед руку, указывая своим спутникам на энергично готовившихся к битве козаков.

Появление гетмана было в свою очередь замечено

козаками; громкие приветственные возгласы раздались кругом. Богдан тронул коня и двинулся вперед. Всюду, где появлялся он, неслись за ним перекатною волной восторженные, единодушные возгласы.

Гетман останавливался подле каждой группы, каждому говорил одобрительное слово или веселую шутку, и слова вызывали неподдельное оживление.

— За веру, молодцы, за веру! — повторял он, проезжая по рядам.— Не бойтесь умирать, помните, что мы несем свою жизнь за того, кто за нас своей жизни не пожалел!

— Умрем, батьку! Не схибим! — отвечали ему воодушевленно толпы козаков.

Довольно было, казалось, одного взгляда на лицо гетмана, чтобы неудержимая отвага и уверенность в победе охватили сердце каждого. Лицо гетмана дышало горячим воодушевлением, движения его были быстры и легки, речи кратки, но сильны и уверенны, что-то электризующее было во взгляде его сверкающих глаз. Какая-то невидимая, но неразрывная связь устанавливалась между гетманом и войском. Таким образом, разливая всюду вокруг себя бодрость и отвагу, Богдан подъехал к той группе, где ораторствовал Сыч.

— А что, панове молодцы, о чем речь у вас? — обратился он весело к козакам.

— Толкуем, батьку, о лядских региментарях! — ответил Сыч.

— Ха-ха! Что так долго толковать о них, друзи! — улыбнулся Богдан.— Перыну подстелим под ноги, латыну засадим за указку, чтоб не рыпалась и не бралась не за свои дела, а дытыне, ну, как водится, всыпем горячих.

Громкий, дружный смех приветствовал шутку гетмана. Богдан тронул коня и двинулся дальше, а рассказы о его шутке полетели за ним от одной группы к другой.

Объехав весь лагерь, осмотрев все укрепления, Богдан остановился наконец подле навеса, под которым работала Ганна, и невольно залюбовался воодушевленною работой девушкой.

С тех пор, как Ганна выехала вместе с войсками из-под Белой Церкви, она сильно изменилась. Прежней сосредоточенности, задумчивости, молчаливости не было и следа. От неустанных трудов и вечного волнения она даже похудела, но это не была та болезненная худоба,

обводившая глаза ее темными кругами, делавшая ее взгляд печальным и вызывавшая грустную улыбку на ее лицо. Нет, Ганна вся горела одною отвагой и воодушевлением. Жгучая, лихорадочная деятельность, жажда подвига, жертвы, поддерживаемая близостью ненавистного врага, охватывала ее. Яркий огонь, пылавший в ее душе, словно освещал ее всю извнутри, отражаясь и в ее темных глазах, и на ее бледных щеках, и во всем ее хрупком, но сильном существе. Эта сила, эта чистота и глубокая вера девушки и влияли таким воодушевляющим образом на всех окружавших ее козаков. Казалось, даже в суровом сердце Кривоноса вид Ганны вызвал какое-то теплое чувство.

— Ну что, Ганно,— обратился к ней ласково Богдан,— ты все за работой? Оставь, отдохни, змарнила ты у нас.

— Торопимся, дядьку,— ответила Ганна, подымаясь с места,— наша работа будет нужнее для раненых, чем отдых для нас.

— Ну так хоть и для них пожалей себя, не то изведешься совсем. Да и не готовь так много: козак с битвы возвращается или мертвый, или живой.

— Верно, верно, гетмане! — подхватили оживленно козаки.— Або пан, або пропав!

Наконец Богдан возвратился к своей палатке, усталый, но еще более уверенный и бодрый. Бросив поводья на руки джуре, он вошел в свою палатку.

«Да, войско настроено отважно и единодушно, в этом нет сомнения. Но Ярема? Его имя нагоняет страх на посполитство, а посполитства много в войске. Вот теперь бы его захватить!..»

Богдан нахмурился и принялся шагать по палатке, обдумывая и взвешивая свой тайный план.

Но вот входная пола заколебалась и в палатку вошла Ганна.

— Я помешала вам, дядьку? — остановилась она нерешительно, заметивши сосредоточенное выражение лица гетмана.

— Нет, нет, дытыно моя! — протянул ей приветливо руки Богдан.— Присядь здесь, с тобой я отдыхаю от этих тревожных дум.

— О чем же тревожиться, дядьку? Победа будет наша.

— Кто знает, дитя мое, кто знает! — произнес задумчиво Богдан.— Все надо обдумать; хорошее встретить всегда сумеем, а злое может застать врасплох. Там вся Польша...

— А здесь вся Украйна.

— Так, так... Но кто переможет? Вот вопрос.

— Тот, на чьей стороне будет гетман Хмельницкий.

— Дитя мое,— улыбнулся Богдан,— ты не умеешь льстить. Ты веришь так в меня?

— Не я одна! — ответила воодушевленно Ганна.— Все войско. Сам бог, гетмане, с тобою! Где ты, там победа и успех...

— Ох, любая моя! — взял ее за руку Богдан.— Когда бы ты знала, сколько бодрости и веры вливаешь ты в мою душу! Но вот что я хотел сказать тебе: завтра или послезавтра начнется битва,— победа или поражение,— но всякий в войске подвергает свою жизнь страшным случайностям, и я хотел тебя просить укрыться в Пилявский замок; я дам с тобою козаков...

Но Богдан не докончил фразы. Ганна сильным движением вырвала свою руку из его руки и, поднявшись с канапы, произнесла гордо:

— Нет, гетмане! Ты этого не сделаешь. Ты рассылал свои универсалы по всей Украйне и призывал всех, кто может, постоять за свою отчизну, волю и веру,— народ пришел, а с ним пришла и я. Мы принесли свою жизнь за отчизну, и ты не смеешь отталкивать никого из нас!.. Но, может, ты боишься, что я устрашусь лядских войск и нагоню страх на козаков? Так помни, гетмане, что брат мой никогда не отступал с поля битвы, а я — его сестра!

Слова, произнесенные Ганной, дышали такою гордостью и отвагой, что Богдан залюбовался девушкой. Несколько минут взгляд его с любовью покоился на ее вспыхнувшем от обиды лице.

— Нет, Ганно! — произнес он наконец с чувством.— Останься со мною. Останься со мною,— повторил он еще тише, овладевая ее рукою и усаживая ее подле себя.

Рука Ганны сильно задрожала в руке гетмана, голова ее склонилась на грудь.

С минуту Богдан смотрел молча, но с глубоким чувством на склоненную голову девушки.

— Останься, Ганно,— повторил он еще раз,— ты

одна можешь защитить меня от всех демонов, терзающих мой дух.

— О дядьку, если бы вся жизнь моя понадобилась для этого, я не задумалась бы ни на один миг!

Слова вырвались у Ганны слишком горячо; от волнения, охватившего ее, густая краска залила ей лицо.

— Спасибо, спасибо, дытыно,— произнес тихо Богдан, сжимая ее руку, и вдруг умолкнул. Какая-то задумчивость легла на его черты. Он держал руку Ганны в своей руке, но видно было, что мысли его были далеко отсюда. Ганна молчала, затаив дыхание. Вдруг гетман быстро повернулся к ней и произнес каким-то угрюмым тоном, не подымая глаз:

— А Морозенка все еще нет...

Ганна вздрогнула и устремила на Богдана полные испуга глаза.

## XLVII

Казалось, Богдан понял беспокойный взгляд Ганны.

— Нет, нет, не бойся, Ганно! — произнес он поспешно.— Теперь ни слова, ни звука... Но потом, потом, когда он привезет их, о, отомстить за все!

Богдан стиснул зубы и замолчал. Лицо Ганны омрачилось.

— Зачем мстить, дядьку? — произнесла она тихо.— Они не стоят вашей мести. Оставьте их, забудьте.

— Забыть? — повторил за ней хриплым голосом гетман и, приблизивши к Ганне свое лицо, впился в нее на мгновенье своими потемневшими от злобы и страсти глазами.— О нет! Нет! Нет! — вскрикнул он с злобною усмешкой и, вставши с места, зашагал по палатке. Видно было, что одно слово Ганны вызвало целую бурю в душе гетмана. Грустным взглядом следила за ним Ганна. Наконец Богдану удалось покорить вспыхнувшее в его душе волненье.

— Но не будем говорить об этом, Ганно,— произнес он, останавливаясь перед девушкой,— до времени все умерло здесь... а потом каждый получит, Ганно, по делам своим.

Ганна хотела было что-то ответить, но в это время за стенами палатки раздались громкие, радостные возгласы, шум, удары в бубны и звонкие приветствия.

— Что это, уж не загоны ли? — успел только произнести Богдан, как вход распахнулся и в палатку вошли поспешно Богун, Нечай, Чарнота, Ганджа и поп Иван, сопровождаемые другими полковниками и старшинами.

— Ясновельможному гетману челом до земли! — приветствовали громко Богдана полковники.

— Друзи, орлята мои! — воскликнул радостно Богдан, подаваясь им навстречу.

— Богуне, сокол мой! Нечаю, брате! Чарнота, Ганджа, отец Иван! Спасибо, друзи, прибыли вовремя! — повторял он радостно, заключая то одного, то другого в свои объятия.

Несколько минут в палатке слышались только крепкие поцелуи да радостные приветствия.

— Торопились, батьку, да вот принесли братам еще немного славы,— ответил Богун, когда шум приветствий немного утихнул, и, вдруг обернувшись, заметил стоявшую среди старшин Ганну.— Как, Ганно, ты здесь в такую пору?! — вскрикнул он с изумлением, не веря своим глазам.

— Здесь не одна я, друже,— ответила Ганна,— почему же не быть мне здесь вместе с другими и не помочь братьям, чем я могу?

— Но ведь то люди войсковые, привычные к смерти...

— Меня выучили смеяться над ней браты-козаки.

— Ай да отрезала! Правдивая козачка! — воскликнули разом полковники.

— Эх, да и сестра же у тебя, Золотаренко! — произнес с восторгом Богун.— Нет другой такой на всем свете!

Золотаренко только молча улыбнулся.

— Нету! Нету! — вскрикнул весело Ганджа.— Она еще у нас и в Субботове всем заправляла.

— И тут всем лад и пораду дает,— прибавил Богдан, смотря с любовью на вспыхнувшее от смущения лицо девушки.

— Шановные полковники, соромите меня,— произнесла наконец Ганна,— разве одна я хочу послужить своей отчизне и вере, разве мало теперь по всем загонам дивчат и молодиц, которые несут, как и вы, свою жизнь?

— Что правда, то правда,— вскрикнул шумно Нечай,— орлы, а не дивчата! Серпами и рогачами режут и колют ляхов. Скомпоновать бы такой полк да и пустить на ляхов, ей-богу, побежали бы все.

— А полковником поставить над ними нашу Варьку! — добавил Ганджа.

Шутки и остроты закипели кругом.

Тем временем Кривонос, отведя в сторону Чарноту, и журил его, и любовался им, и не знал уже, что сделать со своим любимцем, к которому он привязался всем своим ожесточенным сердцем, словно к родному сыну.

— Эх, да и сердился же я на тебя, друже,— говорил он, похлопывая Чарноту по плечу,—лютовал так, что хоть и землю грызть как раз впору! Когда б ты прибыл вовремя, заарканили бы Ярему, как бог свят. И где это ты замешкался? Я уж думал: не повстречался ли ты с кирпатой невзначай.

— Прости, Максиме, друже,— ответил с некоторым смущением Чарнота,— казнил я уже себя за это немало. Задержался под Корцом.

— Ну, да на этот раз ничего, здесь он, дьявол, теперь уж не уйдет от меня. Одначе что за пышная фигура! — продолжал Кривонос, отступая на шаг и любуясь своим другом.— Фу ты, черт побери! Не берет ни огонь, ни вода, ни порох. Князь, да и только, хоть квитку пришивай.

Чарнота бросил быстрый, пытливый взгляд на Кривоноса, но в это время раздался громкий возглас Ганджи:

— А что ж, когда на ляхов, батьку? Товарищи присоединились к остальным старшинам. Ей-богу, веди хоть завтра,— продолжал с азартом Ганджа,— так уж чешутся руки задать им доброго прочухана! Надоело уж в играшки играть.

— Го-го, какой ты скорый! Так и без передышки готов! — усмехнулся Богдан.

— Да что там отдыхать, успеем отдохнуть и после, в могиле,— ответил удало Ганджа,—а покуда еще надо на этом свете нагуляться вволю, чтоб и чертям было страшно в пекло принимать!

— Да не бойся, друже, там теперь и места нет,— улыбнулся своею широкою улыбкой Кривонос,— все куточки позанимали ляхи!

— А правда, батьку, крышили мы их добре! — воскликнул весело Нечай.

— Что говорить, досталось подлым латынянам немало,— заметил и отец Иван.

Он был одет теперь в жупан и высокие сапоги, в сму-

шевой шапке на голове, как у всех других старшин; у пояса его болталась сабля, а за поясом торчали пистоли, только густая коса, которую отец Иван не хотел обрезать, обличала его сан.

Разговор перешел на рассказы о последних событиях, о взятии городов и народных восстаниях.

— Ну да и ты ж, батьку, славно надул комиссаров [45],— воскликнул оживленно Нечай,— и голова же у тебя, гетмане, что ни говори, а во всей Польше не сыщешь такой!

— Верно! Верно! — подхватили все.

— Видите ли, дети,— усмехнулся тонко Богдан,— они задумали обмануть меня; а пан Кисель—лисица добрая, ловко пробирается, да только не умеет следов заметать. Ну, когда увидел я это и говорю: «Добре ляхи, мосцивые паны, воевать так воевать, а коли дурить, так хоть и дурить, только посмотрим, кто кого передурит?» Хотели это они меня лыстами усыпить да на безоружного со всем войском напасть. «Что ж,— говорю я,— коли панам такие штуки можно чинить, так козаку-сироте и бог простит», да и стал с ними на той же дудке играть; вот как узнали они, что я подле них уже со всеми силами стою, так так чкурнули, что хоть на крылах, да и то бы не догнал!

— Ха-ха-ха! — разразились громким смехом все присутствующие.— Припекло!

— Одежду, верно, по дороге скидали, чтоб легче коням было! — воскликнул отец Иван.

Шутки и остроты закипели снова.

— Ну, Ганно, любая моя,— обратился к Ганне Богдан,— собрались мы все снова хоть не под одной стрехой, так под одним наметом, прикажи же подать нам доброго меду. Завтрашний день — что бог даст, а сегодняшний еще наш. Так проведем же его с честным товарыством так, чтобы любо было хоть на том свете згадать.

Ганна вышла, и через несколько времени в палатку вошли козаки с наполненными блюдами, с серебряными ковшами, кувшинами и кубками. Вино и еда еще больше оживили всех. Всюду слышались веселые тосты и пожелания; передавались подробности о положении польского лагеря, о ссоре Иеремии с Заславским. И радость встречи, и уверенность в правоте своего дела и в своих силах подымали настроение всех. Богун не отходил от

Ганны; он рассказывал ей о своих победах и приключениях, и Ганна слушала с наслаждением все его рассказы и разговоры старшин; все время не отводил он восхищенных глаз от лица Ганны; с этим новым выражением она казалась ему еще прекраснее, еще дороже.

Наступил уже вечер, и в палатку внесли зажженные шандалы (канделябры), когда в лагере послышались снова громкие крики и возгласы тысяч голосов.

— А кто б это был? Сдается, уже все собрались,— встрепенулся Богдан.

— А так, батьку, — ответили полковники, и взоры всех устремились с нетерпением на вход палатки. Прошло несколько минут, шум рос и приближался, а вместе с ним росло и любопытство, и нетерпение всех. Но вот кто-то сильно отдернул полу, и у входа в палатку остановился широкоплечий, статный молодой козак. С секунду все с недоумением смотрели на него.

— Да неужели же не признаешь меня, гетмане батьку?—произнес звонким молодым голосом прибывший.

— Тимко! — вскрикнул гетман и бросился навстречу к вошедшему.

Все кругом поднялись. На пороге действительно стоял Тимко.

— Да как же ты вырос, каким лыцарем стал! — говорил в восторге Бодан, обнимая сына.

— Верно, верно, — шумели кругом козаки, обступая Тимка,— ай да Тимко, ай да гетманенко! И не узнать его!

И действительно, трудно было узнать теперь Тимка: из неуклюжего подростка вышел стройный, красивый козак. Долгое пребывание при ханском дворе придало всем его манерам какую-то своеобразную красоту; лицо его дышало молодой удалью и задором; небольшие черные усы покрывали резко очерченную губу. Все обступили Тимка и все наперерыв спешили почоломкаться с ним.

— И Ганна здесь! И Богун! И Ганджа! — повторял Тимко, здороваясь по очереди со всяким.— Эх, братчики, друзи мои! — восклицал он радостно.— Да и соскучился же я за краем своим да за вами за всеми, ну, вот как самый последний черт за пеклом!

— А помнишь, Тимоше, как ты со мной еще в Субботове бить ляхов собирался? — спрашивал его Ганджа,

поглаживая с любовью широкой ладонью спину своего воспитанника.— Ну, теперь покажи им свою науку!

— Покажем, покажем! Дай срок! — отвечал зесело Тимко.

Воспоминания, вопросы, ответы посыпались один за другим.

Когда первый восторг встречи прошел, Богдан усадил подле себя Тимка и стал его расспрашивать о действиях и намерениях хана.

Тимко сообщил, что хан переправился уже через Днепр с ордою, а с ним прибыло сейчас четыре тысячи татар с Карабач-мурзою во главе.

— Ну, панове-товарищи, так вот что: слушать моего наказа,— произнес Богдан, подымаясь с места, и все поднялись кругом.— Татар мы ждать не будем,— готовьте войско. Идите же по своим частям,— на утро всем отдам приказ.

Еще белесоватый осенний туман лежал густым покровом над окрестностями, когда в лагерь прибежали козаки со сторожевых постов.

— Гей, панове-молодцы, козаки-запорожцы, вставайте скорее, ляхи показывают охоту начинать битву: вызывают на герц удальцов! — кричали они, пробегая по всем направлениям.

В одно мгновение всё всполошилось в лагере.

— На герц! На герц! — раздались кругом одушевленные возгласы.

Козаки бросились седлать своих лошадей, осматривать оружие. Между тем от палатки гетмана побежали во все концы лагеря гонцы с приказом полковникам собираться немедленно к гетману. Через полчаса все уже стояли в палатке Богдана. Лица всех были серьезны, сосредоточенны, важны; в сдержанных движениях виднелись затаенное нетерпение и лихорадочная жажда поскорее сразиться с врагом.

Посреди палатки стоял Богдан с гетманскою булавой в руке.

— Панове полковники,— обратился он ко всем торжественным и повелительным голосом,— враг показывает охоту сразиться. Настало нам время постоять за себя; это не Корсунское сражение,— на нас наступает вся Польша. Помните все: победят нас здесь ляхи — мы пропали навеки, победим мы — тогда в руках наших и

наша воля, и все наши права. Нет с нами татар, но это еще лучше,— мы должны показать им, что можем победить и сами.

— Покажем, гетмане, не бойся, живыми не уйдем с поля! — ответили сурово полковники.

— Верю и знаю. Так слушайте же моего иаказа, и чтобы никто не отступал от него ни на один шаг. Сегодня только забавка, а в битву не вступать; проморим ляхов до завтра, они будут думать, что мы затеваем что-нибудь ужасное, и посбивают прыти. Ты, Кривонос, отправься, когда стемнеет, в засаду, в тыл ихнего лагеря, но не трогай их сегодня, а завтра ударим сразу с двух сторон; да смотри, не натыкайся на Ярему, будет еще час.

— Гаразд, батьку! — поклонился Кривонос.

— Возьми с собой еще Вовгуру и Небабу. Теперь, панове,— продолжал он, обращаясь к остальным полковникам,— на брод наш наступают князь Корецкий и Осинский с своими отрядами.

При этих словах Богдана Чарнота весь вспыхнул.

— Прости меня, батьку! Дай разделаться с ним! — произнес он поспешно.

Кривонос бросил на своего друга изумленный взгляд.

Слишком горячий тон восклицания Чарноты не ускользнул и от Богдана; с минуту он подумал, но затем отвечал:

— Хорошо, ступай, только помни одно: не вырываться в поле; если не словишь сегодня — завтра успеешь словить.

— А меня хоть на герц отпусти, гетмане! — вскрикнул удало Ганджа.

— Ну, поезжай, только не зарывайся,— согласился Богдан,— помни, что для завтра все нужны. Теперь же вот что, панове,— продолжал он,— мне нужен один человек, и умелый, и отважный, и такой, для которого жизнь не была бы уже дорога. От него будет зависеть всё наше дело.

— Бросай жребий, батьку, не обидь никого! — заговорили сразу все полковники, обступив Богдана.

— Нет, панове,— произнес в это время чей-то грубый, суровый голос, и поп Иван выступил вперед,— дозвольте мне слово сказать.

Все кругом замолчали.

— Все вы, панове-товарищи, пригодитесь гетману для другого войскового дела,— заговорил он сурово,— и не подобает вам терять так свою жизнь, когда вы можете положить ее на поле на славу и на честь всех козаков. Я, служитель господа, недостойный пастырь, отступивший от своего сана, хочу положить ее за господа моего и отомстить ненавистным латынянам за все!

Никто не возражал. Лицо отца Ивана было мрачно и решительно, глаза вспыхнули фанатическим огнем.

— Пусти меня, гетмане,— продолжал он,— не бойся: ни пытки, ни муки не испугают меня. Все, что скажешь, исполню на погибель ненавистным латынянам, на славу нашей святой веры! Я покажу им, как умеет умирать за свою веру схизматский поп!

Никто не оспаривал слов отца Ивана.

— Пусть будет по-твоему, отче,— произнес после минутного молчания Богдан.— Полковники, по местам своим! — обратился он к своим полководцам, подымая булаву. — Идите с богом. На завтра будьте готовы все.

Все поклонились и вышли шумно из палатки. Гетман с отцом Иваном остались одни.

## XLVIII

Вскоре в лагере заиграли трубы, засурмели сурмы, послышался топот тысяч лошадей.

Гей-но, хлопці, до зброї, на герць погуляти! —

грянула удалая козацкая песня.

Чарнота двинулся со своим полком вперед. Заломивши набок молодцевато шапку, гарцевал перед полком удалой, неистовый Ганджа. Через полчаса отец Иван вышел от гетмана. В лагере уже слышался шум и гул завязавшейся битвы; один за другим спешили, гарцуя на конях, козаки на почесный герц.

Отец Иван отправился в свою палатку. Долгое время стоял он на коленях перед простым деревянным крестом, поставленным на обрубок пня, в немой беседе со своей душой. Наконец он встал, сбросил с себя козацкий жупан, снял оружие, надел свою лучшую священническую одежду, распустил косу, повесил на грудь простой кипарисный крест и отправился принести последнюю

исповедь перед одним из священников, находящихся при войске.

Уже шум битвы утихал и осенние сумерки начали тихо спускаться на землю, когда отец Иван вышел из лагеря. Проходя мимо окопов, он заметил среди козаков необычайную суматоху,— какого-то статного, значного козака с золотой кистью на шапке торопливо несли с поля; но поп Иван не обратил внимания на это происшествие; занятый своей единственной мыслью, он торопливо шагал все вперед и вперед. Уже окопы козацкие остались за ним.

Становилось прохладно, надвигался вечер, с болота подымался сырой туман... Отец Иван спешил. Вдруг нога его споткнулась о что-то мягкое, он быстро нагнулся и увидел перед собой труп человека с отрубленной головой; труп был еще теплый... Отец Иван оглянулся: направо и налево по всему протяжению поля валялись трупы людей и лошадей; в наступающей темноте чудились чьи-то замирающие стоны. Но зрелище этой страшной картины смерти не произвело на отца Ивана никакого впечатления; он спокойно поднял несколько трупов и, увидевши, что все это поляки, обратил внимание на их положение; большинство лежало ничком, головой вперед.

— Бежали! — произнес тихо отец Иван и двинулся по направлению лежащих трупов вперед.

Вскоре он достиг разгруженной плотины, перекинутой через речку Пилявку. Здесь отец Иван остановился на мгновение и оглянулся назад; сквозь туман, покрывавший уже окрестность, мелькали тусклыми пятнами огни козацкого табора. Все было тихо кругом; на потемневшем небе показалось уже несколько звезд, от речки тянуло сыростью. За речкой в наступающей тьме начиналась уже территория врага. Вдруг до слуха отца Ивана долетел от козацкого лагеря какой-то резкий шум: били в бубны, трубили в трубы, послышались явственные возгласы: «Алла! Алла!»

— Пора! — проговорил решительно отец Иван и, перекрестившись, двинулся вперед в густившуюся тьму.

Перебравшись с трудом через разгруженную плотину, он вышел на противоположный берег реки. Здесь почва становилась уже суше и тверже. Тьма сгустилась; трудно было различать что-либо перед собой; с минуту

отец Иван простоял в недоумении, но затем, ощупавши по всем направлениям траву, двинулся вперед. Вскоре вдали перед ним заблестели какие-то яркие точки, словно глаза волчьей стаи. Отец Иван смело направился на них. Так прошло с полчаса, как вдруг вдали послышался какой-то тихий храп. Отец Иван остановился и стал прислушиваться. Храп повторился, за ним послышался тихий шелест травы, а затем и звук двух человеческих голосов.

Отец Иван затаил дыханье и пригнулся: ехали прямо на него.

— А сто тысенц дяблов,— ругался один,— завели к чертям в зубы да теперь и крутят! Гетман Остророг никакого толку в войсковой справе не знает, а тоже лезет с советами. Пусть меня завтра косоглазый заарканит, если я стану слушать его приказы.

— Пан староста чигиринский тоже не лучше,— отвечал сердито другой,— слушать их всех, так не останется на спине и клочка целой шкуры! Вишь ты, у козаков шум и гам в лагере, так поезжай и узнай, в чем дело: уж не татары ли? Клянусь святым отцом, может, и так, я сам слыхал, как кричали: «Алла!» Только не видывал я до сих пор, чтоб и овцы сами волку в зубы лезли, а не то что разумный человек! Заварили с Хмелем, небось, сами кашу, а расхлебывать так другим!

— Бр-р...— застучал зубами первый.— Верно, мы уж сильно приблизились к реке, ишь, холодом каким понесло. Куда там лезть в такую темь! И выдумали же воевать в этакую пору. Сидел бы себе теперь дома за кружкой пива у камелька... Эх, бей меня Перун, если завтра же не плюну на все и не уйду!

— А до правды! Чего там долго рассуждать! — произнес решительно второй. — Поворачивай коня, панетоварищу, да и баста. Уж коли кричали: «Алла!» — значит, и пришли татары...

Всадники повернули, но в это время почти из-под самых копыт их лошадей вскочило что-то огромное, черное и бросилось поспешно бежать. Испуганные всадники шарахнулись в сторону и хотели было пуститься наутек, но, заметив, что темная фигура убегает от них, ободрились.

— Езус-Мария! — вскрикнул первый.— Да этот лайдак, кажется, думает уйти от нас!

— Но это ему не удастся, сто тысяч дяблов! — крикнул свирепо второй.— Не будь я Ян из Крыжова, если он не очутится в наших руках.

И всадники, пришпоривши коней, бросились по степи догонять убегающую фигуру. Это было нетрудно сделать. Вскоре над головой отца Ивана свистнула веревка и, впившись в шею, повалила его на землю.

— Поймался, пся крев! А вот мы теперь тебе покажем, как шпионить,— зашипел, сдерживая голос, первый,— вот подожди, обуем тебя в червоные чоботы, чтобы легче было ходить!

— Отпустите, вельможные паны, я не козак, я бедный священник, пробирался к себе домой,— заговорил отец Иван, стараясь придать своему голосу испуганный тон.

— Схизматский поп! Ха-ха-ха! Тем лучше!—воскликнул весело второй жолнер.— Много там вас, собак, кишит в хлопском лагере. Расскажешь нам что-нибудь позабавнее твоих схизматских молитв.

— Да, вот это так находка! — продолжал первый.— Не грех за нее и сто дукатов получить! А ну, пане,— подхлестнул он отца Ивана нагайкой,— скорее! Да нет, постой, скрутить его раньше веревкой да обыскать, чтоб не ушел.

Жолнеры соскочили с седел, обыскали отца Ивана, вырвали у него из-за халявы нож, наскоро скрутили за спиной руки и, обвязавши его веревкой, потащили к лагерю.

Вскоре огоньки, замеченные отцом Иваном на горизонте, начали увеличиваться и расплываться в большие лучистые круги. Сжавши свои широкие черные брови, смотрел на них, словно упивался ими, отец Иван. Какая-то острая жгучая радость охватывала его сердце. Господь принял его жертву.

Чем ближе приближались к своему лагерю жолнеры, тем хвастливее становились их речи.

— Кто идет? — раздался наконец окрик часового.

— Уж, конечно, не те, что за валами сидят! — воскликнул первый.

— Да греют у костров свое тело! — добавил второй.— Поймали схизматского попа! Вырвали из самого хлопского лагеря!

— Хлопа, хлопа поймали! — разнеслось быстро меж-

ду часовыми, а затем и по всему лагерю. Жолнеры победоносно въехали в свои окопы. Теперь они ехали медленно, заломив молодцевато шапки и покручивая усы; отец Иван, связанный веревкой, шел между их коней. Весть о поимке хлопского попа, которого жолнеры вытащили из самой палатки Хмельницкого, с быстротой молнии разнеслась по всему лагерю[46]; отовсюду стали сбегаться жолнеры и слуги, паны и пани выскакивали из своих палаток, бросая ужин, и вскоре отец Иван очутился в центре огромной шумящей толпы.

В лагере было чрезвычайно светло и шумно; всюду горели костры и воткнутые на высокие шесты смоляные факелы; у роскошных шелковых и атласных палаток панских, украшенных гербами и пучками страусовых перьев, суетились слуги, раскупоривая ящики с бутылками и золоченой посудой, внося и вынося наполненные яствами блюда. Сквозь приподнятые полы палаток виднелись пышно разубранные столы, ярко освещенные восковыми свечами в серебряных канделябрах; вокруг них полулежало и сидело пышное рыцарство; за некоторыми столами председательствовали и прелестные дамы. Егеря с великолепными соколами на руках, псари со сворами белоснежных бесценных борзых толпились возле палаток; слышалось пение, звон цитр, заздравные возгласы, грубая брань слуг, лай собак. Казалось, что все это утопающее в роскоши и неге панство съехалось на какую-то королевскую свадьбу, а не на смертный бой. При появлении жолнеров все бросали свои занятия; паны выскакивали из-за столов, слуги бросали блюда, псари — собак. «Поп! Поп схизматский!» — раздавалось всюду, и все эти пестрые, разряженные массы народа с громкими криками, насмешками и угрозами присоединялись к толпе. Только гигантская фигура отца Ивана в простой священнической одежде подымалась среди этой шипящей, изрыгающей проклятья толпы, словно грозный утес среди бушующего моря... Сопровождаемый своими стражами, он шел гордо, с непокрытою головой, с распустившимися по плечам черными волнистыми волосами и белым кипарисным крестом на груди. Из-под прямых, широких бровей его глядели сурово и строго огненные глаза, весь гневный облик его напоминал карающего ангела, явившегося поразить Содом и Гоморру.

— Ишь, как окрысился поп! Словно загнанный

кабан!—кричали в толпе, указывая на него пальцами.— Вот мы тебе сейчас епископию дадим! Засядешь с нами вместе в сейме!

Отец Иван молчал.

Наконец шествие достигло самого центра лагеря. Отца Ивана втолкнули в обширную палатку и поставили по бокам стражу. Он оглянулся, чтобы осмотреть помещение, в которое попал, и заметил в одной стороне палатки гигантскую дыбу, в другой — сброшенные в беспорядке щипцы, буравы, жаровни, огромные гвозди и другие принадлежности пыток; посреди же палатки стоял огромный вбитый в землю столб. Но казалось, вид этих страшных орудий пытки укрепил еще больше его решимость. За полами палатки слышался рев и гоготанье толпы и надменные голоса жолнеров, передававших в сотый раз все с новыми и новыми украшениями историю о поимке схизматского попа. Отец Иван не слушал и не слышал их.

Но вот в толпе послышалось какое-то движение, шум приутих, и через несколько минут в палатку вошли три важных шляхтича, а за ними еще двадцать четыре пана и несколько солдат. Один из них был чрезвычайно толст и невысок ростом; его подтянутый широким шелковым поясом живот колебался как-то непроизвольно при каждом движении, слове или смехе своего господина. Отец Иван узнал в нем без труда Заславского, которого гетман так удачно прозвал перыною; другой, еще молодой, но уже сильно истрепанный, был Конецпольский, третий, высокий, худой, с светлыми волосами и близорукими глазами, был тот Остророг, которого гетман прозвал латыной. Предводители уселись, за ними поместились шляхтичи; по бокам отца Ивана стали жолнеры с саблями наголо.

— Развязать попа! — скомандовал Заславский.

— И осмотреть, нет ли при нем оружия или каких бумаг! — добавил Конецпольский.

— Но, проше пане региментаря,— заметил с надменною усмешкой Заславский,— схизмата поймали мои люди, и могу заверить, что они это сделали раньше.

— Одначе, как гласит нам Юлий Цезарь [47] в своих комментариях о галльской войне, осторожность...— начал было Остророг, но Заславский перебил его:

— Пшепрашам панство, теперь нам нет времени

вспоминать эти достославные комментарии, но чтобы прекратить разговоры и доказать панству, что мои люди,— подчеркнул он,— знают все правила войны, я приказываю также: обыскать хлопа.

Отца Ивана развязали, обыскали и не нашли ничего.

Заславский молча улыбнулся и приступил к допросу.

— Кто ты? — начал он.

— Служитель алтаря господня,— ответил гордо отец Иван.

— А, схизматский поп,— поправил его Заславский,— но что же ты делал здесь, шельма, если ты служитель алтаря?

— Я пастырь, а пастырь не оставляет свое стадо.

— Го-го! Вот ты как разговариваешь, попе!—вскрикнул Заславский, раздражаемый спокойными ответами отца Ивана и всем его бесстрашным видом.— В таком случае ты можешь нам рассказать все, что делается в твоем стаде.

— С чего это поднялся такой шум сегодня? Сколько быдла с вами? — прибавил Конецпольский.

— Быдла с собой козаки не брали,— ответил смело отец Иван,— надеются захватить в вашем лагере.

— Ах ты пся крев! — заревел Заславский, срываясь с места, и ударил отца Ивана со всего размаха в лицо.— Постой, мы тебя научим говорить!

Среди шляхты послышались возмущенные, гневные восклицания.

— На дыбу! На дыбу! — кричал злобно Корецкий, раздраженный донельзя сегодняшней неудачей.

— Четвертовать пса! — кричали другие.

Поднялся необычайный шум. Шляхтичи схватывались с мест, обнажали сабли.

— Вот до чего довели наши поблажки псам! Осмеливается хлоп так говорить с панством. Сжечь его для примера другим! — раздалось со всех сторон.

Отец Иван среди этих разъяренных шляхтичей стоял спокойно и невозмутимо, прислонившись спиною к столбу.

— Огня и железа! — скомандовал, задыхаясь, Заславский.

Жолнеры вышли и вскоре возвратились с полными раскаленного угля жаровнями; они начали нагревать длинные железные полосы.

— А что, быть может, ты сам нам расскажешь, что знаешь; если не утаишь ничего, мы даруем тебе жизнь,— обратился к отцу Ивану Остророг, посматривая с отвращением на приготовления к пытке.

Отец Иван молчал.

— Хо-хо-хо! — заколыхался Заславский.— Пан региментарь думает, что открыть уста хлопу так же легко, как «Галльские комментарии» Юлия Цезаря. Как бы не так! Только post ferrum et ignem * они делаются разговорчивее, да и то не всегда!

— Их грубая кожа мало ощущает боль,— заметил с пренебрежительной улыбкой Конецпольский.

— Притом же они снабжены дьявольским упрямством! — добавил Корецкий.

— Совершенно верно! — подхватили окружающие.

Между тем листы железа раскалились почти добела.

— Готово! — объявил заведующий пыткой жолнер.

С отца Ивана сняли сапоги, сорвали одежду и, подвязавши под мышки веревки, потянули его на столб, привязав к кольцам, вбитым в него.

Обнаженные ноги отца Ивана повисли на пол-аршина над землей; жолнеры взяли раскаленные полосы и стали по сторонам; отец Иван почувствовал страшный жар, распространяющийся от этих полос. Заславский махнул рукой, жолнеры подхватили ноги отца Ивана и приложили к ним раскаленное железо,— жгучая, нестерпимая боль промчалась молнией по всему телу отца Ивана и заставила его содрогнуться, а жолнеры с уменьем знатоков медленно, но сильно вдавливали в тело его полосы пылающего железа... Послышался запах горелого мяса. Лицо отца Ивана побледнело, он впился себе в руки ногтями, но из-за стиснутых губ его не вырвалось ни стона, ни вопля, ни слова...

Пытка продолжалась. Переменивши полосы на другие, более горячие, жолнеры проводили ими медленно по стопам; кожа прикипала к железу, обнажая кровавое мясо, тогда они брали раскаленные полосы и снова проводили ими по нему. Слышалось отвратительное шипенье живого мяса; стопы чернели, обугливались...

Наконец Заславский сделал знак, жолнеры приостановили свою работу.

---

* Після заліза і вогню *(лат.)*.

## XLIX

— Ну, говори, собака, отчего это слышался такой шум из вашего лагеря? — обратился Заславский к отцу Ивану.

Отец Иван молчал.

— Молчишь? А, ну так наденьте ему, панове, красные сапожки! — скомандовал Заславский.

Жолнеры бросили в сторону железные полосы и, захвативши острые тонкие ножи, стали подрезывать на коленях отца Ивана узкими полосами кожу и срывать ее до самой ступни...

Отец Иван забросил голову, губы его посинели, глаза потускнели... судорожный хрип вырвался из горла. Региментари заметили это.

— Облить водою шельму! — скомандовал Заславский.

Жолнеры остановили занятие и, взявши ведро с водою, окатили им отца Ивана.

— Что, будешь ты говорить, попе? — обратился к нему грозно Заславский.

Отец Иван молчал.

Среди панов послышались громкие проклятия.

— Бесчувственное быдло! — прошипел с презрением Корецкий.— Дворового пса можно скорей заставить почувствовать боль, чем это хамье... Этот, оказывается, еще упорнее Половьяна.

Жолнеры сняли отца Ивана со столба и потащили к дыбе. Вот привязали уже его руки.

— Начинай! — махнул рукой Заславский.

Жолнеры потянули за веревки, но в это время раздался голос Остророга:

— Остановитесь! Остановитесь! Допрашиваемый хочет говорить!

Действительно, отец Иван шевелил беззвучно губами. Рассчитавши, что паны уже достаточно пытали его, чтоб поверить правдивости его рассказа, а главное, не надеясь больше на свои силы, он решился наконец заговорить.

Пытку остановили; отца Ивана отвязали от дыбы. По двое жолнеров стали по сторонам его, поддерживая под мышки, так как ноги его не в состоянии были стоять.

— Говори же, пес! — прикрикнул на него Заславский.

— Я все скажу вам, вельможные милостивые паны,— заговорил с трудом отец Иван, останавливаясь на каждом слове,— вы догадались... к Хмельницкому прибыл сегодня Карабач-мурза и с ним сорок тысяч отборного татарского войска, а за ним спешит хан со всеми силами. Хмельницкий присягнул навеки платить ежегодно дань хану, а он обещал заступаться за козаков.

— Татары! Езус-Мария! Сорок тысяч! Но ведь они вместе с этим хлопством в пять раз превышают наши силы! — раздались полные ужаса возгласы среди панов.

— Вельможное панство, эти res adversae * не должны, так сказать, приводить нас в смущение,— заговорил Остророг,— при Марафоне [48] десять тысяч греков сражались с двумя миллионами персов и одержали блестящую победу!

— Что нам до персов и до греков, пане региментарь!? — вскрикнул раздраженно Заславский. — Нам надо поскорее ударить на хлопов, чтоб не допустить их соединиться с ханом!

— Ударить, когда к ним уже присоединилось сорок тысяч с Карабач-мурзой! Какое здесь может быть сраженье! Отступать, только отступать,— вспыхнул Конецпольский.

— Мы еще ослаблены теперь отказом князя Иеремии, — заметил угрюмо Корецкий, — наши жолнеры уходят к нему.

— О да! — вздохнул Остророг.— На козаков одно имя его наводит трепет, а в наших войсках порождает силу.

— Если шановные паны региментари, которым отчизна вручила свою судьбу,— ответил ядовито Заславский, поняв брошенный в его сторону упрек,— находят для себя единственное спасение в том, чтобы спрятаться за имя князя Иеремии, то почему же им не обратиться к князю с просьбой принять их под свою булаву?

— Никто об этом не помышляет,— ответил Остророг,— но concordia res parvae crescunt, discordia magnae dilabuntur **.

— А вот по этому-то самому изречению,— продолжал кипятиться Заславский, чувствуя сам беспредельную

* Нещастя *(лат.)*.
** Згода незначне збільшує, незгода силу знищує *(лат.)*.

злобу на себя за то, что поссорился с Иеремией,— я просил бы панов региментарей не тратить времени на воспоминания школьной мудрости и сожаления об уплывшей воде, а лучше продолжать допрос. Схизмат лжет, желая испугать нас своими лживыми известиями, и, как я вижу, достигает своей цели! — бросил он выразительный взгляд в сторону Конецпольского и Остророга.

— Конечно, лжет, пся крев! — раздалось то там, то сям среди слегка ободрившихся при этой мысли панов.— Сколько сражений было проиграно через их подлое коварство! На дыбу его, на дыбу схизмата! — закричали все кругом.

Конецпольский сидел молча, пощипывая свой ус и нервно покачивая ногой.

— Однако дальнейшая пытка, как показывает нам часто история, может заставить дать и ложные показания,— заметил сдержанно Остророг.

Но Заславский перебил его:

— От правды во лжи спасения не ищут! А вот посмотрим, что скажет пес, когда ему косточки разомнут. Гей, начинайте!

Жолнеры подхватили отца Ивана и снова привязали его к дыбе.

— Ну, говори, собака, лжешь или нет? Помни, что если ты солгал, то живым не выйдешь отсюда! — крикнул еще раз Заславский.

— Я сказал правду,— ответил твердо отец Иван,— и не изменю в своем показании ни единого слова.

— А вот посмотрим! — заревел Заславский.

Жолнеры налегли на веревки. Кости хрустнули... началась невыносимая, бесчеловечная пытка...

Когда отец Иван пришел в себя, первая мысль, которая пришла ему в голову, была та, что он очнулся уже по ту сторону жизни. Однако невыносимая боль во всем теле и в ногах, давшая себя сразу же почувствовать, заставила его усомниться в этом; с трудом открыл он глаза и оглянулся вокруг.

Было уже светло; в сером свете, проникавшем сквозь полы палатки, он рассмотрел и дыбу, и столб, и все орудия пыток, валявшиеся в углу. Перед глазами его встала картина ужаса, охватившая всех панов, когда он снова после дыбы повторил свое показание. Что было дальше, он не мог вспомнить... Итак, его оставили в

живых, значит, придут допрашивать снова, решил про себя отец Иван,— о, если бы только силы не оставили его!..

Приподнявшись на локтях и доползши с ужасным трудом до края палатки, он прильнул глазами к образовавшейся между ее пол скважине и стал прислушиваться. В лагере царили необычайный шум и суета. Издали слышались пушечные выстрелы и звон оружия; трубы трубили, слышались возгласы команды панов и проклятия жолнеров. Но во всем этом пестром шуме чуялась растерянность, беспорядочность и недоверие к себе.

«Наши начали битву!» — вздрогнул весь от радости отец Иван и стал жадно прислушиваться. Звуки нарастали и падали, как приближающийся и удаляющийся вой ветра в лесу. С лихорадочным жаром вслушивался и ловил эти звуки отец Иван. Но вот раздались чьи-то тяжелые шаги и послышались стоны раненых. Сколько их? Один... два... четыре... восемь... целая масса!

— Не устоять, не устоять! — услышал отец Иван голос одного раненого.— Спасайтесь, кто может! Ох, поп правду сказал!.. Татары... татары!..

— Смерть! Воды! Добейте! — раздались стоны других и покрыли его слова.

За этим транспортом раненых последовал другой, третий, четвертый.

Но вот послышался частый-частый топот коня, и чей-то молодой и звонкий голос закричал бодро и громко:

— Коронные хоругви, строиться, выступать за мною! Хлопы бегут, татары отступают! Вперед!

— О боже наш! — вскрикнул отец Иван, хватаясь судорожно за полы палатки.— Неужели же ты против нас?

Прошло несколько минут. Вот послышался топот множества коней и воодушевленные крики: «До зброи, до зброи!» Трубы заиграли, и хоругви с распущенными знаменами помчались мимо палатки в поле.

Отец Иван закаменел на своем посту. Он не ощущал теперь ни страшной боли обожженных, израненных ног, ни своей страшной слабости. Припавши ухом к земле, с загоревшимися диким фанатическим огнем глазами, он ждал исхода, решения.

Так прошло с полчаса, мучительно долгих, как немая

осенняя ночь, еще и еще... Кругом все затихло, ни стона, ни крика, ни проклятия не слышалось за палаткой, только издали с поля битвы доносился глухой, зловещий гул.

Но вот среди этой страшной тишины послышался быстрый, судорожный топот коня. Надежда вспыхнула в сердце отца Ивана. Он приподнялся на локтях и, забывши всякую осторожность, высунул из-за пол палатки голову.

На взмыленном коне мчался во весь опор бледный, растерянный всадник; шапки не было на его голове, растрепанные волосы в беспорядке свисали на лицо; он летел с такою быстротой, словно все фурии ада мчались за ним.

— Подмоги! Подмоги! — кричал он.— Хлопы заманили войско! Хмельницкий бьет всех! Сандомирский и Волынский полки полегли до единого!

И, снова повторяя тот же возглас, всадник пролетел дальше.

Руки отца Ивана выпустили полы палатки.

— Господи, ты принял мою жертву,— прошептал он с трудом и упал на землю. Теперь только почувствовал он нестерпимую боль во всем теле. Приподнявшись с трудом, он сел на землю и осмотрел свои ноги. Они представляли из себя какие-то обнаженные от кожи, обуглившиеся массы изорванного мяса; в иных местах оно висело лохмотьями, в других виднелись еще обрывки кожи; ногти были сорваны с пальцев. Нестерпимый жар палил все тело отца Ивана; губы, рот его пересохли, голова была невыносимо тяжела, перед глазами начинали выплывать какие-то желтые и зеленые круги. С сомнением покачал отец Иван головой, но решил все-таки принять кое-какие меры к своему спасению.

С большими остановками накопал он брошенным здесь ножом земли и, разорвавши свою сорочку, обложил ноги сырою землей и обмотал их тряпками; затем он подполз к ведру с водой, отпил несколько глотков, примочил голову и упал, обессиленный, на землю.

Временная тишина в лагере нарушилась. Снова поднялись суета и движение, крики, проклятия огласили воздух. Голоса начальников терялись в этом шуме; слышался топот лошадей, целые толпы жолнеров пробегали мимо палатки.

— Какой дябел двинул в поле коронные хоругви? — раздался вдруг осипший от натуги голос, в котором отец Иван сразу узнал Заславского.

— Попрошу пана регментаря быть осторожным в своем слове, потому что это сделал я! — отвечал голос Конецпольского.

— Сто тысяч чертей! — продолжал, не унимаясь, Заславский.— Послать лучшие силы волку в зубы!

— Не оставлять же на погибель два полка!

— Кой черт в двух полках! Мы должны думать об отчизне! Пан староста чигиринский забывает свое право: он назначен здесь не диктатором и должен слушать наших советов! — ревел Заславский.

— А пан слушал наших советов, когда своим упорством заставил уйти из лагеря князя Иеремию? — ответил надменно Конецпольский.

— Подмоги! Подмоги! — слышалось в разных местах.

— За мною! — командовал, не слушая спора начальников, чей-то молодой голос.

— Назад! — ревел Заславский.

— Вперед! — кричал Конецпольский.

Но отец Иван не мог больше ничего различить,— все смешалось в его ушах в какой-то адский вой и гул, и он, потерявши сознание, вытянулся на земле.

Когда отец Иван снова открыл глаза, в палатке было уж совершенно темно, в лагере царила тишина, слишком безмолвная и подозрительная. С трудом приподнял он голову, боль в ногах его и во всем теле еще усилилась; ему казалось, что какой-то нестерпимый огонь жжет его тело; ожоги на ногах причиняли нестерпимые муки, словно чья-то сильная рука рвала и тянула в его теле каждую жилу. Размотавши тряпки, он насыпал в них свежей земли, затем отпил из ведра воды и, хоть немного облегченный этими средствами, вытянулся на сырой земле. Кругом все было тихо... Отец Иван закрыл глаза. Он хотел что-то вспомнить и не мог,— голова его отказывалась работать, ему казалось, что приблизился уже его последний час.

Но вот у самой полы палатки послышались два тихо разговаривающие голоса. Голоса эти показались отцу Ивану знакомыми, и действительно, после нескольких слов он различил в них тех двух жолнеров, которые поймали его в поле.

— Региментарей нет в лагере,— говорил тихо один голос.

— Не может быть,— отвечал с ужасом другой.

— Як маму кохам, я сам видел. Уехали на раду из лагеря, и нет до сих пор, а уж скоро начнет светать.

— Что ж это, нас бросили, что ли?

— А верно, что так.

— Матка свента! Так что же делать?

— А то, что бежать, пока все не всполошились и не разбудили Хмеля.

— Уж если региментари бежали, так видно, что беда. Поп правду сказал: татар как саранчи, а если еще прибудет хан...

Отец Иван даже приподнялся на земле, жадно прислушиваясь к словам жолнеров, но слов больше не было слышно.

О господи, да что это с ним? Уж не горячка ли это? Или нечистый обольщает его? Но нет, он ясно слыхал, как они сговаривались у палатки. Однако разве же можно, чтоб начальники бросили лагерь почти без битвы? «Нет, нет! — повторял он, боясь поверить самому себе.— Это трусость жолнеров, они стараются оправдать свое бегство, не больше. Спросить, узнать бы у кого...» — мелькнуло в его расстроенном мозгу. Но кругом не слышно было никакого движения, в лагере снова наступила тишина.

Так прошло с полчаса; но вот вдали послышались опять чьи-то торопливые шаги; можно было различить, что шло два человека.

— Ложь! — говорил с отдышкой один.— Этого быть не может!.. Этого, так сказать, никогда не бывало! Я повешу всех тех, кто распускает такие слухи и тревожит весь лагерь.

— Но, ваша вельможность, удостоверьтесь сами,— отвечал другой, дрожащий, голос,— лучше, пока есть время.

Громкое проклятие заглушило его слова. Разговаривающие торопливо прошли мимо палатки. Снова наступило молчание, на этот раз уже недолгое. Не прошло и десяти минут, как до отца Ивана долетели крики и возгласы приближающейся толпы.

— Измена, измена! — кричали голоса, перебивая

друг друга.— Нас оставляют, предают козакам! Регинментари бросили лагерь![48]

— Не может быть! Кто видел? Кто знает? — раздались отовсюду восклицания; слышно было, как жолнеры выскакивали из палаток, но испуганная толпа, не давая никому ответа, неслась уже дальше.

Через минуту за ней хлынули другая, третья, четвертая...

— Спасайтесь, спасайтесь! — кричали бегущие жолнеры.— Паны оставляют лагерь!

Крики, вопли, проклятия наполнили воздух.

Но этот ужас, охвативший весь лагерь, подымал в груди отца Ивана умирающие силы. Словно вздымающиеся волны прилива, набегали в его мозгу одна за другой радостные, торжествующие мысли. Итак, его жертва принята богом, его муки не пропали бесцельно. «Горе латынянам ненавистным! Горе! Горе псам, утеснителям хищным! О, мы теперь отомщены, отомщены!» — И, почти не ощущая никакой физической боли, он подполз на локтях к краю палатки и смело отбросил полог. Теперь ему уже нечего было бояться: никто бы не заметил его.

Глазам его представилась невиданная, ужасная картина.

В несколько минут весь лагерь охватила невероятная паника. Казалось, какой-то дикий вихрь влетел в него и закружил вдруг всех этих обезумевших людей; толпы солдат бежали сломя голову, опрокидывая палатки, хватая неоседланных лошадей; другие догоняли их, сталкивались, сбивались в кучи, давили друг друга; вырвавшиеся лошади метались как бешеные кругом, топча и опрокидывая людей.

— Спасайтесь! Козаки! Татары, татары!—слышались отовсюду отчаянные, безумные вопли. Несколько более смелых начальников носились на конях среди этой обезумевшей толпы, хватая за уздцы лошадей бегущих, приказывая вернуться, проклиная на все лады. Но никто их не слушал. Бледные, полураздетые паны и жолнеры неслись вперед на неоседланных лошадях, как обезумевшие стада, давя и опрокидывая друг друга. Крики, проклятия, стоны — все смешалось в какой-то дикий, полный ужаса вой...

## L

Возмущенные и ошеломленные потрясающим видом истерзанного отца Ивана, ближайшие соратники гетмана стояли угрюмою толпой за своим батьком, сняв почтительно перед замученным товарищем шапки и понурив молчаливо свои чубатые головы. В лагере же стоял оживленный говор, прорезываемый взрывами и раскатами смеха.

Наконец прервала тяжелое молчание Ганна; она, припавши к лежавшему трупом священнику, осматривала его страшные язвы, прислушивалась к биению сердца.

— Он жив еще! — прошептала она, подняв к Богдану свои лучистые, затуманенные слезою глаза.

— Может, еще сглянется матерь божья,— вздохнул тихо Богдан.— Тебе, Ганно, его поручаю,— и потом, обернувшись к ближе стоявшим к нему полковникам Кречовскому и Золотаренку, промолвил взволнованным голосом: — Остапе, Иване, други мои, браты мои! [50] Летите соколами-орлами за этим аспидом нашим—Яремой! Кто притащит живьем этого коршуна, роднее сына мне будет до самой смерти!

— Добудем, добудем! — вскинулись бодро Золотаренко и Кречовский, выхватив из ножен сабли.

— Батьку! Гетмане наияснейший! — раздался в это время дрогнувший, словно от подавленных слез, голос Кривоноса.— За что ж ты меня обижаешь?

— Ах, Максиме, я и не заметил тебя,— ласково ответил Богдан,— в этом полеванье твое первое право.

— Спасибо, батьку! — крикнул радостно Кривонос и помчался вслед за товарищами к своим отрядам.

А Богдан, повернув круто коня и взмахнув высоко булавой, крикнул зычным голосом:

— За мною, панове-молодцы! Гайда кончать ляхов!

Волновавшиеся, как потемневшее море, полки только и ждали этого слова. Как черная туча, гонимая бурей, ринулись они за своим гетманом догонять бегущие, охваченные ужасом польские войска. Но не всех возбудил молодецкий задор, не всех увлекла бранная слава. Многих и многих привязали к лагерю брошенные груды польских богатств, и толпы воинов разметались с хищническою жадностью по пышным палаткам.

Лагерь был прекрасно укреплен и мог даже с неболь-

шим количеством войска защищаться от стотысячной армии. Кругом были вырыты глубокие и широкие шанцы с искусными треугольными выступами, за ними высились отвесно земляные окопы, окаймленные двойною линией сбитых цепями и окованных железом возов; окопы в выступных треугольниках увенчаны были плетенными из лозы и набитыми глиной турами; по всей изломанной линии шанцев, примыкавшей громадным полукругом к болоту, выглядывали грозно среди возов и туров медные жерла орудий; и такую неприступную позицию бросили так легкомысленно и безумно поляки, оставив на разграбление все свое имущество.

Теперь весь лагерь был переполнен шнырявшими повсюду козаками; точно всполошенные муравьи, суетящиеся со своими личинками, они метались из палатки в палатку, сталкиваясь и обгоняя друг друга. Всякий тащил что-либо: или бобровую шубу, или золотом шитый адамашковый кунтуш, или серебряную посуду, или мешок с дукатами; часть толпы набросилась на оставленные панами столы, полные снедей, а большинство кинулось к возам; козаки вытаскивали из них бочонки с дорогим венгерским вином, с старыми медами, с ароматной мальвазией и, отбивая чопы, пили и разливали по земле драгоценную влагу... Она грязными лужами стояла по лагерю, и в этих лужах варварски топтались грубыми ногами тончайшие персидские пояса, шали, венецианский бархат, турецкий глазет, урианские перлы... Среди возраставшего ярмарочного гама раздавались то там, то сям пьяные песни, прерываемые криками и увесистой бранью.

Ганна вышла тревожно из палатки позвать знахаря-деда и кого-либо к себе на помощь и увидела эту оживленную картину знакомого ей разгула.

— Господи,— всплеснула она руками,— ну что, если хоть горсть врагов наскочит на них в эту минуту,— ведь все погибнут... Да разве можно без воли нашего гетмана так расхищать добро?

Она бросилась искать обозного Небабу, которому поручен был лагерь, и наткнулась на Варьку, ловившую своего вырвавшегося коня с двумя какими-то бабами. Она узнала ее лишь по голосу; на Варьке были татарские шаровары, подпоясанные широко, под самую грудь, длинным поясом; за ним торчали почтенных размеров

кинжалы, а у левого бока висела черкесская шашка; вместо свитки она носила белую суконную безрукавку, а на голове у нее была надета сивая шапка.

— Варько! И ты здесь? Когда... как? — окликнула ее с радостью Ганна.

— Голубочко! Панно! — бросилась та к ней и обняла ее своею загоревшею, мускулистою рукой.

— Вот радость так радость! И не ждала тебя встретить! — заболтала она весело, бросив коня своего на заботу товаркам.

— А я прибыла сюда вместе с Чарнотой, только немного позже... была там одна забота, по его просьбе... Ну, да не об этом, черт с ней, а вот как ты только, моя любая, звеселила меня...

— Спасибо, спасибо,— заговорила торопливо Ганна,— я рада, что тебя вижу, и рада, что ты стала бодрей...— Ганна действительно почти не узнавала мрачной и молчаливой прежней Варьки в этой оживленной, хотя и с злобным выражением глаз женщине,— и что ты забыла свое тяжкое горе,— добавила она, понизив свой голос.

— Не забыла, панно, а сжилась с ним и сдружилась на лихих поминках... Вот и сейчас спешу с товарками на потеху! — И она было снова бросилась к пойманному коню.

— Стой, Варько! — удержала ее Ганна.— Мне нужно видеть Небабу... нужно остановить это плюндрованье, этот грабеж. Ведь не похвалит же гетман... Он кликнул клич, чтобы летели все покончить врага, а они остались здесь для пьянства... и в такую минуту ласки господней, когда всемогущий ослепил ужасом очи врагов и предал их в наши руки!

— Так, так... кончать нужно ляхов! — подняла кулак Варька.— Что хлебнули на радостях, то не беда. Я и сама, во славу божию, выпила, а вот бражничать грех... нужно лететь, нагнать... и вдвое отдячить!.. Небаба вон в той палатке! — указала она рукой и вскочила ловко и легко на коня.

— Оставь мне в помощь к раненым хоть кого-либо из твоих! — крикнула Ганна.

— Гаразд! — откликнулась, летя уже на коне, Варька.— Домахо, Ивго! До панны!

Ганна, сопровождаемая двумя бабами, подошла к

палатке Небабы и застала его с старшиною тоже за кухлями доброго меду. Она сообщила о происходящем в лагере и подчеркнула, что такого произвола не потерпит ни ясновельможный гетман, ни рада.

— От чертовы дети! — поднялся с досадой Небаба.— Не дадут и потолковать с товарыством, как допадутся до вина, и палями не отгонишь, не то что... а уж на руку так не положат охулки, вражьи сыны! Пойдем-ка, братове, лад дать, а то чтобы не было справди поздно,— взял он в руки пернач и двинулся к выходу; вслед за ним двинулась и старшина.

С большим усилием был водворен кое-какой порядок. С угрозами гетманского гнева и даже смертной кары удалось Небабе вырядить из лагеря несколько сотен, смогших еще сесть на коня, остальных же он заставил сносить все польское добро и стягивать напакованные провизией возы к гетманской ставке, поставив везде надежных и верных вартовых.

Ганна же, захвативши знахаря-деда, отправилась вместе с ним и с бабами к палатке, где лежал недвижимо несчастный, измученный до смерти отец Иван. Сильное волнение, пережитое им, и невыносимые физические страдания сделали свое дело: он лежал вытянувшись, почти без дыхания, бледный, как мертвец; глаза его были закрыты, и это еще более увеличивало иллюзию смерти. Дед молча, с суровым лицом осмотрел его истерзанные ноги и хладевшее тело.

— Ничего, выживет! — заключил он лаконически свой осмотр.

Ганна взглянула с тревогой в лицо отца Ивана и действительно заметила в неподвижных чертах что-то неуловимое, непонятное, но дающее надежду.

— Добрая натура! — подтвердил свое мнение кивком головы знахарь.— А что он без памяти лежит, так это пустяк, сестро. Крови много вышло, да и боль пересилила. Ну, так вот что,— поднял он голос,— зараз нужно промыть ему разведенным в воде дегтем эти ожоги и раны... пощипет трохи, а потом боль утишится. А вы, сестры-бабы, достаньте ветоши да накопайте земли; как промою я раны и засыплю их тертым порохом, то вы обмотаете ветошью и будете их обкладывать землей; степлится, высохнет одна — положите свежей, чтобы жар в себя брала.

Принялась Ганна с дедом за операцию. Обмыли они приготовленным раствором зияющие раны, присыпали их дедовым снадобьем и забинтовали слегка ветошью. Страдалец чуть-чуть простонал и, повернувшись удобнее, начал заметнее и ровнее дышать.

— Э, выходится, выходится,— заговорил увереннее дед,— и обличье стало яснее, и раны у него не синие, не землистые, а червоные, значит, гаразд!

Ганна перекрестилась и, оставив больного на попечение одной бабы, обкладывавшей ему землей по ветоши кровавые язвы, отправилась с другой бабой и дедом к раненым, перенесенным из табора в особые, отведенные для них, палатки.

К каждому подходила Ганна, каждого осматривала с дедом, и всюду ее появление встречалось самыми радостными, благодарственными словами.

— Сестрица наша, пораднице наша, господь тебе воздаст! — говорили раненые, приподымаясь с трудом.

Наконец дед подвел Ганну к следующему навесу, где лежал безвладно на земле на разостланной керее пронзенный насквозь Ганджа[51]. У ног полковника сидели угрюмо два козака, вглядываясь с тоскливым ожиданием в неподвижное желтое лицо своего атамана. По нем пробегали еще темные тени, но они сползали быстро с окаменевавшего лба. В сомкнутых, обведенных черными кругами глазах, в посиневших губах и заостренных чертах лица его не видно уж было теплоты жизни, только по едва заметному трепетанию намокшей в крови сорочки и тихому всхлипыванью в груди больного можно было догадаться, что последняя искра ее еще тлела. Дед взглянул опытным взглядом на своего пациента и поник головою.

— А что, диду? — спросила тихо Ганна, глядя с тоской на близкого, дорогого ей козака.

— Ох, не топтать уже ему рясту,— вздохнул дед, покачав безнадежно головой,— нема уже в каганце лою.

Все замолчали. Безучастно лежал Ганджа с заброшенною назад чуприной, не видя и не слыша ничего, что делалось вокруг него.

— Да как приключилась ему беда? — спросила наконец у козаков Ганна.

— Ох, видно, мы прогневали милосердного бога,— произнес один из них,— оттого и окошилось на нашем

атамане лихо. Заскучал как-то без воеванья наш батько и поскакал вчера к этому лагерю вызывать лыцарей польских померяться с ним удалью-силой. И любо ж было смотреть на завзятого нашего сокола, как он управлялся ловко да хвацько с ляхами! Девятерых уже уложил на сырой земле спать до конца света, а десятый удрал. Струхнули панки, не захотели больше выезжать за окопы, а полковник наш разъезжает впереди войска да, знай, покрикивает: «Гей, выходите, ляшки-панки, померяться со мной силой, или ушла уже душа ваша в пятки?» Не выдержал насмешки один пышный пан и вылетел на лихом коне к атаману; зазвенели сабли, засверкали над головами их блискавицы, да не попустил господь козаку свалить десятого врага; уже батько было и ранил ляха, уже кривуля вражья стала опускаться все ниже да ниже, как вдруг налетел нежданно сзади волох какой-то, или уж это был сам нечистый, и всадил он батьку в спину клинок, так тот и выскочил острием из его груди. Бросились мы за пекельным выплодком, посекли его на лапшу, да не заживили тем смертельной раны нашего атамана,— вздохнул глубоко козак и умолк.

Ганна тоже молчала, охваченная глубокою тоской, и не отводила от помертвевшего лица Ганджи своих грустных глаз. При виде этого знакомого, близкого, дорогого лица перед ней воскресало ее далекое детство, выплывали картины светлой субботовской жизни с ее чистыми радостями и не проходящим до сих пор горем.

Вскоре в лагерь начали возвращаться отдельные отряды.

— А что ж вы докончили, что ли, ляхов? — спрашивал их Небаба.

— Да, пане атамане, тех, которых нагнали,— порешили, — отвечали они, — а за остальными погнались товарищи, не пристало же нам перебивать им охоту?

— А мы в другую сторону бросились и никого не видали,— отозвались угрюмо другие.

— Брешете вы, иродовы дети! — крикнул на них грозно Небаба.— Приманило вас сюда лядское добро да вино, так вы и ворога набок! Только урвалась нитка: попусту торопились, вражьи сыны, киями бы погладить вам за то спины!

Разочарованные в ожиданиях хлопцы почесывали

только затылки и, затаив д саду, угрюмо расходились по лагерю.

К вечеру у окопов уже стали показываться то те, то другие полки. Почти каждый конь у козака был навьючен и дорогою одеждой, и ценным оружием, а за некоторыми тащились на поводу польские кони со связанными пленными. Во всех концах лагеря раздавались и неслись навстречу победителям восторженные крики; товарищи окружали товарищей, разбивались на группы, и не было конца расспросам и рассказам о неслыханном, небывалом поражении ляхов.

## LI

— Ну и выпал же, братцы, денек,— рассказывал в какой-либо группе столпившихся жадных слушателей козак,— такого, думаю, во веки веков никому не доведется и видеть! Вынеслись мы на пригорок, глядим — облака пыли впереди; а то ляхи сбились в табуны, как овцы, и бегут, давят, топчут друг друга, не подымают уже ни раненых, ни искалеченных, так ими и стелят за собой путь. Ну, мы гикнули и припустили коней. Как услыхали они за собою погоню, так и шарахнулись кто куда! Побросали оружие, стали соскакивать в беспамятстве с лошадей и бежать вперегонки. Смех такой поднялся у нас, что ну! Берешь просто голыми руками за шиворот и режешь, как барана.

— Эх, ловко, славно! — одобряла рассказчика толпа.

— Да они больше сами себя давили, ей-богу! — раздавалось в другой группе.

— А бей их нечистая сила! — покатывались со смеху слушатели.

— Ошалели либо дурману налопались, вот что,— продолжал рассказчик,— бросает всякий оружие и не то что борониться не хочет, а сам отдается в руки живьем. Ну, сдерешь с него, что получше, а самого прикончишь.

— Любо вам было, нахватались добычи, а тут вот запрет,— отозвались иные завистники.

У палатки Небабы вокруг костра лежало и сидело по-турецки атаманье с люльками в зубах; возле каждого стоял наполненный добрым медом келех.

Посредине сидел огненный Сыч, осушивший уже

немалую толику этого живительного напитка, и важно разглагольствовал:

— А что было, братие, на Случи, так воистину реку — фараоново потопление: мост под напором их полчищ обрушился, и они полетели все стремглав в воду. А другие прискачут к берегу и, зряще, что моста нет, бросаются с обрыва и,— ха-ха-ха! — раскатился он хриплою октавой,— вместо воды закружилось внизу какое-то красное месиво. А мы еще, настигши гемонов, принялись их крошить на капусту. Эх, возвеселись, душе моя!.. Одно только жаль: не все бросились за утикачами, много их улизнуло!

— Ничего, брат, пусть погуляют немного,— отозвался, выпуская клубы дыма, Нечай,— не уйдут от нас, найдем их и в Кракове, и в Варшаве.

— Верно, верно! — поддержали Нечая голоса из дальних рядов за костром.— Потрусим и там их карманы!

— Пропади они пропадом, чтоб я двинулся в этакую даль, в чужой край, за ними! — промолвил Небаба.

— Да мы по ихним спинам дойдем! — продолжал Нечай.— Вот и тут региментари ихние удрали первые из лагеря, оттого-то ужас и отшиб им всем разум. Поймали хлопцы мои сегодня одного дядька да и приводят ко мне. Смотрю, дядько дядьком — и руки в мозолях, потресканные, и обличье как сапог, а одет, как первый магнат: в оксамите, в золоте, в соболях, в диковинных перьях на шлеме. Ну, думаю, ободрал, верно, какого-нибудь подбитого пана, и спрашиваю: «Откуда, дядьку, раздобыл эти цяцьки?» А он мне: «Да тут, пане атамане, случилось со мной дивное диво! Выехал было я сеять жито, выпряг из воза коня и сам сел поснедать; как вдруг откуда ни возьмись передо мной пан, словно из-под земли выскочил, да пышный, весь в золоте, а конь под ним как змей, так и басует. Выхватил этот пан из-за пояса вот такой пистоль и направил его мне прямо в висок. «Давай,— кричит,— свою одежу и своего коня,— не то убью!» Я остолбенел, стою и молчу, а пан схватился с коня, сорвал с меня свитку, чеботы и шапку, переоделся, вскочил без седла на моего коня и ускакал на нем, а своего коня и свою одежу бросил. Уже после,— говорит,— догадался я, что то был сам староста чигиринский, молодой Конецпольский».

— Дытына, как прозвал его гетман,— рассмеялся Небаба,— уж именно дурна та неразумна дытына!

— Слушайте,— пророкотал Сыч, поднявши два пальца,— я еще возвещу вам нечто про Перыну, так это можно порвать кишки сугубо. Бежал он сначала в своем золоченом рыдване через пни и корчаки, да треснула ось и рыдван опрокинулся, тут князь Заславский, не взирая на свое велелепное чрево, выскочил из рыдвана, отрезал постромки двум коням и поскакал на них без седла.

Гомерический смех Нечая покрыл октаву Сыча и долго раскатывался, поддерживаемый смехом товарищей.

— Неизвестно только, куда делся третий их гетман, Латына,— заметил глубокомысленно после перерыва смеха Кныш.— Должно быть, вычитал в книжках, как спознаться с рогатыми, и те выволокли его из битвы.

Долго еще, долго за полночь тянулись у костров рассказы про славный сегодняшний день; долго еще рассказы эти прерывались остротами и восторженным смехом; долго еще раздавались в разных местах победные песни, пока ночь и усталость не пересилили всеобщего возбуждения и не притишили ликованья. Но сон свалил только немногих, а большинство ждало возвращения своего любимого гетмана; всюду горели яркие костры, и весело переливался в лагере радостный гомон.

Ганна стояла у палатки Богдана и ждала также с мучительною тревогой возвращения боготворимого ею героя, этого гиганта среди рыцарей, этого избранного богом вождя. «Не чудо ли свершилось сегодня? — думала она, глядя в темное, беспросветное небо.— Да, это суд господень, это отмщение неба за наши кровавые слезы, это милость и ласка вседержителя за защиту его святой веры. А дальше, впереди что?.. Воля, воля родного народа и жизнь не рабская, не пресмыкающаяся, а с правом на счастье, на радость!.. Господи, господи!» — вскрикнула Ганна в восторге и занемела. Она сжала у груди свои руки и долго безмолвно молилась, не замечая, как слезы тихо капля за каплей бежали с темных ресниц. О чем была ее горячая молитва, она не могла дать себе отчета, она только чувствовала, что в ее сердце расцветает такое широкое, безграничное счастье, какого не могла вместить ее трепетавшая грудь.

Вдруг она услыхала поднявшийся восторженный

крик, словно прибой бурного моря; он рос и несся гигантскою волной от дальнего конца лагеря все ближе и ближе.

— Слава, слава! Гетману, батьку нашему!—уже стоном стояло в потрясаемом кликами воздухе, и все живое в лагере вскакивало на ноги и неслось навстречу своему герою, отцу и спасителю. Одна Ганна не могла двинуться с места, а, словно оцепеневши от экстаза, стояла неподвижно на месте, смутно сознавая, что вокруг нее творится что-то великое, потрясающее.

Богдан возвратился с своими гетманскими дружинами в сопровождении сына Тимка, с которым он теперь не расставался, да ближайших к нему старшин: Богуна и Чарноты.

Когда после взаимных горячих приветствий, товарищеских объятий и пламенных коротких речей он отправился наконец к своей палатке, то Ганна все еще стояла неподвижно у входа.

Завидевши приближающегося гетмана, она двинулась к нему, протянув вперед руки.

— С победой!.. Со славой... со счастьем родного народа! — воскликнула она в порыве восторга.

— Ты, Ганна, зоря моя! — двинулся к ней быстро Богдан.— О, среди криков всего света твой голос услышало бы мое сердце! — сжал он горячо протянутые к нему руки.— Да, сегодняшний день не повторится уже никогда в жизни, другого такого счастья не будет!

— Будет, будет! — говорила восторженным, вдохновенным голосом Ганна. — Еще вся Украйна протянет к тебе свободные от оков руки и назовет избавителем своим от неволи. В этом радостном крике будет столько отрады, что побледнеют перед ним все твои прежние счастливые дни!

— О моя дорогая пророчица!.. Ты мое счастье, моя слава! — вскрикнул взволнованным голосом гетман и прижал обезумевшую от счастья Ганну к своей широкой груди.

События дня до такой степени ошеломили Богдана и так натянули его возбужденные нервы, что, несмотря на усталость, он не мог забыться и коротким сном; опьяняющие ощущения, мятущиеся мысли налетали приливами и отливами, отзываясь в его сердце бурною мелодией, и не давали покоя; разобраться со всем этим он

еще не мог, но сознавал лишь, что сегодня совершилось нечто необычайное, великое, решающее судьбу миллионов, поднимающее его на головокружительную высоту.

Ленивое осеннее солнце, закутанное серым пологом не то тумана, не то ползущих медленно туч, застало Богдана на ногах, за ковшом старого меду. Гетман отдернул полу палатки. Серое утро пахнуло ему в лицо влажным холодом и несколько освежило горевшую волнением грудь. Он вышел на воздух и оглянулся. Лагерь еще спал. В палатках, в возах, под возами и на мокрой земле лежали группами и врассыпную козаки в самых смелых, рискованных позах. Возле гетманской ставки стояли с бердышами на плечах два запорожца; вдали сквозь мглистую дымку виднелись двигающиеся силуэты вартовых. Тут же, вокруг палатки, навалены были целые груды золотой и серебряной посуды, дорогого оружия, мешков с талерами, кожаных торбинок с дукатами; дальше лежали вороха роскошной одежи, возвышались пирамиды шкатулок и ларцев с разными драгоценностями и стоял целый обоз всякого рода харчевых и боевых припасов; но кроме этих более или менее правильных куч и по всему лагерю еще валялись пышные панские уборы и драгоценная утварь: очевидно, что всякий понабрал себе, что попалось лучшее в руки, а остальным уже пренебрег. Окинул все это гетман вспыхнувшим новою радостью взглядом и громко промолвил:

— Ох, и разумные же были ляшки-панки: вырядились в поход, как на бенкет, да всё добытое нашими потом и кровью добро нам же и оставили с ласки.

— Да, спасибо им! — засмеялся один запорожец, полагая, что его именно осчастливил беседою гетман.— Уж и текали свет за очи: не доели даже и стравы, не допили вина! Так целые столы со всячиной и кинули нашему брату.

— Ну, и вы, полагаю, отдали честь им, помянули добрым словом панов? — улыбнулся гетман.

— Авжеж, ясновельможный пане! Так и обсели столы, как воронье падаль... иные даже не выдержали и рухнули наземь!

— То-то через этих ледачих мало вас и в поле было,— заметил добродушно, но внушительно гетман и пошел к Ганне, возвращавшейся из окраин лагеря в свою золотаренковскую палатку.

— Откуда ты, ранняя пташко? — окликнул он ее весело.

— Из палатки отца Ивана,— ответила Ганна, скользнув по Богдану заискрившимися счастьем очами.

— А что, как ему, несчастному?

— Хвала богу, уже пришел в себя... знахарь подает надежду... отец Василий тоже там.

— Дал бы милосердный господь, возвратил бы нам мученика,— промолвил с чувством Богдан, но в голосе его дрожало столько радости и какого-то ребяческого веселья, что он никак не мог зазвучать в тон, соответствующий печальному обстоятельству.—Ведь пан отец пошел сам добровольно на муки к врагам, чтобы их напугать своими показаниями, и кто знает, быть может, только ему и обязаны мы всем этим,— указал гетман рукою на груды добычи.

— Да, это жертва за други, — уронила тихо Ганна.

— И выше сего подвига нет! — добавил восторженно гетман.— Но нам, моя Ганночко,— взял он ее за руку,— выпало столько удачи и неимоверного счастья, что нельзя же не почтить их братской трапезой и дружеским пиром. Распорядись же, моя господыня, устрой все и для старшины, и для меньшей братии.

— Хорошо, дядьку, но прежде всего,— потупилась Ганна как-то стыдливо,— нужно бы почтить божью к нам ласку молитвой.

— О моя золотая советчица! — воскликнул Богдан и поцеловал в голову зардевшуюся дивчыну.

Часа через четыре на равнине за лагерем стояли колоссальным четырехугольником с распущенными знаменами полки и слушали торжественный с водосвятием молебен. После величественного гимна «Тебе, бога, хвалим», подхваченного при наклоненных знаменах хотя и не совсем стройным, но грандиозно могучим хором тысячи голосов, раздался залп из ста двадцати орудий,— колыхался воздух и дрожала земля, когда ахали медные груди, воздавая честь козачеству славному, и на нее откликались даже далекие горы.

Под аккомпанемент этих громов отправились чинно и стройно полки в лагерь и разместились на земле за параллельно простеленными полосами скатертей, рушников и полотен, уставленных мисками с кулишом, бор-

щом, саламахой *, полумисками с колбасами и салом и досками с наваленным на них вареным и жареным мясом; груды черного хлеба, паляниц и даже булок лежали везде между снедями, — благо, что всего этого нашелся великий запас в лагере. По всему пространству на известных расстояниях стояли бочки с открытыми верхними днищами, наполненные оковитой, и возле каждой из них находился вооруженный ковшом виночерпий. Всякий подходил к нему по очереди и, получив порционный мыхайлик, снимал шапку, говорил товарищам: «Будьте здоровы!» — и выпивал его залпом; на это приветствие сидевшие и стоявшие отвечали дружно: «Дай боже». Конечно, по прошествии некоторого времени этот стройный порядок стал нарушаться, так как и блюстители теряли способность его поддерживать, да и виночерпии не могли уже дальше попадать в бочку ковшами.

Для генеральной старшины были накрыты под гетманскою палаткой белоснежными скатертями столы; они блистали серебряною и золотою посудой, наполненной более утонченными панскими снедями, и гнулись под тяжестью жбанов и сулей, искрившихся золотистым венгерским вином и темным отливом старого меду; посреди этих изысканных панских напитков первое и главное место занимала и здесь домашняя бешеная горилка. Ганна с козаками и джурами суетилась возле столов, распоряжалась сменами скатертей, и яств, и напитков.

## LII

Когда первый голод был утолен и веселый гомон зашумел над столами, гетман торжественно встал и, поднявши кубок, обратился к своим товарищам с дружеским словом:

— Друзи мои, славные лыцари! Господь снова оказал нам свою милость, явил перед нашими очами невиданное чудо. Враг, ополченный лучшим цветом польского рыцарства, огражденный недоступным табором и окопами, усиленный великою арматой, от одного имени нашего пришел в ужас и в безумном отчаянии бросил без сопротивления богатейший свой лагерь с массою боевых припасов, провианта и всякого рода оружия и

* Саламаха — страва з вареного рідкого тіста.

бежал, бежал без оглядки, постыдно, усеяв все поле трупами. Помутился у врагов наших разум, трепетом исполнилось сердце, упала в знемоге рука. Кто ж сокрушил их гордыню? Не я, шановное товарыство и, смею думать, не вы! Все мы и всё наше славное козачество привыкли глядеть курносой со смехом в глаза, и всякий из нас с любовью положит живот свой за родной край, но кому же могло и в мысль прийти, чтоб эта беззаветная наша любовь и братством сплоченная сила могли без боя сокрушить смертоносную медь, раскрыть окопы, твердыни, повергнуть ниц непобедимых доселе врагов? Нет, человек не может творить таких чудес, а единый лишь всемогущий господь... Да, по воле его от звука труб пали иерихонские стены, по воле его расступилось Чермное море [52], и тот по воле его устрашился до умоисступления враг. С нами бог и незримые небесные воинства, и эта-то святая, всепобеждающая сила метет, как сор, и гонит наших гонителей, и это моя первая речь. Так выпьем же, панове, первый ковш за нашу святую греческую, от прадедов наших завещанную веру, чтоб она соединила всех нас любовью и братством, чтоб закалила меч наш на защиту наших стародавних прав и вольностей, а не на злобу к другим!

— За веру! За веру! Слава нашему гетману! — раздались бурные возгласы и понеслись вихрем за палатку до самых дальних рядов.

— А вторая моя речь о том,— продолжал гетман,— что нет такого на свете отважного да славного войска, как наше, козацкое,— и низовое, и рейстровое,— нет таких лыцарей, да и поспольства такого щирого да завзятого, почитай, не найдешь. Так вот, выпьем за наше славное Запорожское козацкое войско да за наше поспольство!

— Слава! — заревела уже в восторге толпа, и долго раздавались перекатами грома немолчные крики, долго взлетали тучами вверх черные да сивые шапки да алые шлыки запорожцев.

— А третья моя речь будет вот о чем! — крикнул зычным голосом гетман, чтоб утишить продолжавшийся шум, и, наливши себе ковш, пригласил жестом других сделать то же.— Теперь, славные рыцари и товарищи мои верные, все польские силы разбиты, главный оплот ее пал, и безоружная, беззащитная Польша лежит у на-

ших ног; не скоро уже осмелятся вельможные паны поднять на нас свои рати и ворваться к нам с грабежом и разбоем, не скоро... Да и отважатся ли когда? Будут сидеть они смирно по своим местам, а если что, так мы им крикнем: «Мовчы, ляше,— по Случь наше!»

— Так, правда, батьку атамане! — воскликнул в восторге Чарнота.

— Ой добре!.. «Мовчы, ляше, — по Случь наше!» — засмеялся Нечай.

— Слава гетману! По Случь наше! — вскрикнул пылкий Богун, за ним подхватили все ближайшие «слава», и бурные возгласы вспыхнули в разных концах лагеря и понеслись по ним гульливою волной, а гетманская фраза: «Мовчы, ляше,— по Случь наше!» — стала передаваться от лавы до лавы, встречая всюду шумное одобрение.

— Так, так, панове,— начал снова Богдан, когда улеглись переливы восторга,— теперь лях будет молчать и до избрания короля ничего против нас не предпримет, а будущий король — наш доброжелатель, да и то, что мы сломили магнатерию, ему на руку: он, несомненно, из выгод своих, для укрепления своей власти, возвысит нас и утвердит наши права и привилеи. Значит, благодаря ласке божьей, благодаря вашей единодушной и беспримерной отваге, равно и помощи поспольства, дело наше выиграно, и мы, воздавши хвалу милосердному покровителю нашему за освобождение наше от лядского ярма и египетской неволи, можем теперь обождать и устроиться, сознавая твердо, что у нас в руках такая боевая сила, озброенная арматой, с которой не потягаются уже польские королята. Так выпьем же, панове, за победу над врагом и за добытое право отдохнуть и нам, и поспольству от бед и напастей!..

— За освобождение, за волю! — раздались шумные возгласы, и дружно опорожнились ковши. Другие же крикнули:

— На погибель врагам! — и этот тост принялся еще оживленнее возбужденною уже толпой.

На некоторых из старшин, как Нечая, Богуна и Чарноту, последние слова Богдана произвели не совсем благоприятное впечатление, или, лучше сказать, вызвали у них крайнее недоумение; они посматривали вопросительно друг на друга, стали шептаться, а потом угрюмо

замолчали. Наконец пламенный Чарнота не выдержал и обратился к Богдану с такими словами:

— Ясновельможный батьку, не осудь, а дозволь мне расспросить и выяснить некоторые твои думки, а то мы их не совсем поняли, а не понявши, смутились... А я такой человек, что если у меня заведется на сердце какая-либо нечисть или застрянет в мозгу гвоздь, так я не люблю с этим носиться, чтоб оно мне не мутило души, а сейчас тороплюсь его выкинуть.

— Добре говорит,— заметил Нечай.

— Шляхетская голова при козацком сердце,— вставил Богун.

— Говори, говори, друже мой,— отозвался с улыбкой Богдан, но по его лицу заметно пробежала какая-то тревожная тень.— Чего спрашивать еще? Всякая товарищеская думка мне дорога... один ум хорош, а два лучше, а громада — великий человек.

— Эх, пышно и ясновельможный отрезал! — промолвил тихо, но внятно Выговский, и одобрительный шепот всего стола поддержал его мнение.

— Все, что ты говорил, ясный и любый наш гетмане, правда святая,— возвысил голос Чарнота,— и каждое твое слово падало яркой радостью нам на сердце. Только вот уверенность твоя в короле, кажись, преждевременна. Раз, он еще не выбран и поддержать выбор мы можем не иначе, как поставивши перед Варшавой тысяч пятьдесят войска да направивши на нее с полторы сотни гармат, другое — на обещание его полагаться нельзя: и сам он не очень-то ценит свое слово, данное ненавистным схизматам, да и сейм ему приборкает крылья... Так, по-моему, ясновельможный гетмане, отдыхать нам еще рано, а нужно, напротив, воспользовавшись паникой и безоружием врага, не теряя времени, идти всеми нашими грозными силами к стенам Варшавы и потребовать вооруженною рукой как желанного короля, так и исконных своих прав!

— Любо, любо! — закричала на эти слова Чарноты значительная часть старшины.— Веди нас, гетмане, в Варшаву!

— В Варшаву! Головы положим! — поддержали ближайшие ряды, стоявшие вокруг палатки, полы которой были приподняты.

— В Варшаву! Смерть ляхам! На погибель! — под-

хватили другие, и дикие возгласы закружились каким-то безобразным гулом над лагерем.

Смущенный Богдан молчал; он и прежде предполагал, что многие из его сподвижников жаждут одной лишь мести, что разнузданная чернь, опьяненная буйством, не скоро угомонится, но он не предполагал, чтоб не было противовеса этому стихийному стремлению, он надеялся, что мирные инстинкты возьмут перевес, что жажда покоя, семейного благополучия, усвоения плодов богатой добычи потянут большинство к своим очагам; но этот дикий, единодушный крик: «Смерть ляхам!» — поднял в нем крайне неприятное и зловещее чувство.

— А я еще додам к разумному слову Чарноты вот что,— заговорил намеренно громко Нечай, когда несколько поулеглись буйные крики толпы,— по-моему, так нечего даже и понуждать этих чертовых магнатов подтверждать наши права: подтвердила уже их наша сабля — это раз, а потом, нагнуть пана-ляха к миру и согласию с нами, с поспольством,— это напрасный труд: никогда он не признает в своем рабочем волé вольного человека и всегда будет его презирать и загонять в плуг, да и пока Рось зовется Росью, пока не потечет назад наш батько Днепро, до тех пор и сердце козачье не сольется с лядским [53].

— Правда, правда, батьку, так вот и чешется рука!— не выдержал завзятый Богун.

Радостный, сочувственный гул пронесся над столами и зажег восторгом глаза слушателей, занемевших, чтоб не проронить ни одного слова любимого козака-славуты.

— Так вот это два,— продолжал Нечай,— а вот еще что главное: залили паны нам столько сала за шкуру, что вытерпленных нами мук хватит и внукам, и правнукам нашим, так для чего мы будем миловать этих ляхов? Разгромили мы их, разоружили аспидов — и локши теперь всех до единого, чтоб и на расплод не осталось, потому что если останется хоть трохи этого клятого зелья, так опять из него вырастет репейник на наши шкуры.

— Бить их! Кончать ляхов! — прервал снова речь Нечая охваченный боевым экстазом Богун.

— Кончай, батько, ляхов! Кончай ляхов! — подхватили этот крик бурею нетрезвые голоса, и он прокатился по лагерю каким-то чудовищным, хищным ревом и

налил кровью глаза понадвинувшейся к гетманским столам возбужденной винными парами толпе.

Богдан нахмурил свои черные брови, обвел огненным взглядом собрание и, поднявши вверх левую руку, застучал тяжелою золотою стопой по столу. Взволнованный вид и повелительный жест гетмана сразу успокоили разгоряченных собеседников и заставили смолкнуть и почтительно отодвинуться галдевшую бесшабашно толпу.

— Шановное товарыство и ты, друже Чарнота, и ты, брате Нечай, и ты, сынку Богун! Много в ваших словах удали и завзятья, много в них справедливого недоверия к нашим ненавистникам-врагам, много и заслуженной ими мести, и эти чувства всегда найдут отклик в наболевших сердцах,— указал он на толпу рукою,— но вот только чего в ваших речах,— простите на слове,— нет: спокойного разума, не подкупленного страстью, а в делах первостепенной важности нужно брать в советники именно холодный ум, а не пылкое сердце. Припомните, братья, что дало нам право обнажить меч? Блаженной памяти наш благодетель король даровал нам права и привилеи, а польское, поработившее нас панство не только не захотело признать этих прав, а пошло на нас оружною рукой, чтобы уничтожить матерь нашу Сечь и стереть с лица земли наше имя; ну, мы и повстали на ослушников королевской воли, значит, не мы были бунтари, а магнаты. Господь помог нам разбить магнатские, то есть бунтарские, войска не раз и не два, а вчера разгромили мы их последние силы... и до сих пор правда за нами; что народ изгнал из нашего русского края пришельцев, гонителей нашей веры,— и это по правде, потому что каждый волен выгнать из своей хаты грабителя. Но если я в чужую хату пойду, то это будет уже гвалт и разбой, а на разбойников и бог, и люди, и наша власная совесть! Вы желаете идти на Варшаву в то время, когда и короля еще не выбрала Речь Посполитая, значит, вы предлагаете формальный бунт против государства, чего не потерпят и соседи,— ни Швеция, ни Турция, ни Немеция, ни Московия этого не допустят! Вы желаете истребить всех ляхов до единого, но вы забываете, что ляхов и литвинов больше, чем нас, и что отчаяние может придать им грозную силу, да, кроме того, все они, за исключением панов, такие же несчаст-

ные, подневольные хлеборобы, как и наше посполъство. Так вы на бедняков желаете поднять еще нож?

— Не на них, а на панов,— отозвались некоторые голоса робко.

— Господь, — поднял голос Богдан, — покровительствующий нам в нашей правде, отвратит око свое, когда мы, защищающие теперь его храмы и свои дома, обратимся в ненасытных истребителей народов и понесем, кривды ради, разорение в чужие края. Вы говорите, что мы завоевали себе права саблею. Да, завоевали; но нужно суметь удержать это завоевание, а для сего нужно воспользоваться разгромом врагов и укрепить свои границы, сплотить свои силы, организовать защиту страны; а какой же я был бы полководец, если бы, не устроивши своей хаты; не обеспечивши четырех углов ее, двинулся со всеми силами в чужую страну? Да такого вождя след бы было и киями погреть, не то что! В таких справах один фальшивый, необдуманный шаг — и все содеянное, добытое может в один миг рухнуть... И что бы тогда сталось с оставленною нами родною нашею страной? На нее, беззащитную, могли бы налететь и оставленные в тылу, во Львове и в Замостье, наши враги, а к ним могли бы пристать и союзники наши татары, потому что татарину в нашей силе корысти мало, а в нашем бессилье — лафа! Ну, и вышло бы: «Пишов дурный з хаты чужу добуваты, а як вернувся, то и своеи позбувся!» — закончил гетман.

По надвинувшимся рядам пробежал легкий сочувственный смех, некоторые одобрительно закивали головами, другие покачали ими сомнительно; но все были подавлены вескими словами ясновельможного, и хотя эти слова не гармонировали с общим настроением духа, но так как против них трудно было что-либо возразить, то потому все и замолчали угрюмо.

— Не возражать ясновельможному,— прервал наконец неловкое молчание подобострастным голосом войсковой генеральный писарь Выговский,— а удивляться нам нужно прозорливому уму егомосци. Именно мы только и грозны недругам, пока стоим дружно в укрепленной своей стране, пока защищаем целость своего государства, пока поддерживаем потоптанный панами закон. Но я еще спрошу у шановного и преславного лыцарства: какая была бы нам польза, если б даже удалось нам

растоптать под нашими ногами вскормившую и вспоившую нас Речь Посполитую? Ведь мы бы только разрушили свой оплот и открыли бы со всех сторон доступ нашим жадным соседям: с севера на нас двинулись бы шведы, с юга нахлынула бы орда, с запада подступила бы немота, а с востока придавила бы Москва.

При слове «Москва» гетман глубоко вздохнул и провел рукой по омраченному налетевшею горькою думой лбу.

— Именно, именно,— подхватил Тетеря.— Нам без Польши беда: попали бы из огня да в полымя!

— Да и кроме того,— добавил Сулима,— всякому из нас нужно бы побывать дома, распорядиться своим добром, повидаться с семьею; погуляли сильно, потешились — и то уж довольно, пора и честь знать.

— Ох, пора бы, пора бы! — вздохнули сочувственно несколько козацких старшин.

Но остальные, стоявшие за поход, хотя и срезаны были словами гетмана и не нашлись, что ему отвечать, теперь уже на речи товарищей смолчать не могли; многие из них уже давно протестовали против высказанных мнений и наконец разразились бурными возражениями.

— Ловко ты, пане Иване, заметаешь след,— обратился к Выговскому с нескрываемым злобным чувством Нечай,— ну, а все ж видно, что если пойти по этому следу, так снова очутишься в яме. Говоришь, что без Польши нам смерть, а с ней — то житье? Мало она нас дурила, мало еще напилась нашей крови, так вновь подставлять шею? Ну, и теперь посулит нам какую-нибудь цацку для забавы, а потом оправится, эту цацку от неразумной дытыны отнимет да еще за крик три шкуры с нее сдерет... Верно?

— Истинная правда,—подхватил Чарнота,—от Польши добра нам не ждать: она не только нам, но и себе выроет яму... так, по-моему, лучше совсем окарнать королят, чем ждать, пока у них снова отрастут на нас когти!

— Какие нам с Польшей торги? — отозвался Небаба.— Пусть Польша будет сама по себе, а мы сами по себе, потому что иначе не будет ладу довеку.

— Ох, хорошо бы это было,— заметила тихо Ганна,— да не допустят, а самим нам со всеми не справиться.

— Не справиться? — вспыхнул Богун, услыхавший

эту фразу.— Да пусть на нас целый свет встанет, так мы не шарахнемся. Еще как любо да весело будет с такою оравой биться! Разве мы, братья лю́бые,— обратился он к надвинувшимся полукругом рядам,— спрашиваем когда-либо, как велики силы врага? Мы только спрашиваем: где он? Не так ли?

— Так, так, орле наш сизый! — поддержали атамана своего козаки его полка.

— Так и пугать нас соседями нечего,— продолжал Богун горячо,— справимся! А коли бы и перемогла нас их сила, так в гурте ж весело и умереть!

— Эх, душа-козак, палывода, сокол! — побежали восторженные возгласы по рядам.

— Да и то еще возьми в расчет, друже,— обратился к нему Чарнота,— что если на нас с четырех сторон насядут соседи, так они перечубятся между собой.

— Правда,— подхватил Богун,— а мы тогда пристанем к кому-либо да и начнем локшить остальных... Эх, наварим червоного пива, забьется радостью сердце, займется отвагой душа, и начнется пированье хмельное!

## LIII

— Овва,— заметил с саркастическою улыбкой Тетеря,— пированье хорошо лишь тогда, когда после него есть отдых, а без отдыху и пир не в пир!

— Да и не для потехи ж мы лили свою кровь,— поддержал Тетерю Сулима,— а для своего блага и покоя... Так коли его мы завоевали, то пора и попользоваться им, отдохнуть, а не лезть снова черту в зубы ради забавы.

— Эге, панские по́трибы подняли голос! — засмеялся злостно Нечай.— Старшине-то, да еще пошившейся в польское шляхетство, конечно, о своем животе лишь забота,— набрала она вволю добычи, ее и тянет к своим маетностям, и она может туда отправиться спокойно, бо кому-кому, а ей уже наверное дадут хоть сякие-такие привилеи, а вот о бедном поспольстве, что больше всех нас терпело и лило свою кровь, об этих бездольцах никто и не думает... А уж что-что, а панство вовек не откажется от наших плодородных земель и от дарового быдла... Последние животы положит, а от такого добра не откажется и никакой король,— да хоть бы и меня

им выбрали,— и на то панов не принудит. Значит, посполъству одно лишь приходится: либо перебить всех панов, либо живым лечь в могилу! — произнес сильно Нечай, так что его слова вонзились жалами в десятки тысяч сердец и вызвали снова тревожный шепот толпы; среди возраставшего гомона стали прорываться снова грозные крики: «В Варшаву! Чего ждать? Доконать ворога — и шабаш!»

— Я уж и не знаю, чего пану Нечаю хочется,— заметил едко Сулима,— или все посполъство возвеличить в панов, или всех нас повернуть на посполъство?

— Эк, провадит басни да сказки, каких и на свете не бывает! — засмеялся хорунжий из русских волынских панов.

— Под зиму хочет вести на снежный корм коней,— хихикнул Небаба.

— Эй, не смейтесь, панове,— вскипел неукротимый в гневе Нечай,— чтобы не пришлось вам засмеяться на кутни!

— Ого! Что ж это, славное товарыство, угроза?

— Известно, им хочется только разбоя да буйства!

— Да, панов не потерпим и с своими расправимся!

— Что вы, ошалели?

— Ошалели, пока не вырвем всем-всем воли! — посыпались между старшиной перекрестные фразы, а народ уже зашумел морем:

— Кончайте ляхов! Смерть панам!

Богдан слушал молча эти споры, аккомпанируемые глухим рокотом разыгравшихся народных страстей, слушал с смущенным сердцем и понимал, что боевой задор и жажда крови так обуяли опьяненную успехом толпу, что с ней трудно будет бороться, тем более, что многие из старшин, невоздержные в лютости, будут еще ее поджигать... Чем больше разгорался между старшиною спор, чем резче и жестче вырывались то у одной, то у другой стороны слова, чем грознее галдела толпа, тем ниже клонилась голова гетмана...

И неизвестно, чем бы кончилась эта бурная сцена, если бы ее не прервали радостные, громкие крики:

— Кривонос, Кривонос вернулся!

Вслед за криками послышался в лагере шумный топот коней и поглотил все внимание разгоряченных спором голов.

— Ну что, Максиме,— крикнул радостно гетман навстречу приближавшемуся Кривоносу,— заструнчил Ярему? Веди-ка его сюда... Будет он у нас почетнейшим гостем.

Но Кривонос шел туча тучей, не глядя на товарищей; на почерневшем, осунувшемся лице его лежала печать снедающей муки. Богдан взглянул на него, и ему стало страшно за своего искалеченного друга.

— Нема Яремы, ясновельможный гетмане,— проговорил наконец каким-то клокочущим голосом Кривонос, разводя тоскливо руками.

— Что ж, убили его невзначай? Не давался в руки живьем? — взглянул Богдан на стоявших за Кривоносом Кречовского и Золотаренка, но те потупились и молчали.

— Не убит этот аспид,— простонал мучительно Кривонос,— жив мой ворог лютый, живехонек! Это я, старый дурень, трухлявый, никчемный пень, это я третий раз проворонил его! О, будь же я проклят навеки! — дернул он себя за чуприну и отбросил целую прядь серебристых волос.— Чтоб наплевало на меня честное товарыство, чтоб потоптал мою голову татарин... Нет, не годен я больше носить эту саблю, на, возьми ее, гетман, а мою душу пусть возьмут ведьмы и понесут ее на потеху чертям!

— Что ты, что ты, Максиме? — отклонил протянутую к нему саблю Богдан.— Носи ее, как и носил, честно да славно... И какую это ты чушь понес, словно белены объелся! За что проклинаешь себя? Все мы тебя знаем за велетня, а Кречовского и Золотаренка за лыцарей славных; никто не усомнится в вашей доблести и отваге. Что ж делать, коли наскочили на большую силу, коли не дался и отбился всему свету известный вояка? Тут еще нет позора.

— Да нет, батьку мой славный, не то, не то,— всхлипнул как-то визгливо Максим,— погнали мы этого волка с волчатами, так бессмертные гусары его и биться с нами не стали, а пустились все наутек... Только чертова батька уйти им было от нас: как пустили мы своих коней,— заговорил он оживленнее и бодрее,— так и сели им на спину. Иван ударил на правое их крыло, Степан— на левое, а я на голову. Видят эти удальцы, закованные сталью и обвешанные зброей, что смерть за плечами, и с отчаяния давай махать копьями. Так куда было им

сдержать наш бешеный натиск! Смяли мы их, погнали, как отару овец, кроша на капусту; не помогла пышным воинам и дамасская сталь,— разлетались их доспехи под нашими саблями, гнулись шлемы под келепами, и окровавленные паны падали кругом, как снопы... Разметали мы их хоругви, прорезались насквозь, а Яремы не догнали — удрал! — закончил Кривонос глухим голосом.

— Удрал? Ярема удрал? — вскрикнул восторженно Богдан, двинувшись к Кривоносу.— И ты еще, брате, печалишься? Убить этого любимца Марса всякому было можно, накинуть даже арканом, потому что он несся всегда на челе и первый бросался в огонь; но принудить его повернуть тыл, устрашить бесстрашного до позорного бегства, заставить Ярему удирать, положивши ноги на плечи,— да это такой подвиг, от которого можно одуреть от радости... Да ты, друже, принес нам этой вестью столько славы, что и пилявецкий разгром побледнел перед нею! Шутка ли, братцы,— и Ярема от козаков удирает, так какой же черт нам теперь страшен? Дай обнять тебя за это от всего товарыства! — И гетман заключил в свои объятия ободренного, растроганного до слез Кривоноса.

А кругом волновалось морем козачество и кричало неистово: «Слава, слава, слава!»

К вечеру того же дня Ганджи не стало. Эта весть быстро разнеслась по лагерю, смутила пирующую старшину и притишила буйное веселье опьяненной разгулом толпы. Все любили Ганджу, всем было жаль удалого, отчаянного рубаку, а особливо Богдану; он терял в нем и смелого, отважного полководца, и верного товарища, и беззаветно преданного друга... С веселого, ликующего пира отправился гетман в сопровождении старшины на похороны товарища, отдавшего за веру и родину свою жизнь.

Среди поля, окаймленного задумчивыми лугами, вырыли глубокую яму и понесли к ней Ганджу на китайке. Весь его полк и части других войск провожали с опущенными знаменами почившего лыцаря. Вокруг широкой могилы стали за гетманом Ганна и вся старшина.

Священник, прочитавши над усопшим короткую отпускную молитву, пропел «Со святыми упокой»; все

подтянули дрогнувшими, растроганными голосами «вечную память» и начали отдавать товарищу последнее прощальное целование.

— Эх, друже мий любый, друже коханый,— произнес с грустью Богдан, всматриваясь еще раз в холодное, безучастное лицо мертвеца,— зачем не дожил ты до дня нашей славы, зачем не захотел разделить с нами радостей? За что покинул так рано своих верных друзей?..

Дальше он не мог говорить и, отвернувшись, отошел в сторону.

Теплый осенний ветер шевелил чуприну Ганджи. Лицо его было строго, сурово и спокойно; Ганна плакала. Полковники неподвижно стояли, наклонив низко головы.

На длинных белых рушниках спустили Ганджу в его тесную хату, накрыли червоною китайкой и положили рядом с ним его саблю и полковничий пернач. Священник, благословив могилу, бросил в нее лопаткой с четырех сторон по комку земли, за ним бросили по горсти гетман и старшины, а за старшиной потянулось полковое товарыство. Рявкнули громко гарматы, затрещали дружно мушкеты: козаки воздавали последнюю честь своему дорогому атаману и тихо посыпали его честную голову сырою землей. Насыпали козаки над Ганджою широкую да высокую могилу, целый курган, и неспешною поступью возвратились в свой лагерь.

Однако, ошеломляющие впечатления дня были так сильны, хмельной угар так сладко волновал кровь, что мрачное, не соответствующее настроению духа впечатление не могло долго держаться и заменилось снова игривым, ликующим; только козаки ганджовского полка, собравшись вместе, пили за упокой своего батька, вспоминали его славные дела, а слепые бандуристы слагали уже в память его думы.

Подавленный скорбною тоской и сосавшим сердце предчувствием, что в этой ликующей радости кроется и зерно разлада, Богдан возвращался назад замедленным шагом, склонив задумчиво голову. За ним шла грустная, растерянная Ганна, полная только что пережитых впечатлений, и не сводила пытливого взгляда с Богдана; ей казалось, что он уж чрезмерно убит: в боевое время смерть такое частое и обыденное явление, что не может поражать свыкшихся с нею людей, и к Богдану, вероятно, подкралось еще другое горе или, быть может, заныла

вновь старая рана? При этой мысли какая-то холодная змейка шевельнулась в ее груди и ужалила сердце. Ганна вспыхнула от чувства стыда, а потом побледнела и почувствовала в ногах ровно слабость. Разные мысли закружились в ее голове, сердце забило тревогу.

— Дядько любый,— решилась наконец она заговорить с гетманом,— не след так крушить себя горем.

Богдан взглянул на Ганну ласковыми глазами и улыбнулся печально.

— Жаль, конечно, Ганджу,— продолжала она, ободренная этою улыбкой,— славный он был, верный козак, да ему и там, в оселе господней, уготовано место, только и нас на земле не посиротил вконец милосердный, много еще оставил нам лыцарей и щирых друзей, да и, кроме того, послал всем такую великую радость, что журиться при ней не гаразд, словно бы не чтить ласки божьей...

— Ах ты, моя порадонько тихая! — промолвил задушевно и вместе снисходительно, как детке, Богдан.— Утешаешь все дядька... Мне, голубко, и помимо Ганджи тяжело что-то.

— Неможется, может? Не дай господь! — всполошилась Ганна.— Не сглазил ли с зависти кто? Я позову знахарку.

— Нет, не нужно... Телом-то я здоров, а так на душе затуманилось...

— Что же бы такое?.. Стосковался, может быть, за детьми своими? Или...— замолчала как-то неловко Ганна, смутившись от неуместности такого допроса.

— Не за детьми,— я знаю, они в хорошей охране, да и вести от них приходят,— ответил спокойно Богдан,— а кто его знает, за чем, и сам еще не разберу, а только вот словно начинает точить... Вот ты сказала — великая радость. Да, верно, нежданная и безмерная, да только за такой радостью наступают всегда испытания,— чем больше счастье подымает нас вверх, тем больше кружится голова.

— Слабая, а не орлиная...

— Эх, Ганно,— вздохнул гетман,— тебя слепит твое сердце... А радость, что хмель, опьяняет голову, а в хмелю и один человек может наделать бед, а уж если захмелеет толпа, то...

— Твой разум и твоя воля отрезвят ее,— прервала горячо Ганна.

Богдан улыбнулся как-то загадочно и сомнительно покачал головою. Они шли все время по окраине лагеря, между окопами и линиями возов, а теперь повернули внутрь и наткнулись на огромную пировавшую толпу. Завидя своего ясновельможного гетмана, все повскочили с мест,— кто с земли, кто с воза,— и неистово закричали, подбрасывая вверх шапки:

— Слава нашему гетману, слава батьку! Век долгий!

Другие стали сбегаться и усиливать крики, которые слились в страшный гвалт, перешедший под конец в единодушный рев:

— Веди нас, батьку, в Варшаву! Кончай ляхов! Все за тебя головы положим!

Гетман молча кланялся встречным толпам и торопливо пробирался к своей палатке.

Когда они миновали скопища подгулявшего войска, то Ганна не удержалась и заметила Богдану:

— Разве не видишь, богом данный нам гетман, как всё тобой только и дышит?

— Не мной, а своею буйною волей,— оборвал он и, желая прекратить разговор, добавил: — Скажи, голубко, брату, чтобы сейчас зашел ко мне.

Ганна поспешила исполнить его волю, а Богдан повернул к своей ставке. У входа встретил его Выговский.

— Пришел снова, ясновельможный гетмане, от воеводы брацлавского лыст,— доложил он почтительно.

— От Киселя? Что ж эта лисица нам пишет?—улыбнулся Богдан.— Уверяет, может быть, снова, что все магнаты благодушно относятся к нам, смирно сидят и ждут лишь, чтоб мы распустили войска, чтобы дать нам великолепнейший мир?

— Нет, он пишет теперь, кажется, искренно,— ответил вкрадчивым голосом писарь,— он, напротив, предупреждает нас, что Польша собирает грозные силы и что мы напрасно упорствуем и желаем ставить на риск все то, что дала уже нам слепая фортуна, что силы у Речи Посполитой еще велики, что союзник наш ненадежен — он-де из-за добычи пошел, и его можно, значит, добычею и деньгами купить...

— Ха-ха-ха! — засмеялся злобно Богдан. — Поздно его милость вздумал предупреждать! Эти грозные силы от одного нашего духу растаяли; теперь мне не нужен даже и этот продажный союзник: своими власными

силами я пройду бурей по всей Польше, сломаю напастников наших гордыню и продиктую сейму в Варшаве наш мир!

Выговский взглянул изумленно на гетмана: такого необузданного стремления еще он от него не слыхал, разве навеяли его эти ошалевшие от вина и крови головы?.. Так не таков же гетман, чтобы поддаться галденью толпы... или, быть может, раздражило его гнев какое-либо особое щекотливое известие, или он еще...— бросил снова быстрый взгляд на Богдана Выговский; но в глазах гетмана не было и следа хмеля, а только быстро меняющееся выражение лица обнаруживало какую-то душевную бурю.

— Брацлавский воевода, между прочим, пишет,— продолжал слащаво Выговский, выждав, пока вспышка поулеглась у Богдана,— что дело, затеянное твоей милостью, если бы даже Янус не отвратил от тебя своего двойственного лика, дело страшное и губительное для всех, что раздутое свирепое пламя народных страстей не созидает разумной свободы и блага, а разрушает лишь добытое веками добро, оно-де обратит нашу родную богатую страну в руину, в пустыню, где станет царить дикое буйство да зло, и в конце концов пожрет оно и воспламенителей; что это предсказание сбывается уже на наших глазах, что распущенные по Волыни ватаги режут и палят не только польских панов, но и свою, русскую, грецкой веры, шляхту, разрушают оплот своей же народности, что вот, несмотря на гетманское охранное слово, сожгли его Гущу, разгромили и ограбили замок, что, в конце концов, последствиями этого всего будет наша смерть и еще горшая, хотя и под другим ярмом, неволя.

Сначала Богдан слушал своего писаря с надменным, насмешливым видом, но потом лицо его сделалось мрачней и серьезней; мысли бесспорно умного Киселя совпадали отчасти с его мыслями, только они были высказаны ярко и произвели впечатление, а известие о разорении Гущи даже взорвало гетмана, но он сдержал перед писарем свой гнев, а только прервал его доклад раздраженным голосом:

— Дай мне это письмо! Я сам его лучше прочту!

В это время подошли к нему два есаула, а за ними Золотаренко.

— Вы, панове, за распоряжениями? — обратился к ним Богдан.— Так ничего нового,— отдыхать пока... Или нет, вот что: с завтрашнего дня прекратить бражничанье, чтобы хмельного ни у кого не было и капли во рту; по-походному, всем быть при своих частях, строго, в порядке, завтра разделим добычу, а там ждать моих приказаний. Вот и все! — отпустил он есаулов и протянул подошедшему Золотаренку руку.— Вот зачем я тебя потревожил, Иване: у тебя полк небольшой, возьми ты под свое крыло и отряд покойного Ганджи,— некому поручить. Морозенка и след простыл, уж не погиб ли, несчастный, а Лысенко чересчур дик и свиреп, еще хуже Максима.

— За честь, батьку,— поклонился низко Золотаренко,— спасибо за доверие, а трудов я считать не буду.

— Спасибо тебе, голубе,— обнял его Богдан,— а то, знаешь, лютости этой развелось у нас столько, что она скоро станет сама себя лопать, так на благоразумных у меня только и надежда, от них зависит счастье Украйны. Ну, добранич вам, друзи,— и вы, и я за сегодняшний день устали,— и он отправился в свою палатку и приказал джуре не впускать к нему никого.

## LIV

Оставшись один, Богдан сел к столу, придвинул к себе серебряный канделябр с восковыми свечами и углубился в письмо Киселя; оно было, по обыкновению, длинно, витиевато, но в нем звучал сильный, убедительный тон и каждое положение подкреплялось примерами и из истории, и из библии, и из современных событий; в конце письма ставился Киселем такой вопрос: «Куда же ты, гетмане, стремишься, чего в необузданности желаешь?»

Богдан задумался глубоко и мучительно. До сегодняшнего дня ему не представлялся этот вопрос во всей наготе своей: сначала, раздувая в ограбленном панами народе чувство мести, он действовал отчасти как сочувствующий родному люду козак, а отчасти как потерпевший и сам от этих панов; потом он стал во главе готового уже вспыхнуть восстания под благословением короля, а стало быть, поднял меч за королевскую власть, за усиление государственного начала, от которого и

ждал для козачества разных милостей. Кроме того, против панов поджигала его и полученная на сейме обида, доказавшая все ничтожество прав козачьих перед презрительным ненавистничеством магнатов; далее, после первой удачи, он разослал по всем краинам универсалы, приглашающие все поспольство к истреблению ляхов; он совершенно верно рассчитывал воспользоваться этою силою народной для укомплектования войска и ослабления панства, а то и для отместки ему за себя и за всех; но потом события пошли с такою головокружительною быстротой, что ему уже не было времени осмотреться: обаяние гетманской власти, поражение за поражением врага, буря всеобщего восстания, истребление и бегство панов, смерть покровителя-короля, смерть святого советчика-владыки, неизбежность взять ответственность за дальнейшее лишь на себя и, наконец, вчерашний разгром последних собранных поляками сил... Да, в этом страшном циклоне, в этом стихийном перевороте он закружился и сам и несется куда-то неудержимо, потерявши из виду прежнюю скромную цель и не предугадывая еще будущей.

«Что ж теперь делать, к чему стремиться, чего желать?» — громко спрашивал себя Богдан и снова погружался в мучительные думы, которые обступали его все более и более тревожною толпой. Он вставал порывисто и начинал быстро ходить по своей палатке, словно желая отогнать эту назойливую толпу.

«Да, Кисель прав! — думал он, останавливаясь перед выходным пологом, через который доносился еще шум гоготавшей толпы.— Сегодняшние крики старшины и сочувственный рев козачества да поспольства доказали это вполне: «Веди нас на истребление, разорение и грабеж!» Да, им люб только широкий разгул да бесшабашное своеволье. Так же точно, как и магнатам,— усмехнулся горько Богдан.— Но где же правда? Где искать блага? Что может создать цветущий сад, а не мертвую, ужасающую пустыню? Нужно, нужно решить этот вопрос, и как можно скорее; время не терпит... Хотя бы порадник... Эх, умер владыка, его бы разум осветил мне дорогу!»

И снова садился Богдан к столу и склонял на руки свою отягченную думами голову. Он чувствовал, что для всей его родины настала решительная минута, на весах

лежала теперь судьба всего края и поворот стрелки зависел от него, и это сознание стояло ужасом перед ним... Но от него ли зависит поворот этой стрелки? — улыбался язвительно гетман.— Все равно,— отвечал ему внутренний голос, — если ты, поднявший эту бурю, не сумеешь ее направить на благо, то ответственность и перед богом, и перед людьми упадет на тебя!

Изнуренный, изнеможенный терзавшими его душу сомнениями, Богдан выпил ковш оковитой, и снова грядущее ему улыбнулось. «Все кричат,— думал он,— чтобы я не терял момента, а шел победоносно к Варшаве, поставил бы своего короля и у обессиленного вконец сейма потребовал народу права... Да, Польша теперь разбита, сам Ярема бежал... путь к Варшаве свободен... С минуты на минуту придет ко мне еще хан...[54] Что же сможет теперь поставить несчастная Польша против таких сил? Ничего. Только трупом вся ляжет. Ну, так выходит,— поднялся гетман с загоревшимися глазами,— смело вперед! Пусть совершится то, что указано богом!.. Но что же должно совершиться и что указано богом? Ведь несомненно, что мои полчища вместе с татарскою ордой испепелят Польшу. Ну, что тогда?» — вонзался в его мозг неотвязный вопрос и смирял сразу вспыхивавший задор, опутывая его волю неразрешимыми противоречиями и сомнениями.

Припоминал Богдан снова слова превелебного владыки: «Когда вырастают дети, то они покидают вотчима и закладывают свой дом». Но выросли ли для этого дети? Не попадут ли они без вотчима прямо в капкан, а не в новую хату, о которой никто и не думает? Нет, нам без вотчима, без опекуна жить невозможно,— расскубут нас, как горох при дороге; роскошным ковром раскинул господь нашу Украйну, да не оградил от соседей высокими горами, глубокими морями, и раз Польша рухнет, мы останемся прямо на раздорожье. И что тогда? К кому придется тогда приклонить нам свою голову? К шведам и немцам? Но они совсем нам чужие: отберут земли, заселят немотой, как польское поморье, а старым хозяевам дадут чернецкого хлеба * К татарам? Но татарам мы нужны только для грабежа и ясыря. К блистательной Порте? Пожалуй, скорее: она за морем и к

* Приблизительно: дадут в загривок. (*Прим. в першодруку*).

нам не нахлынет, а через козаков ей выгодно держать в страхе соседей и накладывать на них руку... Но как она отнесется к вере?.. Теперь-то обещает всякие льготы, а потом? Ведь Турция — не Польша, и с ней бороться будет трудней... Одна остается Москва, да, Москва... родная нам и по крови, и по вере... Кому ж ей подать руку помощи, как не нам, братьям?.. И сколько раз я к ней обращался!.. Ох, Москва, Москва! — вздохнул тяжело гетман и опустил голову на стол; сердце его болезненно сжалось, заныло тоской... Холодное отношение Москвы к его предложению запало в душу гетмана глубокою и кровавою обидой; прежде всего он надеялся получить помощь от своих братьев, а братья молчат, переписываются с ляхами, и кто знает, может быть, вместе с ними станут усмирять взбунтовавшихся рабов?..

— Да неужели родной русский народ отвернется и нам, поднявшим меч за веру, придется искать прибежища у невер? И если все это погубит отчизну? — произнес он медленно, всматриваясь через полог в беспросветную даль.— Нет, стой, Богдане! Держи крепко руль, порученный тебе богом, иначе разобьется корабль... Не поддавайся крику опьяненной кровью и неразумной толпы! Не для того легли в сырую землю твои товарищи и братья, чтобы их кровь упала на детей новою безысходною бедой! Ты не имеешь права ставить на риск судьбу народа. Еще до сих пор закон не нарушен, еще у нас есть под ногами грунт. Но один шаг вперед — и Рубикон перейден, и поворота не будет назад, и даже берег исчезнет... Ох, страшно, страшно! — прошептал в ужасе гетман и вздрогнул с головы до ног.

Он долго стоял неподвижно, без думы, с притупленным чувством, и вдруг ему представилось живо, что перед ним вырыта глубокая могила и в ней лежит с застывшим на мертвом лице вопросом Ганджа. Богдан отвернулся, протер глаза и поправил нагоревшие свечи. Встрепенулась снова его мысль и принялась за свою бесплодную работу.

«Да, когда бы знать, что предназначено там, в этих таинственных книгах судьбы? Когда бы заглянуть в ту темную бездну? Когда бы знать те силы, которые низводят великих и венчают малых? Гадалки все пророчат мне славу... толкают вперед... Но как знать, может, это нечистый прельщает меня на погибель? Ох, тяжко, тяж-

ко,— произнес он с мучительным стоном, сжимая голову руками,— нет сил приподнять эту завесу, а перед глазами только темная ночь!»

В бессилии припал головою гетман к столу, желая отдаться забытью, без чувства, без воли, без думы. Нагоревшие свечи мутно мерцали, холодная сырость колебала их красноватое пламя; по палатке двигались за знаменем и за бунчуками странные, причудливые тени, сумрак сгущался во всех складках ее и углах, а ночь угрюмо плыла и погружала в гробовую тишину лагерь.

«Эх, если бы король прислал поскорее подписанными все наши вольности,— сразу бы развязал он мне руки, и я бы заставил смолкнуть разгулявшееся буйство!.. Но король медлит... А что, если совсем не ответит, если отринет нашу законную, выстраданную просьбу, что тогда? — простонал безутешно Богдан.— Где же найти исход в нашей скруте? Когда будет конец этой буре? Когда и где найдет наш корабль свою пристань?» И снова разъедающий душу яд сомнения зашевелился в ней чем-то темным, ползущим, охватывающим сердце своими цепкими, холодными щупальцами.

Богдан отдернул полог, чтобы облегчить грудь свою струею свежего воздуха. Стояла еще темная, сырая, холодная ночь; над безмолвным лагерем тянулись белесоватые пряди тумана; на черном небе в одном лишь распахнувшемся от туч месте мерцали далекие звезды.

— Везде темно,— прошептал он,— но кто разгонит в душе моей тучи?

В отдернутый полог ворвался предрассветный ветерок и зашелестел чем-то за спиной Богдана; он обернулся и увидел, что развернулось полотнище знамени и открыло на нем изображение спасителя. Гетман стремительно вошел в палатку и бросился перед этим божественным ликом на колени.

«О господи,— воскликнул он в порыве трогательного умиления,— если ты вручил мне этот меч, если ты выбрал меня для совершения твоей воли, то не оставь же меня в эту тяжкую минуту, а укрепи душу мою, просвети разум! Ты управляешь своими громами, ты во все страны посылаешь темные тучи, ты указал дорогу солнцу, звездам, укажи же и мне, малому и недостойному рабу твоему, верный путь!»

Обессиленный, измученный непосильною борьбой,

гетман распростерся перед знаменем своим на сырой, холодной земле. Ночь уходила, а гетман все еще лежал так, в немой, горячей молитве...

Наконец приподнялся он с колен, неузнаваемый, бодрый; лицо его было прекрасно, горело отвагой, и вдохновенная могущественная душа светилась в глазах.

«Да, я подавлю свою гордыню! — воскликнул он пламенно, глядя в кроткие очи Христа.— Для святого дела нужны чистые руки! Я поднял свой меч во имя креста, на котором распяла тебя злоба, я поднял его за закон, за поруганное народное право и не оскверню его вовеки лукавством. Прочь же от меня, все мои власные счеты, прочь, обольстительные мечты, пусть это сердце бьется лишь для блага народа!»

А утро уже засматривало в палатку, и алая заря предвещала яркий солнечный день.

Наступило утро, ясное, теплое, и в лагере снова закипела жизнь. Собралась у палатки гетмана старшина и под его личным надзором поделила всю военную добычу. На каждого козака досталось столько добра, сколько он не заработал бы за всю свою жизнь; о значных и говорить нечего: на пай каждого набралось всяких ценностей паровицами, а гетман напаковал дорогим, многоценным скарбом с полсотни походных возов и отправил их в Чигирин; он, впрочем, не забыл оделить и жителей соседних деревень, сбегавшихся отовсюду толпами поклониться своему батьку и отблагодарить своих спасителей — козаков. И селянами, и народными бардами-кобзарями разносилась слава о гетмане и вызывала во всех концах широкой Украйны восторженные крики и благодарные слезы народа.

В дележке прошел целый день, полный необычайного оживления, суеты, шумной радости и веселья. Гетман все время был на ногах и наблюдал, чтобы все паи были равны и чтобы не было ни единого недовольного в лагере. Только вечером отправился он отдохнуть в свою палатку, но и тут уже ждал его Золотаренко.

— А что, друже, скажешь? — спросил его Богдан, прилегая на походную канапу князя Заславского.— Нахлопотался, брат, за день так, что и ног не чую... Довольны ли только все?

— Еще бы! Какого дидька им еще нужно? — ответил Золотаренко.— Богачами все стали, магнатами... Козаки

продают старшине лишних коней или лишнюю зброю... Так видишь ли, батьку, что румака, который стоит сотню талеров, а иной и сотню дукатов, отдают за талер, за два, а роскошное седло или пистоли — так за злот. Уж и как быть им недовольными? Все радостны... восхваляют гетмана батька... Только вот одного либо двух взяла за сердце досада,— смешался немного Золотаренко,— и пожалуй, что они отчасти правы... лучше бы не дразнить.

— Кого? Чем? — приподнялся на локте Богдан.— Кто своим паем обижен?

— Не о паях речь, а о полке небижчика (покойника) Ганджи. Лысенко сильно обижен... ропщет, что его обошли... а Кривонос, его друг, ходит туча тучей... Нехай бы уже, батьку, был Вовгура полковником.

— Я своего слова не ломаю,— поднял голос Богдан,— и никакое кумовство его не подкупит! На всякое чихание не наздравствуешься, а раз нагни спину — всякий на нее станет влезать... Так и знай, Иване, что меня не нагнут.

— Ты прав, ясный гетмане,— голос вождя должен быть громче всех; но тебе придется надсаживать свою грудь... Вон Кривоносу Нечай передал, что ты хочешь отпочить и дождаться выборов короля, так он поднимает целую бурю.

— Максим? Против меня? — даже привстал от изумления гетман.

— Не против тебя, батьку, а против мира; кричит, что нам нужно извести ляхов, разорить дотла гнезда ос, не давать им опомниться и на миг. Ну, и все за ним вопят то же самое. Дележка вот только перебила гвалт, а то, почитай, что все просили бы тебя выступить сегодня в поход.

— И все, говоришь, стоят за поход? Никого не тянет домой?

— Может быть, те прималчивают, а крикуны орут.

— Ха, овцы и волки! — воскликнул с горечью гетман и заходил в волнении взад и вперед по палатке.

Долго длилось молчание. Золотаренко следил за выражением лица гетмана и хотел прочесть в нем решение этого вопроса, интересовавшего его не из любопытства, а из силы последствий, в которых, несомненно, крылась судьба всего края; но мрачный взгляд гетмана не выда-

вал своей тайны. Наконец Богдан остановился в упор перед ним и резко промолвил:

— Будет так, как укажет мне бог; гетмана слово в походе — закон, и никто противоречить ему не смеет. Коли я убежден буду, что нужен поход, так, может быть, и сегодня ночью двинусь в Варшаву, двинусь по своей воле и по своему расчету, а коли нет, так никто меня к тому не принудит. Булаву скорее сложу, а не поступлюсь разумом. Так и скажи, коли спросят,— закончил он, давши понять, что дальнейшего разговора продолжать не желает.

Золотаренко, заметив это, поклонился и молча вышел из палатки. Задумчиво, с каким-то неприятным чувством в груди побрел он по окраинам лагеря к своей палатке. Стояла уже ночь, но лагерь еще не спал, а гудел вдали веселым гомоном и взрывами смеха; только в этом гуле не раздавалось уже хмельных криков, а лишь звучали в иных местах звоны бандур, прерываемые выразительно-грустными речитативами кобзарей, певших про бессмертные подвиги славного войска.

«Дал бы бог,— думал Золотаренко, — чтобы гетман наш был так тверд, как ему хочется и как ему подобает: голова-то у него велика и честное, щырое сердце. Коли он поставлен превыше нас, так ему и виднее с высоты, куда держать путь. Только вот волнение его поразительно: сила всегда спокойна. Гордости-то у него много, но она может и повредить: в угóду ей, чтобы избежать риска открытой борьбы с радой, он, пожалуй, упредит ее требование и сегодня же, вопреки разуму, ночью объявит от себя властно поход. Недаром же он вчера вечером отдал приказ, чтобы никто не смел выпить и капли хмельного, а все были бы готовы каждую минуту к походу... Недаром!»

## LV

Золотаренку послышались приближающиеся знакомые голоса; он сразу узнал по ним Выговского и Тетерю. Близко стоящие к гетману лица вели между собою разговор как раз на интересовавшую его тему; пустынность места и мрак позволяли им быть откровенными. Золотаренко остановился за возом.

— Так ты таки решительно чувствуешь,— говорил

с иронией в тоне Выговский,— что уже захворал или что только можешь захворать смертельно?

— Видишь ли, друже Иване,— стонал Тетеря,— я знаю свою натуру: когда расхвораюсь, как теперь, так никак не смогу перенести походного руху, мне только и может помочь строгий покой.

— Я скажу гетману,— успокаивал, видимо, Тетерю Выговский, хотя в голосе его зазвучала еще более насмешливая нота,— я его попрошу, и он несомненно даст тебе покойную и роскошную повозку,— теперь их так много... Довезем тебя, как в коляске, в Варшаву.

— Ох, ох! На черта вам в походе такая колода, как я? Видишь ли, как схватило опять, едва тащусь... Ой, ой! Если б не поддерживал ты, упал бы... Лучше уговори, голубе, гетмана, чтоб отпустил меня умереть дома... Я этим лядским знахарям не верю, свои лучше...

— Ну нет, друже, там искусные есть лекаря, а жизнь твоя всем нам дорога.

— А то вот пусть меня лучше нарядит послом в Москву, ведь он говорил как-то... Ну, я полечусь дома и отправлюсь.

— В Москву пошлем посольство уже из Варшавы, оттого-то опять ты необходим будешь нам...

— Да поход, поход мне, хворому, невыносим! — вскрикнул с воплем Тетеря.

— Гм! Поход? Что ж, панская кровь,— хихикнул Выговский,— и для меня, брате, и для многих поход вреден,— понизил он голос,— только, знаешь: «Скачи, враже, як пан каже».

— Да ведь и этому пану поход не на радость, да и всем нам от него одна гибель,— заговорил оживленно, забывши стоны, Тетеря,— так отчего же всем благоразумным не поддержать пана, а подчиняться безумному реву оголтелых головорезов? Ведь мы можем через них потерять все завоеванные уже выгоды и попасть под бич немезиды. Ведь колесо фортуны и возносит, и давит.

— Совершенно верно,— вздохнул словно искренно генеральный писарь,— безмерно натяни тетиву, так или она оборвется, или лук треснет... Попомни мое слово,— почти шепотом продолжал он,— если мы не остановимся, то погибнем, а между тем теперь, вот именно теперь и можно бы было выторговать нам у панов много и много... Гетман сам хорошо понимает это...

— Эх, понимает! — с досадой возразил Тетеря.— А почему же распустил стаю и позволяет галдеть?

— Да потому, что стая была нужна... и понимать-то он лучше нас понимает, поверь!

— Так почему же в таком случае вы, благоразумные, его не придерживаете?

— А потому, что сила ломит солому.

— Ха-ха,— засмеялся в свою очередь едко Тетеря,— именно солому! Сегодня я расспрашивал джуру про гетмана,— по целым ночам, говорит, не спит — то сердится, то сам с собой разговаривает, то молится богу, то пьет... дудлит ковш за ковшом... Разве это сила, на которую можно опереться в борьбе? Сам гнется, как солома, и квит!

— А ты бы что сделал?

— Поверь, что глотку черни заткнул бы: поставил бы на своем или плюнул бы и растер...

— Заболел бы смертельно?

— Не то заболел, а издох бы скорей, чем подчинился безмозглой рвани.

— Или, правильнее, Семене, отправился бы к домашним знахарям?

— Что ж, и мыши бегут с корабля, когда зачуют крушение.

— Только всегда раньше корабля тонут... Так вот что, Семене,— ударил его Выговский дружески по плечу,— не хворай, а отправляйся-ка сейчас со мной в мою палатку, где мы там потолкуем за ковшом доброй венгржины о корабле...

— И о корабле, и о кормчем? Згода! — ответил здоровым и веселым голосом Тетеря.

«Крысы, именно — крысы! — подумал Золотаренко, вглядываясь в непроницаемую сырую мглу, в которой еще слышались быстро удаляющиеся шаги собеседников.— Только о себе думают, о своих животах... и готовы на всякие скверны... Но корабль, говорят, в опасности, окрыленный и озброенный так прекрасно! Нет, врут они, врут! Еще этот корабль выдержит не одну бурю, только и нам нужно зорко за всем следить!»

По уходе Золотаренка Богдан велел подать себе жбан оковитой. Об отдыхе и сне он уже и не думал: нервы его были возбуждены чересчур, и в груди собиралась гроза. Он еще не мог вполне оценить значения

зарождавшегося своеволия, подымавшего голос даже против гетманской власти, но уже видел, что его войско не слепо покорно ему, что его ближайшие друзья готовы поднять против него бурю, что не только извне, но и внутри перед ним встают страшные призраки и простирают для непосильной борьбы руки.

Богдан выпил залпом целый ковш оковитой, но не почувствовал никакого возбуждения, только защемившая сердце досада обострилась до злобного чувства. В это время за пологом палатки послышались голоса; один,— могучая октава,— очевидно, добивался чего-то, а другой,— полудетский, звонкий,— не уступал просьбе. Богдан взял канделябр, быстро встал, отдернул полог и увидел, что его джура не пускает Сыча.

— А что там? — спросил с некоторою тревогой Богдан.

— Да вот, наияснейший владыка, малец сей заслоняет мне путь к власти,— пророкотал Сыч.

— В чем дело? — нетерпеливо повторил гетман, не улыбнувшись даже на шутку своего любимца.

— Гм-гм! — откашлянулся тот.— Да возрадуется душа твоя, владыка, о господе,— к нам в лагерь прибыли новые силы.

— Кто, кто? Морозенко?

— Увы, не чадо мое, а вельможный подкоморий киевский Юрий Немирич со своим отрядом и просит позволения сейчас же видеться с славным гетманом.

— Немирич? Немирич? Наш шляхтич, честный диссидент, разумная голова? — заволновался, обрадовавшись и оживившись, Богдан.— О, проси его, проси, друже, сейчас ко мне, он мне всегда дорогой гость!

В палатке на столе появились и венгерское, и бургонское, и старый литовский мед, а через минуту вошел и сам нежданный гость Юрий Немирич.

Это был среднего роста шляхтич. Высокий, открытый лоб с отброшенными назад слегка волнистыми волосами и мягкий, проницательный взгляд глубоких, темных глаз свидетельствовали о его недюжинном уме; небольшая бородка острым клинышком обрамляла его приятное, симпатичное лицо, в выражении которого не было и тени надменности, присущей польским собратьям, а лежал лишь отпечаток спокойствия и сознания собственного достоинства. Худенькую фигуру шляхтича облекала

темная одежда, единственным украшением которой был большой белый воротник, лежавший на узких плечах. Эта одежда придавала его внешности еще более почтенный и внушительный вид.

— Приветствую тебя, великий борец за свободу! — произнес по-латыни вошедший.

— Простой запорожский козак, славный подкоморий киевский,— ответил также по-латыни Богдан, двинувшись быстро навстречу Немиричу и протягивая ему радостно руку,— не мне носить такое высокое имя, а вельможному пану, потрудившемуся за свободу народов в чужих краях.

— Не станем спорить об имени, гетмане; я пришел просить тебя, чтоб принял меня под свое славное знамя. Предки мои были русской веры, я сам душою и телом— ваш брат и хочу послужить для свободы родного народа.

— Ты просишь? — произнес растроганным голосом Богдан, обнимая Немирича.— Мы бы должны были просить, чтобы ты пошел с нами рядом. Одно твое присутствие усилит, укрепит наше войско, а мне даст в сотый раз веру, что я поднял за правое дело свой меч. Эх, если бы и другие шляхтичи были той думки,— вздохнул он,— не пролилось бы столько крови!

— Бывшая русская шляхта почти вся окатоличена,— ответил Немирич,— а католичество тем и сильнее грецкой веры, что разжигает фанатизм, раздувает спесь и гордыню, поощряет низменные страсти и господствует развитым умом над невежеством. Вот теперешняя шляхта и ослеплена алчною жадностью да ненавистничеством.

— И нет у нас преданной шляхты, нет у нас своей природной! — воскликнул с горечью гетман.

— Есть, есть,— улыбнулся гость,— хотя ее и глушат чужеядные плевелы, обвившие сетью наш край. Да вот хоть бы Кисель, Свичка, Засулич, Риглевич... И много их заводится на Волынщине!

— Так, так,— прервал гостя Богдан,— только что ж это я?.. Ошалел от радости. Садись, мой дорогой пане, вот сюда в кресло,— спасибо князю Заславскому, у меня завелись такие роскоши... Садись же поудобнее да подкрепи себя с дороги кубком старого меду.

— Спасибо,— поднял Немирич налитый гетманом

кубок.— За твое святое и честное дело! Только помни, гетмане,— продолжал он, отпивши несколько глотков ароматной влаги,— что и тьма порождает червей и гадов. Побольше солнца да воли, тогда, быть может, произрастет новая жатва и даст полезные плоды; но прежде нужно очистить поле от плевел, разрушить гнилое здание, которое не допускает к нам солнца и грозит рухнуть на наши же головы.

— Так, так,— произнес горячо гетман, жадно слушая своего собеседника,— я иду не на кровь всенародную, не мести, не грабежа я ищу,— я поднял свой стяг за свободу и благо народа. Чаша нашего терпения переполнилась. Я — голос ограбленных и униженных, я — вопль обездоленных и истерзанных. Ужели ты думаешь, что мне удалось бы собрать эти полчища, если б мною двигали только моя власная месть и вражда?

— Нет, гетмане, этого я не думаю, не думают этого и истинно просвещенные люди, ни даже молодой королевич. Я и некоторые согласны с тобой, что нужно заменить старый порядок новым, более пригодным и лучшим... Я имею к тебе поручение от полковника Радзиевского. Вот письмо! — подал Немирич Богдану большой пакет, запечатанный восковою печатью.

Богдан взял в руки пакет, взглянул на печать и в волнении поднялся с места.

— От его королевской милости! — произнес он дрогнувшим голосом.

— Да, его милость пишет тебе.

Богдан разломал печать неверною рукой, сорвал конверт и принялся за чтение. Королевич просил его прежде всего удержаться подальше от разорения края, напоминая о том, что Речь Посполитая вскормила их всех, что отчизна не виновата ничем, если дети ее подняли междоусобие, умолял его пощадить их общую мать, упреждая, что дальнейшие его шаги погубят и Польшу, и Украйну, а между тем, пока еще не утрачено время, можно водворить мир, равно дорогой для обеих сторон. В случае своего воцарения королевич обещал утвердить все требования козаков и просил Богдана не противиться, а способствовать ему в водворении порядка и справедливости во всей стране. Рука Богдана дрожала во время чтения письма, несколько раз на глаза его набегали непослушные слезы; вместе с этими строками вста-

вал перед ним образ несчастного Владислава, и его предсмертные слова снова звучали в ушах.

К письму был приложен и набросок вольностей и привилей козачьих, которые они получат по восшествии на престол Казимира: гетман будет облечен полной властью в Украйне, кроме права сноситься с иностранными дворами; уния будет устранена, обещалась полная свобода веры; все должности в Украйне должны быть заняты лишь православными; жиды и иезуиты лишены будут права жить во всей русской земле; коронные войска не будут больше там расквартировываться; об одном лишь простом народе ничего не упоминалось, хотя польским панам и возбранено было пребывание в Киевщине и Волынщине.

Хмельницкий заметил это, но не обратил особенного внимания в общем чтении, подавленный милостивым обращением маестатной особы. Он окончил чтение, поцеловал с глубоким почтением подпись и положил бумагу на стол.

— Видит бог,— произнес он в сильном волнении,— что я не желал погибели отчизны; она сама меня вынудила поднять меч!

Гетман зашагал широкими шагами по палатке; видно было, что письмо королевича тронуло его. Да, такого успеха он никогда не ожидал: все его требования подтверждаются королевичем. Чего же больше желать? Чего еще нужно этим горланам ненасытным? Вот только простой народ... Ну, и ему дадут или мы сами дадим облегчения. Да, но королевич еще не король, а король не сейм! Нет, нет, не поддавайся легко обещаниям, не прельщайся льстивою лаской, Богдане! — словно слышится ему голос владыки.— Не надейся ни на князи, ни на сыны человеческие, а устраивай сам прочно судьбу своего народа.

— Что ж ты думаешь теперь предпринять, гетмане? — прервал его размышления Немирич.

Богдан посмотрел на него пристально и призадумался,— и сам он еще не знал хорошо, что предпринять, и не хотел своих неустановившихся дум доверять сразу чужому лицу; ему было интереснее узнать сперва мнение гостя, поэтому он и прибег к своему обычному приему — к хитрости.

— Хочу идти в Варшаву,— ответил он спокойно.

— Зачем?

— Чтоб утвердить незыблемо наши права и дать свободу народу.

— Но если все это дается тебе добровольно?

— Обещается только, — поправил с улыбкой Богдан,— да и не королем, а королевичем.

— Но ведь если вы подадите за него голоса, так он будет избран несомненно.

— А если и будет избран, то еще нужно, чтобы исполнил обещание, а потом чтобы и сейм утвердил предложенные нам королем права и привилеи, а разве сейм утвердит их, славный мой подкоморие? Разве самозванные королята откажутся когда-либо от наших роскошных степей, от наших девственных нив, от наших тенистых лугов да еще от нашей даровой рабочей силы? Сроду! Во веки веков!

— Год назад — ни за что бы, правда, но ведь теперь вместе с твоим голосом будут говорить Желтые Воды, Кодак, Корсунь, Пилявцы.

— Ха-ха, пане мой любый! Коротка у вельможных панов память: что прошло, то минуло, а сегодня снова хоть из пальца высоси!

— Но ведь сначала же нужно испробовать мирные средства и увериться, что они невозможны?

— То есть дать время оправиться снова врагу?

— Так этим временем воспользуешься и ты — укрепишь свою страну внутри, оградишь ее недоступными твердынями.

— Для того все-таки, чтобы в конце концов решить спор мечом? Так лучше его в ножны и не вкладывать.

Богдан был с виду упорен и строг, чем вызывал в своем собеседнике горячее стремление переубедить его; внутри же у гетмана била ключом радость, так что чем больше протестовал Немирич, тем ему труднее было ее сдержать.

— Но, дорогой мой гетман,— говорил убежденно гость,— меч есть зло, а потому к нему надо прибегать в крайности, изверившись в остальных способах.

— Да, да, изверившись,— подхватил гетман,— вот я и поведу в самое сердце Польши сотню тысяч своих лыцарей да другую сотню тысяч татар, тогда и панам лучше припомнятся Кодак и Пилявцы, да и для выбора короля прибавится голосов.

Немирич схватился с кресла. Волнение стиснуло ему грудь, ужас широко открыл его темные, выразительные глаза.

— Ты не сделаешь этого,— воскликнул он, хватая гетмана за руку,— ты на такое святотатство, на такое варварство не способен! Ведь эти двести тысяч обратят в руину и кладбище страну! Ведь ты до Варшавы проложишь пустыню! Ты погубишь невозвратно отчизну, от жизни которой зависит и ваша судьба! Ведь на эту руину набросятся хищные соседи, расшарпают, разорвут на куски все наследие и поглотят вместе с нами и вас... поглотят, богом клянусь... и твои задавленные, обессиленные правнуки не посмеют даже подумать о какой-либо борьбе, а потонут в пучине насилия... Гетмане! — загорался трогательным чувством Немирич. — Я прибыл к тебе не из корыстной цели и не из жажды славы,— ты знаешь, что и того, и другого у меня есть довольно,— меня привлекло сюда лишь горячее желание добра твоему народу, верь!

— Верю! — пожал ему крепко руку Богдан, не отводя сверкавших сочувствием глаз от своего собеседника.

## LVI

— Да, верь, — говорил Немирич пламенно Богдану, — тебе нужно не разрушить Польшу, а укрепить в законе и власти, что и можно сделать, поддержав короля.

— Иезуита,— вставил Богдан.

— Хотя бы и иезуита. Генрих сказал, что Париж стоит обедни, и переменил исповедание, а Казимиру польская корона дороже кардинальской шапки; он к ней и ко власти стремится всеми силами души, для них он признает и libertas constienciae...* Да, Польша, или, лучше сказать, Речь Посполитая, нужна тебе как крыша, как храмина, под которой ты будешь устраивать благополучие своей страны... Тебе дала в руки фортуна счастливый момент,— пользуйся же им, но не злоупотребляй: укрепи столбы здания и осчастливь сущих под ним; только слепец Самсон разрушил их из чувства мести, но и сам же погиб под развалинами. Счастливый момент

* Свободу віри *(лат.)*.

может быть обращен в вечное проклятие, если мы не сумеем понять его!

— О светлый ум! — обнял Немирича в порыве восторга Богдан.— Как же я счастлив, что мои мысли, хотя и затуманенные сомнениями, совпадают отчасти с твоими!

— Это действительно счастье,— воскликнул растроганный подкоморий,— и не мое, и не твое, а всего народа! — И он начал с увлечением развивать перед Богданом политику, которой следовало держаться. Польша-де сейчас необходима для целости и бытия самой Украйны; она из всех союзников — самый безопасный; нужно поддержать ее временно, чтобы воспользоваться ее покровом для внутреннего устройства страны, на которое и следует обратить все свои силы. Панский строй Польши непременно поведет ее к гибели и распадению, так нужно, чтобы Украйна к тому моменту переросла свою опекуншу и смогла зажить полной жизнью. Самые недостатки и пороки теперешней утеснительницы должны служить указаниями, как устроить и уладить хатние дела в родной стране, и уж, конечно, не на польско-панский манер. Должны быть вызваны к жизни великие народные силы, и они здесь дадут поразительные плоды... Немирич стал рисовать перед гетманом яркими красками дивные картины будущего: академии, школы должны покрыть всю страну, призванные из чужих стран мастера и художники научат население новым формам производства, естественные блага и плодородие обогатят страну. Право за правом переходило бы неизбежно, силою течения вещей, в руки гетмана; Европа привыкла бы видеть Украйну самостоятельной, свободной и сильной; ополченная мощью и окрыленная знанием, она стала бы твердою стопой у Черного моря и посылала бы свои корабли за богатствами по всему миру... Наконец, культура дряхлеющей Польши должна будет уступить культуре свободной и сильной страны!

Богдан возражал, горячился, увлекался сам дивною силой фантазии своего собеседника, словно подымавшего перед ним дальний горизонт, за которым сиял такой яркий свет, и снова возвращался к своим сомнениям; в одном только он теперь был убежден твердо: что никакие крики толпы не подвинут его идти на разорение Польши; вчера перед образом спасителя подсказало ему

такое решение сердце, а сегодня разум утвердил это решение. Белый свет застал собеседников за ковшами венгерского и за теплым, дружеским разговором. Наконец Богдан встал; за ним поднялся и Немирич.

— Прости, дорогой гость,— сказал Богдан, провожая Немирича и пожимая ему дружески руку,— что я отнял от твоего отдыха ночь; причиной тому твой увлекательный ум и моя безмерная радость видеть тебя среди своих лучших друзей и порадников.

Но гетману самому не суждено было в этот день воспользоваться отдыхом. Сначала необычайное возбуждение не давало возможности успокоиться сразу его нервам, а потом, когда при первых лучах, ворвавшихся алою струйкой в палатку, он прилег было на канапу, его подняла с нее новая неожиданность: вбежал джура и громко, без всяких церемоний объявил, что у входа палатки стоит Ганна с Олексой Морозенком. Богдан вскочил на ноги как обваренный кипятком. Целый вихрь ощущений,— и жгучей страсти, и едкой ревности, и неодолимой тоски, и бешеной злобы,— наполнил пламенем его грудь и бросился яркою краской в лицо.

— Сюда, ко мне, друзья мои! — крикнул он, отдернув полог палатки.

Вошла Ганна, а вслед за ней нерешительным шагом вошел и Морозенко.

— Что ж ты, Олексо, едва чвалаешь ногами? На грудь ко мне, чертов сын! — обнял он его горячо.— Не ранен ли? Или изнемог в пути? Ну как? Да что же это ты стоишь словно вареный? — засыпал его гетман вопросами.

— Прости, батько,— ответил наконец тот взволнованным голосом,— не справился, не исполнил воли твоей: всю Волынь кровавым следом прошел, добрался до дремучих лесов Литвы и не нашел ни Чаплинского, ни ясновельможной пани, ни Оксаны...

— Не нашел?! — вырвался болезненный стон у Богдана и заставил вдрогнуть стоявшую в стороне Ганну; она подняла на гетмана свои лучистые глаза и заметила, что он побледнел.

— Не нашел,— повторил Олекса упавшим голосом.— Куда ни бросался — ни слуху ни духу!.. Только в последнее время от одного беглого литовца прослышал,

что ему кто-то говорил, будто Чаплинский в Збараже... Но твой ясновельможный приказ вернул меня сюда.

— В Збараже, говоришь?! — воскликнул снова гетман.

— В Збараже... да вот еще нашел среди трупов под Гущей письмо к твоей милости.

— Письмо? От кого?

— Не знаю... никто не мог разобрать,— улыбнулся Олекса, подавая толстый пакет, перевязанный шелковою алою лентой.

Богдан порывисто схватил пакет, сорвал ленту и с жадностью стал читать; но буквы мелко исписанного письма почему-то прыгали, а в налитых кровью глазах бегали огненные кружки и мешали разбирать почерк.

Ганна впилась глазами в лицо гетмана, подергиваемое судорогами... Вдруг оно побагровело сразу, на висках надулись синие жилы, очи засверкали огнем.

— От нее, от нее, каторжной! — вскрикнул он от бешенства, сжав в руках лыст и бросив его себе под ноги.— Как же ты брешешь,— накинулся он на Морозенка,— что не видел Оксаны, коли от нее получил этот лыст?

— Как от нее? — отшатнулся даже тот в изумлении.

— От нее! Вот там, с самого начала, пишется, что поручает нашей Оксане письмо.

— Оксане?! — завопил, схватившись за чуб, Олекса.— Значит, она погибла! Ну, так и мне туда дорога! — И он стремительно бросился из палатки.

Утром весть о присоединении славного пана Немирича к войску облетела лагерь, и все спешили увидать его, а старшина — познакомиться. Выговский караулил подкомория целую ночь у палатки гетмана и первый подошел к нему, будучи знаком еще раньше.

После пышных приветствий он сейчас же попытался проведать у Немирича о результатах его совещания с гетманом,— знать это было ему до крайности важно, особенно после интимных признаний Тетери.

— Какое счастье, что вельможный пан с нами! — говорил сладко Выговский.— Нам только и недоставало просвещенного разума, — он оградит нас от многих ошибок.

— Пан льстит мне,— ответил, поморщившись, Немирич,— никакой такой силы за собою я не чувствую. Да и, кроме того, я встретил у гетмана образ мыслей, совершенно сходный с моим.

— Неужели и пан полагает, как здесь почти все, что заботиться нам о мире не следует, а нужно броситься всеми силами на разорение Польши?

— И я, и гетман совершенно противоположных мыслей.

— О?! В таком случае над нами десница господня!— воскликнул Выговский.— Когда бы только это мнение восторжествовало.

В это время подошли к ним Нечай, Чарнота и другие.

— А что, братцы,— вскрикнул Нечай весело,— и из панов таки бывают люди!

— Да еще какие, почище нас всех! — отозвался радушно Чарнота.

— Что ж, коли наши паны, так выходят и люди! — зашумели остальные восторженно.

— Вот, ей же богу, я побратаюсь с ним! — заключил Нечай тщедушного подкомория в свои широкие, могучие объятия.

— За честь за великую! — потянулся к нему и Чарнота.

Шумные приветствия козаков и тронули, и смутили Немирича: он не ожидал от русских людей такого искреннего, сердечного доверия к пану, да еще из враждебного лагеря, а между тем даже среди простых козаков и поспольства появление Немирича произвело чрезвычайно благоприятное впечатление.

— Ге-ге, братове,— говорили козаки,— уже и паны начинают приставать к нам, скоро, значит, будет с нами и сам король!

— Стало быть, и будет свой король, а нам того и нужно! — подхватывало поспольство.

А Богдан по уходе Морозенка двинулся было за ним, но, увидев, что Ганна кликнула на помощь козаков, возвратился в палатку и тщательно закрыл за собою полог. В другое время его не успокоили бы ни крики Ганны: «Во имя бога!», ни шум погони за своим любимцем, прославившимся уже рыцарем, но теперь он был весь поглощен бушевавшим в его груди адом, так что впечатления событий почти не отразились на его раздра-

женных до оцепенения нервах. При первом взгляде на этот знакомый ему мелкий почерк, на привычное, давно не звучавшее ему ласковое приветствие у него вспыхнула страшным пламенем ревность, вскипятила всю кровь и разразилась вихрем бешенства; но вместе с этим бурным чувством он почувствовал и другое, еще более едкое, более тоскливое, вонзавшееся тысячью ядовитых жал в его сердце... Богдан не то сел, не то упал на кресло; все у него горело внутри; он распахнул жупан, разорвал ворот сорочки и повел вокруг воспаленными глазами... Взор его упал на лежавшее у его ног скомканное письмо.

— А...— заскрежетал он зубами,— вот оно, каторжное! И как мучительно жжет, словно калеными клещами хватает! И что бы она, змея, могла написать в свое оправдание? Какую бы придумала ложь? Э, все равно... изорвать в куски, и квит! — Но он не двигался с места, а дрожал всем телом, не замечая этого вовсе. Скомканное письмо казалось ему каким-то таинственным цветком, манившим к себе своим упоительным ароматом.— Да что ж я за баба,— вскрикнул наконец гетман, ударяя по столу кулаком,— что я за квач, чтобы испугаться этого паршивого клочка бумаги?! Чары ли в нем какие сидят, заговор ли ведьмовский? Так козака никакая нечисть не смеет взять, пока он не струсит! А разве у меня пропала отвага? Да, может быть, и речь там идет о важных делах, сообщают мне о каких-либо событиях, ради подкупа, а я раскис, как подошва в хлющу, и малодушничаю? Ха-ха! — рассмеялся он дико.— Вздор! Прочту, полюбопытствую... Эка невидаль, ляшская шкура!

И он проворно поднял письмо, настроив себя презрительно и злобно, и стал его жадно читать, но это все-таки не скоро ему далось,— бумага, словно живая, шевелилась и вкрадчиво шелестела, а буквы то расплывались в кровавые брызги, то мигали всеми цветами радуги.

Письмо было написано горячо и сильно; в нем искренне звучало наболевшее чувство и слышалась непритворная жалоба на погибшую жизнь. С первых же строк Богдан почувствовал, что в тайниках его груди заныла печальным, жалобным тоном какая-то занемевшая было струна и, несмотря на все усилия заглушить, задавить этот непрошеный звук, он своевольно рос и превращал все его злобные чувства в какую-то хватающую за серд-

це мелодию, сжимавшую спазмами его горло и застилавшую туманом глаза.

«Милый мой, дорогой, коханый,— писала между прочим Марылька,— ты не поверишь, конечно, моим словам, сочтешь их за ложь, придуманную коварством или расчетом, да и я бы на твоем месте тоже не верила, но что же мне делать, если, к моему неисходному горю, все это правда? Чем мне заверить тебя, какою клятвою убедить? Тысячу раз повторяю тебе, и повторю даже под секирой ката, что надо мной было употреблено грубое, зверское насилие... Клянусь жертвой отца моего, клянусь прахом матери, что это правда! Да разве бы у меня очей не было, или бы я потеряла до искры свой разум, чтобы могла променять ясного сокола на гнусную жабу? Да и чем бы мог прельстить меня этот нищий, этот жебрак, наймит Конецпольского? Баснословным богатством, сказочным блеском или царскою роскошью? Сравни же себя, татусь мой любый, цацаный, взвесь это все, моя радость и моя мука! Ты скажешь, что от насилия мог бы меня избавить кинжал, что у храброго защитником от бесчестья есть смерть? Да, правда... Но если висит надо мной угроза, что дорогое существо поплатится за покушение жизнью, если эта угроза приводится уже два, три раза в исполнение, если за жизнь этого существа я сто раз отдала бы опостылевшую свою, то... неужели ты будешь за то презирать и ненавидеть свою несчастную, истерзанную от тоски по тебе Олесю? Ведь я люблю тебя беззаветно! Ведь я окружена ненавистными мне лицами, изнываю в тюрьме! Ведь нет у меня, сироты, никого на свете, кроме тебя! Ты клялся мне вечно кохать и грудью своею защищать меня от всякого лиходея. Где же ты теперь, где? Для каких мук ты спас мою жизнь? Мне лучше было бы умереть тогда, не изведав счастья с тобою! Я сколько раз тайно спасала тебя от преследования и опасностей... Я только из-за тебя и живу, я только тобой и дышу... Сжалься надо мной, на матку найсвентшу, на бога милого, сокол мой, мое бывшее солнышко, вырви меня из позорной неволи, вырви хоть для того, чтобы убить своею власною рукой! Жизнь без тебя — пытка, и нет у меня сил сносить ее, нет больше сил!..»

Богдан читал, перечитывал письмо слово по слову, так как буквы и слова расплывались все больше и боль-

ше, и чувствовал, что в голове у него начинает носиться вихрем какой-то хаос, а в сердце среди тысячи удручающих чувств дрожит где-то и радость... Но дочитать этого письма он все-таки не мог; он почувствовал стеснение до спазмов в груди и с страшным стоном припал головою к столу; письмо выскользнуло из рук и тихо скатилось к ногам.

— Можно ли к дядьку? — послышался немного погодя голос Ганны у входа.

Богдан прежде всего схватил предательское письмо и спрятал его на груди, а потом откликнулся по возможности спокойным голосом:

— Ганно, это ты? Войди, войди! А что, как Морозенко? Где он, бедный? Я так встревожен его отчаянием... Это такое чудное сердце, такая неудержимая в порыве голова!

Ганна взглянула на гетмана и отступила в изумлении, до того он был неузнаваем: на его измученном, бледном лице лежали следы страданий, крупные капли пота росились на лбу, обнаженном теперь от всклокоченной некрасиво чуприны, вся одежда была в беспорядке... Ганна взглянула на пол, где лежало брошенное письмо, и не нашла его,— она все поняла и ухватилась рукой за спинку кресла, чтобы не потерять равновесия.

Богдан избегал встретиться с ней взглядом, а то заметил бы, какой мучительный ужас отразился у нее в зеницах, как она побледнела вся, задрожала, как порывисто стала вздыматься ее грудь; несмотря на ее молчание, он продолжал усиленно расспрашивать ее про Морозенка, желая тем скрыть свое непоборимое волнение.

— Что же, не допустили Олексу до безумия?.. Уговорила, утешила как-нибудь?.. Что же, Ганнусю? Молчание твое приводит меня в ужас... Неужели?

— Морозенко жив,— едва отвела голос Ганна,— я ему то же говорила... и дид...

— Так позови его ко мне, моя голубко, я его усовещу, ободрю, дам поручение...

Ганна хотела что-то сказать, но у нее вместо слов вырвался такой болезненный стон, что Богдан даже вздрогнул и поднял на нее пытливо глаза.

— Ганно, что с тобой, моя донечко?

— Ничего,— словно подавилась она словом,— я позову Морозенка...

— Ах, Ганно, порадо моя, слушай...

— Не надо, не надо! — вскрикнула она как-то надорванно и, закрыв рукою глаза, порывисто ушла из палатки.

Богдан не пошел вслед за нею, а велел оседлать своего Белаша и поехал из лагеря, словно для осмотра позиций, не приказав следовать за собой ни эскорту, ни даже джуре. Отъехавши подальше, он гикнул на своего румака и пустился вскачь по полю, вперегонку с буйным ветром. Богдан летел, порываясь без цели вперед и вперед; свежий ветер обвевал ему прохладой лицо, бешеная скачка разрешала накопившееся раздражение, физическая истома успокаивала его возбужденные нервы; он не давал бедному животному передышки, словно желая унестись куда-либо от неразрешимых тревог, от неутолимой тоски и от беспощадной вражды, лишь бы забыться там и отряхнуть от себя эти назойливые душевные боли...

Почти у самых стен Константинова остановился Богдан и тогда только понял, что он рисковал безумно. Белаш весь был покрыт белыми клочьями пены; он тяжело и шумно дышал. Несмотря на опасность, гетман, жалея своего боевого товарища, поехал обратно шагом и возвратился уже вечером в лагерь. Он отказался от предложенного ему обеда и под видом усталости приказал есаулам прийти за приказаниями попозже, а сам остался в палатке снова один.

Сначала он хотел было потребовать зажженные канделябры, чтоб перечесть роковое письмо, но потом раздумал: какое-то смутное угрызение совести за Ганну, словно вина перед этим чудным золотым сердцем, щемило ему сердце и заставляло отгонять от себя мысль о письме, но это сопротивление в борьбе с неудержимым потоком страстей было так слабо, что вскоре совсем залилось и исчезло под их бурными волнами... Мягкий сумрак ласкал утомленного гетмана, а слова письма, выжженные в его сердце, самовольно и властно выплывали из тьмы огненными знаками, и мятежные мысли снова стали кружиться над его головой,— все, что притаилось было в его душе, подавленное силою потрясающих событий,— и жажда опьяняющей ласки, и боль оскорбленного самолюбия, и крик мести,— все это теперь проснулось и билось в груди... Богдан уже заглу-

шил было на время все чувства, все воспоминания о ней— и вдруг это письмо! Как искра в бочку пороха, упало оно в душу гетмана и произвело в тайниках ее разрушительный взрыв: все, что хранилось в них,— рассудок, воля, обида,— все разметалось и исчезло в этом вспыхнувшем пламени...

## LVII

Прежде, думая о Марыльке, Богдан мечтал силою отнять ее у Чаплинского для мести, для издевательства, а теперь вдруг она сама идет к нему навстречу, но как идет? Какими сладкими, обаятельными словами говорит о своей любви, как трогательно клянется в верности, как умоляет взять ее, спасти от злодея Чаплинского! Но так ли?.. «У, лжет, змея, обманывает, притворяется, лукавит из-за страха моей мести,— шептал гетман,— в душу мою хочет закрасться своими льстивыми, полными соблазна словами! Так что же думать? Оттолкнуть ее к сатане, не поверить и единому звуку... Но если правда? — И снова в душе Богдана поднимались обманчивые доказательства верности Марыльки.— Кто сообщил мне, что она уговорилась с Чаплинским? Ганна? Но откуда же она могла знать? Она просто-напросто не любила ее и подозревала во всем... Комаровский? Он хотел оправдать себя и избавиться от кары... Слуги Чаплинского? Но слуга по злобе всегда готов наговорить на пана!.. Если бы она тогда сама захотела уйти, кто мог ей, вольной, помешать в этом? К чему понадобился бы этот наезд, эти зверства, убийства,— ведь она могла сама пострадать в пылу битвы? Что она не избавилась от неволи кинжалом, так она это объяснила совершенно правдоподобно, да и притом можем ли мы от нежного и хрупкого создания требовать присущей нам, воинам, закаленной, железной воли? Мог ли руководить ею расчет, выигрыш положения? Нисколько! Она писала письмо два месяца назад, когда еще и сам я предвидеть не мог, чем окончится эта схватка с главными силами,— не бегством ли моим в московские степи?..»

На эти доводы отзывался в душе холодною насмешкой какой-то язвительный голос: «Эй, старый дурню! Не верь, не верь! Письмо написано именно с тонким расчетом; пани во всяком случае ничего не теряла:

при успехе она бы явилась к тебе с лаской, с мольбой, а при неудаче — смеялась бы над тобой в объятиях злодея...» Но Богдан не слушал его. Другой голос, нежный, страстный, глубокий, нашептывал ему на ухо: «Я люблю тебя, гетман, король мой! Люблю и кохаю тебя одного! Разве ты забыл свою зироньку? Вспомни, сколько счастья, сколько блаженства, сколько безумия пролетело над нами в те волшебные, прозрачные ночи! Взгляни на меня, разве я изменилась? Разве я не сумею приласкать еще жарче, чем прежде? Я всюду пойду за тобой, не покину тебя и в могиле! Твоею королевой, твоею рабыней буду!..» Голос шептал и шептал опьяняющие слова. Гетман всматривался в мрачную глубину палатки, и из тьмы выплывал перед ним дивный, обольстительный образ Марыльки, с волнами золотистого шелка, обрамляющими небесной и демонской красоты личико; синие, потемневшие от страсти глаза впивались в него с жаждой желаний; белые, теплые руки простирались к нему, а голос шептал над ухом опьяняющие слова.

Богдан срывался с места, шагал по палатке; но очарование не исчезало: отовсюду, куда он ни поворачивался, смотрели на него те же синие, полные истомы глаза.

«Спаси же меня, не оставь мольбы моей! — звучал ему в тишине серебристый, стонущий голос.— Я осталась верна тебе, мой сизый орле, я сохранила, как святыню, наше коханье, а ты теперь покидаешь меня на погибель,— ведь толпы взбунтовавшихся хлопов не пощадят твоей цацы!»

Гетман бросался к вину, стараясь избавиться от этого неотразимого призрака, но вино не помогало: еще ярче выступали чудные черты Марыльки, еще страстнее нашептывал упоительный голос, покоряя медленно, но властно сознание гетмана... Богдан уже чувствовал, что теряет над собою всякую волю...

«О господи! Зачем она явилась теперь,— шептал он, судорожно прижимая к груди роковое письмо,— именно теперь, когда мне, как вождю, надо собрать все свои силы? Какой злой дух управляет моею судьбой? Какими чарами обладает она? Чем избавиться от этого дьявольского наваждения?..»

Но избавиться было невозможно. Богдан пробовал

пересилить себя, пробовал вызвать в себе снова те гордые, смелые мысли о будущем, которые сегодня еще на рассвете воодушевляли его, но, словно бледные пряди тумана под горячими лучами солнца, эти мысли уплывали при одном воспоминании о жгучих словах письма...

— Нет, так лгать не могут,— произнес громко гетман, вставши порывисто и выпрямившись во весь рост, — само пекло не снесло бы такой лжи! Нет, она меня любит, она вянет в неволе... и ждет не дождется своего спасителя, своего дружину, но где ждет? Да, в Збараже, в Збараже!.. А я здесь теряю лишь время в праздных мечтаниях, тогда как она там, бедняжка, терзается... Гей, огня! — крикнул он.

Явился с зажженными канделябрами джура и объявил, что есаулы и старшина давно уже дожидаются его приказаний у входа палатки, но что ясновельможный гетман опочивал.

Богдан стремительно отдернул полог и, поздоровавшись коротко, объявил всем торжественно:

— Завтра чуть свет поход. Идем на Збараж. Чтоб всё и все были готовы!

Этот приказ ошеломил всех,— иных неожиданностью, иных восторгом.

— В поход! Слава ясновельможному гетману! — крикнула старшина.

— В поход, в поход! — покатилось по лагерю перекатною волной, и вспыхнули везде радостные крики.— Век долгий нашему батьку, нашему славному гетману! На погибель ляхам!

До рассвета еще козацкие войска оставили пилявский лагерь и двинулись к Збаражу — одной из сильнейших польских крепостей. Часть захваченных возов, напакованных лишним оружием и добычей, отправилась с надежным прикрытием назад в Чигирин, а остальное поползло какою-то гигантскою змеей с гремящим обозом в хвосте по волнистой дороге на северо-запад Волыни.

Освеженный коротким отдыхом, Богдан казался сегодня бодрее; он даже шутил с некоторыми полковниками, и все с удовольствием замечали, что обычное настроение духа начинает мало-помалу возвращаться к гетману. Один только Выговский волновался страшно,

что ясновельможный пан решительно ускользал от его наблюдения, что все поступки его и внезапные перемены намерений, противоречащие предположениям, были ему непонятны и необъяснимы. Он пытался было выведать у гетмана его новые планы, но последний был замкнут и непроницаем, отвечал шутками, остротами, переменяя сразу тему разговора. Выговский незаметно отстал и примкнул к обозу, где в грузной колымаге ехал совсем разболевшийся Тетеря. Когда генеральный писарь приблизился к ней, то из дверец экипажа вышмыгнули каких-то два козака.

— Кто это был у тебя в гостях? — спросил неожиданно Выговский Тетерю, засмотревшегося в другую сторону, чтобы узнать, что всполошило его собеседников.

— Ай! Ох, умираю...— отбросился тот на шелковые подушки в угол.— Это земляки... воды принесли.

— Полно, Семене, тут никого нет.

— А! Это ты, Иване? Ну, что же нам теперь делать? Ведь поход, поход!..

— И, вероятно, в Варшаву.

— Что ж ты уверял меня, что гетман прекратит враждебные действия?

— Так он говорил Немиричу.

— Дурит он всех вас, вот что! — крикнул злобно мнимобольной.— Лезет и лезет, с пьяных глаз, дальше в огонь, пока не осмалят ему крыл. Я не понимаю, за что мы должны в дурни пошиться и изжариться в полыме? Если эту голоту вразумить нельзя, то благоразумные должны о себе позаботиться...

— Тс-с! — остановил его Выговский.— Ты так кричишь, как на веселье дружко (на свадьбе сват)! Вон Немирич! — И он пришпорил коня и подлетел к ехавшему мимо подкоморию.— Вельможный пане, не оправдались наши предположения и мирные планы,— произнес вкрадчиво и интимно Выговский, — наш гетман, видимо, решил следовать не благоразумным указаниям, не просвещенным советам, а сумасшедшему крику толпы...

Немирич смотрел мрачно и долго не отвечал на поднятый Выговским вопрос, бросая исподлобья на него подозрительные взгляды, а потом спросил в свою очередь Выговского как бы вскользь:

— Неужели голос любимого вами, славного гетмана так бессилен? Или ваша толпа так же свавольна, как и наш сейм?

— Что толпа свавольна и распущена самим гетманом,— промолвил тихо, озираясь по сторонам, Выговский,— так это совершенная правда; но правда и то, что гетман скорее отважится на безумное предприятие, чем решится вступить в борьбу с козачеством и поспольством; мне кажется, что это единственный риск, которого он боится.

Немирич замолчал и грустно покачал головой.

А Богдан, перебрасываясь о том, о сем весело и радушно с полковниками, осадил своего Белаша и подъехал к Олексе Морозенку. Он уже виделся с ним на рассвете и успел несколько ободрить и обнадежить своего любимца; но тем не менее последний до того был убит разъяснением загадки о письме, что всякие утешения действовали на него только временно и поверхностно, а потом снова одолевала его тоска; и теперь, подавленный ею, он ехал согнувшись, вперив в луку седла безучастный ко всему взгляд. Приближение гетмана он заметил только тогда, когда тот ударил его ласково рукой по плечу.

— Не журись, хлопче,— промолвил ему тепло и сердечно Богдан,— бог милостив, и козак не без доли: чем дольше томит горе, тем скорее и неожиданнее налетает радость... За терпенье бог посылает спасенье, а что наша любая Оксана не погибла, так за это я ручаюсь головой... Уж коли не было там ее трупа, так, значит, она жива... и опять, коли б ее похитили, так похитили бы с письмом... а то, вероятно, она рубилась сама и при сильных движениях его обронила...

— Ох, тату, коли б была тому правда! — вздыхал облегченно Морозенко.

— А вот от Збаража я тебе дам отряд и Сыча еще, пожалуй, в придачу,— пошарите еще на Волыни и таки нападете на след.

— Тату мой, гетман мой!.. Сам бог заплатит тебе; мать моя, страдалица, вымолит у него эту ласку,— поцеловал тронутый Морозенко Богдана в плечо.

— Полно, полно, — смешался гетман и спросил неожиданно: — А где Ганна?

— А вот, за Варькой,— указал в сторону Олекса.

Богдан пришпорил коня и поскакал по указанному направлению.

— Ганно,— произнес глухо Богдан, осаживая рядом с нею коня.

Ганна вздрогнула от неожиданности и, поднявши глаза, с изумлением увидела возле себя гетмана. По лицу ее пробежало какое-то болезненное, горькое выражение. Она ничего не ответила и наклонила голову еще ниже.

— Ганно,— повторил Богдан, дотронувшись до ее руки,— прости меня, если я чем огорчил тебя. Ты вышла от меня словно обиженная...

— Ничем, нисколько,— резко ответила Ганна, вспыхнувши мгновенно, и потом уже, подавив с чрезмерным усилием проснувшееся страдание, добавила возможно спокойно и холодно: — Я была тогда, ясный гетмане, слишком взволнована печальным известием об Оксане и ужасом горя Морозенка...

— Не говори так со мной, Ганно,— прервал ее Богдан, и в голосе его прозвучало столько горя, что Ганна снова побледнела как полотно.— Разве я не мог быть потрясен порывом отчаяния моего дорогого Олексы?.. Страх за него и понудил меня... разузнать подробнее, нет ли чего еще про нашу общую любимицу...

— Смею ли я не верить?

— Эх, Ганно, Ганно,— вздохнул тяжело Богдан,— есть у каждого свои слабости, но иные падают на нас как кара господня... не язвить, а сострадать бы след одержимому...

— О гетмане,— произнесла тихо Ганна, подымая на Богдана глаза, полные слез, и в голосе ее зазвучала глубокая грусть,— не обо мне речь!.. Я давно обрекла себя богу и моему народу... и даже благодарна доле, если она бьет меня, чтоб я помнила свой завет... Но что я для народа?.. Былинка, крупинка!.. А вот трепет берет, если его единую и лучшую силу слабости могут сдвинуть с пути...

— Никогда! — воскликнул горячо гетман.

— А этот поход? Кажется, дядько был против него...

Богдан даже вздрогнул от этих слов; они уязвили его дремавшую совесть и поразили проницательностью Ганны... Он долго ничего не отвечал, но наконец поднял голову и произнес дрогнувшим, но уверенным голосом:

— Нет, Ганно, не бойся! Слабости могут пронзить

мое сердце, сжечь его, наконец, испепелить, но им не отклонить и на один цаль руки, в которую вложил господь меч для защиты народа!

На третий день утром войско приблизилось к Збаражу. Все время остального пути гетман ехал угрюмо, избегая общества, погруженный в самого себя; какая-то внутренняя борьба подтачивала разрушительно его бодрость, но он таил ее ото всех и даже уклонялся от каких-либо посторонних бесед, да, впрочем, и близко стоящие к нему люди избегали сами врываться в течение гетманских дум. Раз только, при ночном бивуаке, позволил себе Немирич спросить у гетмана, чем можно объяснить внезапную перемену его планов?

— Никакой перемены нет,— ответил с улыбкой Богдан.— Збараж — пограничная наша твердыня, а помнится мне, что и вельможный пан советовал прежде всего захватить и укрепить свои границы.

Хотя ответ Богдана и обрадовал подкомория, но от дальнейших расспросов он воздержался, заметя нерасположение гетмана к интимной беседе.

Уже солнце повернуло за полдень, когда вдали на возвышенности показались стены и башни сильно укрепленной крепости. Богдан остановил войско, подозвал к себе старшину и сделал распоряжение наступать быстро к крепости развернутым фронтом, окружать ее со всех сторон и при первом громе из его гетманской гарматы бросаться на штурм, а для рекогносцировки отрядил авангарды Золотаренка и Кречовского.

— Не стоит, братцы, и шанцов копать для какой-либо горсти пилявских тхоров,— говорил гетман,— заберем их всех в норах одним нападом, и квит! Только вот что,— возвысил он до суровости голос,— передайте всем мой строгий, непреложный наказ: бить только оружных, безоружных щадить, а к женщинам и детям не сметь и пальцем приткнуться! Ну, счастливо, друзья! — заключил он.— Полдничаем все в Збараже, а старшину я приглашаю на трапезу к себе в замок. Помогай бог! — крикнул он зычно и, махнув булавою, помчался за авангардом вперед, провожаемый восторженными криками выстроившихся войск.

## LVIII

С лихорадочною поспешностью, горя страшным нетерпением, устраивал Богдан войска, занимал господствующие возвышенности арматой и изумлялся выдержке неприятеля, позволявшего безнаказанно, без единого выстрела, готовить у себя под носом к штурму войска. Но не успел он еще сделать всех распоряжений и открыть по фортам артиллерийский огонь, как к нему подскакали посланные на рекогносцировку Кречовский и Золотаренко и объявили, что крепость брошена поляками и город совершенно пуст. Это известие было до такой степени невероятным, что все усомнились в нем так же, как не поверили было сначала и в пилявское бегство.

— Не может быть! — воскликнули разом Немирич, Богун и Выговский.

— Подвох, засада, западня! — возразил взволнованный гетман.— Войска, верно, сидят в закрытиях, а жители — по подвалам и по погребам; безумцы разве могут бросить без защиты такую неприступную крепость.

— А вот же бросили, батьку, и повтикали, ей-богу,— подтверждал раздраженно Морозенко,— и даже брамы не заперли в замке!

— Ну, а место очистили, кажись, поосновательнее, чем в Пилявцах,— заметил Кречовский,— там из живья хоть собак нам оставили, а тут во всем городе ни собачьей, ни ляшской души!

— Ха-ха-ха! — разразился гомерическим смехом Нечай.

— Ха-ха-ха! — подхватила дружным хохотом старшина.

— Ну и штука! Повтекали! Очистили нам квартиры! Вот, братцы, вежливые ляшки-панки, так и нам у них поучиться!

— Ускакали ляхи! Бросили крепость! — понеслись вихрем по войскам крики и зажгли радостным гомоном растянувшиеся громадным полукругом ряды.

— Да как же после этого нейти нам в Варшаву,— вопил Нечай,— если нам гостеприимные хозяева растворяют настежь ворота и подметают стежки?!

— Да и на угощение не скупятся: всякого панского добра презентуют нам вволю! — потирал радостно руки Небаба.

— Эх, славные лыцари, мосцивые паны! — рычал злобно Кривонос, разъезжая по рядам на своем Дьяволе.— Только потехи нам не дают... рука от безделья заклякла!

— Спасибо ляхам, спасибо! — вспыхивали то в одном, то в другом месте восторженные возгласы, сливаясь в неумолчный, перекатывавшийся волной рев.

Один только гетман не принимал участия в заразительном общем веселье, а стоял мрачный и молчаливый, устремив злобный взгляд на возвышавшуюся впереди твердыню.

Наконец гетман сдавил острогами коня и, выскочив галопом вперед, поднял высоко булаву. Все вблизи смолкло, только вдали еще гудели умолкавшим прибоем войска.

— Слушать наказ! — поднял голос Богдан.— Немедленно стройно, в боевом порядке вступать в город! Ничего не жечь! Сычу занять все вартовые посты, обыскать дома и подвалы, перерыть все закоулки и привести ко мне живьем найденных, хотя бы попался и парх! Мне нужно «языка»! Так слушайте же и передайте всем,— крикнул он зычно,— пальцем никого не сметь тронуть — и баста!

Тихий гомон пробежал после гетманских слов по рядам войск и замолк в отдалении.

Стройно, с распущенными знаменами, при звуках сурм и звоне бандур вступали войска в мертвый город. По пустынным узким улицам и по площадям видны были следы торопливого бегства, но особенного беспорядка не замечалось.

Впереди войск ехал величественно окруженный старшиной гетман, направляясь к главному замку; угрюмое выражение его лица не гармонировало с общим ликованием. Он соскочил с седла и остановился на ганке комендантского дома. Из темного отверстия брамы медленным беспрерывным потоком вливались на площадь войска, заполняя ее сплошною массой, и растекались быстрыми ручьями по улицам. Гетман, напрасно прождав на ганке сведений от разведчиков, вошел наконец с нескрываемою досадой в комендантский рабочий покой. В комнате царил беспорядок; шкафы были раскрыты, книги, бумаги и письма валялись на полу кучами; видно, впрочем, было, что хотя и торопливо, но все-таки

хозяева собрались и уложили что поценнее, а не бежали внезапно, без оглядки, как из пилявского лагеря.

Гетман бросил на все беглый проницательный взгляд и промолвил сурово к вошедшим за ним Богуну и Выговскому:

— Нет, среди нас завелся, вероятно, какой-либо шпион!

Богун и Выговский переглянулись между собою тревожно.

— Паны были предуведомлены о моем походе на Збараж, это несомненно, и извещены заблаговременно, иначе не успели бы они уложиться и скрыться и мы бы их накрыли живьем.

— Да, да, это так,— подтвердил Богун,— только неужели возможен среди нас такой иуда?

— Был же возможен Пешта, — улыбнулся горько Богдан,— и торговал моею головой!

Слова гетмана вскоре стали известны старшинам, а через них и войскам; все встретили эту мысль с страшным негодованием, но вместе с тем и верили ей: действительно, все, что было поценней и не так громоздко, увезли паны, а остались в городе, сравнительно с Пилявцами, пустяки... Это разочарование возбуждало в войсках сильный ропот; нашелся немедленно и объект, на котором сосредоточились подозрения.

Сначала они пали было на Немирича, потом на Выговского, на Тетерю, но все это сразу оказалось бездоказательным и неправдоподобным.

Наконец один козак из полка Чарноты вскрикнул неожиданно:

— Стойте, братцы, стойте! Не ляховка ли это нашего пана полковника?

— А что вы думаете? Это верно!—подхватил другой.

— Уж эта мне ляховка! Уелась в печенки! — проворчала и находившаяся в кружке Варька.

— Кому и быть, как не ей,— глухо отозвалась толпа.

— Гай-гай! — покачали уже уверенно головами более старые.— Негоже славному лыцарю возиться с бабой в походе!

Безапелляционное решение кружка вместе с ропотом стало переходить от одной группы к другой и завладевать умами всего козачества. Не будь Чарнота общим любимцем, заслужившим своими доблестными подвига-

ми глубокое уважение всего войска, то с этой ляховкой, с этой коханкой, толпа расправилась бы немедленно и по-свойски, но имя Чарноты сдерживало ее возраставшее негодование.

Слыша угрожающие толки кругом, Варька уже жалела, что сгоряча обмолвилась словом; она предвидела, что страшная расправа с паней Викторией, порученной ей для досмотра, огорчит бесконечно Чарноту и навлечет на нее его гнев.

Действительно, под Корцом еще, когда Виктория осталась в палатке Чарноты и, охваченная наплывом долго сдерживаемой страсти, клялась ему в вечной любви, когда она, воспламеняясь сама в бурных и пылких объятиях ненасытного и неотразимого как в боевых схватках, так и в нежных ласках козака,— там еще Варька была призвана на совет и дала слово славному лыцарю и герою, дружеское слово, помогать ему в этой сердечной справе и приютить настоящую коханку и будущую жену своего полковника.

Оставаться Виктории в палатке атамана было не только зазорно, но, с точки зрения тогдашних нравов, даже преступно, а потому Чарнота и пристроил свою коханку к жиночому куреню, под непосредственный надзор Варьки, на скромность которой он полагался вполне. Но шила в мешке не утаишь, и скрываемая тайна скоро стала достоянием всех. Товарищество, впрочем, отнеслось к понятной всякому слабости не только снисходительно, но даже с чувством одобрения: козачьему самолюбию льстило, что княгини, чуть ли не королевы, поступают теперь в любовницы к козакам... Но козаки, находившиеся под перначом Чарноты, снисходя к своему полковнику, смотрели все-таки враждебно на ляховку и приписывали ей всякие невзгоды... Вот почему и теперь они дали полную веру догадке: не шпионит ли ляховка?

Чарнота же, опьяненный сладкими порывами страсти, все свободное от занятий время жег в объятиях своей обаятельно-дивной Виктории и тем возбуждал против нее еще больше своих покинутых отчасти товарищей. В чаду наслаждений он и не замечал, как сама Виктория к нему изменилась: помириться с этою грубою обстановкой она не могла, соединить свою княжескую корону с козачьим шлыком было непосильною для нее жертвой, а вернуть этого красавца витязя в лоно

шляхетства она теряла надежду. Кроме того, она была убеждена, что раз поднимется серьезно могучая Речь Посполитая, то перед этою силой растает, как туман перед солнцем, мятежное хлопство, и тогда все эти чарноты станут банитами, а это будет неминуемо, так как угоревшие от случайных побед дикари не знают предела своим желаниям и неудержимо влекут себя к каре... В последнее время она стала чаще задумываться над своим положением и даже искать из него выхода.

Гетман в тревоге и раздражении не мог даже присесть, а все ходил взад и вперед по покою, то посматривая в окно на метавшихся по всем улицам и переулкам козаков, то подбрасывая изредка ногою валявшиеся на полу ворохи написанных всякими почерками бумаг. Вдруг его взор приковала к себе мелко исписанная женскою рукой бумажка.

Богдан задрожал, вспыхнул весь и схватил этот клочок брошенной бумаги; гетман так был взволнован, что не знал, куда и деться с своею драгоценною находкой, и, несмотря на то, что был один в комнате, забился с ней в угол; но там оказалось темно для чтения мелкого почерка; наконец он сообразил и подошел с бумажкой к окну. Письмо было написано женскою рукой, но незнакомым ему почерком. Это разочаровало гетмана; он хотел от досады разорвать его на клочки, но несколько слов заинтересовали его, и он прочел обрывок; оказалось, что какая-то пани извещала коменданта о силах Хмельницкого, о его намерениях идти на Збараж и умоляла спасти ее. «Кто такая пани? Откуда она знает, что делается в лагере?»—задавал себе гетман вопросы и не мог подыскать к ним ответов; одно только ему было ясно: что завелся в лагере шпион, что он через какую-то пани сносится с неприятелем и передает ему гетманские тайны.

— Да, я угадал сразу, что есть у нас шпион,— сказал громко Богдан, брякнув саблей,— есть, и нужно его вывести на чистую воду!

В это время раздался говор многих голосов на ганке, сопровождаемый взрывами хохота, и Сыч, окруженный толпой старшин и козаков, вошел победоносно в комендантский покой, придерживая своей могучей дланью за шиворот тощую, согнувшуюся фигуру лысого шляхтича

с пачкой бумаг под мышкой. Лицо Сыча было красно, мокро и сияло торжеством победы.

— Нашел, ясный гетмане, обрел лядского шпиона! — закричал он еще в дверях, приподнимая в руке свою жертву.

— Кого? Где? В чем дело? — встрепенулся Богдан, заинтересованный этим явлением.

— Сей есть соглядатай из стана филистимлян,— заявил величаво Сыч, останавливаясь перед гетманом и выпуская из рук обезумевшую от страха фигуру.

Лысый шляхтич как стоял, так сразу и упал на колени и, протянувши к небу худые, как две жерди, руки, простонал едва слышным голосом:

— Литосци!

— Ге-ге, теперь возопил гласом велиим! — заговорил, улыбаясь во весь рот и шумно переводя дыхание, Сыч.— А что он шпион, так и паки реку. Я его сцапал во рву вот с этими самыми бумагами... Хотел было дать драла, но аз накрыл его правицей. «А что ты,— спрашиваю,— такой-растакой сын, здесь поделываешь?» Так он такую понес околесицу, что не соберешь и в мешок. «Я,— говорит,— вольный слуга какого-то Аполлона». А я ему: «Пойдем к гетману на расправу, старая ворона!»

Во все время доклада Сыча шляхтич опустил простертые руки и шептал только дрожащими, побелевшими губами:

— Литосци, литосци, ясновельможный!

Старшина хохотала, глядя на этого шляхтича, да и трудно было удержаться от смеха: его длинное, худое лицо, искаженное ужасом, с всклокоченными жидкими волосами и открытым ртом, было очень комично.

— Как имя? — спросил строго гетман.

— Яков Кобецкий... из Хмелева,— едва вымолвил, трясясь как осиновый лист, шляхтич.

— Чем занимаешься?

— Служу музам и грациям.

— Кому?

— Музам и грациям,— вспыхнул поэт.

— Что ж ты делал во рву?

— Когда я окончил оду на победу славной шляхты над схизматами, то тогда лишь заметил, что крепость пуста, что все бежали... Ну, я испугался...

— И остался во рву?

— Обронил там свои сладкозвучные вирши... и вернулся за ними.

— А чего ж ты бежал?

— Что же, и Пиндар бежал[55],— вздохнул глубоко несчастный поэт.

— А когда отсюда вышли войска, жители и куда направились?

— Клянусь Парнасом, не знаю... Позавчера было шумно везде, и я искал уединения, чтобы в тиши настроить свою лиру... но шум и гвалт меня преследовали... Я прятался с робкою музой, но, увы, только вчерашний день был покоен и тих и вдохновил меня...

Взрыв хохота прервал шляхтича; он стал испуганно озираться по сторонам и замолчал.

Богдан становился раздражительнее и мрачнее; общая веселость не гармонировала с его душевным настроением.

— А кто здесь был? Одни ли войска? Или и шляхетские семьи?

— О, здесь были розы... здесь сверкали на земле звезды... здесь блистала красота! Я порвал много струн в своем сердце на песне...

— Какие фамилии здесь были? — топнул гетман ногою.

— Ай, литосци! — закрыл руками глаза себе шляхтич.— Я фамилий не знаю... мне они не нужны... только красота...

— Так ты ничего не знаешь? — прикрикнул на него Богдан.

— Ой, ясноосвецоный пане, я не виноват! — стонал и всхлипывал с отчаянием служитель муз и граций.— Я прежде писал оды полякам на победы их над хлопами, а ныне я стану писать оды вам на победы над шляхтой.

— Не нужно нам твоей продажной музы,— прервал его предложение гетман,— уведите этого поэта, где взяли, в ров... а нам, коли никого нет, оставаться здесь нечего... Собирайте войска! — сказал сурово Богдан и махнул рукой, чтобы увели пленника.

Все, заметив неудовольствие гетмана, поспешили выйти из комнаты.

Один лишь Чарнота задержался на время и по уходе всех сообщил интимно Богдану, что в войсках идет волнение, что причин его он хорошенько не разобрал, но,

видимо, народ подозревает кого-то в потворстве ляхам и в предательстве, а потому сделанное им сейчас распоряжение поднимет целую бурю,— войска же устали и рассчитывали вознаградить себя хоть добычей, а тут снова им объявлен поход.

— Раз я сделал распоряжение, брате, так оно нерушимо,— ответил резко Богдан.— Гетман — не баба, чтоб менял свои слова. Этак, пожалуй, и во время битвы еще станут просить себе отдыха. Успеют отлежать и дома свои бока!

— Как дома? — изумился Чарнота.

— Так дома: не вперед мы пойдем, а назад[56]. А вот относительно предательства так они правы. У нас завелись какие-то шашни с панями, а те передают все, что у нас делается и предполагается, нашим врагам.

Чарнота был поражен сначала словом «назад» и только что хотел на него запальчиво возразить, как последние речи гетмана просто отняли у него способность говорить: ему показалось, что гетман намекал на него прямо и что в этом намеке было столько оскорбительного подозрения, столько чудовищной лжи на его возлюбленную Викторию; он побледнел смертельно и почувствовал, как в груди его заклокотал огненный поток и зажег дыхание расплавленною струей.

— Да, завелись,— продолжал Богдан, не предполагая вовсе, что каждое его слово било страшным молотом по голове Чарноты,— на вот письмо, я его нашел здесь у коменданта, прочти его, ты хорошо знаешь по-польски; оно тебе объяснит многое... прочти и выследи мне иуду... Тебе, мой друг, поручаю я это.

Чарнота почти выхватил письмо из рук гетмана и, взглянув на бумажку, чуть не упал,— все перед ним закружилось и зашаталось, буквы в письме налились кровью. Это письмо принадлежало руке его дивной Виктории.

— Змея! — застонал он, сжимая в руке эту убийственную улику, и опрометью выбежал на майдан.

## LIX

Не помня себя, не сознавая даже вполне ужаса разрушений, опустошивших его душу и сердце, Чарнота спешил к Виктории, к своему солнышку, согревшему,

хотя и поздно, его сиротливую жизнь, спросить у нее, доведаться, правда ли все это? Ее ли это рука? Ведь может же быть фатальное совпадение, ведь не зверь же она косматый.

— О господи, отврати! Спаси меня от позора! — шептал он, торопливо пробираясь сквозь толпу.

Чем ближе он приближался к усадьбе, занятой Варькой, тем гуще становилась толпа среди бурливших, сходящихся и расходящихся групп людей, рос угрожающий ропот и слышались уже вылетавшие, как ракеты, слова: «Что ж это, братцы, за атаманье? Обзавелись ляховками и из-за них потурают нашим врагам! Не надо нам таких обляшков! Тащи сюда бабу!»

Чарнота ринулся к усадьбе; появление его, общего любимца, несколько смирило мятеж.

Как раненый зверь, почуявший в груди смертельную рану, вскочил Чарнота в светлицу. Варька с двумя бабами стояла у дверей, готовая заплатить жизнью за вверенную ее защите пани; сама Виктория сидела в углу, бледная и прекрасная, как лилия в лунную ночь.

— Ах, это ты! — поднялась она порывисто с места.— Спаси меня!

— Скажи мне, на бога,— схватил ее за руку Чарнота и поднес другою к ее глазам скомканное письмо,— это ты писала? Это твоя рука?

Виктория взглянула на письмо... и зашаталась.

— Скажи, признайся, во имя всех святых! Молю... во имя чести моей... во имя нашей любви... ты ли это писала?

— Я,— уронила княгиня угасшим голосом, чувствуя, что в этом слове прозвучал над ней смертный приговор.

— А! — страшно застонал Чарнота и так сжал себе пальцы левой руки, что из-под ногтей выступила кровь.— Пойдем! — взял он ее порывисто за руку.

— Куда? — отшатнулась в ужасе Виктория.

— Ты изменила — и тебе больше со мною не жить,— произнес он, не глядя на нее, глухим, клокотавшим голосом.— Не бойся: тебя при мне никто пальцем не тронет. Я дам тебе сам желанную свободу.

Княгиня затрепетала: она угадала своим сердцем, что минута расчета с жизнью пришла, что от нее не уйти, что ее влекут на суд разъяренной толпы хлопов,

и это последнее сознание пробудило в ней чувство презрения к своим судьям,—она гордо подняла свое княжье чело и твердою поступью вышла за Чарнотой на ганок.

Появление Чарноты и Виктории заставило сразу умолкнуть толпу; величественная красота ее и горделивое, непреклонное выражение лица произвели даже на закаленных в боях воинов сильное впечатление.

— Что, панове-товарищи, хороша ли моя коханка?— обратился к толпе Чарнота.

— Хороша, что и говорить! Писаная, малеваная! — раздался кругом одобрительный шепот.

— А заслужил ли я у вас, панове, чем-либо, чтоб сохранить за собой эту добычу, эту красу?

— Заслужил, заслужил! Живи с ней, — кричали уже иные, — ты наш любый атаман, все за тобой пойдем!

— Спасибо, друзи! — ответил глухо Чарнота и продолжал порывисто: — А что, панове-товарыство, ожидает того, кто изменяет отчизне и предает названных братьев врагам?

— Смерть! — раздался один страшный и единодушный крик.

— Смотрите ж и знайте, что такое козацкая правда! — вскрикнул Чарнота, и быстрее молнии сверкнул клинок в руке козака... Послышался свист, мелкий шипящий звук, и чудная голова с раскрытыми от ужаса глазами упала на крыльцо и покатилась по ступенькам к ногам ошеломленных козаков.

Ахнула от ужаса и занемела толпа, а Чарнота, не оглянувшись на грузно упавший за ним труп, бросился вперед и закричал не своим голосом:

— А теперь, друзья, пойдем к гетману и спросим его, почему он не ведет нас на Варшаву?

— Ох, Зося, что с тобою, ты так бледна? Опять что-нибудь недоброе?

— Моя злота, моя ясна пани, такие ужасы творятся кругом,— видно, наступают наши последние дни! Все панство сбегается со всех сторон сюда, в Збараж![57] Скоро нельзя будет найти в городе ни одной свободной норки, а там, за этими стенами, в открытом поле, ужас и смерть... Кругом снует осатанелое хлопство.

— Езус-Мария! Но что же слышно... там... среди панов? Я избегаю их.

— Ох, пани! От одних рассказов волосы подымаются на голове. Все, все предсказывает нам гибель! Сегодня в полдень,— это случилось при всех,— на небе не было ни единой хмарки, и вдруг ударила молния прямо в знамя гетмана Фирлея и разбила его пополам, а когда начали копать жолнеры окопы, то все выкапывали скелеты и кости... Ночью все видели на небе над нами кровавый крест. Слава богу, что хоть князь Иеремия согласился присоединиться к нам, на него только надежда.

— Но кто упросил его, не знаешь?

— Сам гетман Лянцкоронский; говорят, что гетман Фирлей предлагал князю уступить свое регимептарство, но князь расплакался и сказал, что готов служить под начальством такого почтенного старика. Ох, только что же теперь поможет нам и князь? Хмельницкий уже выступил, а у него, говорят, столько войска, что солнца свет темнеет, когда оно движется перед ним!

— О свента матко! Что ж это будет с нами? — простонала Марылька, заламывая руки.

— Несчастие, горе, пани! Если нам не удастся вернуться к гетману Богдану, мы погибли!

— Вернуться к гетману! — вскричала горячо Марылька.— Зачем? Для того, чтоб он велел нас поскорее повесить?

— Для того, чтоб он сделал пани своей гетманшей, своею королевой.

— Ах, что ты, Зося! — перебила ее раздражительно Марылька.— Не говори, оставь! Ведь вот уж скоро год, как мы послали к нему Оксану, но и до сих пор он не обозвался ко мне ни единым словом! Конечно, он не получил моего письма, да и ненавидит меня!

— Моя злота пани, отчаяние наводит вас на такие мысли; клянусь, гетман любит мою ясную пани и получил ее письмо. Что же могло случиться с Оксаной? Ведь она их, хлопской, веры, мы дали ей столько денег.

— Ее могли и наши убить, а если она дошла благополучно, то тем хуже, тем хуже,— продолжала раздраженно Марылька,— значит, он отвергнул письмо. Целый год, и он, гетман Хмельницкий, не может найти способа обозваться ко мне хоть единым словом!

— Но моя пани забывает, что гетман не знает, где

теперь и искать нас! Ведь пани в своем письме не назначала точно, мы сами очутились нежданно в Збараже, а после пилявецкого поражения вместе с другою шляхтой отсюда бежали, а ведь гетман пришел-таки к нему; и разве пани забыла, как рассказывали потом, что когда он не застал нас в Збараже, то пришел в такую фурию, что даже мертвых велел выбрасывать из гробов?

— Потому, что жертвы выскользнули из его рук,— усмехнулась горько Марылька.

— Нет, потому, что он стосковался по своей королеве и не нашел ее там. Опять вот вчера я слышала от прибывших панских слуг, что гетман выслал страшный загон на Литву,— он ищет нас.

— Для того, чтоб снять с живых шкуры.

— Но, моя дрога пани...

— Ай, что ты говоришь мне, Зося! — перебила снова служанку Марылька и, вставши с своего места, нервно заходила по комнате.

За истекший год Марылька слегка побледнела и похудела; но красота ее получила вследствие этого еще какой-то особый жгучий оттенок. Грудь ее подымалась порывисто; потемневшие от волнения огромные синие глаза вспыхивали каким-то отдаленным затаенным огнем.

— Нет, нет,— заговорила она снова взволнованно, отрывисто,— я не верю, не верю... Вот же Чарнота отрубил голову княгине Виктории, а ведь говорят, что он любил ее без ума.

— Княгиня сама хотела бежать от него, а пани увез ли силой...

— Ах, что там! — махнула безнадежно рукой Марылька и опустилась в изнеможении на диван.— Все они звери,— прошептала она угасшим голосом и передернула плечами, словно ее всю охватило морозом.

В комнате водворилось молчание. За высокими окнами сиял яркий и жаркий июньский день; с узкой городской улицы доносился шум и гомон беспрерывно снующей толпы.

На последнее замечание своей госпожи Зося не нашлась ничего ответить: несмотря на всю свою энергию и веру в непобедимые чары Марыльки, одно напоминание о зверствах козаков заставило и ее вздрогнуть от холода в этот жаркий июньский день. «О матко

найсвентша, единое спасение для них — вернуться во что бы то ни стало к Хмельницкому, иначе погибель, погибель горшая, чем смерть!» Зося бросила пытливый взгляд в сторону Марыльки.

Марылька сидела в углу дивана, прижавшись к его спинке и устремив в сторону пристальный взгляд. Она задумалась так глубоко, что не слыхала ни вздохов Зоси, ни доносящихся с улицы печальных звуков колоколов, ни шума и гомона толпы.

Да, почти год прошел с тех пор, как она послала письмо к Богдану, а ответа все нет... Она не верит любви Богдана. Нет, и верит и не верит... «Ох, если б только знать наверное, потому что нет сил больше терпеть такую жизнь!» И Марылька стала перебирать в своем уме все промелькнувшие за этот год события и не могла вспомнить ни одного, на котором остановился бы без отвращения ее взор. Этот ужасный хлопский бунт, который едва не стоил им жизни, поспешное бегство из Литвы, беспрерывный ужас, ночи и дни, проведенные в карете, в оврагах, в темных лесах... Ежеминутное ожидание смерти... Марылька вздрогнула и еще крепче прижалась к дивану. Перед ее глазами встали, как живые, все эти ужасные картины: выжженные села, груды валяющихся по дороге тел и черные тучи воронья, кружащиеся над покинутыми полями. Целых два месяца ехали они то к Вишневцам, то к Корцу, то к Збаражу, выбирая самые окольные дороги, отправляясь в путь только поздней ночью, и наконец прибыли в эту укрепленную крепость. Наконец-то можно было хоть немного отдохнуть. В Збараже собралось все лучшее панство и жизнь летела бурною рекой: пиры, обеды, танцы... Вельможная шляхта была на словах так храбра и отважна, все были так уверены в победе над хлопством, что Марылька даже стала бояться за Богдана и за свое письмо; она могла бы забыть в вихре веселья все ужасы, пролетевшие над ней страшным сном, но недовольное, надменное отношение всех к ее мужу оскорбляло ее самолюбие, вызывало раздражение к своей участи и заставляло больше уединяться... В уединении она, впрочем, начала было успокаиваться, и вдруг эта страшная весть о пилявецком поражении и снова бегство, бегство безумное, паническое! Все летело из Збаража, захватывая лишь ценности. И эти отважные, храбрые шляхтичи сами ста-

скивали с телег больных женщин и детей, чтоб самим занять их места и лететь сломя голову вперед. Куда — никто не знал и не думал об этом. Одно только помнил каждый: вперед, вперед, подальше от Богдана! Как доскакали они до Варшавы, Марылька сама не знает; она помнит только, что всю дорогу со всех сторон она слыхала один ужасный крик: «Хмельницкий идет!» Чуть останавливались они, измученные, голодные, на короткий привал, как снова раздавался где-нибудь этот безумный вопль, все срывались с мест и, забывая усталость, истому и голод, снова летели вперед. В пять дней они добрались до Варшавы... Но и здесь не было отдыха! Бр! — передернула плечами Марылька, вспоминая отвратительные дни, проведенные ею в Варшаве, и гвалты при избрании короля[58], и торжества, смешанные с паникой, вызывавшей к ним враждебные отношения, и низкопоклонство ее мужа, и отвратительные, отвергаемые ею ласки его... Но в это время громкий стук в двери прервал ее размышления. Марылька вздрогнула.

— Что это, Зося? К нам стучат?

— Да, пани, сейчас узнаю, кто там,— ответила наперсница и торопливо выбежала из комнаты. Через минуту она вернулась и, сообщивши Марыльке, что к ней идет пан Чаплинский, почтительно скрылась в дверях.

На лице Марыльки отразилось нескрываемое отвращение; она встала с места и устремила на двери полный ненависти и презрения взгляд. Послышались тяжелые шаги; половица скрипнула, и в комнату вошел Чаплинский; он осторожно притворил за собой двери и с заискивающею улыбкой торопливо подошел к Марыльке.

— Крулево моя,— заговорил он шепотом, поднося почти насильно руки Марыльки к своим жирным губам и покрывая их влажными поцелуями,— нам надо поскорее предпринять что-нибудь. Я только что от гетманов... Все говорят, что Хмельницкий выступил... Еще неизвестно, куда он двинется, но если пойдет на Збараж...

— То мы будем защищаться. Разве может нас испугать подлый хлоп? — перебила Чаплинского насмешливо Марылька и смерила его презрительным взглядом с ног до головы.

— Конечно, конечно! — смешался Чаплинский. — Я всегда... готов... и рад... но один в поле не воин; а разве

можно положиться на этих трусов? В войске и теперь паника... Опять повторятся Пилявцы, Корсунь...

— Но что же думает предпринять пан?

— Бежать отсюда, пока еще не поздно.

— Куда бежать?

— Подальше, ну, хоть в Варшаву...

— В Варшаву? Ха-ха-ха! — разразилась Марылька презрительным хохотом и продолжала шипящим от злобы голосом: — Нет, пане! Набегались мы уже за этот год довольно! Были уже и в Варшаве. Хорошо, весело там жилось! Пан, верно, уже забыл, как все нас чуждались, как никто не хотел принимать нас, как все с презрением, с отвращением смотрели на пана! Ха-ха-ха! В Варшаву! А из Варшавы куда побежим мы, опять в Збараж? А из Збаража в Гданск или в Москву?!

— Но что же делать, моя королева? Во всем этом не я один виноват.

— О да, конечно, конечно! — воскликнула Марылька.— Я упросила пана!

— Дорогая моя, теперь не время спорить об этом,— продолжал торопливо, умоляющим тоном Чаплинский,— надо думать о своем спасении... Я привел с собой двух шляхтичей... они могут передать нам много о Хмельницком. На бога, выйди к ним. На нас и так все косо смотрят, а ты еще чуждаешься всех... Ведь знаешь...

— Знаю,— перебила его надменно Марылька и направилась к дверям; Чаплинский бросился вслед за ней. Они вошли в соседний покой.

— Вот, радость моя,— произнес Чаплинский слащавым тоном, указывая Марыльке на двух шляхтичей, ожидавших их там,— я привел к тебе двух этих благородных шляхтичей; их любезность и ум помогут нам весело скоротать это скучное время. Впрочем, одного из них моя крулева хорошо знает.

— Пан Ясинский? — вскрикнула Марылька с изумлением и устремила на подошедшего к ней Ясинского пристальный взгляд.

Ясинский слегка смутился и опустил глаза.

— Он, он, шельмец! — продолжал шумно Чаплинский, хлопнув Ясинского приятельски по плечу.— Сознайся, пане, испугался ты тогда здорово хлопов, когда бежал от нас в Гущу к пану воеводе брацлавскому?

— Но, пане, не бежал, а торопился присоединиться к войску,— перебил его Ясинский.

— Однако пан и с гуртом в поле не выходил.

— Пан воевода брацлавский предпочитал перо мечу и мирные переговоры — бранным кликам. Но по дороге я перебил массу быдла... Вот свидетели моих подвигов,— обнажил он немного шею.

Марылька подняла с изумлением глаза и заметила на ней сзади короткий рубец.

— С тылу,— улыбнулся Чаплинский,— впрочем, всяко бывает. Все же значок. Но пан, сколько знаю, не был в ассистенции воеводы, когда тот ездил в Киев на свидание с Хмелем [59].

— Оставался в обороне замка... Был еще болен, на шаг от смерти.

— Но, но, но!—погрозил ему шутливо Чаплинский.— Однако пусть будет так, как хочет пан. Во всяком случае, я рад, душевно рад видеть пана. А вот, богиня моя, пан Дубровский,— указал он на другого, немолодого уже шляхтича, бывшего в свите воеводы в Гуще,— пан был в ассистенции воеводы и может нам рассказать много любопытного об этом подлом хлопе.

— Разве пан воевода тоже прибыл в Збараж? — изумилась Марылька.

— Да, моя ясная пани, мы принуждены были покинуть Гущу. Хмельницкий уже выступил, огромные шайки хлопов рыщут повсюду, нам едва удалось доскакать сюда.

— И все это сделали наши поблажки да снисхождения,— заметил злобно Чаплинский.— Если б король после своего избрания, тогда, когда Хмель возвращался на Украйну, послал ему вместо любезных лыстов двадцать тысяч послов с горячими упоминками, не принуждены бы были благородные шляхтичи скитаться теперь по белу свету, оставивши свои дома на разграбление подлому быдлу.

— Но, пане подстароста, теперь для Хмельницкого двадцать тысяч войска все равно, что для меня двадцать мух, ей-богу, правда,— возразил Дубровский.— Видели мы там много чудес, слава богу, что еще головы свои целыми унесли!

— Гм... гм...— промычал Чаплинский.— Однако ты

так напугал своими словами мою пани, что она и не просит нас садиться, не предлагает нам и чарки вина.

— Прошу прощения, ясное панство,— спохватилась Марылька и покраснела.— Об этом Хмеле так много говорят теперь, что поневоле забываешь из-за него все!

Гости уселись; через несколько минут слуги внесли и поставили на столе фляжки и чарки. Чаплинский налил себе и двум гостям; все присунулись к столу; Марылька села тоже.

## LX

— Ну, так расскажи же нам, пане ласкавый, что и как поделывали вы в этом лагере Тамерлана? [60] — обратился Чаплинский к гостю.

— Признаюсь, пан подстароста выразился о нем верно,— усмехнулся Дубровский,—клянусь честью, отцы наши не поверили бы моему рассказу. Начну с того, что нам удалось только с величайшим трудом добраться до этого гнезда змей. Ясное панство знает, что после избрания короля Хмельницкий согласился отступить в Украйну и там ожидать нашего прибытия; итак, в декабре мы выехали из Варшавы, но, добравшись до Случи, принуждены были остановиться: двигаться дальше не было никакой возможности. Мы послали к гетману посла с просьбой, чтобы он дал нам провожатых, и тот прислал нам одного из своих полковников; таким образом, только под защитой козаков решились мы двинуться в глубину этой цветущей когда-то и ужасной теперь страны. Пусть навсегда ослепнут мои очи, если мне доведется увидеть еще раз то, что мы увидели там. Да, признаюсь, напрасно ученые ищут ада, — в Украйне теперь хуже, чем в аду! Никто, уверяю вас, панове, и не думает там о плуге и бороне; денег, серебра — сколько угодно, но куска хлеба мы не везде могли достать. Поверит ли панство, что за стог сена нам приходилось платить по шесть флоринов.

— По шесть флоринов! — вскрикнули разом Чаплинский и Ясинский.

— Да и то доставали с большим трудом; там никто не собирается ни пахать, ни сеять,— решили, что достанут все готовое у панов.

— Проклятое быдло! — прошипел Чаплинский.

— Ну, вспомним мы это им не раз! — добавил Ясинский.

Марылька бросила на них полный презрения и ненависти взгляд, но не произнесла ни слова.

— Итак, едва в феврале удалось нам добраться до Киева,— продолжал Дубровский.— Здесь мы передохнули немного, хотя и тут нами едва не накормили днепровских осетров, и двинулись уже оттуда в Переяславль. Вот тут-то пришлось нам уж так круто, как мы и не ожидали. Хмельницкий, видите ли, поджидал нас, к нему уже прибыли послы из Московии, и из Турции, и из Валахии,— ну, словом, со всех сторон, и старый пес задерживал их,— хотелось, видите ли, ему показать перед всеми, что и гордая Польша шлет к нему, хлопу, своих послов. И он доказал это!

— Сто тысяч дяблов! — ударил кулаком по столу Чаплинский.— И вы допустили это?

— Что было делать? Кругом нас так и шипели, как гады, его полковники,— единое слово сопротивления могло нам стоить жизни. Он пригласил нас явиться на майдан; долго возражали мы против этого желания гетмана, но делать было нечего, и мы должны были согласиться на это. С трудом могли мы добраться к назначенному месту: кругом на далекое пространство стояла сплошная стена козаков. Майдан окружали все иностранные послы со свитами. Нам с нашими дарами пришлось подождать довольно долго, пока на майдан не вышел гетман, и бей меня Перун, если бы я мог узнать в нем старого хлопа! Ей-богу, он окружил себя таким великолепием, что только скипетра ему недоставало, чтоб походить на настоящего короля!

— Быдлысько! — прошипел сквозь зубы Чаплинский и, отодвинувши с сердцем стул, зашагал по комнате.

Марылька сидела молча, жадно прислушиваясь к словам рассказчика; слова Дубровского опьяняли ее, щеки ее горели, глаза блестели возбужденным огнем, голова слегка кружилась.

Ясинский следил за ней пристальным взглядом, но Марылька не замечала ничего, в ее возбужденном мозгу мелькали безумные, пламенные мысли. О да, пусть он спешит сюда скорее, скорее, со всеми своими силами, со всеми несметными полками,— или она будет королевой, или погибнет навсегда!

Между тем Дубровский продолжал, отпивши глоток вина:

— Гетман вышел к нам в парчовом собольем кобеняке, почетная стража окружала его, перед ним несли знамена, бунчуки и гетманскую булаву. Клянусь честью, старый лис хотел показать нам, что и без королевского назначения он сам по себе стал уже давно гетманом в Украйне.

— Не гетманом — разбойником, собакой! — вскрикнул гневно Чаплинский, не прерывая своей прогулки..

— Однако этот разбойник коронных гетманов в полон захватил и заставляет бегать всех панов, как зайцев! — произнесла язвительно Марылька, бросая в сторону мужа не то торжествующий, не то презрительный взгляд.

— До часу, до часу, пани, пока не расплатится за все своею головой на плахе!—захлебывался Чаплинский.

— Ха-ха-ха! Или пока ему не заплатит за все своими головами шляхта, а пан первый?

— Последнего можно опасаться,— подхватил слова Марыльки Дубровский,— силы Хмельницкого растут с каждым днем. Не только все хлопство готово идти за ним всюду по его единому слову, но и все соседние державы наперерыв друг перед другом стараются соединиться с ним. Сам не понимаю, что всему этому причиной?

— Колдовство, колдовство, этому есть несомненные доказательства! — заговорил уверенно Ясинский.

— Смотря на все, поневоле начинаешь верить этому,— продолжал Дубровский.— Мы сами должны были молчать на все, словно у нас онемели языки во рту. Едва только наш славный воевода начал свою орацию, как один из стоящих здесь полковников перебил его, а за ним зарычали уже и все остальные. Клянусь честью, они шипели на нас все, как гады в гнезде, а козаки помогали им со всех сторон; я уж думал, что здесь нам пришел и конец, но Хмельницкий, насладившись нашим унижением, велел полковникам замолчать и пригласил нас на обед. За обедом пошел разговор, и тут-то мы поняли, что гетман теперь уже совсем не того хочет, о чем была речь: не было уже и помину о козацких привилеях или об облегчении восточной схизмы. Гетман прямо заявил нам, что хочет иметь особое королевство Украин-

ское, что козаков будет столько, сколько он захочет, что память об унии должна исчезнуть навсегда. Он требовал еще, чтобы митрополит схизматский восседал среди нас в сейме и чтобы он, гетман козацкий, до маестату королевского належал.

— И что же... что же?! — вскрикнула порывисто Марылька, подаваясь в сторону Дубровского.

— Хлоп, быдло, схизмат проклятый! Он смеет думать об этом! — закричал, захлебываясь от бешенства, Чаплинский и остановился посреди комнаты.— И панство не смеялось этому дурню в глаза?

— Почему же пан сам не отправился с воеводой посмеяться над Хмельницким? — произнесла Марылька с нескрываемою насмешкой и посмотрела в упор на Чаплинского. Чаплинский не выдержал ее взгляда и, проворчавши какое-то проклятие, снова зашагал по комнате.

— Да уж это верно, посмеялся бы ты ему, пане! — продолжал Дубровский.— Нам и так казалось, что пол под нами горит. Чем больше пил гетман, тем больше горячился: он срывался с места, топал ногами, кричал на нас, грозил нам тем, что вывернет наизнанку всю Польшу. Слушая его, мы все подеревенели. Пан воевода начал было убеждать, он даже прослезился не раз, но ни рации, ни пересвазии — ничто не помогало с Хмельницким. Тогда мы поняли, что о мире не может быть больше и речи, и стали хлопотать уже только о том, чтобы вызволить наших пленников, которые находились у него; но и здесь дело окончилось ничем. Несколько раз призывал нас к себе гетман для совещаний, но совещания эти кончались только тем, что он кричал на нас, снова грозил нам испепелить всю Польшу, обещал нам поднять против панов всю чернь...

— Черт побери! — прорычал снова сквозь зубы Чаплинский.— При наших порядках, чего доброго, он сможет достичь этого. Почему было не дать региментарства князю Иеремии? Наставили каких-то схизматов!

— Но ведь пан знает, что Богдан требовал, чтобы князь Иеремия над войском региментарства никогда не имел; он даже в своих пунктах требовал, чтобы сейм выдал ему пана подстаросту и князя Иеремию [61].

— Гм, гм...— промычал смущенно Чаплинский и еще энергичнее зашагал по комнате.

Марылька бросила в сторону мужа быстрый взгляд.

О, каким противным, ненавистным, гадким казался он ей теперь! Волосы Чаплинского были всклокочены, желтые растрепанные усы торчали в стороны какими-то щеточками, жирное лицо было потно. Глаза трусливо, растерянно бегали по сторонам. Марылька наслаждалась видимым ужасом Чаплинского и впивалась в него глазами, словно каждый взгляд ее имел силу острого ножа.

— Да, это уже теперь не тот Хмельницкий, который скрывался от погони Потоцкого в днепровских ущельях,— продолжал Дубровский.— Я говорю вам, что он уже теперь, будучи еще гетманом, сильнее всякого короля. Он грозил, что испепелит всю Польшу,— и он сделает это, клянусь вам. Он говорил, что у него будет триста тысяч войска, а я говорю, что у него будет пятьсот: все хлопство стоит за ним, вооруженное с ног до головы, и готово положить за каждое его слово свои головы, а турки, а татары, а донцы?..

— И пан наверное знает, что Хмель уже выступил?— перебил его Чаплинский.

— Да, как же! Мы едва доскакали сюда.

— И князь Иеремия прислал сюда пойманного хлопа, который говорил, что видел татар уже возле Чолганского камня,— вставил Ясинский.

— А наши окопы, триста перунов, до сих пор не готовы! — проворчал глухо Чаплинский, закусывая свой рыжий ус.

— Что нам помогут эти окопы? Он раздавит нас здесь, как муравейник сапогом,— ответил Дубровский.

В светлице водворилось молчание. Вдруг с улицы донесся чей-то протяжный вопль, за ним другой, третий... Все вздрогнули и переглянулись.

— Что это? — произнес неверным голосом Чаплинский, останавливаясь как вкопанный посреди комнаты и переводя от одного к другому свои выпученные глаза.

— Быть может, вступил князь Иеремия,— заметил несмело Ясинский.

Никто не отвечал. Крики на улице росли с какою-то необычайною быстротой. Это не были радостные, приветственные возгласы,— это были какие-то протяжные, ужасные вопли. На улице стали появляться какие-то беспорядочные толпы народа; все стремились, обгоняя друг друга, к замковым башням и стене.

Все были смертельно бледны.

— Нет, панове,— произнес после минутного молчания Дубровский.— Здесь что-то похуже.

Хотя эта мысль давно уже явилась в головах присутствующих, но слова Дубровского заставили всех вздрогнуть.

— Езус-Мария!—произнесла едва слышно Марылька.

— Окопы... наши окопы! — прошептал растерянно Чаплинский.

И все, не произнеся больше ни слова, бросились поспешно к выходу.

Зося присоединилась к ним.

Улица была запружена народом; держаться вместе не было никакой возможности; вскоре толпа отбросила Зосю и Марыльку в сторону.

— Хмельницкий, Хмельницкий подступает! — кричали отовсюду, и все неслось вперед.

Казалось, какая-то роковая, неизбежная сила, подобная силе водоворота, подхватившего судно и несущего его в свою пучину, влекла их всех к стенам Збаража, чтобы увидеть своими глазами грозную, неотвратимую, подступающую смерть. Настроение толпы передалось Марыльке и Зосе. С безумными, разгоревшимися лицами мчались они, опережая и расталкивая бегущих, и наконец достигли городских стен.

На широких стенах и на зубчатых башнях всюду теснились темными рядами сплошные массы людей. Толпы прибывали с каждым мгновением; слышались всхлипыванья, подавленные вопли... Марылька и Зося с трудом протиснулись по узкой лестнице на вершину зубчатой стены, и перед ними открылась величественная картина.

С высоты городских стен окружающий горизонт казался необъятно широким. Под голубым, безмерно высоким куполом неба расстилалась бесконечная равнина, на которой блестели длинными золотистыми нитями тихие реки, извилистые озера; то там, то сям темнели широкими пятнами леса. С трех сторон окружали Збараж широким темным кольцом два огромные озера. За ними, вдали, среди темного уже леса подымались грозные стены замка князей Збаражских. Огромное пурпуровое солнце уже касалось одним краем горизонта и освещало длинными огнисто-кровавыми лучами величественную картину. Внизу, вокруг свободной от воды стороны Збаража, виднелся лагерь польский, а за ним не докончен-

ные еще окопы; тысячи людей копошились на них; видно было, что работы велись с лихорадочною поспешностью. То там, то сям среди сбившихся беспорядочными толпами войск мелькал простой стальной шишак князя Иеремии. Но никто не смотрел на происходившее внизу; взоры всех с немым ужасом останавливались на недоконченных окопах и снова впивались в противоположную заходящему солнцу сторону. Там вдали из-за самого края горизонта медленно вытягивались по зеленой равнине какие-то черные нити; они ширились, растягивались и, казалось, охватывали весь горизонт.

Вопли и стоны раздались кругом еще громче. Марылька впилась глазами в эту черную, необъятную, медленно растущую массу и занемела.

Вдруг огненный луч солнца скользнул по дали и осветил какую-то белую, быстро двигающуюся по темной дуге точку.

— Хмельницкий! Хмельницкий! Это его белое знамя! — раздался один общий вопль.

Все закружилось в голове Марыльки,— она вскрикнула и упала на руки Зоси без чувств.

Прошел месяц со времени осады Збаражского замка [62] союзными войсками татар и козаков; дни тянулись для осажденных невыносимо медленно и мучительно, и каждый истекший день приближал осажденных к неминуемой смерти.

Когда козацкое и татарское войско обложило весь город, окопы польские не были еще готовы. Лагерь Вишневецкого стоял вне укрепленной линии; татары заметили это и бросились на него. Только отчаянная храбрость и энергия князя Иеремии помогли вишневцам отбиться от татар и войти в польские окопы. Но этот успех мало помог панам.

Настала ночь, темная, мрачная; запылали огни в козацком лагере. С ужасом всматривались паны в эту бесконечную светящуюся цепь, окружившую их со всех сторон, и не видели ей конца, а между этими светящимися точками глухо шумела и рокотала темная трехсоттысячная толпа. Ужас охватил всех; войско неприятеля превосходило их в десять раз; помощи ждать было неоткуда: разве только птица могла бы перелететь через эту

грозную живую стену, обложившую поляков со всех сторон; нечего было и думать прорваться в поле, приходилось стойко ожидать томительной смерти. Войско упало духом. Князь Иеремия употреблял все свое красноречие и геройскую отвагу, чтобы поддержать жолнеров и офицеров.

7 июля Хмельницкий повел первый приступ на польский лагерь; на второй день продолжалось то же. Козаки уже ворвались в окопы осажденных, но сам Иеремия бросился на них со своими вишневцами, и с невероятными усилиями удалось ему не допустить их в сердце лагеря. Морозенко едва не погиб в этой битве, но и князь чуть-чуть не заплатил жизнью за свою безумную, отчаянную отвагу.

С тех пор каждое утро начинали свои приступы козаки. Вокруг польских окопов они вывели свои окопы, выше их, и, уставивши на них свои пушки, палили беспрерывно в польский лагерь; разъяренные войска врывались в окопы неприятеля, и каждый такой натиск уносил за собою сотни и тысячи жертв.

Пули и стрелы крестили по всем направлениям воздух, так что полякам страшно было подымать даже головы. Козаки изготовили гигантские гуляйгородины и, придвинувши их к окопам, поражали из них панов. Отчаяние овладело войсками, многие предлагали бежать и запереться в Збаражском замке, один князь Иеремия удерживал толпу,— где появлялся он со своими горячими, честными словами, там снова подымалась упавшая бодрость и войска готовы были идти с ним на верную смерть.

9 июля поляки, увидевши, что окопы их слишком велики и что у них не хватает сил защищать такое пространство, начали рыть, по совету князя Иеремии, внутри окопов другие, более узкие. 10 июля поляки вошли в новые окопы, а 11 козаки насыпали вокруг польских окопов свои, еще более высокие, и началась снова беспрерывная беспощадная пальба. Ни днем, ни ночью козаки не давали полякам ни одного мгновения покоя. Прошло еще три-четыре дня; сделанные окопы оказались снова слишком широкими, и поляки, по настоянию князя Иеремии, стали рыть внутри своих окопов, уже под городскими стенами, другие, еще более тесные. Но не успели поляки вступить в новые окопы, как козаки бросились

за ними и перебили массу жолнеров. Через три часа возле польских окопов возвышались уже козацкие. Положение становилось невыносимым; ропот и несогласия в войсках усиливались; большинство требовало сдачи Збаража; бунт готов был вспыхнуть ежеминутно.

20 июля в последний раз поляки выкопали внутри своих окопов, уже у самых городских стен, другие окопы, а 21 — на расстоянии тридцати саженей от польских окопов возвышались снова козацкие. Но чем теснее становился круг окопов, тем ужаснее и грознее надвигались бесконечные тучи осаждавших, тем губительнее и смелее разила заключенных беспощадная смерть. Паны вырывали себе ямы и прятались в них, прикрываясь деревянными щитами, знаменами, палатками, но стрелы, пули и ядра находили их везде. От беспрестанных выстрелов полопались польские пушки, да и пороху уже не хватало. Осажденные обливали козаков и татар кипятком, горячею смолой, скатывали бревна, камни, но на место упавших рядов вставали новые и новые. Козаки устроили огромные железные крючки — котвыци — и, спуская их со своих окопов, ловили ими панов и вытаскивали из лагеря.

В войсках вспыхнул бунт; откуда-то распространился слух, что господь карает поляков за находящихся в войске схизматов; мятежники хотели было истребить всех диссидентов и реформаторов; с большим трудом удалось князю Иеремии подавить эту вспышку безумия исступленной от ужаса и страданий толпы. Но это отвратило гибель только на несколько дней. Бунт рос с каждым мгновением; жолнеры отказывались повиноваться и грозили открыть неприятелю ворота. Тогда Иеремия попробовал войти еще в тайные сношения с ханом и рассорить его с Хмельницким; но хан, видя безнадежное положение поляков, не сдавался ни на какие предложения. Оставалось обратиться к Богдану[63]. Скрепя сердце послал Иеремия к козацкому гетману послов; но здесь дело окончилось еще хуже: Богдан потребовал, чтобы ему отдали все земли по Вислу, чтобы все войско положило оружие и выдало ему Вишневецкого и Конецпольского. Никто не мог согласиться на такие условия. У осажденных была еще слабая надежда на короля. Решили известить его и ждать.

27 июля козаки насыпали уже подле самых польских окопов пятнадцать гигантских шанцев и, так сказать, заключили поляков навеки в тесной земляной тюрьме. Наступили ужасные времена. Брат не смел подать помощи брату, священники не могли приготовлять к смерти,— мертвых не успевали хоронить; летний жар, теснота, гниение трупов задушали осажденных. Кроме всего этого, в город вползало страшное, бесформенное чудовище — голод. Приближался конец...

## LXI

Медленно и печально раздавались в Збаражском замке протяжные звуки колокола. Из главного костела, который стоял на Замковой площади, выходили толпы народа; но в этом движенье не было ни обычной давки и суеты, ни сдержанного шума; все выходили медленно, не торопясь; только подавленные рыдания и вздохи нарушали эту мрачную тишину. Выйдя на площадь, толпа не расходилась; люди останавливались группами; они как-то болезненно жались друг к другу, словно искали поддержки один у другого. Они не решались расходиться по своим пустым, полным ужаса домам. Все были бледны и изнурены; женщины не осушали глаз; мужчины прислушивались к неумолкавшим громам выстрелов. Иногда среди общего глухого переката звуков выдавалось какое-то зловещее, страшное шипение; оно проносилось близко-близко, над самой головой. Каждый такой звук заставлял болезненно вздрагивать этих измученных людей; все инстинктивно опускали головы и по прошествии нескольких секунд с ужасом осматривались по сторонам. Это страшное гоготанье не пролетало ни разу безнаказанно,— вслед за ним раздавался или грохот обваливающегося здания, или крики пораженных людей. Удары колокола звучали все тише и тише... Толпа редела...

В притворе костела было почти темно; сквозь открытые двери видна была погруженная в полумрак внутренность костела и несколько распростертых перед распятием фигур.

Из дверей костела медленно вышла в притвор стройная женская фигура, закутанная с головы до ног во все черное, и остановилась возле кропильницы; она

погрузила в святую воду свои пальцы и, прикоснувшись ими ко лбу, занемела в молитве.

— Ах, пани, это вы! А я ищу вас всюду,— раздался подле нее тихий шепот.

Женщина вздрогнула.

— Ты, Зося?

— Я, я!

— Ох, Зося, — сжала Марылька руку служанки своею холодною рукой и заговорила прерывающимся голосом,— пан пробощ такую страшную проповедь говорил: чтобы все готовились к смерти, чтобы исповедывали свои грехи... Конец! Ох, я не хочу умирать! Я боюсь, боюсь, Зося... козаки... истязания... — Голос Марыльки оборвался, она прижала платок к глазам и умолкла, только плечи ее судорожно вздрагивали и выдавали подавленное рыданье.

— Ужас, ужас, пани! — зашептала и Зося, утирая глаза.— Говорят, что на завтра перейдут в город... Ой, пани, мы погибли, погибли; когда начнут брать приступом город, не пощадят никого.

— Ох, что же делать? — заломила руки Марылька.

— Просить, молить гетмана, чтоб взял нас к себе.

— Как просить? Как молить?

— Писать...

— Писать! Писать! Да как же отправить письмо? Кто согласится пойти теперь в лагерь Богдана?

— Подкупить... здесь есть еще много хлопов.

— Ах, что из этого выйдет? Если бы и нашелся такой, разве наши выпустят его из лагеря? Мышь не выскользнет теперь отсюда. Поймают, откроют, казнят... Ох, смерть, смерть! — простонала с отчаяньем Марылька, припадая к стене головой.

— Все равно, и так не лучше будет. Надо сделать все, что возможно, все, что возможно, пани,— шептала с возрастающим ужасом Зося,— и здесь нас ожидает смерть. Уже начался голод, припасов в городе нет... болезни... мор... Попробовать самим прорваться...

— Куда? Отсюда? Да если бы нам удалось прорваться, первые хлопы разорвали бы нас на тысячу кусков! — вскрикнула невольно Марылька.

Но Зося схватила ее за руку.

— Тс... пани, пойдемте отсюда! — произнесла она ше-

потом, оглядываясь в сторону открытых дверей.— Пойдемте отсюда, на нас смотрят.

Действительно, перешептыванье двух женщин обратило на себя внимание; некоторые из распростершихся ниц поднялись и смотрели с ужасом в их сторону, готовясь услышать еще более страшную весть.

Марылька и Зося вышли на площадь. Однообразный перекатный гул орудий не умолкал; иногда только его заглушал грохот разваливающегося здания.

— Домой? — спросила Зося.

— Ах, нет, нет...— ответила торопливо Марылька, судорожно впиваясь в ее руку,— не могу, там смерть...

Они пошли по улицам. Всюду у ворот, у дверей домов стояли сбившиеся кучки мужчин, женщин и детей; видно, оставаться в домах было еще невыносимее, чем слышать этот немолчный грохот орудий. Во многих домах окна были выбиты, крыши проломаны; у некоторых обвалились углы и обнажили внутренность опустелых комнат. На каждом шагу попадались кучи сваленных на голую землю раненых; слышались томительные стоны. Но многие из раненых лежали уже безмолвно, с раздувшимися, позеленевшими лицами; страшное, удушливое зловоние распространялось вокруг этих ужасных куч.

Марылька отворачивалась от этих картин и шла торопливо вперед и вперед, словно думала убежать от этого ужаса, окружавшего ее. Зося не отставала. Вдруг возле них, над самой головой, раздалось знакомое шипенье, затем треск, и что-то огромное и ужасное впилось в стену соседнего дома. Зося и Марылька едва успели шарахнуться в сторону, как в воздух с клубами дыма полетели камни, щепки, осколки, и стена дома с грохотом повалилась вовнутрь.

— Ой, пани, уйдем. Здесь ходить опасно,— схватила Зося Марыльку за руку.

— А дома разве лучше? Еще задавит живых! — ответила с горечью пани.

Зося хотела что-то ответить, но в это время внимание их привлекло какое-то глухое рычанье, раздававшееся невдалеке. В глубине улицы два жолнера с остервенением вырывали друг у друга труп какой-то дохлой собаки. Один из них был широкоплечий рыжий немец, другой — опухший и бледный литвин. Глаза их горели безумным блеском; они не говорили ни слова, а только

глухо рычали, как два оскалившихся зверя... Несколько минут продолжалась эта безмолвная борьба; наконец немец ударил со всей силой в живот своего противника; с глухим стоном повалился тот навзничь, кровь хлынула у него горлом, из обессиленных рук выпала добыча; немец подхватил ее и бросился бежать. Жолнер с трудом приподнялся, он хотел встать — и упал снова... Дикий крик вырвался у него из груди,— он разразился ужасным, раздирающим душу рыданьем.

— Пойдем, пойдем отсюда, Зося! — вскрикнула Марылька.— Я не могу, не могу...

Они бросились поспешно в сторону и снова пошли вперед. Но вот издали послышался звон колокольчиков и из боковой улицы показалась печальная процессия. Впереди несли крест, за ним шли мальчики, одетые в белые сорочки, с зажженными свечами в руках, за мальчиками под балдахином шел ксендз со святым сакраментом, шествие замыкала плачущая толпа. Процессия медленно прошла мимо Марыльки и Зоси и повернула в следующую улицу.

— Ах, все напоминает о смерти! — простонала Марылька, сжимая голову руками и прислоняясь к стене.

— Кругом смерть, пани! Нам надо спасаться отсюда во что бы то ни стало и не ждать больше ни одного дня! — простонала и Зося.

Марылька не ответила ни слова,— она сама неотступно думала о том, как бы дать знать Богдану о себе, и не находила ни одного возможного способа.

Так, занятые своими мыслями, они дошли незаметно до городской стены.

— Взойдем посмотрим, Зося,— сказала Марылька.

Они поднялись на стену. Там и сям стояли на часах жолнеры; несколько жителей смотрели в отдаленье на происходившее внизу. Лагерь польский находился почти под самыми стенами города; в сравнении с козацким он казался таким ничтожным, беззащитным,—с высоты стен Марыльке видны были выкопанные по всем направлениям лагеря ямы, прикрытые бревнами и досками, разбитые возы, торчащие бездейственно пушки, залегшие за брустверами жолнеры. Вблизи самых польских окопов возвышались грозною стеной козацкие валы, черневшие массами людей, уставленные огромными пушками.

День клонился к вечеру; солнце заходило; стычки

военные утихали, только кое-где еще подымалось маленькое белое облачко, а вслед за ним раздавался глухой грохот выстрела. В лагере козацком начинали зажигаться огни; они вспыхивали там и сям на всей равнине до самого горизонта, и не было им конца.

Марылька не могла оторвать глаз от этой ужасной картины.

«Где он, где Богдан? В каком месте этого шумного моря? — повторяла она себе, скользя взглядом по темной массе козацкого лагеря.— Как передать ему весть о себе?»

Вдруг что-то сильно свистнуло в воздухе и прожужжало над самым ухом Марыльки.

— Что это? — вскрикнула она, хватаясь за ухо.

— Стрела,— ответила Зося, нагибаясь и подымая с земли какой-то заостренный предмет, — чуть-чуть не в вас... уйдем отсюда, спрячемся хоть в той башне, пани!

— Черт побери! В самом деле стрела! — раздался в это время подле них грубый голос ближайшего жолнера.— Собаки проклятые!.. Ну, стойте ж, и я вам отплачу!

— Да разве отсюда долетит стрела в их лагерь? — изумилась Зося.

— Из лука-то, может, и нет, а вот из этой штучки — посмотрим,— отвечал жолнер, наклоняясь к арбалету,— вон того здорового, который сидит подле пушки, попробуем снять... А ну!

Он нагнулся, прицелился и спустил пружину. Стрела перелетела через голову намеченного козака и упала за козацкими окопами.

— Донесла! — воскликнули разом Зося и Марылька и переглянулись.

Вдруг глаза их вспыхнули, одна и та же догадка пронеслась молнией в голове обеих.

— Пойдем скорее! — вскрикнула порывисто Марылька, хватая Зосю за руку и увлекая ее за собой.

Через полчаса они снова стояли на прежнем месте; в руке Марылька держала брошенную неприятелем стрелу с крошечным лоскутком бумаги, прикрепленным к ней.

— А что, если не донесет? Если стрела упадет здесь? — прошептала она в нерешительности.

— Выбирать неоткуда, пани, так есть хоть надежда, а без этого — верная смерть! — ответила настойчиво Зося и направилась к тому же жолнеру.

Пока Зося говорила с ним, Марылька вынула торопливо дрожащими от волнения руками из арбалета стрелу и всунула на ее место свою, с прикрепленною к ней бумажкой; затем она отошла в сторону, за выступ стены, и как будто совсем равнодушно стала наблюдать сцены, происходившие внизу.

Между тем Зося после нескольких предварительных комплиментов обратилась к жолнеру с самою обворожительною улыбкой:

— А пан мне не покажет, как спустить вон ту штучку? Хотелось бы мне самой снять хоть одного хлопа.

— А что же, можно,— согласился охотно жолнер и пошел вслед за Зосей к тому арбалету, у которого стояла Марылька.

— А вот, пани, смотрите,— произнес жолнер, наклоняясь к арбалету.— Ну, будем целиться хоть туда,— указал он на одну из ближайших групп козаков.— Вот так, так,— руководил он Зосей.— Теперь только нажать сильно эту пружину — и все тут.

Зося спустила пружину, раздался звон, затем резкий свист, и стрела, описав в воздухе красивую дугу, опустилась за козацкими окопами.

— Перелетела! — вскрикнули радостно Марылька и Зося, забывая обо всем окружающем.

— Да, черт побери, только не попала в дьявола,— заметил досадливо жолнер, отходя на свой пост.

Но Марылька и Зося не ответили ему ничего.

— Пани, пани, смотрите, они подняли ее, они несут,— зашептала, задыхаясь от радости, Зося, показывая Марыльке на групу козаков.

— Где, где? Я не вижу, — шептала Марылька. — Правда ли это, Зося?

— Правда, правда!

— О боже, ты прощаешь меня! — прижала руки к груди Марылька, чувствуя, как слезы подступают у нее к глазам.

Несколько секунд они стояли так молча, наслаждаясь неожиданным успехом, как вдруг за спиной Марыльки раздался хорошо знакомый голос:

— Ах, ты здесь, а я сбился с ног, разыскивая тебя!

Возле них стоял Чаплинский. За это последнее время он изменился до неузнаваемости: он похудел и осунулся, глаза его бегали по сторонам боязливо, рассеянно; каждую секунду он вздрагивал и с ужасом озирался, голос его звучал плаксиво, не было и тени прежних хвастливых речей и восклицаний; он был и жалок, и гадок в одно и то же время.

Марылька взглянула на него с отвращением, но не ответила ничего, а потому Чаплинский продолжал дальше:

— Князь Иеремия зовет сегодня на вечер.

— На вечер? — изумилась Марылька, взглянула на мужа широко раскрытыми глазами и произнесла с горечью: — Быть может, на общие похороны?

— Но нет, нет, уверяю тебя, моя дорогая, князь получил какое-то отрадное известие, он хочет объявить его всем, а для того сзывает всю шляхту, нас тоже звал.

— Я не пойду, я не хочу их видеть,— отвернулась Марылька.

— Но, моя королева, ведь если мы не будем, все заметят; князь Иеремия рассердится, он горяч, нельзя пренебрегать его лаской.

— А для чего идти? — ответила запальчиво Марылька.— Для того, чтобы выдерживать на себе презрительные взгляды и чувствовать, как все шушукаются за нашей спиной! Да разве пан не видит, что они все презирают нас?

— Что же делать, что же делать! Тем более мы должны искать ласки князя,— заговорил умоляющим, всхлипывающим шепотом Чаплинский,— а твое поведение еще более раздражает их всех! Подумай, ведь наша жизнь висит здесь на волоске: если Богдан узнает, что мы в Збараже... О господи! На раны Езуса, молю тебя! За что же ты губишь меня своим упорством?!

Чаплинский заплакал.

Марылька хотела ему что-то ответить, но он был так гадок в эту минуту, что она только произнесла сквозь зубы:

— Хорошо, я иду, но это уж в последний раз.

— Королева! Богиня моя! — бросился к ней радостно Чаплинский, ловя ее руки, но Марылька отстранила его.

— Утрите ваши слезы, пане! — произнесла она с презреньем.— Вельможная шляхта их не любит...— И, повернувшись к нему спиной, она прошла вперед.

## LXII

Настала ночь, на вершине осажденного города запылали огнями высокие окна Збаражского замка, князь Иеремия угощал своих гостей. Тысячи зажженных свечей придавали убранству комнат торжественный, парадный вид, но лица гостей были печальны, угрюмы и бледны; многие дамы плакали; несколько шляхтичей с злобными, исступленными лицами шептались о чем-то в амбразуре окна. Каждый раз, когда входная дверь отворялась, унылый шепот утихал на мгновение в зале, все с испугом оглядывались, устремляя на входящего с немым вопросом глаза. Казалось, эти измученные, озлобленные люди собрались здесь не на пир, а на похороны какого-то близкого, всем дорогого лица.

Князя и предводителей еще не было в зале. Почти все рыцари, за исключением тех, которые остались на своих постах в лагере, собрались в замке. Здесь были: молодой Конецпольский, толстый Заславский, старый Кисель, Корецкий, Осинский и множество другой более или менее знатной шляхты. Чаплинский и Ясинский юлили возле Конецпольского, но тот обращался с ними более чем сдержанно, почти пренебрежительно, да и вообще все шляхтичи не скрывали своего отношения к Чаплинскому,— они едва терпели его, но Чаплинский делал вид, что не замечает ничего.

Марылька сидела в глубокой амбразуре окна; она не принимала никакого участия в разговоре, да и ее не замечал никто,— тяжелая драпировка окна почти закрывала ее. Прижавшись лицом к стеклу, она жадно всматривалась в темноту ночи и в блестящие вдалеке светлые точки козацких огней. «Пришлет или нет? Торжество или смерть?» — шептала она, стараясь проникнуть своим умственным взором в то, что должно было происходить теперь в душе Богдана.

В зале между тем передавались из уст в уста известия о возрастающих бедствиях. Несмотря на то, что слухи о получении князем Иеремией какого-то радостного известия носились уже в лагере, всюду слышались

требования сдачи Збаража козакам. Негодование вспыхивало в некоторых группах до яростного бешенства. Из общего глухого шума вырывались злобные восклицания:

— Что мы здесь будем ждать, чтоб нас выудило подлое хлопство всех до одного железными крюками? Припасов нет, оружия нет, пороха нет! Какая это война? Это бойня!

— Черт побери, пусть запирается себе тот в Збараже, кто хочет показывать свое геройство!

— Из-за кого мы будем разыгрывать глупых троянцев и морить своих жен и детей?

— Хоть бы явился и сам король, разве он теперь поможет нам? Есть время, когда и предводителей нечего слушать!

Каждое такое восклицание заставляло вздрагивать Чаплинского с головы до ног,— все были за то, чтобы сдать Хмельницкому Збараж; один только Конецпольский, который помнил, что первым условием Хмельницкий поставил выдачу его и Вишневецкого, был против перемирия.

— Сдать Збараж! Нет сил больше ждать! — раздавалось кругом; к этому общему шуму присоединялись и женские вопли: — На бога! На раны Езуса! Мир! Мир!

Но вот двери распахнулись и в комнату вошел князь Иеремия, а за ним Лянцкоронский, Фирлей и Остророг. При одном появлении князя все восклицания сразу умолкли, только в более отдаленных углах зала еще слышался какой-то глухой, неясный ропот. Среди всех этих бледных, растерянных людей один только князь Иеремия смотрел уверенно и спокойно; серые стальные глаза его словно пронизывали всю толпу. Он подошел к столу и, опершись на него рукою, заговорил громко, отрывисто:

— Панове, я созвал вас всех для того, чтобы сообщить вам радостную весть. Мы много выстрадали и перенесли для отчизны, и вот господь посылает нам весть о скором избавлении. Сегодня, когда мы сидели с гетманами у моей палатки, к нашим ногам упала эта стрела; к ней была прикреплена записка [64]; вот она.

Князь вынул стрелу с прикрепленною к ней запиской и, развернув бумажку, прочел вслух:

— «Я—природный поляк, по причинам обид от одного

господина принужден был идти в службу к Хмельницкому, но желаю добра своим соотечественникам и потому извещаю вас, братья-поляки, что король уже за пять миль отсюда с большим войском. Хмельницкий с татарами знает об этом и боится, и если сильно на вас нападает, то только потому, чтобы взять вас поскорее, пока еще не прибыл король. Надейтесь и выдерживайте осаду. Бог и король избавят вас!»

Как прорвавшийся в подземелье луч выхватывает из мрака бледные лица осужденных на смерть, зажигая в глазах их надежду, так слова Иеремии воскресили на миг в душах, полных отчаяния, какое-то упование и оживили их лица мимолетной радостью. Послышались радостные рыдания... благословения бога. Стрела с запиской переходила из рук в руки, все наперерыв один перед другим хотели увидеть ее собственными глазами, ощупать своими руками. Однако вместе с этою надеждой в груди каждого вспыхнула страшным огнем и жажда жизни, а вместе с тем и страх за утрату этого блага. Восторженные восклицания вскоре притихли и сменились сомнениями; то там, то сям повторялись робкие замечания: «Прорвется ли король? Какие у него силы? Сможет ли король помериться с ордою?» Глаза загоревшиеся восторгом, снова потухли, и бледные лица покрылись снова безотрадною тенью. Но князь зорко следил за выражением лиц и во что бы то ни стало хотел поднять во всех настроение духа.

— Вина! — крикнул он стоящим смущенно у дверей слугам.— Наливайте всем полные кубки! Никто и нигде не имел такого права, как мы, осушить кубки в эту минуту. Друзья мои, товарищи славы! — воскликнул он, подымая наполненный венгерским кубок.— Король идет! Король почти у стен! Спасение в нем и в нас самих. Збараж доказал, что таких героев, как вы, таких бессмертных бойцов не знала ни суровая Спарта, ни железный Рим. Нас горсть, и эта горсть удерживает уже два месяца тысячи устремившихся на нас врагов. Разве это не слава? Разве не имеем мы права выпить за славу павших и за гордость отстоявших этот оплот отчизны? Имеем! Имеем право! И я подымаю первый кубок за вас, бессмертное рыцарство! Виват!

Каждое слово князя падало электрическими искрами на столпившихся слушателей, подымало энергию, гор-

дость, рыцарский жар воинов и, словно чудом, воодушевляло до героизма измученную толпу.

Когда князь окончил свою речь, зал вздрогнул от единодушного радостного крика.

— Виват! Виват! Нех жие князь! — раздались всюду взрывы бурного восторга, кубки зазвенели, громкие единодушные возгласы огласили высокие своды замка.

— Вина! — зазвенел снова стальной голос князя.— Наполняйте кубки! За здоровье короля, за его помощь, за то, чтоб нам встретиться, как подобает вольным сынам великой отчизны!

— Виват! Виват! Нех жие круль! Нех жие князь! — загремело еще громче под готическими сводами замка.

— А теперь — полонеза, панове! Развеселите и наших прелестных дам, пышные рыцари! Гей, музыка! — хлопнул князь в ладоши, и с повисших под колоннами хор грянули торжественные звуки оркестра.

Собравшиеся рыцари и дамы двинулись стройными парами; но истощенные, почти шатающиеся фигуры с исхудалыми ужасными лицами до того не гармонировали с ритмическими плавными движениями, что для постороннего наблюдателя эти танцующие пары напоминали скорее хоровод мертвецов на кладбище, совершающий мрачное шествие под звуки похоронного марша.

Такое впечатление овладело и самими танцующими. Некоторые пары начали отставать; возбуждение гасло. Вишневецкий заметил это.

— А теперь, панове,—произнес он, останавливаясь,— подкрепимся, чем бог послал, а потом предадимся снова веселью. Прошу за столы, панство! Не взыщите, если кухня моя сплоховала. Такое время! Но мы уже пережили его! Так отдадим же честь моему любимому коню,— указал он рукой на приготовленное в разных видах мясо.— Объявить жолнерам, чтобы каждый наш тост сопровождался выстрелом из пушек,— пусть знают хлопы, что счастливая весть уже достигла нас, что мы их не боимся и ожидаем своего короля!

Все шумно бросились за столы и с какою-то болезненною жадностью набросились на еду. Поднялись кубки, и грянули с башен замка пушечные выстрелы.

Князь Иеремия наблюдал за настроением гостей. Счастливое известие, еда, вино, пушечные выстрелы — все это оживляло и придавало вид бодрости пирующим.

Да, на этот раз ему удалось воодушевить эту упавшую духом массу. Стрела сделала свое дело; но на сколько дней хватит этой бодрости? И что будет, если откроется его обман? Где король в самом деле? Неужели он до сих пор не знает об их положении? Но нет, нет; его письмо должно быть доставлено,— оно послано с самым верным человеком. Но если король опоздает? Дальше удерживать эту массу не будет никакой возможности. Что тогда?.. А, все равно смерть!.. Взорвать самим весь город, упасть на свои мечи... Все, все, только не позорная сдача на милость презренных врагов! Такие мысли мелькали в голове князя Иеремии, когда вдруг до слуха его долетел какой-то глухой отдаленный шум. Вишневецкий вздрогнул и стал прислушиваться. Это был падающий и нарастающий рокочущий шум, подобный прибою морских волн... Ужасная догадка промелькнула в голове князя.

В это время через залу поспешно прошел один из драгунов Вишневецкого и, приблизившись к князю, произнес ему на ухо несколько слов. Лицо последнего приняло озабоченное выражение; торопливым шепотом отдал он какие-то приказания офицеру и быстро повернулся к гостям, стараясь придать своему лицу самый беспечный вид; но это маленькое происшествие не ускользнуло от внимания его ближайших соседей.

— Что такое? Что случилось? — всполошились они.

— О, ничего! Пустое военное распоряжение, панове,— ответил с небрежною улыбкой Иеремия и приказал музыке увеселять своими звуками панов.

Зазвучали трубы, запели флейты, загремели литавры, но и этот хаос звуков не заглушил возрастающего за стенами замка какого-то перекатного рева. Эти прорывающиеся сквозь музыку дикие, глухие звуки начали наконец обращать на себя внимание; многие бросили есть и стали прислушиваться к этому зловещему, возраставшему шуму. Вишневецкий побледнел.

— Кохаймося, панове! — вскрикнул он, подымая кубок и стараясь отвлечь от этого шума внимание пирующих, но было уже поздно: глухой шум, доносившийся издали, превратился в это мгновение в дикий рев каких-то осатанелых голосов, послышались крики, проклятия, стук тупых ударов, звон разбиваемых стекол.

— Что случилось? На бога! Козаки! — раздались кругом испуганные возгласы.

Все поднялись вокруг столов; отодвинутые стулья с грохотом повалились на пол; мужчины невольно схватились за оружие. В это время входные двери распахнулись и в комнату вбежал поспешно бледный, растерянный караульный офицер замка.

— На бога, ясный княже, что делать? — заговорил он порывисто.— В городе бунт! Горожане хотели отворить неприятелю ворота! Когда не допустили их до этого, они бросились на наш замок, ломятся... да и внутри неспокойно... челядь разграбила твою кухню...

В это время в зале зазвенело стекло и камень, упавши на стол, опрокинул два кубка.

— О господи, что делать? Послать за жолнерами! — раздались в разных местах растерянные возгласы.

— Стойте, я выйду к ним! — остановил всех повелительным, уверенным тоном Иеремия.

— Но, княже... безумная толпа...—попробовали было остановить князя несколько несмелых голосов.

Князь только гордо вскинул голову и вышел из дверей на балкон. Это, впрочем, не был настоящий балкон, а просто выступ на башне над брамой, огражденный зубчатою каменною балюстрадой; он представлял небольшую круглую площадку, среди которой возвышался шест с флагом. На площадку вела узкая лестница из смежного с залом покоя. За князем двинулись на вышку Фирлей, Лянцкоронский, Остророг и еще несколько панов. Слуги понесли вперед панов свечи в высоких канделябрах. Многие поднялись по узкой лестнице вверх; остальные столпились в нижнем покое. Известие о бунте заставило похолодеть от ужаса и Марыльку. Неужели это неожиданное происшествие разобьет ее планы, когда они вот-вот уже готовы были придти в исполнение? Бушующая безумная толпа здесь, близко, у самых ворот... Звон разбиваемого стекла раздался уже совсем близко, над самым ее ухом, и осколки осыпали Марыльку, а камень упал у ее ног. Марылька вскрикнула и выскочила из своего уединения в покой, наполненный толпящимися в безмолвном ужасе панами.

Князь Иеремия и его спутники вышли на площадку. Ночь была темна, порывистый ветер заколебал с остервенением пламя свеч; от их слабого, колеблющегося

света окружающая тьма казалась еще резче и темнее. Под ногами князя ревела и бушевала какая-то темная, озверевшая масса; смутно можно было различить в ней очертания голов и приподнятых рук. Пламя свечей озаряло красноватым огнем мужественное, суровое лицо князя Иеремии; без панциря, без оружия, он стоял с открытой грудью перед ревущею толпой. Несколько камней просвистело мимо него; иные ударились о балюстраду и, отскочив, упали на головы осаждавших.

— Смирно! — крикнул зычным голосом князь.— Или я вас велю перебить, как зверье! Зачем этот гвалт? Что нужно вам?

Крик князя осадил толпу, но не произвел прежнего впечатления.

— Хлеба! Есть нужно! — раздались в притихшей массе отдельные голоса.— Сами жрут, а мы пухнем с голоду!

— Так вы в такое ужасное время,— поднял еще резче голос князь,— когда разъяренный враг стоит почти у порога, затеваете внутри бунт, хотите, чтобы скорее вступил Хмельницкий и перевешал вас всех, как собак?

Но и эти слова его не произвели нужного эффекта.

— Довольно мук! Не хотим больше осады! Сдавайте город! Отворяйте ворота! — заревела вновь толпа.

— Мы города не сдадим,— это оплот отчизны! — крикнул, побагровев, Иеремия.

— А, так мы сами откроем ворота! Вперед, панове! Лестницы сюда! Руби их! Хмель нас подякует! — раздались отовсюду дикие, бессмысленные крики.

То там, то сям заколебались над головами лестницы, в иных местах взвились веревки и упали на зубцы башен, внизу под ногами раздались удары бревна в железные ворота.

— Ни с места! — крикнул повелительно князь.— Или я вас всех велю перестрелять, как бешеных псов! Стрелки, на стены! Готовься! — скомандовал он во двор замка.

Величественный ли вид бесстрашного князя, или его грозный, повелительный голос, или цепь появившихся на стенах теней повлияли на толпу, только крики утихли на мгновение и толпа отхлынула от стен и от брамы. Иеремия воспользовался наступившею паузой.

— Слушайте вы, бешеные звери, слушайте, что я вам

буду говорить,— закричал он, выступая вперед.— Мы города не сдадим, пока не придет к нам с войсками король; он уже близко, но если вы хотите открыть ворота, то я сам вам открою их: ступайте на колья к Хмельницкому, но только помните, что малейшее ваше сопротивление — и я велю стрелять по вас. У нас пороху немного, но хватит, чтобы перебить всех вас, ваших жен и детей!

Толпа молчала: отвечать было нечего, князь Иеремия разрубил сразу вопрос.

— Ступайте ж собирайте свои пожитки,—продолжал Иеремия,— мои гусары проведут вас.

Толпа заколебалась. Еще несколько минут слышался какой-то глухой ропот; но вот ряды дрогнули и начали расходиться по улицам. Иеремия подождал еще несколько минут и, отдав приказание близ стоявшему офицеру, возвратился в залу.

Гости еще все стояли у дверей, у столов, в соседнем покое в тех позах, в каких он их оставил — с полуобнаженным оружием и застывшим ужасом на лицах.

— Ну, ясное панство, прошу всех снова за трапезу,— заговорил громко и весело князь, потирая руки и подходя к столу.— Это маленькое происшествие прервало наш пир, но, надеюсь, не испортило его. Подлое хлопство грозило нам тем, что откроет Хмельницкому ворота, но я сам велел им открыть их. Мои гусары выпроводят эту сволочь за валы...

— Однако мы лишаемся значительной помощи,— заметил чей-то робкий голос.

— И увеличим силы врагов,— добавили несмело в другом углу.

— Ха-ха-ха-ха! — разразился громким смехом князь Иеремия.— Если у врага все силы такие, как эта рвань, так тем лучше! Хвала богу за то, что нам удалось так мирно избавиться от лишних ртов: ведь все равно бунтовало бы это быдло и тянуло бы руку за своего хлопского короля! У нас теперь остались лишь рыцари, клянусь честью, остались! Пусть же им одним и достанется слава геройской защиты! За честь и славу нашего гордого шляхетства, которым держится королевский трон и Речь Посполита! — вскрикнул он громко, подымая вверх свой кубок.

— Виват! — поддержали своего предводителя отважные вишневцы.

Раздался пушечный залп; музыка грянула с хор; но большинство панов не отозвалось на эти горячие слова.

— Ведь это, сдается, наш последний порох,— обратился тихо Заславский к Конецпольскому.

— Кара божья, кара! За то, что мы мало радели о святой вере и не искоренили схизмы из всей земли! — вздохнул печально пробощ, прижимая руки к груди.

Князь провозглашал тосты, переходил попеременно от одной группы к другой; там говорил горячее слово, там вспоминал былые победы, в которых отличались они вместе. Пушечные выстрелы потрясали на далекое расстояние воздух и придавали собранию характер настоящего пира. Впрочем, действительного оживления не было, только офицеры Вишневецкого поддерживали искренно своего бесстрашного князя, готовые броситься за ним хоть сейчас на верную смерть.

## LXIII

Время уже было за полночь, когда вдруг, среди общих возгласов и звона кубков, на пороге дверей показался караульный офицер.

— Ясновельможный княже, — объявил он, — гетман Хмельницкий прислал к тебе посла.

— Хмельницкий? Посла?! — вскрикнули все, не веря от изумления своим ушам.

— Вот видите, вельможное панство,— заговорил радостно князь,— негодяй догадался, что мы уже знаем о приближении короля, и спешит со своими предложениями; теперь-то он посбавит свои требования! — И, обратясь гордо к офицеру, князь произнес: — Пусть пан посол войдет сюда,— у меня с гетманом нет никаких тайн.

Все занемели в ожидании. При первых словах офицера Чаплинский побледнел как мертвец и поспешно скрылся за спины столпившихся у дверей слуг; Марылька тоже вздрогнула вся с головы до ног, но не от страха, нет! Надежда, радость захватили ей дыхание. «Это он, Богдан, прислал за ней! — мелькнуло у нее в голове.— Но нужно спрятаться, чтоб не заметил, что она на пире... писала, что умирает...» И она проскользнула снова к окну и спряталась за драпировкой, оставив себе щелку для наблюдений. Маневр Чаплинского не ускользнул от

нее; с невыразимым отвращением отвела она от него глаза и устремила их на входную дверь. Но вот двери распахнулись и в зал вошел Морозенко в сопровождении караульного офицера.

— Ясновельможный гетман шлет твоей княжеской милости вот это письмо,— произнес он, отвешивая красивый поклон и передавая Вишневецкому толстый пакет.

Иеремия взял письмо, сорвал конверт и в изумлении отступил назад: в его руке было два письма,— одно из них было написано его рукой, другое принадлежало Хмельницкому.

— Что это? — произнес он невольно и, развернувши порывисто письмо Хмельницкого, начал его быстро читать.

Хмельницкий писал так:

«Посланцу твоей милости мы отрубили голову, а письмо твое к королю возвращаем в целости[65]. Твоя милость надеется на помощь от короля; зачем же вы сами не выходите из нор и не соединяетесь с ним? Король ведь не без ума: не станет он безрассудно терять людей. Как ему подойти к вам на помощь? Без табора нельзя, а с табором невозможно: всё речки, да протоки, да топи. Уж так и быть, к его величеству пойдем мы сами на помощь и уладим как-нибудь соглашение».

Вишневецкий не дочитал письма: дерзкий, насмешливый тон его взорвал всю гордость князя; лицо его покрылось багровыми пятнами, он судорожно скомкал бумагу и ответил надменно, едва сдерживая вспыхнувшую злобу:

— Пане посол! Передай от меня гетману вот что: нечего кичиться тем, что он приказал казнить моего посла; это не по-шляхетски, а по-тирански, по-хлопски.

— С позволения княжьей милости,— ответил спокойно, с достоинством Морозенко,—ясновельможный гетман только последовал примеру ясноосвецоного князя.

— Га! Моему примеру? — побледнел даже от дерзкого замечания посла Иеремия.— Так, значит, и твоя милость знаешь, к кому и зачем ты шел?

— Нам, ясный княже, смерть не в диковину,— покумились мы с нею; да не скучно и умереть, когда знаешь, что за твою голову лягут тысячи!

— Хам! — вскрикнул вне себя Вишневецкий, схватившись с места и обнажив саблю. Вся зала ахнула от

ужаса; ближайшие вельможи занемели, некоторые рыцари заступили посла.

Конецпольский произнес побледневшими губами:

— На бога! Посол!

Князь обвел всех презрительным взглядом и, овладев собою, произнес насмешливым и злобным голосом, не глядя даже на посла:

— Я тебя щажу лишь для того, чтоб ты передал своему гетману, что он не всем моим послам головы рубит и не все письма мои перехватывает, что нам известно доподлинно, где король и какие у него силы. Недаром же мы пируем. Так я вот советую ему не возноситься слишком на колесе фортуны, чтобы не упасть низко; лучше начать приличные переговоры, пока мы снисходим их слушать, а то уже поздно будет.

Полный ужаса шепот пронесся по зале и замер.

— Вот и все! Ступай! — сделал князь повелительный жест.

Морозенко поклонился и вышел из комнаты.

— О боже! Он перехватил княжеское письмо! Что делать теперь? Погибель! Погибель! — раздалось во всех углах зала, лишь только дверь захлопнулась за послом.

— Пустое, пустое! — заговорил быстро и отрывисто князь Иеремия, стараясь ободрить падающих окончательно духом панов.— Что он казнил нашего товарища, это подло; но этой казнью он не принес нам никакого вреда, так как я послал еще такого посла, которого он не может казнить. Король уже близко, он знает о нашем положении; но мы пошлем еще и третьего посла,— из моих героев никто не откажется от этой чести!

Слова вылетали у Иеремии отрывисто, резко; лицо его было бледно, глаза казались почти черными,— видно было, что воля и разум князя были напряжены до последней степени.

— Друзья мои, дети мои! — обернулся он к своим офицерам. — Кто из вас решится жизнью за отчизну рискнуть?

— Все, все, выбирай кого хочешь, княже! — раздались дружные возгласы.

— Вот видите, панове,— подлый хлоп не принес нам вреда,— обратился Вишневецкий торжественно к шляхте.— Гей, слуги, вина! Выпьем за здоровье храбрейшего, который решится отправиться в опасный путь!

Снова в залу внесли пенистые вина. Когда прислуга засуетилась с жбанами и кувшинами, Фирлей тихо взял князя под руку и отвел его в отдаленный угол зала; к ним незаметно присоединились Остророг и Кисель.

— Однако, княже,— начал тихо Фирлей,— в словах Хмельницкого есть много правды.

— Да, да,— покачал головой Кисель,— он правду говорит: на короля мало надежды, через болота к нам доступу нет, и если его величеству посчастливится даже, так очень не скоро...

— Король уж близко, панове, вы сами читали записку,— ответил горячо Иеремия.— Известие это верно. Недаром же Хмельницкий пугает нас, он не решается на приступ; бесспорно, он боится удара с двух сторон.

— Не желает тратить сил на то, что само попадет не сегодня-завтра к нему в руки,— возразил, еще понижая голос, Фирлей,— малейшее его усилие — и мы погибли. Збараж не выдержит приступа: все окопы обвалены, стены разбиты; у нас нет ни пороху, ни пушек, люди наполовину больны... Только еще вот этот замок...

— Да, об него они поломают зубы!

— Но в замке поместится лишь горсть. Да и что дальше? Все запасы у нас вышли! — вздохнул грустно Фирлей.— Горожанам я уже второй день не даю порции, а войскам сегодня последнюю отдал. Выгнанные горожане расскажут врагам все о нашем положении.

Иеремия почернел как ночь и уставился глазами в землю.

— С каждою минутой наше положение становится невыносимее,— заметил Остророг,— так логика подсказывает не ждать последней минуты...

— Но,— поднял решительно голову Иеремия,— я добуду завтра провианта,—мы сделаем вылазку. Теперь же разойдемся. На нас обращают внимание... не будем возбуждать опасных подозрений. Гей, слуги, вина, вина панству! — хлопнул он в ладоши и отправился поддерживать веселье к своим гостям.

Кисель же остался с Фирлеем и Остророгом и начал им с искренним чувством доказывать, каким счастьем и мощью цвела Речь Посполитая, пока магнаты с иезуитами не ворвались в русский край и не обездолили примкнувший к ним дружно народ; что грабежи, насилия,

утеснения веры породили это зло, что если не одумаются панове, то погубят вконец Речь Посполитую.

Ночь уж проходила. Некоторые гости собирались расходиться.

— Ну, панове,— воскликнул весело князь Иеремия,— быть может, наступающий день принесет нам с собою славную битву! Проведем же этот последний час с нашим старопольским весельем! Мазура!—махнул он платком на хоры и, подхвативши за руку одну из дам, добавил с удалою улыбкой: — Спартанцы, говорят, с песнями шли на смерть!

Грянули с хор увлекательные, удалые звуки мазурки; вино сделало свое дело — приглашение князя было шумно принято. Суровый, отважный Иеремия, никогда не знавший танцев, двинулся впереди, за ним зазвенели шпоры его офицеров, и пары полетели по залу. Чаплинский молил Марыльку принять участие в танцах, но та с негодованием отказалась. Вдруг двери сильно распахнулись и на пороге появился седой пан ротмистр; увидя такое неожиданное зрелище, он остановился как вкопанный.

— Пан ротмистр! — воскликнули сидевшие и поднялись с своих мест.

Музыка оборвалась; пары занемели посреди зала.

— Что, не прорвался? Не удалось? — бросился к ротмистру Иеремия.

— Нет, был, и видел, и прорвался назад,— ответил глухо ротмистр.— Круль козаками и татарвой окружен, осажден...

В зале наступило гробовое молчание, и вдруг среди него раздался дрожащий голос пробоща:

— Finis... * finis... finis!..

Никто не отвечал ни слова.

Наконец Фирлей прервал молчание.

— Что делать? — произнес он.

С минуту никто не отзывался на его вопрос.

— Сдать Збараж, просить перемирия у Хмеля,— произнес первый Заславский.

— Сдать, сдать! — подхватили за ним сотни голосов.— Спускайте флаг, готовьте послов!

— Что? Что говорите вы, вельможное панство? —

* Кінець... (*Лат.*)

вскрикнул Иеремия.— Сдать Збараж и открыть ворота в самое сердце Польши? Или вы от страха потеряли последнюю отвагу, или хотите вместе с Хмельницким стать губителями отчизны?

— Что говорить нам об отваге, княже! Удержать Збаража мы не можем. Хорошо показывать свою храбрость в поле, а не в этой тюрьме! Упорство наше поведет лишь к тому, что Хмельницкий всех нас перебьет, как кур, и все-таки войдет в Збараж!

— Упорство может повести к этому, но храбрая защита — нет! — заговорил горячо Вишневецкий, бросая на Заславского презрительный взгляд.— Ужас увеличивает в глазах ваших опасность. Отцы наши бились три года в московских стенах, питались кожей да землей, а не пошли на подлый позор! [66] Не мы ли их дети, панове?

— Тогда было откуда ожидать помощи,— заметил Лянцкоронский,— а тепер мы должны обречь себя и войска на верную смерть!

— Га! Так пан боится пожертвовать жизнью для отчизны? — вскричал запальчиво Иеремия.

— Обида, княже! — поднялся с своего места Лянцкоронский.— Я подставлял свою голову не раз за дорогую отчизну, но не из-за безумной вспышки, достойной мальчишек, а не зрелых умов! Король разбит, в отчизне нет больше войска, а мы станем губить последние силы и бесполезно оставим отчизну на жертву козакам...

— Какая это храбрость, сто дяблов! — вскричал Заславский.— Это трусость. Боязнь встретиться с Хмелем!

— Как, пан гетман пилявецкий [67] меня упрекает в боязни встретиться с Хмелем? — побагровел Вишневецкий.— Ха-ха-ха! Смеюсь над княжьими словами. Ведь это, кажется, не я на каретных лошадях убежал от войска?

— Сатисфакции, княже! — заревел Заславский, срываясь с места и хватаясь за саблю.

— К услугам панским! — вырвал и Вишневецкий свою шпагу.

Все в зале заволновалось. Противники уже готовы были устремиться друг на друга, но между ними бросился пробощ.

— О, concordia, concordia *, панове! — заговорил он,

---

* О, згода, згода (*лат.*).

подымая к небу руки.— Господь покарал нас за несогласия наши, не будем же гневить его в такой ужасный час! На весах лежит теперь судьба отчизны и веры; нам надо защищать ее, но сохранить для этого и ее героев. Быть может, можно заключить перемирие? O, fiat pax! *

— Мир, мир, панове! — встал с своего места и Кисель.

— Пора прекратить эту страшную распрю! Дадим побольше прав народу, оградим его веру, прекратим кровопролитие и водворим благо!

— Какой мир? — вспыхнул Иеремия. — Кто может говорить о мире? Дать хлопам равные с нами права? Уничтожить все костелы на Украйне, отдать по Вислу все земли? Это не мир, панове, это измена и предательство! Изменник тот, кто подпишет его!

— Но обещать — не значит исполнить. Вынужденное слово для нас не закон,— заметил Корецкий.

— Шляхетское слово, панове, крепче закона и дороже жизни! — встал порывисто с места Иеремия.— И я,— ударил он себя в грудь,— не сломаю его!

— Но, князь, ведь мы не можем ручаться за мир,— попробовал возразить Фирлей,— то дело короля и сейма. Мы можем только сдать Збараж и пообещать.

— Я Збаража не сдам,— воскликнул горячо Иеремия и гордо выступил вперед,— позора вашего не разделю с вами! Ступайте к Хмельницкому, просите его милосердия,— я останусь в замке с моими гусарами; не захотят они — останусь сам, но теплою рукой не сдам подлому хлопу города и замка.

Горячие слова князя подействовали на всех.

— С тобой, с тобой останемся, княже! — вскрикнули офицеры князя Иеремии.

— И я, княже, остаюсь с тобой! — произнес с воодушевлением ротмистр.

В это время двери громко стукнули и в комнату вбежал бледный, испуганный часовой.

— Ясновельможные регlaunches! — воскликнул он, задыхаясь.— Кругом Збаража уже строятся повсюду неприятельские полки. Хмельницкий начинает приступ!

---

* Хай буде мир! *(Лат.)*

— О господи! — раздался общий вопль. Раздирающие душу женские рыдания наполнили зал.

— Fiat voluntas tua! * — прошептал пробощ, опускаясь на стул.

— Мир! Мир! Спускай флаг! Послов к Хмельницкому! Остановите приступ! — раздались со всех сторон обезумевшие, исступленные возгласы. Некоторые бросились к выходу. Один только Вишневецкий не потерял присутствия духа.

— Остановитесь, безумцы! — вскрикнул он, заступая им дорогу и останавливаясь перед дверьми.— Одумайтесь! Что вы хотите сделать? Неужели вы думаете, что Хмельницкий пощадит вас? Вспомните, что было под Желтыми Водами?

— Но помощи ждать неоткуда, княже, есть времена, когда рассудок должен брать верх над сердцем,— заметил Фирлей,— бесцельное упорство только усилит дикую злобу врагов!

— Довольно! Довольно! — закричали кругом голоса.— Лучше попасть татарам в плен, чем умереть с голода! Открывать ворота, спускать флаг!

— Не из-за чего нам разыгрывать здесь глупых троянцев! — закричал злобно Заславский.

— Правда, правда! — подхватили кругом.

— Ха! Защитники отчизны! Вы предпочитаете позор честной смерти! — закричал бешено Иеремия, отступая с негодованием назад.— Добро. Отворяйте ворота, положитесь еще раз на их хамское слово и ждите, пока вас перережут всех, как баранов... Я оставляю вас! Либо пробьюсь с моими львами сквозь вражьи полчища, либо лягу с ними, как подобает рыцарю, в славном бою! За мною, кому дорога честь! — вскрикнул князь и стремительно вышел из залы.

За князем бросились вслед его офицеры и старый ротмистр, увлеченные его примером.

Еще большая паника охватила всех присутствующих. Все стояли окаменелые, с искаженными от ужаса лицами.

— Но что же делать, боже? Враги окружают! — раздались наконец отовсюду отчаянные возгласы.

---

* Хай буде воля твоя! *(Лат.)*

— Подкупить Хмельницкого!—вскрикнул Конецпольский.

— Да он проглотит всю Польшу! — заметил Заславский.

— Тетерю,— он льнет к шляхте! Выговского,— он сам заискивал у нас! — крикнули в другом углу.

— Послать послов! Откуп! Чего нам за чужие грехи страдать?

— Так, так! На нас Хмельницкий не зол,— не мы причина восстания! — закричали все.

— Чаплинский всему виной! — рявкнул чей-то громкий голос.

— Чаплинский! Чаплинский! Его и отдать Богдану! — подхватили другие.

Этот неожиданный вывод застал Чаплинского врасплох; при звуке своего имени он задрожал весь с ног до головы; но, услышавши требование множества голосов, потерял всякое присутствие духа.

— На бога, панове! Милосердия! — закричал он прерывающимся от слез голосом, падая на колени перед предводителями.— За что? За что?.. Если б я знал... О, сжальтесь! Там муки, смерть!..

— Панове, — остановил его пробощ, — Чаплинский доставит пищу для мести Богдану, и пострадать одному за всех — благо; но нужно еще дать пищу его сердцу, чтобы склонить его к милости,— пошлем же ему того, чей вид наполнил бы его сердце радостью... Пошлем к нему его беглую коханку.

— Правда, правда! — закричали кругом.— Из-за них все горе началось!

— О боже мой! О матко свента! — зарыдал Чаплинский, хватая за руки Фирлея.— Зачем же я?.. Неужели отдадите вы шляхтича хлопу? Ему нужно женщину... Ну, и отдайте... я...

— Так пан уступает жену Богдану? — перебил Чаплинского с отвращением Фирлей.

— Да, да, да,— заговорил поспешно Чаплинский, глотая слезы.— Натешился уж... надоела...

— Довольно! — раздался в это время чей-то глухой голос.

Все вздрогнули и оглянулись. В раздвинутой бархатной портьере стояла бледная как стена, дрожащая от гнева Марылька. Волнение ее было так сильно, что для

того, чтобы не упасть на пол, она должна была ухватиться обеими руками за бархатные драпировки. Все как-то смешались. Ясинский воспользовался этим мгновением всеобщего замешательства и, подскочивши поспешно к Чаплинскому, шепнул ему на ухо:

— За мною, пане, я спасу тебя! Я знаю тайный лаз.

— На бога! — схватился Чаплинский с земли и уцепился за его руку.

— Довольно! — заговорила Марылька сдавленным, прерывающимся от волнения голосом.— Я слышала все, и стыд жжет мои щеки огнем за то, что я могла полюбить такого подлого и низкого труса!.. Стыд жжет меня и за вас, презренные потомки прошлой славы, за то, что я родилась среди вас! Га! Рыцари, герои!.. Сколько средств перебрали вы, чтоб вымолить милость у хлопа,— измену, предательство, подкуп и, наконец, мой женский позор!.. Меня вы думали отдать для мести Богдану?.. Не нужно! — выступила она гордо вперед.— Я сама пойду к нему, и если у него в сердце не лед, над вами я буду властвовать!..

## LXIV

В козацком лагере не спали; всюду горели огромные костры, вокруг них сновали, переговаривались и простые, и значные козаки. Все ожидали чего-то.

В палатке гетмана шел торопливый разговор.

— Так ты видел самого хана, сыну?

— Да, батьку.

— Ну, и что?

— Он гневается на тебя за то, что Збараж до сих пор не взят.

— Гм,— закусил с досадой ус Богдан,— не будь там этого клятого Яремы, он бы давно уже был в моих руках. Ну, а что же он тебе насчет приступа сказал?

— Да все виляет... говорит, чтоб козаки первые начинали, а он тогда ударит с другой стороны.

— Га! Старые татарские шутки! Так они и при Желтых Водах! Ха-ха! Чужими руками хотят жар загребать! — сверкнул глазами гетман.— Ну погоди ж,— погрозил он куда-то в сторону,— уж если нам самим на приступ идти, так тебе не видать и добычи!

— Там, батьку, у татар что-то неладно,— заметил нерешительно Тимко.

— А что? — подался к нему порывисто Богдан.

— Да вот... ты ведь знаешь, батьку, что я теперь по-татарскому все равно, как по-своему, ну, и удалось мне услышать там, как мурзы между собою переговаривались о каком-то посольстве польском, которое уже было у них... быть может, оттого и хан не хочет помогать нам.

— Так, так,— произнес горько Богдан и зашагал в раздумье по комнате,— теперь уже пойдут у них подкупы. Добро еще, что хан теперь не согласится на подкуп,— усмехнулся он.— Он думает заполучить всех магнатов живьем в полон. Однако,— остановился он подле Тимка и поднял решительно голову,— пора этому конец положить.

— Так, батьку, так! — воскликнул горячо Тимко.— Чего нам теперь? Не хотят они ударить с нами вместе— тем лучше. Обойдемся и без них. По крайности нам одним и слава будет.

Богдан усмехнулся и хотел было ответить что-то сыну; но в это время на пороге появился молодой джура и объявил, что полковники хотят увидеть гетмана.

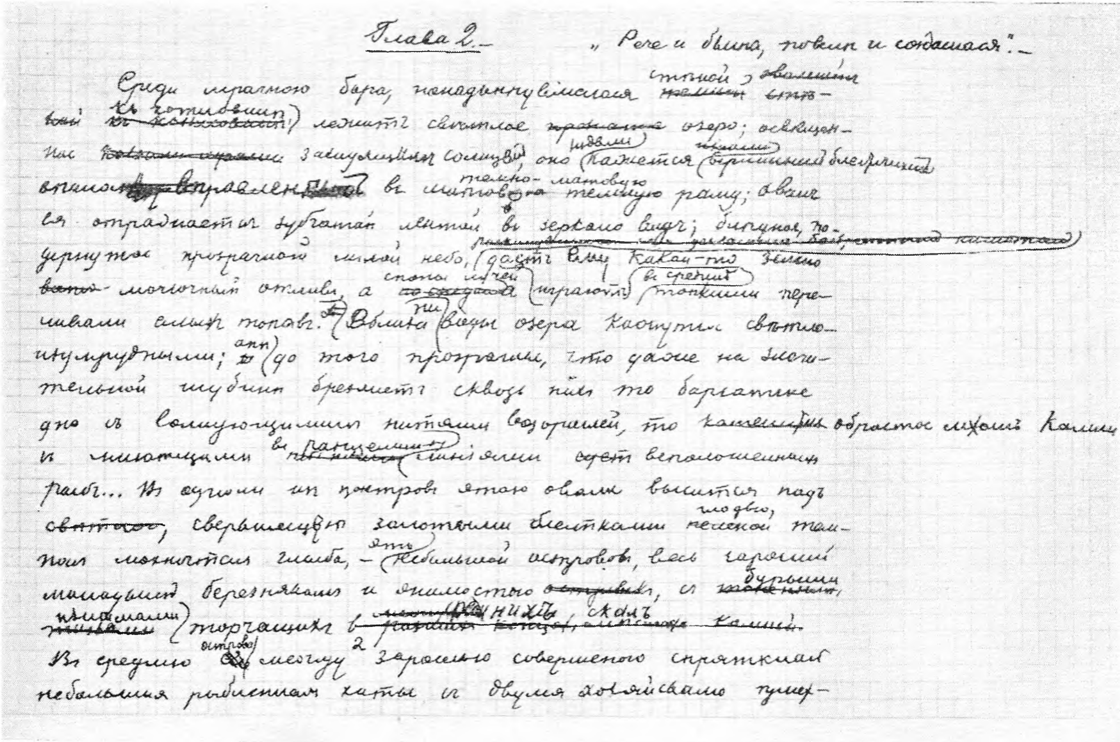
— Пускай войдут! — ответил Богдан.

Джура скрылся, и через минуту в палатку вошли быстрыми шагами Кривонос[68], Чарнота и Нечай. За этот год Чарнота совершенно изменился: его удалое, прекрасное лицо приняло теперь выражение суровой, непоколебимой отваги; ни веселая улыбка, ни ласковый взгляд не освещали уже его никогда. Товарищи и козаки относились теперь к нему с особенным почтением, а Кривонос старался окружить своего молодого друга своеобразною грубою лаской. Но для Чарноты, казалось, исчезли теперь все человеческие чувства; в нем жило только одно страстное желание, поглотившее все его существо,— освободить навсегда свою страну и уничтожить ляхов.

— Ясновельможный гетмане,— заговорил он горячо,— ты все еще не даешь нам гасла для приступа, а между тем с ляхами творится что-то недоброе; они уже получили какое-то отрадное известие... быть может, ожидают с минуты на минуту помощи.

— О какой помощи говоришь ты?—изумился Богдан.

— О короле; ведь он уже вышел из Варшавы.



Фотокопія сторінки автографа роману «У пристані».

— Ему мы послали навстречу Богуна. Порог хороший! Пускай-ка переступит его сначала.

— А между тем они уже получили какую-то радостную весть: сегодня несколько раз палили из замковых пушек, а замок весь сияет огнями. Смотри-ка, гетмане, ведь это неспроста! — И с этими словами Чарнота поднял полог палатки. Все подвинулись к выходу.

Среди темноты ночи, покрывшей все непроглядным мраком, на вершине горы сиял огнями зубчатый Збаражский замок. Среди окружающей тьмы он имел такой блестящий, торжественный вид, что, казалось, в нем собрались пышные гости праздновать королевский свадебный пир. И вдруг, как бы в довершение этого впечатления, с башни замковой грянул пушечный выстрел, за ним другой, и до ушей удивленных слушателей долетели слабые отзвуки музыки.

Полковники переглянулись.

— Ишь, бесовые дети,— проворчал Кривонос,— что это они, подурели с голоду, что ли?

— А может, собрались востатнее погулять,— заметил Нечай.

— Ну, нет, панове, не похоже это на них,— возразил Чарнота.

— Яремины штуки, панове! — усмехнулся Богдан.— Не бойтесь! Меня не проведет! Ха-ха-ха! Пускай последний порох тратит. Я им послал с Морозенком такую цидулку, что живо охладит панов и выбьет у них из головы хмель.

Гетман опустил полог и вошел в палатку, а за ним и все остальные.

— Ты медлишь все, ясновельможный гетмане,— продолжал так же горячо Чарнота,— а между тем теперь ляхов как раз раздавить!

— Еще бы! — подхватил Кривонос.— За целый день от речки и до башни не гавкнула ни одна ихняя пушка. Муры их все обвалены, второй уже день никто в нас даже из рушницы не бухнул, видно, у них пороху катма!

— Да хоть сейчас пусти нас, батьку,— и заночуем в Збараже! — вскрикнул весело Нечай.— Ей-богу, надоело ловить крючками панов. Чего стоим? Чего мы ждем?

— Эх, горячитесь вы, полковники, слишком,— покачал головою Богдан.— Я посылал вот Тимка к хану, и хан отказывается идти с нами на приступ.

— Ну, так черт с ним и с его голомозым войском! Без него разделим добычу! — перебил шумно Богдана Нечай.

— Под Пилявцами мы сами погнали всех панов! — вскрикнул с молодою удалью Тимко.

— Так, сыну, правда, и без них мы можем обойтись; но если приступ не удастся сразу, если хоть немного поколеблются войска, на нас может ударить хан... Да, знайте это! Паны уже подкупили его. Вот потому-то я могу бить только наверняка.

Полковники хотели было возразить что-то Богдану, но в это время в палатку вошел джура и объявил, что полковник Морозенко вернулся из Збаража.

— Морозенко! Зови, зови скорее! — вскрикнул радостно Богдан, повернувшись к полковникам.— Вот этот принесет нам верную весть!

В палатку вошел Морозенко.

— Ясновельможному гетману,— начал было он свое приветствие, но Богдан перебил его:

— Ну, говори: передал мой лыст? Что делают паны? Что слышно там у панов?

— Лыст передал твой, гетмане, самому Яреме. Паны, услышавшие о том, что лыст их не дошел до короля, побелели как глина, сам Ярема позеленел от злости; он велел передать тебе, гетмане, что ты не по-кавалерски поступил, а по-тирански, отрубивши голову его послу. Но я ему сказал, что выучился ты этому у его княжеской мосци.

— Ха-ха-ха! Душа-козак! — вскрикнули разом полковники.— Ну, и что же?

— Когда б не такой страх, уж, верно, маячил бы я теперь где-нибудь, как флаг на башне; но только паны здорово притихли, боятся теперь прогневить нас. Когда Ярема гаркнул на меня, так все подеревенели.

— Ха-ха-ха! Пришкварил, клятых, мой лыст! — захохотал злобно Богдан.— Ну что же, как пируется им? Весело, верно?

— Какое там! — махнул рукою Морозенко. — Пир устроил Ярема, да паны на веселых гостей мало похожи: краше в гроб кладут. В Збараже голод; последние дни приходят. Среди жолнеров бунт; все паны хотят сдать тебе Збараж, только Ярема еще удерживает их; но день, два — больше они не протянут. Уже горожане было

взбунтовались и хотели отворить нам ворота, но Ярема выгнал их. Со мною вместе явились они в наш лагерь; они все это и рассказали мне. Да говорят еще, что пороху совсем нет у панов, что два дня все без пищи уже...

— Вот это дело так дело! — вскрикнул радостно Богдан.— Теперь можно и на приступ!

— Слава, слава, гетману! Давно бы так! — закричали шумно полковники.

— Веди нас, батьку, на пир к Яреме!

— Да самих, без голомозых,— покрыл все голоса зычный голос Нечая,— поднесем хану под самый нос дулю!

— Так, так! — поддержал Нечая Кривонос.

— Вот видите, дети-орлы, когда пора, то и пора,— заговорил оживленно Богдан.— Хороший стрелок сначала добре прицелится, а пуль на ветер не кидает. Так вот слушайте ж моего наказа: через годыну начнет светать, готовьте все полки; чуть засереет, мы бросимся со всех сторон на Збараж. Хмель у панов еще из головы не вышел, а мой лыст додаст им еще больше страху.

— Ну и пойдет же потеха! — вскрикнул Кривонос.— Теперь-то уже Ярема не выскользнет из наших рук. Накроем всю Речь Посполиту.

— Так вот, готовьтесь же, полковники; да только тихо, чтобы до времени никто не узнал. Ударим сразу.

— Гаразд, батьку! Все будет так, как ты говоришь,— поклонились полковники и шумно вышли из палатки. С ними вышел и Тимко.

— Коня готовь мне, джура! — крикнул Богдан, приподнявши полог, и заходил по палатке.

Лихорадочное волнение полководца перед битвой охватило его снова. Да, вот опять, еще этот порог сломить — и дорога в Польшу открыта. И сломить его без помощи хана! Этот неверный союз уже начинает тяготить его, Богдана. Не нужно ему больше никаких помощников: сам он добудет себе и своей Украйне и долю, и волю. Теперь уже Богдан не тот, что был! Не надо ему ни зрадливой ласки короля, ни его жалких привилей; раз удалось провести, да больше не удастся! Второй раз приходит он к Збаражу, но теперь не повернет, как тот раз, назад. Сломает Збараж, отдаст татарам всех магнатов, пойдет со всеми войсками навстречу королю; короля возьмет в плен, а тогда — в Варшаву, и там, в

Варшаве, пропишет им этой саблей новый закон. Сам патриарх его венчал на это дело[69], святой, блаженной памяти владыка благословил на тот же подвиг, и больше он не сойдет с дороги и не уступит ляхам: он пан и гетман киевский, и не отдаст уже ляхам Украйны никогда!

Осажденный такими пылкими мыслями, Богдан нервно шагал по палатке, как вдруг полог приподнялся и в палатку торопливо вошел Выговский.

— Ясновельможный гетмане, прости,— произнес он, поспешно кланяясь,— быть может, я помешал тебе, но надо было торопиться. Есть важные новости: из Збаража к нам бросили стрелу. К стреле привязано было письмо.

— Га! Пощады просит панство?

— Нет, гетмане, письмо от женщины, от пани Чаплинской.

— Что?! — вскрикнул дико Богдан.— От нее? Она... Елена здесь? В Збараже?! Ты шутишь, смеешься?! Говори!

— Я принес записку гетману.

— Давай!

Выговский вынул записку; Богдан судорожно схватил ее, почти вырвал из рук Выговского, и, развернувши ее дрожащими руками, жадно впился в нее глазами.

Внимательно и с горячим любопытством следил Выговский за гетманом; гетман не скрывал, да и не мог бы скрыть своего волнения,— в эту минуту он совершенно забыл и о присутствии Выговского, и обо всем на свете. С разгоревшимся лицом перебегал он быстро глазами с одной строки на другую.

«Елена здесь... его Елена... любимая, дорогая... так близко... час, другой, и он может снова увидеть ее... обнять! Ах, любит, любит! Спасти молит!» — мелькали у него в голове обрывки беспорядочных мыслей. Грудь его подымалась порывисто, строчки прыгали перед глазами и не давали прочесть письма.

Письмо было написано трогательно, пятна неподдельных слез испещряли его.

«Дитя мое! Счастье мое! Жизнь моя!» — шептал про себя страстно гетман, снова перечитывая записку и чувствуя, как от этого горячего, бурного восторга все мутится у него в голове. Но вдруг ужасная и быстрая, как

молния, мысль прорезала все сознание Богдана: «Через полчаса начнется приступ!»

В одно мгновенье весь ужас этого положения предстал перед Богданом: приступ, победа, пожары, гибель... разъяренные козаки... народ... Кто может спасти ее от погибели, от ужасной смерти?

— Иване, друже! Век не забуду...— заговорил он прерывистым, задыхающимся от волнения голосом,— беги скажи, оповести всех, чтоб обождали... не будет приступа...[70] Готовь послов... Я напишу сейчас письмо...

— В минуту, ясновельможный гетмане, — ответил Выговский и быстро вышел из палатки.

Полог за ним опустился. Гетман остался один. Развернувши записку, он снова впился в нее глазами. «Коханый, любый гетман мой, единый мой! Тебя одного всю жизнь, всю жизнь люблю!» — повторял он слова письма, и эти страстные слова, казалось, опьяняли его совершенно. Подавленный волной нахлынувшей страсти, рассудок его отказывался работать. Еще какие-то слабые обрывки мысли мелькали у него иногда в голове: «А может, лжет?.. Опасность, ужас смерти ее вынудили к этому?.. Отчего раньше не писала?» Но пробудившаяся с новою силою страсть заглушила их, как заглушает разыгравшийся рев моря слабые вопли тонущих людей. Перед этим порывом все исчезало в душе Богдана. Ни мысль о Ганне, ни воспоминания о прошлом, ничто не пробуждалось в ней. Одно только желание увидеть снова Марыльку, увидеть ее живую, с ее опьяняющею красотой, услышать ее чарующий голос, ее серебристый смех, ощутить ее всю, стройную, прекрасную, обольстительную, охватило всецело гетмана и обессилило его волю и ум.

— Ясновельможный гетмане,— раздался в это время голос вошедшего джуры,—письмо от полковника Богуна.

— А, что? — переспросил его Богдан, словно не понимая слов джуры. С изумлением взглянул джура на взволнованное, пылающее лицо гетмана и повторил снова:

— Гонец привез письмо от полковника Богуна.

Богдан взял у него письмо, рассеянно пробежал его, положил на стол и хотел было послать за Выговским, когда вдруг у входа в палатку раздался шум и крики многих голосов и в палатку стремительно влетели

Кривонос, Чарнота, Нечай, Вовгура, Золотаренко и другие полковники.

Лица полковников были возбуждены и красны от гнева.

— Что это, гетмане? — вскрикнул запальчиво Кривонос.— Не будем мы Збаража добывать?

— Да ведь ты же дал приказ готовиться к приступу! — подхватил Нечай.

— Я не хочу лить даром родную кровь, сдадут и так... Я получил известие,— ответил смущенно Богдан.

— Гей, гетмане, упустишь только время и дашь отдохнуть врагам, а то и получить откуда-либо подмогу! — загорячился Чарнота.— Какой нам толк в их переговорах? Чего нам их и слушать, когда они все у нас в руках? Сам же говорил ты, что надо бить наверняка, а теперь из-за чего останавливаешь приступ? Жалеешь нашей крови? Не жалей! Мы сами ее не жалеем, лишь бы окончить дело. Если теперь мы не раздавим ляхов совсем, они опять окрепнут и вся Волынь, Украйна, Подол наденут еще более тяжелое ярмо и проклянут нас навеки!

— Переговоры! — вскрикнул гневно Нечай, пожимая плечами.— Это значит выпустить из города войско, отдать ему оружие и еще провести охранно до короля, чтобы соединенные силы упали покрепче нам на хребет?

— Что? — заревел, побагровевши, и Кривонос. — Мы укрыли костями весь край, а теперь будем сворачивать с полпути и не брать того, что само нам лезет в руки? Из-за какой же это причины? Только что решили одно, а теперь другое? Это только у бабы бывает семь пятниц на неделе.

При этих словах Кривоноса вся кровь ударила в лицо Богдана и снова отлила.

— Не згода! Не згода! — поддержали Кривоноса Чарнота и Нечай.

— Не згода! Смерть панам! Рубить всех! Вперед на Збараж! — закричали и остальные полковники.

Богдан побледнел от гнева.

— Забыли вы, панове, что я гетман и на войне мое слово — закон! — прервал он повелительным голосом, подымая свою золотую булаву, и, гордо выпрямившись, остановился перед ними.— Меня вы выбрали гетманом Украйны и мне дали право распоряжаться здесь всем,

и пока в руках у меня булава — не поступлюсь я своим словом ни перед кем. Проще тебе было, пане Кривоносе, спросить о причине перемены моего наказа, если ты любопытен, как баба, а не кричать, как пьяному в корчме!

Полковники смущенно молчали.

— Я остановил внезапно осаду не по капризу и не из-за каких-нибудь тайных причин, а по наглой потребе,— продолжал, овладевши собою, с достоинством гетман,— чтобы доконать вконец ляхов и покончить с ними счеты навеки. Богун осадил короля [71],— вот это от него письмо,— взял он со стола пакет.— Мы поспешим к нему на помощь разбить последние польские силы, а здесь и Чарнота управится сам. Теперь,— заключил он повелительно, подымая булаву,— ступайте к своим полкам и ждите моего наказу!

— Прости нас, батьку! — промолвили тихо полковники и, угрюмо потупившись, вышли из палатки Богдана.

## LXV

Богдан в необоримом волнении прошелся несколько раз по палатке; не вспышка полковников, не грубое козацкое слово Кривоноса взволновали его, какое-то другое, более мучительное, грызущее чувство зашевелилось в душе гетмана. «Как, неужели же он из-за бабы способен сломить все дело? — спрашивал сам себя Богдан.— Нет, нет! Ему надо было поспешить к Богуну, взять в плен короля... Ха-ха-ха! — засмеялся он злобно.— На этот раз Богун подвернулся как раз вовремя; но не отдал ли Богдан приказание остановить приступ еще раньше, до получения его письма? Да, отдал, отдал приказ остановить приступ, но на время, потому что хотел вернуть и спасти свою жену. Всякий козак имел бы на это право, не то что гетман. Он не требовал ее у ляхов и ничего не обещал им за нее, она сама, своей охотой хотела вернуться к нему, и от того, что он на час, на день остановил приступ, не было бы беды никому... А если бы ляхи не выдали ее добровольно? — допрашивал он себя язвительно, с тонкостью беспощадного сыщика.— Да, если б потребовали от тебя уступки, что бы сделал ты тогда, гетмане? Уступил бы панам или продал бы победу за Елену...» — произнес Богдан вслух, останавливаясь посреди палатки.

В душе Богдана робко шевельнулся какой-то ответ, но гетман не захотел его слушать и, рванув себя за волосы, опустился в изнеможении на лаву.

Между тем в лагере происходила следующая странная сцена.

Возле посла, привезшего Богдану письмо от Богуна, столпилась кучка козаков,— случилось одно непонятное обстоятельство. Передав джуре письмо к гетману, посол успел только вскрикнуть: «Морозенко!» — и повалился с лошади. Козачка подняли, уложили на керею, вспрыснули водою, но он не открывал глаз. Все стояли кругом в недоумении, не понимая, что случилось с послом.

— Да вы посмотрите, не ранен ли хлопец? — заметил один из зрителей.

— Не видать,— ответили ближайшие.

— Не умер ли? — осведомился другой, посматривая с сомнением на бледное лицо хлопца.

— Нет, дышит, только тихо,— пожал плечами третий.

— Доложить бы гетману,— вставил еще кто-то.

— Куда там! Гетману теперь не до того! — вскрикнул джура Богдана, находившийся тут же.

— Так вот Морозенка, что ли, позвать? — вспомнил первый.— Ведь хлопец что-то крикнул о нем... может, брат?

— Морозенка! Морозенка! Уж он верно что-нибудь знает! — вскрикнули разом несколько голосов.— А ну, хлопцы, пошукайте его!..

Несколько козаков отделились от группы и бросились по лагерю. Через несколько минут к столпившимся вокруг бесчувственного посла подходил уже встревоженный Морозенко.

— А что такое? Что случилось здесь, панове? — спросил он еще на ходу.

— Да вот здесь к батьку гетману посол от Богуна,— ответил ему один из ближайших козаков,— отдал пакет да так и повалился замертво наземь. Только и успел крикнуть: «Морозенко!» А что он, хотел ли сказать тебе, что от Богуна, или увидеть тебя — не знаем.

Но Морозенко уже не слушал дальнейших объяснений козака. Как безумный бросился он вперед, расталкивая толпу и повторяя одну фразу:

— Где он? Где он?

— А вон,— указал ему в сторону хлопца один из передних зрителей.

Стремительно бросился Морозенко к лежавшему на земле козачку, остановился на мгновение, словно ошеломленный громом, и вдруг какой-то безумно-радостный, а вместе с тем отчаянный вопль вырвался из его груди. Упавши на колени около козачка, он схватил его за руку, припал ухом к его груди и, поднявши голову, крикнул, задыхаясь:

— Жива! Жива! Скорее горилки... воды!

Изумленные, растерянные зрители бросились исполнить просьбу Морозенка, и через несколько минут подле него стояла уже кварта горилки и кувшин воды.

— Помогите, помогите, панове! — произнес порывисто Морозенко, подымая дрожащими руками голову хлопца.

Все кругом засуетились; хлопца вспрыснули снова водою, налили ему в рот несколько глотков водки. Минуты через три дыхание хлопца стало заметно сильнее, на щеках выступил слабый румянец. Затаивши дыхание, не спускал с него глаз Морозенко. Но вот прошла еще минута, другая... Из груди хлопца вырвался глубокий, сильный вздох, затем веки его слегка заколебались, потом приподнялись... Глаза хлопца с изумлением обвели всех окружающих и остановились на Морозенке; с минуту они смотрели на него каким-то странным взглядом, словно не понимая, что происходит перед ними.

— Оксана, Оксаночка! — шептал тихо Морозенко, сжимая руку хлопца.— Неужели ты не узнаешь меня?

Все присутствующие молча переглянулись при этих словах Морозенка.

Вдруг какой-то страшный, потрясающий душу крик вырвался из груди хлопца; с непонятною силой рванулся он с места и с истеричным возгласом: «Олекса! Олекса!» — бросился к Морозенку на грудь.

Несколько минут Богдан сидел на месте молча, неподвижно, закрывши рукою глаза; ни шум, ни суета, раздававшиеся так недалеко от его палатки, казалось, не долетали до него. Наконец он медленно поднялся и направился было к выходу, как вдруг навстречу ему вбежал запыхавшийся джура.

— Ясновельможный гетмане, — вскрикнул он, — на башне збаражской вьется белый флаг! К нам в лагерь въехало посольство и какая-то пани с ним.

Богдан вздрогнул и пошатнулся.

— Что? Пани? Ты видел сам?! — вскрикнул он, хватаясь рукою за стол.

— Так, ясный гетмане, они хотят увидеть тебя.

— Веди их. Впрочем, нет, постой!.. Пусть подождут... Сначала впусти пани — и никого, слышишь, чтоб никого! Ну, чего ж ты смотришь? — крикнул он бешено на смотрящего на него с изумлением джуру.— Иди! Веди скорее!

Джура выбежал; Богдан остался один.

Несколько минут он стоял неподвижно, прикрывши рукою глаза; только тяжело ходившая грудь гетмана выдавала его страшное волнение. Через несколько минут, быть может, секунд, он увидит ее, глянет ей в глаза, услышит ее голос. Страшная минута!.. Теперь он узнает все — измена ли или насилие, любит или не любит?.. Но как встретить ее, что сказать ей, как обнять ее после... Ох, нет...—схватился он за голову руками,—подождать... пусть не теперь, после, потом... Нет сил!—чуть не вскрикнул было Богдан, рванувшись стремительно вперед, и вдруг остановился как вкопанный на месте: у входа раздался тихий шелест шелковых одежд.

Богдан замер. Глаза его впились в полу, закрывавшую вход в палатку, какая-то бессильная истома сковала все его существо, дыхание захватило, застучало в висках, гетман сделал шаг назад и оперся спиною о стол.

И вот пола заколебалась тихо, нерешительно и в открывшемся светлом отверстии показалась фигура Марыльки. Прелестнее, чем она была в эту минуту, трудно было бы вообразить себе что-нибудь. Длинное черное шелковое платье плотно охватывало ее стройную фигуру и спускалось вниз тяжелыми матовыми складками; черный креп покрывал золотистую головку Марыльки и вился легким покровом по ее платью, спадая до самой земли. В этом строгом, печальном наряде дивное, почти прозрачное лицо Марыльки получало еще какую-то необычайную трогательность. Богдан не отрывал глаз от Марыльки и в этой прелестной женщине, дивной, как богиня, не узнавал той кокетливой, грациозной, но еще мало опытной девочки, которая бросилась к нему тогда в Субботове с безумными ласками на грудь. Она была

так хороша, так обаятельна в эту минуту, что даже не любящее сердце должно было бы вздрогнуть от восторга при виде ее, и восторг Богдана отразился невольно на его лице. Это не ускользнуло от внимания Марыльки. Одно только мгновенье остановилась она на пороге и затем с потрясенным рыданием возгласом: «Тато! Таточко мой!» — бросилась к Богдану.

Звук этого страстного, близкого голоса заставил Богдана вздрогнуть с ног до головы; все перед ним помутилось, желание обнять, задушить в своих горячих объятиях так безумно, страстно любимую женщину охватило все сердце гетмана; Богдан рванулся вперед и с диким, порывистым движением прижал к груди трепетавшую и рыдавшую женщину... В этом стихийном порыве было какое-то одуряющее блаженство, потрясшее все его существо взрывом хаотических ощущений; в них чуялись и бурные крики радости, и прорвавшиеся сладостные слезы, и жгучее дыхание давно неведомого счастья, в них было все, кроме ошеломленного до беспамятства разума. Но вдруг резкая, как удар ножа, боль полоснула его по сердцу и осветила молнией все мысли. Вот эту Елену, его Елену обнимал, целовал, называл своей Чаплинский! Бешеная ярость вспыхнула в сердце Богдана; лицо гетмана побагровело, он судорожно отклонил повисшую на его шее Марыльку и, отвернувшись, чтобы скрыть страшные муки, исказившие его лицо, проговорил хриплым, сдавленным голосом:

— На щеках пани еще горят поцелуи Чаплинского!

Марылька пошатнулась.

— О господи! И ты... и ты... коханый мой, единый мой! — простонала она.

— Единый! — перебил ее Богдан и разразился горьким хохотом.— Единый! Ой, пани в веселом гуморе! Единый? Нет, пани,— прошипел он язвительно,— нас теперь два, два, два! А может, и больше! Ха-ха-ха!

— Так, оскорбляй меня, гетмане! Теперь ты моим словам можешь не верить, можешь думать, что их вызывает страх перед смертью, ведь я в твоих руках,— заговорила Марылька горьким, но искренним тоном, подымая на Богдана свои чудные глаза.— Но пусть так! Казни меня! Мне эта жизнь так опостылела, что я сама бы с збаражской башни бросилась головою вниз,

если бы одно не удерживало меня на свете! — Голос Марыльки задрожал, на глазах показались слезы.— О таточку! — прижала она к груди свои руки и заговорила страстно, порывисто: — Одного только и ждала я — чтобы увидеть тебя снова, чтобы глянуть тебе вот так, как теперь, в глаза, чтобы сказать тебе: Богдане, лыцарь мой! Тебя одного, одного всю жизнь любила! Оттолкни меня, убей меня, но верь мне, что я тебе не изменила! Ты мое счастье, ты мой рай.

— Рай?! — вскрикнул Богдан и рванул себя бешено за чуприну.— И в этот рай ты пустила другого?

— О гетмане... насилие...

— И переписка в Субботове с этим извергом, и условленное бегство — тоже насилие? Ведь я знаю все, пани. Мне говорили ваши слуги...— задыхался Богдан.

— Слуги, челядь? — улыбнулась презрительно Марылька.— Разве им можно верить? Если бы я сама захотела уйти, кто бы меня мог удержать? Я не была ни рабыней, ни бранкой. Для чего же понадобился бы мне этот ужас наезда? Чтобы рисковать и своей жизнью? Значит, и Оксана бежала от Морозенка по уговору с Чаплинским?

— А, так все это, выходит, насилие? — простонал гетман.— И это торжественное воссоединение с лоном католической церкви — тоже было насилие? И этот ликующий шлюб с новым мужем — тоже насилие? И это пышное, устроенное потом торжество Гименея — тоже насилие? И это брачное ложе?.. А! — заревел Богдан, как раненый зверь, и бросился с сжатыми кулаками вперед, словно на невидимого врага.

Марылька побледнела как полотно и схватилась рукою за стол, чтобы не упасть на пол; но бешеная вспышка Богдана через несколько мгновений прошла; он прошелся бурно раза два-три по палатке и остановился. Пылавшее дикой ревностью, и гневом, и страшною болью лицо его подергивалось конвульсиями, глаза сверкали мрачным огнем; воздух врывался в его легкие с шумом и клокотанием; грудь тяжело подымалась.

— Да, все это было насилие,— ответила после долгой паузы упавшим, измученным голосом Марылька,— это были придуманные мною отсрочки позора.

— И все-таки этого самого позора... ты вкусила? — прошипел хрипло Богдан.— Ха! Да от такой муки се-

деют за ночь, вешаются, бросаются в омут, а не идут наложницей к другому!

— Я придумывала задачи, чтобы протянуть время,— устремила Марылька на Богдана полные слез глаза,— я ждала, что меня выручит... спасет меня... мой защитник, мой супруг... моя жизнь... но помощь не приходила.

— Я лежал без памяти. Предательское нападение подкупленного убийцы тебе известно? — произнес угрюмо гетман.

— Эту подлость я узнала потом...— прошептала Марылька и продолжала горячо: — Ты говоришь, что другие умирают. Что смерть? Мгновение — и вечный покой. Позор страшнее смерти! И остаться для мук, для позора могло заставить только одно непобедимое чувство — любовь! И я ради этой любви осталась жить, чтоб увидеть тебя, оправдаться перед тобой. Мне было это легче сделать, чем я предполагала, потому... потому,— опустила она стыдливо глаза,— что все остальное время я была вдовою. Эта самая челядь обнаружила мне еще до шлюба разврат ненавистного мне негодяя, а потом я его поймала с покушавшеюся на жизнь бедною Оксаной и спасла ее от насилия, открыла через нее притон его жертв и разорвала с ним навсегда. Этот вечно пьяный развратник вздумал было воспользоваться своими правами, но получил такой отпор, что оставил меня в покое навсегда. И я в глуши, в уединении коротала свои дни только с сердечною тоской да с думой о моем рыцаре, о моем соколе, о моем месяце ясном!

Слова Марыльки были так искренни, доводы так правдивы, а сама она так обольстительно прекрасна, что буря бешенства и ревности начала мало-помалу утихать в груди Богдана: морщины на лице его расправились, цвет лица стал ровнее, в глазах блеснул ясный огонь.

— Но почему же ты не дала мне знать? — промолвил уже мягче гетман, сделав движение к Марыльке.

Горевшее ярким румянцем лицо ее озарилось робкою, счастливою улыбкой; она готова была уже броситься снова в объятия к своему желанному повелителю и промолвила кокетливо:

— Ведь я же перекинула моему гетману из Збаража стрелкой лыст.

Этот детский, кокетливый тон показался Богдану

фальшивым, и яд ревности снова ожег его сердце, а в груди зашевелилось убаюканное было недоверие.

— Нет, не могу, не могу верить! — вскрикнул он, закрывая руками глаза и отшатнувшись к столу. — Вздумала отозваться, когда уже над всем Збаражем произнесен был смертный приговор. Свою жизнь спасала! А может быть... Ха-ха-ха! За шкуру своего малжонка дрожала!

Марылька побледнела и схватилась рукою за грудь.

## LXVI

Глаза Марыльки сверкнули гордым огнем, и она заговорила, подняв высоко голову:

— Что ж, оскорбляй меня, издевайся над этим глупым сердцем! Я ведь невольница здесь и беззащитна! Так, так...—продолжала она горько,—теперь моей любви нельзя верить — не стоит. Ей можно было верить тогда, когда я из дома коронного канцлера попросилась к простому, незначному козаку, которого я сразу полюбила всей своей девичьей душой! Ей можно было поверить, когда я, забывши и стыд, и совесть, отдалась пану писарю, зная, что своею красотой я могла бы себе и почет, и богатство купить... О, тогда мне можно было верить! Но когда пан гетманом стал, в моем сердце должен говорить только расчет. Что ж, пусть и так! Но ты забываешь одно, гетмане,— переменила сразу тон Марылька и заговорила дрожащим от глубокой обиды голосом.— Не только из осажденного Збаража посылала я тебе письма, я присылала тебе письмо еще год тому назад, через Оксану, которую я спасла от рук негодяя! Тогда ты еще сам не знал, чем окончится дело, а в Польше все, все пророчили тебе погибель и позорную смерть! Но я не побоялась разделить ее с тобою, я молила тебя вырвать меня от Чаплинского... Я всюду полетела бы с тобою... Я ловила тоскующим сердцем каждую весточку о тебе, я мыслью торжествовала с тобою твои победы...

— Га, победы, победы! — заметил колко Богдан, но Марылька не дала ему опомниться.

— Да, торжествовала победы,— продолжала она горячо,— и трепетала за твою судьбу... Тогда еще не было пилявецкого поражения, и кто знает, чем бы кончилось дело, если бы не побежали все от одного твоего

имени. И я боялась этого, я хотела быть вместе с тобою, я измучилась от этой страшной тревоги... Да, Богдане, я не хотела умирать, потому что хотела жить с тобой! — И Марылька простерла к Богдану руки, но он еще, видимо, колебался.

— О гетмане, не отталкивай меня, не отталкивай меня! — вскрикнула безумно она, падая перед ним на колени.— Зачем ты хочешь отнять у меня твое сердце, когда оно любит меня? Чем виновата я в своем несчастии? Одного тебя я люблю с самых детских лет... Разве ты забыл ту страшную ночь, когда ты спас меня на турецкой галере? Разве ты забыл те дни, которые мы провели с тобою на чайке, помнишь те долгие переезды по зеленой степи, когда я скакала с тобой рядом, когда ты поклялся быть мне вторым отцом?

— О невозвратимое счастье! Есть ли у тебя бог в сердце? — простонал Богдан, опускаясь в изнеможении на лаву.— Я хочу верить тебе — и не могу... Понимаешь, какая это мука?

Но Марылька не слушала его слов; уцепившись за его руку, она подползла на коленях к гетману и, охвативши его колени руками, продолжала свою речь. Она уже не говорила, она шептала каким-то страстным, задыхающимся голосом:

— Вспомни те дивные весенние дни, когда мы ехали с тобою из Варшавы, вспомни те летние прозрачные ночи, которые провели мы с тобою в Субботове! Помнишь ли ту ночь?.. Чад и беспамятство... Ведь это я, твоя коханая, твоя любимая Леся! Я снова хочу любить тебя больше жизни, больше света, больше всего!

От жгучих речей лицо Марыльки загорелось жарким румянцем, черный креп свалился с ее головы, золотистые волосы разметались по плечам и окружили ее голову светящимся ореолом; глаза ее, потемневшие, как сапфир, впивались в глаза Богдана; они, казалось, проникали какими-то огненными нитями в самые тайники его сердца... Опьяняющий аромат ее дивного тела кружил голову Богдана. А голос Марыльки шептал все страстнее какие-то безумные, бессвязные слова... Гетман уже не разбирал их значения, а только слушал этот голос, дивный, чарующий, страстный, заставляющий забывать все окружающее.

— Олесю, радость моя! — вскрикнул клокочущим

голосом Богдан, сжимая до боли ей руки.— Скажи мне, есть ли бог в твоем сердце? Правдивы ли твои слезы? Есть ли хоть капля правды в твоих словах? Я молю тебя — правды, правды! Я хочу верить тебе, слышишь, хочу!

— И верь! Верь! — подхватила горячо Марылька.— Тебя одного люблю и любила! За тобой пойду на край света! Для тебя только и живу, мой желанный, мой коханый!

— Поклянись мне!

— Клянусь последними страданиями отца, клянусь спасением моей души, клянусь своею предсмертною минутой,— страстно заговорила Марылька, сложивши на груди руки,— тебя одного любила и люблю! Чаплинского не знала. Он ненавистен мне, как никто на земле. Пускай отступит от меня навеки пречистая матерь, если в моих словах есть хоть капля лжи! Пускай над моею могилой креста не поставят! Пусть я умру без отпуска, как Каин!

— Помни, что нарушителей клятвы,— сказал мрачно Богдан,— ждет страшная кара и там, и здесь, на земле.

— Что мне кара? — вскрикнула горько Марылька.— Может ли быть бóльшая мука, как то, что ты не веришь ни мне, ни моим слезам? О, чем же мне заслужить твою веру? — продолжала она, обливаясь слезами.— Чем мне уверить тебя, чем, скажи? — заломила она в отчаянии руки.

— Елена! — прошептал Богдан, теряя над собою власть.— Последний раз, на бога... правду... если ты любишь, любила меня, все, все забуду! Ах, как я тебя люблю!

— О гетмане! — прервала его страстным воплем Марылька и бросилась к нему на грудь.

Богдан не отстранил ее, а обвил своими руками. Теплое, ароматное тело прильнуло к нему с такою страстью, что Богдан почувствовал, как все закружилось в его голове. Этот аромат, эта близость безумно любимой женщины опьянили гетмана, а Марылька, прижавшись к его губам своими губами, шептала страстно, безумно:

— Люблю, люблю, люблю тебя одного!

Вдруг у входа раздались какие-то спешные шаги; в одно мгновение Марылька отскочила от гетмана, и в эту же минуту на пороге появился джура.

— Как смеешь ты нарушать мой наказ? — крикнул на него запальчиво гетман.

— Прости, ясновельможный гетмане, из Збаража только что прибежал какой-то шляхтич; он требует, чтобы я ввел его к тебе, и говорит, что имеет сообщить тебе неотложные, важные новости.

При первых словах джуры Марылька вздрогнула и побледнела. Ужасная мысль шевельнулась у нее в голове: «А что, если это Чаплинский или Ясинский, если они явились сюда выдать ее тайну? О боже, что тогда?..» Богдан молчал, он хотел было велеть шляхтичу подождать, но бросил быстрый взгляд на Марыльку, и какое-то подозрение шевельнулось в его душе...

— Обезоружить и впустить,— произнес он отрывисто. Марылька занемела в ожидании, но решила смотреть опасности прямо в глаза.

В одно мгновение в уме ее созрело быстрое решение: будет ли это Чаплинский или Ясинский, но поведение их с нею будет зависеть от того, какими покажутся им отношения Богдана к ней, а потому она села рядом с ним и постаралась придать своему лицу самое радостное выражение. Шляхтич не заставил себя ждать; через несколько минут в палатку вошла какая-то фигура с большим мешком в руке. В мешке лежало что-то тяжелое и влажное; низ его был мокрый, и какая-то темная, красная жидкость просачивалась через него и падала крупными каплями на пол.

— Ясинский! — крикнул с изумлением и негодованием Богдан, схватясь с места.— Сюда? Ко мне? Осмелился прийти?.. Га-га! Ну я теперь припомню пану Субботов! Гей, козаки! — хлопнул он в ладоши.

— На бога, ясновельможный гетмане, — бросился перед ним на колени Ясинский.— Я торопился, чтобы принести ясновельможному гетману все сведения о Збараже; я знаю тайный ход... Я принес преславному гетману то, чего он напрасно добивался целых два года, чего не хотел подарить ему сейм! — И с этими словами Ясинский встряхнул своим мешком,— к ногам гетмана и Марыльки покатилась бледная, замаранная кровью голова Чаплинского [72] с раскрытыми, застывшими в ужасе глазами...

Марылька вскрикнула от ужаса и неожиданности; в голове ее помутилось, но она сделала над собой

невероятное усилие, чтобы не потерять сознания: малейшее ее движение Богдан мог принять за проявление сожаления. Марылька сразу сообразила это и овладела собой. И действительно, вид мертвой головы Чаплинского не возбудил в ней никакого сожаления; он был до того уже ненавистен ей, что, казалось, она сама смогла бы задушить его своими руками, и только безвыходность положения удерживала ее; в душе ее шевельнулось даже какое-то смутное чувство радости и облегчения. Теперь сама судьба была за нее! Главный, ужасный свидетель ее тайны уже устранился с дороги. Эта мертвая голова не промолвит больше ни слова; остальные же все уже не страшны ей. Невольный облегченный вздох вырвался из груди Марыльки, но вид головы был так ужасен, что она должна была отвести от этого страшного зрелища глаза.

Сам Богдан вздрогнул и отступил с отвращением назад.

Несколько мгновений в палатке царило полное молчание.

При виде этой мертвой головы, так страшно смотрящей своими неподвижными глазами, вся ярость улеглась в душе Богдана. Он молча смотрел на этого мертвого врага, отравившего его жизнь.

— О господи, суд твой строг, но справедлив! — раздался первый голос Марыльки.— Ты отомстил за меня!

Звук этого голоса заставил оглянуться Богдана.

— Жалкий мерзавец,— произнес он с презрением, обращаясь к Ясинскому,— ты думал этою изменой купить меня? Ошибся, пане! Предателей мне не надо! Гей, джура, созвать сюда козаков! — крикнул он громко.

Ясинский побледнел, лицо его помертвело; ужас неотвратимой смерти предстал сразу перед ним.

— Ясновельможный гетмане! Спаситель! Батько наш! — залепетал он, опускаясь сразу на колени.— На матку свенту! Все! Все! — полз он по земле, стараясь поймать ноги Богдана.

Но было уже поздно: у раскрытого входа стояло четыре плечистых козака.

— Ой! Спаси! Пощади! — вскрикнул дико Ясинский, обезумевший при виде их, и судорожно уцепился за ноги Богдана.— Я знаю все. Я все расскажу тебе о пани, о том, как она...

— Не надо! — перебил гордо Богдан и с отвращением оттолкнул его от себя ногою.— Возьмите ляха,— обратился он к козакам,— и повесте его с этою головой на шее: пусть знают все, что предатели не нужны нам!

Увидев, что мольбы его не ведут ни к чему, Ясинский бросился защищаться с последним отчаянием. Он рычал, кусался, цеплялся в лица окружавшим его козакам, но борьба была неравна. Четыре сильные руки подхватили его под мышки и выволокли из палатки. Раздирающий душу крик донесся еще раз... Затем все смолкло.

С минуту Богдан еще прислушивался, но вот он почувствовал на своем плече прикосновение чьей-то легкой руки: перед ним стояла Марылька. Она сияла торжеством и гордым сознанием своей силы. Теперь она была свободна: все препятствия устранились с ее пути, и это сознание своей безопасности и свободы придавало ей еще больше красы.

— Что же, Богдане,— произнесла она,— веришь ли ты хоть теперь моей любви, моему слову?

— Верю, верю, верю! — вскрикнул горячо Богдан и страстно, безумно, дико прижал ее к своей груди...

Еще с рассвета первого сентября 1649 года, на Семена, у Золотых ворот града Киева толпились огромные массы народа [73]. Ворота эти сидели тогда еще глубоко в возвышавшемся над ними валу, окружавшем замкнутым овалом весь верхний город, нынешний старый Киев, и составляли единственный въезд в него с западной стороны. Сверх вала над воротами еще виднелись тогда остатки развалин древней церкви, воздвигнутой Ярославом Мудрым. За городским валом, вне ворот, стояли уже на поле справа и слева по два земляных городка, вроде маленьких фортов, обстреливавших арматами и пищалями дорогу, шедшую от Белой Церкви и Василькова к городу через речку Лыбедь. Самая эта река,— ничтожнейший теперь ручеек,— была в то время еще многоводной и ворочала жернова мельниц Софиевского монастыря; через нее у нынешнего кадетского корпуса перекинут был длинный, с извилистыми греблями деревянный мост. Вся местность от городского вала до Лыбеди представляла волнистую покатость, спускавшуюся круто к реке, изрезанную оврагами, усеянную мелким кустарником и гайками; некоторые прогалины были

вспаханы и издали казались золотистыми пятнами, брошенными то там, то сям на кудряво-зеленый полог; но среди этих зарослей и гайков не подымалось сизого дымка, обнаружившего бы какое-либо жилье, только в двух местах на отдельных пригорках торчали сторожевые вышки, а дальше за Лыбедью синел уже сплошною стеной густой лес, надвигавшийся с северной стороны ближе к валам города. По дороге за Золотыми воротами тащились тогда к мельницам лишь подводы с мешками, а по белоцерковскому шляху тянулись мажи с товаром либо громыхали буды или рыдваны, а чаще проезжали всадники-козаки,— теперь же все это взгорье было усеяно движущимися фигурами, словно за валами раскинулась какая-то необычайная ярмарка. По обеим сторонам дороги, почти до самой реки, шпалерами растянулись толпы народа, за этими движущимися лавами стояли возы с привязанными к ним волами, брички с стреноженными, пасшимися неподалеку конями; видно было, что съехался народ с разных сел и местечек к какому-то великому торжеству. Сам город, и верхний, и нижний, совершенно был пуст; все горожане с семьями и домочадцами столпились между святою софиевскою брамой и Золотыми воротами. Весь поселок от Георгиевской церкви до валов был запружен народом; толпился он в проулках между хатами, лез на плетни, на барканы, на деревья, на крыши, унизывал гребни валов, теснился по обеим сторонам открытых Золотых ворот. Здесь особенно велика была давка, так что мийская стража и конные козаки едва могли охранять от натиска самую дорогу, пролегавшую среди пустошей и шинков, от Золотых ворот до софиевской брамы; последняя была вблизи Георгиевской церкви, в окружавшем Софиевское подворье дубовом двойном частоколе. Толпы народа то прибывали новыми волнами, то протискивались в Золотые ворота, то перемещались с места на место. В самом Софиевском храме шла торопливая суета: вставляли в паникадила зеленые восковые свечи, чистили наместные образа и новые царские врата, выкованные из пожертвованного гетманом серебра, подметали двор, выстилали дорогу от храма до брамы червоным сукном, а от брамы до Золотых ворот синею китайкой. На всем этом пространстве,— и в городе, и за городом,— стоял оживленный гомон, прорезываемый перекрестными криками, воз-

гласами и перебранками; но все это звучало такою радостью, таким простодушным весельем, какого не может таить грудь и какое всегда вырывается из нее бурными звуками.

Солнце выплыло рано в тот день из заднепровских боров и облило яркими лучами всю киевскую гору с сияющими на ней среди дремучих лесов главами и крестами монастырей Выдыбецкого, Успенского, Николаевского, Михайловского, осветило сбитую из дубовых бревен стену нижнего города Подола с возвышавшимися во многих местах башнями и брамами, брызнуло огнем по макушкам нижних церквей и выхватило из туманной мглы копошившиеся в верхнем полуразрушенном городе массы, запестревшие под лучами его всеми цветами праздничных пышных одежд и двигавшиеся по всем направлениям, точно всполошенный муравейник.

Что же такое подняло на ноги до рассвета всех жителей, зажгло восторгом глаза их и оживило бурным порывом чахлый, истерзанный до полусмерти город?

Пришла весть, что славный Богдан, богом ниспосланный гетман, возвращается с победными войсками и с завоеванною для всего русского края свободой в древний стольный город поклониться святыне и возвестить своему народу зарю новой, братской, неподъяремной жизни, а вчера еще сообщили гонцы, что гетман с Чигиринским полком, составлявшим его гвардию, и со всею старшиной ночует уже в селе Боярке,— вот эта-то весть и стянула к Киеву со всех околиц народ, оживила город и вдохнула во все сердца ликующую радость.

## LXVII

У самых Золотых ворот, на почетном месте, устланном синею китайкой и огражденном канатом, стояла семья гетмана. Ганна была все та же, стройная и прекрасная, с кроткими лучистыми глазами, сверкавшими теперь бесконечною радостью, с игравшим счастием румянцем на обычно бледных щеках, и в светло-глазетовом уборе; но Катри и Оленки нельзя было бы теперь узнать: они совершенно расцвели и выглядели в пышных нарядах и сверкавших монистах настоящими красавицами, даже хилый Юрась смотрел теперь бодро и весело и казался в бархатном кунтуше уже полувзрослым хлоп-

цем. Возле Ганны стоял прискакавший ночью в Киев Богун и передавал ей бегло о подвигах гетмана при збаражской осаде и Зборовской битве. Они встретились теперь как друзья, с ясною радостью, без тени смущения,— так широко было охватившее их общею волной счастье, что в нем потонули все мелкие эгоистические ощущения.

Наш старый знакомый, субботовский пасечник дед, стоял тут же, облокотясь на костыль, и слушал с жадностью рассказы славного лыцаря, приставя правую руку к уху и вытирая левой слезившиеся глаза; он уже был слишком дряхл, с пожелтевшею бородой и с тощею прядью серебристых волос на облысевшей и лоснившейся голове, но торжественная минута воскрешала душу и бодрила тело глубокого старца... Из-за деда выглядывали седой, осунувшийся крамарь Балыка и его товарищ, черный и длинный, как жердь. Толпа горожан и козаков теснилась у каната, натягивала его и пригибалась, чтобы не проронить слов завзятого витязя, приобревшего уже всеобщую любовь и признательность.

— Так вот, коли в Збараже не хватило уже ни пороху, ни пуль, ни зерна, коли ляхи, переевши всех коней, принялись за собак,— говорил Богун, вызывая своим рассказом шумные одобрения, передаваемые от ближайших рядов к дальнейшим,— наш батько и послал меня с небольшим отрядом на разведки к зборовским болотам, откуда ожидался король с посполитым рушеньем,— он спешил на выручку збаражских войск... а их-то и осталось всего жменя!

— Вылокшили? — захихикал дед, тряся головой.

— И вылокшили, дидусю, и выудили на гака, как сомов, и сами они, с ласки божьей, еще передохли от голоду.

— Ага! Попробовали, значит, и сами той стравы, какой угощали и нас,— заметил злорадно в серой простой свитке селянин.

— Тергаючи еще за унию,— добавил высокою фистулой длинный крамарь.

— Так, так. Какой привет, такой и ответ.

— Так им и надо! — раздались голоса в толпе и понеслись волной возгласы: — Так им! Любо! Хоть отплатили за свои шкуры!

— И за веру! — заключил хрипло Балыка.

Ганна, затаив дыхание и хватаясь иногда рукою за сердце, чтобы сдержать его радостный трепет, слушала восторженный рассказ Богуна про подвиги обожаемого ею героя, спасителя и избавителя страны от неволи, несравнимого велетня, посланного богом всем и ей... ей... на счастье! Она только блеском искрившихся глаз да выражением лица сочувствовала рассказчику и сливалась с каждым его словом душой.

Катря и Оленка, обвивши стан своей любой Ганны руками, ловили, не сводя глаз с удальца, каждое его слово и восхищались бессознательно им самим. А Юрась, так тот к нему просто прильнул и, раскрывши свой рот, с напряженным вниманием слушал и слушал, морща свои жидкие брови.

— Ну, так вот и отправился я борами да топями к Зборову,— продолжал Богун, возвышая голос, чтобы удовлетворить любопытству толпы, жаждавшей услыхать про славные «на весь свет» подвиги своего родного гетмана и батька.— А нам все, что ни делалось в польском войске, было известно: заставят ляхи поселян подвозить им фураж — а те зараз же и сообщат нам, где неприятель и сколько у него сил, да и дорогу еще укажут ближайшую да удобную, а панов заведут в болота; известно, братья, крещеный русский народ для своих заступников рад и живот положить. А то еще и лядские слуги кидали своих магнатов да передавались к нам либо с голодухи, либо с того, что и к ним дошел слух, что мы идем освободить весь рабочий люд от канчука и ярма. Ну, а слуг ведь в каждом польском лагере, почитай, втрое больше, чем шляхетных рубак.

— Здорово! — захохотал длинный крамарь.— Говорят, что ихнее лыцарство шло на войну не то что с кухарями да псарями, а и с перынами.

Гомерический хохот поддержал это замечание, но он сразу упал, чтобы дать возможность продолжать генеральному есаулу рассказ.

— Это верно,— согласился после небольшой паузы Богун,— привыкли к нежностям да роскоши паны и не хотели с ними расставаться на бранном поле, да вот только нега негой, а отвага и запеклость — отвагой; особенно у этого сатаны Яремы!.. Будь он проклят навеки за свою лютость и будь хвален до конца света за свое львиное сердце!.. Так вот, отправился я с своим

отрядом по неведомым тропам к дубовому лесу, что раскинулся на песчаном холму за болотистым разливом речки Стрипы; с этого дубняка видно как на ладони и город Зборов, и расположившиеся с полмили за ним села Суходолы и Млынов [74]. Въехал я на опушку да как повел глазами вокруг, так и затрясся от радости: у Млынова играл под лучами заходящего солнца пышный польский лагерь; разноцветные палатки отдавали шелковым блеском, а по лагерю разъезжали на дорогих конях вельможные лыцари, сверкая серебром и сталью своих панцирей и кирас; между темными массами войск блестели медно-красным огнем жерла орудий...

— Ишь, дьяволы! — крикнул кто-то.

— Молчи, дурень, дай слушать! — осадил его сразу другой, и тишина стала еще более чуткой.

— А я знал,— продолжал Богун,— что ясновельможный наш батько решил уже на другой день добывать силою Збараж: хан на этом настаивал, а помогать отказался; чужими руками, видите ли, хотел жар загребать...

— Сказано, невера! — мотнул головой дед.

— На него и полагаться было нечего в святом деле! — вздохнул Балыка.

— Так я подумал,— поправил молодцевато шапку Богун,— что неладно будет, если наши распочнут приступ, а на них с тылу ударит король... Хоть у нас и без татар было больше силы, ну, а все... чем бес не шутит!.. Да и лучше было застукать короля среди болот и лесов, чем выпустить его на чистое. Ну, вот я и послал к батьку посланца: нагодился как раз бежавший из польского лагеря свой-таки хлопец... Тут тоже вышла штука, ну да об этом после... Так вот, послал этого хлопца с лыстом: думка такая, что коли король двинется, так ему не минуть этого леса, а мы в этом переходе и встретим его с орлятами, да и остановим, пока не ляжем все до единого...

— Эх, сокол мой, не говорила ли я,— вспыхнула от восторга Ганна,— что твое сердце для родины лишь да для славы?

Богун взглянул на нее пристально и, побледневши, подавил вздох.

Ганна тоже потупилась.

В толпе послышались восторженные похвалы козачьей

удали, но они были заглушены протестом против нарушителей тишины.

— А кроме того, нашелся среди моего отряда знающий татарскую мову козак, так вот я ему и посоветовал, как одурить ляхов,— заговорил торопливо Богун, чтобы скрыть налетевший и взволновавший его душу порыв.— Вывернул он кожух шерстью вверх, надел косматую шапку и попался нарочно в плен; ну, допросили его, как водится, с пристрастием, а он и показал, что хан с несметными силами стоит у них за плечами. Это так испугало ясного круля и князя Оссолинского, что они остановились, велели войску окапываться и послали кругом разведочные команды, а мы таки преблагополучно дождались нашего славного гетмана с ханом. Хитрый Ислам-Гирей не хотел было и пальцем двинуть под Збаражем, а тут налетел с своей ордой наввыпередки, рассчитывая поживиться добычею и взять самого короля в плен... Ну вот, собралось к тому лесу, где я стоял, и наших, и татар тысяч сто, так и укрыли, что комашня, всю узкую полосу между рекой и болотами почти наполмили. Панам и невдомек, все посматривают назад да оттуда ждут неприятеля, а он под носом у них!

Толпа засмеялась сдержанно и снова затаила дыхание.

— Хан было сразу хотел кинуться на польский лагерь,— снова начал Богун,— да преславный наш вождь, наимудрейший из мудрых, окинул орлиным оком все поле и остановил прыть алчного к наживе хана. Батько заметил, что поляки, удостоверившись, вероятно, в брехне Рябошапки,— земля над ним пером! — снял он набожно шапку, и толпа за ним обнажила головы,— двинулись снова в поход и направили свои полчища к гребле на Стрипе. Вот гетман и загадал пустить ляхов переправить половину своих войск через реку да и ударить потом на разрозненные половины с двух сторон. Задумано — сделано. Оставил он хана с татарами на левом берегу, а сам с козаками переправился ночью вброд на правый и, прокравшись в тыл ворогам, стал в том лесу, где был прежде их лагерь... А у беспечных ляхов ни передних, ни тыльных дозорцев,— как увидели, что нет близко врага, так сразу и расхрабрились; на следующий день начали паны переправу через греблю, подправивши ее за ночь и пристроивши другой мост.

Двинулась сначала наемная пехота, за нею армата, а за арматой обоз с многочисленными слугами и дорогим панским добром, а потом уже вырушили и на пышных конях разряженные да вооруженные с ног до головы паны. Переправляются спокойно войска, ни малейшей тревоги, ни тени какого-либо подозрения. Переправилась добрая часть, и на другой стороне речки раскинулись для лыцарства палатки, а кухари стали готовить для подкрепления панских сил снеданки. А Кривоноса Максима гетман нарочито прикомандировал к ханскому войску, чтобы по общему гаслу ударить с двух сторон на врага. Благодушествуют себе паны, что перешли через реку, уселись за снеданки да войскам выдали порции... Разлеглись все на отдых и по ту сторону, и по сю сторону Стрипы, закрывшись чем попало от пустившегося дождя. Один только король слушал в палатке своей святую отправу и приобщался... Выехал из лесу гетман со всей старшиной, а за ним высыпали лавами и славные чигиринцы, и запорожцы, и другие полки... Моросил дождик и закрывал сизым туманом наши движения. А ясновельможный наш пан вылетел вперед на своем Белом Змее да как крикнет громовым голосом, поднявши высоко булаву: «Гей, молодцы-юнаки, славные лыцари-запорожцы! Отцы ваши, братья и дети простирают к вам руки и просят освободить их от фараоновского лядского ига; души замученных жертв молят вас отомстить за марно пролитую кровь; поруганная наша церковь взывает к своим сынам постоять за нее! Вон скучились в ужасе последние силы ваших исконных врагов! Разите их, но не коснитесь рукой помазанника господня! За мной же, друзья, и горе напастникам нашим!»

— Эх, да и славно же! Огонь! — раздалось в сомкнутых рядах, и слушатели как-то невольно сорвали с голов своих шапки и замахали энергически ими. А Ганна только сжала молитвенно у груди руки и, подняв к небу наполненные радостными слезами глаза, прошептала восторженно:

— Господи! Ты зажег в его душе этот пламень! Поддержи же его во все дни и на вся!

Богун передохнул несколько раз, отер пот, выступивший мелкою росой на висках, и продолжал горячо рассказ:

— Грянула сигнальная пушка, раздался на обоих берегах Стрипы страшный пронзительный крик, и мы упали бурею на головы ошеломленных врагов. Всё в ужасе побежало, не зная куда; забывали схватить даже оружие, бросались прямо под копыта наших коней... На другой стороне речки татары разметали трапезовавших ляхов, погнали их отарами к речке... Король распорядился послать им на помощь хоругви... Отступавшие без оглядки паны столкнулись на мостах с посланною им помощью; произошла давка — мосты обрушились, и войска на той стороне остались совершенно отрезанными. Начали они было окапываться да обставляться возами, так куда было сдержать натиск такой силищи!.. Максим говорил, что как пустили татары в них стрелы, темно стало совсем в их таборе, а потом как бросились на него со всех сторон, так не удержали натиска и длинные гусарские копья; наши первые разорвали их табор, опрокинули, изломали возы — и пошла потеха! А вот король успел обставиться возами да гарматой и отразил несколько наших атак, хоть и с страшным уроном; он кидался всюду с крестом, молил держаться стойко, грозил проклятием и баницией трусам... и удержался до ночи... Ну, а как упала ночь, да темная, хоть глаз выколи, так паны и начали удирать из лагеря, а за ними и слуги... Пронесся слух,— рассказывала ихняя челядь,— что и король утик... Поднялось опять чуть ли не пилявское смятение... Так несчастный, истомленный король должен был ночью бегать по лагерю и кричать: «Это я, я! Ваш король! Я здесь, не бросайте меня, на бога!» Ну, некоторые опамятовались, а другие так и в речку, и в болото бросались... Король ночью придвинулся было к городу, желая прикрыться его мурами... А батько наш ясновельможный виделся ночью с ханом, и у них вышла, кажись, размолвка... Одним словом, гетман вышел из ханской ставки мрачнее ночи и, сверкая очами, кусал с досады свой ус...

— Что же такое сталось? Измена? — спросила испуганно Ганна.

— А почитай, панна, что так,— сдвинул брови Богун,— ляхи еще из Збаража подсылали к хану послов, чтоб подкупить его, а в эту ночь, говорят, хан, отпустивши новых королевских послов, послал за нашим батьком; о чем они толковали — неведомо, а только по

всему было видно, что хан начал кривить, что не было ему печали до чужой шкуры, а он только радел про свою. Так вот на другое утро ударили наши с трех сторон на королевский табор... С города было начали палить в нас из пушек, но мещане ударили в набат, перебили пушкарей и бросились к нам на подмогу... А мы уже ворвались в окопы и пробивались кровавою улицей к королю... Гетман наш на белом коне сверкал, что молния, в первых рядах, налетал ураганом на стойкие кучи врагов и опрокидывал их... За ним, за нашим быстрокрылым орлом, неслись и мы бурей, сметали все, что попадалось навстречу, под ноги. Трупами укрылось все поле... оставшиеся в живых побросали оружие и стали молить о пощаде... Лысенковский и Нечаевский курени пробились уже к самому королю, а с другой стороны рвались к нему татары, разметавши стражу, но тут подскочил на бешеном коне славный наш гетман и, взмахнув высоко булавой, крикнул зычным голосом: «Згода!»

— Таки не дал короля, помазанника господня, татарам? — вскрикнула Ганна.

— Не дал, не дал — ни своим, ни татарам!

— Вот оно что! — покивал головой в раздумье дед.

— Шкода! — кто-то промолвил в толпе.

— Нет, братцы, не шкода! — возразил пылко Богун.— Хан именно его хотел взять, чтобы выторговать себе добрый гарач, а нас продать... А нам-то самим какая бы была польза в короле? Ведь всем орудует сейм, а не он... Ну, нам-то и оставили б его на память, а себе выбрали бы другого...

— Да теперь нам его и не нужно! — крикнул какой-то задорный голос.

— Верно! — с улыбкой согласился Богун.— Только, братцы, неловко же было своего избранника брать в шоры.

Веселый смех толпы был ответом на эту шутку. Загомонили голоса, послышались кругом шумные одобрения. «Эх, лыцари-орлы! — раздавались то там, то сям громкие фразы.— Братья родные! А гетман так уж именно батько! Продли ему, боже, век долгий! Слава вам, слава!»

В это время прилетел на взмыленном коне всадник и, объявив толпе, что гетман с войском уже на горе за лесом, проскакал дальше в Золотые ворота.

Всё встрепенулось и занемело.

## LXVIII

На валах затолпился народ,— и шаблеванные горожане [75], и разодетые в парчовые да едвабные сукни горожанки, и славетные мещане, и в длинных халатах да баевых юпках мещанки с детьми и даже грудными младенцами, и всякая челядь,— все это карабкалось на валы, сползало с них, падало, сшибало других и протискивалось вперед... Везде, по всей западной линии валов пошла страшная сутолока, а над самыми Золотыми воротами так просто свалка: всякому хотелось занять это центральное место; некоторые взбирались даже на торчавшие обломки древней церковной стены и сажали еще себе на плечи детей... Раздавались оттуда и крики, и визги, и вопли...

На высокой звоннице Софийского собора в амбразуре окна показались десятки голов. Богун при первом известии о появлении за лесом гетмана вскочил на своего коня, которого держал под уздцы козак, и помчался за мост.

Между тем городская милиция стала усердно расчищать от натиска толпы проезд от Золотых ворот до софиевской брамы и, вытянувшись двумя лавами, образовала свободную улицу; по обеим сторонам ее разместились цехи: кушнирский, кравецкий, швецкий, шаповальский, тесляжский, гончарный и другие; своеобразные одежды главных мастеров и подмастерьев, ряд значков, присвоенных всякому цеху,— род хоруговок, с изображением на каждой орудий мастерства,— представляли пеструю и оригинальную картину.

У самой брамы ютилась почетная шляхта, особенно пани и панны; тут же выстраивался и хор бурсаков. Из святой брамы выносились хоругви, кресты, образа и устанавливались тоже шпалерами по этой искусственной улице, за гранью которой с обеих сторон волновалось уже сплошное море голов. А за Золотыми воротами устанавливалась чинно почетная встреча: вельможный пан воевода с комендантом замка и городским атаманьем да славетный бургомистр со своими лавниками [76]; к ним присоединились и представители Киевского братства — старый Балыка и длинный крамарь; они с иконами в руках поместились, впрочем, скромно за городскою администрацией.

По дороге к мосту поскакала конная стража, расчищая ее от сгущавшихся масс народа.

Занемевшая при первом известии о приближении гетмана толпа теперь снова пришла от нетерпения в лихорадочное движение; бестолковая, шумная суета и толкотня возрастали, грозя перейти в безобразный хаос, как вдруг раздавшиеся выстрелы с двух вышек снова заставили застыть всех на местах в напряженном ожидании. Показалась пыль по дороге и понеслась быстро катящимися клубами к городу... Все затаили дыхание; но то оказалась возвращающаяся назад конная стража; она с шумным топотом проскакала в ворота. Опять настала минута томительной тишины.

Вдруг над Золотыми воротами раздался звонкий детский крик: «Едет, едет!» Этот крик заставил встрепенуться ближайшие массы и понесся передаточными возгласами направо и налево; везде стали обнажаться головы. Через несколько мгновений вспыхнули, закурились дымом насыпи передовых городков и затрещали перекатною дробью пищали. Но как ни вытягивались головы стоявших внизу, а еще никого не было видно по дороге,— покатость скрывала пока приближавшийся к ней торжественный поезд; но вот вздрогнул вал, всколыхнулся воздух и из двух передовых бастионов рявкнули четыре гарматы, выбросив далеко вперед кольцеобразные клубы густого молочного дыма; под лучами поднявшегося уже высоко солнца они заиграли золотистым отливом. Наконец из-за холма показался ряд пышных всадников на дорогих конях. Раздался немолчный оглушительный рев; шапки полетели тучами в воздух.

Впереди на серебристо-белом чистокровном коне, убранном в дорогую, украшенную каменьями сбрую, на таком же драгоценном седле ехал гетман. Стройную фигуру его облегала легкая серебряная кольчуга, сквозь кольца которой просвечивал малиновый атлас нижнего жупана; стан опоясывал широкий турецкий шелковый пояс; сверх кольчуги надет был нараспашку темно-зеленый венецийского бархата, расшитый золотом кунтуш, борты которого пестрели множеством золотых с самоцветами пуговиц; на плечи гетмана была накинута пурпуровая мантия с собольим воротником, схваченная у шеи аграфами, сверкавшими сапфирами и яхонтами; полы мантии покрывали круп лошади и спадали пышны-

ми складками почти до земли. На голове у гетмана красовалась круглая фиолетовая шапочка, опушенная соболем, с двумя белыми расходящимися страусовыми перьями, приколотыми спереди крупным бриллиантом. С левого боку у гетмана висела знаменитая Владиславовская еще сабля[77], а с правого прикреплена была к торокам пожалованная теперешним королем булава. Вид гетмана был величествен и дышал заслуженною гордостью, лицо его играло здоровьем и счастьем, глаза сверкали восторгом и увлажались от умиления набегавшею слезой.

Рядом с гетманом ехал на черкесском, золотистой масти, коне сын его, гетманенко Тимош, молодой, статный, в роскошном запорожском наряде; он выглядел, несмотря на небольшую рябизну лица, красавцем юнаком, полным удали и завзятья.

За ними следовали два генеральных хорунжих с распущенными знаменами — кармазиновым и белым, наклоненными над гетманом так, что полотнища их осеняли ясновельможному батьку чело; рядом с знаменами везли бунчужные товарищи развевавшиеся по ветру серебристыми гривами бунчуки. Дальше ехал на гнедом коне, в ярком, сиявшем позументами кунтуше, с каламарем у пояса генеральный писарь Выговский, за ними выступала уже генеральная старшина и есаулы: Тетеря, Богун и Морозенко; последний, впрочем, гарцевал во главе гетманской Чигиринской сотни, составлявшей его почетный конвой. За этим конвоем ехала карета, запряженная шестериком вороных коней встяж, карету сопровождала одетая в какую-то странную форму конная стража, а далее уже тянулись стройные массы полка, разбитого на отдельные сотни, выступавшие удлиненными эшелонами,— двигался целый лес колеблющихся древок, сверкавших остриями. Впереди полка ехали степенно и важно паны полковники во всех регалиях и с перначами в правых руках.

Когда гетман поравнялся с первыми волнами хлынувшей ему навстречу толпы, то передние ряды, охваченные какой-то благоговейной признательностью и беззаветной любовью, с энтузиазмом пали на колени; за ними преклонились другие... и, словно нива под дыханием бури, стала склоняться перед своим дорогим гетманом толпа. Не мог выдержать Богдан такого порыва народной

любви: уже выехав из леса и увидя на горе городской вал с сверкавшими из-за него крестами святой Софии, он был до того умилен, что, снявши шапку и простерши руки вперед, долго не мог двинуться с места, творя безмолвную молитву и не чувствуя, как по щекам его катились благодарные слезы; когда же он, взволнованный наплывом не поддающихся описанию ощущений, услыхал несшийся навстречу ему гул народного восторга, когда этот гул разросся в бурный крик: «Батько наш! Вызволытель!..», когда, наконец, исступленный от радости народ повалился к его ногам, то гетман, не помня себя от волнения, зарыдал как дитя и, соскочивши с коня, начал обнимать и прижимать к груди своей первых попавшихся поселян. Этот порыв уравновесил несколько избыток его душевного возбуждения, и он, взяв себя в руки, мог уже промолвить громким, хотя дрожащим голосом:

— Всех, всех вас обнимаю, дети мои, друзи! Встаньте же, встаньте, иначе я сам перед вами поползу на коленях!

— Век долгий, гетмане! Слава нашему батьку, вызволытелю от неволи!—раздалось в ответ ему ураганом.

Толпа заволновалась, забурлила; иные, схватившись с коленей, в исступлении махали руками, другие падали ниц, третьи бросали шапки и верхние одежды под ноги гетманскому коню, а гетман, оправившись, снова уже торжественно ехал на нем и приближался к Золотым воротам.

У Золотых ворот навстречу ему выступили воевода города и славетный бурмистр; у первого на драгоценном блюде лежали ключи, а у второго — хлеб с солью.

И воевода, и бурмистр встретили ясновельможного гетмана пространными речами, но за гулом пушечных залпов, за исступленным криком толпы красноречие их пропало бесследно, только некоторые слова, произнесенные с особенным напряжением, как, например: «вождь от вождей», «новый Ганнибал» [78], «сокрушитель змия, подтоптавший под ноги гордыню», «благовеститель свободы»,— долетели до слуха гетмана. Он выслушал эти приветственные речи с непокрытою головой и, встав с коня, принял ключи, передал их генеральному обозному и обнял горячо воеводу, а потом, поцеловав с благоговением хлеб, передал его есаулу, а бурмистра заключил тоже в свои объятия.

Тогда подошел к нему старый Балыка с орошенным радостными слезами лицом и, осенив гетмана иконой, произнес растроганным голосом:

— Хай хранит и боронит от зол святой Победоносец нашего победоносца вовеки!

Растроганный Богдан приложился к образу святого Георгия, облобызал старого приятеля и, обернувшись, увидел стоявшую вблизи свою семью. Дети давно уже рвались к своему тату, но Ганна их удерживала, боясь нарушить величественные минуты торжественной встречи обожаемого гетмана. Сама она в эти мгновения теряла даже сознание от избытка опьяняющей радости и стояла словно на угольях, ощущая лишь сладостное трепетание сердца. Богдан передал икону, порывисто подошел к Ганне, обнял дрожащими руками ее голову и горячо поцеловал в щеку; этот поцелуй пробежал огнем по ее жилам и закружил голову, а гетман уже прижимал к груди своих детей — и Юрася, и Катрю, и Оленку.

— Любые мои, родненькие! — шептал растроганный и умиленный отец.— Привел-таки господь встретиться! А ты, Ганно... как мать им... Эх, какая радость!

— Тато! Тато! Коханый! — выкрикивали дети, обвивая руками загорелую шею своего батька. А Тимко давно уже кидался бурно и к Ганне, и к брату, и к своим любым сестрам.

Умиленный этою трогательною сценой народ притих, только одни гарматы гукали, да так, что даже вздрагивала под ногами земля.

Наконец Богдан, освободившись от детских объятий, направился пешком в Золотые ворота; за ним двинулся и сын его Тимко с генеральною старшиной. При первом появлении гетмана в воротах раздался оглушительный залп всех орудий и разом с ним прозвучал великий колокол с софиевской звонницы; на этот призывный удар отозвались радостным трезвоном все звонницы старого города и Подола, наполнив воздух роем ликующих звуков, а народ снова уже кричал:

— Спаситель наш! Батько родной! Век долгий гетману! Слава! Слава!

Тихо и торжественно подвигался с обнаженною головой гетман по синей китайке между двумя живыми стенами разубранной торжественной толпы, между лесами цеховых значков и хоругвей. Перед святою брамой стоял

многочисленный хор бурсаков. При приближении гетмана регент поднял руку; умолк трезвон с колоколен, утихнули крики толпы, занемели гарматы, и среди наступившей тишины началось стройное пение канта, сочиненного на приезд ясновельможного гетмана. Хор пел:

Что убо за свято зде в юдоли плача,
Почто всяк до брамы жадно ноги влача —
И старый, и младый, и била кобита,
И вся земля руська журьбою повыта?
Гарматы, и звоны, и люд, аки моря...
Невже есьмы збулысь викопомного горя?
Не дыв, бо упалы з ниг наших кайданы.
Прыйшов вызволытель, що богом наданый,
Вождь велий, муж, цноты и мудрости повный,
Моцарские славы и влады достойный,
Незвытяжный кролю в христианском панстви,
Що стер главу змию у своим пидданстви,
Наш гетман велычный, и правда охвита,—
Хай жые ж щаслыво на многия лита!..

Много было строф в этом канте, и в каждой выхвалялись подвиги и победы гетмана с заключительным виршем многолетия, а все строфы закончились славословием, с которым слился снова звон колоколов... Наконец хор смолк и расступился. Богдан поблагодарил бурсаков и академиков за хвалебный кант и, умиленный пением, двинулся вперед. Но вот затрезвонили как-то особенно все колокола на софиевской звоннице, и перед Богданом торжественно раскрылись ворота святой брамы; на пороге ее, во главе многочисленного духовенства, стоял в великопраздничном облачении, с посохом в левой руке и крестом в правой сам высокопревелебный владыка митрополит киевский Сильвестр Коссов.

Такой чести Богдан не ожидал; смущенный и пораженный, он склонился перед владыкой. Последний осенил его крестным знаменем и окропил святою водой. А хор между тем пел: «Благословен грядый во имя господне!»

— Во имя отца, и сына, и святого духа! — начал, по окончании хора, владыка.— Семьдесят лет изнывал в египетском пленении наш народ[79]; тяжкое ярмо разъедало ранами его выи, кандалы стирали тело до кости, бичи язвили его согбенные спины... Лишенный крова и

пищи, несчастный люд, как дикий зверь, шатался по лесам и байракам или прятался, как вепрь, в камышах; все было разорено жестокосердным врагом: святые храмы лежали в руинах, не звучал нигде призывный колокол, не возносилась соборне молитва к творцу... Мрак покрывал опустошенную древле русскую землю, и в нем только раздавались стенания... Наступали последние дни... Вершилась кара господня за грехи наши, за оскудение веры, любви и к дому господню, и к ближним... Но «господь любы есть» и «милосердию вседержителя несть предела!» «Рече он — и быша, повеле — и создашася!» И в пустыне мертвой восстал вождь, и разбудил он своим словом изнывавший в неволе народ и воздвиг его на великую брань... и малые победили великих! Ты, как Давид, с одним лишь пращем пошел на грозного Голиафа, и поверг гордого к стопам своим, и его же мечом сокрушил ненавистника. Ты, как Моисей, вывел из тьмы египетской свой народ и возвратил ему обетованную землю... Ты — избранник господень, и на тебе почиет десница его!.. Взгляни! Народ ликующий простирает к тебе освобожденные от цепей руки, святые храмы, возженные свещами, открыли пред тобою врата, звонницы огласили воздух радостным звоном... Все сие совершено твоею правицей, наш славный, ниспосланный небом гетмане, но правицей твоей руководили силы небесные... Кому много дается, с того много и взыщется... Да охранят же эти силы небесные нам нашего Моисея от всяких напастей и да укрепят мышцы его во брани, да просветлят главу его уразумением блага отчизны, да умаслят сердце его елеем любви, да вознесут душу его к единому источнику человеческих радостей и да продлят на счастье всем его дни! Гряди же во храм, воздвигший из развалин святыни... и да почиет над тобой и над освобожденным твоим народом благословение господне вовеки. Аминь!

С умиленным сердцем и со слезами в глазах Богдан внимал святому слову владыки; в душе его трепетали звуки молитвы, в голове сверкали метеорами обломки вопросов: исполнял ли он волю господню? Не уклонился ли он от праведного пути, не предал ли ради личной корысти малых сих? У седоусой старшины, стоявшей с благоговейно наклоненными головами, катились по щекам слезы; многие из окружавшей толпы рыдали... Но

в этих слезах и рыданиях сказывалось не горе, а отрада наболевшего сердца.

Хор запел: «Сей день, его же сотвори господь, возрадуемся и возвеселимся в онь!» Звонили колокола, и владыка, осеняя направо и налево крестом, открыл шествие в возобновленный храм святой Софии. Здесь гетману предстояла еще большая неожиданность: у широко раскрытых дверей на паперти стоял под склоненными звездицами в белоснежном облачении его святейшество патриарх иерусалимский Паисий[80]. Он приветствовал гетмана на латинском языке, как воздвигшего престол святого Владимира, и благословлял его на брань с неверными, а в особенности на защиту греческой церкви от папизма.

Богдан повергся к стопам святителя и на коленях выслушал его вдохновенное слово. Взволнованный новым, поглотившим все прежние впечатления чувством, потрясенный величием и широтою возложенной на него задачи, Богдан положил свою саблю у ног патриарха и воскликнул в священном экстазе:

— Клянусь, святейший отче, что меч сей отныне принадлежит лишь гонимой нашей церкви и детям ее!

А у Золотых ворот произошла в это время следующая сцена. Несмотря на охранную стражу, Ганна не решалась двинуться вслед за генеральною старшиной, боясь отчасти давки, а главное, стесняясь нарушить церемониал; но вот подъехали полковники, опередившие карету, и Золотаренко бросился к сестре; свидание было радостное, и Ганна с искрившимися от счастья глазами спрашивала бегло у брата о его житье-бытье, передавала ему свои впечатления, не замечая совершенно, что на многие вопросы он не отвечал вовсе, а другие отклонял в каком-то смущении.

— Пойдем, сестра, в Софиевскую церковь,— заторопил он Ганну,— теперь еще можно будет пройти, а после не просунешься.

— Пойдем, пойдем, Ганнусю,— стали просить ее тоже Оленка и Катруся,— тато уже давно там.

— Что же, пойдем, мои горлинки,— улыбнулась сияющая радостью Ганна,— теперь с братом не страшно... Ну, а как же мир? Я от Богуна слыхала кое-что,— допытывалась Ганна,— на все ли согласились поляки? Как гетман наш... доволен? Что его задерживало? Отчего не

спешил? Ведь тут вся семья его... так стосковалась... исстрадалась за его жизнь.

— Конечно, все мы под богом,— говорил Золотаренко, пропуская вперед гетманских детей,— но все миновало, а у гетмана были и свои там заботы... не до семьи было... и войсковые, и всякие справы. Разве сердце гетмана может принадлежать кому-либо одному? — улыбнулся он как-то двусмысленно.— Или всем, или по крайней мере многим.

Ганна подняла на него с изумлением глаза, не поняв хорошо брата и почуяв только в его словах какую-то уколовшую ее насмешку.

В это время с шумом подъехала к Золотым воротам сопровождаемая эскортом карета. Ганна взглянула на нее и побледнела: из кареты выходила, поддерживаемая козачками под руки, какая-то пышная молодая магнатка.

— Кто это? — вскрикнула, пошатнувшись, Ганна.

— Марылька,— глухо ответил Золотаренко.

Ганна, как стояла, так и упала словно подкошенная на землю.

## LXIX

Едва переехал гетман из Софиевского собора в замок, помещавшийся в особой ограде над подольским обрывом, как его встретили прибывшие заранее туда дети тревожным известием о Ганне. Катря и Оленка с неутешными слезами рассказывали, как она, их вторая мать, была веселой, здоровой, счастливой и вдруг побледнела, упала и ее унес замертво брат. Это известие расстроило и опечалило вконец гетмана, особенно когда он узнал, что Золотаренко увез сестру из Киева в Золотарево, не простившись с ним и не получив даже, как полковник, надлежащих инструкций; это показывало крайнее возбуждение подчиненного против своего верховного начальника; но Богдан чувствовал, что его лучший друг был прав. Приезд в этот замок блистающей красотою, пышной великолепием, жизнерадостной и возбужденной чем-то Марыльки, смущение детей при виде ее, недоумение прибывавших в замок именитых гостей — все это еще увеличивало его неловкость и раздражало безмолвными укорами и без того наболевшую душу.

С того момента, когда он, победитель, крикнул в

Зборовской битве: «Згода!» — он почувствовал, что крик этот станет криком против народа, против поднятой им борьбы за свое бытие. Не в пленении короля было дело: его, как помазанника божия, как священную власть, признаваемую всем козачеством, Богдан сам глубоко чтил и не позволил бы никому и пальцем коснуться маестатной персоны,— он еще верил тогда, что в этой персоне все их спасение; но он при всем том сознавал, что крикнул «Згода!» не по своей доброй воле, а под давлением неверного союзника, он сознавал, что за этою згодой последует мир — не взлелеянный им и его народом, а продиктованный подкупленным ханом. Еще накануне битвы он имел долгую с ним беседу, из которой ясно увидел, что вероломный приятель намерен лишь лично воспользоваться всею выгодой похода, дополнив ее еще ясырем из русских провинций, что он даже готов обратить оружие вместе с Польшей против Богдана, если последний забудет, что он подданный короля, и вздумает вымогать что-либо чрезвычайное. Одним словом, Богдан увидел тогда, в ту злополучную ночь, что хан уже перешел на сторону короля, что татарам не на руку усиление власти козачьей и могущества соседнего народа, что, наконец, он, избранный народом и ответственный за его кровь перед всевышним, ошибся в призыве татар, глубоко ошибся, и что эта ошибка может лечь роковым последствием на судьбу всего края.

С бессильным гневом и разбитою душой возвратился Богдан в свою палатку; он ни с кем не мог поделиться своим горем,— оно было глубоко, как бездонная пропасть; к этому горю присоединилось еще и угрызение совести. Ведь он ради Марыльки, ради своей сердечной зазнобы, прекратил взятие приступом Збаража и оставил в критическую минуту в тылу своего врага. Куда же теперь в случае измены хана ему деваться? В Збараже был хоть укрепленный базис, а без него он со своими войсками очутится между трех огней... С таким-то адом в душе он бросился в битву и крикнул в решительную минуту ее «Згода!», чтобы оставить за собой, а не за татарами решающий ее голос.

Предчувствия гетмана оправдались. Когда начались у него с польскими комиссарами переговоры о мире, то оказалось, что с ханом уже договор был заключен [81], вопреки клятве, и что хан был уже в тот момент союз-

ником короля. Из первых слов с комиссарами Богдан понял, что вопроса о простом посполитом народе, о хлопах нельзя было даже и поднимать: король и ближайшие к нему магнаты шли на уступки именно только из-за этих хлопов, ради скорейшего обладания земельными маетностями по всей Украйне, составлявшими главные их богатства; жажда получения с них доходов, прекратившихся два года назад, поощряла панов к заключению мира с Хмельницким, и они готовы были согласиться на всякие привилеи козачьи, на их веру, даже на нобилитацию (возведение знатных родов в шляхетство), но лишь не на отнятие от них хлопов; за последних они готовы были биться до последнего истощения,— в хлопах для панов заключался вопрос жизни или смерти. Богдан все это видел, чувствовал и сознавал безвыходность своего положения; он даже побоялся поставить ясно об этом вопрос на войсковой раде, зная хорошо, что он вызвал бы бурю негодования и что такие пламенные завзятцы, как Кривонос, Богун и Чарнота, бросились бы очертя голову на врага и пали бы, по всем вероятиям, жертвами: войска козачьи были разорваны на две части, а сила татар превосходила их почти вчетверо. Гетман для спасения своего положения замял вопрос о хлопах, оставив решение его будущему, когда Украйна отдохнет, татары уйдут, а он с козаками окрепнет еще больше. В договоре он стал напирать на увеличение числа рейстровых козаков до сорока тысяч, на обеспечение их вольностей, на образование ранговых имений, на ограждение православной веры. Сообщенные старшине эти главные пункты, обеспечивающие за ней права добра и вольности, удовлетворили ее, хотя и не всю; об остальном гетман выразился неопределенно, ссылаясь, что подробности будут выработаны на ближайшем сейме. Мир был заключен, и в знак полного примирения с козачеством и забвения ему обид гетман был принят милостиво королем [82].

Пировал Богдан с старшиной после заключения мира, устраивал шумные трапезы войскам своим, увлекался общим веселием, слушал сочиненные кобзарями в честь его думы; но во всех этих бурных проявлениях радости он чувствовал, что в тайниках его сердца поселился какой-то червяк, что этот червяк не дает ему забыться ни в объятиях чудной, обольстительной женщины,

ни в дружеском похмелье, ни в шуме всеобщего ликования, ни среди ночной тишины... не дает, да и только,— ворочается, сосет сердце, тревожит совесть и пугает воображение мрачным предчувствием.

Богдан доведался, что некоторые отряды, не веря в этот мир, поворотили из Збаража прямо в Литву, и это известие смутило его страшно, а особенно когда сообщили ему, что во главе мятежных отрядов пошел его лучший друг, спасший ему жизнь, полковник Кречовский.

Это ускорило отъезд гетмана в Киев. Он велел отступать всем войскам, оставив два полка на границе Волыни — по Горыни и Случи. Огромнейший обоз, полный всякого рода польского добра и драгоценностей, он отправил под прикрытием главных сил в Чигирин, а сам, сопровождаемый лишь старшиной да своей гвардией — Чигиринским полком—и почетной стражей из татарских гайдуков, поспешил в Киев, чтобы успокоить страну, дать устройство и укрепиться боевыми силами до собрания сейма, который мог и не утвердить заключенного королем мира.

Возвращение гетмана в Киев было похоже на триумфальное шествие: селения, местности и города встречали его с духовенством во главе, с хоругвями, с колокольным звоном, с хлебом и солью и с нестихавшими криками безумной радости и беззаветной любви. Вся Украйна молилась за своего гетмана — избавителя от долголетнего ига, от «лядски кормыги»; храмы были открыты, в них безбоязненно толпился и лежал ниц народ; мертвые села ожили, развалины и пустыни огласились давно не звучащими песнями. «Та немає лучче, та немає краще (пел, между прочим, народ), як у нас на Вкраїні, що немає ляха, та немає жида, немає й унії». И в этих торжественных звуках вылилась вся душа многострадального народа, беззаветно преданного своему гетману-батьку, восхваляющего на весь свет его подвиги.

И отдельные семьи, и сельские громады не жалели ни сбережений, ни добыч на общее братское пирование... и весь русский край ликовал. Это был единственный краткий момент всеобщего народного счастия, единственный светлый момент, в который все русские сердца гармонически забились от радости и сознания, что завоевали свободу, защитили права родной веры, добыли

спокойствие и своим семьям, и родине; единственный момент, в который всякому селянину казалось, что грядущее полно общего блага и что радужный блеск его никогда не померкнет.

— Радуйтесь, братие,— говорил и победитель-гетман встречавшим его с образами крестьянам,— под Зборовом была поставлена на весы сила русская с польской — и наша перевесила; теперь целый свет узнает, что значит козачество!

А когда спрашивали его священники или почетные старцы об условиях мира, то Богдан вообще отвечал:

— На первый раз, что мы хотели, то дали, а что еще мы захотим, того и не снится им,— теперь уже наша сила!

Все благоговели перед гетманом: матери выносили своих грудных детей и клали у ног его, старики плакали от умиления, молодежь падала на колени. Это народное обожание, этот детский восторг, эти полные веры глаза, эти счастливые улыбки трогали гетмана до глубины души, но вместе с тем и раздражали заведшегося в его сердце червя...

«Что я тебе дам, народ мой родной, за твою веру в меня, за твою беззаветную любовь? — терзал себя часто Богдан неразрешимыми думами и сомнениями.— Неужели я предам тебя за лобзание, как Иуда, и сам, лишь возвеличенный твоею кровью, буду пользоваться с немногими избранными плодами твоих побед и страданий? Да ведь я забыл тебя в договоре, забыл,— стучала ему в виски совесть.— Не забыл, положим, но умолчал, ради... ради чего бы то ни было, а умолчал... И в каком ужасе ты проснешься после этого радостного сна? Теперь ты встречаешь меня на коленях, орошенный радостными слезами, а что тогда скажешь? О, я не стою этих радостных слез, принимать их — грех перед богом! Нет, не бывать этому миру, не бывать!» — вскрикивал он иногда среди мерного топота коней в походе и заставлял вздрагивать всем телом ближайшего к нему соседа в пути — генерального писаря.

Марылька тоже стала замечать перемену в расположении духа гетмана: то он был порывисто пылок с ней, то задумчив и несообщителен. Чем ближе они стали подвигаться к Киеву, тем более стало усиливаться в нем

какое-то мрачное настроение. Марылька приписывала это охлаждению пресыщенного сердца или предполагала, что гетмана удручает непобедимое чувство злобы, неотвязное воспоминание о том времени, которое она провела в объятиях другого; она старалась загладить прошлое и удваивала, утраивала ласки, опьяняла его чарами страсти, но и их сладкому угару не отдавался гетман вполне, а таил от возлюбленной свои думы-печали. Все это раздражало Марыльку, отравляло минуты ее торжества и по временам терзало ее искреннею мукой. Она всею душой желала любви гетмана, готова была на все, чтобы воскресить ее с прежнею силой. Во-первых, ее сердце ближе всего лежало к Богдану: и спас он ее от смерти, и пригрел, и полюбил беззаветно, и опять вырвал из рук ненавистного человека,— не могло же за все это сердце ее оставаться неблагодарным; кроме того, Богдан был еще бодр, строен и сравнительно даже красив, а ореол величия и внутренняя сила его покоряли сердца... Марылька до сих пор еще не любила, и в ее сердце таился запас пылких страстей; наученная горьким опытом неудачной перемены ясного сокола на сову, источенная досадой и раскаянием, она только вдали могла постичь, что потеряла, она только в неволе могла оценить это преданное ей сердце, а неожиданное возвышение Богдана до недосягаемой высоты величия разбудило в ней жажду тщеславия и опьянило ум маревом власти. Оттого-то Марылька и жаждала всеми силами души любви гетмана, чтобы опереться на нее и властвовать безраздельно; оттого-то унылый, убитый вид гетмана приводил ее в трепет.

— Скажи мне, дорогой, коханый мой,— допрашивала она иногда своего Богдана, смотря ему нежно и страстно в глаза,— что туманит твой взор? Или разлюбил ты свою зирочку, или мои ласки холодны и докучливы, или моя поблекла краса?

— Нет, моя радость,— ответил Богдан ей с улыбкой, привлекая к себе ее гибкий стан,— ты мне так мила и отрадна, как в осенний бурный вечер проглянувшее из-за туч солнышко. Только вот и его ласковые лучи не могут часто разогнать скопившихся туч.

— Да какие вокруг тебя тучи? — изумится она и заискрит своими синими, обаятельными глазами.— Ведь все то, чего ты желал, свершилось. Слава, богатство,

власть... Твоя булава потомственна. Козаки стали чуть ли не шляхтой, а народ тебя обожает.

— Пока... а что потом скажет? Прав ли я?

— Что ты, татку? Что ты, любый? — расхохочется искренне, звонко Марылька.— О, как ты еще кручинишься о хлопстве! Да какие же для рабочего люда могут быть льготы?.. Ну, там подарки какие-либо, водка, что ли, а благодарности от них смешно и ждать.

— Ты не понимаешь ни меня, ни моего народа,— нахмурится еще больше Богдан и замолчит, а Марылька закусит от досады губы и не сводит долго с гетмана пытливого взгляда, не доверяя совершенно его тоске по хлопам, а подозревая в нем что-либо другое, враждебное и опасное для нее лично.

Богдан, впрочем, больше с ней о хлопстве и не заговаривал; он и прежде еще не пускался с ней в откровенности по дорогим ему политическим вопросам, сознавая, что она или не поймет их, или отнесется к ним враждебно, а теперь и подавно замкнулся от нее своими думами, да не только от нее, а и от самых близких к себе людей. Недаром тогда сложилось общее мнение, что «никто не видае и не знае, про що Хмельницкий думае-гадае». А гадал он и думал о многом, а главное о том, что этот мир скоротечный, что при его условиях существовать народу по-человечески нельзя и что нужно будет неизбежно вопрос о его существовании поставить на лезвие сабли.

Особенно возмутили гетмана дошедшие к нему в пути вести о бесчинствах и грабежах союзных татар; мурзы, не повиновавшиеся хану и считавшие для себя законом свою прихоть, грабили украинский скот, забирали по городам и селам жен и дочерей своих союзников. Теперь-то гетман убедился горько, что союз с неверными невозможен и что для предстоящей борьбы нужно искать более подходящих и более верных союзников.

Наконец, в самом Киеве этот безумно восторженный прием народа, и муниципалитета, и духовенства просто ошеломили гетмана и смутили его душу... и вдруг еще ко всему этому пламенное слово патриарха-старца, благословлявшее его на священный подвиг, венчавшее его величием такой власти, о которой он не смел и мечтать. Этот ураган новых мыслей и чувств, налетевший на него градом каких-то хаотических ощущений, бивших по

нервам, волновавших лихорадочно кровь, расшатал всего его, словно хмель, а когда гетман узнал еще о внезапной болезни Ганны, то этот удар подкосил его окончательно,— Богдан побледнел и опустился бессильно на кресло, на лбу у него выступили крупные капли пота, сердце сжалось тоской: он почувствовал всю свою вину; он убежден был, что от его небрежной руки сломилось это чудное существо, согревавшее своим сердцем его семью, светившее ему в жизни путеводною звездой, любившее его беззаветно и так жестоко оттолкнутое им не раз ради капризной прихоти отравленного страстью сердца. И горечь раскаяния, и безысходность положения — все перепуталось в какую-то цепкую сеть, обвившую его сердце. Нужно было много железной воли, чтобы взять себя в руки и не прорваться душевною слабостью на пиру, данном в честь его городом. Гетман много пил, произносил речи, но и среди них останавливался иногда, словно задыхаясь от приступа какой-то внутренней боли. В искусственном смехе его и в кликах заздравных сквозило скрытое горе, звучала надорванная струна. Раздвоенная душа Богдана рвалась теперь на части, производя в его внутреннем мире полное опустошение.

## LXX

Поздно разъехались гости, а в городе шло еще пирование, и раздавались везде звуки песен и звон бандур. Богдан под предлогом отяжелевшей головы удалился в свои покои, желая избежать всяких объяснений с Марылькой; но она его нашла.

— Сердце мое, сокол мой ясный,— запела она трогательным, упоительным голосом,— прости меня, мой гетман, за смелость, что нарушила я твой покой... Но что же мне делать, если моя душа рвется к тебе? Я подметила, что мой повелитель, мой круль чем-то омрачен в такой радостный для него день, что у него притаилось в душе какое-то горе.

— А вы, пани, не присматривайтесь очень усердно к другим,— ответил Богдан несколько резко,— я и в школе еще недолюбливал соглядатаев...

— Ты рассердился на меня? Прости, прости! Это так больно...— смахнула она рукою с ресницы слезу,— зна-

чит, уж я надоела... значит... О! Если мое безумное от любви сердце, трепещущее за каждый твой вздох, за каждую морщину твоего чела, ты зовешь шпионом, то мне лучше не жить! На что мне эта жизнь, коли она не отражается в твоем сердце?.. Только тобой, твоим счастьем дышу я, мой сокол, только в твоих объятиях ощущаю сладости бытия!

Богдан побагровел от волнения и, опустив голову, сидел молча, не прерывая Марыльку.

— Скажи мне, молю тебя, заклинаю всеми святыми, Ченстоховской божьей матерью, ранами пана Езуса,— пела она грустно, жалостно, припавши к ногам и склонивши на колени его свою головку,— не обморок ли Ганны тебя так сокрушил? Не тревога ли по ней?

Богдан сделал нетерпеливый жест.

— Ах, прости! — вскрикнула торопливо Марылька.— Я коснулась раны... но меня жжет огнем ревность... это такая мука... такая! — Марылька закинула назад голову и закрыла рукою глаза.

— Да, страшная,— проговорил наконец гетман угрюмо,— от нее за ночь покрывается морщинами лицо, а чуприна морозом... и мука эта живуча, Марылька! Ничем ее не затушишь, не задавишь!.. Чем больше стараешься гнать ее от себя, тем глубже она запускает когти в сердце. О, горе тому, кто породил это чувство, а еще большее горе тому, кто допустил его.

— Ты ревнуешь, ты презираешь меня? — вскрикнула в испуге Марылька.— Ах, как я несчастна! Что же мне делать, что делать! — зарыдала она, припавши к коленям гетмана и обвивши их руками.

— Успокойся! — погладил ее по голове гетман.— Я гоню от себя прочь ее!

— А она еще глубже запускает когти! — завопила, рыдая, Марылька.— О, разве можно любить того, кто приносит нам одни лишь страданья? Разве можно жить с тем, чей вид вызывает у нас злобное чувство? Возьми, возьми назад свою клятву, мой дорогой палач, я недостойна тебя... другая, может быть... но подари же и мне за всю мою безумную любовь к тебе одну только ласку: убей меня и прекрати своей рукой мои муки!

— Ах, к чему эти слезы! Ведь они только жгут мое сердце,—простонал гетман и потом заговорил торопливо, серьезно: — Не намекай мне никогда и ничего о Ганне:

она была ангелом-хранителем в моей семье, заменила мать моим детям и была близка мне, как и они, но все остальное неверно: гетман не ломает своего слова,— оно для него самого святыня,— и клятв своих назад не берет. Если и есть у меня в груди горе, так такое, которого тебе не понять! А любить я тебя люблю, сама видишь, что это чувство сильнее меня самого, только вот сейчас мне тяжело... голова трещит... успокоиться нужно, а за себя ты не бойся!

Богдан нагнулся к Марыльке и нежно поцеловал ее в голову.

— О мой гетман, мой круль, мой бог! — зашептала страстно Марылька, обвивая его шею руками и прижимаясь своей пылающей щекою к его щеке.— Вся жизнь для тебя и для твоих детей... вся жизнь... все это сердце!

Но прошел день, другой, и Марылька начала уже серьезно призадумываться насчет своей судьбы. С ее гетманом сделалась страшная перемена: он стал просто неузнаваем, побледнел, постарел, осунулся, ни с кем почти не говорил, смотрел угрюмо, часто вздыхал и вообще имел вид человека, удрученного каким-то тайным недугом. То он молился в церквах до полного утомленья, лежал ниц перед иконами, бил себя в грудь, то пил, запершись в своем покое, и пел грустные думы, то ездил по ночам с одним лишь джурой к гадалкам, то зазывал к себе колдунов и цыганок. На немые вопросительные взгляды Марыльки Богдан отвечал торопливо, не глядя на нее, с какою-то болезненной нервностью: «После, после... не бойся за себя!» Только разговоры с Паисием приносили какое-то душевное облегчение гетману.

После одной из таких бесед он возвратился в замок поздним вечером спокойный, уверенный и, пройдя поспешно в комнату Марыльки, сообщил ей с торжественным лицом:

— Ну, дитя мое, приготовься: завтра мы венчаемся с тобой![83]

— Гетмане, муж мой! — вскрикнула вся вспыхнувшая от восторга Марылька и упала к Богдану на грудь...

Прошло уже два месяца, как переехал гетман со всем своим семейством и молодой женой в Чигирин.

Торопливый, таинственный брак гетмана с женой Чаплинского, полькой, породил было в Киеве много толков, но внезапный отъезд его после венца прекратил их: вспомнили, что это была отнятая Чаплинским у Богдана невеста, обращенная им в католичество, а теперь вновь воссоединенная патриархом в православие под прежним именем Елены.

Жизнь в Чигирине потекла широкой, роскошной струей. Пиры, бенкеты, торжественные приемы, охоты, герцы чередовались пестро и шумно; на дворе гетманском и на улицах города не умолкал звон бандур, не стихали победные песни. Все гетманские празднества оживлялись любезностью, радушием, обаятельностью обращения пани гетмановой — красавицы Елены: она стремилась и умела придать всем этим торжествам царственное величие. Бывший замок Конецпольского под опытной рукой ее превратился вскоре в пышный дворец: приемный зал принял вид краковского королевского, даже трон был воздвигнут для гетмана; остальные покои расширялись, украшались, меблировались. Елена даже затеяла пристроить другую еще половину дворца, так как замок оказался, по ее мнению, несоответствовавшим достоинству и величию гетмана. Богдан не препятствовал в домашних распоряжениях своей супруге: внешняя пышность обстановки как признак могущества, необходимый для воздействия на заключение связей с коронованными соседями, входила даже в его расчет, а вкусу и знанию Елены он доверял, а потому-то и не мешался в ее мероприятия. Одно только по его распоряжению было сделано за неделю еще до переезда в Чигирин: бывший Чаплинского дом со всеми постройками, гульбищами был снесен до основания, сад выкорчеван, так что вся усадьба бывшего подстаросты обращена была в совершенно пустопорожнее место.

Для Богдана еще было приятно, что Елену поглотила вполне эта лихорадочная деятельность, устранив попытки ее залезать в его душу; гетман боялся заглядывать и сам в свою душу, а тем более не хотел допустить в тайники ее Елены. Внешние отношения их были прекрасны; Елена всеми чарами ласк старалась опьянить гетмана: окружала его блеском великолепия, расточала нежности к его детям, преображала девочек в княжен, занялась их светским воспитанием.

Первые две недели, проведенные в Киеве, Елена невыразимо страдала. Мрачное, раздраженное состояние духа гетмана она приписывала эпизоду с Ганной, предполагая в ней непобедимую соперницу; она проклинала себя, что нерасчетливо распорядилась своими ласками, чарами, истощив их запас до критической минуты борьбы: теперь у нее не оставалось никакого нового оружия для самозащиты, а у соперницы было и обаяние тайны, и крик оскорбленной жертвы... Посылки почти ежедневные в Золотарево для справок о здоровье Ганны, отправка к ней Оксаны и Морозенка (все это передавали ей Катря и Оленка) убеждали еще больше Елену в ее предположении и приводили в отчаяние. Несколько трогательных и драматических сцен с гетманом остались без желательных результатов,— гетман был чем-то убит, сказывался больным и даже уклонялся от ласк... Хотя он и успокаивал свою Елену, что слово гетмана крепко, но о браке ей, видимо, нельзя было и заикнуться, и она продолжала терпеть щекотливое положение, не позволявшее ей выходить из заточения навстречу двусмысленным улыбкам. Итак, вместо беззаветной любви славного гетмана она нашла в его сердце лишь чад от перегоревшей страсти, а отчасти презрение; вместо блеска власти и торжества тщеславия — она заполучила позорную роль наложницы... Это разочарование, этот позор терзали ее до исступления и могли бы довести до мести или до самоубийства. В бесплодной тоске она было прильнула разбитым своим сердцем к детям, желая отыскать хоть у них отзывчивость к своему сиротству и мукам; но девочки сначала сторонились ее и, будто в пику, вспоминали Ганну, заявляя о симпатиях к ней. Елена переносила эти уколы самолюбия и все-таки старалась поближе сойтись с Катрей и Оленкой,— рассказывала им про блеск королевских пиров, про нравы магнатов, про веселое у них времяпровождение, про наряды, выезды, зрелища и увлекала молодое воображение девушек картинами широкой, полной утех жизни; но последние хотя и заслушивались рассказов прыймачки, но все же считали ее совершенно чужой, принесшей и прежде много горя семье, а теперь неизвестно почему водворенной,— и дичились. Один только Тимко относился к ней тепло и искренне. Он и прежде, будучи хлопцем, был этой Марылькой, почти сверстницей, страшно обласкан и тогда

еще переменил враждебное к ней отношение на необычайно преданное и нежное—старался угодить ей всякою услугой, ловил для нее певчих птичек, приносил дичину, рвал цветы, заступался везде за нее горячо и мог иногда по целым часам стоять где-нибудь незаметно да любоваться, как она вышивала что-нибудь золотом или низала мониста; его занимала тогда не самая работа, а наклон головки и мерное движение белой да тонкой, словно точеной, руки. Марылька бывало, заметив его на своем посту, смущенного и сконфуженного, начнет с ним заигрывать, дурачиться, а хлопец еще более покраснеет и, как волчок, начнет исподлобья выискивать место, куда бы удрать... А Марылька его за рукав — и не пустит.

— Чего ты, Тимасю, от меня бегаешь, чего ты дичишься меня? — пристанет она к нему, лаская по щеке, заглядывая в глаза.

— Так! — буркнет ей совсем растерявшийся хлопец.

— Да ведь я же тебе сестра, как Катря и Оленка,— удержит его Марылька,— ведь твой батько взял меня за дочку... Значит, и ты мне стал родным братом... Отчего же не хочешь со мной дурачиться, как со своими сестрами? Отчего ты не хочешь любить меня, как их?

— Нет, неправда! — вскрикнет бывало дико Тимко.

— Как неправда? Значит, ты меня любишь? Да? Любишь? Отчего же ты никогда не поцелуешь свою сестрицу?.. У! Недобрый, злой! — И Марылька, тешась, как ребенок, смущением хлопца, начнет целовать его, пока тот не вырвется и не удерет.

Впрочем, под конец удалось-таки ей приучить к себе этого дикаря, и он подчинился было совершенно ее влиянию, даже стал, согласно ее указанию, учиться старательно, чтобы не ударить перед ней лицом в грязь. Вскоре, впрочем, обрушившиеся над семьею события положили конец этой детской привязанности и разлучили Тимка с Марылькой года на четыре. За это время Тимко из глупого хлопца превратился в удалого запорожского юнака, испробовавшего и пороховой дым, и завзятья, прикоснувшегося к меду и горечи жизни, заглянувшего даже смерти в глаза, а Марылька за это время из прелестной, игривой, ветреной девочки преобразилась в дивную, обольстительную красавицу, пережившую уже сердцем много лукавств и невзгод.

О ее прежней роли в семье Тимко тогда, будучи еще

полуребенком, очевидно, не догадывался; но теперешнее положение ее в лагере батька, нежность последнего к ней, которой даже бравировала Марылька, не могли не поставить его на верную точку зрения. Эта догадка шокировала Тимка и вызвала в его сердце какое-то возмущенное и горькое чувство,— за отца ли, или за что другое — он уяснить себе толком не мог, а чувствовал только обиду и стал избегать Марыльки; но она была так ласкова с ним, так дружески любезна и так обворожительна, что Тимко помимо воли все ей простил и снова почувствовал, как стала его влечь к ней неодолимая сила. Когда же в Киеве, оттолкнутая холодностью гетмана, потерявшая почву под ногами, эта бедная женщина в минуту безутешного горя и отчаянной тоски обратилась со своими слезами к нему как к единственному во всем мире другу, то сердце Тимка, отзывчивое и легко воспламенявшееся, сразу стало на ее сторону и возмутилось на батька...

— Тимасю мой, родненький! — говорила сквозь слезы Марылька.— Ты молод и чист сердцем... ты не знаешь еще всех пасток и ям в жизни... Многое тебя возмутит, и многое ты осудишь... Но, боже, как легко в эти ямы упасть и как трудно из них выбраться! Один неверный шаг — и человек пропал — и никто, никто не протянет ему руки... все друзья отвернутся, останется лишь один, постоянный и неизменный, — это страдание! Ах, ради этого друга можно несчастному простить многое!

— Тебя обидел батько? — спрашивал мрачно Тимко, сжимая прямые, широкие брови и помаргивая веками, чтобы не дать застояться на них набегавшей слезе.

— Я не буду... не смею на него говорить,— глотала слезы Марылька,— он мой повелитель, мой кумир!.. Я только одно знаю: что и душу, и сердце отдала ему, готова отдать и жизнь... Что детей его люблю, как себя, а тебя, мой юный друже, больше себя!.. Ах, только как я несчастна, как несчастна!.. Все бы мне перенесть для него было легко — и это унижение, и этот позор... Но его холодность...

— Я скажу батьку,— этак нельзя... Что же это? За что? Нельзя же так.

— Стой, Тимасю, не горячись! Борони тебя боже и намекнуть,— лучше сдадимся на долю да на господню

волю... Мне вот обидно, что я щирым сердцем к Катрусе и к Оленке... а они...

— Ну, тех, ежели что, так я и за косы потяну,— загорячится Тимко,— а вот не обратиться ли к пану Ивану Выговскому,— он голова, и батько его слушает.

— Только не в моем деле,— горько улыбнется Марылька и потом вдруг обовьет руками шею Тимка и поцелует горячо в щеку, промолвив: — Ох, какой ты хороший да добрый...

Тимка словно варом обварит, сердце у него запрыгает, в глазах забегают огоньки, а Марылька уже ушла к себе доплакивать свое горе.

Когда же после венца гетман с семьей переехал в Чигирин, то Тимко снова стал в какие-то натянутые отношения к своей мачехе: это новое положение ее как-то дисгармонировало с прежней теплой дружбой, и Тимко стал удаляться от жизнерадостной пани Елены. Сама же она, будучи упроченной в своем общественном положении, сразу отдалась угару честолюбия, обаянию власти и закружилась в пирах да в утверждении королевской пышности во дворце. В деле благоустройства дворца Елена нашла себе самого преданного помощника в Выговском. Он выписал для этой цели колонии мастеров и художников из Варшавы, из Кракова и даже из Волынщины.

Казна гетмана могла потворствовать всем затеям,— она, казалось, была неистощима.

Выговский старался овладеть расположением пышной гетманши и приобресть в ней помощницу своим планам. Необычайное честолюбие и жажда власти новой Семирамиды были сразу поняты им и совпадали тоже с его идеалами, а обаятельная красота повелительницы еще усиливала стремление его завоевать услугами у ее ясной мосци доверие и симпатию и дружно вместе с ней влиять на гетмана.

Чигирин стал наполняться приехавшими гостями, в нем закипела деятельная жизнь, началась бесконечная ярмарка, неустанное движение, поднялась сразу торговля. Многие шляхетские фамилии стали перебираться в эту новую столицу, чтобы быть поближе к блеску восходившей власти. Город рос не по дням, а по часам.

Сам гетман по приезде в Чигирин занялся деятельно гражданским устройством страны. Всю Украйну,

простиравшуюся теперь на север до Литвы и до старой Польши, а на запад до австрийских владений, разделил он на полки и приказал полковникам приписывать в свои реестры бывших уже в войсках поселян и охочих новых,— этим путем он желал хоть часть простого народа, pospolitства, перевести в козачье сословие, избавив его от панской зависимости. Об остальном была речь впереди, и Богдан не мог пока придумать, как уладить этот фатальный вопрос. Административную и судебную власть оставил он в селах и местечках за войсковой старшиной, во всем же городе ввел самоуправление по мискому магдебургскому муниципальному праву, к которому уже русский народ был привычен,— администрация города сосредоточивалась в ратуше или магистрате, где заседали райцы под главенством бурмистра, и имела под своим ведением и полицейских чиновников, дозорцев; суд же вершился в собрании лавников под председательством войта. В главных городах и крепостях было оставлено еще и военное начальство — воеводы и коменданты, назначаемые королем. Теперь, по Зборовскому договору, последние власти должны были быть православного исповедания, и в Киев воеводою был назначен Адам Кисель.

## LXXI

В напряженных и усиленных трудах гетман находил единственное успокоение своему внутреннему глубокому недугу, который подтачивал его душевное спокойствие и семейную радость: болезнь Ганны, хотя имевшая счастливый исход, стояла укором в его совести, и ничем он не мог ни успокоить, ни опьянить ее; укор словно рос и становился каким-то пугалом в робких и нежных проявлениях его чувств к Елене; иногда в бешеном порыве страсти он с каким-то злорадством топтал это пугало, этот укор, но проходил угар — и укор поднимался снова и еще с большею силой вонзался в изнывшее сердце; из-за этого укора вставал другой, еще более грозный,— за посполитство; никакие философские увертки, что их подчиненное состояние есть закон необходимости, что так ведется во всех царствах, что так и должно быть, ничто не умиротворяло его совести: она кричала ему, что он обманул народ и принес его в жертву. Между

тем и за самый мир гетман не мог быть покоен. Предстоял скоро сейм в Варшаве, который мог или утвердить, или совершенно отвергнуть Зборовский договор, а верный Богдану пан Верещака сообщил уже, что в Варшаве все возбуждено против короля и канцлера, ходят по городу пасквили, растут на них обвинения в государственной измене... Одним словом, по всем признакам, на утверждение договора рассчитывать нельзя. Приходилось, значит, всем быть настороже, а боевым силам Украйны быть готовыми в каждую минуту к борьбе. И в войсках, и в народе стали возникать неудовольствия. Эти неудовольствия грозили перейти в бунты при первом появлении выгнанных помещиков в своих имениях. Все это предвидел Богдан и тяжело задумывался, не находя выхода из своего положения.

Было уже позднее утро, но гетман еще не выходил из своего кабинета, устроенного наподобие королевского кабинета в варшавском дворце. Гетман велел джурам не впускать к себе никого и занялся письмами и другими бумагами, лежавшими грудами на его письменном столе. Попивая свое любимое черное пиво с сухарями, он совершенно углубился в эти письма. Видимо, он был чем-то крайне озабочен и постоянно тер себе лоб рукой, что обозначало у него всегда тревогу и раздумье.

«Прежде всего,— кружились в его голове неотвязные думы,— нужен верный союзник, на которого я мог бы вполне положиться. Но где его найти? На крымского хана нечего и надеяться: он куплен Польшей, да и рада возопит против союза с таким вероломным нехристем. В Турции,— я послал туда Дженджелея,— сначала все было неблагоприятно, потом ветер повернул, но какой решительный ответ привезет теперь мой посол от султана? Конечно, высокая Порта согласится из нашей Украйны прирезать к себе вилайеты * и не будет сама так придирчива, как Польша, но большой выгоды от этого союза нет. Султан не пошлет своих войск, а предпишет хану, который при первой возможности и продаст нас. Ракочи вот или господарь валахский, да кто их знает?.. И не так важны они по боевым силам. Вот Москва бы? Эх, единственный, наилучший союзник!.. И народ родной, близкий, и вера, а вот отклоняет своих

---

* Вілайєт — провінція, область в Туреччині.

братьев, не хочет подать им руку помощи, оставляет одних на погибель! Да разве киевская земля не вскормила своими слезами обоих сыновей, так как же свободному брату не вытянуть из неволи и не обнять обиженного и зневаженного своего родича? Или господь за наши грехи ослепил его очи, или сердце его переродилось в чужое, недоступное жалости? Впрочем, что я,— усмехнулся горько Богдан,— народ-то принимает нашего брата радушно, и давно уже переселяется туда на привольные степи наш посполитый люд, а вот только боярская дума...»

Гетман отпер ключом особый секретный ящик и достал из него какой-то написанный вязью с вычурными завитушками лыст. Это было послание гетмана к московскому царю Алексею Михайловичу, писанное еще перед походом в Збараж[84], на которое до сих пор не последовало от московского двора никакого ответа. Богдан начал перечитывать его снова. Он молча пробегал его глазами, а потом, увлекшись, начал произносить отдельные фразы вслух:

— «Прими нас, слуг твоих, в милость твоего царского величества и благослови, православный государь, наступить своей рати на тех, которые наступают на православную веру, а мы бога молим, чтобы ваше царское величество, правдивый и православный государь, был над нами отцом и заступником».

— Да...— воскликнул горько гетман, отложив с досадой грамоту,— на такое искреннее воззвание Москва молчит! Ну, положим, что там не хотели рисковать до Зборовской битвы, не ведая, в чью сторону фортуна наклонит весы. Но вот и слепая гостья протянула к нам руку, а Москва все думу думает. А если б она выставила за нас свои дружины, тогда б не посмотрел я ни на ляхов, ни на татар: не пустил бы ляхов в их здешние поместья — и порешил бы сразу с бедою поспольства.

Монолог взволнованного гетмана прервал джура, объявивший ему о приходе генерального писаря пана Ивана Выговского.

— Пусти! — оборвал его гетман и встретил вошедшего Выговского несколько раздраженно.— Ну что, пане Иване, ничего нового, утешительного?

Писарь посмотрел на своего гетмана несколько изумленно и ответил, протягивая подобострастно руку:

— Утешительное, ясновельможный гетман, может быть только после горя и бед, а над нами чересчур ярко светит солнце.

— И ты, ослепленный его лучами, не видишь даже собирающихся на оболони черных туч?

— Если бы были таковые,— улыбнулся загадочно писарь,— то при ясном дне они только краса. Нужно только иметь в запасе и буйные ветры, чтобы разогнать хмары, когда они станут заступать свет.

— Да, да,— заговорил словно сам с собою гетман, шагая по обширному покою,— о скоплении под рукой этих буйных ветров нужно подумать; хотя эти ветры часто не разгоняют, а еще нагоняют тучи, да и вообще к тихому пристанищу не ведут. Народ истомился в борьбе, обнищал, извелся... Каждая семья, заметь себе, не досчитывается какого-нибудь кормильца. Два года поля не обсеменялись, хлеба нет в запасе, может наступить голод, а при нем вся эта военная добыча окажется ничтожной... Что, написал ты, пане, к у́грам *, чтоб отпустили нам хлеба? — остановился гетман перед Выговским.

— Написал,— отвечал тот, — и к ясному князю Ракочи, и к мультанскому господарю, да еще послал закупщиков и в Львов: там есть достаточно запасов. Скоро ожидаю известий.

— Да, торопись... Зима вот-вот... А с зимою-то и начнет гвалтовать голод.

— Пришло еще от ясного князя канцлера письмо,— продолжал деловым тоном секретарь гетмана.— Именитая шляхта домогается, чтоб к весне ей было дозволено приехать и начать хозяйничать в своих поместьях. Некоторые даже просят обеспечить им переезд со своими командами и зимою, так как зимою же соберется, по всем вероятиям, и сейм.

— Ох, эта именитая шляхта со своими поместьями! Вот где она у меня сидит! — ударил себя гетман по затылку и, опустившись в высокое кресло, стал усердно тереть рукой лоб.— Ишь как торопятся, чертовы дети, да еще с командами, чтобы снова затеять бесчинства. Нет! Теперь годи! Урвалась нитка! Не допущу я их команд,— раздражался все больше и больше гетман,—

---

* Угры — венгерцы. (*Прим. в першодруку*).

да и народ не допустит: задаст снова панкам такого духопелу, что и манаток не успеют собрать!

— Да, народ теперь словно дикий конь без узды,— заметил, покачав головой, Выговский,— уж если они наших, православных панов не допускают в местечки, то что будет с поляками?

— Ох, есть ведь, пане Иване, и наш брат значной на манер шляхты, так тут и диву даваться нечего, а чтобы к весне пустить сюда шляхту, если не с командами, то хоть с жидами, так этого пусть и в думу себе не берут. Эх, обидели мы в Зборовском договоре посполитый люд, который помогал нам щыро!

Выговский пожал в недоумении плечами и хотел что-то возразить, как в это время отворилась бесшумно боковая дверь и в кабинет вошла, разливая благоухания, молодая гетманша Елена.

— Я не помешала панству? — обратилась она с очаровательною улыбкой к гетману и Выговскому.— Прости мне, мой ясный круль, если... да, то я уйду,— остановилась она в покорной и грустной позе.

— Нет, чего же,— ответил Богдан,— секретов сейчас нет: твое мнение может иногда и пригодиться, особенно если речь идет о польских магнатах...

В последнее время отношения и чувства Богдана к своей жене стали раздражительными и изменчивыми до полной противоположности: то он чувствовал к ней неотразимое влечение и был нежен, то сваливал на ее голову все неудачи, все невзгоды, все вопли своей совести, и в такие минуты был груб с ней и высокомерен, то вдруг ревновал ее ко всем или допекал прошлым.

— Бог с ними,— вздохнула печально Елена, остановив на Богдане свои синие, словно просящие пощады глаза,— я пришла к своему славному повелителю, чтоб оторвать его от неустанных и чрезмерных трудов. Ведь гетман вот третий уж месяц не отрывается от этого стола: ни придворные развлечения, ни охоты, ни герцы в последнее время его не занимают. Ведь так же можно известись, не правда ли, пане Иване?

— Так, так, найяснейшая пани,— поклонился Выговский,— его гетманская милость чересчур принимает все к сердцу. Вот хоть бы судьбу этой голоты...

— Ах, Езус-Мария! — пожала плечами Елена.

Богдана покоробил этот жест, и он, желая пере-

менить тему разговора, спросил быстро у Выговского:

— А что, от московского царя нет вестей?

— Нет! — развел руками Выговский.

— Ах, оставьте, оставьте, оставьте эти государственные справы! — заговорила кокетливым и капризным тоном Елена.— Какая радость в Москве? Из одной неволи в другую? Можно найти лучшую долю. Только не об этом речь. Поедемте сейчас, панове, в Субботов, и детей возьмем; я задумала сделать из него райский уголок для нашего велетня тата, где бы он мог отдыхать. Созвала туда мастеров, так нужно посоветоваться. Поедем, мой цяцяный, мой любый,— поцеловала она горячо Богдана в голову.

— Пожалуй,— улыбнулся приветливо гетман,— поедем, здесь недалеко, и я не помню, когда уже и был там.

— Поедем, поедем! — вскрикнула детски радостно Елена и хотела было выйти для приказаний из комнаты, как в это мгновение в кабинет вошел дежурный есаул и доложил торжественно:

— Посол его царского величества боярин Пушкин изволил прибыть с грамотами к его гетманской милости [85].

В том же кабинете, только за другим, накрытым роскошною персидскою шалью, столом сидел гетман с своим важным именитым гостем. На столе стояли, как водится, золотые объемистые кубки и два пузатых жбана на серебряной кованой таце. Царский посол, боярин Пушкин, был одет в дорогой, расшитий золотом и опушенный соболем, с высоким стоячим воротником кафтан-шубу, из-под которого виднелось глазетовое полукафтанье-ферязь; у левого бока висел у него широкий меч-кладенец. Молодое, свежее лицо посла было красиво оттенено русой кудрявой бородкой, синие глаза искрились удалью и огнем, но выражение его в данное время было до того надменно и недоступно, что можно было назвать его жестоким, и это портило впечатление. Словно сфинкс, неподвижно и величаво сидел на золоченом кресле посол, сознавая свое высокое представительство.

Гетман тоже с благоговейным вниманием читал цар-

скую грамоту. В ней между прочим стояло следующее[86]:
«Хвалю тебя зело за желание стать со твоими черкасы под мою высокую руку, но упоминаю, что еще при отце моем, царе Михаиле Федоровиче, был учинен с Польшею мир, чего ради наступать нам войною на литовскую землю не довлеет. А буде королевское величество тебя, гетмана, и все войско Запорожское учинит свободными без нарушения докончания с нами, тогда и мы, великий государь, тебя, гетмана, и войско Запорожское пожалуем своей милостью, велим вас принять под нашу царскую руку».

Богдан тяжело вздохнул, почтительно приложился к царской подписи и положил бережно перед собой царскую грамоту; Пушкин наблюдал с высоты своего величия за гетманским обращением с этим посланием и остался, видимо, им доволен.

— Итак,— заговорил наконец с тяжким вздохом Богдан,— православный царь-государь, дидыч русской земли, отринул наследие предков своих — святой град, откуда воссияла нам вера, отринул матерь городов русских со всеми исконными странами, городами и весями, с Червоною Русью и Галичем, отринул все это от своей опеки и отказал в помощи угнетаемому родному народу, проливающему свою кровь за воссоединение с братьями, за поруганный православный крест!.. О, тяжелым ударом упадет это царское жестокое слово на сердца, возносившиеся к нему с надеждою и любовью!

— Сердце царское в руцех божиих,— ответил покрасневший до корня волос Пушкин,— и никто же да судит его волю, разве бог! Докончанья с поляками нам поломати не след, а и рати его царского величества и самодержца давать тебе, яко мятежному противу короля холопу, было негоже. Ино дело, коли твою гетманскую милость уволит его королевское величество, тогда уповай и на царскую милость.

— Ясный боярин и преславный посол,— улыбнулся гетман печально,— есть у нас пословица: «Нащо мени кожух, як зима мынула?» Эх, горько мне это все, невыразимо горько, боярин! И за свой народ болит сердце, да и вашего, московского, жаль! Слепы вы и не видите, какую господь оказывает вам милость, что приводит к соединению братьев, а вы пренебрегаете лаской божией... Смотрите, чтоб не раскаялись!

— Мне и слушать-то твоих речей негоже! — загорячился было Пушкин.

— Стой, боярин, выслушай до конца,— остановил его гетман.— Велико ваше Московское царство, да пустынно, и дико, и окружено со всех сторон врагами: литовцами, поляками, татарами, а то и турками; ведь ежели Польша придет в разум да упрочит власть короля, да завоюет еще Крым, так у вас заведется такой зубатый сосед, что переможет вас силою, а как переможет, так и пойдет оружно на вас; и настанут вам времена горше прежнего безвременья... так что и Москва зашатается.

— Что ты, гетманская милость, такие страсти прилаживаешь, прости господи,— перекрестился даже боярин, забывши свою неподвижную чинность,— у нашего царя-батюшки, у его пресветлого величества, силы ратной, как песку сыпучего.

— Эх, боярин,— выпил залпом гетман ковш меду,— не умаляю я вашей силы и не к тому веду речь, а только вот что возьми в резон: коли всю нашу силу да соединить с вашей, так что выйдет? Эге! Уж не сила, а целая силища, и что сможет тогда учинить царь великий?

— Это точно,— встряхнул головой увлекшийся Пушкин, и его глаза загорелись.— Верное твое слово, ясновельможный... Коли б да такая нам рать, так всех бы супостатов — под ноги царевы! Полсвета ему б подневолили...

— И Цареград вырвали бы у басурман для его царской пресветлости,— разжигал гостя гетман, подливая ему и себе в кубки мед.— Да что там и толковать!.. И пресветлый государь отклоняет от себя и наше, и свое счастье! Мне вот сколько раз предлагал хан ударить совместно на Москву, да и король польский не оставил думки сесть в Москве на престол Владислава [87],— ведь ляхи-то его считают своим и на ваше докончанье смотрят вот как,— поднял он пальцы,— только мы и удерживаем их тревогой, а то б... Да вот сейчас, после Зборовского мира, согласись я — так все силы ворвались бы в пределы вашего государства, но я сказал, что ни я, ни мой народ не поднимем руки на православного царя, помазанника господня,— и шабаш! Вот и опешили.

— Это ты, ясный гетмане, правильно, а ляхи вот кичливы да вероломны...

— Да, и Смоленск от вас отобрали, и княжество Северское да Черниговское, а вы все докончанья держитесь... Эй, говорю вам,— гетман уже под влиянием меду начинал раздражаться и становился откровеннее,—возьмитесь за разум; не сидите молча, сложа руки да уставивши долу брады, в вашей думе,— не такие времена пришли теперь; вам бы и пресветлого царя, нашего батька, как мы почитаем, следовало умолять, а то накличете такую беду, что и ему не отсидеться в Кремле с докончанием.

— Да это до поры, до времени,— смутился уже совсем Пушкин предсказаниями гетмана.

Все это тревожило и царскую думу, она и сама видела, что дальше нейтралитета нельзя было держать. Пушкин вследствие этого и послан был разведать про боевые силы Богдана, про его расположение и прицепиться к ляхам.

— Я тебе, ясновельможный гетмане, откровенно молвлю,— произнес он через мгновение,— что еду в Варшаву потягаться за обиды ихних писцов — за умаление пресветлого титула его царского величества, самодержца и государя.

— Да, да, и титул уже умалять стали! Да чего от них и ждать, коли они печатают на пресветлого государя и на московитов вот какие презельно поносные книги...

Гетман достал из особого ларца присланные ему Верещакою книги и начал читать намеченные выдержки в переводе по-русски послу. Одна из них была панегирик королю Владиславу IV Вассенберга[88]: «Владиславус прямой и истинный царь московский, а не Михайло», или вот: «Москвитяне, которые только лишь голым именем христиан слывут, а делом и обычаем многим пуще и хуже варваров самих»,— выбирал все более и более резкие места гетман.

Пушкин то краснел, то бледнел и не только побрякивал саблей, но даже скрежетал зубами.

## LXXII

В уединенном покое пани гетмановой происходил следующий разговор еемосци с Выговским в то время, как гетман совещался с царским послом.

— Неужели, неужели он думает идти в подданство к царю! — кипятилась Елена.— Неужели обуяло его опять какое-то непонятное безумие! И когда же? Не в минуту опасности, не в минуту отчаяния, а в минуту своего торжества и величия! Что ж он думает там найти? Новую, пуще прежнего неволю? Так для чего же было затевать и повстанье? Здесь его булава прочней, а Москве она не до речи: у нас шляхетство вольно, а там и батожьем отдерут. Ой, пане, на бога! Отклони ты гетмана от глупости! В последнее время с ним делается что-то неладное: то пирует, то целые дни сидит за работой, то по ночам пропадает у каких-то гадалок. Я уже и тосковала, и тревожилась, и плакала от ревности,— покраснела она,— як бога кохам, а теперь как-то все притупилось.

— Тревожиться об этом, моя найяснейшая крулева, не следует,— говорил горячо и сладко Выговский.— На целом свете нет никого,— ни герцогини, ни королевы, ни царицы,— которая могла бы соперничать с красотой нашей божественной пани.

— О, пан уже слишком! — сконфузилась кокетливо гетманша.

— Прости за правду, наша владычица,— поторопился замять восторженную фразу Выговский,— из глубины души вырвалось... Но гетман наш боготворит свою малжонку, а будущую коронованную, быть может... он только вследствие забот и трудов немножко одряхлел... А что до Москвы,— переменил он вдруг тон,— то он давно забрал ее себе в голову, и как я ни старался и ни стараюсь отвлечь его от этой пагубной мысли, но она гвоздем в нем сидит, да и только. С самого начала повстанья он начал слать туда просительные лысты, и, несмотря на то, что Москва отнеслась к ним просто враждебно, чуть не послала против него войск, гетман не унимался и все пробовал да пробовал ублажать царя. Как зарубил себе, что единой веры, да единой крови, да что простому народу будет лучше, потому что царь не попустит своевольничать боярам, так никаким клином не вышибешь! Вот только как зародилась мысль о самостоятельном княжестве русском, с тех пор замечал я, что поднял голову гетман, хотя еще и колеблется... Я этим объясняю его гадания. Ну, а все же стал закидывать он орлиный взор дальше.

Марылька слушала с замиранием сердца речи Выговского; вся ее тщеславная душа затрепетала от одной мысли, что такое сказочное величие возможно.

— Неужели, коханый пане, ты серьезно можешь говорить об этом? — воскликнула она, вспыхнув румянцем восторга.

— Не только серьезно, но и убежденно; я полагаю, что это единственный надежный исход. Нам ведь остается одно: или примкнуть к кому-нибудь под опеку, а проще говоря под ярмо, или воспользоваться союзом с маестатным соседом, а то и более прочною связью, да и зажить своей властной самостоятельной жизнью... Но к кому же примкнуть?.. Остаться, как были, при Польше — значит никогда не иметь покоя и защищать с саблей в руках каждый свой шаг. Ведь сейм никогда не согласится на нобилитацию козаков, никогда не уступит нам во владение наших земель, не допустит нашего митрополита в посольскую избу... Стало быть, и пойдет бесконечная кровавая драка. Я уверен, да и гетман тоже, что этот мир на полгода, не больше... Ну, вот Турция еще предлагает покровительство; гетман скорее к ней склонен, чем к Польше... да народ наверное воспротивится; положим, тут еще можно бы кое-что придумать, если приготовиться... вот еще Ракочи,— ну, он со своими силами не важен... Значит, самое лучшее — подумать о своей власной хате; говорят, что в своей хате — своя и правда.

— Да как же это возможно? Все ведь накинутся.

— Можно, моя ясная пани; твой разум так светел, и ты, пани, так постигаешь все политичные справы, что поймешь все; яснейшей нашей пани гетмановой я могу доверить все тайны и даже сам попросить у нее содействия. Мультанский господарь вот шлет уже третий лыст — просит у нас помощи от соседей, что лезут захватить его господарский престол, а там вошло просто в обычай: захватит кто-либо престол, пошлет гарач султану, получит утверждение и господарит, пока его другой кто не скинет. А нужно добавить, что у настоящего господаря, Лупула, нет наследника-сына, а есть только две дочери: одна за Радзивиллом, а другая подростокневеста и неописанной, как все говорят, красоты,— так вот из-за нее и буча... Что, если бы гетман послал с войсками своего сына Тимка да внушил бы ему присватать-

ся к ней?.. Впрочем, я думаю, что Тимко, как увидит ее, так и сам загорится... Господарь будет, конечно, в наших руках и не посмеет отказать сыну гетмана,— а то можно будет на всякий случай послать еще тысяч тридцать сватов на границу,— улыбнулся лукаво Выговский.— Свадьбу сыграем и, принявши протекторат Турции, утвердим Тимка на мультанском престоле, соединим таким образом гетманскую кровь с маестатной да мало-помалу оснуем свое русское княжество от Балкан до Дона и от Случи до моря.

— Ах, какой ты, пане, волшебник! — закрыла в истоме Елена глаза.— Ведь это такая картина, что задохнуться можно от прилива восторга... и если б дружно напрячь все силы... ой, какое величие! Но... гетман в эту минуту, быть может, подписывает рабский договор?

— Успокойся, наша царица, такие договоры скоро не пишутся, да и притом московский царь третий раз решительно отказал гетману, как меня заранее уведомили. Теперь весь наш расчет — поссорить с Польшей Москву, и гетман за это взялся, а уж за что он возьмется, то так и будет. Вот только нужно подготовить всю нашу справу ко времени их стычки: Польша будет вовлечена в новую борьбу и обессилится вконец, а мы тем временем заключим союз с Турцией, оженим Тимка и вызовем патриарха Паисия в Львов для коронования нового могущественного монарха.

Елена схватилась с своего места и, словно пьяная, порывисто подошла к Выговскому, распростерши руки. Она совершенно забылась и в каком-то экстазе чуть не бросилась в объятия генерального писаря; но это было только мгновение, она удержалась и вспыхнула вся от волнения. Выговский понял неловкость ее положения и, поцеловав почтительно протянутую, застывшую в воздухе руку, сказал, раскланиваясь:

— Я поспешу к его милости гетману, может быть, понадобится ему какая-либо справка, а к ясновельможной пани гетмановой пошлю Тимка. Пусть пани, как мать, подготовит его. Нужно ковать железо, пока горячо.

— Да, да... Я именно об этом хотела просить пана,— вздохнула облегченно Елена и поблагодарила Выговского за находчивость обворожительной улыбкой.

Выговский удалился, а Елена в волнении стала ходить по ковру в своей уборной.

— Тимасю! Ты как-то дичишься меня, избегаешь все? — подошла она быстро к остановившемуся у дверей в некотором смущении Тимку и поцеловала его нежно в голову. Этот поцелуй залил густым румянцем мужественное лицо статного юнака.—Я нарочно попросила тебя, чтоб поговорить откровенно,—запела она вкрадчивым голосом,— я не знаю, что сталось? Отчего ты изменился? Ведь мы были так дружны... Ты принимал во мне такое участие...

— Теперь ты в нем не нуждаешься, мама,— словно огрызнулся Тимко, подчеркнув последнее слово, и побледнел.

Елена взглянула на него пытливо, с некоторым недоумением и, вспыхнувши, опустила глаза.

— Слушай, мой любый,— взяла она его за руку и повлекла тихо к канапке,— неужели тебе горько, что батько твой исполнил рыцарский долг? Неужели тебе приятнее было видеть мое унижение и слезы? Или ты, может быть, считаешь за глум быть моим названным сыном?

— Нет, не то, не то,— смущался еще больше, а вместе и раздражался Тимко, слегка упираясь и пряча свои глаза,— цур ему!.. Не нужно!

— Нет, нужно,— упорствовала Елена,— нужно! Я не хочу скрытой обиды... Я не заслужила... Сядь вот здесь возле меня, посмотри мне прямо в глаза и скажи: в чем я виновата?

Тимко угрюмо молчал, сжавши брови. Елена смотрела на него своими чудными опечаленными глазами, оттененными длинными ресницами, на кончиках которых дрожали светлые, лучившиеся росинки.

— Ах,— вздохнула она тяжело,— разве мы властны в нашей доле? Ведь она распоряжается с нами без спросу. Иной раз она изломает тебя да еще насмеется жестоко, перед самые очи кинет счастие, протянуть бы только руки, а они связаны...

Тимко закрыл ладонями лицо и склонил голову на свои колени.

Елена начала его тихо гладить по кудрявой подбритой чуприне, а потом, наклонившись, снова поцеловала его в жестковатые волосы и промолвила на ухо:

— Так не сердишься, не будешь на меня исподлобья глядеть? Мне ведь и теперь... Эх, если бы ты заглянул в мое сердце!

Тимко поднял голову и, вздохнув несколько раз глубоко, промолвил наконец:

— Нет, я не сержусь... на свою разве дурную башку... так ведь ее, коли что, можно и об стену...

— Что ты, что ты, мой любый? — улыбалась детски радостно Елена, лаская Тимка.— А? Не сердишься?

Тимко отрицательно помахал головою и улыбнулся, в свою очередь бросив огненный взгляд на свою мачеху.

— Не сердишься? Нет? Ну так поцелуй!

Тимко прикоснулся к щеке своей мачехи и вскрикнул, словно обожженный огнем:

— Ой, меня тато ждет! — схватился он порывисто с места.

— Погоди, Тимко,— остановила его серьезным тоном Елена,—мне по поручению батька и нужно переговорить с тобою о важном деле. Видишь ли, вся надежда твоего отца, да и все благо нашей страны, зависит теперь от приобретения прочного союзника. Господарь Лупул просит у нас помощи; у него одна дочь, красавица, наследница престола. Господарь сильно богат, союз с этим княжеством, тесный, неразрывный, нужен твоему батьку, как воздух утопающему...

Тимко слушал речь Елены с широко открытыми глазами; он и сам молодым умом своим понимал, что нужны союзники, но, во-первых, он о мультанском господаре в первый раз слышал, даже и не мог сообразить хорошенько, где лежит земля господаря, да и кто он сам, а во-вторых, он и в толк не мог взять, почему ему об этом говорит Елена.

— Да я-то при чем здесь? — развел он наконец руками.

— А вот при чем, любый: батько хочет послать тебя с войском туда, к этому господарю, чтобы ты там постоял для его охраны и защищал бы от напастников.

— Что ж,— вздохнул Тимко,— пошлет батько, так поедем; его слово — закон.

— Но не одного этого желает твой батько, он желает еще сыну счастья-доли, а краю родному, через эту долю, желает свободы и славы.

— Я не понимаю что-то,— потер себе лоб Тимко, и в его потемневшем взоре блеснул какой-то неопределенный испуг.

— Он желает,— медленно отчеканивала, пронизывая его глазами, Елена,— чтоб ты получил в наследство господарство, чтоб соединил его навеки с Украйной и чтоб через это создалось независимое, свободное русское княжество.

— Что? Чтоб я... Да как же это? — отступил Тимко.

— Чтоб ты женился на дочке Лупула.

— Я? Простой козак?.. На господаревне? — схватился Тимко за чуприну.

— Ты не простой козак, а сын гетмана... да еще какого!

— Там осмеют меня.

— Тебе в помощь пошлют с полсотни тысяч сватов... Турецкий султан за этот брак.

— Ой, что же это? — в волнении заходил он по комнате.— Или жарт, или черт знает что! Мне жениться?.. Нет! Нет! — вскрикнул он решительно.— Жениться... ни на ком и ни за что! Все, но не это,— тут и батько бессилен!

— Да ты с ума сошел, что ли? Отказываешься от такого счастья, от такого могущества, славы?

— Не могу я ее любить.

— Почему? Она красавица!

— Хоть бы была краше дикой косули,— не могу!.. Никого не могу любить, никого, никого! — почти кричал он в исступлении.— Не спрашивай меня... я ни на ком не женюсь!

— Любишь кого-нибудь другого? — улыбалась ехидно Елена.

— Ай, не спрашивай! — топнул он нервно ногой.

— Слушай, глупенький,— зашептала ему на ухо демонически-соблазнительно мачеха.— Брак этот совершается не по любви, а по коронным потребам... Но зато он для сердца не обязателен... Сердце свободно в своем выборе, а на высоте власти никто ему препятствовать не смеет... Слушай, мой хороший, мой милый,— подняла она его подбородок,— в таких случаях брак и дает возможность блеснуть свободному счастью... Он прикрывает всякое подозрение! — И Елена поцеловала растерявшегося Тимка.

Тимко только успел вымолвить, захлебнувшись: «На все... на смерть!» — и поспешно вышел из комнаты.

Выговский пропустил его и, окинувши пытливым взором Елену, произнес официально:

— Его гетманская милость просит ясновельможную пани поднесть ковш меду на прощанье московскому послу.

— А он уезжает сейчас? — спросила как-то странно Елена.

— Спешит в Варшаву.

— А дело как?

— Возникают неудовольствия, и довольно крупные, между Польшей и московскою короной. А Тимко как? — спросил он в свою очередь.

— Он из воли родительской не выйдет,— ответила Елена и подумала в то же время: не сказала ли она чего-нибудь лишнего этому хлопцу? Чтоб еще не забрал себе чего в голову?.. Впрочем, он уезжает далеко... Женится еще... Но, во всяком случае, нужно будет сразу переменить с ним тон.

— Вот и жена моя! — указал гетман на Елену рукой, когда она вошла в кабинет.

Гость взглянул на Елену и, склонившись, промолвил:

— Прости, найяснейшая пани... и солнце ведь ослепит, если взглянешь, а ты краше солнца красного!

— Ха-ха! — засмеялся гетман.— Вот каковы московские бояре! Ну, за это поднеси ему, господыня моя, кухоль венгерского из королевских подвалов.

Зардевшаяся от похвалы Елена налила полный кубок и, поклонившись, поднесла его гостю на таце.

— Не обессудь, красавица,— промолвил взволнованным голосом Пушкин,— за обычай: у нас кто подносит чару зелена вина, тот подносит и уста свои красные, а говорю я это от имени великого царя моего, осударя и самодержавца.

— Что ж, жинко, всякий обычай нужно уважать,— ободрил Богдан.

Еще пуще загорелась Елена, но исполнила просьбу.

— Теперь, ясновельможная краля, — воскликнул опьяненный посол, — после такой утехи, пусть ляхи искромсают меня, так наплевать! А вот прими от его царского величества подарочек — сережки самоцветные. Носи их на здоровье,— положил он на тацю коробочку

с драгоценностями,— а теперь прощенья прошу... Да пребудет над нами и над нашими речами милость господня!

Обменявшись взаимно пышными фразами и всякими пожеланиями и обнявшись трижды с послом, гетман проводил его до самых парадных сеней.

А Елена, возбужденная всеми событиями дня, захотела еще закончить его прекрасной прогулкой. Гетман был в особенно радостном настроении духа и согласился охотно съездить в Субботов. Их ясновельможности сели в раззолоченный экипаж, а Выговский поскакал вперед. При въезде в двор пышного поезда, сопровождаемого блестящим кортежем, все собравшиеся и выстроенные шпалерами поселяне начали восторженными криками приветствовать своего гетмана-батька. На колокольне трезвонили колокола. Отец Михаил дожидался своего дорогого гостя на паперти с крестом. Елена выскочила из экипажа, поддерживаемая под руку Выговским.

— Вот это мои выписанные из чужих краев мастера и искусники! — показал гетман на группу, стоявшую почтительно у крыльца будынка. Впереди всех выдавался молодой итальянец необычайной красоты. Елена как взглянула на него, так и окаменела от изумления... Гетман уже двинулся по направлению к храму и звал ее, а она стояла словно очарованная...

## LXXIII

В просторной светлице золотаренковского будынка, убранной просто, по-козачьи, полулежала на высоко намощенных подушках одетая в женский светлый халат панна Ганна. Хотя она была уже на пути выздоровления, но болезнь до того истощила ее силы, что она передвигалась еще с трудом и выглядела выходцем с того света, а не живым человеком,— до того лицо ее было бледно и вся она неимоверно худа; только глаза ее горели теперь каким-то новым огнем. Перенесенная ею нервная горячка возвращалась два раза, и теперь, лишь две недели назад, баба-знахарка объявила уже торжественно, что «хвороба окончательно ушла на болота да на леса» и что следует панне только есть да набираться сил. Окружавшие ее во время болезни старались в ми-

нуты сознания не говорить с нею ни о чем, что могло бы напомнить прошлое, разбудить уснувшую муку, не пускали в эти минуты на глаза к ней ни Оксаны, ни Морозенка, через день, через два бывавшего тоже в Золотареве. Во время страшного жара Ганне казалось, что ее сердце горит, и горит оттого, что она сама положила в него горючей серы, что ей давно следовало бы, да и бог велел, убрать вон из груди это палыво, но что оно было ей дороже жизни и потому-то она принуждена терзаться на своем же огне. Когда ей становилось лучше, то она чувствовала, что в груди у нее было холодно и пусто, как на потухшем пожарище, а все прошлое, с сладкими порывами и радужными мечтами, стояло где-то далеко, за каким-то туманом, словно было совсем чужим. Одно только, и то в период улучшения, ей казалось еще более близким и дорогим: это судьба народа. На все ее расспросы о нем брат упорно молчал, отговариваясь тем, что у нее голова еще слаба, чтобы толковать о серьезных вопросах, и, успокаивая сестру общими фразами, переходил сразу на другие, более веселые, темы, пересыпая свою речь всякими побрехеньками. Когда его рассказы вызывали у Ганны улыбку, то брат считал себя на верху блаженства, ласкал неумело сестру и как-то неловко все отворачивался, а то и уходил неожиданно... Дней пять назад допущена была наконец к Ганне Оксана. Несмотря на все предосторожности, она с неудержимым рыданием бросилась своей второй маме на грудь и стала покрывать ее всю поцелуями. Ганна была до того потрясена и радостью видеть Оксану живою, и ее беззаветною любовью, что чуть было не заболела снова от нервного возбуждения... Но окрепший уже относительно организм взял перевес, и Оксана снова была допущена к Ганне на короткое время. На второй день визит ее продолжился, а с третьего дня она уже неотступно сидела подле Ганны. Теперь тут же, рядом с Оксаной, сидел на низеньком табурете и красавец козак, прославившийся в походах, отмеченный уже наградами герой, хорунжий Олекса Морозенко. Его еще вчера допустили свидеться с Ганной, а теперь он уже сидел в светлице ее гостем.

Несмотря на то, что общее выражение лица Ганны носило отпечаток физического страдания и какой-то бессменной печали, теперь глаза ее любовно глядели на

своих деток и бледные уста складывались в тихую улыбку, словно чужое, искрившее яркою радостью счастье отражалось на ее осиротевшей душе благодатным лучом. Ганна переводила свои лучистые, теплые глаза с красавицы Оксаны на козака-запорожца, а с Олексы вновь на свою дорогую Оксаночку и гладила ее по головке тонкою, прозрачною рукой.

— А вот, мои дорогие, любые,— заговорила она слабым еще, рвущимся голосом,— уже не знаю, как и называть вас: детками ли, братчиками ли, или друзьями? Господь таки свел нас всех, зажег ваши очи счастьем, а мои утехой, потому что ласки у него, как звезд на небе. А помните, ведь такой точно был день, светлый и снежный, когда мы с тобой, Олесю, приехали сюда и наскочили на гвалт за колокол, и отняли его, и с колокольни взяли ее, Оксанку?

— Как же не помнить, — отозвался горячо Морозенко, — разве это можно забыть не то что на этом свете, а и на том. Коли бы не панночки ангельская душа, кто бы пригрел ее, сиротку, кто бы в люди вывел?

— Никто! — воскликнула со слезами в глазах Оксана.— Мать бы родная не сделала того! — И она бросилась целовать руки Ганны.

— Не целуй рук, дай обнять тебя, моя родненькая,— протестовала Ганна, вырывая руки и целуя Оксану в лицо... А Олекса в свою очередь ловил эти худые руки и покрывал их поцелуями.

— Да стойте, стойте же, ошалели,— отбивалась Ганна,— видят, что я слабая да бессильная, и напали. А ты, Оксана, не меня благодари, а его: это он тогда упросил меня, я и не думала было тебя брать, а он как пристал, смотрит на тебя, а ты, клубочком свернувшись, вон там спала, на той канапе, смотрит да слезы глотает...

— Так ты такой добрый был, а я и не знала!—взглянула игриво Оксана на своего жениха и озарила его таким счастливым взглядом, какой переполнил его сердце отрадой, вырвавшейся только одним словом:

— Зиронька моя!

— Да, да, будьте счастливы, вы заслужили его. Мы с братом говорили, и как только минут рождественские святки, коли даст бог мне дожить...

— Ненько наша, порадница наша! — всплеснула

Оксана руками и, припав к коленям Ганнуси, заплакала тихими, радостными слезами.

— Даст господь, не обидит нас,— проговорил тронутым голосом Олекса,— мы все за тебя, благодетельницу нашу, бога молим, да что мы,— народ весь... Матерью тебя величает, заступницей... Верят, что твоим молитвам внял господь...

— Что ты, Олексо? — заволновалась Ганна и вспыхнула даже румянцем.— Значит ли что-либо там, у престола всевышнего, моя грешная молитва? Не говори, я не достойна, не достойна таких слов. О себе думала... Господь сглянулся не на мои, а на материнские слезы, на слезы сирот. А я... Ох, не говори этого! — Какая-то мучительная мысль взволновала Ганну. Она оборвала свою речь и стала вздыхать порывисто, тяжело, закрывши рукою глаза.

Оксана переглянулась тревожно с Олексой. Все замолчали. Наконец Ганна, преодолев душевное потрясение, открыла снова лицо и постаралась снова улыбнуться, но лицо ее было так бледно, а улыбка так страдальчески-печальна.

— Да,— заговорила она снова прерывающимся голосом,— кажется, все это было вчера, а сколько невзгод, сколько ужасов и туч пронеслось над нашими головами; но вот проглянул солнечный луч и заиграл радостно — и даже руины оживились,— улыбнулась она горько и провела рукою по лбу, словно желая отогнать от себя какие-то налетевшие мысли.— Слушай, моя горлинка,— заговорила она, меняя тон и целуя Оксану,— расскажи же мне все, что случилось с тобой; мне это так интересно и развлечет меня... Ты вчера остановилась на том, что вы с дедом вышли из Хустского монастыря.

— Так, так, моя родненькая,— заговорила нежно Оксана,— только вы не принимайте все так близко к сердцу, а то чтобы еще хуже не стало, и то у меня души нет. Лежите вот так, смирно, и слушайте: все ведь, слава богу, прошло, а что прошло, то и не вернется... Так вот мы и отправились с дедом да с небольшой ватагой в Гущу,— чутка была, что туда подступили загоны Морозенка и Чарноты... Ну, как я услыхала, что Олекса там, так меня уж ничто не могло удержать.

— А я, как на грех, искавши ее по окрестностям, опоздал... С ума чуть не сошел от тоски! — вскрикнул

Олекса.— Нет и нет ее нигде. Даже слуху нет. В одном только месте нашел след, да и то слабый,— не вывел он меня на шлях. И хотел было уж я наложить на себя руки, так вязал меня гетмана, батька моего, наказ, да и та еще думка, что в общем горе стыдно считаться своим и квитовать только себя, когда руки для бездольного края нужны. Эта думка только и удержала меня на свете.

— Милый мой! — улыбнулась ему ласково и нежно Оксана.— Сколько горя приняла я, сколько мук вытерпела, чтобы увидеть своего сокола! Дид покойничек понимал это и не удерживал,— и в брошенном на козака взгляде было столько беззаветной любви, что козак не выдержал и обнял горячо свою дивчыну.

Оксана вся вспыхнула и не могла долго говорить от душившего ее счастья.

— Вот мы и пошли,— начала она снова, переведя несколько раз дыхание.— Ночь была бурная, грозовая, чисто горобиная. У наших парубков только и оружия было, что дубина да свяченые ножи. Идем мы лесом, вдруг видим — вдали огни горят, обрадовались мы все, а я так уж сердца в груди удержать не могу, думаем: наверное, это Чарнота и Морозенко! Послали вперед на разведки меня, дида да еще других. Подползли мы неслышно к самому обрыву, смотрим — действительно, в лесной долине расположился табор, и порядочный; присматриваемся ближе... Господи, да ведь это все козаки! Ну, тут уж мы и скрываться не стали, полетели что есть духу к своим да через полчаса все в долине и очутились, только все там, кроме меня, и навеки остались.

— Как! Что? — приподнялась с живейшим интересом Ганна.

— Оказалось, панно родная моя, что это не козаки были, а лядская шайка Ясинского. Переоделись они, ироды, в козаков для того, чтоб им беспечнее было от хлопов. Как узнал он, что нас меньше, чем их, так сейчас и скрываться не стал, а велел всех сразу вешать, жечь и на колы сажать.

— Батько его порешил уже сам под Збаражем,— заметил каким-то виноватым голосом Олекса.

— Собаке собачья смерть! — вскрикнула Оксана и вся вспыхнула от гнева, сдвинув свои черные брови.— Ну, да цур ему! Так вот, напали они на нас, их втрое

больше, вооружены все пиками, и саблями, и мушкетами. Принялись наши обороняться, да что с одними мушкетами поделаешь? Через четверть часа перевязали нас всех — и началась панская потеха! Всех уже почти казнили, до меня доходила очередь, я бросила диду письмо, а в это время схватил меня, дьявол, и, ой боженьку мой, узнал, каторжный, и в хлопьячем уборе! «А,— рычит он мне,— не уйдешь!» Только тут, на счастье мое, раздался вдали топот конский, обрадовалась я — думала, что теперь бросятся паны бежать, а меня покинут, так нет же! Бросились-то все бежать, да Ясинский велел меня скрутить и перебросить через его седло. Ой господи, что со мной было! Я кусала им руки, чтоб меня убили, я грызла коня, чтоб он понес и убил нас. Но все было напрасно. Одно только у меня было утешение, что нагонит нас погоня, что это козаки появились в лесу.

— Да это я и был! Я и письмо потом нашел, да спешил к батьку к Пилявцам, а потому и не погнался за ляхами!—вскрикнул в отчаянии Олекса.—Кажется, если бы узнал об этом тогда, голову б себе рассадил.

— Бог с тобой, Олексо! — положила свою руку к нему на руки Оксана.

— Бог все на счастье нам делает. Кто знает, что бы со мною было, если бы ты забрал меня тогда? Может, убил бы меня кто, а так я хоть и горя натерпелась, зато пересидела бурю далеко-далеко.

— Крохотка моя! — поцеловала ее Ганна.— Сколько горя перетерпела, а мы еще с своим носились!

А Олекса не сводил с своей коханой влюбленных очей; он уже, может быть, в десятый раз слушал ее рассказы, но они все-таки, как и в первый раз, казались ему трогательными, и волновали, и восхищали его душу.

— Не успели мы отъехать к лесу,— начала снова Оксана,— как налетела на нас козачья ватага,— дядька Кривоноса и твоя, как оказалось потом. Ну, ляхи сразу до лясу, кто был на коне, а кто около трупов возился — те врозтич. А нам вслед затрещали мушкеты, засвистали пули и стрелы, и угодила одна пуля в нашего коня,— зашатался он и грохнулся в лесу. Ясинский вскочил, а я попала ногами под коня. Раздались по лесу гики, и лях удрал. Но, на горе мое, козаки погнались за ляхами в другую сторону, и я осталась одна. Ни стонов моих, ни криков никто не слыхал. Так прошло два дня и две

ужасные ночи. Ног я не чувствовала. Жажда меня страшно томила, внутри у меня словно горело все, голова кружилась. Я думала, что настал уже мой конец; одно только я шептала: «Боже, прости мне и сохрани от лиха Олексу».

— Янгелятко мое! — прошептал Олекса, сжав свои руки, но уже сдержал свой порыв.

Ганна смотрела на Оксану глазами, полными слез, и только тихо стискивала ей руку.

— Я уже не помню хорошо, как это сталось,— говорила Оксана,— только привел меня в чувство пожилой пан, поляк, уходил он из Корца, что ли, в свои далекие поместья аж за Краковом. Я по-польски говорить не умела, и он принял меня за козачка какого-либо пана да и взял с собою. Я было и порешила в уме, что коли что, так у меня останется же порадник священый, да опять и захотелось увидать всех. Оказались, на счастье, и пан, и семья его добрыми и милостивыми людьми. Только трудно было крыться; одной бабусе-челядке из наших я призналась, и мне хорошо зажилось; только тоска грызла, ух, какая тоска! Уж сколько раз решалась я бежать, только даль и страх останавливали. Так прошел год. Коли слышу, что паны мои заворушились: объявлено было королем посполитое рушение. Ну, я выпросилась, вымолилась ехать в поход с паном,— быть его джурой,— пан растрогался и взял меня с собой. Мы дошли до стоянки короля, а потом двинулись с ним в Зборов. Тут, когда я доведалась, что подступили наши, то, недолго думая, перекрестилась и удрала ночью к своим. Меня было и ранили, да и то байдуже.

В это время в соседней комнате раздался шум шагов и громкий говор. Все притихли и насторожились.

— Как хотите, панове,— говорил злобно хриплый голос, в котором Ганна узнала тотчас Кривоноса,— а это зрада, измена всему! Мне Богдан первый друг, я за него стонадцать раз готов был отдать вот эту башку. Но против правды я не могу: народ мне еще больший приятель, еще ближайший друг, а этот народ, эта оборванная и ограбленная голота забыта им, нет, мало,— люд продан, продан с головой нашим врагам, они опять обращают его в рабов, в быдло! — крикнул он с воплем.

Кто-то заметил, что по соседству больная, и притушил поднявшийся было гомон.

— Да, этот Зборовский договор,— заметил после некоторой паузы мрачно, хотя и сдержанным голосом брат Ганны Золотаренко,— совсем умолчал о поспольстве. И теперь дозволено вот снова панам возвращаться в свои оставленные маетки, а поселянам предписано гетманскими универсалами быть по-прежнему покорными своим панам и работать на них усердно, а иначе поставлена им угроза страшных кар.

— Поставлена? — возразил пылко Чарнота, и его молодой звонкий голос заставил Ганну вспыхнуть надеждой, что вслед за ним раздастся еще более звонкий другой.— Да уже проявились эти кары и пытки на деле во многих селах, вот, я сам знаю, в Гливенцах, Сербах, Пылыпенцах на Подолии, а то еще и на Волыни. Там уже катуют лозами простой народ и рубят ему головы.

— Еще бы не рубили! — отозвалась какая-то октава.— Теперь ведь паны еще с большим зверством накинутся на народ, коли им развяжут руки: прежде они изводили его лишь поборами да сверхсильной работой, а теперь будут еще мстить.

— Да я за панов уже и не говорю,— продолжал голос Чарноты,— те уже известны, а вот рубят народу головы по наказу самого гетмана. Стало быть, вновь продолжает литься русская кровь!

— Проклятие! — завопил Кривонос, а Ганна привскочила даже и села на постели от грома раздавшегося в соседней светлице удара.— За что же они, эти несчастные мученики, проливали свою кровь и дали в руки гетмана все победы? Да, почитай, все! — кричал, не сдерживая своего голоса, Кривонос.— И Запорожье все укомплектовалось, удвоилось в числе бежавшими хлопами, и на всем пути первого похода они, эти мученики хлопы, приставали к нашему войску сотнями, а при приближении к Корсуню — тысячами, а в Белой Церкви — уже десятками тысяч. Ведь тогда всех рейстровых козаков было тысяч до шести, не больше, значит, остальное войско, тысяч до полтораста, составил народ. Да и в походах кто нам доставлял и харч, и всякий припас, и подводы? Народ, тот же самый простой народ, который восстал по призыву гетмана, обещавшего ему в своих грамотах и лыстах полную свободу и землю... Где же гетманское слово? Где же эта обещанная свобода? Ведь тот самый народ теперь за все свои жертвы отдался

снова в руки врагов!.. Что же это — шельмовство, зрада? Да ведь выходит, что мы, вся старшина, те же иуды, те же предатели!.. За сребреники, за полученные нами льготы отдали вероломно на поталу наших братьев обездоленных, клавших широко и услужливо за нас свои головы! Нет, я больше таким вероломцем, таким псом продажным быть не хочу!.. Ни чина полковника, ни этих цацек, добытых бесчестно, носить не стану... Всё вон! К хлопам пойду и буду вместе с ними работать на панов либо с панами считаться! — брякнул он раза два чем-то и грузно повалился на лаву.

После этого за дверью наступило грозное молчание. Ганна вся дрожала, как в лихорадке; глаза у нее зажглись огнем, на щеках заалели пятна... Оксана не сводила с нее очей и вся застыла в тревоге. Морозенко, бледный как стена, стоял статуей, закусив до крови губы и поворотив голову к двери.

## LXXIV

Спустя несколько минут разговор в соседней комнате возобновился; жадно прислушивалась к нему Ганна.

— Ох, правда все это, да еще какая правда! — говорил какой-то незнакомый старческий голос.— Зачем мне только было доживать до такого позора?.. Гетман наш, прославленный, излюбленный народом, совсем о нем и не думает!

— Да уж и народ не прославляет его больше,— откликнулся Чарнота.

— Ох, господи! — застонала тяжело Ганна и схватилась руками за грудь, словно желая задавить проснувшуюся в ней острую боль.

Морозенко этого не заметил, а Оксана бросилась поддержать ее, так как Ганна порывалась встать.

— И доступиться даже к гетману невозможно,— заговорил Золотаренко,— окружил себя наемною татарскою стражей, так что теперь нужно добиваться и добиваться долго возможности увидеться с гетманом и сказать ему правдивое слово; теперь, сказывают, держат его в руках Тетеря да Выговский с Еленой, затевают какое-то сватовство Тимка с мультанскою коронованною господаревкой, ведут тайные переговоры о чем-то

с Турцией и Ракоцем... Одним словом, исподтишка приторговываются, кто даст за нас больше?

— Так как же нам-то терпеть все эти кривды, панове? — зарычал Кривонос. — Ведь это полная зневага всем нашим правам! Ведь без подтверждения рады он, хоть и гетман, а не имеет права даже дома решать важных вопросов, а тем более вершить нашу долю с басурманами или иноверцами.

— Да мы теперь, хоть перережь нас, а не пойдем в згоду с рыцарством не нашего креста! — загалдели многие голоса.— А то вот на то самое выйдет: бился люд за свою свободу, а его опять в крепаки! Боронили мы свою веру, а ее опять либо под Магомета, либо под ксендза!

— Народ теперь уже, помимо нас, бежит целыми толпами на московские земли, за Псел,— заметил кто-то язвительно.

— Так как же нам молчать и потурать гетману? — закричал уже бешено Кривонос.— Мы должны наконец поднять голос, а не мирволить новым бесчинствам на Украйне! Коли гетман изменил и народу, и нам, и всему краю, то не должен больше держать в руках булавы; и клянусь всем моим сердцем и святым моим крестом, что я вырву ее из недостойной руки!

— Так, так! — начали раздаваться сперва робко, а потом дружней и дружней голоса.— Мы сначала составим свою раду, а потом созовем и черную раду.

— Да мы и тут, вот сейчас,— рада,— заметил Золотаренко.

— И благо народа прежде всего,—добавил Чарнота.

— Так долой гетмана! — раздался общий крик.

Ганна давно уже стояла на ногах, поддерживаемая Оксаной; этот последний взрыв крика возбудил горячечный подъем ее нервов; она промолвила порывисто: «Помогите!» — и двинулась стремительно к дверям. Морозенко едва успел подхватить ее под руку.

— На бога! — остановила она жестом толпу козаков, собравшихся было уже бурною толпой выйти на площадь, где собрались возмущенные слухами поселяне.

Появление этой бледной фигуры, дрожащей от волнения, с приподнятою рукой и пламенным взором, произвело на всех импонирующее впечатление.

— На бога, остановитесь! — повторила она напряженным, рвущимся голосом.— Не совершите такого дела,

от которого будет краснеть родная земля! Вспомните заслуги нашего гетмана, ведь все-таки он, отмеченный богом, направил толпу и составил из нее непобедимые полки... ведь он повел эти юные силы на брань, и за разумом, отвагой и сердцем вождя эти полчища одолели непобедимого прежде врага... Если в ваших словах все правда, если гетман ошибся, если этою ошибкой он причинил зло, то еще никто не доказал, что эта ошибка умышленна, что он нарочито ведет всех к погибели. Никто этого не доказал, и я этому не верю! Как же вы, честные козаки, хотите без спросу даже его самого осудить гетмана, сместить его, затоптать ногами, утопить в грязи? Ведь это было бы таким позором, какой не искупили бы ни ваши дети, ни внуки! Ведь это было бы кощунством над лаской божьей. Нет, честное лыцарство, я глубоко чту вас и верю, что вы не допустите такой кривды! Пойдите к гетману, потолкуйте... вразумите... Это ваше право... Да я сейчас сама отправлюсь к нему, вместе с вами... Отправлюсь и скажу всю правду. Я знаю его золотое сердце: оно отзовется на вопль народа... Я пойду! Только молю вас: не учините бесчестного гвалта! — И она, обессиленная, полумертвая, упала на колени перед смущенною и пораженною ее словами старшиной.

Вечернее солнце склонялось к горизонту, длинные лучи его пронизывали освобожденные от снега деревья гетманского чигиринского сада. С остроконечных крыш замка мерно и весело падали прозрачные капли. Птицы как-то особенно весело и живо перелетали и перескакивали с ветки на ветку. Во всем пейзаже чувствовалось близкое наступление весны.

У широкого венецианского окна одного из покоев Чигиринского замка сидела молодая гетманша Елена; голова ее опиралась как-то бессильно о высокую спинку обитого красным штофом кресла. Казалось, она прислушивалась к чему-то... Прямо против нее на небольшом табурете сидел молодой итальянец, так сильно поразивший Елену своею красотой еще при первой встрече. Действительно, наружность его не могла не останавливать на себе внимания.

Это было такое совершенное соединение мужества,

молодости и чисто итальянской грации, какое трудно было встретить в ком-нибудь.

Одет он был так, как одевались в это время в Венеции: черный бархатный кафтан, вышитый серебром и опушенный дорогим мехом, плотно охватывал его гибкий стан, вокруг талии лежал кованый серебряный пояс с прикрепленною к нему небольшою шпагой. Стройные ноги его облекало шелковое трико; на ногах итальянца не было тех тяжелых, украшенных звенящими шпорами сапог, в которых ходили все шляхтичи и козаки, а мягкие шелковые туфли. При дворе Хмельницкого итальянец этот казался Елене сказочным принцем.

И теперь грудь Елены поднималась слегка взволнованно. Итальянец не отрывал от нее своего жгучего, пламенного взгляда. Елена хотела заговорить — и не могла преодолеть охватившего ее волнения. Она, всегда такая спокойная, такая холодная, и вдруг теперь... Каждый взгляд его, звук его голоса заставляют трепетно биться ее сердце. Уже целый месяц, как итальянец поселился у них, и чем дальше, тем сильнее и сильнее охватывает ее непослушное волнение.

Правда, она отвыкла от людей, все одна да одна или с дикими козаками; быть может, это и влияет на нее... Ах, это верно, если бы не он, можно было бы умереть с тоски! Но откуда же это трепетание сердца, которого не слыхала она раньше?.. Откуда? Итальянец молчал, опустивши свою красивую руку на лютню, лежавшую у него на коленях.

Очевидно, перед этим мгновением разговор их только что оборвался и никто не желал нарушать наступившей сладкой тишины.

— Ах, как хорошо на дворе...— произнесла наконец Елена, подымая свои опущенные веки,— весна идет!

— О да! — подхватил с жаром итальянец.— Наконец и над этим краем появится солнце.

— А у вас не бывает таких холодов, таких снегов, таких долгих зим?

— О нет, ваша маестатность,— ответил он с увлечением.— Небо у нас синее, как очи синьоры, море у нас глубоко и безбрежно, как душа поэта, цветы у нас дышат опьяняющим ароматом, как поцелуи влюбленного, солнце греет ярко и сильно, люди любят безумно и горячо!

— Как хорошо говоришь ты о своей стране, синьор,— улыбнулась Елена,— но ты обещал мне спеть сложенную тобою песню... Спой, кругом так тихо и прекрасно... я буду слушать тебя.

Итальянец приложил свою руку к сердцу и, пробежавши пальцами по струнам, запел негромко, но мелодично и нежно.

Мелодичный звук лютни оборвался, но, казалось, еще с минуту он дрожал в наступившей тишине. Елена молчала. Солнце, уже почти спустившееся к горизонту, заливало их розовыми лучами и наполняло комнату нежным, ласкающим светом.

Елена подавила непослушный вздох и произнесла тихо:

— Как хороша твоя песня! Где ты выучился ей?

— Я сложил ее сам, ясновельможная пани.

— Сам? Но кто же тебя научил слагать такие дивные песни?

— Сердце.

— Ах, ты оставил, верно, дома невесту и тоскуешь по ней?

— Синьора-владычица, у меня нет невесты, но сердце мое полно тоски... Та женщина, которую я люблю, так высока, как звезда на небе, и принадлежит не мне,— произнес тихо итальянец, устремив на Елену жгучий, выразительный взгляд.

— Она замужем? — невольно вырвалось у Елены.

— Да,— вздохнул итальянец.

С минуту оба молчали.

— Так забудь ее,— произнесла через минуту Елена.

— Любящее сердце не может забыть.

— Ты утешишься скоро: у нас есть красавиц немало, любая полюбит тебя...

— Но я не полюблю никого.

Елена улыбнулась и произнесла кокетливо:

— Какая же тебе будет награда от неразделенной любви?

— Один взгляд, одна улыбка богини, которую я люблю без ума, без воли...— заговорил страстным шепотом итальянец, приближая к Елене свое взволнованное лицо.

— Оставь, уйди,— перебила его Елена, подымаясь порывисто с места,— зачем говоришь ты мне это?

Итальянец хотел было что-то возразить, но в это

время двери распахнулись и в комнату вошел Тимко; при виде итальянца лицо его сразу приняло мрачное и угрюмое выражение.

— Меня прислал к тебе отец,— произнес он сурово, останавливаясь у дверей.

— В таком случае я оставлю светлейшую синьору,— поднялся с места итальянец и с любезным поклоном направился к двери. Тимко молча посторонился, чтобы пропустить его, и когда двери за итальянцем затворились, он быстрыми шагами подошел к Елене и, остановившись перед ней, произнес отрывистым, хриплым голосом:

— О чем ты говорила с ним?

— Тимко, что это за голос, что это за лицо? — попробовала было улыбнуться Елена, но Тимко перебил ее злобно:

— Я не шучу, отвечай мне сейчас, или я расскажу отцу то, чего он не замечает до сих пор!

— Что скажешь ты? — побледнела внезапно Елена и отступила на шаг.

А Тимко продолжал, задыхаясь от волнения:

— Скажи, о чем ты говоришь с ним всегда? Скажи, отчего с тех пор, как он приехал сюда, ты целые дни проводишь с ним вместе, ты слушаешь его глупые песни, ты позволяешь ему неотступно следовать за тобою, ты встречаешься с ним взглядами? Ты...

— Ха-ха-ха! — перебила бурный поток слов молодого козака холодным, надменным смехом Елена.— Зачем я слушаю его, зачем я провожу время с ним? А с кем же мне проводить время, кого слушать, скажи? Разве гетман думает обо мне? С тех пор, как мы приехали в Чигирин, разве я вижу его? Целые дни сидит он запершись в своем кабинете, или радится с писарем, или сам пишет лысты. Не обо мне он думает. Судьба его грязных хлопов ему дороже моей любви! Ха-ха-ха! Вот как думает он о своей молодой жене! — разразилась она опять смехом.

— У батька теперь скопилось много горя,— произнес угрюмо Тимко,— сама знаешь: митрополита не пустили в сейм, кругом бунты, свавольства.

— Да, да, бунты, свавольства! — злобно вскрикнула Марылька.— А он еще хлопочет о привилегиях и вольностях хлопов; да если бы они были все вольны, так не

сносить бы нам своих голов! Кто не умеет сдержать лошадей, пусть не садится на ко́злы,— произнесла она быстрым шепотом, наклонясь к Тимку, и в глазах ее вспыхнул злой огонек.

— Ты говоришь против батька! — отшатнулся от нее Тимко.

— Да, против батька! Зачем он шепчется с московскими послами, зачем мирволит всем бунтарям, зачем печется о хлопах и забывает о всей стране?

— Потому что народ наш вольный, как дикий конь, он не наденет узды! — вспыхнул Тимко.

— Но диким конем не возделаешь поля,— произнесла уже с покойною улыбкой Елена и, заметивши, что отчасти проговорилась перед пылким молодым козаком, переменила сразу тон и заговорила грустным голосом: — Ты говоришь, зачем я сижу с этим чужеземцем? С кем же мне сидеть, с кем поговорить, когда все сторонятся меня, даже ты?

— Я не умею петь песен, как итальянский маляр или дзыгармейстер! — отвечал угрюмо, не глядя на нее, молодой козак.

— Не хочешь, не любишь меня! — проговорила Елена, охватывая его шею рукою и стараясь заглянуть ему в глаза.

— Пусти! — вырвался с силою Тимко и, отвернувшись в сторону, произнес отрывисто: — Батько прислал меня сказать тебе, чтобы к вечеру было приготовлено все с достойной гетмана Украйны пышностью: он будет угощать всех послов.

Елена опустилась в кресло.

— А больше? — спросила она с лукавою улыбкой.

— Больше ничего!

— И ты уйдешь?

Тимко молчал потупившись.

— Ну, подойди же ко мне, Тимоше, зачем обижать так бедную Олесю? — продолжала она жалобным детским тоном.

Тимко сделал несколько нерешительных шагов по направлению к ней.

— Ну, так вот, так, а теперь сядь сюда,— подвинула она ему ногой низкий та́бурет.

Козак словно нехотя опустился. Елена положила на его черноволосую голову свою руку и, погрузивши в его

черные кудри свои тонкие пальцы, произнесла шепотом, наклоняясь к нему и заглядывая ласково в глаза:

— Видишь ли, мой любый, дикий коник, я хочу наложить на тебя маленькую, легкую уздечку, чтобы ты немножко слушался и любил меня...

К вечеру весь Чигиринский замок горел сотнями огней. Во всех залах, залитых светом, стояла у дверей почетная варта, которую гетман устроил себе теперь из венгров и татар; везде толпились гости, среди которых виднелись шляхтичи со своими женами, знатные козаки, свита приезжих послов и множество других лиц. Все это направлялось в большую залу, где гетман должен был принимать послов. В большой зале Чигиринского замка было полно гостей; среди них были и прибывшие польские комиссары [89]. Гетман наконец-то дождался их, ему давно хотелось показать перед Польшей все свое величие, сделать их свидетелями дружественных посольств к нему от иностранных дворов, и наконец-то удался этот торжественный момент.

В богатом собольем кобеняке, с булавою в руках стоял Богдан на возвышении, опираясь рукой на спинку высокого кресла, устроенного наподобие трона; его окружали генеральная старшина, писарь, Тетеря и другие. Подле возвышения помещалась почетная стража, а дальше уже стояли кругом избранные гости.

Против трона Богдана находились послы со своими ассистенциями. Здесь был посол турецкий, посол князя Ракочи, посол молдавский и волохский, послы московского царя и, наконец, Кисель, воевода киевский, со своею ассистенцией, в которой находился Дубровский. Каждый из послов подходил к Богдану и, поднося ему ценные подарки, произносил при этом соответственно торжественную речь. Богдан благодарил и отвечал тем же. Все было кругом так великолепно, так торжественно, что можно было без ошибки подумать, что находишься в королевском дворце. Между тем, пока происходили все эти сцены, польские комиссары вели между собою тихий разговор.

— Заметил, пане воевода, уже и трон воздвиг

себе? — заметил с саркастическою улыбкой Дубровский, указывая глазами в сторону возвышения, устроенного для кресла гетмана.

— Да, поистине ему недостает только скипетра, чтобы уподобиться коронованному монарху,— ответил злобно один шляхтич из ассистенции Киселя.

— И он добьется вскорости и этого,— продолжал Дубровский.— Но хотел бы я знать, что привлекает сюда всех этих послов?

— Горе нашей отчизны,—вздохнул глубоко Кисель,— они предчувствуют, что недуг ее тяжел, и думают в наступающих смутах урвать и себе какой-нибудь сытный кусок.

— И только подумаешь, что это беглый лейстровик! — воскликнул Дубровский, но Кисель остановил его:

— Тише, тише, панове! Смотрите, прием уже, кажется, окончен, ясновельможный сам идет к нам.

Действительно, Богдан подходил.

— Прошу простить меня, ясновельможное панство, если заставил вас поскучать немного,— приветствовал он их любезно, но довольно сдержанно.— Всё хлопоты, всё послы!.. Каждому ведь надо сказать приветливое слово. Однако же, дела теперь окончены и я прошу вас, мои дорогие гости, почтить своим присутствием мой стол — отведать если не кушаний, то хоть вин и медов; они ведь польские,— заключил он с улыбкой.

На последнюю остроту гетмана Кисель и окружающие его шляхтичи кисло улыбнулись и двинулись вслед за ним по направлению к другим покоям, где были роскошно сервированы столы и откуда уже доносились веселые возгласы и оживленный шум.

В это время к Богдану подошел Выговский и, нагнувшись к нему, произнес тихо:

— Ясновельможный гетмане, прошу тебя остаться на пару слов.

Богдан наклонил голову и произнес, обращаясь к гостям:

— Ясновельможное панство, прошу не ждать меня,— через минуту я буду с вами.

Все наклонили головы и молча двинулись в назначенные для пира залы.

— Ну, что такое? — спросил поспешно Богдан, отходя с Выговским в сторону.

— Ясновельможный гетман, здесь турецкий посол; я задержал его: ведь ты хотел сам от себя передать ему несколько слов.

— О так! Из всех союзников, как вижу я, на горе, всех вернее будет для нас пока Порта. Где же он?

— Ждет здесь.

— А, хорошо. Ты же приготовь ласковые и покорные письма к султану; пиши ему, что мы с райской радостью услыхали его желание принять нас под свою оборону, что сердцем и мечом будем распространять по всему свету его славу.

— Так,— улыбнулся Выговский.— А что же отписать Ракочи?

— Что больше всего желаем мы соединиться с ними, что союз этот для козака — самое отрадное побратимство, и между прочим, вскользь пообещай ему польскую корону.

— А королю?

— Ну, что же? Что мы его верные и покорные слуги; чтобы не верил никакой клевете, которую распространяют о нас наши враги, что по первому его приказанию готовы мы двинуться войною, на кого он укажет.

По лицу Выговского пробежала тонкая усмешка.

— Ну, а пресветлому московскому царю?

— Что к нему мы все льнем душою, как к батьку дети, что молим его взять нас к себе под высокую руку и обещаем завоевать ему за это и турок, и татар.

— Риторика? — приподнял насмешливо бровь Выговский.

— Нет, Иване,— ответил серьезно Богдан,— рыба, говорят, ищет, где глубже, а человек — где лучше; нельзя отталкивать от себя никого, пока еще не знаешь, на кого придется опереться.

— О гетмане,— воскликнул с чувством Выговский,— твой ум умеет прозревать далеко в будущее, только будь смелее, не отклоняй от себя господней руки! Теперь удобное время: перессорить всех ничего не стоит! Между Польшей и Москвой уже начались неудовольствия; татарам сообщить, что Польша с Москвой собирались на

них и приглашали к этому и нас, а Турции доставить документы, что покойный король, а значит и сейм, подбивали нас затеять с нею войну. Ха! Теперь все нити у нас в руках,— запутать их всех в этом водовороте...

— Поймать печеного рака,— перебил его со смехом Богдан.

— Тебе бояться этого нечего,— ответил смело Выговский,— только окрепнуть на силах, Тимка женить в Молдавии, Украйну одеть в порфиру.

— Стой,— остановил его за руку Богдан,— об этом еще рано, нам надо раньше дать лад и спокойствие внутри, окрепнуть.

— Да,— протянул Выговский,— а внутренние смуты губят наши силы, и подрывают твою власть, и ведут к погибели всех.

— Что? Снова бунты, свавольства, измены?! — повернулся к нему быстро Богдан.

— От святейшего митрополита письмо; он умоляет и заклинает господом, гетмане, усмирить кровопролитие и осушить слезы изгнанников; он пишет, что хлопы, несмотря на мир, злодейски мучат и убивают панов — не только ляхов, но и своих!

— О, проклятье, проклятье мне! — вскрикнул бешено Богдан.— До чего я довел страну!

— Ясновельможный гетмане, свавольство всегда вызывает ярость; поусмирить, попридержать,— продолжал вкрадчиво Выговский.— Что требовать от хлопа, когда сами значные козаки...

— Что, что? — схватил его за руки Богдан.

— Нечай собрал тысяч десять и грозит тебя сбросить с гетманства; на Запорожье отыскался какой-то шляхтич и собирает против тебя козаков; кругом бунты...[90]

— На пали их всех! — зарычал, покрываясь багровой краской, Богдан.— Я покажу им, что в моей руке булава не пошатнется.

В это время у дверей раздался какой-то шум.

— Не велено пускать из посторонних никого,— послышался чей-то голос.

— Гетман обо мне не мог этого сказать,— отвечал другой.— Пусти! Я сама отвечаю за себя!

С этими словами дверь распахнулась и на пороге залы показалась Ганна.

— Ганна! — вскрикнул Богдан, не веря своим гла-

зам, и, забывая все, бросился с неудержимой радостью навстречу к ней.

Ехавши сюда, в Чигирин, Ганна дала себе слово не обнаружить ни единым движением своей слабости перед Богданом; она к нему ехала только из-за спасения родины, и если бы не готовый уже сорваться бунт, она бы никогда не вошла сюда; но этот дорогой голос, этот искренний порыв восторга Богдана, это лицо, измученное, покрытое морщинами,— заставили рушиться в одно мгновенье это решение в душе Ганны. Боясь проронить лишнее слово, боясь разразиться рыданиями, она стояла бледная, неподвижная, не отвечая на его приветствия ничего.

— Друже мой, друже, единый, коханый,— говорил между тем Богдан, обнимая ее и целуя в голову,— ты здорова, жива! Но что с тобою? Боже! Ты вся побелела! Постой, сюда, сюда, садись вот,— засуетился он, подводя Ганну к шелковому банкету и опускаясь рядом с ней,— может, воды, знахарку?

— Нет, не нужно. Это пройдет,— проговорила тихо Ганна,— я только встала с постели.

— Голубка моя! — произнес с глубоким чувством Богдан и устремил на Ганну взгляд, полный любви. Это бледное, исхудавшее лицо, эти запавшие глаза, этот тихий голос были так бесконечно дороги ему! Сердце Богдана охватил порыв неведомого счастья, и вдруг в одно мгновение ему сразу стало ясно, что все его тревоги, вся мука, вся тоска происходили оттого, что он потерял, отстранил от себя этого друга, этого ангела-хранителя, эту чистую душу, равную которой нельзя было нигде отыскать, и отстранил навеки.

Ганна тоже молчала, стараясь победить непослушное волнение, охватившее ее больное сердце.

— Но как ты попала сюда? — произнес наконец Богдан, не выпуская ее руки.

— Я ведь была уже раз в этом палаце, у старого гетмана Конецпольского, а потом и с дядьковой семьей.

Вся кровь ударила Богдану в лицо при одном этом слове Ганны: и ее геройский подвиг, и все то, что она сделала для него, встало перед ним в одно мгновенье мучительным, невыносимым укором.

— Ганно, Ганно, простишь ли ты меня когда-нибудь? — простонал он, сжимая ее руки. — Господь

отвратил от меня свое лицо, — у меня нет больше счастья!

Этот возглас Богдана был полон такого неподдельного горя, что сердце Ганны снова сжалось тоской; она хотела было ответить ему, что ничего не помнит, что все забыла при одном только взгляде на его измученное, постаревшее лицо, но, вспомнивши о цели своей поездки, она преодолела себя и произнесла тихо, но твердо:

— Что говорить о счастье! Я приехала за другим. Какие-то ваши враги, дядьку, распространяют о вас всюду ужасную клевету. Народ кругом бунтует, козачество, старшина. Но я не поверила им никому. Вам только, вашим словам поверю я. Скажите...— Ганна остановилась, как бы боясь еще с минуту произнести решающее слово.— Скажите, я ничего не знаю, я больна была, но они все твердят, что по Зборовскому договору народ наш снова возвращается в неволю к панам?

Богдан молчал.

— Дядьку, дядьку! — вскрикнула в ужасе Ганна, хватая его судорожно за руку.— Ведь это неправда, это гнусная, подлая ложь!

— Это правда, Ганно...— произнес тихо Богдан, опуская голову на грудь.

Мучительный, ужасный стон вырвался из груди Ганны.

— Ох, Ганно, Ганно! Не осуди меня хоть ты! — вскрикнул Богдан, глядя с испугом на ее побелевшее лицо.

— Как могли вы это сделать, как могли?

— Как мог! — воскликнул с горечью Богдан.— Как мог я это не сделать! Ах, если б ты заглянула сюда, Ганно,— ударил он себя в грудь кулаком,— если б увидела, какая тут страшная, черная рана, ты бы не спрашивала об этом меня! Ох, слушай все,— схватил он ее за руку и продолжал порывисто: — Когда мы осадили тогда под Зборовом короля, все было в наших руках, на утро я ждал полной победы, разгрома: здесь король был в моих руках, там, в Збараже,— князь Ярема, вся Польша... Ох, я уже видел Украйну свободною от всех! Но накануне битвы, ночью, призвал меня к себе хан... Слушай, Ганно, он сказал мне так: «Гетман Хмельницкий, помни, что если ты подумаешь завтра вконец разорить твоего государя,— я со своими войсками ударю сейчас же вместе с ляхами на тебя...» Что было делать,

Ганно? Что было делать, скажи?! — сжал он снова до боли ее руки и продолжал еще возбужденнее: — Поляков я разбил бы одним взмахом, но с татарами было не то! И я должен был крикнуть «Згода!», когда все было у меня в руках! Ах,— провел он рукою по лбу,— когда бы ты могла знать, чего мне стоил этот крик!

— Но почему же вы не сказали тогда обо всем старшине? Почему не объяснили?!

— Ха-ха-ха! — перебил Ганну горьким смехом Богдан.— Сказать им? Да разве они могли понять что-нибудь? Разве они могут хоть на один месяц вперед заглянуть в будущее? Сейчас поднялся бы бунт и нас искрошили бы татары,— ведь их было больше ста тысяч! А так по крайности решающее слово осталось за мной!

— Но договор... Почему же народ наш обойден?

— Да потому, что этот договор уже был ханом раньше подписан, потому, что мне его диктовали сто тысяч татар, потому, что я стоял между двух огней и мог потерять в один час все, что завоевано было в два года... Потому, что в этой скруте мне нужно было выговорить хоть право возможно широкого развития боевых сил... и, наконец, потому, что поляки лишь на одном условии согласились на унизительный все-таки для них мир: чтобы шляхте возвращены были населенные маентки в Украйне... Я вынужден был согласиться... и вот почти год не пускаю ляхов... пользуюсь временем, укрепляюсь, ищу союзов... до сорока тысяч поспольства вырвал из панских маентков, записал в реестры... но всех же не мог.

— Ах, дядьку, дядьку... какое горе! А все же выходит, что старшина и козаки получили все привилеи, а бедный народ...

— Га! — вскрикнул Богдан в волнении и встал с места.— Знаю, знаю... я продал народ за булаву, за привилеи и даже,— выговорил он с трудом,— за Елену!.. Ох, Ганно, тяжело, тяжело! Какая это злая кривда, а наипаче последний укор...— схватился он рукой за голову,— он пронзил мне грудь неотразимым возмездием...

Ганна вздрогнула при последних словах и перебила Богдана:

— Но что же будет, дядьку, дальше? Ведь так нельзя... невозможно!.. Ведь это хуже смерти!

— Да, так жить нельзя...

— И наш богом ниспосланный вождь, наш избавитель, наш прославленный гетман говорит бессильно и безнадежно такие отчаянные слова? — всплеснула она руками.

— Ох,— простонал гетман,— ты говоришь мне об этом. Да кто знает мою муку лучше меня? — Он ударил себя с силою в грудь кулаком и, остановившись перед Ганной, продолжал, почти задыхаясь от волнения: — Бывают дни, Ганно, когда я сам готов наложить на себя руки. О, если бы не мысль, что без меня никто не даст помощи этой бездольной краине, я бы давно покончил здесь со всем. Ведь нет у меня дома истинных друзей-помощников, а извне нет верных союзников! Друзья и понять не хотят ужаса настоящей минуты, не хотят и додуматься, что нужно вновь, хотя на малое время, усыпить врага, и в слепом нетерпении подымают народ, толкают сами его, неприготовленного, на новую роковую борьбу...

— Но что же делать, дядьку? Отчаянье взяло всех: кругом казни...

— Да, казни! — перебил ее горячо Богдан.— Должен же я хоть на годыну усмирить посполитство, а они еще раздувают огонь. Но во имя общего блага...

— Нет, дядьку, если так, то уж лучше умереть всем! — вскрикнула пламенно Ганна и тоже поднялась с места.

— А, умереть! Вот видишь, и ты говоришь то же! Умереть-то не штука! Да все не умрут: полягут только лучшие силы, а остальные пойдут в вечное рабство. Нет, не умереть, нужно найти выход, и я еще надежды не потерял... Коли с Польшей нельзя сладить, так отыскать вернейшую опору и отделиться от нее со всем народом навсегда!

— Дядьку, дядьку! — схватила его Ганна за руку.— Так вы не теряете надежды, вы...

— Не только не теряю, но верю. Дайте мне лишь окрепнуть на силах. Я дня не теряю даром, Ганно, но они сами потопят и меня, и весь край...

— Но отчего же вы не скажете, дядьку, им всем ваших дум и планов, отчего вы допускаете, чтобы гнусная клевета чернила вас?

— А они, мои лучшие друзья, пришли ли спросить меня о том, что думаю я делать дальше? Нет, они стали

затевать против меня бунты! Ну и пускай! — Богдан гордо выпрямился и произнес, сверкнувши гневно глазами: — Искать у них ласки, расточать оправданья не станет гетман Украйны, а покажет, что не пошатнется в его руке булава!

Ганна молча смотрела на Богдана: таким величественным, таким сильным она еще никогда не видала его.

— Да, Ганно,— продолжал Богдан,— то, что они могут заподозрить меня в измене, я еще мог ожидать, но чтобы ты... ты...

— Нет, дядьку, клянусь вам,— вскрикнула горячо Ганна,— пока это сердце бьется, я не перестану верить в вас!

— Правда, Ганно, Ганнусю! Друже мой единый! — схватил ее Богдан за руки и продолжал, заглядывая ей в глаза: — Ты не ненавидишь, не презираешь меня?

— О гетмане... — произнесла дрогнувшим голосом Ганна,— живите на счастье и на славу Украйны, и всякий благословит вас!

Богдан не выпускал ее рук; еще одно, одно слово хотелось ему сказать Ганне, но он чувствовал, что не может, не имеет права больше говорить.

— Постойте же, дядьку,— прервала молчание Ганна,— я позову Богуна и брата, я расскажу им все.

— Они здесь?

— Здесь... ждут...

— Так нет, стой,— остановил ее Богдан,— я сам пойду к ним навстречу!

И, не дожидаясь ответа Ганны, Богдан быстро направился к дверям.

Когда только Ганна показалась в зале и Богдан бросился к ней навстречу, Выговский поспешил удалиться. Появление Ганны при дворе Богдана произвело на него крайне неприятное впечатление; ему гораздо больше нравилась Елена с ее честолюбивыми помыслами, с ее ненавистью к Москве и презрением к посольству, поэтому явление Ганны крайне испугало Выговского, и он счел за самое благоразумное сообщить об этом вскользь Елене.

Уже с половины разговора Елена стояла за колонной; смысл разговора она не могла понять, но отдельные слова долетали до нее. Когда же Богдан сжал руки Ганны и вскрикнул: «Ганнусенько, так ты не ненавидишь, не

презираешь меня?» — вся кровь бросилась ей в лицо,— опять эта бледная, ненавистная Ганна появляется у ней на дороге; нет, теперь этому надо положить конец! И, вся дрожа от ярости и гнева, Елена выступила вперед.

— Ах, панно Ганно,— раздался ее надменный голос,— хотела бы я знать, что привело вас сюда?

Ганна вздрогнула и подняла голову. Прямо против нее стояла Елена. В своей роскошной французской сукне, залитая золотом и бриллиантами, она была действительно хороша и величественна, как истинная королева, но лицо ее было злобно и холодно, а змеиный взгляд, казалось, впивался в Ганну ядовитою стрелой.

## LXXVI

Ганна побледнела, но, преодолевши свое волнение, твердо ответила Елене:

— Я приехала к дядьку по делу.

— К дядьку,— повторила с презрительною усмешкой Елена,— здесь, панно, больше дядек нет,— здесь есть ясновельможный гетман.

— Хотя бы гетман сделался королем всей Польши, он останется дядьком для меня! — ответила гордо Ганна.

— Ха-ха-ха! Как панна уверена в себе! — разразилась Елена злобным смехом.

Ганна вся вспыхнула; обида, ярость, оскорбленное чувство — все всколыхнулось в ней, но она сдержала себя.

— Простите, пани,— произнесла она с легким поклоном,— я приехала только к дядьку и на ваши вопросы не стану отвечать!

— О да, конечно,— вскрикнула шумно Елена,— ко мне бы панна не приехала! Ведь с тех пор, как я поселилась здесь, и родина, о которой так хлопотала прежде панна, потеряла для нее цену.

Ганна побледнела.

— Неправда,— произнесла она глухим от волнения голосом,— моя болезнь...

— О да, простите, панно,— перебила ее язвительно Елена и, прищуривши глаза, произнесла медленно: — Ведь я забыла, что один мой вид приводит панну в такой ужас, что она падает без сознания.

— Когда бы я и захотела рассказать пани, что при-

вело меня в ужас,— ответила в свою очередь с презрительною усмешкой Ганна,— то пани не поняла бы моих слов.

— Еще бы! Отчизна, вера! Панна увидала, что гетман хочет жениться на католичке, на шляхтянке... и сердце ее сжалось от боли... за бедный народ! Ха-ха-ха! — вскрикнула громко Елена и, вдруг нагнувшись быстро к Ганне, заговорила шипящим, задыхающимся голосом: — Тебя взяла досада за то, что происки твои не удались! Да, да! Не ты ли старалась опутать Богдана твоими ласками, твоею любовью? Ха! Родина, отчизна, вера, девичий стыд, страсть, поклонение... Ты все придумала и вывела на помощь, чтобы заполонить Богдана!

Ганна побледнела как полотно и пошатнулась от страшного оскорбления.

— Пани, лжешь! — произнесла она с гордым негодованием.— Не я, а ты старалась всем, чем было возможно, взволновать его великий дух! Не ты ли старалась разогреть его страсть постыдными ласками? Не ты ли искала его объятий, когда еще покойная жена отходила в тот мир? О, для своей гнусной цели ты ничего не пожалела, все бросила под ноги: и молодость, и красоту, и жар фальшивой страсти, и даже свою девичью честь!

— О...— вспыхнула Елена,— в тебе кричит обида и злоба за твою осмеянную любовь!

— Любовь? Да! — вскрикнула Ганна и продолжала с загоревшимся взором: — Я люблю Богдана. Люблю как спасителя, как героя, как богом посланный нам дар, но не тою жалкою любовью, которая воспламеняет на мгновение нашу кровь, а всею душой и всей своей жизнью, и не ищу у него любовных утех!

— Ха-ха-ха! — разразилась наглым смехом Елена.— У старика найти их трудно, но булава блестит и в старческой руке!

— Обида, пани! — вскрикнула Ганна, забывая от гнева все, но в это время двери в зал распахнулись и в него вошли поспешно Богдан, Золотаренко и Богун. Ганна остановилась, но Богдан уже заметил все. С одного взгляда понял, что произошло здесь.

— Что случилось здесь, Ганно? — произнес он, подходя к ним быстрыми шагами и устремляя на Елену пронизывающий взор.

— Ничего, дядьку, простите... Я еду...— ответила торопливо Ганна.

— Ты оскорбила ее?! — вскрикнул бешено Богдан, хватая Елену за руку.— Что, что ты сказала ей?

Елена гордо закинула голову и произнесла громко:

— Отчета в своих словах я здесь не стану никому давать: я здесь не хлопка,— я гетмана Украйны жена!

— И бывшая войскового писаря полюбовница!—прошипел Богдан, сжимая ее руку, и с силою оттолкнул ее от себя.

Елена слабо вскрикнула и упала бы на пол, если бы ее не поддержал подоспевший в это время Выговский.

— Ясновельможный гетмане,— произнес он торопливо,— окончился ужин... Все ищут гетмана.

— Что? — произнес с трудом Богдан, проводя рукой по лбу.— Ищут гетмана? Так прикажи играть сейчас полонез.— И, обратившись к Елене, он произнес, сдерживая свой гнев: — Ступай, и чтоб никто из гостей не заметил того, что произошло здесь!

Вскоре зал наполнился гостями; музыка грянула с хоров, и пары двинулись плавно по залу. Танцы начинали уже оживляться, когда в зале появился бледный, взволнованный Морозенко; он торопливо прошел по зале и, подойдя к Богдану, произнес:

— Ясновельможный гетмане, от полковника Кречовского лыст.

— Что? Что такое? — вскрикнул Богдан, разрывая с каким-то неприятным предчувствием пакет, и принялся читать письмо.

Все вокруг переглянулись и занемели.

С первых же строк лицо гетмана покрылось багровою краской, рука судорожно скомкала бумагу, не дочитавши письма, он яростно вскрикнул, подымая налитые кровью глаза:

— Так вот какие товарищи-помощники мои, которые со мною вместе стараются спасти Украйну из неволи и сравнять ее с другими государствами! Свою только волю хотят тешить! Бунтуют кругом чернь и нарушают закон! Так нет же! Согнуть Богдана вам не удастся! Казнить его! Смерть ироду!

Бешеный крик гетмана пронесся по всему залу и заставил всех вздрогнуть. Музыка умолкла, танцы оборвались; испуганные шляхтичи побледнели и столпились

беспорядочною кучей посреди зала; козаки и старшина окружили гетмана.

— Кого, кого казнить, дядьку? — бросилась к Богдану Ганна.

— Изменника гетманского Сулиму!

— Сулиму? — вскрикнули в ужасе Ганна, Золотаренко и Богун, а за ними и остальные козаки.

— Да, его! — продолжал горячечно Богдан.— Он собрал против меня двадцать тысяч и присоглашал к измене Кречовского, но верный друг прислал ко мне изменника, отрубивши ему правую руку! Смерть, смерть ему!

— Смерть! — подхватили за гетманом Тетеря и еще несколько других козаков, но Ганна перебила их.

— Нет, гетмане, постой, останови свое решение,— заговорила она горячо, возбужденно.— Сулима молодой, но честный козак, отчаяние могло его подвинуть, но сердце у него...

— Нет, нет! — перебил ее бешено Богдан.— Я не прощу его! Довольно. Со всех сторон я слышу только о бунтах, изменах, повстаньях! Я хлопочу для Украйны, а кругом одна измена, подлость, ложь! Кругом бунты, убийства, зверства. Они хотят снести в своем безумье все: закон, порядок и силу Украйны. Их допустить — в пустыню превратится все. Но нет! Булава в моей руке для того, чтобы карать виновных. Изменнику Сулиме смерть!

— Стой, гетмане, пусть так! — заговорил пламенно Богун, смело выступая из окружившей гетмана толпы.— Кругом бунты, свавольства, зверства, но знаешь ли ты, что вызывает это все? Ты удивляешься, что чернь бунтует; а что делает кругом шляхта, которой ты снова отдал народ? Везде со своими командами набрасываются они на безоружное посполитство, жгут, вешают, сажают на кол. Народ бежит в Москву... Встает кругом гроза. Сулима тоже не устоял, но прости его... он честный сичовик!

— Изменник подлый! — перебил его Богдан.

— И гетману, и Украйне! — подхватил Тетеря.

— Но, гетмане, прости! Ведь он понес уже кару! — произнес Золотаренко.

— Прости, прости Сулиму! — раздались за ним кругом отдельные голоса.

— И наказать лишь тем, что отрубил ему Кречов-

ский руку? Ха-ха-ха! — разразился Богдан бешеным хохотом.— Изменнику это шутка. Смерть за измену!

Кругом раздался глухой ропот.

— Ты, гетмане, так охраняешь мир, подписанный с ляхами, что для него готов жертвовать жизнью наилучших козаков, а над этим миром смеются, издеваются и сейм, и шляхта,— продолжал вне себя Богун.— Известно ли тебе, что делает кругом Ярема? Казнит целые села, сжигает города! А князь Корецкий вешает, на кол сажает, выкалывает глаза, распарывает носы...

Среди собравшихся послышалось шумное движение.

— А спрашивал ли ты панов,— продолжал еще запальчивее Богун,— зачем старый дьявол Потоцкий встал с коронным войском на нашей границе и под видом усмирения хлопов врывается в Украйну с войсками и мстит всем жителям за свой позор? Ты веришь им, а они хотят только усыпить твою волю и налететь на безоружных.

— Стой! — перебил его Богдан и, обратившись к Киселю, произнес гордо и высокомерно: — Пан воевода киевский, я спрашиваю, что значат все эти слова?

Все кругом занемели и обратили свои взоры на воеводу.

И вдруг среди наступившей тишины раздался голос Киселя:

— Я отвечать гетману на этот вопрос не стану: сейчас вот мне передано известие, каким меня оповещает сейм, что мир с козаками нарушен и вся Польша идет на вас войной.

Как дикий порыв ветра, промчался один общий крик по всей зале и умолк. Все замерли.

— Иуды! Псы! — крикнул бешено Богдан, бросаясь вперед.— Повесить их всех до единого!

Шляхтичи одеревенели.

— Мы — комиссары... — попробовал было возразить побелевший от ужаса Кисель, но Богдан перебил его.

— Закатувать на смерть!—зарычал вне себя Богдан.

Два рослых козака подскочили к Киселю и, подхвативши его под руки, вытащили из залы, за ним вывели и остальную шляхту.

В зале наступила мертвая тишина.

— А что, дождался? — спросил глухо Золотаренко.

— Не прикончил ляхов? — вскрикнул злобно Богун.

— Ох, подлая измена! — вырвался из груди Богдана глухой стон и, пошатнувшись, он опустился, словно раненый, на кресло.

— Да, измена! — раздался в это время чей-то грозный и глухой голос.— Ты предрекал изменникам смерть, и вот господь поразил тебя.

Все вздрогнули и оглянулись,— посреди залы стоял отец Иван в черном монашеском облаченье, с серебряным крестом в руках. Глаза его гневно горели из-под широких черных бровей, рука с крестом была поднята словно для проклятия; лицо было страшно, а голос звучал, словно труба ангела, возвещающего о страшном суде.

— Да! — продолжал он грозно среди мертвой тишины.— Теперь за все карайся сам, отступник! Тебя господь призвал для того, чтобы ты спас народ и освободил святую веру, а ты о булаве, о льготах козацких, о своей гордости только думал и кровью и слезами полил весь бедный край! Ну и неси их сам! Не жди ни от кого милосердия! На небеса уже достиг несчастный вопль окривдженого люда! Уже господь отвергнул от тебя святую руку! Все слезы, вся кровь упадут на твою голову, и прахом разлетятся все твои гордые мечты!..

Стоял жаркий июньский день; в застывшем воздухе не слышно было никакого движения; томительный зной погружал в дремоту все: растения, цветы, людей, зверей. С тех пор как Хмельницкий выступил со своими войсками из Чигирина, в замке прекращены были все пиры, балы и приемы; кроме того, смутные и неопределенные известия с театра войны отбивали у оставшейся семьи Богдана охоту к развлечениям. В опустевших залах Чигиринского дворца стояли, опершись на бердыши, расставленные теперь всюду часовые и гайдуки. Кругом было тихо, беззвучно, иногда лишь через открытое окно долетало со двора ржанье коня, или ленивый лай собаки, или окрик козака. Но вот скучная, однообразная тишина нарушилась: издали послышались чьи-то быстрые, тяжелые шаги, и дверь порывисто распахнулась. Дремавшие часовые вздрогнули и оглянулись,— в залу быстро вошел Тимко Хмельницкий. Лицо его было взвол-

нованно и злобно, движения резки, дыханье порывисто и шумно, видно было по всему, что гетманенко с большим трудом удерживает какую-то злобу, душившую его необузданное сердце.

— Где еемосць гетманша? — обратился он отрывисто к стоявшему гайдуку.

— Ее ясновельможность отправилась на соколиную охоту.

— Сама?

— Ее найяснейшую мосць сопровождают итальянец-скарбничий и егеря.

— Давно уехали?

— С утра.

Какой-то неопределенный хриплый звук вырвался из груди Тимка, в темных глазах его вспыхнул зловещий огонь.

— Идите! — произнес он глухо, отрывисто, указывая часовым на двери.— Ждите там моих приказаний! — Часовые молча вышли. В зале стало снова тихо, только гулкий звон порывистых, тяжелых шагов Тимка нарушал ленивую тишину. Теперь, когда последние свидетели удалились, Тимко не считал нужным скрывать свою злобу; какие-то шипящие проклятия вырывались у него ежеминутно, рука его то рвала в остервенении чуприну, то судорожно сжимала рукоять сабли, а на лице вспыхивали багровые пятна. Мысли его не летели, не мчались, а, как волны водопада, сверкали какими-то клокочущими массами, сбивались, пенились и с диким ревом мчались вперед.

— О, змея, змея! — повторял он про себя, сжимая до боли кулаки.— Теперь конец, конец всему! Больше уже ты не обманешь меня! Ха-ха-ха! Как все придумано было тонко: меня женить на молдаванской господарке, услать ненужного свидетеля из дому. Да, да! Уговорить батька двинуться со мною вместе в поход, остаться полновластной владычицей дома вместе с этим подлым волохом скарбовником... Ну-ну, дай срок! Уж я тебя открою, негодяй! А она, гадина! Вырядила нас с батьком на сватання, а тем временем тут со своим волохом устроили чертово весилля, ну, и пировали ж не тыждень, не два! А потом упросили еще батька назначить скарбовничим! А...— захрипел он,— но теперь конец! Я сорву с них личину!

Тимко распахнул дверь и, обратившись к стоявшему гайдуку, произнес отрывисто:

— Вернулись уже?

— Нет.

— Как только вернутся, позвать скарбовничего ко мне!

— Гаразд, ваша ясновельможность! — ответил часовой.

Дверь захлопнулась, и Тимко снова зашагал по зале. Теперь близкое выполнение взлелеянной им мести начинало отчасти сдерживать бурное течение его мыслей. Перед ним встали все пролетевшие события со времени возвращения Елены... ее заигрывания с ним, ее кокетливые ласки, недосказанные слова, нежные поцелуи; и лицо Тимка вспыхнуло при одном воспоминании об этих минутах, чем-то горячим, жгучим обдало его всего, и сердце замерло на мгновенье. О, как незаметно, как ловко она умела раздувать его страсть, какие дивные огоньки вспыхивали в ее глазах, когда он, возмущенный, бешеный, сдавался наконец, опьяняясь неотразимыми чарами ее кокетства! Все она могла из него сделать: она могла заставить его называть черное — белым, грешное — святым, лживое — истинным. Он ненавидел ее, проклинал самого себя, готов был задушить и ее, и себя; но первая ее улыбка, первый влажный блеск ее глаз, первый опьяняющий шепот заставляли его снова терять волю и забывать все... Но вот приехал итальянец... Что-то непонятное случилось с Еленой: она перестала заигрывать с ним, Тимком; она стала задумчива, грустна, сурова. Ревнивый глаз Тимка сразу заметил то, что укрывалось от подавленного заботами Богдана. Как тень, как хищный волк, стал он следить за Еленой. Ничего явного не было у него в руках, но сердце говорило, кричало в груди и наполняло мозг взволнованною горячечною кровью; это жгучее чувство доводило козака до бешенства, до безумия. В порыве исступления он высказал мачехе все свои ревнивые подозрения, он стал преследовать ее грубо, жадно... И вдруг Елена снова изменилась к нему. Опять пошли те же недосказанные слова, те же ласки, только жгучие, безумные, опьяняющие мысль. Тимко убегал от них и снова возвращался к ней истомленный, сожженный ревностью и страстью; и опять начиналась та же мучительная игра. Под влиянием ее

ласк вспышки ревности то падали, то снова подымались в сердце козака неукротимою бурей; были минуты, когда он готов был верить ей, готов был броситься на смерть за нее... «Да, были минуты!.. Ха-ха!» — прервал Тимко злобным хохотом нить своих воспоминаний и сам содрогнулся от его дикого звука. Но теперь уже все понятно ему: своею игрой она хотела закрыть его глаза.

— А, змея, гадина! — вскрикнул он вслух,— и снова бешеная ярость охватила козака, и снова мысли его понеслись бешеным потоком.

Но теперь конец; он написал обо всем батьку, он выследит, накроет их, да это и нетрудно... Она уже потеряла и стыд, и страх; на сутки оставил он замок, и вот она снова со своим маляром, уезжает при всех, позорит отца — гетмана Украйны! О, он отомстит ей теперь за все: и за батька, и за себя! Тимко остановился на мгновение.

И в этот миг дверь отворилась и раздался голос часового:

— От его милости ясновельможного гетмана к пану гетманенку посол.

— Посол? — вскрикнул радостно Тимко.— А пусть идет сюда сейчас.

## LXXVII

Через несколько минут в комнату вошел молодой стройный козак; поклонившись низко Тимку, он подал ему письмо и произнес обычное приветствие, но Тимко не ответил на него. Разорвавши порывисто пакет, он впился в лыст глазами. От этого письма зависело для него все. Письмо было недлинно. Уже выступая с войском из Чигирина, гетман начинал ощущать в своем сердце какие-то смутные подозрения, но грозные надвигавшиеся события отвлекали его внимание от домашних дел, а пламенные ласки Елены усыпляли его ревность. Теперь же сообщение сына об явной измене жены вызвало в душе гетмана ужасный, все разрушающий ураган. Письмо было кратко, но грозно. Прерывистые, неровные строчки его свидетельствовали о страшном волнении руки, писавшей письмо.

— Ну, расскажи, что слышно там, о чем велел передать тебе ясновельможный? — обратился Тимко к послу.

Козак начал излагать происшедшие за это время события, а Тимко снова зашагал по комнате.

Из передаваемых послом известий только беспорядочные обрывки достигали его воспаленного мозга.

— ...Нечай погиб в Немирове... Калиновский напал на сонных и пьяных... Но никто не мог взять его живым. Козаки дрались как львы и унесли своего изрубленного батька умирать в замок, где он и умер. Но зверь Калиновский ворвался в замок и надругался над трупом...

— А Богун?

— Богун, как герой, отстоял з горстью козаков Винницу и обратил в бегство в десять раз сильнейшего врага. Теперь он уже присоединился к гетману-батьку. Войска гетмана усиливаются, но хан до сих пор медлит, не хочет ехать... Слышно, что он сердит на гетмана за то, что султан принудил его выступить на помощь козакам... Говорят о каком-то тайном соглашении его с ляхами... Но гетман уже двинулся к Берестечку, требует провианта, казны.

Все это были важные, оглушающие новости, но Тимко чувствовал, что теперь он не может ничего взвесить и сообразить.

— Хорошо,— перебил он посла,— все будет сделано. Теперь ступай, потребуй себе келех меду да отдохни с дороги.

Не успел посол выйти из залы, как со двора донесся частый звук конского топота. Тимко бросился к окну.

Во двор влетели во весь опор Елена и новый скарбничий. Дикое желание мести мгновенно охватило Тимка.

— Позвать сюда скарбничего! — крикнул он часовому. Через несколько минут вдали послышались легкие, мягкие шаги и в залу вошел скарбничий. В устремленном на себя взоре итальянца Тимко почувствовал даже торжествующую насмешку. Бешеный гнев сжал ему спазмою горло. Он хотел произнести слово — и не мог.

— Что угодно было вашей гетманской мосци? — поклонился изысканно итальянец.

— Ты свободен, работы все покончены,— произнес хрипло, обрывисто Тимко.— Получай деньги и сейчас же оставь наше гетманство.

Лицо итальянца потемнело.

— Я ничего не понимаю... за что такая немилость? Что вызвало такую злобу против меня?

— В военное время чужие люди не нужны... мы получили сведения, что все, происходящее у нас, известно ляхам,— оборвал его грубо Тимко.

— Но я оставлен здесь по желанию самого ясновельможного гетмана! — попробовал еще возразить итальянец, но Тимко перебил его.

— А выедешь по моему приказу! — вскрикнул он бешено.— Слышишь, теперь здесь всем распоряжаюсь я!

В это время в комнату вошла торопливо, задыхаясь от быстрого движения Елена. При одном взгляде на яростное лицо Тимка она сразу поняла, что здесь произошло что-то решительное.

Дикая ненависть вспыхнула в ее глазах.

— Стой! — произнесла она, обращаясь к Тимку.— Объясни мне, что вышло здесь?

— Ясновельможная гетманша,— произнес с легким поклоном итальянец,— его милость приказывает мне покинуть тотчас гетманство.

Елена вспыхнула и сразу же побледнела.

— Что? Что? — вскрикнула она, делая несколько шагов по направлению к Тимку.— Ты смеешь?

— Да, смею, — ответил спокойно Тимко, любуясь с затаенною злобой вспышкой мачехи.— Гетман дал мне безграничное право распоряжаться здесь всем.

— Но я не дала тебе этого права,— загорелась гневом Елена.— Работы не окончены в моих покоях, и я не отпущу его.

— Он выедет сегодня же!

Елена побледнела от гнева, но сдержала себя и, обратившись к итальянцу, произнесла торопливо:

— Оставьте нас... идите...

Итальянец вышел. Несколько секунд в комнате царила глухая тишина. Первая заговорила Елена.

— Что это значит? — подошла она к Тимку.— Ты должен объяснить мне, что значит твой дерзкий поступок? Как смеешь ты выгонять человека?

— Как смеешь ты заступаться за него?

— Это мое дело. Я гетманша здесь и отчета тебе давать не стану,— выпрямилась гордо Елена,— но не позволю тебе разгонять моих слуг.

— Ха! Слуг! — воскликнул яростно Тимко.— А почему ты так бледнеешь и меняешься в лице из-за слуги? Почему ты так испугалась его отъезда? Почему ты дро-

жишь вся теперь, теряешь память? А? Почему? Говори же, говори!

— Потому, что я не позволю позорить благородного рыцаря, которому гетман, муж мой, доверил все свое имущество!

— И даже свою жену? — перебил ее бешено Тимко.

— Тимко! — вскрикнула дико Елена.

— Ха-ха-ха! — разразился Тимко диким, неистовым хохотом.— Все знаю я... Все, все, все!

Елена побледнела от бешенства; еще минута — и она, казалось, готова была бы броситься сама на этого ненавистного ей хлопа и впиться в его горло зубами. О, как ненавистен был он теперь ей с своей грубой ревностью и любовью!

Но... с этим ненавистным козаком надо считаться.

Елена сделала над собою невероятное усилие и отвернулась к окну.

С минуту она стояла неподвижно. Только высоко подымающаяся грудь да вздрагивающие плечи говорили о короткой, но сильной борьбе.

Но вот Елена повернулась. Ни следа гнева не было на ее лице. Глаза глядели нежно, любовно, на губах играла тихая улыбка.

— Тимко, тебя ослепляет напрасная ревность. Ведь я люблю тебя, тебя! — вскрикнула Елена в отчаянье, хватая Тимка за руку, но, казалось, никакие чары уже не могли помочь.

— Ха, любишь меня, любишь для того, чтобы отвести мои очи от маляра-волоха! — И, сжавши ее руку, Тимко приблизил к Елене свое исступленное лицо и прошипел над ее ухом: — Слышишь, я знаю все, все, все!..

— Что знаешь ты? — побледнела Елена.

— То, что ты изменила моему отцу! — выкрикнул одним залпом Тимко и оттолкнул ее от себя.

— Ты лжешь! — произнесла Елена медленно, впиваясь в лицо Тимка полными затаенной злобы глазами.— Ты ответишь за эти слова перед батьком.

— А ты перед мужем! — бросил ей нагло в лицо Тимко.

— Послушай, Тимко, такие слова не бросают на ветер. Ты смел так оскорбить женщину, так слушай же, теперь я, как гетманша, как мать, требую от тебя доказательств, слышишь, доказательств!

— Испугалась, побледнела,— перебил ее с злобною радостью Тимко,— так знай же, что я знаю все и все расскажу отцу! Все твои тайные козни, все твои зрады— все расскажу, все открою! — кричал он уже в исступлении, наступая на Елену; но Елена не потерялась. Из его бешеных, беспорядочных криков она поняла одно, самое важное, что и хотела узнать: доказательств еще не было в руках Тимка.

— А если ты посмеешь от этого отпереться,— кричал вне себя Тимко,— то я поклянусь на евангелии, я присягну всеми святыми, что ты лжешь, лжешь, как собака! Отец меня знает и слову моему поверит.

— Так слушай же, безумец! — приблизилась к нему Елена и произнесла медленным, отчетливым шепотом: — Я клясться не стану, у меня есть чары вернее всех клятв на свете, и посмотрим тогда, кому поверит гетман: дерзкому сыну или молодой, любимой жене!

С этими словами Елена быстро повернулась и вышла из комнаты.

Ошеломленный, задыхающийся от ярости и злобы остановился Тимко посреди комнаты, не будучи в состоянии ничего сообразить. Что говорила она, ничего этого он не мог теперь вспомнить, одно только было ясно ему, что в ее словах было что-то такое, что давало ей смелость. Почему смела она так нагло смеяться над ним? Что давало ей эту уверенность?.. Конечно, то, что у него не было еще доказательств ее измены. А если он отправит сегодня маляра, все будет скрыто. Да, да, в порыве своего бешенства он чуть сам не испортил всего дела. Нет, задержать его, схватить, пытать! Может не сознаться, умереть... Оставить лучше на свободе? И, не сознавая еще, что ему делать, что предпринять, Тимко бросился из залы.

Обширные покои и коридоры Чигиринского замка были пустынны; вечерние сумерки уже сгущались в них; Тимко проходил их, ничего не замечая, вдруг внимание его привлекла чья-то стройная женская фигура, осторожно пробиравшаяся между колонн. Тимко взглянул, и все лицо его осветилось радостью. «Зося!» — чуть не вскрикнул он и, как собака, бросающаяся на птицу, кинулся в одно мгновенье к Зосе и впился в ее плечо с такою силой рукою, что Зося невольно присела к земле.

— Иди за мною, и ни слова, ни звука, слышишь,—

прошипел он, не выпуская ее плеча,— или я сейчас же всуну тебе по рукоятку в сердце этот кинжал.

Увлекаемая Тимком, почти потерявшая от ужаса сознание, Зося не видела и не понимала, куда ее ведут, зачем? Она только заметила, что они опускались вниз, что прошли несколько темных коридоров и вдруг остановились у каких-то железных дверей. Тимко стукнул в дверь, дверь отворилась; он впихнул в нее Зосю, сам вошел за нею, и дверь снова захлопнулась за ними.

Зося подняла глаза, и безумный, дикий крик вырвался из ее груди. В комнате не было окон; в большом очаге пылал огонь, в углу стояла дыба, на стенах кругом висели и просто валялись на полу ужасные орудия пыток; два гигантских, уродливых татарина стояли подле дверей; красные, темные пятна покрывали весь пол. Ужас холоднее ужаса смерти охватил Зосю. Еще более дикий, более ужасный крик вырвался из ее груди; она попробовала было рвануться, но железная рука Тимка впилась в ее шею.

— Говори, все говори, без утайки, что знаешь про волоха,— прохрипел над нею его голос.

В голове у Зоси все помутилось.

— Пустите, пустите, на бога! — закричала она, порываясь броситься к дверям.

— А, так вот ты как! — заревел Тимко.— Гей, хлопцы, железа!

В одно мгновение бросились к огню татары и, вынув из него две раскаленные полосы железа, подошли к Зосе и остановились подле нее с двух сторон. Зосю обдало невыносимым жаром, огненные полосы ослепили ее глаза, она вскрикнула, упала на колени и, опустивши голову, залепетала потерянным, безумным голосом:

— Все, все... спасите... на бога... все...

— Куда шла?

— К нему... к волоху... несла записку, гетманша хотела непременно увидеться с ним сегодня.

— А! Так они видятся?

— Да... каждый день... уже давно... С тех пор, как гетман уехал... в северной башне есть потайной покоик. Из башни два выхода... одним они входят, другой я сторожу.

— Ключ, ключ есть ли у тебя?! — рванул ее за плечо Тимко.

— Есть, есть...— залепетала Зося, указывая на снурок, висевший у нее на шее.

Одним движением сорвал Тимко с Зоси ключ и, обратившись к татарам, приказал отрывисто:

— Прикончить эту тварь и — никому ни слова!

Через четверть часа во дворе Чигиринского замка суетились конюхи — седлали лошадей для гетманенка и его свиты, который должен был выехать по неотложным войсковым потребам в Золотарево на один день.

Уже совсем вечерело, когда оседланных лошадей подвели к крыльцу замка. Двери распахнулись, и на крыльцо вышел Тимко в сопровождении нескольких козаков.

— Послушай,— произнес он громко, обращаясь к кому-то, стоявшему на пороге,— посла не отпускать, я завтра вернусь об эту пору и передам все сведения гетману. Да и волоху скажи, чтоб задержался еще на несколько дней: нам надо проверить всю казну, которая у него на руках...

Тихая ночь. Все заснуло в Чигиринском замке, ни один огонек не мелькнет в высоких, черных окнах; кругом безмолвно тихо, только издали слышен сонный окрик часовых. Темное звездное небо раскинулось над темною землей.

По крутым, высеченным в стене ступенькам пробирается осторожно Елена. В руке ее нет фонаря; она идет ощупью; дорога известна ей хорошо. Но вот она остановилась и тихо стукнула, в ответ раздался такой же тихий шорох; дверь растворилась, и чьи-то сильные руки охватили ее крепко-крепко и почти внесли в небольшую комнату. Эта каменная клетка была чрезвычайно мала. В ней не было окон, небольшая дверь с одной стороны вела в нее, дверь же, сквозь которую вошла Елена, была замаскирована какою-то старинною картиной; каменные, грубой кладки стены были увешаны коврами, половину комнаты занимал широкий оттоманский диван, покрытый шелковыми подушками и коврами, в другой стороне стоял небольшой столик с горевшей на нем масляной светильней, еще две небольшие скамеечки помещались по сторонам. Потолок был сводчат и низок; очевидно,

это таинственное помещение скрывалось где-нибудь в толще огромных замковых стен.

— Ты? Ты уже здесь? — прошептала Елена, обвиваясь руками вокруг шеи итальянца.

Несколько мгновений в комнате не было слышно ничего, кроме горячих поцелуев.

— Елена! Жизнь моя, повелительница моя! — заговорил итальянец, не выпуская ее из своих объятий.— Я послушался тебя, я явился, хотя бы мне пришлось заплатить за это жизнью, но нам надо сейчас же расстаться, не из-за меня, а из-за тебя,— ведь этот зверь, вероятно, следит за нами...

— О нет,— перебила его с улыбкой Елена,— он уехал в Золотарево, я слышала сама, как он отдавал распоряжения... Вернется только завтра к обеду.

— Быть может, это сделано нарочно, чтобы поймать, накрыть нас?

— Будь спокоен, я выпытала его, он еще не знает ничего, он только догадывается. У него нет доказательств, но так продолжаться не может... Ты должен найти способ убрать его с нашей дороги...

— Я твой раб,— ответил итальянец,— прикажи — и исполню...

— А он мечтал о моей любви, дурень! — зло рассмеялась Елена.— Я смеялась, издевалась над ним, но должна была играть с этим животным, а он верил, верил... дурак!

— Бедняжка! — вскрикнул со смехом итальянец.

— Что было делать, иначе бы это животное растерзало нас. Ха-ха-ха! А что бы было с ним, если б он увидел тебя в моих объятьях?

Вдруг дверь порывисто распахнулась, раздался дикий, хриплый крик и на пороге показался Тимко. Лицо его было безумно. Он впился глазами в обнимавшую итальянца Елену и с поднятым в руке кистенем ринулся с диким ревом на них.

Появление Тимка было так неожиданно, лицо его было так свирепо, что ужас неминуемой смерти охватил сразу и скарбничего, и Елену. Инстинктивно схватился он, ища оружия, но Тимко был уже тут... С хриплым криком: «Вот что бы он сделал!» — он одним ударом кистеня повалил итальянца на землю.

— Тимко! Тимко! На бога... что хочешь? Твоя, твоя

навеки! — закричала в отчаянии Елена, стараясь схватить его за руку, но Тимко не понимал ничего.

Раздался второй тяжелый удар; из проломленного черепа хлынула темная масса. Тимко наступил на труп ногою и с безумными, потерявшими мысль глазами, с пеной у рта ринулся на Елену.

— Тимко, Тимко! На бога! — вскрикнула Елена и вдруг встретилась глазами с его взглядом.— Он обезумел! Спасите! — вырвался из ее груди нечеловеческий крик; она бросилась в противоположную сторону комнаты.

Но Тимко, не отвечая ничего, с диким криком кинулся на Елену. С отчаянным воплем ухватилась она за Тимка руками, но он с силою опрокинул ее; к лицу ее приблизилось безумное, исступленное лицо, и две железные руки впились клещами в ее шею.

— Вот что бы он сделал... вот что бы он сделал!..— повторял он хрипло, впиваясь в мягкое, упругое тело.

Раздался сдавленный стон. Тонкие пальцы Елены еще раз судорожно вцепились в руки Тимка... и голова ее запрокинулась, пальцы разжались и руки бессильно упали по сторонам...

## LXXVIII

Уже две недели, как отаборился Богдан своими главными силами под Берестечком [91]; сначала он было перешел через Стырь, а потом снова переправился назад и повернул войска фронтом к реке, упершись тылом в непроходимые болота. Правое крыло его спряталось за темное чернолесье, а левое прикрыли изрытые оврагами возвышенности, на выступе которых и сидело над речкой Стырь местечко; центр занимал широкую равнину. На покатостях того же самого плоскогорья, подальше от Берестечка, в арьергарде гетманских войск, расползлись по холмам саранчою татары; только белый шелковый намет самого хана издали казался среди темных масс серебристою чалмой.

У роскошной гетманской палатки стоит татарская стража. Целые десятки сердюков * лежат за палаткой и пьют чихирь **, мурлыча какую-то монотонную, уны-

* Сердюки — наймана гетьманська охорона.
** Чихір — молоде неперешумоване вино.

лую татарскую песенку. В почтительном отдалении расположилась вокруг дымящегося котелка, сидя и лежа вповалку, группа рейстровиков; за ними возвышаются светлыми конусами еще две палатки, а дальше пестреют уже серыми пятнами по зеленой равнине возы, палатки, курени с копошащимися везде и снующими по всем направлениям массами люда, напоминающими всполошенный муравейник. Не видно конца этого колоссального муравейника; дальние контуры его сливаются с сизою мглой, висящей над всем лагерем какою-то синеватою дымкой. Солнце уже зашло, и в надвигающихся сумерках, словно светлячки, стали выхватываться мутно-красные огоньки костров. Над лагерем стоит то поднимающийся, то падающий гул; но в этом гомоне не слышно оживленных радостных звуков; вообще, вследствие ли ползущего сумрака, или подымающегося из болот тумана, картина лагеря производит какое-то давящее впечатление.

В группе козаков идут отрывистые, ленивые разговоры,— скажет кто-либо слово — и замолкнет; ответит на него или заметит что по поводу сказанного другой — и снова упадет молчание.

Заметно, что козаки удручены какою-то тоской и пали духом.

— А и скука же, братцы, у нас,— заговорил сидевший тут же Лысенко-Вовгура,— на кого ни глянь,— исподлобья всяк смотрит, словно чует, что придется схоронить здесь и славу, и волю! Где же это видано? Стоим в болотах, мокнем напрасно, а ляхи беспрепонно черною хмарой нас облегают.

— А это потому,— горячился стоявший у костра козак,— что гетман наш, кажется, сам в басурманы пошился да и нас хочет всех турку отдать!

— Чтоб нас под басурмана? — загалдели кругом встревоженные козаки, и многие повскакивали на ноги.

— Да никогда не быть этому! Мы за веру святую да за свою землю проливали кровь, а теперь землю отдай снова панам, сам в ярмо полезай, как и прежде, да еще бросай святой крест под ноги поганых!

— Э, коли так,— кричали другие,— так мы иначе: уж как нам ни дорог свой край, а бросим, ей-богу, бросим! Вот в Московском царстве, от Псла и по Дон, много вольной земли,— бери, сколько за день обойдешь или

объедешь, и льготы пресличные, и никто тебе веры не трогает, потому что все православные: и царь, и уряд, и паны, и подпанки! Уж сколько наших перебралось туда!

— Почитай что половина посполыства, — заметил кто-то из дальних.

— Верно, братцы! Туда и рушать, ежели что,— загомонили многие голоса,— главное дело, что там, на новых землях, ни пана, ни жида.

В это время отмахнулась пола гетманского намета и оттуда вышел генеральный есаул Гурский [92], родом из Киева, уполномоченный гетманом чуть ли не властью главнокомандующего; его сопровождал Тетеря.

Козаки притихли и принялись за кулиш, а татары бросились на свои посты.

— Так помни же, если что,— шепнул, нагнавши Гурского, Тетеря, осматриваясь осторожно кругом, — я — твой!

— Спасибо. Кости брошены,— буркнул, не глядя, Гурский и повернул круто направо. Тетеря простоял несколько мгновений в раздумье на месте, но, заметя, что из гетманской палатки стали выходить и другие, быстро удалился в глубь лагеря.

— Что ж это! — говорил без стеснения Кривонос, выходя из палатки.— Перепился он или потерял совсем разум?.. Ему говоришь, что поляки уже с огромными силами за Стырью стоят, а он еще будет ждать, пока переправятся.

— Вы, панове, должны быть снисходительней к нашему гетману,— заступился за него мягким, ироническим голосом пан Выговский.— У него какое-то на душе горе. Как получил он недели две тому назад от сына письмо, так словно тронулся: безумствует, пьет, предается отчаянию, бешенству, по ночам не спит, советуется с колдунами да ведьмами.

— Так пусть и отправляется к ним на Лысую гору!— возмущался Кривонос злобно.— Тут на весах судьба всей Украйны, а он будет с своим горем носиться! Да что наше горе в сравнении с горем всей родной земли?

— Гетманское горе — всем горе,— заметил Выговский.— Как егомосць распорядился было сначала? Ведь по дивному его плану неприятеля бы теперь не существовало! Ведь ясновельможный задумал напасть на

короля с посполитым рушеньем между Сокалем и Берестечком, среди болот и топей, где приходилось ляхам переходить по гатям, растягиваясь в бесконечную линию [93].

— Да я их там с одним моим полком мог локшить, как баранов,— свирепел Кривонос.— И будь я проклят, что не пошел туда своею волей, без гетманского наказа!

— Да, гетман наш пропустил удобное время,— покачал уныло головою Выговский.— А как все было мудро придумано! На беду, вот в этот самый час и приди от Тимка лыст, и точно секирой подсек он его! Гетман запил, а тут еще прибыл под Лабынино хан; гетманская мосць и встретить его не мог; ну, хан и разлютовал,— он и без того на нас зол за то, что султан принудил его порвать с ляхами и выступить в поход за нашего гетмана, а теперь одно к другому.

— И продаст нас этот хан, клянусь бездольем своим, что продаст! — воскликнул горячо Чарнота.— Мои лазутчики хорошо видят, какие у него завелись шашни с ляхами; над нами так и летает зрада, поверьте!

— Про неверу и толковать нечего,— кричал Кривонос,— на то она и есть невера, а вот смотрите, чтоб и этот лях Гурский не завел шашней!

— Что правда, то правда,— заметил язвительно Выговский,— столько своих есть испытанных в доблести и преданных лыцарей, а гетман доверяет...

— Да что же, нам дальше терпеть?! — крикнул Кривонос.— Богдан мне первый приятель, костьми за него лягу везде, а ежели он обеспамятел, так доля родины дороже мне друга! Хотя бы и тут — что он делает? Теперь вот все ворожьи полчища преблагополучно выстроились за Стырью и приготовляют переправу, а мы даже и тут не мешаем им. Гурскому поручено наблюдать! Да пусть Ярема наступит на этот шрам мой ногою, коли я сам со своими соколятами не помчусь сейчас к Стыри!

— Слушай, друже Максиме,— заговорил вкрадчиво писарь,— хоть гетман и хвор, а все же он думкой не спит, и коли не тревожит ляхов, то хочет, верно, приспать их да сонным и поставить пастку, уж недаром, поверь, он послал Богуна!

— Ох, братцы, даром! — раздался неожиданно за спиной собеседников голос; при густом тумане и насу-

нувшейся ночи нельзя было разглядеть новоприбывшего, но голос его сразу узнали.

— Богун, Богун! — крикнули все и бросились приветствовать дорогого товарища.

— Он самый, он самый, друзи,— здоровался со всеми Богун,— только вот не могу порадовать вас доброю вестью. Гетман, знаете, послал было меня, чтоб одурить ляхов,— пустить ложный слух, будто татары нас бросили и мы со страху бежим к Киеву, одним словом, чтобы заставить их погнаться за нами, а я с своим отрядом должен был еще их заманивать. Ну, нашлись у меня такие, что попались ляхам нарочито в плен и под пытками показали, что мне было нужно, и ляхи поверили.

— Поверили? — спросил с живейшим участием Чарнота.

— Поверили; король сейчас отрядил Чарнецкого с пятью хоругвями в погоню,— тысяч двадцать пять, коли не больше,— а сам со своими полками снялся с лагеря. Только вот изменила нам доля: наткнулся Чарнецкий на нас; мы ему отсич дали — и назад; ну, не на такого собаку напали,— понял, дьявол, что заманиваем, и осторожно стал двигаться, рассылая разъезды... Ну, и наткнулся на Тугай-бея с отрядом; увидел Чарнецкий, что татары не отступили, что все, стало быть, показания наши — брехня, и накинулся на Тугая, чтобы пробить себе дорогу назад. Завязалась жаркая схватка; татары подались, мы должны были вступить в битву... И вот от обедней поры до ночи рубились... И добыли славы: только половина лядского войска пробилась назад; но король понял свой промах и двинул все войска на Стырь. Сообщу вам, что Гурский стоит у переправы и не мешает ляхам наводить мосты... Клянусь богом, что ляхи пройдут ночью, а к свету будут у нас на хребте!

— Стонадцать им в глотку рогатых чертей,— вскрикнул Кривонос,— а Гурскому три задрыпанных ведьмы! Идемте сейчас к гетману!

— Панове,— остановил их Выговский,— у гетмана страшно болит голова; пусть он отдохнет, а мы посоветуемся сначала сами вот в моей палатке.

— Пожалуй, это лучше, — согласился Чарнота, — только времени терять нельзя.

— Ни минуты! — подтвердил Богун.

Было уже за полночь. Над лагерем висел непрогляд-

ный мрак. В чуткой тишине слышались только в разных отдаленных местах окрики вартовых, да и те в густом слое налегшего тумана чудились какими-то слабыми стонами. В этой тьме почти ощупью подвигалась стройная, покрытая темным платком, очевидно женская, фигура. В глубокой задумчивости, уверенно и спокойно приближалась она к возам и стала между ними пробираться к палаткам, как вдруг ее остановил оклик, раздавшийся вблизи:

— Ганно! Где ты была?

Фигура вздрогнула, словно очнулась, и стала всматриваться в мутно-черную темень,— в двух шагах от нее колебался расплывчатый силуэт.

— Это ты, Иван? — спросила в свою очередь шедшая.

— Я, Золотаренко... А ты все не спишь по ночам, словно тень стала, от ветру гнешься...

— Эх, брате! Можно ли жалеть себя, коли кругом столько стонов и мук? — ответила Ганна со вздохом,— это была она.— Вот сегодня вечером привезли сотни раненых, многие на дороге и умерли, многие безнадежны, а есть и такие, которым можно дать еще раду...

— Только нужно же, Ганнусю, и свои силы беречь.

— Стоит ли?—глухо промолвила Ганна.—Я отправилась вместе с вами в поход, чтобы принять под свою руку раненых... Ну, да что обо мне! Как вот гетману?

— Слушай, Ганно,— нагнулся к ней Золотаренко и стал говорить шепотом.— С гетманом что-то неладно... Неприятель на носу, татары вероломны; наши пошли к нему вечером, так он почти не захотел говорить и поручил снова центр Гурскому... Теперь вся старшина собирается, чтобы принять меры.

— Брате, что же это? — вздохнула Ганна.— Я пойду сейчас к дядьку, поговорю...

— Да, пойди, пойди, я тебя, признаться, и искал... Скажи ему, что с минуты на минуту можно ждать атаки...

Поспешными шагами направилась Ганна к палатке гетмана.

Навстречу Ганне вышел джура.

— Что гетман? Можно видеть его? — спросила встревоженно Ганна.

— Его ясновельможность только что изволил заснуть,— ответил, уходя, джура.

Пожалела Ганна дядька и решила подождать, дать ему отдохнуть хоть немного, но едва она опустилась на лежавшую невдалеке от гетманской ставки колоду, как раздался внутри палатки встревоженный, болезненный голос Богдана: «Гей, кто там?» — и вслед за сим бледная его фигура с светильней в руках появилась у входа в палатку.

— Гей, гайдуки, сюда! Умерли все вы, что ли? — задыхался от охватившей паники гетман.

— На бога! Дядьку! Что с вами? — отозвалась, подбежав к нему, Ганна.

— Кто? Кто там? — смотрел на нее безумными глазами, словно не узнавая, Богдан.

— Я, я, Ганна.

— Ох, ты, ты!.. Дай мне руку, голубко,— перевел облегченно дыхание гетман и, словно обессиленный, облокотился на ее протянутую руку.— Мне плохо.

— Что с вами, тату? — спросила тихо, участливо Ганна, не замечая, как на длинных ресницах ее набегали медленно слезы.

— С той минуты, как отец Иван призвал на меня гнев господень, душа моя мятется в какой-то смертельной тоске,— заговорил тихо, прерывисто гетман,— пропала моя сила, отлетела надежда, а одно лишь ужасное предчувствие точит, как могильный червяк, мое сердце...

— Тату, забудьте! — заволновалась Ганна.— То слово батюшки вырвалось с досады... Он заступился тогда за простой народ... Кто освободил родной край от ярма, тот благодетель... Отбросьте сомнения, воспряньте!

— Ах, нет сил! — заломил гетман в отчаянии руки...— На меня ропщут все... быть может, клянут и по правде, а я, как никчемная, изгнившая колода, не могу бодро, по-прежнему встать на защиту... То кажется мне, что я уже в Варшаве, привязан к столбу... кругом палачи... гвозди... пилы... крючья... кипящая смола... толпа дико хохочет и ждет моих мучений...

— Это бред, тату; вы просто больны... дали волю думкам,— ну, и гложет тоска...

— О, смертельная! — простонал гетман и потер с силой рукою распахнувшуюся грудь.— А то мне иногда мерещится, будто стою я один на утесе... и в светло-сизой мгле словно плавают далекие края—рубежи; на востоке играет волной Днепр, на западе серебрятся Карпаты,

на севере шумят наднеманские боры, на юге лащится Черное море, а кругом роскошным ковром раскинулся чудный край, отененный гаями, опоясанный светлыми лентами вод, увенчанный садочками.

— Украйна?

— Она!.. Но вся в крови: вместо веселых сел — руины, кладбища, вместо пышных нив — груды костей.

— По знахарку, по знахарку нужно послать,— всполошилась Ганна,— вас сурочили...

— Да, навеки... и это побитое сердце никому уж не дорого и не нужно и...

— Нет, нет! Всем оно нужно, всем дорого!

— Все мне изменило,— простонал мрачно гетман,— и все изменяют... На живую рану кладут огонь... Вон из дому вести...

— Про Елену? — встрепенулась Ганна.— Мне сердце подсказало, что она терзает нашего велетня... Ах, дядьку, батьку наш дорогой! Может ли она ценить вас и любить? Ведь у нее вместо сердца — льдина!

— О, льдина, камень! Но вот пойми: и сам я вижу, что змея, и не могу оторвать от груди моей... Колдовство, чары, отрава какая-то, дьявольский приворот!

— Так, чары, чары; но господь милосерд... Мы все станем молиться, только возьми себя в руки.

— Ох, сколько раз не взять, а поднять на себя руки хотел! Но эта дьявольская волшебница их вязала... Иногда я готов был поднять на нее весь ад, а иногда сам рад был за ее красоту броситься в пекло! Стыд и позор! Козак — и киснет за бабу! Я презираю себя, а вот поди же!

— Окуритесь ладаном святым да освятите над головой воду... Мы все падем ниц,— опустилась она на колени,— только ободритесь, тряхните булавой... страшная настала минута... без нашего велетня все погибнет!

Богдан был глубоко тронут порывом преданности Ганны; он от охватившего его волнения не мог произнести слова и только горячо поцеловал свою дорогую порадницу в голову.

— Нет, еще не угасла ко мне ласка господня,— воскликнул он наконец бодро и пламенно,— если господь мне посылает таких херувимов! Ты мне единственный неизменный и верный друг!

— Батьку наш, гетмане ясный, орел сизокрылый! —

говорила восторженно Ганна.— Расправь свои крылья, ударь на коршунов и сов, пугни их с Украины... Я за тебя и на тебя молилась и буду молиться...

— Какое благодатное тепло согрело вновь мое сердце,— шептал Богдан, сжимая тихо руку Ганны,— какой кроткий луч осветил мою пустыню!.. О, растоптать скорее все прошлое, сбросить с плеч этот камень, сбивавший меня с пути! Прочь пекло, коли рай сияет!

— О господи! Спаси, спаси его! — рыдала уже от волнения Ганна.

Но кто-то приближался... Она встрепенулась, поцеловала горячо гетману руку и, бросив в порыве: «За вас — вся жизнь», — быстро исчезла в клубящейся мгле...

## LXXIX

Не успел оглянуться от неожиданности Богдан, как к нему подошел быстро Выговский; гетман вздрогнул, предчувствуя что-то недоброе.

— Что такое случилось? Скорей! — заторопил он раздраженно своего генерального писаря.— Вновь какая беда? Ты ведь в последнее время только и докладываешь мне про несчастье.

— Я не виноват в том,— начал было с печальным вздохом, покорно склонившись, Выговский, но гетман его перебил:

— Знаю. Я один во всем виноват! На спину другого ведь легче скинуть все тяжести,— раздражался все больше и больше гетман.— Ну, сказывай, что там еще? Разбои, бунты или,— бросил он на Выговского проницательный взгляд,— быть может, измена?

Выговский задрожал и потупился: только что бывший у старшины военный совет похож был отчасти на зраду; но он о том умолчал и, смешавшись, сообщил только, что по всей Украине идут бунты селян против панов, что народ режет не только ляхов, которые снова бежали, а и своих панов — русскую шляхту, что многие из значных козаков принимают в этих бунтах участие.

— Где же они, эти зачинщики? — вспылил гетман.— На пали их! Они мне обратят край весь в руину! Пиши приказ, чтобы немедленно... всех их, изменников и бунтарей... только нет! Стой, стой! — остановил он нервно

Выговского, хотя тот и не думал уходить.— В таких делах нужно советоваться с разумом, а не с сердцем.

— Еще из Стамбула пришел к твоей ясновельможности лыст,— докладывал кротко Выговский.— Блистательный повелитель недоволен на нас за то, что мы пошарпали мультан. Не прослышал ли про это и хан, потому что, кажись, в их таборе что-то неладно.

— Быть не может! — вскочил Богдан.— Это было б ужасно. Но только нет, что-нибудь не так... мне дал бы знать мой щырый и верный друг Тугай-бей.

— Он убит сегодня [94],— сообщил невозмутимо Выговский.

— Убит? О господи! Ты меня, Иване, ударил ножом.

— Богун вернулся из наряду,— продолжал методическим тоном Выговский,— и сообщил это... Они имели горячую схватку с Чарнецким, полокшили его славно, переполовинили ляшские хоругви, а таки не отрезали их и короля не одурили.

— Ах, горе! — со стоном почти упал на колоду гетман и долго молча сидел, закрывши руками лицо.

Утро занималось на небе; густой молочный туман стоял волнующейся стеной; мутный свет ложился безжизненными тонами на измученную фигуру гетмана, осунувшуюся и склонившуюся бессильно под тяжестью непреодолимого горя. Длилось тяжелое молчание.

— Ох, кара господня на мне! — простонал снова гетман и так сжал свои руки, что захрустели пальцы, а потом продолжал печальным, убитым голосом: — Так, теперь все на нас! Травят, как собак, а мы еще воображали себя львами, титанами, велетнями! — улыбнулся он горько.— Думали перевернуть весь свет, создать новые царства... и где же поделась вся наша сила?

— Всему виною соседи да союзники лихие...

— Нет, всему виною прежде всего мы сами, Иване! — поднял голос Богдан.— Не на союзников нужно было полагаться, а на свою лишь силу да на свою правду! А где же наша правда, когда мы в своей хате завели раздоры?

— Не затянул ты, ясновельможный, сразу удил...

— Как? — заволновался гетман.— Кем же и кого мне было нужно крутить? Лейстровиками посполитство или посполитством лейстровиков? Вот тут-то и вышел скрут! Если бы даже ляхи не притиснули нас догово-

ром, то и меж нашею шляхтой пошло бы из-за подсусидков расстройство...

— Конечно, — заметил язвительно писарь, — всякому бы хотелось в паны, а на греблю, на гать было бы некому...

— Не так-то легко это решить, как кажется: все соседние царства имеют рабов, да наш-то народ вольнолюбив; он из-за воли заварил кровавое пиво, так под неволю они ни за что не пойдут. Разве раздавят совсем их, так, что омертвеют навеки... Ох, тяжело это бремя!— вздохнул гетман и задумался.

Ближайший лагерь еще спал, но издали, от реки, доносился какой-то неопределенный шум, словно ропот возрастающего прибоя.

— Да! — очнулся наконец гетман.— Получен ли от его царского величества ответ на мой последний лыст?

— Прислал его царская мосць, и очень милостивый...

— О? То ласка господня! — вздохнул облегченной грудью Богдан.— В ней, в Москве, одно наше спасение!

— В Москве? — отступил, широко раскрывши глаза, Выговский.

— Да, в Москве! — подчеркнул раздражительно гетман.— Нет у нас верных союзников, всяк норовит урвать только себе... Кругом надвинулись на нас черные рати, внутри — разлад, разбой, гвалт и всякое бесправье... Все наши затеи и мечты побледнели и всколыхнулись от ветру, как марево... Нет, Иване, ни счастья, ни покою стране не принесло целое море разлитой нами крови! Вот говоришь ты, что хан не верен... Ну измени он — и все добытые нами права развеются прахом... и снова кайданы, снова кощунства!

— Но ведь и в Московском царстве рабы,— пробовал возразить Выговский.

— Не говори, не противоречь, Иване,— продолжал спокойно гетман,— там нет потачек боярам, а нам дают льготы и в рабы нас не думают обращать. Довольно нам уже чужих... авось с своими уладим. Сейчас же приготовь мне посланцев в Москву, к светлейшему царю; нельзя терять и минуты: всякое промедление—погибель!

— А может быть, попробовать сначала...

— Ни слова! — возвысил грозно голос Богдан.— Исполнить мой приказ беспрекословно! Да послать ко мне Гурского и Золотаренка.

Выговский пожал плечами, бросил презрительный взгляд на Богдана и медленно удалился.

Гетман остался один и погрузился в невеселые думы. Да, теперь всего можно ждать от доли! Не коршуны, но и горлинки станут клевать! А давно ли было,— весь Киев его встречал восторженно с хоругвями, с крестами, народ ползал перед ним на коленях и называл его спасителем отчизны... А теперь он готов проклясть своего батька, и проклянет, проклянет!

— Но что ж я учинил? — воскликнул громко Богдан.

«Что? А то,— казнил себя беспощадно гетман,— что тешил ты больше гордыню свою, чем о меньшей братии заботился,— оттого-то и отступился от тебя бог, а за ним и народ. Да...— простонал он тоскливо,— праведен суд твой, господи, но пусть падет на меня лишь гнев твой святой! Только бы скорее! Ждать с минуты на минуту удара и не ведать, откуда грянет беда,— о, это невыносимо!»

Гетман пригнулся с тоскою, словно увидя занесенный над ним сверкающий меч; но в белесоватой мгле никого не было видно и кругом стояла все еще мертвая тишина. «Что это? — подумал он.— Уж рассвет, а я точно на кладбище... Умерли все или разбежались и бросили своего гетмана одного разделываться с ляхом».

— Гей, кто там? Джура! — крикнул, привставши с колоды, Богдан.

Никто не отозвался; но издали послышался в ответ на призыв гетмана глухой рокот грома. Гетман остолбенел и прислушался. Раскат повторился снова, и от него задрожала под ногами земля.

— Что это? — прошептал гетман в тревоге.— Мгла и гроза! Или необычайное что-то творится в природе, или это гром ворожьих гармат? И все спят! Гей, гайдуки! — вскрикнул он и выстрелил из пистолета.

Все всполошились и засуетились кругом; в тумане замелькали двигающиеся тени; поднялся тревожный гомон и шум.

— Где, где ясновельможный? — послышался невдалеке крик джуры.

— Здесь! Что там? — отозвался Богдан.

— Гонец, ясновельможный, — заговорил молодой хлопец дрожащим, взволнованным голосом,— ляхи пере-

шли Стырь. Ярема ударил всеми силами на наш осередок.

— Коня мне! До зброи! — зычно скомандовал гетман и бросился было бодро к палатке, но в это время раздался быстро приближающийся топот коней и кто-то заревел у палатки:

— Где гетман?

Богдан узнал голос Кривоноса и остолбенел. Из тумана выплыла перед ним грозная фигура.

— Где же это наш батько? — рычал яростно Кривонос с искаженным от бешенства лицом.— Где же это прячется славный, возлюбленный гетман?

— Я здесь, Максиме! — отозвался Богдан.

— А! Здесь?—засмеялся злорадно Максим.— С ведьмами да бабьем? А отчего же не там, где льется задарма христианская кровь? Поспеши-ка туда, взгляни, что поделал твой Гурский-иуда! Продал нас, клятый изменник, продал всех с головой!

— Не может быть! — воскликнул Богдан. — Гурский — мой друг, которого я спас от смерти.

— Да, Гурский... предатель... твой друг! Мы все говорили тебе: не верь, а ты не хотел нас и слушать. Поди ж полюбуйся, как топчет и рвет о копья наших братьев дьявол Ярема!

— О, проклятье! — завопил гетман, разорвавши на груди своей кунтуш. — Измена! Предательство! Да в самом пекле не может быть такого гнусного дела!

— Однако на деле сталось,— заговорил мрачно выдвинувшийся вперед Золотаренко,— при первом натиске Яремы Гурский без выстрела, без удара сабли разделил надвое осередок наших войск и пропустил в сердце врага [95].

— И теперь ломается там наша воля навеки,— свирепел Кривонос,— а вместо нее ждут нас кайданы.

— И я, я убийца родной страны! Я выкопал ей могилу! — бил себя в грудь исступленно Богдан.

Встревоженная, пораженная ужасом толпа собралась тесно вокруг; издали доносились крики отчаяния; шум битвы возрастал и несся на них адской бурей.

— Да, да, ты,— накинулся бешено снова Кривонос,— о себе лишь думал, безумец! А бедный народ отдал за

свои цацки в неволю! Вот и гляди, как души неповинных летят на небеса, проклиная своего вероломного батька!

— За что же гибнут они? Меня, меня карай, боже! — рвал в безумном отчаянии свою чуприну Богдан.— За что ж их караешь? Где ж праведный суд твой? Для того ли терзаешь невинных, чтоб кровь их жгла пекельным огнем мое тело! О, народ, проклятье! Расступись под ногами земля, проглоти меня, изверга!

— Дядьку! — подбежала с воплем в это время бледная, испуганная Ганна.— Воля божья! Он не даст наш народ в обиду...

— Коня мне! — прохрипел, шатаясь, Богдан. Ганна и джура поддержали его под руки, подвели... В это время подскакал гонец и вручил гетману письмо.

— От кого? Что? — недоумевал он и разорвал дрожащею рукой пакет.— От Тимка. О чем? — пробежал он письмо, не будучи в состоянии соображать, и вдруг весь почернел.— Повесил? — возопил он, дико вращая глазами и забывая, где он и что с ним.— Сын на мать руку поднял, сын разбил сердце отцу! [96] О-о! — застонал он так, что все вздрогнули.— Коня мне! В Субботов!

— В Субботов? — заревел Кривонос и обнажил саблю. Но Ганна стояла между дядьком своим и грозным судьею.

— Пронзи сначала мою грудь,— вскрикнула она пламенно,— а потом уже рази того, кто подставлял десятки лет за нас свою голову! Закончи наше святое дело позорной неблагодарностью!

Кривонос опустил саблю; Богдан не видел и не замечал ничего. Вокруг волновалась бурно толпа; доносились отовсюду крики: «Измена, измена! Наших бьют!..» Раздавались уже вблизи вопли раненых: «Спасайтесь!» Но Богдан, пораженный как громом, ничего этого не слыхал.

В это мгновенье подлетел ураганом Богун и крикнул отчаянно:

— Татары повернули назад! Мы погибли!

Богдан выпрямился, словно под ударом гальванического тока, глаза его налились кровью, лицо побагровело, и, выхватив свой меч, он крикнул в безумном экстазе:

— Коня!.. Коли умирать, так вместе, разом. За

мной! — Он вскочил в седло, словно возрожденный приливом новой силы, и ринулся бурей вперед...

Пять дней уже отбивался отчаянно от ляхов осажденный козацкий лагерь. После разгрома под Берестечком войска козачьи успели окопаться, обставиться возами за ночь и не сдались полякам. Наступил шестой день; но поляки только обстреливали с трех сторон лагерь, а атаковать его не решались. От беспрерывного грохота тяжелых польских орудий земля в козацком лагере дрожала. Ядра и картечь беспрерывно осыпали осажденных; только высокие земляные окопы защищали их, но валы во многих местах обвалились и зияли чудовищными пробоинами. Мрачные сумерки сгущались. На большой площади, составлявшей средину обоза, кишели толпы находившихся при войске поселян и козаков. Лица всех были мрачны и злобны, всюду слышались недобрые толки, ропот, проклятия... Некоторые новоприбывшие передавали шепотом какие-то зловещие сообщения. Разговоры велись тихо; временами только из общего гула вырывался взрыв грозных возгласов, свидетельствовавших о возбужденном состоянии толпы.

— Да слышали ли вы, братцы, что ляхам подвезли новые гарматы из Львова?

— Уже вон насыпали они еще большие шанцы, будут нас лупить поодиночке, как мы их под Збаражем! — говорил гигантский мужик с бельмом на глазу окружавшим его поселянам.

— Да, будет нам, пане-брате, добрая погулянка,— заметил злобно стоявший рядом с ним худой поселянин.

— Вот и заработали, и полатались, и выбились из лядской кормыги,— отозвались глухо ближайшие.

— Так, так,— подтвердил третий.— «Кому скрутыться, а кому и змелеться».

— Это уж поверь,— подхватил кто-то из толпы,— старшина и останется старшиной, а нас, поселян, как примутся учить за то, чтобы с козаками не бунтовали, так не останется и шматка на спине дырявой шкуры!

— Да постой, постой, что ты мутишь народ, аспид!— раздался чей-то голос.— Чего каркаешь нам на погибель? Да паны переполошились, что мы не поддаемся им уже шесть дней да еще отбиваемся так, что и Яреме

страху задаем, и еще, может, по домам разойдутся! Эх ты! Не вырезал ли ночью полковник Богун половину немецкой пехоты, не увел ли у ляхов из-под носа пять пушек?[97] А сколько раз мы нападали на их лагерь, сколько пленников захватили, сколько хоругвей опрокинули? Да если бы в четверг не гроза, несдобровать бы польскому войску...

— Толкуй там! Гроза!.. Продал нас Гурский, изменил лях, да и все тут! Ведь на ваших же глазах было дело, панове: поставил его наказным гетман,— с перепою, видно, сам валялся колодой,— ну и поручил все запроданцу, а у него под командой была середина, самые главные силы, против которых стоял Ярема... Ну, бросился этот пес на нас как скаженый, а Гурский, вместо того чтобы ударить на врага либо сжаться в железный кулак да и подставить его Яреме, вдруг разделил войска на две части и пропустил Ярему между них прямо в сердце. Ну, татары как увидели это, так и пустились наутек, загалдевши: «Зрада, зрада!..» Так вот тебе и гроза!

— Да, это так! Старшина продала! Через нее мы терпим! — загомонели уже многие.

— А разве она нас не продавала и прежде? Заключили для себя добрый под Зборовом мир, а нас-то повернула ляхам в неволю, как быдло!

— Так, так, верно! — отозвались сочувственно сотни голосов, и на шум их новые сотни повалили на площадь.

— Да и теперь нас старшина не спасет... Что там Богун и Чарнота, да и вся чертова старшина! «Не поможе,— говорят,— бабе и кадыло, колы бабу сказыло!» Куда нам бороться с ляхами, когда их триста тысяч без слуг, а нас с татарами было сто шестьдесят тысяч, не больше, а теперь, когда татары дмухнули,— сколько осталось?[98]

— Да и чего держаться, на кой черт? — кричали в одном конце.— Когда б была надежда!

— Верно, верно! — загалдели кругом.— А куда делся наш гетман? Вот уже шестой день как его нет в лагере! Старшина дурит нас, что он поехал упрашивать хана и снова вернется назад!

— Лгут они нам, иродовы сыны, все! Увидал гетман, что вскочил в яму, и бросился навтекача, а писарь Выговский тоже за ним поехал да и там же, у хана, пропал!

— Они нас продали, верное слово, продали ляхам, а теперь оставляют! — кричали одни.

— Так что же делать? Спасаться?.. Бежать из лагеря?

— Сдаться на милость панов! — вопили другие.

— Послать к королю посольство! — раздались кругом отчаянные вопли. Толпа заколыхалась и зашумела.

— Да стойте, блазни, чего кричите? — перебил всех чей-то голос.— Ведь полковник Джеджелей, которого Богдан поставил за себя, послал уже посольство к панам.

— Знаем, какого мира запросит старшина; они себя выгородят, а нас отдадут на поталу.

— Так что же делать? Что делать? Как спастись? — раздались вдруг со всех сторон испуганные вопли.

— Черная рада! Черная рада!! [99] — слились все вопли в один чудовищный крик.

Не дожидаясь довбышей, толпа кинулась к котлам. Вскоре в лагере к грохоту пальбы присоединились и частые, тревожные удары медных котлов. Со всех сторон хлынули на площадь черные массы поспольства и козаков...

Через полчаса вся площадь уже кишела народом. Испуганные, растерянные новоприбывшие обращались с вопросами к окружающим:

— Что случилось?

— Кто звонил на раду?

— Старшина нас покинула! Хмельницкий злодей, изменник! Погубил нас! Он нарочно запропастил войско! Он подружил с басурманином и сам ушел с ним, а нас оставил на зарез! — кричала кругом разъяренная толпа. К этим диким возгласам присоединились и вопли прибывающих женщин. Протяжные, прерывающиеся удары котлов звучали все чаще и чаще...

## LXXX

Сумерки сгущались; под этим серым, суровым небом вся площадь, залитая народом, казалась черным бушующим морем. Вдруг звон затих; на мгновенье все голоса замерли, и среди наступившей тишины раздался хриплый голос какого-то козака, влезшего на бочку:

— Панове товарыство, черная рада! Собрались все

мы по примеру наших отцов, потому что нам угрожает крайняя гибель! Старшина нас бросает, так надо самим подумать, что делать дальше...

— Бросает, бросает! Это верно! — раздались в разных местах одинокие злобные возгласы и вихрем закружились над сбегавшимися толпами.

— Долой старшину! Будь проклят Хмельницкий! Гайда домой! — слились крики в какой-то рев и понеслись ураганом по сплоченным рядам, обезумевшим от отчаянья; этот массовый крик долетел и до польского лагеря. Схватился спросонья какой-то пушкарь и, не разобравши, в чем дело, приложил фитиль к затравке орудия; грянул выстрел, поднял на ноги польский лагерь и отрезвил несколько черную раду.

— Что же вы притихли, рваные дурни? — гаркнул подошедший Кривонос.— Небось, оторопели и при одной гармате, а вот как загавкают все, так и станете за старшину ховаться... Что ж вы себе в порожнюю башку взяли, что без старшины ляхи вас помилуют?.. Ха-ха! Да самая лядащая баба на свете — и та такой дури не выдумает! Половину вас ляхи на колья посадят, а половину в плуги запрягут!

— Нет! Кривонос не зрадник! Кривонос наш! — отозвались сконфуженно многие.

Поднявшийся снова гомон то возрастал, то падал перекатным рокотом, словно отдаленные раскаты грома перед грозой.

— Да что вы слушаете старшину? — рычал уже осипшим голосом стоявший на бочке козак.— Это зрадники!

— Ах ты иуда! — гаркнул Кривонос, обнажая саблю.— Я тебе вырву из глотки язык! Какая это старшина зрадила?

— Лящинский, Борец, Лысенко!

Над толпой пронесся зловещий гул и сменился грозным молчанием.

— Ха! — возразил запальчиво Кривонос.— Передатчиков то ласкают и награждают, а Лысенка, как вам известно, велел Ярема разорвать между досок... Так как же это?

— Что толковать! Есть старшина и верная! Есть лыцарство славное,— раздались то сям, то там робкие замечания.

— Чарнота! Золотаренко! Кривонос! Богун! — поддержали отдельные голоса.

— Богун! Богун! Лыцарь наш славный! Где он? Ведите Богуна!

— Что там Богун и Чарнота! На черта нам старшина? Разве мы можем защищаться и сидеть в этой клетке? Нас перебьют здесь, как курчат, а упорных на колья рассадят!

— Правда, правда! — снова загомонела, загалдела, заревела толпа...

— Зрада! Вязать старшину! Смерть зраднику Хмелю! — раздался уже грозный взрыв и охватил безумным бешенством всю толпу. Она готова была уже подчиниться той стихийной силе, которая неудержимо и безрассудно сливала каждую отдельную волю в исступленный порыв... Еще мгновение — и толпа, казалось, готова была броситься на своих лыцарей и запятнать себя позором братоубийства.

Но раздались вдруг тревожные крики в одном углу:

— Стойте, стойте! Глядите!

Все невольно стали всматриваться в темную мглу.

— Что? Старшина? Вязать старшину! — рявкнули на это несколько пьяных голосов.

— Да не орите! — затыкали им глотки соседи.— Процессия идет! Батюшка с крестом!

Вид креста и священника в полном облачении, окруженного хоругвями, подействовал на толпу; бурные крики стали мало-помалу стихать.

Сквозь сплошные массы народа торопливо пробирались отец Иван, в полном облачении, окруженный хоругвями, а за ним вся старшина, к которой присоединились и Ганна с Варькой. Несмотря на свою ярость, толпа невольно расступилась перед ними. Крики слегка утихли, только из дальних рядов еще долетали злобные возгласы.

— Панове товарыство! Во имя бога! Во имя этого креста, братья, выслушайте меня! — закричал громовым голосом отец Иван, подымая высоко над головою крест и выступая вперед. Волнение слегка утихло и перешло в глухое рычание.

— Вас мутят ляшские шпиги и распространяют ложную тревогу для того, чтобы затеять среди нас бунт, а тогда нагрянут со всех сторон супостаты и не дадут вам

пощады! Не слушайте их! Слушайте тех, которые пекутся о вашем спасенье. Вам говорят, что гетман сбежал. Брехня! Гетман отправился уговорить хана, просить подмоги! Он вернется и выручит нас!

Но пламенные слова отца Ивана не подействовали на озверевшую массу.

— Молчи, попе, твое дело не на поле, а в церкви! — раздались отовсюду грубые крики.— Не мы подняли смуту, а гетман изменник! Вера—верой, а шкура—шкурой!

— Стойте, братья панове, на бога! Дайте слово сказать! — вскрикнула громким, звенящим голосом Ганна, выступая вперед; но на ее слова посыпался отовсюду град злобных насмешек:

— Что это? Баба подымает голос? Долой бабу с рады. Здесь не ярмарок, не шинок!

Но эти крики не остановили Ганну.

— Вы кричите: «Долой бабу с рады»? Никто не имеет права выгнать нас с рады! Да! Когда мы пришли сюда с вами положить свою жизнь за святое дело, так смеем и раду держать! — продолжала возбужденным голосом Ганна.— Наша жонота вместе с вами дралась и вместе умирала на поле... Вон она, Варька, была ватажным у загона, и сам Кривонос ее всем ставил в пример... А здесь разве не подбирали мы под градом пуль и стрел раненых, разве щадили свою жизнь? Мы отдали все наши силы вам на послугу, так за это еще гнать нас с черной рады? Стыдитесь, козаки и поспольство!

— Говори, говори, Ганно! — уже загомонили сочувственно многие, и бурное волнение несколько стихло.

— Меня вы назвали бабой, но я и все, которые здесь в таборе, согласны умереть до единой, а веры своей за шкуру не продадим! Идите к панам, мы сами останемся в лагере, а козацкой славы не посрамим ни за что!

— Останемся! — раздались женские голоса.

Горячие слова Ганны, ее вдохновенное, экзальтированное лицо слегка осадили толпу. По рядам пробежал глухой ропот, но злобные крики утихли. А Ганна продолжала еще возбужденнее:

— За вас гетман поднял снова войну, а вы же его обвиняете в измене! Изменник! Предатель! Да, может быть, тот, который тысячу раз подставлял за вас под пули свое изнуренное сердце,— теперь в плену у татар,

или на пытках у ляхов, или уже стоит перед божьим судом и отдает ему отчет в своих житейских делах!..

Невольное смущение охватило толпу при виде взволнованной, возмущенной девушки, которую знал и любил всякий козак.

Богун воспользовался минутным затишьем.

— А что, панове козаки и селяне! — заговорил он, выступая перед старшиной.— В дивчыне, не окуренной войсковым дымом, оказалось больше завзятья, чем у вас! Мне, запорожскому козаку, за вас стыдно! Паны уже трусят, войска их разбегаются, мы победим панов, но только вы не мешайте этому, да! В своей темной ярости вы даже забываете о собственном спасении. Вспомните, до чего довели слепой страх и безладье ляхов под Корсунем, Пилявцами и Зборовом? То же будет и с вами! Старшина предает вас? Есть, правда, и среди нее такие змии, которым и жить бы не треба, но мы, разве мы покидаем вас? Не с вами ли вместе мы, как простые козаки, бросались на вылазки, не с вами ли вместе мы крошили ляхов? Кто может упрекнуть нас в измене?

— Правда! Правда! Богун не зрадник, да и Кривонос, и Чарнота! — раздались кругом крики пробужденной толпы.

— Выбрать нового гетмана, да такого, чтоб не продал нас ляхам!

— Богун, Богун! Атаман! — раздались сразу во всех концах крики.

— Богун! — заревела, как один человек, вся толпа, и шапки полетели вверх.

Несколько мгновений крики не унимались. Богун порывался говорить, но голос его терялся в исступленном реве толпы. Наконец крики слегка умолкли.

— Честное товарыство, шановная черная рада,— заговорил Богун, кланяясь на все четыре стороны,— спасибо вам за честь и за ласку, но гетманом вашим я не буду и никто из нас не примет этой чести, пока батько наш, освободитель наш жив, а временным наказным... Но, шановная рада, есть у нас постарше и позаслуженнее меня.

— Не ко времени, друже Иване, соблюдать теперь звычай,— отозвался Кривонос,— все мы тебя просим быть наказным!

— Богун — гетман! Богун — гетман! Слава! — снова

раздался общий оглушительный крик, и шапки зачернели тучами в ночной мгле.

— Коли такая воля громады, так должен я ей кориться,— поклонился Богун на все стороны,— только с тем условием прийму я булаву наказного: чтобы меня слушали все, как один.

— Згода! Згода! — прокатилось громом.

— Если будет покорность, я обещаю вам спасти вас всех!

— Слава! Слава гетману! — раздался восторженный крик и покрыл слова Богуна.

— Ну, так слушать же беспрекословно мой наказ! — обратился ко всем повелительным голосом Богун, надевая шапку.

Вся толпа обнажила свои головы.

— А все по своим местам, быть готовым! Старшину я приглашаю на раду к себе.

Толпа разошлась молча, покорно, в полном порядке. Отец Иван только осенял проходящих крестом.

Через час в палатке Богуна собралась вся старшина на последнюю решительную раду. Здесь сошлись: Богун, Чарнота, Золотаренко, Кривонос, Дженджелей, Тетеря, отец Иван и другие; Ганна была тоже приведена братом. Лица всех старшин были мрачны и сосредоточенны. Кривонос сидел грозный, скрестивши свои руки на сабле и опершись на них подбородком. Глаза его глядели из-под косматых бровей куда-то вдаль, на суровом лице лежал отпечаток глубокой душевной муки. Ганна тоже молчала, но темные глаза ее горели непобедимым воодушевлением и энергией.

Все молчали; но вот Богун окинул собрание орлиным взглядом и начал свою речь:

— Панове товарыство, славная старшина! Не на веселую раду собрались мы теперь, но и не на сумную. Эх, когда бы мы сами были, без этого поспольства, еще бы посмотрели, кто ушел бы отсюда победителем! Ляхи уже трусят: они подозревают, что мы недаром отсиживаемся, а приготовили им западню! Я пустил чутку, что Хмельницкий с ханом уже возвращаются и ударят на них с двух сторон. И вот сегодня уже панские хоругви зашевелились... Многие уйдут восвояси, домой... Эх, кабы теперь их пугнул кто в затылок хоть с жменей удальцов,— лишь бы пугнул, а мы бы отсюда жарнули,

да будь я собачий сын, коли б не тряхнули так ляшков-панов, что стало бы жарко самому Яреме! Если бы послать кого на литовскую границу за Кречовским,— продолжал Богун,— а то собрать хоть зграю охочекомонных... И все бы это можно, да вот смущает меня это поспольство,— много при нем всякой жоноты, даже с грудными детьми. Не привыкли они к бранным потехам, не окурились добре порохом, а потому и страшатся все через меру, да, кроме того, эту толпу может всякий сбить с толку, как неразумную дытыну. Вот разошлись они видимо спокойно и дали слово кориться, а я уверен, что лихие люди их разбили теперь на кучки и торочат, что лучше все-таки выдать старшину панам-ляхам,— они-де за это пощадят их жен и детей.

— Проклятье! — зарычал Кривонос, стукнувши с силой саблей о землю.— Они погубили Гуню, они погубят и нас, и всю Украйну! Пусть будет проклят тот день, когда мы их приняли в свой лагерь!

— Стой, друже,— прервал его Богун.— Итак, панове товарыство, согласны вы со мной, что оставаться здесь в таборе вместе с этой беспокойной толпой безумно?

Все молчали.

— Значит, нельзя. Теперь еще,— обратился Богун к Дженджелею,—что твоему посольству ответил король?

— Что? Да песий гетман Потоцкий не допустил его и на яснейшие очи!.. Он и прежнее посольство прогнал и кричал, что о Зборовских пунктах не может быть и речи, что мы только должны молить их о своей жизни и своих шкурах — не больше, что должны беспрекословно и прежде всего положить все оружие, сдать все пушки, обязаться выдать гарматы со всей Украйны и ждать, как рабы, ласки.

— Каты, аспиды, изверги! — скрежетал зубами Кривонос.

— Да кто же согласится на такой позор?.. Умереть— и баста! — промолвил совершенно спокойно Чарнота.

— И умрем! — послышался отклик старшины, словно эхо.

— А сегодня, — продолжал Дженджелей, — так он хотел всех послов посадить на пали и кричал, что не выпустит из лагеря ни единой живой души, что нашим падлом будет кормить своих гончих собак, что у бунтарей прав нет, что все украинцы — презренные рабы пан-

ства и что теперь почувствуют наши дети, какие у панов канчуки.

— Не дождутся, ироды! — ударил Кривонос перначом по столу так, что доска его расщепилась.

— Стой, батьку Максиме, успокойся трохы! — улыбнулся на этот порыв Богун.— Значит, очевидно, что и ляхи нас добровольно из этой пастки не выпустят... Так надо, стало быть, нам самим вывести и войско, и толпу.

— Как? Куда вывести? С трех сторон оточили ляхи! — раздалось сразу несколько голосов.

— А четвертая?

— Болото!

— Хе! Для козака скатертью дорога! — прищелкнул языком молодцевато Богун.— Мы проложим плотины...

— Чем? Как?

— А вот выслушайте меня, друзи, и если все будет исполнено так, как я задумал, то я ручаюсь вам, что мы спасем все войско и истребим ляхов! — заговорил Богун.— Плотины мы намостим; все, что есть у нас,— кунтуши, сукна, мешки, кереи, ратища, полудрабки,— все пойдет в дело... Только надо мостить так, чтобы не узнал никто из посполъства, иначе пропадет все. Для этого мы выберем самых верных козаков, а чернь займется на целый день какой-нибудь работой. Ночью выведем все войско. А меж возов везде натычем на шестах густо ряды шапок и керей, чтобы сдалось ляхам, что это козаки за ними чатуют, да оставим еще один полк отважнейших козаков, чтобы слегка заигрывал с ляхами и пулями, и картечью. Когда же выведем все войско, переведем помалу и посполъство,— ляхи не будут знать ничего. Мы дождемся ночи, зайдем в тыл и тогда с криками: «Слава Богдану, слава гетману!» — бросимся на ляхов.

— А я останусь здесь со своими завзятцами,— вспыхнул восторгом Чарнота,— и отсюда на них ударю!

Одобрительные восклицания посыпались отовсюду. Собрание оживилось. Лица всех загорелись надеждой, воодушевлением, верой. Даже Тетеря принял в общей радости самое искреннее участие, хотя в глубине души замышлял что-то недоброе.

— Богуне, брате, и я останусь здесь с Чарнотой,— подошла к Богуну Ганна.

— Нет, Ганно, ты выйдешь вместе с нами и забе-

решь раненых,— ответил ей Богун, смотря с восторгом на ее воодушевленное мужественное лицо.— Нам нужны теперь преданные и отважные люди,— нам нужно отыскать гетмана, выкупить его, если он в плену, нужно поднять кругом весь народ.

— Прав, брате,— ответила Ганна,— ты указываешь нам выход, и мы все должны костьми лечь, где укажешь,— каждая минута несет нам спасение или погибель!

Настал день, туманный, темный; целый день копало поспольство, не отдыхая, под надзором Чарноты новые высокие валы. Козаки отстреливались слабо и лениво. Какие-то фигуры на возах с обмотанными тряпками колесами подвозили беспрерывно к болоту горы шелковых жупанов, мешков с хлебом, сена, лишнего оружия, побитых частей возов и всего, что только было возможно; все это снималось с возов и осторожно, без шума погружалось в воду. Другие рубили лозу, делали из нее фашины; и к вечеру три зыбкие плотины были уже готовы.

Темная сырая ночь покрыла весь лагерь козацкий тяжелым покровом. Утомленная чернь, которой Чарнота велел поднести за тяжелую работу по стакану водки, заснула мертвым сном. Все тихо, неподвижно, мертво. Только за табором, у болота, идет какое-то безмолвное движение. Словно ночные призраки, тянутся без перерыва через болото ряды колеблющихся темных фигур. Обмотанные в тряпки лошадиные копыта издают слабый, глухой звук. Кругом ни слова, ни крика...

Утомленное поспольство проснулось поздно и стало лениво подниматься. Заволакивавший окрестности туман скрадывал время. Был день святых Петра и Павла*. Расставивши аналой, отец Иван с оставшимся в лагере духовенством начал служить торжественную обедню, а Чарнота между тем распорядился, чтобы по случаю торжественного дня выкатили черни несколько бочек горилки да готовили всем праздничный обед. Вскоре по всему лагерю затрещали веселыми огоньками костры, задымились котлы, полные жирного мяса, распространяя вокруг себя аппетитный аромат. Все было спокойно. Рассевшиеся у костров крестьяне начали мирно разговляться. Чарнота и отец Иван не уходили с площади.

* 29 червня ст. ст.

Тайный посол сообщил им, что уже больше половины войска перебралось на тот берег и Лянцкоронский отступил, оставалось только вывести эту беспокойную чернь.

Вдруг на площадь вбежал, задыхаясь от усталости, молодой хлопец и крикнул ужасным голосом:

— Гей, хлопцы, спасайтесь кто может, старшина нас обманула,— уже войска в лагере нет!

Как порыв ветра над снежной равниной, промчался от одного конца майдана до другого какой-то дикий вопль,— и в одно мгновение все было опрокинуто.

Словно бессмысленное стадо баранов, все валились к болоту, опрокидывая все на пути. Дикие, потрясающие вопли «Зрада! Зрада!» оглашали воздух. Но вот толпа достигла болота, и глазам ее представилась следующая картина: по трем плотинам двигались непрерывной цепью войска; большинство их уже стояло, выстроившись, по ту сторону, остальные спокойно дожидали своей очереди. В минуту все изменилось: холмы, берега — все зачернело от хлынувшей со всех сторон толпы. Она сбила всех с ног, произвела страшный хаос и бросилась на плотины.

Закипела глухая борьба во всех пунктах. Козаки удерживали, отталкивали поспольство, но масса брала верх. С каждой минутой ее прибывало все больше и больше. Слабые, зыбкие плотины погружались в воду. Видно было, что еще один-другой напор — и они потонут; но толпа уже не могла этого понимать: стихийная сила безумствовала. Вот одна плотина уже провалилась, сотни людей с громкими криками полетели в воду. В ужасе остановились набегающие новые массы, но не могли выдержать напора задних рядов и тоже полетели в воду. Как волны водопада, толпа неслась, набегала и с диким ревом падала в воду. Через несколько минут все должно было погибнуть. Богун, Кривонос, Золотаренко и другие заметили это с противоположной стороны болота; въехавши по шею лошадям в воду, они кричали, обращаясь к поспольству:

— Товарищи, братья, друзи! Во имя бога, не губите всей справы! Бог видит, что мы не думали бросать вас...

Но крики старшин не действовали на обеспамятевшую толпу.

В это время среди разъяренной массы появился отец Иван. Лицо его было грозно, ветер развевал черные

волосы, седоватую бороду и полы его длинных черных одежд. На бледном лице его глаза горели мрачным огнем, широкие прямые брови были сдвинуты.

— Остановитесь! Именем господа всевышнего, говорю вам! — закричал он непостижимо резким и громким голосом, остановясь перед толпою и подымая крест над своею головой.— За этот крест святой я молю вас,— неужели же вы хотите, чтобы он снова достался на поруганье ляхам? Идемте за мной! Я с крестом пойду впереди.

Но никто не двигался. Появление отца Ивана сперва огорошило толпу, но в это время к общему реву толпы примешались и вопли новоприбывших:

— Ляхи выступают из лагеря, ляхи бросились на табор!

Один безумный вопль вырвался из груди всех, и все ринулось стремглав в воду.

Но отец Иван, поднявши крест, вздумал заградить этой катящейся лавине дорогу.

— Назад! — крикнул он потрясающим голосом. — Вечная мука тому, кто не схочет защитить святой крест! Проклятье тому, кто не послушает голоса божьего!

На священника налетел как раз шляхтич Крапивинский,— в лагерь козачий вместе с целыми селами попала и мелкая польская шляхта, по-видимому отрекшаяся от польщизны, и теперь-то она улепетывала прежде всех.

— Набок попа! — крикнул Крапивинский, наскакивая грудью на священника.

— Остановись, безумец! — поднял отец Иван к глазам его крест.

— А! Преч! — рассвирепел шляхтич и ударил кинжалом священника в грудь... Пошатнулся пастырь, побледнел и рухнулся с крестом святым на землю, под ноги набегавших стремительно масс.

А поляки долго не решались атаковать неприятельский лагерь; заметя в нем крайнее смятение и поднявшийся шум, они даже встревожились, не прибыл ли туда Хмельницкий; только прибежавшие пленные, брошенные в общей панике, только они наконец уверили поляков, что хлопский лагерь пуст, что все бежит и тонет в болоте...

С радостным криком и смелой отвагой бросилось тогда пышное рыцарство на оставленный лагерь и при-

нялось с жадностью грабить все, что попадалось под руки; казна Хмельницкого была расхватана вельможною шляхтой, а пушки, оружие, боевые припасы и два знамени доставлены были королю.

Напрасно молили, падая на колени, сбившиеся у реки и болота безоружные массы, напрасно вопили селяне: «Ой, простите, панове! Ой, сгляньтесь, на бога!» Их крошили саблями и хладнокровно поднимали на пики гусары, не пропуская ни единого. Не видя спасения и обезумев от ужаса, все поселяне стали сами бросаться в реку и болото, чтобы избежать хоть мучительной смерти.

Чарнота сначала употреблял все усилия, чтобы ободрить обеспамятевшее посполъство, сплотиться и дать отпор врагу,— но, видя, что всеми овладела безнадежная паника, собрал горсть храбрецов, среди которых очутилась и Варька, и засел с ними на острове.

Покончив со всеми в лагере, принялись рыцари и за эти засевшие три сотни. Но добыть их оказалось не легко, и много пролилось благородной шляхетской крови за эту потеху: каждый выстрел из лоз нес осаждающим верную смерть. Берег скоро усеялся трупами; поплыли дорогие жупаны вниз по реке, а другие заколыхались на зыби мутной, кровавой воды.

Рассвирепели рыцари, велели подкатить пушки и стали картечью осыпать остров: груды чугуна взрывали песок, трощили вербы, разметывали лозу и разрывали в куски бившиеся отвагой и любовью к своей отчизне сердца... Падали без стонов защитники, а остальные стояли с той же улыбкой бесстрашия, с тем же негаснувшим гневом в глазах.

Приехал даже король взглянуть на это любопытное зрелище и, возбужденный восторгом, стал предлагать оставшейся горсти живых жизнь, требуя лишь одного: чтобы сдались; но козаки отвергли с презрением королевскую ласку, а их предводитель Чарнота еще крикнул зычно через реку:

— Скажите вашему королю, что смерть козаку милее подневольной ласки!

Двинули вброд против этих безумцев немецкую пехоту; но и ей не легко было одолеть исступленных,— за каждую душу козачью пришлось заплатить семью-восемью немецкими душами. Наконец остался один только

Чарнота; израненный, обрызганный кровью, он стоял с длинным копьем в руке и с ятаганом в зубах.

Король, пораженный таким беспримерным бесстрашием, приказал не убивать этого дикого удальца, а даровать ему свободу... Но Чарнота вскрикнул:

— Будь ты проклят! Я гнушаюсь этой свободой, за которую заплатили смертью мои друзья,—умру как козак!

С этими словами он пронзил себя ятаганом [100].

## LXXXI

Страшная весть разнеслась по Украйне — гибель козаков под Берестечком. Все, что могло двигаться, бросало свои пепелища и пряталось в лесах или стремилось на юг — к Киеву, к Запорожью, чтобы примкнуть к собиравшимся ватагам, а то еще и на вольные соседние московские степи. Но не вопли и стоны, а проклятия раздавались в покидаемых хатах, перемешанные с клятвами вечной мести. Вся западная Волынь затянулась пеленой дыма, так что и в ясный день небо казалось светло-коричневым, а солнце на нем светило матовым, желтым пятном; леса были полны гари и таили в своих трущобах множество беглецов; последние в большинстве случаев не достигали пределов благословенной Подолии и Киевщины, а гибли от голода, заражая воздух своими трупами.

В те времена не было еще организации продовольственной части, а войска кормила занимаемая ими страна; Потоцкий в близорукой ярости начинал войну с хлопами тем, что выжигал все окрестности и тем подрезывал себе в корне источники продовольствия; оттого-то уже и под Берестечком не хватило провианта для скопившейся там массы войска. Вследствие этого пришлось выбирать окольный путь к Киеву, через Подолию, чтобы выйти скорее из этой мертвой пустыни. Радзивилл, стоявший на литовской границе, подвигался к Киеву для соединения с Потоцким тоже очень медленно, имея перед собою Небабу и Ждановича с сильными отрядами. Таким образом, гроза надвигалась на гетманщину тихо и давала возможность принять кое-какие меры.

Потеряв под Берестечком до десяти тысяч, кроме двадцати пяти тысяч вырезанных поляками безоружных селян, козачьи войска, переправившись через гати, спе-

шили теперь к Киеву; пехота в этом бегстве таяла от голода и изнурения, оставляя бойцов своих по лесам, болотам и оврагам, а конница вся с старшиной благополучно достигла местечка Паволочи и здесь отаборилась. Укрепив на скорую руку местечко, Кривонос, Морозенко, Богун и Золотаренко бросились летучими отрядами по Украйне поднимать всюду народ, формировать новые загоны, добывать оружие и запасы.

Ганна из Паволочи поспешила в Субботов к семье Богдана, куда она переселилась после катастрофы в Чигирине. В Субботове она узнала, что Елена была позорнейше повешена вместе с итальянцем на воротах замковой брамы, выходящей на торговую площадь.

Злоба дня поглощала Ганну всю целиком, а события шли с такой головокружительной быстротой, что не давали опомниться. Все окрестные селения взялись за оружие, а субботовский хутор стал во главе их. Оксана, переселившаяся с Катрей и Оленой тоже в Субботов, собрала свой женский отряд, и ее, как приобретшую уже известность в ратном деле, выбрала жонота своим ватажком. Предводительница была чрезвычайно счастлива и предложенной ей честью, и известием, что ее коханый, обрученный уже жених Олекса, вырвался из-под Берестечка живым.

В это время неожиданно прискакал в Субботов Выговский и объявил, что гетман жив, находится у хана в Ямполе в почетном плену [101]; это известие обрадовало страшно всю семью и поселян. Тимко на другой же день отправился вместе с Выговским выкупать батька, а Ганна полетела к брату в Золотарево, так как дошел до нее тревожный слух, будто огромная часть козаков вооружена страшно против гетмана и желает передать его булаву другому лицу, которого выберет рада, а рада должна будто бы скоро собраться на Масловом Броде. Ганна не застала брата в Золотареве и поехала к нему в Паволочь, куда собирались и другие старшины.

Был пасмурный вечер; целый день висел над Паволочью мокрый туман, а к ночи заморосил мелкий частый дождь; но, несмотря на непогоду, улицы местечка и площадь против замка были полны народа; в толпившихся кучках козаков и селян велась оживленная беседа о

последних событиях; главною темою разговоров было то, что Радзивилл наступает на Небабу, а тот подается к Чернигову, и что Потоцкий с Яремой застряли в Межиборье вследствие какой-то страшной немочи, насланной на войско богом. В иной кучке сообщались отрадные известия о сформировании новых козацких боевых сил, особенно о неутомимой деятельности наказного Богуна, который уже составил в Прилуках сильное ополчение, укрепил Белую Церковь, Трилисы и Фастов [102]. В другой кучке толковали о прибывшем сюда из Белой Церкви московском важном после, привезшем какие-то милости. При этом пересказывались вести и от поселившихся уже на московских землях людей, что житье там тихое да привольное: никто-де не притесняет, не грабит, а католиков, басурманов да жидов и в заводе нет.

К замку двигались козачьи фигуры, между которыми проехали на изнуренных конях какие-то два всадника, а в большой светлице шла уже рада; были на ней, между прочим, Кривонос, Джендзжелей, Гладкий, Пушкаренко, Морозенко и Золотаренко. Ганна, пришедшая с братом, осталась в другой горенке.

Рада пришла к убеждению, что рисковать последними войсками безумно; было решено немедленно отрядить посольство к Потоцкому [103] с такой от полковничьей рады супликой:

«Поляки! Заключим искренний братский мир; вы можете победить нас выгодными условиями, но силой — никогда,— знайте! И если вы теперь нас переможете, то козаки будут непреклоннее в своей мести, чем в борьбе за свободу».

Относительно же мероприятий все стали на том, что подкрепления с Запорожья и все ближайшие загоны должны соединиться у Маслова Брода [104], куда соберется и черная рада; Богун же свои ополчения должен стянуть к Белой Церкви, а Фастов займет Кривонос. Относительно черной рады все были в тревоге,— она могла собраться в страшной массе, так как почти все восстали, и прийти к какому-нибудь безумному решению. Главное — не было лица, которое бы своим неотразимым влиянием могло образумить буйную, неразумную чернь. Богдана авторитет пал, другого, равного ему, нет! Когда некоторые указали на Кривоноса, то он даже обиделся.

— Положить голову в битве,— сказал он,— я могу; рубиться с врагами на саблях — я мог во всякое время; мстить панам — буду до смерти, а в лютости разве Ярема меня переспорит, но чтобы я осмелился головой и в ратном деле, и во всех красных справах равняться с Богданом,— так это еще я не сдурел... Если, не дай бог, гетман убит, то все мы пропали!

— Гетман жив и вскоре тут будет! — поразил Золотаренко всех неожиданным сообщением.

— Жив? Как? Что? — посыпались со всех сторон вопросы, и полковники окружили с живой радостью дорогого товарища.

— Он был у хана в плену,— отвечал на расспросы Золотаренко,— вероломный невера захватил нашего гетмана, когда он бросился останавливать бегущих татар... а мы его еще обвиняем! Виноват ли он, что союзник, на которого мы все уповали, оказался изменником, запроданцем польским!

В это время раздался в соседней комнате крик Ганны: «Дядько!»

Все остолбенели... Никто не знал, откуда взялся женский голос в хате и какого «дядька» он приветствовал; один только Золотаренко бросился с вспыхнувшей в глазах радостью к дверям; но на пороге стоял уже сам гетман... Внезапное, бесшумное появление его в светлице в сумрачный час ночи произвело на всех жуткое впечатление, к тому же лицо у гетмана было бесконечно печально...

— Что же вы, паны полковники, не витаете своего гетмана, проклятого народом? Или и вы уже отреклись? — произнес, окидывая всех пытливым взглядом, Богдан.

— Богдане! Друже мой! — крикнул Кривонос и бросился первый обнимать гетмана.

За Кривоносом заговорили сразу и другие.

Богдан был растроган такой встречей, обнимал каждого и взволнованным голосом повторял:

— Божья воля, друзья мои, божья воля! Коли я винен в чем, так простите...

— А что же сталось с моим славным войском? — спросил он у старшины, устало опускаясь в кресло.

— Богун через проложенные гати вывел большую

часть войска, — ответил Кривонос, — а остальное все погибло.

— И гарматы?

— И гарматы.

— И святые хоругви, и клейноды войсковые?

— Все, все пропало!

Страшный стон вырвался из груди гетмана; он сжал кулаки и долго молчал, устремив глаза в одну точку.

Поникнув головами, стояли полковники перед своим гетманом, пораженные его безмерной скорбью.

Вдруг гетман порывисто встал и выпрямился; глаза его сверкнули мрачным огнем, на лице вспыхнул румянец.

— Нет,— вскрикнул он, ударив рукою о стол,— не все пропало, не все погибло, и за этот позор я заплачу вам, паны, сторицей! Я в гнезда ваши теперь пущу гадюк, я отравлю ваших слуг зрадой, я подниму на вас ваших собратьев ляхов, униженных вами до быдла, и богом клянусь, что не будет у вас пристанища в вашей земле и свою отчизну назовете вы адом! О, теперь месть, без примиренья, без пощады! Я сначала думал действовать сверху: усыпить короля, укоротить бесправье панов и освободить от панской неволи — сначала, конечно, свой родной люд, а потом и люд польский; но коли сверху меня сбила измена, так мы двинем снизу!

Кривонос вдруг выхватил порывисто из ножен саблю и протянул ее к гетману рукояткой.

— На, пробей ею эту подлую грудь,— воскликнул он взволнованно-страстно,— она могла усомниться в тебе, а ты... ты все для нас, все!

— Что ты, Максиме, голубе! — отстранил гетман рукою эфес.

— Батьку! Ты оживил нас... из гроба возвел! — загомонили все восторженно.— Одно твое слово — и будто не было лиха!

— Панове,— возвысил голос Богдан,— здесь в Паволочи много полков?

— Да полка три,— ответил Пушкаренко,— только неполные, переполовиненные... есть часть чигиринцев.

— Все равно, я хочу их видеть; пусть ударят тревогу.

Через несколько минут забили тревогу котлы, и встревоженные козаки стали сбегаться к двум фонарям, прикрепленным к высоким жердям у брамы.

Появились на крыльце несколько пылающих факелов и осветили кровавым мигающим светом стоявшего уже там гетмана; за ним виднелась в почтительном расстоянии и старшина.

— Здоровы будьте, орлята мои, славные лыцари, козаки-запорожцы! — приветствовал бодрым и сильным голосом собравшиеся войска гетман, поклонившись на три стороны.

Толпа вздрогнула, и все головы обнажились.

— Гетман! Батько наш! Он, он, братцы родные! — раздались в разных местах радостные возгласы и вместе слились в один общий могучий крик: — Ясновельможному батьку слава! Век долгий!

И долго этот общий крик не умолкал, а перекатывался с одного конца до другого и разносился перекатами по всему местечку.

— Спасибо, детки, за ласку! — после долгой паузы начал взволнованный гетман.— Гнусная зрада лишила нас, друзи, победы — не славы: славы нашей, стародавней, козацкой, никто у нас не отнимет, и поглядите еще, как она заблестит и загремит на весь свет. Хан, вероломный пес, захватил меня в плен и бежал с поля битвы,— его купили ляхи! Эх, если б не так склалося, погибли бы под Берестечком не мы, а пышное панство: стоило только сомкнуться и взять в тиски прорвавшегося Ярему... Но господь послал испытание, не следует роптать!.. Про меня идут недобрые речи, и встает в народе вражда...

— Рты разорвем, кто пикнет! — пронеслося по рядам глухим рокотом.

— Что ж, братцы, люди что волны — куда гонит их ветер, туда они и бегут,— продолжал гетман,— да и правды они не знали, а слушали лишь брехню... А правду я вам вот какую скажу: сидел ваш гетман в плену у невер, да не сидел даром! Разослал я оттуда по всей земле универсалы к бедным собратьям ляхам, таким же подневольным у панства, как было и наше посполь-ство [105]. Когда я поднял против угнетателей-магнатов свой меч, то положил в душе и дал клятву перед богом освободить не только народ свой родной от польской кормиги, но и народ польский... Меня упрекают за Зборов, что я забыл в договоре посполььство... Клянусь, не забыл, а вынужден был подкупленным ханом не упоминать о нем только до поры, до времени... Теперь отклик-

нулись на мой призыв и честные люди из шляхетства — Напирский, Лентовский, Симон Бзовский — и заварили моим солодом пиво: взяли Черстын, Новый Торг и формируют везде загоны; подступят скоро и к Кракову... Потоцкий с Яремой идут разорять наш край, а как долетит до них весть, что творится в самом сердце Польши, в пышных маентках, так разлетятся рыцари пышные во все стороны, как листья в осеннюю бурю. А мы тут поднимем всех поселян и пожжем все, чего защитить не сможем... Тогда пусть по пустыне и гуляют Радзивилл и Потоцкий... Да они сами уйдут от этого пекла! Союзников-басурманов нам больше не нужно,— справимся и сами с польскими супостатами, а уж коли искать нам союзников, так своего брата, русской веры христианина, который приложится с нами к одному кресту... Придет час, и басурманам за зраду отплатим с лихвой! Так встанем же теперь, друзья, все, как один,— и запорожский козак, и лейстровой, и крамарь, и причетник, и простолюдин,— отдадим все добро свое на великую и последнюю борьбу за нашу волю, за наше право и за нашу греко-русскую веру!!

— Век долгий гетману! Костьми за тебя ляжем! — грянул единодушный крик на крыльце, где стоял гетман, на замковом дворище и на площади. Все заволновалось, закипело новой бодростью и энергией; раздались везде виватные выстрелы, все местечко проснулось и примкнуло к общему радостному воодушевлению, все обнимали друг друга, и непроглядная, черная ночь казалась всем сверкающим радостным утром.

Растроганный, но с обновленной энергией возвратился Богдан в светлицу. Горячо, искренно, по-товарищески обнимали полковники своего гетмана. Ганна не помнила себя от радости, щеки ее были влажны от слез, а глаза сияли бесконечным восторгом и счастьем; она ничего не нашлась сказать своему дядьку, но в порыве бросилась, обвила его шею руками и поцеловала при всех, да мало того, что поцеловала, но даже и не засоромилась — до того были приподняты ее нервы... А Богдан тоже ничего не сказал, а только крепко прижал эту чудную девушку к своей груди.

Когда старшина, получив распоряжения, хотела уже было распроститься с гетманом, в светлицу вошел Выговский и доложил, поздоровавшись со всеми, что при-

был посол от его царской милости московского царя [106] и что, кроме того, получена новая, свежая новость: князь Иеремия Вишневецкий внезапно заболел черною немочью и скончался [107].

Последнее известие потрясло всех, но вместе с тем и взволновало неукротимою радостью; один только Кривонос с страшным бешеным стоном повалился на лаву.

— Новая милость к нам неба! — воскликнул Богдан.— Наимудрейший из полководцев ворожьих, наидоблестнейший лыцарь, наиопаснейший враг наш и ненавистник пал! Возвести, Иване, эту радостную весть всем войскам, а московского посла пригласи ко мне.

Гетман налил было кубок, чтобы провозгласить новую здравицу, но, заметив отчаяние Максима, понял его неутешное горе.

— Не ропщи на бога, Максиме,— положил он тихо и ласково на его плечо руку,— ты хотел своего суда над нашим общим врагом, а отмщение принадлежит богу, и он, всеправедный, только может воздать за всех... Осиротил тебя, правда, Ярема, раздавил твое сердце ногою, но он пустил десятки тысяч таких же сирот, как ты, он наглумился также над святой нашей верой... Так неужели ты хотел сам его только судить? Нет, кара господня тяжелее кары людской и нелицеприятный суд божий страшнее суда людского, а перед ним уже стоит теперь враг наш.

— Ох, правда твоя, Богдане,— прошептал Кривонос, приподнимая голову,— но для чего мне теперь жить?

— Как, неужели ты жил лишь из-за своей мести? — воскликнул Богдан.— А горе целой страны тебя не терзало?

— Так, друже, ты прав! — стиснул Кривонос руку Богдана и вышел поспешно из замка, отказавшись даже от кубка.

Доложили о приходе посла. Старшина простилась с своим гетманом. Богдан оставил Золотаренка с Ганной подождать, пока окончится его аудиенция.

Вошел в светлицу московский посланник подьячий Григорий Богданов, вручил гетману царскую грамоту. В грамоте царь хвалил гетмана за изъявленное им желание поступить под высокую государеву руку.

Существенной помощи пока не обещалось, было

сообщено дьяком еще одно утешение: что польских послов государь отпустил «не с их охотою».

Богдан был тронут царской милостью и, поцеловав со слезами царскую грамоту, произнес торжественно:

— Я скоро отправлю послов просить великого государя принять всю Украйну под свою руку!

— И зело великое добро сделаешь своему народу! — одобрил, погладив бороду и покивав головою, Богданов.

— Да, содею добро,— сказал вдохновенно гетман,— но не только своему, а всему народу русскому содею великое дело! Ведь пойми ты, вельможный посол, что это за ширь да за мощь создалась бы, коли б весь наш русский народ со своими плодовитыми землями, со своим богатством да соединился с московским народом? Какое бы это вышло царство, а? Да кто бы тогда смел против нас что затеять?.. И раскинулось бы русское царство от Карпат до Урала и от Белого моря до Черного...

— Я все расскажу государю, я надоумлю всех, доложу обо всем, как следует быть, думе,— говорил посол.

— Только пусть в Москве недолго думают,— подливал гетман в кубок посла мед,— время дорого, каждая минута может изменить все.

По уходе посла гетман позвал Золотаренка и Ганну к себе. Взяв Ганну за руку, он обратился к ее брату с такими словами:

— Завтра, Иване, я венчаюсь с сестрой твоей, Ганной [108].

Ганна только прильнула головой к груди гетмана, а Золотаренко, смахнув набежавшую слезу, горячо обнял обоих...

## LXXXII

Собралась черная рада на Масловом Броде [109] и приняла с энтузиазмом предложение Богдана; накипевшая на него злоба сразу растаяла при пылких речах гетмана, и он снова стал кумиром толпы. По всей Украйне загорелась лихорадочная деятельность, и через месяц под Белой Церковью стоял уже грозный козачий лагерь. Но не так ждал Хмельницкий подхода новых сил и загонов, как ждал он вестей из Москвы, а вести все не приходили... Наконец он получил частное известие, что царь и

дума благоволят к его предложению, но что порвать мирный договор с поляками все-таки еще не решаются, а принять-де под свою руку Украйну — значит объявить Польше войну.

А тут еще, как на грех, посыпались снова на голову гетмана беды — одна за другой. Задуманное им восстание польских хлопов не удалось. Проведав про него, бросились паны и магнаты всеми силами на зачинщиков, разбили наголову их, слабых еще, и захватили всех вожаков. Суд над ними был скор: Напирский угодил на кол, Лентовского и Чепца четвертовали [110]. Литовский гетман Радзивилл двинулся решительно к Киеву, разбил Небабу под Репинцами, отбросил Ждановича и остановился вскоре у Золотых ворот...[111] Киевляне изъявили ему покорность и отворили ворота, но Радзивилл, вошедши в город и обезоружив мещан, изменил своему обещанию — он коварно заподозрил русских в измене, начал всех грабить, казнить и производить со всеми своими войсками всякого рода неистовства и кощунства; жители были доведены до такой крайности этими насилиями, что сами стали жечь свои дома, свои скарбы, чтобы не досталось ничего в руки врагов. Первые подали сигнал к такому поголовному истреблению братчики Крамаря и Балыки, которые зажгли свои усадьбы и сами бросились в бушующий огонь. Киев запылал так, что Радзивиллу нельзя было усидеть в этом море пламени, и он поспешил на соединение с Потоцким.

Соединенные польско-литовские силы подступили к Белой Церкви [112], но уже и у гетмана Хмельницкого было там собрано до восьмидесяти тысяч войска,— ожидая из Москвы помощи, он сам не дремал, и каждая новая беда не только не ослабляла его энергии, а еще, казалось, удваивала его бодрость. Потоцкий не решался вступить в решительную битву с врагом, а Богдан, чтобы затянуть время, стал засыпать его и более знатных панов хитрыми письмами, полными и самооправданий, и жалоб на несправедливости, и просьб о мире, уверяя клятвенно всех, что если утвердят вновь Зборовские статьи, то дружба будет навеки! Эти статьи возмущали и бесили панов, но наступающая осень их страшно пугала. Потоцкий выслал послов, которые пригласили гетмана для переговоров в раскинутый на нейтральной почве шатер. Послы были крайне уступчивы, всё обещали и старались

подпоить Хмельницкого да и поднесть ему в конце кубок яду, но честный, прямой и не способный ни на какое коварство пан ротмистр опрокинул каким-то неловким, будто пьяным, движением поднесенный кубок и шепнул гетману, чтобы тот поторопился уехать в свой лагерь. Эта неудавшаяся предательская попытка заставила гетмана быть осторожнее.

Ганна, не покидавшая теперь обожаемого супруга даже на поле битвы, настояла, чтобы польские комиссары прибыли для переговоров в Белоцерковский замок. Покобенились немного паны, но после двух неудачных стычек должны были отправить комиссаров с Киселем во главе в Белую Церковь. Козаки и селяне были так возмущены против этих послов, что нужно было для охраны их выслать чуть ли не полк чигиринцев; но возмущенные толпы окружили все-таки замок и начали добывать его приступом; только находчивость и личная храбрость Хмельницкого остановили буйство мятежных. Послы, в изорванных одеждах, полуизбитые, возвратились в свой лагерь; обнаружившаяся ярость рассвиреневшей толпы не только не помешала заключению мира, но даже ускорила его. Конечно, о Зборовских пунктах не могло быть и речи [113]; но обе стороны сознавали, что этот договор был только временным перемирием: поляки боялись остаться зимовать среди такого озверевшего населения, а Богдан желал их выпроводить поскорее из пределов родной страны, чтобы приготовиться за зиму к серьезной борьбе.

Гетман даже, чтобы успокоить население относительно Белоцерковского трактата, разослал везде универсалы, чтобы никто не бросал оружия, а чтобы всяк был наготове защищать страну от врагов.

Из Белой Церкви Богдан отправился в Субботов, желая отдохнуть и провести там зиму. В Субботове все было по-старому, словно над ним и не пролетала гроза. Ганна возобновила будынок и погоревшие постройки в том виде, в каком они были до разгрома: ей лично дорога была прежняя обстановка, с которой срослось ее сердце неразрывными нитями...

Тихий, чарующий душу покой, которым пользовался Богдан дома, нарушен был приездом Морозенка и Сыча. Привезли они много приятных известий о повсеместном увеличении боевых сил, но привезли они еще боль-

ше шумной радости и личного счастья. Так как через два дня были заговены, то Богдан упросил отца Михаила, посещавшего почти ежедневно дом гетмана, перевенчать на другой день натерпевшуюся лиха, но и бесконечно счастливую пару. Свадьба отпразднована была тихо, без буйного веселья, так как в тот день тихо скончался дед, перекрестивши молодых дрожащею, обессиленною рукой. Все были тронуты кончиной дорогого деда, но всякий желал дожить каждому до такого конца.

Одного Тимка только не было в это время в Субботове: Богдан дал ему много поручений во все концы Украйны, которые могли его задержать там до весны... Все это мог сделать и другой кто-нибудь из его верных полковников, но Богдану тяжело было видеть своего сына... Впрочем, об его судьбе он заботился и снова завел переговоры с Лупулом относительно его дочери Роксаны.

Ганна одобряла этот брак, думая, что посредством его можно было приобрести без пролития крови верного союзника и политическую опору; но она приходила в ужас, если для достижения этой цели нужно было идти новой войной и губить свой народ. На возражения Выговского Ганна отвечала, что не только простой народ, но и козаки так изведены вконец этими безустанными бойнями, что теперь уже не с прежним энтузиазмом спешат защищать свои пепелища, а скорее норовят уйти из этого пекла на привольные и тихие места, под власть московского царя; там как грибы росли города и местечки: Сумы, Лебедин, Ахтырка, Белоконье, Харьков [114].

Это обстоятельство навело Богдана на новую, оригинальную мысль: просить царя, чтобы его милостью дозволено было переселиться всем козакам на его слободские земли [115]. Как ни отговаривал его от этого генеральный писарь, гетман настоял на своем и послал в Москву козака Искру с такой верноподданической просьбой, переменив только по настоянию Выговского место переселения, указав его возле Путивля по литовской границе; но московский царь усмотрел в этом опасность и отклонил просьбу гетмана, похвалив лишь его за добрые чувства и пообещав способствовать примирению его с польским правительством. Такая неудача страшно огорчила гетмана и сразу прервала его короткий отдых, его минутный душевный покой. С болью сердца думал

Богдан, что на Москву нельзя было положиться, и вот он решился послать в последний раз послов в Константинополь, и в Бахчисарай, и к Ракочи — просить у них протектората, порешив раз навсегда, что с польскими магнатами ладу не будет вовеки. Теперь сватовство Тимка на Лупуловой дочке стало для него просто вопросом жизни и смерти, а потому он и налег на него со всею своей неистощимой энергией.

Подходила весна. Польские паны стали настоятельно требовать возвращения им населенных маетностей, строгого исполнения Белоцерковского трактата, уменьшения козачьего войска до двадцати тысяч, да не только требовать, а и являться в Украйну с вооруженными отрядами для водворения своих прав. Начались снова кровавые расправы с обеих сторон. Что было гетману делать? Или вступить неприготовленному, без союзников, в новую отчаянную борьбу, или выиграть каким-либо путем время и уладить свои дела. Богдану удалось последнее: он свалил все вины на ослушание козаков и потребовал назначить сообща смешанную комиссию для суда над виновными, а сам, окружив себя для безопасности особой гвардией из татар, послал на уклончивый ответ Лупула грозное послание такого содержания: «Сосватай, господарь, дщерь свою с сыном моим Тимофеем — и тоби добре буде, а не выдашь — затру, замну и останку твоего не останется, вихрем прах твой по воздуси размечу».

Лупул струсил, изъявил Богдану согласие и пригласил сватов, а претендентам на руку его дочери, молодому Потоцкому и польному гетману Калиновскому, написал жалобу на Хмельницкого и молил их о защите.

Между тем Богдан отрядил с двадцатью тысячами козаков Тимка да присоединил к нему еще орду Нуредина, тысяч в пятнадцать, и отправил этих сватов в Молдавию к Лупулу, а сам с тридцатью тысячами двинулся за ними для наблюдений и охраны в тылу. Польный гетман Калиновский с Собеским и Петром Потоцким вышли наперерез Тимку к урочищу Батогу. Когда козаки с татарами подошли близко, в польском лагере произошло обычное разногласие: Калиновский хотел вступать в битву, Потоцкий хотел отступать. Спор окончился бунтом, и Калиновский велел стрелять в своих... Поднялось страшное смятение... Козаки и татары вос-

пользовались этим моментом, налетели с двух сторон и уничтожили всех почти поляков. Козаки мстили за берестечское поражение и отплатили панам тою же монетой; только десяток-другой пленных, не больше, достались в руки татар,— остальные были перебиты.

После этой битвы Тимко отправился со своими сватами в Яссы к Лупулу, где и была отпразднована с несказанной роскошью и великолепием его свадьба с красавицей Роксаной. Хмельницкий же с татарами двинулся к Каменцу добывать эту крепость, а к царю московскому снова послал с челобитной [116], что коли он не соизволяет принять козаков под свою высокую руку, то пусть хоть подействует на Польшу и заставит ее утвердить Зборовский договор, потому что на другой договор козаки скорее умрут поголовно, а не пойдут.

Собрался в 1652 году в Варшаве сейм [117], но он отнесся к явным враждебным действиям Богдана гораздо мягче, чем можно было ожидать. Причина тому была полная неохота панства поднимать рухавку, подвергаться снова убыткам, разорению и неизбежному риску жизнью. Кроме того, пугала всех свирепствовавшая тогда в южной Польше и смежной Украйне моровая язва, которая отогнала скоро и Хмельницкого от стен Каменца. Сейм разошелся, назначив лишь генеральным обозным вместо убитого Калиновского полковника Чарнецкого [118] — талантливого полководца, но жестокого, мстительного и неукротимо свирепого.

Поздно уже, при заморозках, возвратился Богдан домой, а татары еще раньше убежали от моровой язвы в свои улусы. Возвращаясь назад, гетман видел ясно, что народ был до того изнурен и истощен этой непосильною борьбой, что уже относился к новым усилиям гетмана отстоять Зборовский договор с полной апатией. Нужно было предпринимать решительные меры, чтоб не довести народ до последнего отчаянья. В Субботове гетман застал своего сына с молодою женой; и время, и оказанная в битвах доблесть Тимка, и его брак с маестатной особой, сливавшей род Хмельницких с коронованной кровью,— примирили гетмана с сыном, и он окружил молодую чету царской пышностью.

Настал 1653 год, самый ужасный для истерзанной и разоренной страны. Ведя переговоры со своими соседями относительно протекторатов и союзов, гетман в

начале этого года лелеял в тайниках души еще надежду на возможную самостоятельность Украйны при слитии ее с Молдавией, а потом и Валахией; но уже с ранней весны начали гаснуть его надежды, а вместо них стало надвигаться на душу мрачное отчаянье. Одна только Ганна могла своим кротким и бесконечно любящим сердцем утишить хоть немного серьезные терзания гетмана, могшие закончиться самоубийством... А причин к тому было много: его поражали несчастия за несчастием. На Лупула напали соседи — Ракочи и господарь валахский, вознамерившийся отнять у него Молдавию; нужно было, вместо желанной помощи от своего тестя, посылать к нему с помощью своего сына и отымать от своей страны в критическую минуту значительное число войск. Чарнецкий, пользуясь ослаблением гетманских боевых сил, ворвался в Подолию и с неописанной яростью начал предавать все мечу и огню; один Богун бессмертным геройством под Монастырищем сумел не только защитить его с ничтожнейшей горстью удальцов, но даже обратить в бегство многочисленного врага. Это поражение несколько отрезвило бешеное неистовство дикого разрушителя, и он бросился на юг вымещать досаду свою на обезоруженных селянах. Но скоро события отозвали его к Жванцу,— там стоял, соединившись с Ракочи, король укрепленным лагерем, направлявший силы в Украйну, чтобы истребить дотла ненавистных ему козаков.

Тимко между тем бился в Молдавии как лыцарь, с переменным счастьем, но, окруженный подавляющими силами, должен был запереться в Сучаве. Хмельницкий с сильным войском двинулся на выручку сына. Узнав в дороге, что Тимко убит при вылазке, оказав чудеса храбрости, гетман разорвал на себе кунтуш от горя и зарыдал. Эти слезы велетня потрясли всех, а наиболее Ганну; но она не могла ничем утешить беспросветную скорбь своего боготворимого мужа. Только один предсмертный призыв погибающей родины мог вернуть гетману энергию.

Узнав про неистовства Чарнецкого и про движение короля, он сам со всеми своими силами поворотил к Жванцу, направляя туда же и союзника своего Ислам-Гирея.

Позиция поляков под Жванцем, среди болот с одной стороны и оврагов с другой, была крайне невыгодна и

опасна. Хмельницкий воспользовался этим и обошел польский лагер с двух сторон. Поляки, узнав об этом, пришли в смятение и, забыв дисциплину, вздумали было уходить. Могло повториться пилявское позорное дело; но король обратился к хану и купил его снова. Хан заключил самостоятельный мир с королем, а Богдану посоветовал отдаться на монаршую милость, угрожая в противном случае ударить вместе с королем на бунтовщика.

К довершению всех зол орды татарские по силе выговоренного в договоре права бросились во все концы Украйны для грабежа и убийств; и запылала облитая кровью родная земля, застонала, забилась в агонии смертной, облеклась в полог черного дыма, как в траурный саван. А бандуристы запели ей похоронную песнь:

Зажурилась Україна, що нігде ся діти,
Витоптала орда кіньми маленькії діти.
Немовляток потоптала, старих порубала,
А молодих, середульших у полон забрала,
З сел веселих поробила велику руїну,
Закопала у могилу рідну Україну!..

Такого ужаса не мог пережить гетман... Вместо свободы и блага он, в конце концов, дал своему излюбленному народу еще более тяжелое рабство и смерть. Гетман приготовил завещание, в котором к своему сыну Юрку назначил соправителями Выговского и Золотаренка.

Ганна вошла к нему как-то раз в тот момент, когда, разбитый вконец физически и нравственно, он вздремнул на миг над неоконченным тестаментом; она побледнела от ужаса, заподозривши его тайную думу, и поблагодарила бога, что принесла такую весть, какая могла возвратить ему вновь бодрость духа.

— Орле мой, гетман славный! — воскликнула она радостно.— Бог сглянулся над нами! Народ наш будет спасен, и ты приведешь его к тихой пристани!

— Что? Что такое? — вскочил на ноги ошеломленный Богдан.

— Прибыл в наш лагерь царский гонец Иван Фомин [119] и передает, что в Москве собиралась царская дума, собор, на котором бояре заявили, что поляки нарушили мирный договор с ними вконец и умалением титула, и облыжными книжками, и порчей границ, что

голоса государева не уважили; сколько-де раз царь ни просил, чтоб не разоряли вконец сродного ему по крови и по вере народа, не навязывали ему латинства, а сейм даже во внимание того взять не хотел... а последнего посла в Жванце, требовавшего именем царским, чтобы его наияснейшая мосць утвердила Зборовский договор, король отпустил даже грубо.

— Так милостивый царь призрел мою просьбу и послал ходатая о наших нуждах?

— Послал, послал... Оттого-то, видно, поляки, после отказа хана-иуды, не бросились на нас до сих пор.

— О, велико сердце царево! — воскликнул, сжавши руки, Богдан.

— Еще не то, мой голубе сизый, наш сердцеболец великий,— поцеловала она его руку.— Вот что главное ответила дума: «На поляков-де и смотреть нам нечего, а пустить русских братьев под турецкую неволю и грех, и убыток великий, а потому и следует гетмана со всем войском, со всеми городами и землями принять под высокую государеву руку».

— Ныне отпущаеши раба твоего с миром! — воскликнул растроганным голосом Богдан, простерши к небу руки.

Гетман никому не сообщил об этой радостной вести, боясь, чтобы враги не помешали ее осуществлению; посвящен в эту тайну был лишь Иван Золотаренко; вместе с ним, при участии пани гетмановой были обдуманы и изложены пункты, на каких должно состояться присоединение Руси-Украйны к Московскому царству. Золотаренко вместе с Фоминым отправились в Москву для утверждения его царским величеством этого договора [120]. Богдан возвратился в Субботов только к зиме, разослав для успокоения народа универсалы, которыми извещал, что чаша бед исчерпана уже до дна, что он поклялся господу дать отдых исстрадавшемуся народу и залечить на его теле стародавние раны.

И вот наконец гетман получил известие, что в Переяслав прибыли послы его царской милости — боярин Бутурлин, окольничий Арсеньев и думный дьяк Лопухин [121], и что их встретил пышно Тетеря. Встрепенулся Богдан от этой вести, разослал сейчас же приказ всей старшине немедленно прибыть в Переяслав для наиважнейшей рады и всем созвать туда же по одному из каждой ко-

зацкой сотни и сколько можно поспольства. Сам же гетман заехал в Чигирин и, захватив там все клейноды, отправился вместе с Ганной, сыном Юрасем и писарем Выговским в Переяслав.

Слух о покровительстве московского царя и о предстоящей ему присяге распространился с быстротою вихря по ближайшей Украйне, и ко дню богоявления господня Переяслав был уже переполнен пришлым людом, разместившимся даже за валами города. Гетман приехал в Переяслав как раз на крещение к заутрене, он отстоял и ее, и обедню в монастыре, горячо молясь и не вставая почти с колен. В тот же день он имел продолжительную и тайную беседу с Бутурлиным; кроме писаных пунктов, он хотел оговорить еще многое и расспросить о многом. Аудиенция кончилась заздравными тостами, и гетман, видимо ободренный, отпустил с великим почетом посла.

Вечером у гетмана собралась генеральная рада. Тут сошлись и наши знакомые: Кривонос, Тетеря, Богун, Сыч, Морозенко, Кречовский, Золотаренко, Пушкаренко и многие другие. Богдан указал собранию на крайнее истощение народа, на безысходное положение страны, на вероломство его союзников, объяснил, что единственное спасение для народа заключается в вечном единении с Московским государством.

Выговский прочел статьи договора. Главная суть их заключалась в следующем: обеспечивалась целость Южной Руси по обеим сторонам Днепра, сохранялось право собственного управления, собственного законодательства и судопроизводства, право избрания гетмана и чиновников, право принимать послов и сноситься с иностранными дворами; утверждалась неприкосновенность личных и имущественных прав всех сословий, реестрового войска полагалось до 60 тысяч. Украйна же обязывалась платить умеренную дань и помогать царю войсками на войнах, а царь должен был защищать ее и совершенно освободить от притязаний Польши.

Многие шумно одобряли гетмана, иные угрюмо задумались, а некоторые попросили для уяснения прочитать еще раз договор.

Выговский прочел снова громко и выразительно каждый пункт.

— Нет, хорошо написано, добре, — соглашались

все,— ногтя не подложишь. Нет другой головы, как у нашего ясновельможного, честь и слава тебе, и многие лета!

— Спасибо вам, друзья и товарищи, за доброе слово... Так как же ваша рада, можно подписывать договор?

— Можно, можно, — отозвались решительно многие,— такой договор смело можно...

— Так-то оно так,— заметил Выговский с змеившейся на его губах иронической улыбкой,— пункты, что ни говори, прекрасны, но будут ли они исполнены, освободит ли нас Москва от Польши?

— Что ты смущаешь, Иване, нашу честную раду? — возмутился Богдан.— Мы ведь собою так увеличиваем силу Московского государства, что затрепещут перед ним и кичливые ляхи, и неверная татарва! Нет, не говори этого, Иване, не смущай ты нас своим словом: не от сердца оно идет, а от искусителя прародителей наших... Да и то еще заруби себе, что нам иного выхода нет, что весь народ влечет нас к этому союзу, а глас народа — глас божий.

Выговский замолчал, и все как-то притихли, вошли в себя; возражения писаря разбудили во многих тревожные подозрения, хотя последние слова гетмана произвели сильное впечатление.

— Да,— промолвил после долгой паузы Тетеря,— простому-то народу будет лучше наверно, а вот нашему брату... о шляхетских правах и не думай,— там у их бояр никаких вольностей нет.

— Не вольностей, а своеволья,— поправил Богдан.

— Нет, что там думать! — загомонело большинство.— Згода, згода!

— Стойте! — поднял голос молчавший все время угрюмый Кривонос[122].— Что ж это, коли подпишем эти пункты и перейдем под царя, так тогда бить ляшских панов будет не вольно?

— Успокойся, Максиме, — улыбнулся Богдан,— не уступит нас без борьбы Польша, и будем мы еще долго с ней биться, только под сильным крылом.

— А если перелякается и уступит?

— Ну, тогда, значит, у нас с ней счеты будут покончены.

— И я должен буду сам, своими руками задушить

свою месть? Нет, лучше умереть, лучше вот здесь сейчас расколоть этим кухлем свой череп, чем сложить руки. Богдане, друже мой, печалился ты о нашем народе, ну и печалься, а я — вепрь, привыкший к густым камышам да пущам непроходимым. Не снесу я никакой веревки на шее! Век прожил на вольной воле, без привязи,— без нее и умру! Прощай, товарищи-друзи, помогай бог вашему делу, а меня не поминайте словом лихим! — И он вышел из светлицы, непримиримый и мрачный.

За Кривоносом порывисто поднялся с места Богун и заговорил горячо и взволнованно:

— Богдане, наш гетмане славный, наш батьку! Ты щыро и честно боролся за нашу свободу, за благо матери нашей Украйны, ты, верю, и теперь желаешь и ищешь ей одного лишь добра. Быть может, и выбор твой прав, быть может, сама судьба влечет и тебя, и народ к такой доле, но душа моя не может, не может примириться с этим хотя и мирным, но подневольным житьем! — Он выхватил из ножен саблю и поднял клинок к своим побледневшим, дрожащим губам.— За волю я с тобой породнился, моя подруга, за волю с тобой и умру! — И он стремительно бросился к двери.

— Аминь! — рявкнул Сыч и вышел за Богуном тоже.

Упало тяжелое молчание, словно провеяло крыло смерти.

— Друзи,— вздохнул наконец с болью Богдан.— От нас требует решенья народ. Доля его теперь у нас на весах, но и ответ за него лежит на нас тоже... Задавим же, братья и друзи, в этот великий час все наши власные желанья и прымхи, а подумаем чистым сердцем, перед всевидящим оком, лишь о нашем народе да о нашей обожженной пожарами и обагренной кровью земле... Згода ли ваша, панове, на эти пункты?

— Згода! — ответили решительно все...

Когда Богдан отпустил старшину, Ганна, слушавшая раду из соседней светлицы, подошла к нему быстро и, обняв его, произнесла растроганным голосом:

— На тебе воистину перст божий: ты победил самого сильного — ты победил самого себя!

Настало 8 января 1654 года. Еще с вечера было устроено у собора на главной площади крытое возвышение с пристройкой; еще с вечера залил всю площадь

народ. Рано, на рассвете почти, ударил торжественно колокол с соборной звонницы. Звонко раздался в морозном воздухе звук и понесся дрожащими волнами во все стороны; за первым ударом последовал в мерных, замедленных промежутках другой, третий; на эти призывные звуки откликнулись и другие звоны, слились, заколыхались над давно проснувшимся городом и наполнили воздух какими-то переливами величественных металлических кликов. Занялась заря, ясная, алая, и охватила всю площадь, весь город. Улицы и кровли, покрытые выпавшим накануне снежком, блистали сахарной белизной, но этот светлый фон проглядывал только бликами, так как вся площадь, все улицы, все валы, все крыши домов и заборы были покрыты сплошь массами народа и представляли чрезвычайно пеструю и оживленную картину. К открытому собору сходилось в торжественных облачениях духовенство, сопровождаемое хоругвями и причтом. Все хоругви устанавливались шпалерами, образуя улицу, ведущую к храму. Протяжному звону колоколов отозвались гулкой дробью котлы. Между толпой стала пробираться с усилием старшина.

А гетман в это время пересматривал в последний раз договорные пункты. Приближающаяся торжественная минута давила его своим величием и как-то ужасала; умом он прозирал ее мировое значение, но сердце его почему-то ныло... не потому ли, что он в этот момент хоронил в могилу свои былые мечтания, доставлявшие ему сладостный трепет? «Да, близок час,— думал он,— ударит последний звон, и доля Украйны — свершится... Но что сулит ей грядущее? Желанный ли покой и пристанище тихое от бурь и напастей, или новое горе? Туман в очах... ночь и мрак! Ох, изнемог я, сломили меня невзгоды, истомили душу вопли и стоны народа... Лежит теперь в могиле отцветшая рано надежда — возлюбленный сын мой... а этот, оставшийся в живых, и хвор, и разумом слаб... ему ли понять мои думы? Ему ли управлять рулем среди бурь? О том ли я мечтал?! Но зачем ты, змея сомненья, ползешь в мое сердце?.. Боже, вездесущий, всеведущий,— опустился он на колени,— просвети разум мой, укажи мне десницей твоей путь праведный и храни от бед народ твой!»

Ганна вошла в это мгновенье и остановилась, увидя

гетмана, распростертого ниц. Она подошла, помогла ему встать и набожно осенила крестом...

Спокойно и величественно появился, окруженный всеми клейнодами, на возвышении гетман, где уже почтительно ожидали его старшина и посольство. Толпа восторженными криками отвечала на приветственный поклон своего батька. Грянул залп из орудий, сопровождаемый трезвоном колоколов и дробью котлов. Наконец Богдан поднял булаву — и все смолкло.

— Приступим во имя божье! — произнес гетман.— Вот генеральный писарь прочтет вам пункты, на которых мы желаем присоединиться к Московскому царству.

Громким, протяжным голосом стал Выговский читать договор. Толпа занемела и ловила каждое слово. Когда окончилось чтение, то поднялся по кружкам говор,— сначала робкий, тихий, а потом эти оживленные переспросы слились в общий гул. Очевидно, тревожилось и волновалось больше всего поспольство, не слышавшее про себя определенного слова в договоре; но Морозенко с Оксаной, уже одетой в высокий очипок, и Золотаренко, — они нарочно замешались в толпу,— рассеивали везде сомненья, говоря, что о них-то главная забота, что в договоре сказано, что все сословия сохраняют и права свои, и землю.

Бутурлин, услыхав, о чем идет гомон, подошел к концу эстрады и прокричал зычным голосом:

— Панове, рада! Наш государь, его пресветлое величество царь и самодержец, милостив ко всем и нелицеприятен; уже кого-кого, а простой народ, чернь, в обиду он не дает никому; у нас бояре послушны царю-государю, и нет в целом нашем царстве таких своевольных магнатов, как в Польше.

— Слава! Слава! — загремела площадь.

Но гетман поднял булаву — и все снова умолкло.

— Преславное и пышное лыцарство, вельможная старшина, славное наше войско Запорожское, славетные мещане, и горожане, и посполитый православный народ! Господь склонил к нам свое милосердное око и после терпимых нами напастей и бед посылает нам благодать и спокойствие, указует безбурную, тихую пристань. Исполнилось сердце царево любви, и православный царь, батько наш, приемлет в свою великую семью

и нас, как детей, становится незрадным защитником и заступником нашим от всяких врагов... Волите ли, панове, под высокую руку московского пресветлого царя-государя?

— Волимо! — гаркнула площадь, как один человек, и на этот гром ответили таким же громом валы, заборы и кровли, а за ними откликнулись ближайшие леса и луга.

Три раза повторил это воззвание гетман, и три раза откликнулся дружным громом народ: «Волимо! Згода!» Шапки полетели тучами над восторженной толпой, словно грачи в позднюю осень.

— Свершилось! — произнес набожно Богдан и, перекрестившись, подписал лежавший на столе договор, за ним стала подходить к подписи вся старшина. А колокола в это время заливались трезвоном, взрагивали валы от салютов и раздавались немолчно крики народа.

Сердюки в это время внесли подносы, уставленные наполненными кубками. Гетман взял первый кубок и, смирив булавой крики, произнес растроганным пророческим голосом:

— Друзья мои, братья! Еще, может быть, впереди предстоит нам много утрат, но кто потерпит до конца,— спасен будет... Хотя мы искренно, всем сердцем льнем к Москве, но кто знает... Единый лишь бог! Так покоримся ему и вручим безропотно свою судьбу святому промыслу. Придет час,— я этому глубоко верю,— что обнимемся мы с московитами, как братья родные, сплетем неразрывно наши руки навеки и пойдем вместе по пути могущества, просвещения и славы, да таких, что заставят весь свет расступиться перед нами почтительно. За здравие пресветлого нашего царя-покровителя! Да пребудет его правда и милость над нами вовек!

— Слава, век долгий! — крикнула старшина, осушая кубки.

— Слава ясному царю! Слава! — гаркнула за нею толпа.

Раздался снова залп, загудели снова колокола и слились с криками в какой-то чудовищный гул. Выкатили на площадь бочки пива, горилки и меду, и началось ве-

ликое, небывалое ликование. А кобзари уже звонили на струнах бандур, слагали свои бессмертные думы, и за старческими голосами старцев подхватывал дружно народ:

Та немає лучче, та немає краще,
Як у нас на Вкраїні,
Та немає пана, та немає ляха,
Немає унії!